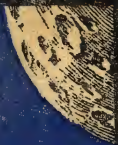


МИР
ПРИ-
КЛЮ-
ЧЕ-
НИЙ











МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987

СБ 1
М63

Составитель Т. К. ГЛАДКОВ

Оформление В. ЛЫКОВА

М63 Мир приключений: Сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов / Сост. Т. К. Гладков; Оформл. В. Лыкова. — М.: Дет. лит., 1987. — 607 с.

В пер.: 1 р. 80 к.

Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов.

М 4801000000—530
М101(03)87 301—87

СБ1

Ярослав Голованов

КОСМОНАВТ № 1

ПОЛЕТ ЧЕЛОВЕКА

Есть люди, которых мы воспринимаем только в определенные годы их жизни. Сохранился автопортрет Леонардо да Винчи в старости, и для нас Леонардо навсегда — благообразный седой старик с красивой шелковистой бородой. А ведь был же молодой Леонардо, по рассказам — умопомрачительный красавец, но нам не дано увидеть его. Или Менделеев. Каким он был в молодости? Хотя и есть его портреты ранних лет, но ведь для нас Менделеев без окладистой бороды, без длинных, до плеч, волос вроде бы и не Менделеев. И наоборот. Попробуйте представить себе старого Лермонтова. Или Чапаева. Ничего не выйдет.

Гибель Гагарина слепой жестокостью своей даровала ему вечную молодость. Гагарин, молодость, комсомол — это на всегда. Он не успел слетать второй раз в космос. Я помню его на Байконуре в апреле 1967 года. Он был дублером Владимира Комарова — первого командира первого трагического «Союза». К тому времени уже поняли, что дублер на старте — в какой-то мере дань традиции. Если уж и заменять космонавта дублером, то не на старте же, не за два часа до пуска. И Гагарин это понимал, но все-таки старался подчеркнуть, что он дублер, а, значит, следующий полет вероятнее всего его.

Не успел полететь. Через семь месяцев после того, как его не стало, полетел Георгий Береговой. Сейчас многие космонавты стали уже генералами, а Гагарин и генералом не успел стать — так и остался полковником. Не успел выступить на юбилей Максима Горького, а обещал Константиину Федину выступить. Не успел сделать доклад в Нью-Йорке, в ООН, хотя уже набросал тезисы этого доклада. Не успел подарить книжку «Психология и космос». Подписал в печать верстку, а самой

книги увидеть не успел. Не успел побалагурить на свадьбах дочек. А уж как бы веселился — очень хорошо это себе представляю. Страшно подумать, но в отряде космонавтов уже есть ребята, которые никогда не видели живого Гагарина...

Но он успел оставить о себе вечную память и любовь всего мира. Он не вошел — он влетел в историю человечества весенним степным утром на Байконуре в 61-м. И остался в ней навеки весенним лесным утром под Киржачом в 68-м.

У гагаринского полета многовековая история, считать можно с Икара. Полет Гагарина венчает гигантскую пирамиду человеческого труда, труда многих лет и тысяч людей. Гагарин это прекрасно понимал.

Когда говорят: «Королев запустил Гагарина в космос», это неверно. Даже такому титану, как Королев, сделать это было не под силу. Как неверно по сути ставшее уже крылатым выражение, что «Гагарин распахнул дверь во Вселенную». Сам Сергей Павлович Королев очень хорошо обо всем этом сказал:

— Отмечать творческое участие космонавтов нужно, потому что это справедливо и правдиво. Безусловно, наши летчики очень творчески участвовали в этом процессе. Но сказать, что они творцы? Чего? Так же, как неправильно сказать, что мы творцы. Чего? Мы — участники.

Если вы думаете, что Главный конструктор какой-нибудь системы или корабля творец этого корабля, вы заблуждаетесь... Разве может один Главный конструктор все предусмотреть? Не может. Это плод коллективного труда...

Королев говорил: «Мы — участники». Гагарин — самый изветный участник. А другие?

В первое в истории кругосветное плавание с Фернандо Магелланом отправилось 239 моряков. Тоже участники. История сохранила полтора десятка фамилий. Даже имен тех 18 счастливых, которым удалось пройти весь путь и уже без Магеллана вернуться на родину, мы не знаем. Несправедливо.

Первый шаг в космос — эпохальное событие в истории человечества. Объективно оно важнее экспедиции на пяти каравеллах, поскольку плавание Магеллана конечно по сути: сделать большего в пределах планеты нельзя. И, доказав своим плаванием, что Земля — шар, Магеллан закрыл вопрос. Полет Гагарина бесконечен в своем развитии. Доказав, что человек может летать в космос, он поставил неисчислимое количество новых вопросов перед нами и грядущими поколениями.

Время Магеллана называют временем великих географических открытий. Мы должны гордиться тем, что жили в эпоху великих космических открытий. И подобно тому, как нам интересно было бы узнать, что за люди окружали Магеллана

в дни его кругосветки, и нам, и тем более нашим внукам будет интересно узнать об участниках кругосветки гагаринской. Магеллан — далеко, почти половина тысячелетия отделяет нас от тех дней. Мы — современники Гагарина, и мы обязаны не забыть назвать тех, кто прославил нашу страну, продемонстрировал всему миру возможности нашего строя, утвердил в человеческих умах провозглашенные нами идеалы.

Их надо не забыть, их обязательно надо назвать: ученых и конструкторов, инженеров и строителей, техников и рабочих, врачей и лаборантов, летчиков и военных, партийных и советских руководителей, чей труд лежит в основании полета первого человека в космос.

В первый отряд советских космонавтов было отобрано двадцать человек. Пятеро слетали в космос один раз. Пятеро — два раза. Двое — трижды. Восемь не стали космонавтами. Эти восемь не внесли существенного вклада в развитие космонавтики. Но если из более чем трех тысяч кандидатов их отобрали в двадцатку, значит, они чего-то стоили. Они жили и работали вместе с теми, которые стали Героями. Может быть, они помогли им стать Героями. Может быть, их ошибки позволили будущим Героям избежать собственных ошибок.

Интересно подумать над вопросом, вроде бы лежащим на поверхности, который тем не менее лишь едва затрагивается в большинстве статей и книг о первом космонавте: а почему, собственно, первым в космос полетел Юрий Гагарин? Да, конечно, просто невозможно представить себе сегодня, что полететь мог кто-то другой, правда? Я для проверки задавал этот вопрос разным людям. И всякий раз он встречался с недоумением: «А разве могло быть иначе?» Это плохо укладывается в сознании, но могло. Вполне могло, уверяю вас. И ответы людей на этот неожиданный для них вопрос тоже были неожиданными. «У него такая улыбка!» — говорили женщины. «Его полюбил Корольев и посадил в корабль», — отвечали мужчины. «Дело случая», — и такое есть мнение. Наверное, в каждом из этих ответов есть доля истины, но какая доля? Сколь она велика? Не являются ли подобные ответы попытками решить с помощью примитивной арифметики сложное уравнение со многими техническими, биологическими, физиологическими, социальными, нравственными и другими неизвестными?

На нас, современниках Гагарина, лежит высокая ответственность передать будущим поколениям его истинный образ. Нельзя разрешить залакировать его постоянным и поверхностным восхвалением. Этот действительно умный, работающий и благородный человек никогда не нуждался в приукрашивании. Лучшее, что мы можем сделать во славу его памяти, — рассказать все так, как оно было.

На первых страницах истории мировой космонавтики имена Юрия Алексеевича Гагарина и Сергея Павловича Королева всегда будут стоять рядом. Поэтому, говоря о Гагарине, нельзя не говорить о Королеве. Если не затрагивать их служебных дел (тут все ясно), то их чисто человеческие взаимоотношения нередко характеризуются довольно расплывчатым упоминанием, что «Королев относился к Гагарину, как к сыну». Но ведь и к Титову, и к Леонову, и к другим космонавтам Королев тоже относился, «как к сыновьям». А поскольку сыновей у Сергея Павловича не было, остается не совсем понятным, как же он все-таки относился к ним. Ведь спектр отцовских чувств беспрельдно широк — вспомните старого князя Болконского, кардинала Монтанелли или Тараса Бульбу. Кроме того, даже если Сергей Павлович и считал всех космонавтов своими сыновьями, он, будучи выдающимся психологом и тонким знатоком человеческих душ, не мог относиться ко всем одинаково, как это и бывает в многодетных семьях. Нас же в данный момент интересует отношение именно к Гагарину.

Мальчишкой, наблюдая буквально из окон своего дома за жизнью маленького отряда гидроавиации в Одесском порту, Королев влюбляется в самолеты. Любовь перерастает в юношескую страсть после того, как он знакомится с летчиками, которые даже «прокатили» его над Одессой. Тогда же, в середине 20-х годов, выкристаллизовывается девиз его жизни: «Строить летательные аппараты и летать на них». Непременно летать! Именно это объясняет попытку Королева (увы, неудачную) поступить после окончания Одесской стройпрофшколы в Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского.

В наши дни конструкторы и испытатели авиационной техники связаны, разумеется, общими задачами, но это разные специальности, разный труд. В годы юности Королева они очень часто объединялись в одном человеке. Такие известные авиаконструкторы (впрочем, тогда известными им еще предстояло стать), как Туполев, Ильюшин, Антонов, Грибовский, Яковлев, были в молодые годы и известными летчиками, королевский девиз был в ту пору вовсе не оригинальным. В 1929 году о двадцатитрехлетнем Королеве-летчике, о его «эффектном полете» на планере «Коктебель» писала газета «Наука и техника»: он продержался в воздухе 4 часа 19 минут. Тогда же он получил официальное удостоверение пилота-парителя. Через год Королев осуществляет «в металле» свой дипломный проект — авиетку «СК-4», которую он сконструировал под руководством А. Н. Туполева, и другая газета — «Вечерняя Москва» — уже называет его «известным инженером». Таким образом, летчик и конструктор совершенно естественно уживались в юном Королеве, прекрасно дополняя друг друга.

Королев не мыслил своего будущего без летной работы. Однако Королев не был бы Королевым, если бы шел проторенными путями. Лозунг молодой Страны Советов: «Летать выше всех, дальше всех, быстрее всех!» находил в его душе отклик восторженный. Уже в ранних конструкторских разработках Королева видно желание добиться этих пределов. Королев в юные годы не был одержимым ракетчиком, каким был, скажем, Фридрих Цандер. Разумеется, в угоду гладкости, стройности и внутренней логичности повествования о жизни великого конструктора нужно было бы живописать юношеские мечты о достижении иных миров, но, увы, что же делать, если это не так. В ранних работах, в воспоминаниях друзей его молодости нет ничего, что говорило бы об увлечении Сергея Павловича собственно ракетами, полетами в космос, идеями К. Э. Циолковского о заселении околосолнечного пространства. Однако, познакомившись с трудами Константина Эдуардовича, Королев сразу понял, что именно ракетная техника открывает перед ним те возможности, о которых он мечтал: полную свободу от внешней среды, а значит, достижения скоростей, недоступных винтовым самолетам, достижения любых высот.

— Мы поставим жидкостный ракетный двигатель на планер — и будем летать в стратосферу! — сказал Королев в октябре 1932 года.

Это была его главная, всепоглощающая мечта. И он непрерывно работает над ее осуществлением. Он уговаривает конструктора планера-бесхвостки Бориса Чераниовского установить на ней жидкостный двигатель Фридриха Цандера, хотя двигателя этого еще нет. Цандер еще работает над ним.

— Первый раз я полечу сам! — говорит Королев Цандеру.

В предвоенные годы Королев конструирует ракеты. Но опять-таки крылатые ракеты! В обзоре работ Реактивного научно-исследовательского института раздел Королева так и обозначен: «Крылатые ракеты». В 1936—1938 годах было проведено несколько десятков пусков таких ракет. Одному из своих помощников, инженеру Михаилу Павловичу Дрязгову, Королев говорил шутя:

— Надо было бы с Дуровым поговорить, не даст ли он нам мартышек ракетами управлять, — он понимает, что человек полететь на этих ракетах еще не может.

Со своим ближайшим сотрудником Евгением Сергеевичем Щетиновым Королев разрабатывает четыре этапных проекта ракетного самолета с различными вариантами старта. В последнем, перспективном варианте планировалась высота подъема до 53 километров. Это была, несомненно, большая конструкторская дерзость: ведь в то время даже рекордные самолеты летали ниже 20 километров. Достаточно сказать, что

53-километровый рубеж был преодолен лишь двадцать три года спустя после проекта С. П. Королева — в июле 1962 года на третьем варианте ракетоплана «Х-15», сконструированном американцем Р. Уайтом — однофамильцем будущего погибшего астронавта.

Размышляя, сравнивая, проводя какие-то, разумеется, достаточно условные параллели, невольно приходишь к выводу, что гагаринский «Восток» вовсе не был неким обязательным итогом развития ракетной техники. Сложилась по-иному судьба Королева, отодвинувшись в небытие вторая мировая война, получила наука и техника 40-х годов благоприятные условия для своего всестороннего, а главное, мирного развития — и, кто знает, быть может, вовсе не на огромной ракете ушел бы в космос наш Юрий Гагарин. Могло вполне случиться, что он стал бы пилотом невиданного заатмосферного аппарата, суперсамолета, прямого потомка королевского ракетопланера «РП-318», который трижды летал в 1940 году, пилотируемый летчиком Владимиром Павловичем Федоровым.

Но этого не случилось. Не люди — даже самые прозорливые и талантливые, — а жесткая и суровая логика процессов социально-политических, Марксовы закономерности исторического развития, определившие направления научно-технического прогресса, выбирали для людей путь в космос...

В соответствии с уставом Академии наук СССР все академики и члены-корреспонденты обязаны ежегодно направлять в аппарат соответствующего отделения академич. отчет о своей научной деятельности. Многие, если не большинство, подходили к этому требованию формально: справка, она и есть справка — коротко отписывались, и с глаз долой. Избранный осенью 1953 года молодой (46 лет!) член-корреспондент Сергей Павлович Королев отнесся к этому делу с величайшей серьезностью. В 1955 году он составил не просто отчет. Это был аргументированный план развития исследований верхних слоев атмосферы и ближнего космоса. Позднее историки науки, изучая этот отчет, установили, что все пункты королевского плана были выполнены им в ближайшие три года. Но и сухим словом «план» этот документ называть не хочется, настолько проникнут он радостным оптимизмом, великой и в то же время сдержанной, словно опасавшейся упреков в романтике или прожектерстве, убежденностью человека, которому уже открылась истина собственного предназначения, но которую еще требуется утвердить в умах других людей. «В настоящее время все более близким и реальным кажется создание искусственного спутника Земли и ракетного корабля для полетов человека на большие высоты и для исследования межпланетного пространства».

За двадцать лет до этого — в 1935 году — в письме к известному популяризатору науки Якову Исидоровичу Перель-

ману Королев признавался: «Я лично работаю главным образом над полетом человека, о чем 2 марта с. г. делал доклад на первой Всесоюзной конференции по применению ракетных аппаратов для исследований стратосферы в г. Москве». В докладе этом он все подробно разбирает, сколько должно быть людей в экипаже, какая нужна кабина, дает множество диаграмм, связывающих разные параметры ракеты, рисует графики и заканчивает свой доклад так: «Дальнейшая задача заключается в том, чтобы упорной повседневной работой, без излишней шумихи и рекламы, так часто присущих, к сожалению, еще и до сих пор многим работам в этой области, овладеть основами ракетной техники и занять первыми высоты стратосферы».

Ясно видно, что по устремленности своей, по всему своему духу доклад 1935 года и отчет 1955 года очень похожи. Двадцать лет неотступных дум и той самой «повседневной работы без излишней шумихи и рекламы». Много это? Для истории — мало. Для человека — много. Королев понимал, что сам он уже не сможет полететь, как мечтал в молодые свои годы. И врачи не пустят, и не разрешат ему. Полетит другой, но обязательно полетит!

Вот в каком смысле Гагарин — сын Королева! Сын — как наследник, сын — как продолжатель твоего дела, реализатор многолетних трудов, способный воплотить в жизнь мечту отца! Но как же много предстояло еще сделать Королеву, чтобы он мог отпустить Гагарина в космос!

Когда Королев писал свой отчет в Академию наук, Юрий Гагарин — ему 21 год — как раз получил диплом с отличием в Саратовском индустриальном техникуме. В Томск преподавать в ПТУ решил не ехать, а закончить учебу в аэроклубе. Ни о каких «ракетных кораблях» не думал, просто хотел стать летчиком. Интересно, что бы он ответил, если бы кто-нибудь сказал ему тогда: «Не пройдет и шести лет, и ты полетишь в космос!» Рассмеялся бы, наверное...

ЛАЙКА

Над простейшим, как мне казалось, вопросом: когда же врачи начали работу по подготовке полета человека в космос, профессор Яздовский задумался неожиданно долго. Потом ответил: «Думаю, что подготовка к полету Юры началась примерно за 12 лет до его старта...»

12 лет... Гжатский школьник Юраша (так называла его мама) Гагарин не мог знать, сколь важное для него совещание состоялось в красивом особняке на Ленинском проспекте Москвы. В кабинете президента Академии наук СССР Сергея

Ивановича Вавилова сидели: Сергей Павлович Королев и Владимир Иванович Яздовский. Сначала говорили в основном Вавилов с Королевым. О развитии ракетной техники — до каких высот уже возможно добраться, о том, какую аппаратуру в первую очередь надо поднять в стратосферу и как ее оттуда вернуть.

Вавилов давно интересовался небом. Он был одним из организаторов первой Всесоюзной конференции по изучению стратосферы весной 1934 года в Ленинграде, на которой Королев рассказывал о реактивном стратоплане. Конечно, интересы у них были разные: Вавилову хотелось узнать, что там, в стратосфере и выше, есть и чего нет, понять природу в общем-то тончайшего в межпланетных масштабах слоя вещества на границе Земли и космоса, а если быть уж совсем точным, более всего интересовали его — одного из крупнейших в мире специалистов — оптические свойства этого слоя. У Королева была другая цель. Королеву хотелось там летать. Но эти интересы были связаны, даже закольцованы: нельзя было понять природу стратосферы, не попав туда, и нельзя было попасть туда, не узнав этой природы.

— А вас, Владимир Иванович, мы просим возглавить биологические исследования, — Вавилов обернулся к Яздовскому. — Вероятно, вам понадобится помощь различных учреждений биологического и медицинского профиля. Андрей Николаевич Туполев рассказывал, что вы хорошо умеете организовывать исследования как раз в условиях реального полета. Подберите людей, заказывайте аппаратуру. В средствах обещаю особенно вас не стеснять. И давайте начинать...

Сергей Иванович неторопливо проводил гостей до приемной. Он никогда никуда не торопился, а потому никогда не опаздывал и успевал сделать больше, чем люди торопящиеся.

Итак, в конце 40-х годов были выработаны две научные программы стартов в стратосферу: физическая и биологическая. О физической я рассказывать не буду: слишком далеко это нас уведет от выбранной темы. Скажу только, что самоотверженная работа физиков, тогда людей по большей части совсем молодых, — Сергея Вернова, Ивана Хвостикова, Сергея Мандельштама, Лидии Курносовой, Татьяны Назаровой, Веры Михневич, Бориса Миртова, Евгения Чудакова, Ивана Савенко и других много прояснила в понимании процессов, происходящих высоко над планетой, установила влияние этих процессов на нашу земную жизнь, дала важные сведения, необходимые конструкторам будущих спутников, межпланетных автоматических станций и космических кораблей.

Что же касается программы биологической, то уже в 1949 году были проведены первые пробные пуски животных на

ракетах. В декабре 1950 года эта программа обсуждалась на совместной сессии АН и АМН СССР. Возник спор: кого пускать? Одни предлагали начинать с мышей, крыс и другой лабораторной мелочи (бедные мухи-дрозофилы, вся вина которых заключалась в быстром размножении, что позволяло скорее проследить за передачей наследственной информации, были тогда изгнаны отовсюду Т. Д. Лысенко и его единомышленниками, и даже вспоминать о них считалось научным хулиганством). Другие настаивали на опытах с собаками. Бесспорно, были хороши обезьяны — как-никак «ближайшие родственники» человека, но обезьяны трудно поддаются дрессировке, склонны к простудам и разным хворям, начинают очень волноваться в непривычных условиях, могут датчики с себя сорвать. Тогда на сессии кинолога (так по-ученому называют собачников) во главе с Алексеем Васильевичем Покровским и Владимиром Ивановичем Яздовским в спорах этих победили. Поддержал их и академик Анатолий Аркадьевич Благоиравов, которого Вавилов, никогда ничего не забывающий, рекомендовал председателем Государственной комиссии по организации исследований на геофизических ракетах, в том числе и проведению полетов животных. К работе этой со стороны Академии наук были привлечены также Н. М. Сисакян (будущий академик и ученый секретарь АН СССР) и В. Н. Черниговский (тоже будущий академик и хозяин павловских Колтушей).

Королев, прекрасно понимающий, как важны для его перспективных разработок эти эксперименты, торопил медиков, интересовался, нашли ли нужных собак и как их собираются тренировать. Яздовский делился с ним своими заботами. Ведь дело-то действительно было не простое. Ракетчики просили, чтобы собаки были небольшие, килограммов по 6—7. Маленькие собаки, чаще всего домашние животные, довольно изнеженные, прихотливые в пище. В этом смысле обыкновенная дворняжка имела преимущества перед болойками, тойтерьерами или таксами. Дворняжки были не глупее, но заведомо выносливее. Требовался отбор и по масти. Предпочтение отдавалось беленым пескам — это была просьба специалистов по кино-, фото- и телеаппаратуре. Из светленьких потом отбирали по здоровью, нраву, реакциям. Решено было запускать по две собаки в одном контейнере — реакция одной могла быть чисто индивидуальной, а результаты хотелось получить самые объективные. Стали подбирать животных, наиболее совместных по нраву. После всего этого многоразового просеивания, обмеров, взвешиваний, пытливых наблюдений во время, казалось бы, невниманных прогулок, на каждого четвероногого кандидата в стратонавты завели карту и только тогда приступили к тренировкам: держали в боксерах, крутили на центри-

фугах, трясли на вибростендах. Началась истинно «собачья» жизнь, одна отрада — кормили хорошо. Королев прислал врачам настоящий ракетный контейнер, и теперь надо было добиться главного: посаженная в него собака должна была чувствовать себя как дома — вокруг все привычно, никаких поводов к волнению нет.

В середине июня 1951 года В. И. Яздовский, А. В. Поповский, их помощники — Виталий Иванович Попов и Александр Дмитриевич Серяпин с целой псарней дворняжек прибыли на полигон Капустин Яр.

Стояла адская жара, доходящая днем до 45 градусов. В письмах к жене Нине Ивановне Королев писал о духоте — никакое купание не помогало, благодарил за присланные легкие шляпы и парусниковый костюм. В одном из писем сообщал, что гулял с Дезиком и Цыганом — двумя «космическими» собачками.

Их старт состоялся ранним утром 22 июня 1951 года. Впервые в истории крупные животные поднялись на ракете на высоту около 100 километров и примерно минут через 15 плавно опустились на парашюте неподалеку от стартовой площадки. И хотя договаривались заранее: «Товарищи! Важнейший эксперимент! После приземления все остаются на местах, к контейнеру допускаются только врачи!», хотя договаривались многократно и все высокие начальники из разных министерств и академий сами убежденно кивали при этом головами, эти начальники первыми все соглашения и нарушили — благо у них были автомобили. Столь велико было это искреннее, по-человечески понятное и прощательное нетерпение людей, желавших убедиться: все хорошо, живы эти дворняжки, не зря мы ночей не спали, что и осудить их за нарушение договора у медиков рука не поднялась. Окружив контейнер плотным кольцом, заглядывали в иллюминатор и кричали радостно: «Живы! Живы! Лают!..»

Попов и Серяпин открыли люк, отсоединили штекеры системы регистрации физиологических функций и параметров среды, выключили систему регенерации воздуха, вытащили Дезика и Цыгана. Собаки весело забегали, ласкались к врачам.

— Условнорефлекторные связи сохранились, — сказал кто-то из физиологов за спиной Королева.

«Черт с ними, со связями, потом разберемся, — подумал Королев. — Пока важно, что живы. Живы!..»

В то лето провели шесть пусков. Не все шло удачно. Полетевший вторично Дезик и его напарница Лиса погибли во время второго полета. Контейнер разбился при ударе о землю. Королев очень горевал. Благонаправов приказал Цыгана — напарника Дезика по первому полету — больше не запускать,

а когда в начале сентября уезжали в Москву, забрал его к себе домой. Я видел Цыгана в квартире Анатолия Аркадьевича на Садово-Спасской, но не знал, какой он знаменитый, и, помню, еще подумал: где же это академик откопал такого беспородного пса...

В то лето погубили четыре собаки. Несовершенство техники погубило их. Жалко: хорошие, славные псы. А что делать? Ведь надо же было пройти этот этап. Не людьми же рисковать. Погибая, собаки спасали человеческие жизни. За это академик И. П. Павлов поставил им памятник. Тем, которые погибали в его лабораториях. И этим — разведчикам стратосферы. И будущим, которые не вернутся из космоса...

Случались на полигоне и курьезы. Пес Смелый не оправдал клички, сумел открыть клетку и удрал в степь. Его искали, не нашли и решили срочно готовить ему замену, но тут он сам пришел «с повинной». Перед последним пуском буквально за считанные часы до старта вырвался и убежал Рожок. Яздовский был поначалу в полной панике, но вдруг его осенило: в ракету посадили ЗИБа — запасного исчезнувшего Бобика. А на самом деле был он никакой не запасной, а обычный уличный пес, ни о каком полете в стратосферу не помышлявший, тренировок не ведавший, эдакий баловень случая: слетал — и basta! И ведь отлично слетал, все его хвалили потом и ласкали и кормили разной вкуснятиной. В таком вынужденном эксперименте открылся свой смысл: значит, и неподготовленная собака может справиться со всеми этими стрессами без всякого труда...

Старты 1951 года были началом обширной многолетней программы. Наряду с собаками в экспериментах использовались мыши, крысы, морские свинки, «реабилитированные» мухи-дрозофилы, бактерии, фаги, тканевые препараты. Кроме того, грибы, семена и проростки пшеницы, гороха, кукурузы, лука и других растений. Что же касается собак, то в 1953—1956 годах они летали в специально сконструированных скафандрах и катапультировались в них на высоте около 80 километров. Параллельно совершенствовалась конструкция герметических кабин, росла высота подъема ракет: от 100 километров к 200 и выше — к 450. Стало уже более или менее ясно, что шумы и вибрации лежат в пределах вполне переосимых, тем более если время действия их измеряется всего несколькими минутами, что перегрузки можно пережить, что проблема эта тоже решаемая. Но невесомость... Продолжительность невесомости во время ракетных пусков на большие высоты достигала уже 9 минут. Однако в космическом полете счет пойдет уже не на минуты, а на часы и дни (сегодня — месяцы, завтра — год, послезавтра — десятилетия). Что таит в себе длительная невесомость? Старты геофизических ракет с животными не могли ответить на этот во-

прос. Нужен орбитальный полет. Вот почему сразу вслед за созданием в 1957 году межконтинентальной баллистической ракеты и успешного запуска первого в истории человечества искусственного спутника Земли было принято решение, что вторым будет спутник с живым существом.

Космическая биология и медицина (впрочем, так она еще не называлась тогда) развивались бурно. В них пришли новые люди. К подготовке биоспутника подключились известный физиолог, академик АМН СССР Василий Васильевич Парин и молодой физиолог, будущий академик Олег Георгиевич Газенко. В новой работе чувствовался размах, уже «космический» масштаб. Королев искал и находил союзников повсюду. В создании второго спутника принимали участие исследовательские и проектные организации различных министерств: триумф первого спутника помогал Королеву ломать ведомственные рамки. Собак готовили, как и раньше, авиационные медики и физиологи. Спутник — дело проектантов и технологов С. П. Королева (не говоря уже о ракете-носителе). Контейнер с системой жизнеобеспечения — инженеров, которыми руководил Семен Михайлович Алексеев, специалист по высотным (космическим тогда еще не было) скафандрам. За передачу телеметрии с борта биоспутника на Землю отвечали сотрудники группы Алексея Федоровича Богомолова. Прибористам-биофизикам поручили придумать «космическую» кормушку для собаки и многое другое. Конечно, Королев был душой всего дела, вокруг него, как планеты вокруг светила, вращались смежники. Но направить и скоординировать эту работу возможно было лишь на уровне общегосударственном. И она постоянно направлялась, координировалась и (может быть, это самое важное) контролировалась Центральным Комитетом партии и Советом Министров СССР.

Позднее Сергей Павлович Королев говорил, что месяц между запусками первого и второго спутников был счастливейшим временем его жизни. Мечты молодости, знания зрелости — все, что копилось в нем долгие годы, воплощалось теперь в реальные дела и в течение считанных дней. Он испытывал чувство того полного счастья творчества, выше которого вряд ли что есть и пережить которое дано, увы, не каждому.

Месяц он практически не спал, так, урывками; большую часть времени проводил в цехах, прямо здесь, на рабочих местах, решая все вопросы; сам, своей рукой исправлял чертежи, впрочем, никто другой и не имел права сделать это без его ведома. А решиться просить об этом и получить такое разрешение было труднее, чем переплыть Волгу в ледоход.

Королев принял решение не отстыковывать биоспутник от последней ступени, как отстыковывался первый спутник. Так

было проще, а значит, надежнее. Кроме того, по металлу конструкций можно было отвести побольше тепла от животного. Перегрев. Он чувствовал: это ахиллесова пята биоспутника. Солнце снаружи, аппаратура и сама собака внутри — все стремится нагреть, а как охладить? За счет чего? Справятся ли теплоотводящий экран и вентилятор? И сегодня для космической техники эта задача непростая, а тогда?

26 октября, через 22 дня после запуска первого спутника, Сергей Павлович скоростным самолетом Аэрофлота вылетел в Ташкент, а оттуда сразу на Байконур.

Тем временем авиационные медики и физиологи закончили длившиеся около года работы по подготовке животных. Из десяти собак выбрали трех, очень похожих друг на друга: Альбину, Лайку и Муху. Альбина до этого уже дважды летала на ракете, честно послужила науке. У нее были смешные щенки. Альбину решили не пускать: жалко. Впрочем, всех их было жалко: собака шла на верную гибель. Решили в конце концов, что полетит Лайка, а Альбина будет как бы ее дублером. Муха числилась «технологической собакой». На ней испытывали аппаратуру, работу различных систем.

— Лайка была славная собачошка, — вспоминает профессор В. И. Яздовский, руководивший подготовкой собак, — тихая, очень спокойная. Перед отлетом на космодром я однажды привез ее домой, показал детям. Они с ней играли. Мне хотелось сделать собаке что-нибудь приятное. Ведь ей жить оставалось совсем недолго...

Сейчас, по прошествии стольких лет, полет Лайки выглядит очень скромным; но ведь это историческое событие. И я хочу назвать людей, которые готовили Лайку к полету, которые вместе с тысячами других людей писали первые страницы истории практической космонавтики. Имена эти можно разыскать в специальных журналах и книгах, но большинство людей никогда их не слышали. А ведь это несправедливо, согласитесь. Итак, Лайку в полет готовили: Олег Газенко, Абрам Геинин, Александр Серяпин, Армен Гюрджинян, Наталия Козакова, Игорь Балаховский.

Перед отлетом на космодром Яздовский и Газенко оперировали собак. От датчиков частоты дыхания на ребрах провода под кожей шли на холку и там выходили наружу. Участок сонной артерии вывели в кожаный лоскут для регистрации пульса и кровяного давления.

Тренировки собак продолжались и на космодроме буквально до дня старта. На несколько часов каждый день их сажали в контейнер. Сидели спокойно. Они давно уже освоились с кормушкой, которая представляла собой некое подобие пулеметной ленты, составленной из маленьких корытцев с желеобразной высококалорийной пищей. В каждом корытце была

дневная норма питания. Запас пищи был рассчитан на 20 дней. Не тяготились они и плотно облегающим тело «лифчиком», который держал мочекалоприемник. Фиксирующие цепочки, которые крепились к «лифчику» и стенкам контейнера, ограничивали свободу движений, но позволяли стоять, сидеть, лежать и даже чуть двигаться вперед-назад.

С утра 31 октября Лайку готовили к посадке в спутник, протирали кожу разбавленным спиртом, места выхода электродов на холке снова смазали йодом. Вошел Королев в белом халате. Смотрел на собаку. Она спокойно лежала на белом столике, вытянув вперед передние лапки и подняв голову, похожая на остроносеньких собак с древних египетских барельефов. Королев осторожно почесал Лайку за ухом. Медники тревожно покосились, но ничего не сказали.

В середине дня Лайка заняла место в контейнере, а около часа ночи контейнер подняли на ракету. Медники не отходили от собаки ни на минуту. Стояла уже глубокая осень, и было холодно. К Лайке протянули шланг с теплым воздухом от наземного кондиционера. Потом шланг убрали: надо было закрывать люк. Правда, незадолго перед стартом Яздовскому удалось уговорить Королева разгерметизировать на минутку контейнер, и Серяпин попил Лайку водой. Вода входила в пищу, но всем казалось, что собаке хочется пить. Просто попить обычной воды.

3 ноября второй спутник ушел в космос. Телеметрия сообщила, что перегрузки старта прижали собаку к лотку контейнера, но она не дергалась. Пульс и частота дыхания повысились в три раза, но электрокардиограммы не показывали никакой патологии в работе сердца. Потом все постепенно стало приходить в норму. В невесомости собака чувствовала себя нормально, медники отмечали «умеренную двигательную активность». Радостный Яздовский уже докладывал Государственной комиссии: «Жива! Победа!»

А ведь и правда это была замечательная победа! Собака не просто осталась жива, когда ее подняли в космос, но жила в космосе целую неделю! В специальном «Отчете советской комиссии Международного геофизического года», изданием в июле 1958 года, было сказано: «Этот эксперимент показал, что живой организм в течение недели, пока действовала установка по регенерации воздуха, хорошо переносил условия невесомости и другие особенности движения в космосе».

Через три дня после старта второго спутника курсанту Оренбургского высшего военно-авиационного училища летчиков имени И. С. Полбина Юрию Гагарину вручили золотые парадные погоны лейтенанта ВВС. Он был совершенно счастлив, он праздновал в те дни свадьбу, он не думал ни о каком космосе...

ОТБОР

Весной 1956 года, воодушевленный успешными стартами собак на геофизических ракетах, Главный конструктор Сергей Павлович Королев на одном из совещаний предложил подумать об организации полета человека на геофизической ракете. Это было полной неожиданностью, все заволновались, а молодые врачи Александр Серяпин, Абрам Генин и Евгений Юганов даже написали заявление с просьбой послать их в стратосферу. Королев был слишком увлечен завершением работ над межконтинентальной ракетой, чтобы уделить этой своей идее много внимания, а когда огромная ракета полетела — и вовсе от нее отказался. Наверное, объяснить такое охлаждение можно еще и тем, что реактивная авиация уже осваивала стратосферу и полет туда не только не выявлял заведомых преимуществ ракетной техники, но даже несколько размывал и притушевывал эти преимущества, давал повод усомниться в них, что для Королева было уже совершенно недопустимо.

Некоторое время Сергей Павлович раздумывает над тем, не организовать ли полет человека на новой ракете по баллистической кривой (как сделают американцы в мае 1961 года), но вскоре и этот вариант представляется ему ущербным, половинчатым, и уже в мае 1958 года он рассматривает предложения проектного отдела Михаила Клавдиевича Тихонравова, давнего и верного своего соратника, о тяжелом спутнике для полета человека в космос. В июне Королев вместе с Тихонравовым составляет записку в правительство о перспективных работах. Она начинается фразой, тон которой нехарактерен для документов подобного рода: «Околосолнечное пространство должно быть освоено и в необходимой мере заселено человечеством». В записке прямо указано: «...должны проводиться широкие исследования и разработки по обеспечению нормальных условий существования человека на всех этапах космического полета». В ноябре на совете главных конструкторов принимается решение начать разработку спутника для человека, хотя М. К. Тихонравов, энергичнейший из его сотрудников — К. П. Феоктистов и другие инженеры, молодость которых позволяла называть проектный отдел «детским садом», уже давно «прибрасывали» и «прикидывали» разные варианты. Наконец, в начале 1959 года под председательством академика М. В. Келдыша состоялось совещание, на котором вопрос о полете человека обсуждался уже вполне конкретно, вплоть до того: «А кому лететь?»

— Для такого дела, — сказал тогда Королев, — лучше всего подготовлены летчики. И в первую очередь летчики реактивной истребительной авиации. Летчик-истребитель — это и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфере на одноместном

скоростным самолете. Он и пилот, и штурман, и связист, и бортинженер...

Большинство поддержало Сергея Павловича. Было решено поручить отбор кандидатов в космонавты авиационным врачам и врачебно-летным комиссиям, которые контролируют здоровье летчиков в частях ВВС.

Справедливости ради надо сказать, что в 50-е годы авиация и ракетная техника если и не конкурировали между собой, то относились друг к другу весьма пристрастно. Главком ВВС Павел Федорович Жигарев не поощрял увлечения своих медиков экспериментами с собаками на высотных ракетах Королева. Но сменивший его на этом посту в 1957 году Константин Андреевич Вершинин понял, что, как ни заняты ВВС своими летными заботами, к ракетным делам подключаться придется. «Космики» (хотя их так тогда не называли) выделились в самостоятельное подразделение во главе с профессором В. И. Яздовским. Ближайшими его сотрудниками были: Олег Георгиевич Газеико, Абрам Моисеевич Геини, Николай Николаевич Гуровский и Евгений Анатольевич Карпов. Общими усилиями была подготовлена важная бумага: директива по отбору космонавтов. Активно принимал участие в этом генерал-полковник Филипп Александрович Агальцов, который, надо отдать ему должное, очень помог врачам в этой работе.

Медики понимали, что и по опыту, и по возрасту, и по физическим данным состав летчиков-истребителей в разных частях примерно одинаков, так что забираться для поисков кандидатов в космонавты за Урал, на Дальний Восток не имело смысла. Перед отъездом было большое совещание, на котором выступил Королев. Он изложил пожелания ракетчиков: возраст — примерно 30 лет (забегая вперед, скажу: Комарову было 33 года, Беляеву — 35), рост — не более 170 сантиметров (Шонин был выше), вес — до 70 килограммов.

— А главное, — с улыбкой сказал Королев, — пусть они не сдрейфят!

— Сколько вам нужно людей? — спросили медики.

— Много, — ответил Королев.

— Но американцы отобрали семь человек...

— Американцам отобрали семерых, а мне нужно много!

Это заявление было встречено с некоторым недоумением. Надо сказать, что уже после формирования первого отряда космонавтов, когда они уже приступили к тренировкам, речь шла о подготовке человека для полета в космос, человека в единственном числе! Как рассказывали мне сами космонавты, лишь перед самым стартом Гагарина и им самим, и их наставникам стало ясно, что дело не ограничится одним полетом, что очень скоро действительно потребуется много космонавтов.

Итак, разделившись парами, медики разъехались на поиски кандидатов. В довольно сжатые сроки им требовалось найти несколько десятков абсолютно здоровых, относительно (насколько возраст им разрешал) опытных, дисциплинированных, не имеющих замечаний по службе, профессионально перспективных, молодых, невысоких и худеньких летчиков-истребителей. Врачи в частях, которые знали только, что идет какой-то отбор летчиков «специзначения», предложили приехавшим московским коллегам более трех тысяч (!) кандидатур. Москвичи засели за пилотские медицинские книжки. Ограничения ракетчиков сразу дали большой отсев. Но не только на рост и вес обращали внимание. Частые бронхиты. Ангина. Предрасположенность к гастритам или колитам. Сдвиг ЭКГ. В обыденной жизни все это, конечно, вещи неприятные, но кто же обращает внимание на такие пустяки! Московские медики обращали и, увидев отклонения от «абсолютного здоровья» (идеал этот, как вы понимаете, столь же недостижим для врача, как абсолютный ноль для физика), тут же браковали.

Просмотрев медкнижки и отобрав подходящие, начали беседовать с их владельцами. Интересовались опять-таки здоровьем, успехами, настроением и осторожно заводили разговор о том, что, мол, есть возможность попробовать полетать на новой технике. Нет, даже не на самолетах, а скажем, на ракетах. Или, допустим, на спутниках, а?

— Хорошо помню эти беседы, — рассказывает доктор медицинских наук Н. Н. Гуровский. — Девяносто процентов наших собеседников первым делом спрашивали: «А на обычных машинах летать мы будем?» Это были ребята, действительно влюбленные в свою профессию, гордящиеся званием военного летчика. Примерно трое из десяти отказывались сразу. Отнюдь не от страха. Просто им нравилась их служба, коллектив, друзья, ясны были перспективы профессионального и служебного роста, налажен семейный быт, и ломать все это из-за дела туманного, неизвестно что обещающего, они не хотели. (Кстати, это стало правилом: кандидат в космонавты мог, не объясняя причин, отказаться от работы на любом этапе подготовки.) Некоторые просили разрешения посоветоваться с женой. Это, честно говоря, нам уже не нравилось. Наконец, некоторые сразу соглашались...

— Я сразу сказал: согласен! — рассказывал Павел Попович. — Мне говорят: «Подумайте сутки». Да что мне думать, товарищи! Потом вышел в коридор, приоткрыл дверь, голову всунул в комнату и крикнул: — Я согласен!

Валерий Быковский со смехом признался мне, что, когда заговорили о ракетах, он подумал не о космосе, а о каком-то фантастическом экспериментальном полете в акваторию Тихого океана: там испытывали межконтинентальную ракету.

— А когда сообразил, о чем речь, подумал: «Это ведь очень интересно!» И сразу согласился.

Георгий Шонин, когда заговорили о «новой технике», забеспокоился, что его собираются переводить в вертолетчики, а он этого не хотел — не те высоты и не те скорости. А когда ему сказали о возможном полете вокруг земного шара, в первый момент не поверил.

Аидрия Николаев, услышав о космических кораблях, тоже усомнился: а это реально?

— Вполне. Конечно, не сразу. Будете готовиться...

— Я с радостью, — улыбнулся Аидрия.

Герман Титов, едва заговорили с ним о новой технике, быстро ответил:

— Да, согласен!

На такой же вопрос, заданный Н. Н. Гуровским в парткоме Военно-воздушной Краснознаменной академии Павлу Беляеву, тот ответил так же:

— Согласен.

— Подумайте.

Беляев подумал и твердо повторил: согласен.

Но пожалуй, чаще всего в беседах этих летчики спрашивали о том, когда же все это будет, шутка ли: человек в спутнике! Хватит ли их летной жизни на такой полет? Ведь этак будешь ждать, пока в запас не спишут.

Шел август 1959 года. До полета человека в космос оставалось 20 месяцев.

Требования, предъявляемые к кандидатам в космонавты, во многом определялись возможностями ракетной техники. Американцы в 1957 году начали отбирать кандидатов в астронавты для полета в космическом корабле «Меркурий». Мощности ракеты-носителя «Атлас-Д» лимитировала вес корабля двумя тоннами. Возможности автоматизации и дублирования систем были крайне ограничены. Иными словами, американскому астронавту требовалось больше работать, чем советскому космонавту, поскольку вес «Востока» более чем в два раза превышал вес «Меркурия», что позволяло аппаратуре разгрузить космонавта, освободить его от выполнения многих операций во время полета. Американский отбор кандидатов был более жестким, чем советский. Отбирались лишь квалифицированные летчики-испытатели со степенью бакалавра наук, с налетом не менее 1500 часов. Для сравнения скажу, что к моменту поступления в отряд космонавтов налет Гагарина составлял около 230 часов, Титова — 240, Леонова — 250. Космонавты из последующих наборов — Шаталов, Береговой, Филиппенко, Демин и другие, которым предстояло проводить в космосе работу несравненно более сложную, были и старше, и опытнее. Возрастной потолок американцев был отодвинут до 40 лет. Из 508 кандидатов к

апрелю 1959 года, как уже говорилось, было отобрано 7 человек. Надо отметить и такую деталь, характеризующую нетерпение, с которым американцы стремились взять реванш за «красную Луну» — так называли в США наш первый спутник. Набор астронавтов в США начался до того, как был создан космический корабль и отработан его носитель. Между тем, когда наши медики просматривали медицинские книжки в авиаполках, в цехах опытного производства Королева уже стояли первые сферические оболочки будущих «Востоков», а носитель успешно эксплуатировался уже два года.

В США после полета Гагарина нас упрекиют в излишней и неоправданной торопливости, чуть ли не в техническом авантюризме.

Так кто же торопился и кто авантюрист?

Отобранных в частях кандидатов вызвали в Москву на медицинскую комиссию. (Снова забегаю вперед, скажу, что «крестными отцами» космонавта № 1, зачислившему его в список кандидатов, стали военные медики: Петр Васильевич Буянов и Александр Петрович Пчелкин.) Летчики приезжали партиями по 20 человек. Впрочем, задачу врачам облегчили сами кандидаты. Проверка здоровья действительно была необыкновенно строгой, а «забракованные», вернувшись в свои части, естественно, еще больше сгущали краски. Бывали случаи, когда тщательный медицинский осмотр выявлял некие ранее просмотренные (или скрываемые) изъяны, которые не только исключали из числа кандидатов, но накладывали запрет и на прежнюю летную работу. Об этом узнали те, кто ждал очередного вызова. И, получив такой вызов, иные в Москву не ехали, руководствуясь популярной поговоркой, что сница в руках лучше, чем журавль в небе. Так, еще до всяких медицинских проверок летчики проходили проверку характера, воли, силы собственного желания испытать себя в новом, неизведанном деле.

Кроме всевозможных анализов и осмотров, кандидатов подвергали так называемым «нагрузочным пробам» — выдерживали в барокамере, крутили на центрифуге, проверяли устойчивость организма к гипоксии (кислородное голодание) и перегрузкам. День ото дня группа кандидатов сжималась, как шагреневая кожа.

— Вполне понятно, что не все могли соответствовать требованиям, предъявляемым к будущим космонавтам. На то и отбор, — вспоминает о том времени Георгий Шоини. — Но кто тогда мог точно сказать: какими должны быть эти требования? Поэтому для верности они были явно завышенными, рассчитанными на двойной, а может быть, и тройной запас прочности. И многие, очень многие возвращались назад в полки...

Обидно было возвращаться. И не в том дело, что не полетаешь теперь на спутнике,— об этом мало жалели, поскольку трудно жалеть о том, чего не представляешь. Жалели, что не сдюжили. В молодые годы особенно развит дух соревнования, обострено болезненное отношение именно к своим телесным (к умственным — как-то спокойнее) недостаткам, и ребята, конечно, переживали.

— Ну как, прошел? — с горькой улыбкой спрашивал «забракованный» у «счастливчика». — Ну, молодец, Лайкой будешь...

Утешали они себя такими шуточками? Да нет, конечно. Как говорится, не от хорошей жизни они шутили...

А время шло. Королев торопил медиков. К концу 1959 года «пройти комиссию по теме № 6» — так формулировалось в официальных медицинских документах — удалось 20 кандидатам. Эти двадцать летчиков и составили первый отряд советских космонавтов. Через несколько лет во всех статьях и книжках их будут называть гагаринским отрядом. Но кто мог угадать тогда такое название?! Двадцать летчиков в теплых казенных пижамах с белыми отложными воротничками стояли перед медиками. Среди них были будущие летчики-испытатели и скромные педагоги, генералы и просто пенсионеры, депутаты Верховного Совета СССР и почетные граждане многочисленных зарубежных городов, прославленные, всей стране известные герои и люди, оставшиеся неизвестными.

Вот их имена:

Аникеев Иван Николаевич,
Беляев Павел Иванович,
Бондаренко Валентин Васильевич,
Быковский Валерий Федорович,
Варламов Валентин Степаевич,
Волынов Борис Валентинович,
Гагариин Юрий Алексеевич,
Горбатко Виктор Васильевич,
Занкин Дмитрий Алексеевич,
Карташов Анатолий Яковлевич,
Комаров Владимир Михайлович,
Леонов Алексей Архипович,
Нелюбов Григорий Григорьевич,
Николаев Андриян Григорьевич,
Попович Павел Ромаевич,
Рафиков Марс Закирович,
Титов Герман Степаевич,

Филатьев Валентин Игнатьевич,
Хрунов Евгений Васильевич,
Шонин Георгий Степаевич.

Среди них стоял будущий первый космонавт нашей планеты, человек, которому суждено было навсегда войти в историю земной цивилизации. Но кто мог отгадать его тогда среди двадцати летчиков в теплых госпитальных пижамах с белыми отложными воротничками?

КЛЕВЕТА

Десятого ноября космонавт Белоконев докладывает с орбиты:

«Внимание, внимание! Матеральная часть в порядке. Вероятно, будет возможность изменить курс».

Земля отвечала: «Будь осторожен. Не выходи за рамки намеченной программы, это опасно».

Белоконев рапортовал: «Только что кончил фотографировать согласно программе. Это великолепно!»

Десятого ноября космонавт в иллюминаторе увидел странные светящиеся частицы. С Земли попросили достать образец.

Белоконев ответил: «Я постараюсь, но не знаю, как это сделать. Я очень замерз».

Одиннадцатого ноября Белоконев доложил, что давление в корабле нормальное и все идет великолепно. А вскоре поспешил обрадовать Центр управления:

«Мне повезло. Я достал образец! Что? Раднация? Я не думал об этом. Онн опасны?»

Двенадцатого ноября в треске атмосферных разрядов раздался тревожный голос Белокоиева:

«Я не слышу вас! Я не слышу вас! Батареи не работают! Внутри темно. Приборы больше не сигнализируют. Кислород! Товарищи! Ради бога, могу ли я что-нибудь сделать? Что? О, черт! Я не могу. Вы понимаете? Вы понимаете?..»

«Корабль ушел с расчетной орбиты. Речь космонавта перешла в невнятное бормотанье и в конце концов исчезла совсем. Никогда уже больше не слышали мы о бедном храбре Белоконеве. А сколько было таких же, как он? Американцы спрашивают: действительно ли Юрий Гагарин был первым человеком, побывавшим в космосе?..»

По первому впечатлению текст этот напоминает отрывок из малограмотного научно-фантастического рассказа. Но ведь это не рассказ, а почти дословное изложение «радиоперехвата» из

космоса, опубликованного в молодежном еженедельнике «Ункэнд» за подписью некоего Алана Хейндерсона! Все это выдается за чистую правду!

И вот четверть века спустя после смерти «бедного храброго Белоконова» (если верить Хейндерсону. А верить ему нельзя!) я сижу в его квартире, а точнее, в квартире Алексея Тимофеевича Белоконова, и он рассказывает мне историю своей мнимой гибели:

— В 50-х годах, задолго до гагаринского полета, я и мои товарищи, тогда совсем молодые ребята, — Леша Грачев, Геннадий Заводовский, Геннадий Михайлов, Ваня Качур, занимались наземными испытаниями авиационной аппаратуры и противоперегрузочных летных костюмов. Кстати, тогда же были созданы и в соседней лаборатории испытывались скафандры для собак, которые летали на высотных ракетах. Работа была трудная, но очень интересная. Однажды к нам приехал корреспондент из журнала «Огонек», ходил по лабораториям, беседовал с нами, а потом опубликовал репортаж «На пороге больших высот» с фотографиями (см. «Огонек» № 42, 1959 г. — Я. Г.). Главным героем этого репортажа был Леша Грачев, но обо мне тоже рассказывалось, как я испытывал действие взрывной декомпрессии. Упомянулся и Иван Качур. Говорилось и о высотном рекорде Владимира Ильюшина, поднявшегося тогда на 28 852 метра. Журналист немного искал мою фамилию, назвал меня не Белоконовым, а Белоконовым. Ну, вот с этого все и началось. Журнал «Нью-Йорк джорнэл Америкэн» напечатал фальшивку, что я и мои товарищи летали до Гагарина в космос и погибли. Главный редактор «Известий» Алексей Иванович Аджубей пригласил нас с Михайловым в редакцию. Мы приехали, беседовали с журналистами, нас фотографировали. Этот снимок был опубликован в «Известиях» (27 мая 1963 г. — Я. Г.) рядом с открытым письмом Аджубея мистеру Херсту-младшему, хозяину того журнала, который нас отправил в космос и похоронил. Ответ американцам на их статью мы и сами опубликовали в газете «Красная звезда» (29 мая 1963 г. — Я. Г.), в которой честно написали: «Нам не довелось подниматься в заатмосферное пространство. Мы занимаемся испытанием различной аппаратуры для высотных полетов». Во время этих испытаний никто не погиб. Геннадий Заводовский жил в Москве, работал шофером, в «Известиях» тогда не попал — был в рейсе; Леша Грачев работал в Рязани на заводе счетно-аналитических машин. Иван Качур жил в городке Печенежин в Иваново-Франковской области, работал воспитателем в детском доме.

Позднее я участвовал в испытаниях, связанных с системами жизнеобеспечения космонавтов, и даже после полета Гагарина был удостоен за эту работу медали «За трудовую доблесть»...

Сидим с Алексеем Тимофеевичем, листаем альбомы со старыми фотографиями и документами. Вот пропуск № 2529, выданный Белоконову А. Т. на левую трибуну Красной площади 14 апреля 1961 года, когда Москва встречала Юрия Гагарина... Выходит, никак не мог погибнуть «бедный храбрый Белоконов» до этого дня, тем более что ныне он жив, отличается для своих лет (ему 54 года) завидным здоровьем, вырастил двух сыновей и радуется внуку Антону.

Когда читал зарубежные статьи о «погибших в космосе до полета Гагарина советских космонавтах», поначалу испытывал такое иронично-брезгливое чувство: «Ведь как-никак профессионалы же сочиняли, неужели не могли придумать фальшивку поумнее?» Но чем больше я читал, тем меньше оставалось во мне благодушия. Я понял: это вовсе не невинная ложь, не «наспех», «на халтуру» состряпанная, недожаренная газетная «утка». Давайте называть вещи своими именами. Это продуманная антисоветская пропагандистская кампания, авторы которой стремятся уже много лет одурачить миллионы людей, принизить научные и технические достижения нашей страны. И дело не в идиотском репортаже о мифическом Белоковне, а именно в этой большой цели, враждебной мне лично, миллионам таких людей, как я, моему правительству, политике моей Родины.

Я учился, когда были еще «мужские» школы. Как полагалось, наш 7 «Б» враждовал с параллельным 7 «А». Но я хорошо помню нашу мальчишескую этику — не заводитьсь по мелочам! Однако если 7 «А» преступал рамки и нагдел, наш 7 «Б» всем миром решал: «Надо дать по рогам!» Конечно, к сочинению Хейндерсона и к десяткам других подобных сочинений можно было бы отнестись по пословице «Собака лает — ветер носит», что и делалось многие годы. Но может быть, надо все-таки «дать по рогам»?

Полет Юрия Гагарина был не только научно-технической, но и политической победой нашей страны. Это прекрасно понимали на Западе. «С точки зрения пропаганды, — писала газета «Нью-Йорк геральд трибюн», — первый человек в космосе стоит, возможно, более 100 дивизий или дюжины готовых взлететь и по первому приказу межконтинентальных баллистических ракет». И вполне естественным, ожидаемым было желание наших недругов принизить значение этого полета, отыскать в нем какие-нибудь изъяны, как-то его скомпрометировать. Поначалу второпях наделали глупостей, опять писали о «русских фокусах» и «магнитофоне на орбите». Американский журнал «Ю. С. Ньюс энд Уорлд рипорт», например, писал в 1961 году, что первый полет состоялся за несколько дней до 12 апреля, но пилот погиб, а Гагарин потом «играл» на земле его роль. Собственно, повторилась ситуация осени 1957 года,

когда нашлись люди, и довольно ответственные, которые говорили: «А может, и нет никакого спутника, может, это так, русский фокус?» «Фокус» и тогда «не прошел», а теперь, три с лишним года спустя, после Лайки, гигантского третьего спутника, после лунников, «Венеры», полетов космических кораблей с животными, предшествующих старту «Востока», — тем более. Впрочем, американец Ллойд Меллон написал, например, что все победы советской космонавтики — вымысел, что никакие лунники не летали, а фотография обратной стороны Луны — фальшивка.

Итак, воспользовавшись публикацией в «Огоньке», «зачислили» испытателей в космонавты. Получили достойную отповедь. Впрочем, еще до того, как «Известия» напечатали открытое письмо Херсту после полета Ю. Гагарина и Г. Титова, американцы, как вспоминает Белоконов, снимали в Советском Союзе документальный фильм «Советы в космосе» и на съемках встречались с испытателями, в том числе с Алексеем Белоконовым, а значит, могли убедиться, что он жив-здоров. Ну, ладно, влипли в некрасивую историю, пойманы, как говорится, с поличным. Но проходит какое-то время, и тот же «Нью-Йорк джорнэл Америкэн», а за ним и «Ункэйд» все начинают снова: опять «хороият» в космосе наших испытателей, и «Известия» опять вынуждены уличать клеветников в публикации «Потрепанная фальшивка» («Известия» от 30 июня 1965 г. — Я. Г.). Тогда же вновь откликается и «Красная звезда» статьей генерал-лейтенанта ВВС Н. П. Каманни «Кому нужны космические небылицы».

Значит, это уже не случайная ошибка, а вполне осознанная пропагандистская акция. Суть ее можно обозначить так: Гагарин, разумеется, летал, и он герой, конечно. Но вся штука в том, что Гагарин был отнюдь не первым. До него русские много раз пытались запустить человека в космос, это им не удавалось, люди гибли, а русские, естественно, об этом помалкивают. Таким образом, Гагарин — просто счастливая случайность.

Нежданно-негаданно в эту новую клеветническую орбиту было втянуто имя известного нашего летчика-испытателя Героя Советского Союза Владимира Сергеевича Ильюшина. 8 июня 1960 года, когда Ильюшин ехал на аэродром, встречный автомобиль с пьяной компанией ударил его, как говорится, «лоб в лоб». Травма была очень тяжелой. Ильюшин долго лечился в Москве, а заключительный курс провел по рекомендации врачей в Китае на целебных источниках. «Герой, сын знаменитого авиаконструктора, со сломанными ногами. Все ясно: летал в космос до Гагарина, попал в катастрофу при приземлении» — так родилась новая «утка». Называлась даже дата старта Ильюшина на космическом корабле «Россия»:

7 апреля 1960 года. И хотя сам Владимир Сергеевич рассказал всю правду об этом несчастном случае на страницах журнала «Юность», на Западе нет-нет да и вспомнят эту историю.

Владимир Ильюшин — человек известный, популярный, ошельмовать его трудно. Куда проще вместо реальных людей изобрести или «мертвые души», или придумать космонавтов, подобно тыяниовскому подпоручику Кижэ, «фигур не имеющих» вообще. Джеймс Оберг в «Аэрокосмическом историческом вестнике» признает, что доказательств того, что русские космонавты погибли в космосе до 1967 года, нет. Оберегая свою репутацию солидного и объективного журналиста, Оберг выступает вроде бы борцом с якобы прочно бытующим на Западе мнением о том, что раз многочисленные истории о гибели советских космонавтов существуют, значит, что-то было. В начале своей статьи «Фантомы космоса. Секретная смерть русских космонавтов» Оберг называет четыре фамилии: Долгов, Грачев, Заводовский, Людовский. Откуда эти фамилии? Что за люди?

Долгова я «вычислил» довольно быстро. Подразумевается, очевидно, Петр Иванович Долгов — известный советский парашютист. Френк Эдвардс в журнале «Фейт» утверждал, что Долгов летал в космос и погиб. По словам этого журналиста, корабль Долгова засекли станции слежения в Турции, Швеции, Англии, Италии и Японии. Однако ни одна станция в этих странах не подтвердила этого сообщения. Более того, крупнейший английский радиоастроном сэр Бернард Ловелл, работавший на одной из самых крупных в мире радиообсерваторий Джодрелл Бэнк, прямо тогда заявил: «У нас нет никаких оснований считать, что в СССР состоялся какой-либо неудачный запуск космического корабля».

Петр Иванович Долгов действительно погиб во время парашютного прыжка с высоты 24 500 метров. После того как он вместе с другим знаменитым парашютистом-рекордсменом Евгением Андреевым покинули гондолу стратостата «Волга», у Долгова произошла разгерметизация скафандра, и на землю он опустился уже мертвым. Но ведь трагедия эта произошла не до полета Гагарина 11 октября 1960 года, как утверждал Эдвардс, а после этого полета — 1 ноября 1962 года, не говоря уже о том, что парашютный прыжок из стратостата не имел к космонавтике решительно никакого отношения.

А Грачев откуда взялся? До встречи с А. Т. Белоконовым я не знал об испытателе Г. Грачеве. Сижу, вспоминаю. Довольно распространенная русская фамилия. Был Акинфий Грачев — знаменитый глава старообрядческой церкви в Самаре. Полететь в космос вряд ли хотел. В XIX веке жил замечательный овощевод-селекционер Ефим Грачев. Помню Леонида

Павловича Грачева — директора издательства «Известия». То же совершенно земной человек... Внимание! Может быть, Андрей Дмитриевич Грачев? Это был выдающийся конструктор жидкостных ракетных двигателей, последние 16 лет жизни работал с академиком Валентином Петровичем Глушко в ГДЛ — ОКБ. Его именем назван кратер на Луне. И хотя он много сделал для нашей космонавтики, сам в космос не летал, да и скорее всего не получил бы разрешения на такой полет по возрасту (он родился в 1900 году). И никак погибнуть до полета Гагарина он не мог, поскольку умер через три года после этого полета. Теперь я убежден, что Грачев появился из той же публикации в «Огоньке». В других списках «погибших» и Качур, которого тоже упоминал «Огонек».

А потом я вдруг подумал: да что же это я голову-то ломаю, «истoki» отыскиваю! Да нет никаких истоков, все это просто из пальца высосано! Позднее западные средства массовой информации пополнили отряд советских космонавтов Ростиславом Богдашевским, Юрием Вавкиным, Иваном Корнеевым, Вороиновым, Виноградовым и т. д. Люди с такими именами наверняка существуют, но в космос они не летали и никогда не готовились к такому полету.

Преднамеренности всей этой клеветы видна еще из такого факта, что для правдоподобия в нее нередко вставляется какая-нибудь реальная деталь. Илюшин действительно был ранен, Долгов погиб в стратосфере, Грачев увековечен в лунном атласе. Впрочем, если нет такой детали — не страшно, и так сойдет. С другой стороны, многие статьи о космических катастрофах до полета Гагарина написаны в каком-то псевдоконфузливом тоне. Чувствуется, что авторам и самим неловко врать. Поэтому подтекст часто такой: «Мы, конечно, ничего не утверждаем, но, сами понимаете, дыма без огня не бывает...»

Что касается научной и технической стороны дела, то тут Белоконев с радиоактивными частицами, которые он отлавливал в космосе, вовсе не одинок. Некоторые сообщения подобного рода были рассчитаны на абсолютно темных, дремучих читателей. Писалось, например, о том, как умирал в космосе советский космонавт, запущенный незадолго до старта Гагарина — 4 февраля 1961 года. Дата выбрана опять-таки не случайно, а для придания всей версии правдоподобия: в этот день на Байконуре действительно была запущена автоматическая межпланетная станция к Венере, которая, к сожалению, не вышла на расчетную орбиту и превратилась в искусственный спутник Земли. Никакого отношения к программе пилотируемых полетов этот запуск не имел. Так вот, нашелся некий итальянский физиолог, который, «прослушав запись сердечных ударов космонавта», заявил, что «они принадлежат умирающему человеку». Неужели те, кто печатал эту чушь, не знают, что если

бы и летел тогда человек в космическом корабле, то бонификация о его состоянии передавалась бы с помощью закодированной телеметрии и без специальной дешифровки на Земле (которую, кстати, никто не делает, так как медикам она не нужна), сигналы, идущие из космоса, не могут звучать, как удары сердца. Это у нас школьники знают.

Особенно преуспело с сообщениями о «гибели советских космонавтов» итальянское агентство «Континенталь». Согласно его сообщениям, в суборбитальных полетах в 1957 году погиб космонавт Лодовский, на следующий год — Шиборин, еще через год — Митков. Все эти фамилии — придуманные. Главными поставщиками информации для «фабрики смерти» — так в насмешку журналисты окрестили «Континенталь» — были братья Арчилло и Джамбатиста Юдика-Кордилья, которых называют то учеными, то радиолюбителями и которые построили под Туринском собственный центр подслушивания в космосе — Торре Берта, где и фабриковались клеветнические «радиоперехваты» и «затухающие сердечные ритмы». Удивительно, но любительский «центр» Торре Берта ухитрялся регистрировать такие сигналы, которые никакая другая станция, специально оснащенная для приема информации из космоса, не слышала. Как известно, существует особый вид юридически наказуемых правонарушений, именуемый радиоулиганством. Тех, кто засоряет эфир, можно судить. А тех, кто засоряет мозги?

Повторяю: это кампания. Статьи о безвестных советских космонавтах, якобы погибших в космосе, публиковались в десятках других, главным образом американских, изданий, причем изданий, имеющих репутацию солидных: «Вашингтон ин-нинг стар», «Балтимор сан», «Нью-Йорк джорнэл Америкэн», «Сненс бизнес дейли» и др. В журнале «Тру» все эти сплетни были суммированы журналистом Джеймсом Милсом в июне 1961 года. Клеветническими измышлениями занимались не только репортерская шушера, но, увы, и известные журналисты. Один из «королей» американской прессы Дрю Пирсон опубликовал в газете «Вашингтон пост» статью, в которой утверждал: «Пять русских космонавтов погибли в космосе. Сначала трое в суборбитальных полетах в 1959 году. Затем двое — в мае и сентябре 1960 года». Итак, пять. По этому поводу известный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Марк Лазаревич Галлай, принимавший непосредственное участие в подготовке наших первых космонавтов, пишет в своей документальной повести «С человеком на борту»: «...В иностранной печати фигурировали осторожные (типа «говорят...») сообщения о гибели пяти советских космонавтов «во время неудавшихся попыток полета человека в космос». Именно пяти, не больше и не меньше, ибо, как известно, ничто так не

прибавляет любому, самому невероятному сообщению достоверности, как цифра, число».

Джеймсу Обергу из Хьюстона пяти, однако, показалось мало. «Я подозреваю, что восемь космонавтов погибли во время тренировок», — пишет он в журнале «Спейс флайт». Журналист Лаззери опубликовал список девяти «погибших» советских космонавтов. Итальянская газета «Коррьере-делла сера» убеждала своих читателей, что их было четырнадцать.

Некрасиво, господа, некрасиво. Стильно.

Ни один советский космонавт до полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года в суборбитальных полетах не участвовал, не пытался стартовать в космос, не летал в космосе, а потому и погибнуть там не мог.

Погиб военный летчик Валентин Васильевич Бондаренко. Не в космосе погиб, на земле. Это случилось 23 марта 1961 года. Валентин был самым молодым в первом отряде космонавтов (ему было 24 года). Согласно расписанию тренировок, он в тот день заканчивал десятисуточное пребывание в сурдобарокамере — как и других космонавтов, его испытывали одиночеством и тишиной. Давление в сурдобарокамере было пониженным, что компенсировалось избыточным содержанием кислорода. Сняв с себя датчики после медицинских проб, Валентин протер места их крепления ваткой, смоченной спиртом, и не глядя бросил эту ватку, которая упала на спираль включенной электроплитки. В переизбытке кислорода атмосфере пламя мгновенно охватило маленькое пространство сурдобарокамеры. На Валентине загорелся шерстяной тренировочный костюм, но он не подал сигнала тревоги на пульт, пробовал сам сбить пламя. Дежурный врач сразу открыл герметичную дверь, не выравняв давления снаружи и внутри, не мог. На все это требовались лишние секунды. А их не было. Когда Валентина вытащили из сурдобарокамеры, он был еще в сознании, все время повторял: «Я сам виноват, никого не вините...» Восемь часов врачи боролись за его жизнь, но спасти Бондаренко не удалось: он погиб от ожогового шока. Похоронили его на родине, в Харькове, где жили его родители. А жена Аня и пятилетний сын Саша остались в Звездном городке. В архиве ВВС я читал выписку из приказа: «Обеспечить семью старшего лейтенанта Бондаренко всем необходимым, как семью космонавта. 15.4.61. Малиновский». Фотографию Валентина Васильевича, сделанную буквально за несколько дней до его гибели, передал мне его сын — молодой офицер Александр Валентинович Бондаренко.

Мне много рассказывали о Валентине наши первые космонавты, его товарищи по отряду. Это был славный, незлобивый парень, выросший в простой работающей украинской семье. Окончив в 1954 году школу в Харькове, добровольцем ушел

в армию, поступил в военное авиационное училище, мечтал стать военным летчиком — и стал им. Потом был отобран в отряд космонавтов и с конца апреля 1960 года приступил к занятиям. В отряде его любили за добродушную расположенность к людям: «Прозвище ему дали Звоночек, — рассказывал Павел Попович, — а вот почему Звоночек, не помню». «Он хорошо играл в футбол, — добавил Алексей Леонов, — а в настольный теннис Валентина в нашем отряде никто обыграть не мог. Никогда не обижался на дружеские розыгрыши, если «покупался», смеялся вместе со всеми. А если у человека чувство юмора распространяется и на самого себя, это, как правило, хороший человек». «Порой Валентин мог вспылить, но без злости и обиды, — вспоминает Георгий Шонин, который некоторое время жил с Бондаренко в одной квартире. — Буквально на мгновение взорвется — и тут же покраснеет, застесняется за свою несдержанность. Я всегда восторгался его самоотверженностью и решительностью. Меня до сих пор знобит, когда я вспоминаю, как он взбирался по водосточной трубе на пятый этаж к стоявшему на подоконнике ребенку, рискуя ежесекундно свалиться вместе со скрипучей трубой... Валентин очень любил своего отца. Он гордился им, бывшим партизанским разведчиком. Вечерами, когда мы выходили на балкон подышать перед сном, он много и интересно рассказывал о нем, прерывая вдруг себя вопросом:

— Я тебе говорил, что папаха моего батьки лежит в музее партизанской славы?»

17 мая 1930 года взорвавшийся ракетный двигатель убил своего конструктора — замечательного австрийского энтузиаста покорения Вселенной Макса Валье. Ему было 35 лет. Он стал первой жертвой космонавтики. За год до гибели Валье писал: «То, что панцирь земного тяготения нельзя преодолеть без больших усилий, — это ясно, как, вероятно, и то, что это предприятие будет стоить много времени, денег, а может, и человеческих жизней. Однако разве из-за этого мы должны от него отказываться?» Случайная гибель в большом деле возможна, поскольку предусмотреть все опасности, подстерегающие здесь человека, нельзя. С. П. Королев писал жене Нине Ивановне с космодрома: «Мы стараемся все делать не торопясь, основательно. Наш девиз: беречь людей. Дай-то бог нам сил и умения достигать этого всегда, что, впрочем, противно закону познания жизни...»

27 января 1967 года в перенасыщенной кислородом атмосфере космического корабля сгорели американские астронавты, первый экипаж «Аполлона»: Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи. Они погибли до того, как сумели открыть входной люк. При подготовке к космическому старту разбился Эллиот Си и Чарльз Бассет — основной экипаж «Джемини-9».

Во время тренировочных полетов погибли астронавты Клифтон Вильямс, а позднее Роберт Лауреис. Вильямс был дублером на «Аполлоне-9» и готовился к полету на «Аполлоне-12». Он должен был стать четвертым человеком, который ступит на Луну. На тренировке реактивный самолет астронавта Теодора Фримена столкнулся в воздухе с гусем. Фримен катапультировался, но высота была слишком мала, и он разбился. Можно такое предусмотреть? Можно было предусмотреть гибель Юрия Гагарина и его опытейшего инструктора Владимира Серегина во время ординарного тренировочного полета?

Все это случилось не в космосе, не в грохоте старта, не в огненных вихрях приземления — на тренировках, на самых обычных рядовых тренировках. Ужели этот полный боли список кажется кому-то слишком коротким и вызывает к искусственному удлинению?!

В 1967 году после гибели Владимира Комарова я беседовал с Юрием Гагариным. Интервью это было опубликовано в «Комсомольской правде» (17 мая 1967 г. — Я. Г.) и перепечатано потом многими газетами мира. Он сказал тогда:

— Ничего не дается даром. Ни одна победа над природой не была бескровной. Мы начали узнавать околоземный мир... Мы сядем в кабины новых кораблей и выйдем на новые орбиты...

Юрий погиб меньше чем через год после нашего разговора.

ПОДГОТОВКА

По решению ЦК КПСС 11 января 1960 года была издана директива о формировании Центра подготовки космонавтов.

Теперь отобранных кандидатов требовалось готовить к полету. Но до этого нужно было решить, где их готовить, а главное — в чем, собственно, эта подготовка должна заключаться. Вопросы, которые сегодня кажутся самоочевидными, тогда вырастали в серьезные проблемы хотя бы потому, что никто никогда никаких космонавтов не готовил.

«Кто возглавит будущих летчиков-космонавтов, явится в Звездном городке начальником, воспитателем и в то же время смелым экспериментатором? — писал позднее в своей книге «Летчики и космонавты» Н. П. Каманин. — На эту должность у нас появилось несколько кандидатур. Остановились на видном специалисте в области авиационной медицины Евгении Анатольевиче Карпове. Немало лет проработал он с летчиками, хорошо знает их душу и летный характер. Евгений Анатольевич с первых дней загорелся новой работой, перспективой, мечтой».

Итак, 24 февраля Карпов был назначен начальником Центра

подготовки космонавтов, а точнее, начальником того, что этому начальнику надлежало создать. Карпов, тогда скорее чувствующий, чем до конца понимающий всю перспективность и масштабность нового дела, начал со штатного расписания на 250 человек. Заместитель главкома ВВС Ф. А. Агальцов улыбнулся, оценив смелость 38-летнего полковника, и сократил штат до 70 человек. Карпов пошел к Главкому. Маршал К. А. Вершинин выслушал сначала полковника, потом генерал-полковника и сказал Агальцову:

— Ты, Филипп Александрович, не понимаешь, как их готовить, и он не понимает, — маршал кивнул на Карпова, — но берется! Это надо ценить!

И утвердил 250 человек.

В этот момент у Карпова из всех положенных по штату сотрудников в наличии было два: заведующий отделом кадров Андрей Власюк и Федор Демчук — завгар, он же шофер, он же автослесарь. Но вскоре появились надежные опытные заместители: по летной подготовке — Евстафий Евсеевич Целикин, по политработе — Николай Федорович Никерясов. Очень помогал Карпову в организационных делах кадровый политработник генерал-лейтенант Василий Яковлевич Клоков.

В начале марта в Москву начали съезжаться первые из двадцати отобранных космонавтов (формально рассуждая, называть их так нельзя; они пока только кандидаты в космонавты, космонавтами некоторые из них станут лишь через несколько лет, а некоторые так и не полетят в космос. Но давайте договоримся, что мы будем всех их так называть). Первым приехал Павел Попович. Три дня они с Мариной жили вдвоем. Потом появился Валерий Быковский. Следом стали подтягиваться остальные: Аникеев, Гагарин, Горбатко, Нелюбов, Николаев, Титов, Хрунов, Шонин. Еще через четыре дня — Леонов. Временно их разместили в маленьком двухэтажном домике спортбазы ЦСКА на территории Центрального аэродрома им. М. В. Фрунзе. Сделать это было нелегко, ведь приезжали с женами, детьми. Позднее для семейных космонавтов Карпов получил квартиры на Ленинском проспекте (улыбка судьбы: из окон этих квартир сегодня виден памятник Юрию Гагарину на площади его имени), но жили там недолго, поскольку уже к лету Н. П. Каманин, Е. А. Карпов, В. И. Яздовский и В. Я. Клоков подыскивали для будущего Центра подготовки космонавтов подходящее место неподалеку от районного центра Щелково, в 40 километрах от Москвы. И далеко, и близко. И места для будущего строительства хватало. И железная дорога рядом. И природа прекрасная. Короче, очень удачное место выбрали. В ту пору был там у них двухэтажный домик — один в трех лицах: управление, столовая, учебный корпус. Он и сейчас цел,

этот домик, и надо, чтобы остался цел, ибо он — история; и наши внуки будут им гордиться...

Но это было уже летом, а первое занятие космонавтов началось в 9 часов утра 14 марта 1960 года. Сначала Яздовский прочел вводную лекцию. Как вспоминал потом Юрий Гагарин, он «обстоятельно рассказал нам о факторах, с которыми встречается живой организм при полетах в космическое пространство». Медики детально объясняли действие перегрузок, невесомости, вводили в курс своих проблем. Космонавты заскукал: «Звали летать на новой технике, а тут какой-то медпросвет...» «Лекции специалистов авиационной и космической медицины я слушал без особого внимания, считая эту дисциплину второстепенной», — признался потом Герман Титов. Узнав о том, что занятия с космонавтами ограничиваются лишь медико-биологической тематикой, С. П. Королев очень разгневался и немедленно отрядил целую группу своих людей для чтения специальных курсов: по ракетной технике, динамике полета, конструкции корабля и отдельным его системам. «Мы изучали астрофизику, геофизику, медицину, космическую связь и многое узкоспециальное», — вспоминает Алексей Леонов.

Лекции эти читали как ближайшие соратники Сергея Павловича — К. Д. Бушуев, М. К. Тихонравов, Б. В. Раушенбах, так и молодые, но уже опытные инженеры — К. П. Феоктистов, О. Г. Макаров, В. И. Севастьянов, А. С. Елсеев, которые через несколько лет сами стали космонавтами. С. М. Алексеев прочел лекцию об устройстве космического скафандра. Летной и парашютной подготовкой занимались тоже больше мастера своего дела И. М. Дзюба, Н. К. Никитин, А. К. Стариков, К. Д. Таюрский и др. Наконец, помня о том, что праздность — мать всех пороков, Карпов все свободное время, особенно в первые дни, когда расписание занятий еще не утвердилось, отдавал физической подготовке. Борис Владимирович Легоньков — физрук — был человеком неутомимым и безжалостным. Всякое отлынивание от занятий немедленно и беспощадно пресекалось, равно как и диспуты о бесполезности кроссов и бега на длинные дистанции для будущих командиров космических кораблей. Легоньков начинал день с часовой зарядки на открытом воздухе в любую погоду, а дальше заполнял все паузы в аудиториях занятиями бегом, прыжками, плаванием, нырянием с вышки, гимнастическими снарядами, волейболом, баскетболом — на выдумку он был неистощим. В играх быстро определилась команда «морячков», то есть летчиков, прежде служивших в морской авиации: Анисеев, Беляев, Гагарин, Нелюбов, Шонин. В баскетболе у «морячков» лидировал Гагарин, и они часто брали верх над «сухопутчиками».

Окончился монтаж сурдобарокамеры, испытать ее вызвался Валерий Быковский, и после обстоятельного инструктажа

6 апреля его поместили туда, решив продлить эксперимент на 15 суток, о чем он, естественно, не знал. Валерий сидел еще в сурдобарокамере, когда остальные космонавты вылетели на парашютные прыжки. К этому времени весь отряд в Москве еще не собрался. Беляев, Бондаренко, Варламов, Карташов, Комаров, Рафиков, Филатьев не успели приехать в Москву из своих частей, и на прыжки улетели без них. Быковский и Зайкин присоединились к группе позднее, когда Валерий вышел из сурдобарокамеры.

Заслуженный мастер спорта Николай Константинович Никитин, парашютист-виртуоз, быстро понял, что все они совсем «зеленые»: количество прыжков измерялось единицами (на счету Гагарина, например, было пять прыжков, были в отряде и такие, которые ни разу не прыгали). Никитин произнес страстную речь, доказывая, что только парашютные прыжки цементируют коллектив, учат мужеству и генерируют отвагу, что мужчина без парашюта — это не настоящий мужчина.

— Наверстаем упущенное, — бодро закончил он. — Все зависит от вас самих...

Известно, что моряки не очень любят плавать, а летчики — прыгать с парашютом. «Парашютные прыжки в течение полутора месяцев были, пожалуй, одним из самых сложных и трудных этапов подготовки», — пишет Георгий Шоинин в своей книге «Самые первые». Никитин сделал, казалось бы, невозможное: привил вкус к прыжкам. Отстранение от занятий, скажем за опоздание, стало не желанным отдыхом, а истинным наказанием. Космонавты научились прыгать на сушу и на воду, днем и ночью, с больших и малых высот, с затяжкой и без. Лучшим парашютистом в отряде был, пожалуй, Борис Волинов. Никитин выделял еще Гагарина, Леонова и Шоинина, но и у всех других за эти полтора месяца набралось уже несколько десятков прыжков разной сложности. Они уже освоились в небе и научились подчинять себе парашют, если попадали в критические ситуации. Так, Аникеев победил глубокий штопор, Зайкин не испугался длительного затекания купола, Титов не сбился, когда у него не раскрылся основной парашют. Никитин оказался прав: они действительно сплотились в один дружный коллектив. Вчера еще чужие люди, они объединились единым делом, открыли в себе естественное желание помогать друг другу, научились сопереживать. Они подружились.

Вскоре после возвращения космонавтов в Москву на занятия приехал невысокий, плотный человек в штатском. Судя по отношению к нему окружающих, большой начальник. Представился: профессор Сергеев, Карпов познакомил его с космонавтами. Расспрашивал мало, но очень внимательно разглядывал. Потом быстро уехал. «Это Королев!» — сказал вечером Карпов «по секрету». Так состоялась их первая встреча

Все интенсивнее становились медико-биологические тренировки на бегущей дорожке, качелях Хилова, в кресле Барани в баро-, тепло- и сурдокамерах, на вибростенде и центрифуге. Нагрузки возрастали. Космонавты тихо роптали. «Более всего проявилось негативное отношение будущих космонавтов, пожалуй, к трем «мероприятиям» медико-биологического раздела подготовки,— писал позднее Е. А. Карпов,— к повторявшимся вначале одним и тем же медицинским обследованиям, к повторным тренировкам с тепловыми нагрузками, да и к малоприятным, мягко говоря, вестибулярным тренировкам на вращаемом кресле. Потребовалось провести немало бесед, с тем чтобы убедить некоторых слушателей в необходимости проведения данных работ и оправданности их включения в программу подготовки к первым космическим полетам».

Неожиданно для самого себя трудно перенес «подъем» в барокамере на высоту 6 тысяч метров Николаев. Быковский, первым прошедший испытания одиночеством, успокаивал ребят: «Ничего особенного», но Попович потом признался: «Не легко». Николаев вспоминал: «Хотелось услышать хотя бы тонюсенький птичий писк, увидеть что-нибудь живое. И вдруг меня словно кто-то в спину толкнул. Поворачиваюсь — и в малюсеньком обзорном кружочке вижу глаз. Живой человеческий глаз. Он сразу исчез, но я его запомнил от табачного цвета глаза до каждого волоска рыжеватых ресниц... Не знаю, как я не выкрикнул: «Ну, еще взгляни! Посмотри хоть малость!» Что-то подобное испытал Воынов: «Живое слово, только одно слово — что бы я отдал тогда за него!» У Рафикова, когда он спал, отказал датчик дыхания. Дежурный врач заглянул в иллюминатор — и обмер: лежит и... не дышит! А может быть, все-таки спит! Он написал записку, положил ее в передаточный люк и включил микрофон: «Марс Закирович! Возьмите содержимое передаточного люка». Теперь перепугался проснувшийся Рафников: ему показалось, что начались слуховые галлюцинации. Первые сутки в скафандре при температуре 55 градусов и влажности 40 процентов провел Шонни. Следом в «парилку» сел Воынов. За ним — Рафиков. «По истечении третьих суток,— вспоминает он,— меня начал одолевать сон: постоянно видел и во сне фонтаны, водопады, море...»

Начались тренировки в невесомости, которая наступает, когда самолет — сначала это был реактивный истребитель, потом пассажирский ТУ-104—делает «горку». Гагарин записал уже на Земле в журнал: «Ощущение приятной легкости. Попробовал двигать руками, головой. Все получается легко, свободно. Поймал плавающий перед лицом карандаш... На третьей горке при невесомости попробовал поворачиваться на сиденье, двигать ногами, поднимать их, опускать. Ощущение

приятное, где ногу поставишь, там и висит, забавно. Захотелось побольше двигаться».

Тогда невесомость только веселила их...

Когда был создан корабль-тренажер и привлеченный Сергеем Павловичем в качестве инструктора-методиста летчик-испытатель Марк Лазаревич Галлай начал на нем занятия с космонавтами, стало ясно, что тренировать всю «двадцатку» неудобно, трудно, да и дело идет слишком медленно. Посоветовавшись, С. П. Королев, Е. А. Карпов и Н. П. Каманин, который с лета 1960 года вплотную занялся подготовкой космонавтов, решили выделить небольшую группу — шесть человек — для ускоренной подготовки к первым полетам.

Сделать это было нелегко: все летчики оправдывали надежды, которые на них возлагали. При отборе в «шестерку» в первую очередь учитывались «габарнты», результаты нагрузочных проб, успехи в теоретических занятиях, физическая подготовка. Воинов слишком широк, Шонин слишком высок. Комаров, безусловно, лидировал в математике и других точных науках, но у него не очень хорошо шли дела на центрифуге, а потом врач Адиля Радгатовна Котовская нашла у Владимира экстрасистолю — нарушение сердечного ритма, совсем грустные дела. Комаров очень хотел попасть в первую группу и, безусловно, имел на это право, прежде всего благодаря своей инженерной подготовке, но медики отдавали предпочтение летчикам, которые тоже прекрасно учились, помогали другим по математике, физике и механике и одновременно отличались завидным здоровьем и выносливостью. Учитывались результаты психологических тестов, которые проводились психологом Федором Дмитриевичем Горбовым и его сотрудниками. Наконец, учитывались просто характер, темперамент, общительность, отношение к окружающим, поведение в быту — короче, учитывалось все, что поддавалось учету. В конце концов была сформирована первая группа космонавтов в следующем составе: Варламов, Гагарин, Карташов, Николаев, Попович, Титов.

Однако очень скоро в этом составе произошли изменения. После первой же тренировки на центрифуге с 8-кратной перегрузкой врачи обнаружили на спине Карташова покраснения. Сначала подумали, что это случайность, но на последующих тренировках диагноз подтвердился: петехия — точечные кровоизлияния. Это было неожиданностью: красивый голубоглазый Анатолий был олицетворением силы и здоровья. Но приговор медиков был неумолим: его отчислили.

— Я считаю, — говорил мне Герман Титов, — что с Толей Карташовым медики перестарались. Это прекрасный летчик, и он мог стать отличным космонавтом. Если бы он проходил все испытания, которые проводят сегодня, то, безусловно, выдержал бы их...

Анатолий Яковлевич Карташов летал на Дальнем Востоке, потом работал летчиком-испытателем в Киеве. Сейчас — на пенсии.

Нелепая случайность выбила из первой группы и другого космонавта. Неподалеку от Звездного городка в лесу лежат красивые Медвежьи озера. Однажды космонавты приехали туда размяться, поплавать и позагорать. Варламов предложил прыгнуть в воду прямо с берега. Первым прыгнул Быковский, чиркнул носом по песку, вынырнул, предупредил:

— Тут мелко, ребята...

Шонин прыгнул и ткнулся в дно руками. Варламов — за ним. Вылез на берег хмурый: очень болела шея — он ударился головой о песок. Все думал — пройдет. Незаметно для друзей ушел к шоссе, на попутке вернулся в Звездный городок, пошел в госпиталь. Диагноз: смещение шейного позвонка. В тот же день его положили на вытяжку. Лежал он долго, очень тосковал. Ребята навещали его, подарили гитару. Наконец он выписался, снова начал тренироваться, но вскоре медицинская комиссия наложила свой запрет.

Валентин очень переживал. По общему мнению, это был человек талантливый, с явными техническими способностями, отличался безупречным здоровьем, любил спорт, был необыкновенно волевым и упорным. Покинув отряд, Варламов не уехал из Звездного городка, работал в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) и еще до старта Гагарина стал заместителем начальника командного пункта управления космическими полетами ЦПК. Затем старшим инструктором космических тренировок, специализируется на астронавигации. Друзья по отряду были очень внимательны к Валентину, все праздники они проводили вместе, но вот начались космические старты, вчера еще безвестные лейтенанты становились национальными героями, появились у них новые обязанности, новые заботы, начались поездки по разным странам, короче, жизнь переключила стрелку, и покатались они по разным рельсам. «Звезды над ним довлели», — с грустью сказал мне Герман Титов. Валентин понимал, что, не случись этого нелепого прыжка на Медвеьем озере, и он мог бы стать одним из первых наших космонавтов.

Я познакомился с ним в Звездном городке в апреле 1974 года. Мы вспоминали Гагарина.

— Я смертей видел много, — грустно говорил Валентин, — потерял трех близких друзей. Давно это было, и время уже стерло в памяти их лица... А его я не могу забыть. Вот стоит он передо мной, я его вижу, он для меня не погиб... Я не умаляю достоинств других ребят. У нас много отличных ребят. Но Юру никем нельзя заменить, это каждый скажет. Наверное, я смог бы много о нем рассказать, но я слишком хорошо знал его, чтобы сделать это вот так, сразу...

Больше поговорить нам не удалось. В октябре 1980 года Валентин Степанович Варламов умер от кровоизлияния в мозг.

Вместо Карташова в четверку был введен Григорий Нелюбов — он очень этого хотел и очень старался. Вместо Варламова — Валерий Быковский. Этот худенький лейтенант (он весил 63 килограмма) оказался необыкновенно выносливым: девятикратную перегрузку он выдерживал в течение 25 секунд.

После организации первой группы Королев стал заметно больше уделять внимания подготовке космонавтов, приезжал в Звездный городок, осматривал тренажеры, беседовал с космонавтами.

— Неплохо, — подвел итог Сергей Павлович. — На первых порах неплохо, но надо думать, что делать дальше. Без «заделов» нужного хода вперед не получится. Нам с вами большая работа предстоит, дороге товарищи. И чем дальше, тем работы будет все больше.

Потом он пригласил космонавтов к себе, в конструкторское бюро. Сначала сидели в кабинете, и Королев — он был в прекрасном настроении — увлеченно рассказывал о будущих полетах, о многодневных экспедициях и больших космических домах на орбите.

Притихшие, тесной группкой вошли они под гулкие своды огромного цеха, на стеллях которого стояли блестящие, еще без обмазки, шары спускаемых аппаратов будущих «Востоков». «Как зачарованные разглядывали мы еще невиданный летательный аппарат, — вспоминал эту встречу Юрий Гагарин. — Королев сказал нам то, чего мы еще не знали, что программа первого полета человека рассчитана на один виток вокруг Земли».

Они стояли и смотрели на корабль. И все они думали тогда об одном: ведь никакая сила в мире не остановит теперь этого человека и полет в космос действительно будет! И будет скоро!

— Ну, кто хочет посидеть в корабле? — весело спросил Королев.

— Разрешите мне. — Гагарин шагнул вперед, нагнулся, быстро расшнуровал, сбросил ботинки и в носках стал подниматься по стремянке к люку.

Королеву очень понравилось, что он снял ботинки.

ВЫБОР

Кандидатов в космонавты выбирали из лучших летчиков ВВС. Следовательно, у себя в полках это были или уже лидеры, или претенденты в лидеры. Мне рассказывали, какая сложная обстановка складывалась в школах для математически одаренных детей. У себя в классах они были первыми, а тут, оказывает-

ся, первые все. Собравшись вместе, космонавты должны были психологически перестраиваться. И все понимали это. Академик Борис Викторович Раушенбах, читавший космонавтам курс автоматического и ручного управления космическим кораблем, человек очень наблюдательный, вспоминает:

— Первое, чисто внешнее, что сразу бросалось в глаза, — различие форм («сухопутчики», «морячки») и званий, непривычное для военных аудиторий. Второе, внутреннее, — ощущалась их взаимная доброжелательность. Они хотели равенства.

Они хотели равенства и в то же время понимали, что итогом их работы будет неравенство, что выбрать из многих должны одного. Разрешить это психологическое противоречие было трудно, но, к чести этих еще столь молодых людей, не обладавших большим жизненным опытом, надо признать, что они разрешили его, и разрешили с большим тактом и достоинством.

Иллюзией было бы считать, что космонавты первого отряда — иеккий неразделимый монолит. Да и быть этого не могло. Согласно законам социальной психологии в «двадцатке» должны были образоваться микроколлективы, и они образовывались. Объединялись по возрасту: Комаров и Беляев были взрослее, мудрее, солиднее. Старше своих лет выглядел и спокойный, рассудительный Воынов. Объединялись по своему семейному положению: Бондаренко, Варламов, Гагарин, Нелюбов, Карташов, Попович, Рафнков, Титов, Шонин, молодожен Леонов были людьми семейными, некоторые уже отцами, что во многом определяло стиль их жизни, отличая от беззаботных холостяков: Анкиеева, Быковского, Николаева. Объединялись воспоминаниями о прежней своей службе, образовалось что-то наподобие студенческих землячеств: Хрунов и Горбатко, Гагарин и Шонин, Варламов, Рафнков и Филатьев. Выявлялись лидеры коммуникабельности, «заводилы», любители «поговорить по душам»: Попович, Рафиков, Нелюбов и, напротив, «тихони»: Анкиеев, Николаев, Хрунов, Филатьев — любители «по душам послушать». Объединял интеллект: были ребята более начитанные, знакомые с искусством, любящие театр, музыку, а были и менее искушенные в музах. Симпатии и антипатии могли объясняться и темпераментом, и увлечением, и приверженностью к какому-то виду спорта, и представлениями о разумном досуге. Были, к сожалению, любители выпить, равно как были и такие, которые относились к этому времяпрепровождению не то чтобы с активным осуждением, но с должным равнодушием. Короче, это были очень разные, самолюбивые, полные сил и желания эти силы проявить молодые мужчины. Карпов говорил мне, что управлять этой компанией было очень трудно, а определить в ней абсолютного лидера — еще труднее. Поэтому вопрос, а почему же все-таки именно Юрий Гагарин стал космонавтом № 1, — совсем не простой вопрос.

Анализируя свои беседы с его товарищами по отряду и людьми, которые готовили его к полету, я пришел к выводу, для себя неожиданному: Гагарин не был ярко выраженным лидером. Уже говорилось, что Волюнов был ведущим парашютистом, Быковский лучше других перенес испытания в сурдоборокамере, Николаев — на центрифуге, Шонин — в термокамере. Отмечались успехи Комарова в изучении техники. Варламова — в точных науках. Беляев являл собой пример опытного и справедливого командира. Карташов был отличный охотник, Леонов лучше всех рисовал, Попович пел, Варламов играл на гитаре, Рафиков жарил шашлык. Что делал лучше всех Гагарин? Этот вопрос заставлял моих собеседников задуматься. Хорошо играл в баскетбол. Но и Филатьев хорошо играл в баскетбол. Это отсутствие некоего главенствующего преимущества может показаться недостатком, но оно было как раз огромным достоинством Гагарина. Очень точно об этом сказал Алексей Леонов: «Он никогда никому не бросался в глаза, но не заметить его было нельзя». Дело не в том, что не был первым, а в том, что он всегда был одним из первых и никогда последним. Когда знаменитого скрипача Иегуди Менухина назвали первым скрипачом мира, он возразил:

— Ну что вы! Я не первый, я второй...

— А кто же первый?

— О! Первых много!

Да, первых всегда много...

Лидерство же Гагарина определилось так, как определяется лидерство конькобежца, который может не быть первым ни на одной дистанции, а в итоге стать чемпионом мира.

Однако было бы категорически неправильно представлять Гагарина как какого-то «середняка». «Середняки» в отряде были, и космонавтом № 1 никто из них не стал. Гагарин обладал целым рядом качеств, которые по праву определили его место в «шестерке».

Я встречался с ним несколько лет, наблюдал его в разных ситуациях и считаю, что главным его достоинством был ум. Именно ум, а не образованность — эти понятия часто путают. Гагарин был от природы умным человеком. Приходилось читать о нем как об этаким рубахе-парне, что в голове, то и на языке, искренность которого будто бы почти граничила с простоватостью. Это неправда. Если хотите, Гагарин был, что называется, «себе на уме». Когда надо, он скажет, а когда надо, промолчит. Другое дело, что он никогда не делал чего-либо, что могло бы принести какой-нибудь вред другим, поставить человека не то что под удар, а просто в невыгодное положение. Это был высокопорядочный, честный человек, обладавший от природы особой высокой интеллигентностью, кстати, не столь

уж редко встречающейся у простых и даже вовсе не образованных людей, особенно в русских деревнях.

Ответ на вопрос, что же отличало Гагарина от других космонавтов, я искал в книгах и беседах с людьми, хорошо знавшими его накануне его полета.

Титов. Каждый из нас горел желанием стать первооткрывателем. Между собой в разговорах мы все же склонялись к тому, что полетит Юрий Гагарин. Мы знали: он хороший товарищ, принципиальный коммунист, пользующийся большим уважением товарищей. Хочется избежать избитых слов «меня поражало», «мне было приятно». Скажу так: с Юрием можно было хорошо и спокойно делать любое дело и надежно дружить. С ним я чувствовал себя легко и просто в любой обстановке.

Я не знал никого, кто с такой легкостью и свободой входил бы в контакт с любым человеком. Со всеми был на равных. Это тоже относилось к числу его талантов...

Николаев. По всему было видно, что первым космическим навигатором предстоит стать Юрию Гагарину. Почему именно ему? Скажу лишь одно: в этом человеке оказалось столько превосходного в знаниях и закалке, что мы, космонавты, сами еще не зная решения Государственной комиссии, единодушно прикинули: «Лететь Юрию».

Попович. Как секретарь партийной организации я сразу назвал первым кандидатом Гагарина.

Есть такое понятие — «гражданская зрелость». Когда человек вступает в пору своей гражданской зрелости, зависит не от того, сколько лет он уже прожил на свете, а от того, в каком возрасте он осознал себя гражданином. Созревает раньше тот, кто раньше начинает самостоятельную жизнь.

Быковский. Чем он отличался от других? Мы все были молодые летчики, для нас командир полка был царь и бог. А вот в Юре я сразу отметил какую-то свободу, смелость в общении с начальством. Нет, там не было и тени какой-то ни было фамильярности, развязности, нет. Но он как-то спокойно, с достоинством, с какой-то веселой ноткой в голосе говорил и с Карповым, и с Каманиным, и даже с маршалом Вершининым.

Леонов. Он обладал удивительной способностью в каждом своем товарище подмечать лучшее, обращать внимание других на это лучшее. Причем делал он это очень тонко и деликатно, так, что человек от его похвалы чувствовал себя окрыленным... так, что обычным человеком, но во всем его облике, манере держаться, в его рассуждениях присутствовало что-то неуловимое, доброе...

Мы между собой провели опрос: кому лететь первому. Голосование было тайным: писали записки. Только в трех

записках были другие фамилии, во всех остальных — Гагарин. Ребята его любили.

Волынов. Не знаю человека, который бы так нравился другим, очень разным людям.

Хрунов. Гагарин был необычайно сосредоточенным, когда надо — требовательным, строгим. И к себе, и к людям. Поэтому вспоминать влопад и невлопад об улыбке Гагарина — этого великого труженика — значит заведомо обеднять его образ.

Шонин. Везде разный, и вместе с тем везде он остается одним и тем же — самим собой...

Варламов. Конечно, у него были свои недостатки. А у кого их нет? Конечно, он ошибался, а кто не ошибается? Но недостатки его были как-то не видны. Наверное, потому, что их было меньше, чем у других людей.

Зайкин. Говорят: Гагарин спокойный, уравновешенный... Он, когда в хоккей играл, так раскалялся, куда там! Бывало, кричит: «Ну погоди, я тебе это припомню!» Но был необыкновенно отходчив...

Гагарин обладал очень ценным человеческим качеством: он никогда не опаздывал.

Карпов. Неоспоримые гагаринские достоинства: беззаветный патриотизм, непреклонная вера в успех полета, отличное здоровье, неистощимый оптимизм, гибкость ума и любознательность, смелость и решительность, аккуратность, трудолюбие, выдержка, простота, скромность, большая человеческая теплота и внимание к окружающим людям.

Раушенбах. Гагарин никогда не заносился и не нахальничал. Он обладал врожденным чувством такта.

Королев. В Юре сочетаются природное мужество, аналитический ум, исключительное трудолюбие. Я думаю, что если он получит надежное образование, то мы услышим его имя среди самых громких имен наших ученых.

Валентина Ивановна Гагарина. Как-то дети меня спросили: «Мама, почему именно наш папа первым полетел в космос?» Вопрос естественный. Почему он, а не другой, когда их была целая группа, подготовленных, тренированных? Были и одноклассники, а он женат, двое маленьких детей, мало ли что может случиться...

«Не знаю, девочки, — ответила им. — Наверное, так было надо».

Ответила и подумала: «А ведь я так ничего и не сказала им, и вопрос остался вопросом. Впрочем, вопросом не только для них, но и для меня...»

Все эти слова были написаны и сказаны уже после полета Гагарина, когда люди, даже если они этого и не хотели, находились под впечатлением гагаринского триумфа, когда в первого космонавта пристально всматривалось все челове-

чество, и многие его качества действительно выявлялись в это время более ярко. Осенью 1960 года в «шестерке» Гагарин не был еще общепризнанным лидером, но безусловно был одним из первых претендентов на лидера.

Раушенбаху нравился Нелюбов, Карпов ценил в Нелюбове быстроту ума, темперамент и умение держать слово, хотя он видел и его недостатки: не всегда оправданное стремление к первенству во всем, почти полное отсутствие самокритики.

Карпов говорил мне, что в разные периоды подготовки он отдавал предпочтение сначала Поповичу, потом Титову. В Титове больше всего ему нравилась прямота. Герман, если попадал впросак, никогда не выкручивался, не изобретал себе оправданий. С другой стороны, в Титове Карпова настораживала его импульсивность: уж если он срывался, то становился практически неуправляем. Высоко ценил Титова и Галлай который говорил об этом Королеву. Сам Королев, очевидно тоже отдавал предпочтение Титову, но в еще большей степени Гагариину. Леонов считает, что Гагарин понравился Королеву еще во время первой поездки космонавтов в КБ. Яздовский рассказал, что Королев сказал ему однажды о Гагарине: «Мне нравится этот мальчишка...»

Быковский вспоминает, что впервые о том, что первым полетит Гагарин, заговорили как-то вдруг в самолете, когда «шестерка» осматривала предполагаемое место посадки «Востока» под Саратовом. Гагарин тогда удивился: «Почему я?»

Стать первым очень хотелось Григорию Нелюбову. И может быть, именно эта откровенная жажда лидерства мешала ему им стать. Судя по воспоминаниям свидетелей всех этих событий, Нелюбов был человеком незаурядным. Хороший летчик, спортсмен, он выделялся и своим общим кругозором, удивительной живостью, быстротой реакции, природным обаянием, помогавшим ему очень быстро находить общий язык с людьми. По словам Шоннина, это был «проходной» парень. Никто, кроме Нелюбова, не умел так хорошо «договариваться» с врачами, преподавателями, тренерами. Он обладал завораживающей способностью, иногда даже вопреки воле своего собеседника, вводить его в круг своих собственных забот и превращать в своего союзника и помощника. Это был шутник, анекдотчик, «душа компании», любитель шумных застолий, короче, «гусар». Однако психологи отмечали в нем постоянное желание быть центром всеобщего внимания, эгоцентризм, который мешал ему соотносить личные интересы с интересами дела.

В конце концов он стал как бы вторым (после Титова) дублером Гагарина, хотя официально так не назывался. Во время старта Гагарина его в отличие от Титова не одевали в скафандр, но он вместе с Николаевым ехал на старт в том же автобусе и провожал Юрия до самой ракеты. По общему

миению почти всех космонавтов, Нелюбов мог со временем оказаться в первой пятерке советских космонавтов.

Но случилось иначе. Подвело Григория как раз его «гусарство». Случилось это уже после полета Титова. Стычка с военным патрулем, который задержал Нелюбова, Аникеева и Филатьева, на железнодорожной платформе, дерзкая надменность в комендатуре грозили рапортом командованию. Руководство Центра упростило дежурного по комендатуре не посылать рапорта. Тот скрепя сердце согласился, если Нелюбов извинится. Нелюбов извиняться отказался. Рапорт ушел наверх. Разгневанный Каманин отдал распоряжение отчислить всех троих. Космонавты считают, что Аникеев и Филатьев пострадали исключительно по вине Нелюбова. Этим спокойным, уравновешенным ребятам всякое «гусарство» и бравада вовсе не были свойственны. Они, что называется, «погорели за компанию».

Позднее был вынужден покинуть отряд и Марс Рафиков.

Последний из нелетавших космонавтов — Дмитрий Заикин продолжал тренировки вместе с другими космонавтами. Когда перед полетом «Восхода-2» заболел Виктор Горбатко — дублер Беляева, его заменил Заикин. Возможно, он стал бы командиром одного из первых «Союзов», но в апреле 1968 года медицинская комиссия обнаружила у Заикина язву, и с мечтами о космосе пришлось расстаться. Он остался в Центре подготовки. В настоящее время полковник Дмитрий Алексеевич Заикин — ведущий инженер по подготовке космонавтов к физиологическим экспериментам.

Все ушедшие из отряда космонавты продолжали службу в рядах ВВС. Не расставался с авиацией до ухода в запас Иван Николаевич Аникеев. Сейчас он живет в городе Бежецке Калининской области. Валентин Игнатьевич Филатьев до прихода в ВВС закончил педагогическое училище. Выйдя в запас из авиации ПВО, он поселился в Орле, преподавал в ГПТУ. Сейчас на пенсии. У него уже есть внук Павлик. Много летал в Прикарпатье и Закавказье Марс Закирович Рафиков, выполнял сложные опытные полеты, даже катапультироваться пришлось однажды. Но известно: рабочий век летчика-истребителя недолог. Ведь все они были старше Гагарина... Расставшись с авиацией, Рафиков поселился с семьей в Алма-Ате, работал на домостроительном комбинате. Трагически сложилась судьба Григория Григорьевича Нелюбова. Из отряда он был направлен в одну из частей ВВС на Дальний Восток. И вот Гагарин и Титов, а за ними Николаев, Попович, Быковский — вчерашние друзья — уже слетали в космос! Даже Комаров, которого не было в их «шестерке», и тот слетал! А он?!! Нелюбов всем рассказывал, что он тоже был космонавтом, был даже дублером Гагарина! Не все верили ему. Он переживал большой душевный кризис... В выпи-

ске из рапорта я прочел (воспроизвожу дословно): «18 февраля 1966 года в пьяном состоянии был убит проходящим поездом на железнодорожном мосту станции Ипполитовка Дальневосточной железной дороги». Внннть здесь судьбу, мне кажется, нельзя. Судьба была благосклонна к Нелюбову. Просто не хватило у человека сил сделать свою жизнь, так счастливо и интересно начавшуюся...

О чем говорят эти невеселые истории? Прежде всего о той взыскательности, с которой подходили в Центре подготовки к отбору в космонавты. «Мы тяжело переживали их уход,— пишет Георгий Шонин.— И не только потому, что это были хорошие парни, наши друзья. На их примере мы увидели, что жизнь — борьба и никаких скидок или снисхождения никому не будет. Нас стало меньше, и мы сплотились теснее». Партийная принципиальность, требовательность, воинская дисциплина, гласность товарищеской критики — все эти качества стали нормами жизни Центра подготовки космонавтов в наши дни. Мало просто быть крепким парнем и грамотным специалистом. Надо отвечать высоким нравственным, моральным, этическим требованиям, которые предъявляются к людям твоей профессии. И может быть, не тренажеры и методики, а вот эти традиции — главное и самое богатое наследство, которое получили нынешние наши космонавты от гагаринского отряда.

Вплоть до старта Гагарина все они в ритме, все более напряжением, продолжали тренировки. Первая группа проходила положенные испытания на различных стендах, «вне очереди» занималась на тренажере, уже досконально знакомилась с ракетно-космической техникой в КБ Королева. В декабре эти космонавты провели на тренажере зачетные тренировки. К ним приехал главком ВВС Вершинин, все ожидали какой-нибудь накладки, какого-нибудь столь часто случающегося именно в присутствии высокого начальства «визит-эффекта», но все прошло хорошо, а космонавты, хотя и волновались, конечно, отвечали уверенно и правильно на все вопросы.

Наконец на 17—18 января 1960 года были назначены экзамены «шестерки». Если вдуматься, это тоже событие эпохальное, поскольку никто и никогда не сдавал экзамены на право летать в космическом корабле.

Впрочем, тогда все было «впервые», но об этом как-то не задумывались... Первый день сдавали «практику» — в тренажере проверялось умение управлять кораблем. На следующий день — теория. В экзаменационную комиссию входило десять человек: медники, конструкторы, летчики. Марк Лазаревич Галай, один из членов этой комиссии, пишет: «Сейчас, в наши дни, готовность к полету будущих космонавтов проверяют уже летавшие космонавты. Тогда такой возможности не было».

Председатель комиссии — генерал Каманин вызывает первого экзаменуемого.

— Старший лейтенант Гагарин к ответу готов.

— Занимайте свое место в тренажере. Задание — нормальный одновитковый полет.

И снова, как тогда в сборочном цехе у Королева, он первым сел в корабль-тренажер...

СТАРТ

Я преднамеренно не рассказывал о подготовке техники к запуску человека в космос, поскольку это — отдельный большой рассказ. История становления «Востока» по своей напряженности и драматизму не уступает истории становления его первого командира. Именно на 1960 год — время подготовки космонавтов — приходится пик напряжения в работе над космическим кораблем. В январе 1961 года космонавты готовились к своим экзаменам, а Королев — к своим. Он так и писал жене Нине Ивановне с Байконура: «Готовимся и очень верим в наше дело».

Человек и техника вызревали одновременно. Летом 1959 года, когда медики размышляли над тем, каким же требованиям должен отвечать космонавт, в КБ Королева думали, каким требованиям должен отвечать корабль, и заканчивали оформление технической документации на изготовление экспериментальных беспилотных аппаратов.

В будущем корабле Королев стремился воплотить свое многолетнее конструкторское кредо: абсолютную надежность. Вся внутренняя логика аппарата была подчинена единой цели: насколько это возможно, облегчить человеку проникновение в мир чуждый, а главное — неизвестный ему. В своем докладе на научном симпозиуме по истории ракетно-космической науки и техники, посвященном 20-летию космической эры, нынешний руководитель подготовки советских космонавтов, летчик-космонавт СССР дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации В. А. Шаталов как раз говорил об этом:

— Несмотря на солидный объем предварительных исследований и экспериментов, перед первым полетом человека все же существовали серьезные опасения, касающиеся возможного нарушения психофизиологического состояния космонавта и его работоспособности. Эти опасения нашли отражение в конструкции космического корабля. Так, наряду с обеспечением возможности ручного управления системами корабля была создана система полностью автоматизированного управления кораблем, обеспечивающая выполнение всей программы полета

от старта до посадки. Кроме того, обеспечивалось дублирование всех основных систем корабля.

15 мая, в день, когда космонавты вернулись в Москву после парашютных прыжков, на Байконуре стартовал первый «Восток». На нем не было еще теплозащитной обмазки — сверхзвуковые аэродинамические трубы еще проверяли расчеты тепловых потоков, сделанные в лаборатории академика Георгия Ивановича Петрова. Не было еще на этом первом «Востоке» и парашютной системы, ее срочно «доводили» в НИИ Федора Дмитриевича Ткачева. Не было катапульты — над ней работали в ЛИИ и в КБ Семена Михайловича Алексеева. Возвращение этого корабля на Землю не предусматривалось. Королев хотел лишь проверить в реальной обстановке все системы, обеспечивающие собственно полет в космосе, включая систему ориентации, разработанную в отделе Бориса Викторовича Раушенбаха, тормозную двигательную установку, созданную в КБ Алексея Михайловича Исаева, и автоматику разделения отсеков космического аппарата. За сутки до посадки корабля инженеры Раушенбаха нащупали изъян в основной системе ориентации. Раушенбах предупредил Королева о возможном отказе и предложил запасной вариант: ориентация по Солнцу. Королев заупрямился, он не любил отступать от расчетных режимов, хотелось, чтобы все было «как положено». Инфракрасная вертикаль ориентации не сработала. Корабль развернуло соплами назад, и когда включилась тормозная установка, она начала не тормозить, а разгонять его. «Восток» ушел на более высокую орбиту. Команда на разделение прошла; но назвать этот первый пуск удачным было, конечно, нельзя. Все ожидали, что СП (так называли за глаза Главного конструктора) будет в великом гневе. Но он обманул эти ожидания.

— Мы возвращались с работы вместе с С. П. Королевым на машине, — вспоминал его заместитель Константин Давыдович Бушуев. — Не доезжая квартала до его дома, Сергей Павлович предложил пройти пешком. Было раннее московское утро. Он возбужденно, с каким-то восторженным удивлением вспоминал подробности ночной работы. Признаюсь, с недоумением и некоторым раздражением слушал я его, так как воспринял итоги работы, как явно неудачные! Ведь мы не достигли того, к чему стремились, не смогли вернуть на Землю наш корабль. А Сергей Павлович без всяких признаков раздражения увлеченно рассуждал о том, что это первый опыт маневрирования в космосе, перехода с одной орбиты на другую, что это важный эксперимент, и в дальнейшем необходимо овладеть техникой маневрирования космических кораблей, и какое это большое значение имеет для будущего. Заметив мой удрученный вид, он со свойственным ему оптимизмом уверенно

заявил: «А спускаться на Землю корабль, когда надо, у нас будут! В следующий раз посадим обязательно...»

Этот эпизод иллюстрирует важнейшую черту стиля работы великого конструктора. В современной науке он переносил постулат классической науки: «Отрицательный результат — это тоже результат». Он был убежден в справедливости слов мудрого француза Ларошфуко, который утверждал: «Не бывает обстоятельств столь несчастных, чтобы умный человек не мог извлечь из них какую-нибудь выгоду, но не бывает и столь счастливых, чтобы безрассудный не мог обратить их против себя». Он понимал, что отказы техники возможны, но всегда искал способ использовать этот негативный опыт для ее совершенствования. У Королева были неудачи, но у него не было повторных неудач.

Отказ носителя на участке выведения 23 июля отодвинул следующий старт на 19 августа. И тогда Королев не обманул Бушуева: второй «Восток» благополучно приземлился. Впервые из космоса вернулись живые существа — собаки Белка и Стрелка, две крысы, 28 мышей и целый рой мух-дрозофил. Все, казалось бы, было хорошо, но ответственный за биологическую программу Владимир Иванович Яздовский ходил мрачным. Государственной комиссии он доложил данные телеметрии: на четвертом витке Белка билась, ее рвало. Яздовский считал, что первый полет человека должен быть одновитковым. Большинство членов Государственной комиссии соглашалось с ним.

1 декабря 1960 года новым пуском корабля с животными Королев хочет закрепить достигнутый успех, но терпит неудачу: неполадки в тормозной установке приводят «Восток» на нерасчетную траекторию спуска. Через три недели носитель «недостаскивает» корабль на орбиту, в начале работы третьей ступени спускаемый аппарат отделяется по аварийной команде и благополучно приземляется вместе со всей своей живностью. И снова упорные поиски гарантий, исключающих возможность повторения осечки, и снова анализ всех положительных факторов, которые укрепляют веру в будущую победу.

Королев не торопится. Никто не определял Главному конструктору количество экспериментальных полетов космического корабля. Королев работал по графику, им же составленному, а затем утверждённому в вышестоящих инстанциях. Его не упрекали за неудачи, не подгоняли в работе. Ему доверяли. И именно ответственность перед самим собой, перед людьми, которые крепко верили ему и тоже, как и он, не жалели ни времени, ни сил для общей победы, именно доверие партии и правительства, которое он ощущал постоянно, обязывали его победить. Выговоры были бы бессмысленны, потому что наказать его больше, чем он наказывал сам себя, было невозможно.

9 марта 1961 года, когда в Звездном городке у Гагариных отмечали 27-летие Юры, Королев на Байконуре преподнес ему поистине королевский подарок: новый «Восток» стартовал в космос с собакой Чернушкой и антропометрическим манекеном, в груди, животе и ногах которого были закреплены клетки с крысами, мышами, препараты с культурой живой ткани и микроорганизмов. Американцы в газетах называли этот «Восток» «Ноевым ковчегом». Полет прошел без замечаний, корабль благополучно приземлился через 115 минут. И все-таки Королев решает, что нужно провести еще один пуск, еще раз убедиться, что процесс «обкатки» и «доводки» окончен, что космический корабль надежен. Последний пуск — «генеральную репетицию» — Королев назначает на 25 марта. Решено было пригласить на этот запуск «шестерку» космонавтов.

Космодром поразил их. Огромное пространство монтажно-испытательного корпуса, ракета, лежащая в могучих объятиях установщика, циклопический стартовый комплекс с пропастью пламеотводного канала — все это казалось чем-то фантастическим, но вместе с тем, делало будущий полет более реальным, и они чувствовали, что уже не месяцы, а недели или даже дни отделяют их от первого старта человека в космос.

— С каким-то смешанным чувством благоговения и восхищения смотрел я на гигантское сооружение, подобно башне возвышающееся на космодроме, — вспоминал Гагарин. — Вокруг него хлопотали люди, выглядевшие совсем маленькими. С интересом я наблюдал за их последними приготовлениями к старту.

И раздался грохот, раздирающий небеса, и излился свет, затмевающий солнце...

Манекен «Иван Иванович», собака Звездочка и другие биообъекты, совершив кругосветное путешествие, целыми и невредимыми вернулись на Землю. 28 марта в конференц-зале президиума Академии наук вице-президент Александр Васильевич Топчиев провел пресс-конференцию по результатам исследований на пяти кораблях-спутниках. Приехало много советских и иностранных журналистов. Толкаясь и мешая друг другу, все усердно фотографировали Чернушку и Звездочку, тихо повизгивающих в горячем свете перекалок. В первом ряду сидели Гагарин, Титов и другие космонавты. На них никто не обращал внимания.

Благополучное приземление последнего «Востока» означало, что экспериментальный период подготовки к полету человека в космос завершен. Королев в Москве доложил о результатах всех испытаний. 3 апреля было принято решение правительства о запуске в космос пилотируемого корабля. В тот же день в 16.00 Сергей Павлович вылетел на Байконур. Счет пошел уже на дни, на часы.

К этому времени из состава «шестерки» явно выделялись лидеры: Гагарин и Титов. В окончательном выборе первого космонавта вряд ли решающее значение имела степень его профессиональной готовности, поскольку вся «шестерка» доказала на экзаменах, что корабль они знают. Физическое состояние также уравнивало всех кандидатов. Нужно было учесть другие факторы. Первый космонавт должен был в какой-то степени олицетворять эпоху, быть символом его времени и его Родины. Объясняя выбор Юры, Герман Титов правильно пишет: «Есть что-то символическое в жизненном пути и биографии Гагарина. Это — частичка биографии нашей страны. Сын крестьянина, переживший страшные дни фашистской оккупации. Ученик ремесленного училища. Рабочий. Студент. Курсант аэроклуба. Летчик. Этой дорогой прошли тысячи и тысячи сверстников Юрия. Это дорога нашего поколения...»

Евгений Анатольевич Карпов рассказывал:

— Фотографии Юры и Германа я отнес в Центральный Комитет партии Ивану Дмитриевичу Сербину. Он показывал их членам Президиума ЦК КПСС. Потом позвонил и сказал: «Оба парня отличные! Выбирайте сами...»

— После запуска Звездочки я подумал, что первым полетит Гагарин, — вспоминает Валерий Быковский. — Он первым сдавал экзамены, на него примеряли скафандр, кресло, подгоняли привязные ремни. Правда, они с Германом были очень похожи по телосложению, разве что Юра чуть плотнее, но все-таки по каким-то мелким штрихам, например, по тому, как спрашивали его, что он любит, а что нет, когда готовили тубы с питанием, по тому, как обращались к нему Карпов, Каманин, можно было судить, что Юра скорее всего будет первым...

— Впервые я почувствовал, что полетит первый Гагарин, перед отлетом на космодром, — вспоминает Герман Титов. — Мы ездили тогда в Москву, на Ленинские горы, потом на Красную площадь, к Мавзолею. И я заметил, что фотокорреспонденты и кинооператоры больше других снимают Юру. И подумал: «Значит, все-таки Юра...» Хотя ничего еще не было решено, и я, конечно, надеялся, что первый полет могут доверить и мне...

В Звездном состоялось партийное собрание. На повестке дня — один вопрос: «Как я готов выполнить приказ Родины». Слово взял Гагарин.

— Приближается день нашего старта, — сказал он. — Этот полет будет началом нового этапа нашей работы. Я очень рад и горжусь тем, что попал в первую группу. Я не жалел своих сил и стараний, чтобы быть в числе передовых. Заверяю, что и впредь не пожалею ни сил, ни труда и не посчитаюсь ни с чем, чтобы выполнить задание партии и правительства. На

выполнение предстоящего полета мы идем с чистой душой и большим желанием выполнить это задание как положено...

В начале апреля все космонавты, не входившие в «шестерку», вылетели на НИПы — наземные измерительные пункты, расположенные по всей стране. Утром 5 апреля шестеро улетели на космодром.

«Страшное дело, когда решалась его судьба о переводе в Звездный, в отряд так называемых испытателей, он волновался и переживал значительно больше, — вспоминает Валентина Ивановна Гагарина. — А тут был спокоен, хотя и немножко рассеян.

— Береги девчонок, Валюша, — сказал он тихо и вдруг как-то очень по-доброму посмотрел на меня.

Я поняла, что все уже предreshено и отворотить этого нельзя... В ту ночь мы говорили о разном и не могли наговориться... Утром он еще раз осмотрел свои вещи — не забыл ли что? — шелкнул замком своего маленького чемоданчика... Юра поцеловал девочек. Крепко обнял меня... Я вдруг почувствовала какую-то слабость и торопливо заговорила:

— Пожалуйста, будь внимателен, не горячись, помни о нас...

И еще что-то несвязное; что — сейчас трудно вспомнить.

Юра успокаивал:

— Все будет хорошо, не волнуйся...

И тут меня словно обожгло. Не знаю, как это получилось, но я спросила о том, о чем, наверно, не должна была спрашивать тогда:

— Кто?

— Может быть, я, а может, и кто-нибудь другой...

— Когда?

Он на секунду задержался с ответом. Всего на секунду:

— Четырнадцатого.

Это я уже потом поняла, что он назвал это число только для того, чтобы я не волновалась и не ждала в канун действительной даты.

Космонавты, Каманин, Карпов, врачи и кинооператоры вылетели на космодром на трех самолетах ИЛ-14. Юрий и Герман летели на разных машинах. На Байконуре их встретил Королев и руководители космодрома. Сергей Павлович сказал, что планирует вывезти ракету на старт 8 апреля, а 10—12 апреля можно стартовать.

— Как видите, в вашем распоряжении еще есть время, — улыбнулся Главный конструктор.

От Карпова Королев потребовал чуть ли не поминутного графика занятости космонавтов на весь предстартовый период и напомнил, что он, Карпов, несет персональную ответственность за готовность космонавтов к старту. В голосе Королева

удивительным образом сплавлялись ноты дружеского доверия и жесткой требовательности. Только он один умел так разговаривать с людьми.

Утром 6 апреля на космодром прилетел Константин Николаевич Рудиев — председатель Государственной комиссии. В 11.30 началось техническое совещание, на котором обсуждалась отладка регенерационной системы, результаты испытаний скафандров и кресла и полетное задание космонавту.

Галлай и другие методисты высказали пожелание, чтобы космонавтам разрешили посидеть до старта в корабле. Хотя тренажер был полной его копией, но реальный корабль — это реальный корабль. Это предложение поддержал и ведущий конструктор «Востока» Олег Генрихович Иванович, а затем и Королев. 7 апреля облаченные в скафандры Гагарин, а за ним Титов провели в реальном «Востоке» свою последнюю тренировку. Вечером космонавты смотрели кинохронику о полетах маекенов на двух последних беспилотных кораблях.

Взвешивание в МИКе показало, что «Восток» находится по весу почти у допустимого предела. Вес пяти беспилотных кораблей колебался в пределах 4540—4700 килограммов, корабль же Гагарина вместе с командиром весил 4725 килограммов. Вспомнили, что Титов немного легче Гагарина и в связи с этим, может быть, следует запускать Титова, но Королев сказал, что менять ничего не надо, а если потребуется, можно снять некоторую контролирующую аппаратуру, которая в самом полете никакого участия не принимает.

На 8 апреля было назначено заседание Государственной комиссии, на котором после разбора некоторых технических вопросов утверждался экипаж. Каманин предложил Гагарина в качестве основного командира корабля. Титова — в качестве запасного. Предложение было принято без долгих обсуждений.

— Девятого апреля Николай Петрович пригласил Юрия и меня к себе в комнату и объявил нам, что полетит Гагарин, а я буду его дублером, — рассказывал Герман Титов.

Мне приходилось много раз читать, как радовался Титов за своего друга Юрия, когда Гагарина назначили командиром первого «Востока». За Гагарина он, может быть, и радовался, а за себя? Разве не был бы Титов просто примитивным человеком, если бы он в эти минуты не испытал ничего, кроме радости за своего товарища? Так зачем же нам так его духовно обеднять? На мой вопрос: «Обидно было?» — Герман ответил с полной откровенностью:

— Да о чем ты говоришь! Обидно мне было, не обидно, но, по крайней мере, я очень расстроился! Встань на мое место...

Достаточно посмотреть на понуро сидящего Титова в кадрах кинохроники, снятых во время заседания Государственной комиссии, чтобы понять, что не только радость за Юрия

испытывал он тогда. И его можно понять, при этом ничуть не умаляя его дружеских чувств к Гагарину. Галлай также свидетельствует: «Очень достойно вел себя Титов в этой психологически непростой ситуации».

На следующий день на большой открытой террасе, построенной у края высокого берега Сырдарьи, состоялась встреча космонавтов с учеными, конструкторами, командирами стартовых служб. Многие из них никогда не видели космонавтов и с интересом рассматривали молодых летчиков. На встрече был председатель Госкомиссии К. Н. Руднев, главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения К. С. Москаленко, С. П. Королев, Н. П. Каманин, руководители космодрома и другие члены Государственной комиссии. Старались избежать официоза: на столах стояли вазы с фруктами, сидро, минеральная вода. Королев шутил, просил космонавтов и их тоже «свозить» в космос на будущем трехместном корабле.

Вечером состоялась официальная, как называли ее, «парадная», Госкомиссия. Кратко выступил Королев. Каманин представил Гагарина и Титова. Когда слово предоставили Гагарину и он начал говорить, вдруг погасли все юпитеры. Гагарин от неожиданности замолчал. Оказывается, у кинооператоров кончилась пленка, и они перезаряжали аппаратуру. Вскоре все опять включили, и Гагарину пришлось повторить начало своего выступления.

11 апреля в 5 часов утра ракету с пристыкованным к ней и закрытым защитным чехлом «Востоком» вывозили из МИКа на старт. Королев по традиции шел за ней до поворота, где ждала его машина. Сел сзади с Леонидом Александровичем Воскресенским — заместителем Королева по испытаниям. Впереди с шофером Анатолий Семенович Кириллов — «стреляющий». Воскресенский и Кириллов, собственно, и отвечали за пуск. Неожиданно Королев заговорил о том, все ли они успели предусмотреть, нет ли каких-нибудь скрытых изъянов в носителе или в корабле. Его попутчики молчали, не понимая, что этот очень сильный и самолюбивый человек просит их успокоить его...

После установки ракеты Гагарин и Титов ездили на стартовую площадку, был короткий митинг, потом обедали вместе с Каманиным, ели из туб разные пюре и желе; по правде сказать, без особого аппетита. Потом по просьбе Королева Борис Викторович Раушенбах и Константин Петрович Феоктистов провели с Юрием и Германом еще один инструктаж, впрочем, уже совершенно излишний.

По просьбе Карпова им отвели домик неподалеку от стартовой площадки, где они должны были провести последнюю ночь перед полетом. Вечером, когда Каманин уточнял с ними

расписание будущего дня, неожиданно пришел Королев. О деле не говорил, пробовал как-то натушно шутить.

— Через пять лет можно будет по профсоюзным путевкам в космос летать...

Ребята смеялись. Сергей Павлович улыбался только губами, внимательно рассматривал их, словно видел в первый раз. Потом взглянул на часы и ушел так же быстро, как появился.

Специальная группа медиков во главе с Иваном Тимофеевичем Акулиничевым наклеила на Юрия и Германа датчики, а в 22.00 космонавты были уже в постелях. Яздовский по секрету поставил на их матрацах тензодатчики: ему было интересно узнать, будут они волноваться, ворочаться во сне, и он усадил инженера Ивана Степановича Шадринцева и психолога Федора Дмитриевича Горбова следить за показаниями этих датчиков. И Юрий, и Герман спали совершенно спокойно. В ту предстартовую ночь в домике, где спали космонавты, дежурил Евгений Анатольевич Карпов и врач Андрей Викторович Никитин. Часто приходил Камаинн. Зашел Королев и, удостоверившись, что космонавты спят, сразу ушел.

В 5 часов утра прошла проверка связи со всеми НИПами.

В 5.30 Карпов разбудил Гагарина и Титова.

— Как спалось? — спросил Евгений Анатольевич.

— Как учили, — весело ответил Гагарин.

Завтракали из туб. В 6.00 на старт пришла машина медиков, привезли пищу, заложили в корабль. Врачи провели короткий медицинский осмотр, измерили кровяное давление. Иван Тимофеевич Акулиничев наклеил на Юру датчики, а Виталий Иванович Сверщек помог ему надеть скафандр. Тут же были и другие специалисты: И. П. Абрамов, Ф. А. Востоков, В. Т. Давидьянц и их шеф — Семен Михайлович Алексеев. Пришел Королев, вместе с ним — Исаев, Богомолов, другие конструкторы.

— Меня одевали первым, — вспоминает Титов, которому помогал справиться со скафандром Георгий Сергеевич Петрушин, — Юрия вторым, чтобы ему поменьше париться — вентиляционное устройство можно было подключить к источнику питания только в автобусе.

Потом автобус, стартовая площадка, объятия, поцелуй, возбужденные лица ребят-космонавтов, короткий доклад председателю Государственной комиссии, и вот уже лифт поднимает Юрия к вершине ракеты. Переговорив со многими людьми, мне удалось установить, кто же действительно был рядом с Гагариным в последние минуты перед стартом. В лифте, а затем уже у самого люка с Гагариным были: ведущий конструктор «Востока» Олег Иванович, ведущий инженер по системам жизнеобеспечения Федор Востоков, стартовик Владимир Шаповалов,

два механика-монтажника — Николай Селезнев и Владимир Морозов и кинооператор Владимир Суворов.

— Перед глазами, словно это было вчера, Юрий у входа в кабину,— рассказывал Титов.— «Ребята, один за всех и все за одного!» — крикнул он. И тут я вдруг понял, что это не тренировка, что наступил тот заветный и долгожданный час.

О маленькой заминке с люком, которую в считанные минуты вместе с механиками устранил Олег Ивановский, о Павле Поповиче, который сидел в командном бункере на связи с Гагариным, о том, как переговаривались «Кедр» (Гагарины) с «Зарей» (Земля), о Леониде Воскресенском у перископа, исторической команде Анатолия Кириллова: «Пуск!» и пальце оператора Бориса Семеновича Чекунова, который нажал пусковую кнопку, писали много раз. В 9 часов 07 минут 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин крикнул: «Поехали!»

С этой минуты он принадлежал истории.



Теодор Гладков

ПЕРВЫЙ ИЗ ДЕСЯТИ, КОТОРЫЕ ПОТРАЯСЛИ МИР

Джон Рид родился ровно сто лет назад — 22 октября 1877 года, в состоятельной семье. Он получил превосходное образование в престижном Гарвардском университете, перед ним открывалась блистательная карьера... Он отказался от всего, в том числе от родственных связей, чтобы отдать свой талант служению рабочему классу. Джон Рид умер, не дожив и до тридцати трех лет, но и этой короткой жизни хватило, чтобы войти в историю. Выдающийся американский журналист, он по собственной воле и свободному выбору стал участником Великой Октябрьской социалистической революции, ее первым и лучшим летописцем. И потому прах его покоится на священной для каждого советского человека Красной площади у Кремлевской стены.

Замечательная книга Джона Рида о русской революции «Десять дней, которые потрясли мир» получила высокую оценку В. И. Ленина, она переведена на множество иностранных языков. Имя Джона Рида, ставшего впоследствии одним из основателей Коммунистической партии США, неотделимо ныне и навсегда от самого выдающегося события в истории XX века — Октябрьской революции.

Мы публикуем главу из книги Т. Гладкова «Джон Рид», вышедшую в популярной серии «Жизнь замечательных людей», в которой воссоздан глазами великого американца исторический день взятия восставшим народом Зимнего дворца...

В среду 7 ноября (25 октября.—Т. Г.) Рид встал поздно, когда в Петропавловской крепости уже ухнула полуденная пушка. Досадуя на себя за потерю времени, разбудил Луизу. Наскоро пожевал что-то всухомятку и, на ходу обмотав шею пестрым мохнатым шарфом, выскочил на улицу. Жена догнала его уже в дверях.

У подъезда гостиницы, забюк поживаясь, прохаживался Альберт Вильямс. Коллега был явно взволнован:

— Хэлло, Джек, Лунза! Жду вас уже битый час,— радостно приветствовал он друзей.— В городе творятся такое!..

Втроем пошли к центру.

Стоял на редкость, даже для Петрограда в эту пору, промозглый, холодный день. Мелкий косой дождь, казалось, застревал в сыром ватном воздухе. На Большой Морской, около наглухо закрытых дверей Государственного банка, высоко подняв набрякшие от дождя воротники шинелей, стояли несколько солдат. За плечами — винтовки.

— Вы чьи, — спросил Рид, — за правительство?

— Нет больше правительства,— весело гоготнул один и выразительно добавил: — Фьюнты!

Значит, началось...

Рида немного удивило, что улицы вроде бы выглядели так же, как обычно. Пожалуй, даже спокойнее, чем обычно. Как всегда громыхали облепленные людьми трамваи. Визгливо выкликала торговка семечками. Откуда-то из подворотни доносились жалобно дребезжащие звуки шарманки.

В глаза бросилась свежая, лепящаяся на стене листовка: Петроградская городская дума доводила до сведения граждан, что накануне ею создан Комитет общественной безопасности.

Ого! Это что-то новенькое! Рид осторожно отлепил листовку, сунул в карман куртки.

Потом лишь понял — липкий, расплзающийся под пальцами листок серой бумаги означал объявление большевикам войны.

Откуда-то навстречу выскочил мальчишка-газетчик в рваной кацавейке. На самые уши нахлобучена старая матросская бескозырка. Пронзительно заверещал:

— Газета «Рабочий путь»! Газета «Рабочий путь»!

Торопливо выхватил из детских рук номер, не глядя сунул керенку. А в передовой грозно:

«Всякий солдат, всякий рабочий, всякий истинный социалист, всякий честный демократ не могут не видеть, что созревшее революционное столкновение уперлось в немедленное разрешение.

Или — или.

Или власть переходит в руки буржуазно-помещичьей шайки...

...Или власть перейдет в руки революционных рабочих, солдат и крестьян...»

И выше афишным шрифтом заголовков: «Вся власть Советам рабочих, солдат и крестьян! Мира! Хлеба! Земли!»

Значит, бой начался...

На углу Морской с Невским попался знакомый меньше-

вик-оборонец. Рид спросил, правда ли, что произошло восстание. Тот лишь пожал плечами.

— Черт его знает... Может быть, большевики и могут захватить власть, но больше трех дней им ее не удержать. Страной управлять — это, знаете ли, батенька... Может быть, лучше и дать им попробовать — на этом они сами свернут себе шею...

Ответу не удивился. Знакомые песни. Неожиданно мелькнула озорная мысль: «Интересно, а сколько бы продержались меньшевики? Пожалуй, меньше трех дней».

Рассмеялся неудержимо и, не попрощавшись с оторпевшим «тоже социалистом», зашагал к Исаакиевской площади.

Около Марининского дворца, где заседал обычно «Временный Совет Российской Республики», — цепь вооруженных солдат. На набережной Мойки баррикада — штабеля дров, поваленный набок трамвайный вагон, ящики, бочки. Возле баррикады серая туша броневика с красным флагом на тупорылой башне. Его пулеметы направлены на крышу Исаакия. И отовсюду, насколько охватывал взор, стягивались ошестинившиеся штыками колонны матросов и солдат. Урча и чихая, на площадь выкатил грузовик. На переднем сиденье — вооруженные солдаты. Сзади нахохлившиеся мокрые фигурки нескольких членов Временного правительства.

Среди солдат Рид узнал большевика Якова Петерса. Тот приветливо помахал рукой:

— Я думал, что вы переловили ночью этих господ! — крикнул Джек.

— Эх, — Петерс досадливо выругался, — большую половину выпустили раньше, чем мы решили, что с ними делать!..

Латышу было явно уже не до рассказов, и, не теряя времени, Рид направился дальше — к Зимнему.

Окруженная со всех сторон кордонами вооруженных солдат, Дворцовая площадь выглядела какой-то растерянной. Сиротливо и беспомощно вздымался к хмурому, неприветливому небу Александрийский столп. Еще вчера иадменно-царственный центр страны, сегодня судьбами истории Дворцовая площадь превратилась в задний двор старой России.

У всех входов часовые — неизвестно чьи. Рид предъявил им мандат Смольного. Никакой реакции. Рид пожал плечами. Значит, придется пускать в ход американский паспорт. В керенском государстве эта пухлая книжища всегда оказывалась каким-то магическим «Сезам, отворись!». На этот раз — тоже. Вильяме только хмыкнул.

Древний швейцар с горемыкинскими бакенбардами, одетый в синюю, расшитую позументом ливрею, почтительно принял плащи и шляпы. Не встречая больше никаких препятствий, американцы поднялись по лестнице. В длинном мрачном ко-

ридоре ни души. На стендах темные квадраты — следы содранных гобеленов. Паркет затоптан. На всем печать заброшенности и отчуждения. Возле кабинета Керенского, бесцельно покусывая ус, топтался молодой офицер. При появлении иностранцев он оживился.

Представившись, Рид спросил, может ли он проинтервьюировать министра-председателя.

— К сожалению, нельзя, — ответил офицер по-французски. — Александр Федорович очень занят...

Замявшись, он добавил нерешительно:

— Собственно говоря, его здесь нет...

— Где же он?

— Поехал на фронт. Ему не хватило бензину для автомобиля, пришлось занять в английском госпитале.

— А министры здесь?

— Да, заседают в какой-то комнате.

— Большевики сюда придут?

— Конечно. Я думаю, что с минуты на минуту. Но мы готовы, дворец окружен юнкерами. Они за той дверью.

— Можно туда пройти?

— Конечно, нельзя. Впрочем... — И, не окончив фразы, офицер торопливо попрощался, повернулся и ушел.

— Ты думаешь, Джек, он сказал правду? — шепотом спросила Луиза.

— Ты имеешь в виду Керенского? Скорее всего, да.

Офицер действительно сказал правду, хотя и не всю. Всю правду о своем председателе не знали даже сами министры.

Еще утром, узнав в штабе округа, что в распоряжении Временного правительства войск очень немного и что отряды Военно-революционного комитета одни за другим захватывают ключевые позиции в городе, Керенский спешно уехал из Петрограда. Оставив своим заместителем министра торговли и промышленности Коновалова, Керенский просто бежал в автомобиле американского посольства, якобы навстречу вызванным им надежным войскам.

После короткого совещания американцы решили продолжить экскурсию по дворцу. Рид толкнул первую попавшуюся дверь. Она оказалась запертой снаружи.

— Чтобы солдаты не ушли, — с наивной непосредственностью объяснил откуда-то появившийся старик-служитель со связкой ключей.

Из-за двери доносились какие-то голоса, порой пьяный смех. Желание познакомиться поближе с защитниками последней цитадели Временного правительства взяло верх над благородством, и Рид решительно отворил дверь.

Перед ним простиралась анфилада великолепных комнат, увешанных картинами на батальные темы. Некоторые полотна

были продраны насквозь, по-видимому штыками. Прямо на паркете валялись грязные солдатские тюфяки. И повсюду битые бутылки из-под дорогих французских вин, пустые консервные банки, окурки, следы плевков.

У окон — винтовки в козлах. На подоконниках — амуниция, подсумки с патронами. Затхлый, тяжелый воздух казармы — вонючая смесь застарелого табачного дыма, спиртного перегара, испарений немытых человеческих тел. И в сизом чаду какие-то нереальные, зыбкие фигуры в солдатской форме с красными с золотом юнкерскими погонами.

Качнувшись, одна из фигур — в офицерском мундире — представилась:

— Штабс-капитан Арцыбашев...

Левой рукой офицер вежливо приподнял фуражку, правая у него была занята откупоренной бутылкой бургундского. Штабс-капитан был в той степени опьянения, когда способность удивляться утрачивается. Неожиданное появление в этой казарме, украшенной лепными купидонами, иностранцев, в том числе и женщины, он воспринял, как нечто совершенно естественное.

Узнав, что перед ним американцы, штабс-капитан доверительно пожаловался на падение из-за революции благородных традиций русского офицерства, вслед за чем без всякой последовательности попросил помочь ему уехать в Америку. И даже записал свой адрес на грязном клочке бумаги.

Юнкера принялись хвастаться:

— Большевики — трусы... Пусть они только сюда покажутся, мы им зададим!

Заклучив из этих слов, что последние защитники Временного правительства чувствуют себя явно не в своей тарелке, Рид со спутниками покинул Зимний дворец. Выйдя на набережную, он расправил плечи и жадно вдохнул всей грудью свежий ветер с Невы...

Было уже почти темно, когда трое американцев зашли в гостиницу, чтобы что-то перекусить. За столом сидели молча, лишь изредка перебрасывались случайными фразами. Каждый пытался привести хоть в какой-то порядок сумбурные впечатления событий дня, уловить связь между ними, нащупать, угадать за кажущимся хаосом закономерность, разгадать в нем железную волю людей, решающих сегодня судьбу России. И не только России.

Возвращаясь из Зимнего дворца, американцы успели узнать от встречающих, что еще утром Военно-революционный комитет принял обращение «К гражданам России», в котором сообщал о низложении Временного правительства и переходе всей власти в руки Советов. Позднее Риду стало известно, что написал обращение Ленин.

Солдаты Павловского полка, перекрывшие движение по Невскому, на Полцейском мосту, после предъявления им мандатов Смольного рассказали товарищам иностранным социалистам, что отряды восставших уже овладели правительственным телеграфом, военным портом, радиостанцией, Главным Адмиралтейством, захватили тюрьму «Кресты» и освободили находившихся в ней политических заключенных.

В то время, пока Рид, Вильямс и Луиза беседовали с юнкерами в Зимнем, дворец был уже окружен. У Николаевского моста, где еще в половине четвертого утра отдала якорь «Аврора», высадился десант кронштадтцев.

Полторы тысячи моряков-гельсингфорсцев, выехавших в Питер по суше, заняли линию железной дороги от Гельсингфорса до Белоострова, закрыв вызванным с фронта Временным правительством контрреволюционным войскам путь к столице. Отряды красногвардейцев Выборгского района и солдаты Московского полка закрепили за собой Финляндский вокзал, Литейный и Гренадерский мосты.

Отряды вооруженных рабочих с Васильевского острова готовы через Николаевский мост поддержать кронштадтцев. Казачьи части и юнкерские училища надежно блокированы революционными солдатами и красногвардейцами.

Фактически весь город был уже в руках восставших. Сохранившие верность правительству юнкера и георгиевские кавалеры утром перетаскали от Главного штаба сложенные там дрова и устроили из них баррикаду вокруг Зимнего дворца. «Власть» Временного правительства держалась теперь лишь на штабелях березовых поленьев...

Троим американцам так и не пришлось пообедать в этот день. Только лишь принялись за суп, как подбежал перепуганный официант, попросил перейти в другой зал, выходящий окнами во двор:

— Будьте любезны, господа, сейчас начнется стрельба...

Рид вопросительно посмотрел на жену. Поняв его без слов, Луиза встала, повернулась к Вильямсу:

— Мы с Джеком лучше вернемся на улицу. А как вы, Альберт?

— Разумеется, с вами, — просто отозвался Вильямс, уже направляясь к выходу.

Невский — людской водоворот. На каждом углу под тускло, вполне горящими фонарями — толпа. За бурлящим перекрестком с Садовой Невский словно впал в обычное русло. Как всегда, сияли витрины дорожных магазинов, переливались огнями вывески кинематографов и ресторанов. Фланирующие по тротуарам бездельники демонстративно «не замечали» проезжающие время от времени по мостовой броневики, на которых поверх старых названий «Олег», «Рюрик», «Святослав» крас

нели огромные буквы «РСДРП». Броневики двигались вниз, к Зиннему.

Джон Рид и его спутники еще не знали, что в 14 часов 35 минут Ленину уже бросил во взорвавшийся овал Белый зал Смольного знаменитые слова, потрясшие мир:

«Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась...»

Смольный бурлил. К его сверкающему огнями фасаду со всех сторон стекались все новые и новые отряды вооруженных красногвардейцев, матросов, солдат. В зыбком пламени разложенных во дворе костров тысячами ответных искр отблескивали штыки.

В самом Смольном — гул голосов, лязганье тяжелых подкованных сапог по паркету, бряцание оружия, хриплые выкрики командиров. Рабочие в черных тужурках, солдаты в длинных серых шинелях и высоких заломленных папах, матросы в бушлатах, перепоясанных пулеметными лентами. За плечами у каждого — вниз стволом — карабин. У некоторых на поясе гранаты-бутылки. Время от времени сквозь бурлящий людской поток прорывался кто-нибудь из членов ВРК.

Откуда-то появился Луначарский, зажимая под мышкой пухлый портфель. Рид попытался его остановить.

— Некогда, некогда, только что окончилось заседание Петроградского Совета, приняты важные решения. — И Луначарский исчез, словно растворился в шинелях, куртках, бушлатах.

— Хэлло, Джек!

Рид оглянулся. Откуда-то из глубины коридора к нему пыталась протиснуться жеиская фигурка. Бесси Битти! И она здесь! Впрочем, удивляться не приходилось, Бесси журналистка, как говорится, божьей милостью. Где же ей быть в такие часы, как не в Смольном. Торопливо, азартно стала выкладывать новости:

— Петроградский Совет принял резолюцию, — Бесси вытащила блокнот, прямо с листа начала расшифровывать стенограмму: — «Совет приветствует победоносную революцию пролетариата и гарнизона Петрограда... Совет выражает непоколебимую уверенность, что рабочее и крестьянское правительство твердо пойдет к социализму... Оно немедленно предложит справедливый, демократический мир всем народам... Совет убежден, что пролетариат западноевропейских стран поможет нам довести дело социализма до полной и прочной победы...»

— Конечно, поможет, — Рид торопливо стал переписывать слова резолюции в свою записную книжку.

Огромный, ярко освещенный зал заседаний Смольного был набит до отказа. Повсюду — на скамьях, стульях, прямо в

проходах, даже на возвышении для президиума — сидели люди. В спертom воздухе почти недвижно повисли густые низкие клубы табачного дыма. Зал то застывал в напряженной, тревожной тишине, то вдруг взрывался яростно и гневно.

За столом президиума лидеры старого Центрального исполнительного комитета: бледные, растерянные, с ввалившимися глазами. Гоц нервно мнет в руке какую-то бумажку... Либер невидяще уставился пустым взглядом куда-то поверх голов, губы его беззвучно шевелятся.

Словно нехотя, над столом президиума поднялась карикатурная фигурка Дана в мешковатом мундире военврача. Вяло звякнул председательский колокольчик.

— Власть в наших руках, — печально начал Дан, его дряблoе лицо свело тиком, — а в это время наши партийные товарищи находятся в Зимнем дворце под обстрелом, самоотверженно выполняя свой долг министров.

Зал заревел яростно, иступлению:

— Долой! Вон! Министры нам не товарищи!

Под свист, улюлюканье, крики делегатов старый президиум очистил трибуну. Его место уверенно, по-хозяйски занял новый — четырнадцать большевиков.

Меньшевики протестуют, вскакивают, кричат. Им предлагают места в президиуме — пропорционально числу делегатов. Они не согласны.

— Это неслыханное насилие! — вопит кто-то с места.

Бородатый солдат, сидящий рядом с американцами, резко встает и, перекрывая крик протестующих, гневно кричит:

— А что вы делали с нами, большевиками, когда мы были в меньшинстве?

Мартов протолкался к трибуне. Надтреснутым профессорским голосом заговорил назидательно:

— Гражданская война началась, товарищи. Наша задача — мирное решение вопроса...

В зале хохот, злой, непримиримый. И кто-то в ответ:

— Победа — вот единственное решение вопроса!

Офицер «трудовик»:

— Советы не имеют поддержки в армии, захват власти Советами — преступление, нож в спину революции!

— Претель! — режут солдаты. — Корниловец! От штаба говоришь, а не от армии. Мы — за Советы!

Овация. И нет офицера. Словно смыло.

— Мы не можем остаться здесь и взять ответственность за преступление! — истерически кричит делегат-меньшевик.

Группа меньшевиков, эсеров, еще кто-то устремляются к выходу.

— Скатертью дорожка! — несутся им вслед. — Дезертиры! Предатели! В мусорную яму истории!

На какое-то мгновение в зале стало тихо, и в следующую же секунду, не выдержав собственной тяжести, тишина раскололась орудейным грохотом. Орудия цитадели царства — Петропавловской крепости, — молчавшие двести лет, открыли огонь по Зимнему дворцу...

Рид сидел, уткнувшись в блокнот на коленях, стиснутый между Вильямсом и бородатым окопником с изможденным, землистым лицом. Воспаленные глаза солдата, не отрываясь, жадно следили за трибуной. Он не выкрикивал, не вскакивал то и дело с места, как другие делегаты. Лишь по тому, как сжимались в кулак его тяжелые руки, можно было догадаться, какие мысли будили в нем речи ораторов.

В одну из коротких пауз между выступлениями к Риду наклонилась Луиза. Она с Бесси сидела на скамье в следующем ряду.

— Тебе не кажется странным, Джек, — шепнула она в самое ухо, — что в зале нет ни Ленина, ни других видных большевиков? Ведь съезд за них...

Тем же шепотом, чуть откинувшись назад, Рид высказал свои предположения:

— Думаю, что сейчас у них есть более неотложные дела. Зимний еще не взят, хотя за него я не поставлю и двух центов против миллиона долларов. Вряд ли есть смысл Ленину терять сейчас время на дискуссии. Съезд все равно пойдет за ним. Пока министры не арестованы, дело нельзя считать завершенным.

Рид был прав. В то время как правые эсеры и меньшевики изливали фонтаны негодования в бессильных потугах привлечь на свою сторону делегатов, в угловой комнате на втором этаже Смольного Ленин руководил восстанием. Каждую минуту отсюда во все концы города спешили на самокатах, мотоциклах, автомобилях нарочные с приказами и распоряжениями ВРК. Уходили в ночь отряды вооруженных.

Задержка взятия Зимнего замедляла проведение в жизнь ленинского плана работы съезда. Одну за другой набрасывал Ильич своим стремительным почерком записки Антонову-Овсеенко, Подвойскому, Чудновскому с требованием штурмовать дворец.

Временное правительство, хватаясь даже не за надежду, а за слабый призраки ее, ответило отказом на требование сдаться без боя. В восемь часов вечера Григорий Чудновский доставил в Зимний повторный ультиматум с последним предложением капитулировать.

Руководитель охраны дворца Пальчинский, потеряв от бесильной злобы и отчаяния не только здравый смысл, но и чувство юмора, приказал арестовать парламентаря.

Чудновский только пожал плечами — уж он-то, один из непосредственных руководителей осаждающих, знал, что

арест — фикция, такой же мираж, как и то, что человек, приказавший взять его под стражу, считается чуть ли не «генерал-губернатором».

Ему не пришлось даже дожидаться штурма, чтобы выйти на свободу. Зашумели, заволиновались юнкера-ораниенбаумцы.

— Позор! Это парламентар! Мы ему дали честное слово!

Из толпы юнкеров выскочил мальчишка-прапорщик. И грубо, яростно кинулся к Пальчинскому.

— Мы требуем немедленного освобождения парламентар! Для чего вообще нас привели сюда? Умирать за Керенского? Во имя чего?

Чудновского освободили... Час спустя, потеряв всякую веру в правительство, оставили дворец юнкера школы Северного фронта, ораниенбаумцы, михайловцы, казаки, часть женского ударного батальона... Всего около тысячи человек.

Не имея сил вступить в настоящий бой и не имея мужества признать поражение, правительство продолжало упорствовать... Тупо, безнадежно, равнодушно даже к собственной участи.

В 21 час 45 минут, после того как Временное правительство отвергло последнюю возможность избежать напрасного кровопролития, прогремел холостой выстрел с «Авроры»...

Выстрел «Авроры»...

Комендор Евдоким Огиев рванул шиур носового шестидюймового орудия. Раскололось с грохотом и пламенем небо над Невой, с протяжным звоном ударились о палубу крейсера дымящаяся медь стрельной гильзы...

И навсегда запомнила история этот единственный выстрел, не унесший ни одной жизни, но разбивший разом последнюю цепь на России.

Уже пробиваясь к выходу из зала и не обращая внимания на толкотню и давку, Джон Рид торопливо дописывал в блокноте: «Непрерывный отдаленный гром артиллерийской стрельбы, непрерывные споры делегатов... Так под пушечный гром в атмосфере мрака и ненависти, дикого страха и беззаветной смелости рождалась новая Россия».

Риду было ясно, что сейчас там, на огромной площади перед Зимним дворцом, происходит кульминационное событие того дня, из-за которого стоило пересечь Атлантику.

Подхватив жену и Бесси, он устремился к выходу, ловко используя старые футбольные приемы, прорезая людскую пробку у дверей. Вильямс едва продирался за ним.

У ворот Смольного трясся от работающего мотора огромный армейский грузовик с высокими бортами. Его кузов уже был забит красногвардейцами и солдатами.

Отчаянно размахивая всем имеющимися у них документами, четверо американцев, выкрикивая наиболее подходящие

при данных обстоятельствах русские слова, кинулись к машине. По-видимому, их достаточно хорошо поняли, потому что под добродушные шутки и смех всех четверых мгновенно втащили в кузов. Мотор взревел, и с отчаянным скрежетом в коробке скоростей автомобиль сорвался с места.

Отдышавшись, Рид заметил, что на полу сложены пачки каких-то листовок. Время от времени кто-нибудь из его случайных попутчиков распечатывал очередную пачку и разбрасывал прокламации. Белые листки стремительно разлетались от встречного ветра. Прохожие на лету ловили их. Рид взял одну листовку — на ней было отпечатано воззвание ВРК. Оставив этот экземпляр себе, Рид стал помогать разбрасывать остальные.

На углу Екатерининского канала машина остановилась. Дальше предстояло добираться пешком. На Морской американцы присоединились к колонне красноармейцев. Когда отряд достиг арки Главного штаба, Рид со своими спутниками успел уже протиснуться в передние ряды. Без песен и криков человеческая река хлынула под арку, смяла, сокрушила, разметала деревянные баррикады и покатилась дальше, неудержимо заливая огромную площадь.

Ни одного выкрика — только топот тысяч сапог, стук пулеметных катков, непрерывный треск винтовок, хлопки ручных гранат.

У цоколя Александрийской колонны передовая цепь — человек двести красногвардейцев — задержалась, а затем, словно ощутив прилив свежих сил, снова кинулась вперед, к Зимнему.

И наконец:

— Ура-а-а!!!

Грозное, громовое, торжествующее...

Чьи-то черные на фоне ночного неба фигуры метнулись первыми к дворцовой решетке, и вот уже человеческая волна ворвалась в ворота, сорвала двери и, разделившись на отдельные потоки, хлынула на белокаменные лестницы.

В одном из бешено kloкочущих водоворотов — четверо американцев... В руках у Рида сорванная где-то со стены шашка... Вместе со всеми вперед, дальше, к той неведомой еще никому комнате, последней поре уже давно не Временного...

Откуда-то из бокового коридора — Антонов-Овсеенко. Худой, взъерошенный, глаза — как угли. За ним — Чудиновский. Увлекая за собой матросов, красногвардейцев, оба комиссара, не обращая внимания на бросающих винтовки юнкеров, бежали по бесконечной анфиладе дворцовых комнат.

Рид мгновенно понял: сейчас эти двое совершат то, чего с нетерпением ждет в Смольном Ленин, ждут делегаты съезда, ждет Россия.

— Они идут арестовывать правительство!

И Джон Рнд, представитель американской социалистической печати, устремился за людьми, расчищающими дорогу первому в мире социалистическому правительству.

У порога обширной залы последнее препятствие — неподвижный ряд юнцов с винтовками на изготовку. Они словно окаменели. В глазах, как схваченный на лету крик, отчаянье...

Антонов вырывает у одного винтовку. Юнкер чуть не падает, он и не думает сопротивляться. словно не замечая направленных на него штыков, Антонов спрашивает громко, повелительно:

— Временное правительство здесь?

Не дожидаясь ответа, шагнул прямо сквозь шеренгу. Отстал Чудиновский, с радостным, торжествующим возгласом рванул на себя за лацканы сюртука недавнего знакомого — Пальчинского. Гаркнул, вытряхивая душу из помертвевшего генерал-губернаторского тела:

— Ну, вот и ваш черед, господин хороший!

И тут же людская лавина смяла, завертела, отбросила юнкеров, хлынула дальше, в последнее прибежище последнего буржуазного правительства России.

Комната. Небольшая, в трепетных бликах свечей. За длинным столом, сливаясь в зыбкое, тусклое пятно, безликие, призрачные фигуры. Глаза пустые, невидящие.

И Антонов, словно взброшенный на гребне штормовой волны, неожиданно спокойно, буднично сказал:

— Именем военно революционного правительства объявляю вас арестованными...

Выходят по одному пятнадцать временщиков; держа за фалды друг друга. К ним присоединяют остальных. Вокруг — плотное кольцо караула. Приткнувшись плечом к стене, Рнд стенографическими крючками наспех черкает в блокноте фамилии арестованных.

Терещенко — пухлое детское лицо с приказничьим пробором и неожиданно тучная, бесформенная фигура — в дверях словно очнулся. Насел яростно на конвоира, матроса с «Авроры»:

— Ну и что вы будете делать дальше? Как вы управитесь без нас, без...

— Ладно уж, — отрезал моряк, — управимся! Только бы вы не мешали...

Комната опустела. Из соседних залов доносится зычный голос:

— Товарищи, ничего не брать! Революция запрещает. Это принадлежит народу. Всем очистить помещение!

Рнд подходит к длинному столу, покрытому зеленым сукном. Стол завален бумагами, планами, картами. Память цепко замечает: на некоторых листках бессмысленные геометрические чертежи. Заседавшие машинально чертили их, безнадежно

слушая, как выступавшие предлагали все новые и новые химерические проекты.

Рид взял один листок на память. На нем рукой Коиовалова, словно в насмешку над самим собой: «Временное правительство обращается ко всем классам населения с предложением поддержать Временное правительство...»

Когда Рид со своими спутниками покинул Зимний дворец, было уже три часа утра. Площадь перед дворцом была заполнена людьми. Солдаты, красногвардейцы, матросы грелись вокруг костров.

Американцы решили верить в Смольный, где, по их расчетам, еще продолжалось первое заседание съезда. Рид предложил по пути заглянуть в городскую думу — вторую после Зимнего цитадель буржуазии в Питере:

— Надо посмотреть, что они теперь собираются делать после ареста правительства.

В Александровском зале думы вокруг трибуны толкалось около ста человек. К своему удивлению, Рид узнал среди них и делегатов съезда — меньшевиков и эсеров, несколько часов назад демонстративно покинувших Смольный.

Но недоумение было недолгим. Поразмыслив, Рид решил, что, собственно, удивляться нечему. Куда же было деваться Дану, Гоцу, Авксентьеву и другим, как не сюда, в кадетское логово?

Рида поразили контраст между этим собранием и съездом Советов. Там — огромные массы обносившихся солдат, изможденных рабочих и крестьян — все бедняки, согнутые и измученные жестокой борьбой за существование; здесь — меньшевистские и эсеровские вожди, бывшие министры-социалисты. Рядом с ними — журналисты, студенты. Упитанные, хорошо одетые.

Посещение думы, хотя и кратковременное, не осталось бесполезным для американских журналистов: они явились свидетелями первого после Октябрьского переворота заговора буржуазии против народа. В их присутствии Комитет общественной безопасности был расширен с целью объединения всех антибольшевистских элементов в одну организацию — пресловутый «Комитет спасения родины и революции».

Дальше оставаться в думе было незачем, и американцы продолжили свой путь по тревожным петроградским улицам.

Они поспели в ярко освещенный тысячью огней Смольный как раз в ту историческую минуту, когда II Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов, опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся победоносное восстание, взял власть в свои руки.

Но день, первый день из десяти, которые потрясли мир, на этом не кончился, хотя одна заря уже сменила другую. И после освещенной багровым пламенем костров ночи, когда пал Зимний, этот день вместил в себя еще одну ночь, когда Смольный, революционный Смольный впервые после победы встретил Ленина.

И Джон Рид стал человеком, на долю которого выпало счастье навеки сохранить для истории облик Ленина-победителя. «...Громовая волна приветственных криков и рукоплесканий возвестила появление членов президиума и Ленина — великого Ленина среди них. Невысокая коренастая фигура с большой лысой и выпуклой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, бритый, но с уже прорастающей бородкой... Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки. Ничего, что напоминало бы кумира толпы, простой, любимый и уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории. Необыкновенный народный вождь, вождь исключительно благодаря своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было рисовки, не поддающийся настроениям, твердый, непреклонный, без эффектных пристрастий, но обладающий могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий анализ конкретной обстановки при сочетании пронизательной гибкости и дерзновенной смелости ума.

...Он стоял, держась за края трибуны, обводя прищуренными глазами массу делегатов и ждал, по-видимому не замечая нарастающую овалцию, длившуюся несколько минут. Когда она стихла, он коротко и просто сказал:

«Теперь пора приступить к строительству социалистического порядка!»

Новый потрясающий грохот человеческой бури...

...Ленин говорил, широко открывая рот и как будто улыбаясь; голос его был с хрипотцой — не неприятной, а словно бы приобретенной многолетней привычкой к выступлениям — и звучал так ровно, что, казалось, он мог бы звучать без конца...

Желая подчеркнуть свою мысль, Ленин слегка наклонился вперед. Никакой жестикюляции. Тысячи простых лиц напряженно смотрели на него, пренсполненные обожания.

...От его слов веяло спокойствием и силой, глубоко проникавшими в людские души. Было совершенно ясно, почему народ всегда верил тому, что говорят Ленин.

...Неожиданный и стихийный порыв поднял нас всех на ноги, и наше единодушие вылилось в стройном, волнующем звучании «Интернационала».

...Могучий гимн заполнял зал, вырывался сквозь окна и двери и уносился в притихшее небо.

...А когда кончили петь «Интернационал»... чей-то голос крикнул из задних рядов: «Товарищи, вспомним тех, кто погиб за свободу!» И мы запели похоронный марш, медленную и грустную, но победную песнь, глубоко русскую и бесконечно трогательную.

Ведь «Интернационал» — это все-таки напев, созданный в другой стране. Похоронный марш обижает всю душу тех забытых масс, делегаты которых заседали в этом зале, строя из своих смутных прозрений новую Россию, а может быть, и нечто большее...

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу.
Вы отдали все, что могли за него,
За жизнь его, честь и свободу.
Настанет пора, и проснется народ,
Великий, могучий, свободный,
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь благородный.

Во имя этого легли в свою холодную братскую могилу на Марсовом поле мученики Мартовской революции, во имя этого тысячи, десятки тысяч погибли в тюрьмах, в ссылке, в сибирских рудниках. Пусть все свершилось не так, как они представляли себе, не так, как ожидала интеллигенция. Но все-таки свершилось — буйно, властно, нетерпеливо, отбрасывая формулы, презирая всякую сентиментальность, истинно...»

Эти строки не мог написать сочувствующий наблюдатель. Они могли родиться только под пером участника Великой революции. И Джон Рид стал им, быть может осознав это в тот счастливейший миг, когда вместе с русскими рабочими и крестьянами приветствовал Ленина.

...В холодном, плохо отопленном номере гостиницы, уложив спать падающую с ног от усталости Луизу, Джон Рид снял чехол с пишущей машинки.

Заложив в каретку лист чистой бумаги, привычно опустил пальцы на клавиатуру. Медленно, тщательно взвешивая каждое слово, стал печатать. Под сухой треск «Уидервуда» рождались строки, из которых предстояло узнать Америке о потрясении мира:

«Свершилось...

Ленин и петроградские рабочие решили — быть восстанию. Петроградский Совет низверг Временное правительство и поставил съезд Советов перед фактом государственного перево-

рота. Теперь нужно было завоевать на свою сторону всю огромную Россию, а потом и весь мир. Откликнется ли Россия, восстанет ли она? А мир, что скажет мир? Откликнутся ли народы на призыв России, подымется ли мировой красный прилив?

Было шесть часов. Стояла тяжелая холодная ночь. Только слабый и бледный, как неземной, свет робко крался по молчаливым улицам, заставляя тускнеть сторожевые огни. Тень грозного рассвета вставала над Россией».



Юрий Кларов

САФЬЯНОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Из беседы искусствоведа А. Я. Бонэ с заместителем председателя Совета московской народной милиции Л. Б. Косачевским

Бонэ. *Великолепной синей краске индиго в древности не везло. Не везло даже на ее родине, в Индии, где в XI веке аль-Бируни писал: «Из всех красок синяя для брахмана является нечистой, и, если она коснется его тела, ему необходимо совершить омовение. Кроме того, он должен беспрестанно бить в барабан и читать перед огнем предписанные священные тексты».*

Еще хуже и самой краске, и ее поклонникам пришлось в средневековой Европе, где ее именовали «кормом сатаны» и «дьявольской краской». В 1577 году в Германии был издан даже специальный закон, карающий смертной казнью за использование индиго.

Немного позднее подобный же закон стал действовать и во Франции. Но, как известно, справедливость, рано или поздно, торжествует (чаще, правда, поздно). И уже в XVII веке индиго завоевало Европу. Бывший «корм сатаны» превратился в «королевую краску». Индиго теперь использовалось в окраске дорогих тканей, из которых шили себе платья придворные модницы, шло на окраску кафтанов и солдатских мундиров. Владельцы красилен и мануфактур просто не представляли себе, как можно обойтись без этой чудесной краски. Особой популярностью индиго пользовалось во Франции, куда его доставляли из далекой Индии. И тут владычица морей Англия объявила о морской блокаде своей соперницы. Увы, первый консул Наполеон Бонапарт ничего не мог поделать с мощным военным флотом Англии. Английские корабли задерживали все

торговые суда, державшие курс к французским берегам. Франция лишилась многих товаров, в том числе и бесценного индиго, без которого теперь уже никак не могла обойтись французская промышленность. И в 1800 году Наполеон установил премию в миллион франков тому, кто найдет для индиго равноценную замену. Миллион франков — сумма весьма солидная. Поэтому понятно, что тысячи, а возможно, и десятки тысяч людей пытались получить эту премию. Но никто ее так и не получил.

Между тем, по некоторым сведениям, которые, правда, еще нуждаются в дополнительной проверке, равноценная замена «корму сатаны», или «королеве красок», была уже давно найдена мастером-красильщиком из Ржева.

30 января 1918 года было обнаружено ограбление Патриаршей ризницы. А через неделю после происшедшего в кабинете председателя Московской комиссии по охране памятников искусства и старины появился бывший чиновник Московского дворцового управления, ведавший до декабря 1917 года всем имуществом Кремля, Мансфельд-Полевой.

У представителя одного из древнейших графских родов Германии была шуплая фигурка и остроносая незначительная физиономия, одна из тех физиономий, которые никогда и никому не запоминаются. Но в манерах и осанке посетителя чувствовалось — он не забыл, что его славный и доблестный предок Петр Эрнст II, более известный под именем Эрнст Мансфельдский, по свидетельству восхищенных историков, умер в походе, как и положено великому воину, стоя, в полном боевом снаряжении, опираясь на плечи верных оруженосцев. Судя по всему, Мансфельд-Полевой был готов, в случае необходимости, повторить этот исторический подвиг здесь, в генерал-губернаторском доме, ставшем логовом московских большевиков. Но в кабинете председателя Комиссии, человека веселого и добродушного, царил настолько домашняя атмосфера, что умирать — ни стоя, ни сидя — особой необходимости не было. Поэтому, расположившись в удобном кресле (в Петровском дворце реквизировали или в Александровском?), Мансфельд, преодолев минутное замешательство, даже позволил себе ослабить тугой узел галстука.

— Мне не хотелось бы злоупотреблять вашим терпением, но я все-таки позволю себе отнять у вас несколько минут, тем более что предложение, которое я уполномочен сделать, видимо, вас заинтересует.

— Я весь внимание, — сказал председатель Комиссии.

— Мы вчера вместе с Николаем Николаевичем, — назвал Мансфельд по имени и отчеству бывшего командира лейб-гвардии коного полка князя Одоевского-Маслова, который перед революцией возглавлял Московское дворцовое управ-

ление, — были в гостях у Алексея Викуловича Морозова. Вы, конечно, знаете Алексея Викуловича?

Да, председатель Комиссии хорошо знал текстильного фабриканта и миллионера Морозова, особняк которого украшали четыре великолепных панно Врубеля, картины Репина, Левитана, Серова, Крымова, Сомова и более ста первосортных полотен иностранных художников. Морозов располагал обширными коллекциями икон XIV — XVII веков, старого русского серебра, миниатюр и лучшим в Москве собранием русского фарфора — Императорского завода, гардиеровского, поповского, тереховского, киселевского, миклашевского.

— На Алексея Викуловича произвело гнетущее впечатление ограбление Патриаршей ризницы, — продолжал Мансфельд-Полевой. — Он опасается, что подобное же может произойти и с его особняком. Для русской культуры было бы трагедией, если бы бесценные сокровища Морозова оказались в руках уголовников. Вы согласны со мной?

Что ж, в этом вопросе у председателя Комиссии не было никаких разногласий с бывшим чиновником дворцового управления. Действительно, собрания Морозова представляли значительную художественную ценность. Но Комиссия не все-лишь, а обстановка в городе оставляет желать лучшего.

— Вы знаете положение в Москве не хуже меня. К сожалению, мы сейчас не имеем возможности гарантировать охрану частных коллекций.

— Алексей Викулович на это и не рассчитывает, — брякнул несуществующей рыцарской шпорой Мансфельд, и его незначительная физиономия сразу же приобрела поразительное сходство с портретом его доблестного предка.

— На что же он тогда рассчитывает, позвольте полюбопытствовать?

Мансфельд помолчал, словно собираясь с мыслями, и спросил:

— Если бы собрания господина Морозова стали собственностью новой власти, вы бы обеспечили их сохранность?

— Надеюсь. Во всяком случае мы бы приложили к этому все свои силы.

— Алексей Викулович, — торжественно сказал Мансфельд, — просил передать вам, что он готов подарить Советской власти все свои собрания.

— Щедрый дар. Но что он хочет взамен? — спросил председатель Комиссии, который всегда и во всем был реалистом.

— Очень немногого.

— А все же?

— Алексей Викулович хочет лишь получить на свой особняк охранную грамоту и рассчитывает, что его назначат пожиз-

ненным хранителем собранных им коллекций. Согласитесь, что это не так уж много за художественные ценности стоимостью в несколько миллионов рублей.

— Согласен,— весело сказал председатель Комиссии.— Передайте господину Морозову, что его условия нас устраивают. Советская власть с благодарностью готова принять его дар. Завтра наши товарищи из Комиссии ознакомятся на месте с коллекциями, и мы выйшем ему охранную грамоту. Что же касается жалования пожизненного хранителя, то, боюсь, что господин Морозов на многое рассчитывать не сможет...

— Это не существенно. Пока Алексей Вилулович вполне может сам себя прокормить.

— Это меня радует,— сказал председатель Комиссии.

В охранной грамоте, которую вскоре получил Морозов, было написано:

«Сним удостоверяется, что дом гражданина Российской Советской Федеративной Социалистической Республики А. В. Морозова вместе со всеми находящимися в нем произведениями искусств, переданными вышеуказанным гражданином в дар Советской власти, состоит под особой охраной Московской комиссии по охране памятников искусства и старины Московского Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.

Означенный дом никаким уплотнениям и реквизициям не подлежит, равно как и имеющиеся в нем предметы не могут быть изъяты без ведома и согласия Московской комиссии по охране памятников искусства и старины».

Вслед за Алексеем Морозовым в Московский Совдеп в сопровождении все того же Мансфельда-Полевого пришли Дмитрий Иванович Шукин, владелец великолепной пинакотекы, в которой были Ватто, Буше, Лоуренс, Рейсдаль, Брейгель, Гойен, Терборх, Кранах; Илья Семенович Остроухов, чей особняк в Трубниковском переулке украшали холсты и рисунки Репина, Сурикова, Брюллова, Венецианова, Левитского и Кипренского; известные ценители импрессионистов и постимпрессионистов Иван Абрамович Морозов и Сергей Иванович Шуккин, в чьих особняках на Пречистенке и в Большом Знаменском переулке хранились лучшие в Европе собрания картин Ван Гога, Сезанна, Матисса, Гогена, Ренуара, Моне, Дега, Писсарро, Сислея и Пикассо.

Так, по выражению злоязычного заместителя председателя Совета милиции Леонида Борисовича Косачевского, началось всеобщее братание коллекционеров с Советской властью.

Обычно выдаче охранной грамоты предшествовало тщательное ознакомление с коллекцией, ее оценка. В особняк направлялись эксперты Московской комиссии по охране па-

мятников искусства и старины, которых обязательно сопровождал представитель Совета милиции, ибо председатель Комиссии, человек здравомыслящий и прекрасно разбирающийся в обстановке, исходил из того, что без деятельного участия милиции охранная грамота легко может превратиться в филькину грамоту. Что подлаешь, в то бурное, неустоенное время, когда Советская власть только укрепляла свои позиции, навоя железной рукой порядок, к различным бумагам — будь то грамоты, мандаты или обращения — относились без особого уважения, сила же по-прежнему пользовалась должным авторитетом. За милицией, которая являлась одним из вооруженных отрядов пролетарской диктатуры, была сила. Это все хорошо почувствовали во время облав, которые проводились на Сухаревке, Масловке и Хитровом рынке.

Чаще всего представителем Совета милиции, к которому обращался в подобных случаях председатель Московской комиссии по охране памятников искусства и старины, был Косачевский. Возможно, так повелось потому, что именно Косачевский и никто иной организовывал охрану художественных сокровищ, привезенных в Москву из Эрмитажа, Александроневской лавры, Аничкова дворца, Коиюшенного ведомства, Гофмаршалской части и Петергофа. Возможно, тут были и другие причины. Например, личные симпатии председателя Комиссии, на которого Косачевский, занимавшийся тогда расследованием ограбления Патриаршей ризницы, при первом же знакомстве произвел, как личность, весьма сильное впечатление. Но как бы то ни было, а телефонограммы Комиссии по охране памятников искусства и старины на имя Косачевского стали в Совете милиции обычным явлением. Не удалось Косачевскому скрыться от этих телефонограмм и тогда, когда он вынужден был в интересах дела перебраться в помещение Московской уголовно-розыскной милиции.

Участие в деятельности Комиссии по охране памятников искусства и старины требовало времени, того самого свободного времени, которого у Косачевского никогда не было. Поэтому настойчивые телефонограммы раздражали заместителя председателя Совета милиции.

Вот и сейчас лежащее на столе приглашение принять участие в ознакомлении с восточным собранием некоего Бурлак-Стрельцова (ковры, бронза, живопись, слоновая кость, керамика, фарфор) никаких добрых чувств у него не вызывало. Как раз на это время был назначен допрос одного из основных свидетелей по делу об ограблении Патриаршей ризницы, а Косачевский хотел обязательно присутствовать на этом допросе, который мог дать весьма любопытные сведения. И вот — очередная телефонограмма. Ни к чему. Совсем ни к чему. В конце концов, в Совете милиции девять человек.

Почему именно он, Косачевский, должен тратить время на Комиссию по охране памятников искусства и старины?

Вполне возможно, что на этот раз телефонограмма из Комиссии не возымела бы никакого действия, если бы рядом с ней не оказалась короткая записка: «Дорогой Леонид Борисович! Дважды заезжал к Вам, но так и не смог застать. Понимаю: дела, дела и опять дела. А все-таки пишу себя надеждой, что встретимся. Не напрасно? У меня крайне важные новости. Уверен, что они и Вас заинтересуют, хотя во всем, что имеет к Вам касательство, я не бываю убежден. Вы для меня загадка, тайна за семью печатями. И тем не менее жажду с Вами поделиться. Уж сделайте милость, не откажите, дайте мне такую возможность. Хорошо? Рассчитываю увидеть Вас у Бурлак-Стрельцова. Там и поговорим. До встречи. Всегда Ваш покорный слуга А. Бонэ».

Автору записки Косачевский ни в чем отказать не мог. А точнее: почти ни в чем.

Ну что ж, пусть вопрос снимут без него. Осмотр собрания Бурлак-Стрельцова, которое становится собственностью народа, тоже дело. Кстати, Бонэ что-то ему в свое время рассказывал и о Бурлак-Стрельцове, и о его собрании.

Александр Яковлевич Бонэ был слабостью Косачевского, или, как он сам выражался, его привычкой.

* * *

Привычку под именем «Бонэ» Косачевский приобрел незадолго до войны 1914 года, после побега из Тобольской ссылки, когда, отсидевшись некоторое время в одном из скитов валаамского Преображенского монастыря, оказался на нелегальном положении в Москве — без паспорта, без надежной конспиративной квартиры и без каких-либо перспектив приобрести то и другое.

Люди, с которыми Косачевский пытался тогда связаться, были незадолго до его приезда в Москву арестованы. Но Косачевскому все-таки повезло. На Александровском вокзале он совершенно случайно столкнулся с одним товарищем, которого знал еще по семинарии. Тот приютил его на одну ночь, но предупредил, что оставаться у него опасно: квартира, судя по всему, под наблюдением. Паспортом он Косачевского попытается снабдить, хотя и не очень надежным, что же касается остального... Впрочем, оказалось, что все не так уж безнадежно, как могло показаться с первого взгляда.

— Знаешь ты, Леонид? Я тебя, пожалуй, сведу с Бонэ. Как это мне раньше не пришло в голову! Он тебе наверняка устроит и крышу над головой, и легализоваться поможет. Я уже как-то прибегал к его помощи.

— Кто этот Бонэ? — насторожился Косачевский.
— Очаровательный человек и энтузиаст ковроделия. Дай ему волю, весь мир в ковер бы завернул.

— Большевик?

— Нет.

— Сочувствующий большевикам?

— Можно и так сказать. А вообще-то говоря, он просто сочувствующий, — усмехнулся товарищ, чувство юмора у которого возрастало прямо пропорционально его жизненным невзгодам и достигло своей наивысшей точки после двух лет каторжных работ.

— То есть? — решил уточнить Косачевский, предпочитавший во всем ясность.

— Дело в том, что он всем сочувствует.

— Без исключений?

— Без всяких исключений. Большевикам сочувствует, меньшевикам сочувствует, эсерам, кадетам, аиархистам, максималистам, своему хозяину — главе торгового дома «Ковры Востока» купцу Елпатову, который из него соки давит...

Александр Яковлевич Бонэ оказался невысоким стеснительным человеком, на губах которого постоянно играла улыбка — жизнерадостная и немного смущенная. Расшифровать ее каждому, знающему немного Бонэ, было не так-то сложно. Да, мне очень хорошо, я счастлив, признавался Бонэ окружающим, каждый прожитый день приносит мне радость. Но в то же время я понимаю, что не все такие счастливы, как я. Кругом столько горя, неприятностей, неудач, что счастливым быть, конечно, стыдно. Но что я могу с собой поделать! Так что, извините, ради бога. Честное слово, я в этом не виноват!

Как впоследствии понял Косачевский, Бонэ действительно был счастливым, но не потому, что ему везло — жизнь этого жизнерадостного и доброго человека состояла из целой цепи различных несчастий, которых с лихвой хватило бы на добрый десяток людей менее стойких, чем он. Счастье Бонэ заключалось в его характере. Бонэ не только умел довольствоваться малым, но и обладал уникальной способностью всегда и во всем отыскивать зерна счастья и заботливо выращивать этот не совсем обычный урожай, щедро делясь им со всеми, кто в нем нуждался или делал вид, что нуждается.

От политики он был весьма далек, но сама идея революции, которой предстояло сделать счастливыми миллионы несчастных, ему импонировала: что может быть приятней, чем жить среди счастливых и веселых людей?! Пока же он был счастлив в одиночку. Счастлив своей работой у Елпатова, у которого служил главным экспертом по качеству получаемых торговым домом ковров, счастлив возможностью писать по ночам историю

ковроделня и, само собой понятно, счастливы тем, что может помочь Косачевскому..

— Если бы, Леонид Борисович,— говорил он,— у вас были в порядке бумаги, я бы смог переправить вас за границу. Елпатову требуются свои торговые агенты во всех мировых центрах торговли коврами: в Исфахане, Тебризе, Константинополе, Смирне, Дамаске, Мюнхене, Вене... На любой вкус. Но, насколько я понимаю...

— Вы правильно понимаете,— сказал немногословный Косачевский.

— Что-нибудь придумаем и здесь, в Москве.

— Надеюсь, это произойдет до того, как меня арестуют? — со свойственной ему любознательностью заинтересовался Косачевский.

— Да. Конечно, да,— серьезно подтвердил Бонэ. Он не любил шуток, такого рода.— Через два часа я за вами заеду. А вы уж постарайтесь, пожалуйста...

— Постараюсь,— заверил его Косачевский, которому этот добряк с наивными глазами и конфузливой улыбкой все более и более нравился.

Бонэ приехал на извозчике не через два часа, как обещал, а через полтора, явно опасаясь, как бы шутка Косачевского не обернулась печальной правдой. Запыхавшись, влетел стремительно в комнату и, увидев Косачевского живым и невредимым, ликующе сообщил, что все уладилось как нельзя лучше, что Елпатов берет Косачевского на работу, что жить Косачевский будет на квартире у него, Бонэ. Квартира находится в том же здании, что и торговый дом, но имеет отдельный вход. Косачевскому будет в ней удобно, Бонэ постарается его не теснить.

А еще через час они уже пили чай у Бонэ, и радушный хозяин рассказывал Косачевскому о торговом доме Елпатова и о коврах, с которыми Косачевскому теперь придется иметь дело...

По словам Бонэ, торговый дом Елпатова, или, как любил его называть на европейский манер сам Елпатов, «торговая фирма», фактически монополизировал в России всю торговлю коврами, успешно справляясь с многочисленными конкурентами и на западноевропейских рынках, где Елпатов постепенно оттеснял мелких торговцев дешевизной и высоким качеством поставляемых им изделий.

Торговый дом «Ковры Востока» содержал ковровые магазины и лавки не только в Петербурге и Москве, но и в Варшаве, Киеве, Тифлисе, Екатеринбурге. Являясь поставщиком двора его величества, Елпатов продавал ковры дворцовому управлению и многочисленным членам императорской фамилии. «Ежели какой великий князь не у меня коврик приобретает, а на стороне, значит, вовсе и не великий он князь, не его

императорское высочество, а так, подделка, третий сорт», — шутил он.

Бесчисленные нити связывали Елпатова с мировыми центрами ковроделения и торговли коврами.

Из Персии к нему поступали мягкие с нежным колоритом пастельных тонов незд-кирманы и равар-кирманы; пестроузорчатые на фоне цвета слоновой кости кешанские ковры; тонкие с бархатистым блеском и грациозным орнаментом курдистанские сены.

Торговый агент Елпатова в Константинополе закупал и отправлял в Россию турецкие молитвенные коврики с иншами и колоннами; двухцветные и трехцветные ладки; кулы красных и красно-коричневых тонов со светлыми полосами на широких каймах; красно-синие ушаки.

С Кавказа и Закавказья поступали ковры баку, дагестан, ширван, казах, дербент, сивас. Из Белуджистана — ковры белудж и красные ферганские ковры. В Афганистане приобретались эннеси, афганы и кабулы. В Туркестане — знаменитые текенские ковры: башкры, номуды.

Ассортимент товаров в магазинах Елпатова в России не исчерпывался изделиями Востока.

Здесь также можно было приобрести русские ковры, преимущественно тюменские, с пышным разнообразием растительного рисунка на черном фоне и с длинным ворсом, исполненные в так называемой «махровой» технике; украинские; финские «рюз», с тюльпанами, древом жизни и изображением двух сердец влюбленных («рюз» традиционно составлял обязательную часть приданого невесты); мелкорисунчатые испанские ковры, предназначавшиеся некогда для монастырей, с мрачной эмблемой в виде черепа и костей.

Среди европейских ковров в магазинах Елпатова были и французские, в том числе и знаменитые савонери, которые в эпоху Людовика XIV изготовлялись исключительно для короля, а тонкий ценитель ковров Людовик XV не только лично наблюдал за их производством в мастерской в Обюссоне, но и отправлял туда одобренные им проекты новых ковров, сделанные его придворными живописцами. Некоторые из савонери отличались поразительными иллюзионистическими эффектами — пейзажи с просветами вдаль, ковры-натюрморты, ковры с фигурами людей.

Елпатов любил рассказывать, как посетивший его петербургский магазин фабрикант Бондарев попытался ненароком ушпнуть изображенную на ковре красотку, а когда ему это не удалось, сильно сконфузившись, потянулся к винограду в ее корзинке.

«Подшофе, понятно, был, но в меру», — неизменно дополнял свой рассказ Елпатов.

Богатые ценители могли купить в магазинах торгового дома и настоящие «антики» — ковры, выработанные в XV, XVI и XVII веках, а иногда и более ранние.

В собраниях елпатовских «антиков» всегда имелись великопленные экземпляры эпохи монгольской династии Иль-ханов и Тимуридов; ковры в «зверином» стиле с мотивами облачной ленты, феникса, дракона, летучей мыши и молнии, которые при Сефевидях вырабатывались в резиденц-мануфактурах Тебриза, Герата и Исфахана; медальонные и цветочные, со спиралевидными уснками и цветками-пальметтами; ковры «охотничьего» стиля с изображением сцен охоты; вазовые ковры из Кермана; так называемые «польские», с шелковым ворсом, затканые золотыми и серебряными нитями, с изображением европейских гербов, эти ковры некогда изготовлялись в придворных мастерских Персии для подарков европейским государям.

Об «антиках» Бонэ говорил с искриваемым благоговением, и на его лице было счастье, то самое счастье, которое испытывает скупец, преодолевший наконец свою скупость и щедро поделившийся собранными им несметными сокровищами с друзьями или близкими. Даже обычно свойственная ему улыбка и та переставала быть конфузливой, а превращалась в широкую и ликующую.

— И все эти шедевры были сделаны неизвестными мастерами на примитивнейших станках, — торжественно сказал Бонэ. — У кочевников весь станок состоял из двух укрепленных на земле колышками шестов, а в мастерских шаха ковро ткачи работали на вертикальных станках из двух вращающихся валиков, соединенных обычными палками. Понимаете?

— Пока я понял только одно, — сказал Косачевский, допивая третью чашку густого, почти черного чая.

— Да? — подался вперед Бонэ.

— Причина всех бед Российской империи заключается в том, что у нас должным образом не налажено ковро ткачество.

Бонэ мгновение растерянно смотрел на невозмутимого Косачевского, а потом осторожно улыбнулся.

— Шутите?

— Шучу, — согласился Косачевский. — Но хотел бы все-таки задать вам один весьма нешуточный вопрос. Какую роль в ковровой империи Елпатова предназначено играть вашему покорному слуге?

— Я сказал Елпатову, что вы специалист по туркменским коврам.

— Мда, — хмыкнул Косачевский. — С таким же успехом вы могли бы выдать меня за китайского богдыхана, шпагоглотателя или чемпиона по боксу.

— За китайского богдыхана? — переспросил Бонэ и с некоторым сомнением посмотрел на Косачевского. Нет, на китайского богдыхана его гость похож не был. — Елпатов сегодня уехал в Петербург и вернется не раньше как через неделю, — сказал он. — За это время можно будет вас немного подна taskать. В конце концов, не боги горшки обжигают и не ангелы коврами торгуют.

— И с богами, и с ангелами вы, разумеется, правы, — согласился Косачевский, — но срок не столь уж велик. Как вы считаете?

Бонэ подумал, внимательно разглядывая чайную ложечку, будто именно в ней и был ответ на заданный ему вопрос, и сказал:

— Надеюсь, что уложимся, Леонид Борисович.

На следующий день после совместного завтрака Бонэ повел Косачевского в расположенную в полуподвале торгового дома большую с низким потолком комнату, стены которой были сплошь увешаны коврами различных форм и размеров. Рулоны со скатанными коврами штабелями громоздились на полу.

Забранные редкими решетками пыльные окна слабо пропускали солнечный свет, и Бонэ зажег электрическую лампу.

У него было торжественное и благоговейное лицо жреца, который готовится к священнодействию.

— Если в живописи или скульптуре проявляется неповторимая индивидуальность личности того или иного мастера, будь то Репин, Рафаэль или Роден, — назидательно сказал он, — то в коврах, кружевах и вышивках воплощается своеобразность всего народа, его гений, традиции, культура, национальный характер, история, родная ему природа. Здесь мы имеем дело с мастером, у которого тысячи рук, но только одно сердце.

Он подвел Косачевского к расстеленному в дальнем углу помещения большому коври.

Ковер был не из тех, что привлекают к себе внимание красками или необычностью рисунка. Ковер как ковер. Бывают и хуже и лучше. Почему Бонэ остановился на нем?

Косачевский с легким любопытством разглядывал этот ковер, выдержанный в красно-коричневых тонах, образующих довольно гармоничный колорит.

Цветовая гамма складывалась из красных и коричневых цветов различных оттенков, с которыми соседствовали синие и белые. Ковер был покрыт геометрическим орнаментом. Его центральное поле заполняли ряды повторяющихся восьмиугольников — гелей. Бордюр состоял из магического амулето-видного орнамента, который, как объяснил Бонэ, вместе с общим красивым тоном и гелями являлся характерной особенностью большинства туркменских ковров.

Косачевский молча всматривался в ритмичный, чем-то завораживающий орнамент, пытаясь проникнуть в замысел тех, кто его создал. Молчал и Бонз.

— А теперь, Леонид Борисович, закройте глаза! Закройте на минуту!

Косачевский закрыл глаза, и тут случилось одно из тех маленьких чудес, которыми так богата наша обыденная жизнь: он увидел бесконечные, уходящие вдаль ряды морщинистых от ветра, похожих один на другой, унылых барханов, красное солнце, бурое, тусклое марево, растопившее в себе линию горизонта, белых верблюдов, задубевшие, коричневые лица кочевников и синь воды маленького оазиса. Все это было до предела реально, почти осязаемо.

— А ведь вы волшебник, Александр Яковлевич!

— Немножко, — сказал довольный Бонз, который, видимо, уже не раз демонстрировал этот фокус. — Но настоящие художники все-таки те, кто создавал этот ковер. Вот он, мастер, у которого тысячи рук, но одно сердце. Вы, конечно, можете относиться к моим словам с долей скепсиса, и я готов вас понять. Но все же поверьте мне: ковроделие — феномен народной жизни и народного творчества. Ковры — те же древние рукописи. При изучении их многое может почерпнуть для себя не только искусствовед, но и историк, этнограф, психолог, живописец и даже врач... Не улыбайтесь, Леонид Борисович! Врача я упомянул отнюдь не случайно. Хорошо известный вам профессор Бехтерев, светило первой величины, глубоко убежден, что умело подобранная гамма цветов более благотворно влияет на нервную систему человека, чем иные микстуры и пилюли. В связи с этим, мне говорил Маисфельд, один из ассистентов профессора Бехтерева занялся изучением цветовых гамм восточных и европейских ковров. По его мнению, красочные ковры делают людей более жизнерадостными и оптимистичными. Убежден в его правоте. Кстати говоря, не кому иному, как великому Ломоносову принадлежат слова: «Много утех и прохлад в жизни нашей от цветов зависит».

— Все, сдаюсь! — поднял вверх руки Косачевский. — А я никак не мог догадаться, где вы черпаете свою жизнерадость. Оказывается, здесь, на складе ковров.

В тот же день Косачевский получил некоторое представление о ковроткачестве, об узлах сениз и гиордес, которыми пользуются при изготовлении ковров в различных странах, о плотности ковров и о том, что ковры кочевников Туркестана и Закаспийской области были самого разного назначения. Остов кибитки кочевника опоясывался поверху ковром «иолам», который не боялся ни ветров, ни дождей. Вход в кибитку завешивался ковром под названием «энси», украшался же этот вход «капуникум».

На следующий день Косачевский узнал об иомудских туркменских коврах с их часто встречающимся орнаментом в форме так называемой «иомудской елки», о широко известных в России и за границей текинских, которые делали жеишнии туркменского племени текке в Ахал-Текнинском, Мервинском и Пендинском оазисах; о керкинских коврах с их разбросанными по диагонали красивыми, синими и зелеными прямоугольниками — гелями; кизил-аякских, башкирских и эрсаринских.

Бонэ, видимо, был неплохим педагогом. Во всяком случае, Косачевский довольно быстро освоил особенности колорита и орнамента каждого из этих видов ковров, формы их гелей и теперь при случае мог блеснуть такими профессиональными терминами для обозначения деталей узоров, как «бараньи рога», «лапы беркута» и «эрсаринские трилистники».

Короче говоря, Бонэ с лихвой выполнил свое обещание «натаскать» Косачевского.

К приезду Елпатова из Петербурга Косачевский, если и не стал специалистом в ковровом деле, для чего ему, по глубокому убеждению Бонэ, не хватило бы и всей жизни, то при первом знакомстве вполне мог за такового сойти.

Но ему так и не пришлось блеснуть перед хозяином торгового дома своей скороспелой эрудицией.

Елпатов принял его через несколько дней после возвращения в Москву, оглядел оценивающим взглядом маленьких, глубоко посаженных умных глаз и сказал, что привык доверять своим служащим, тем более таким, как Александр Яковлевич Бонэ.

— Теперь таких больше не делают, — сказал он о Бонэ. — Божий человек, даром что в атеистах ходит. Но это у него так, слуду, пройдет с годами. Говорил мне, что мертвым родила мать, едва отходили. Отсюда и безбожие: свет с запозданием увидел. А о вас что скажу? Ежели Александру Яковлевичу подходите, то и мне мнлы. Паспорта мне вашего не надо, — подчеркнул он, не спуская глаз с лица Косачевского, — я не околоточный и дружбу с полицией своих служащих не поощряю...

— Собственно говоря, паспорт у меня в полном порядке, — сказал Косачевский.

— А я разве какое сомнение высказал? Я лишь сказал, что ваш паспорт меня не интересует. Ваши политические симпатии тоже. — Елпатов встал и протянул Косачевскому руку. — Рад был с вами познакомиться, господии...

— Пивоваров, — подсказал Косачевский, так как именно на фамилию Пивоварова ему был приобретен паспорт. — Семен Семенович Пивоваров.

— Надеюсь, что Бонэ не ошибся в вас, Семен Семенович.

— Я тоже надеюсь, — сказал Косачевский.

Судя по этому короткому разговору, у Елпатов были некоторые сомнения в политической благонадежности своего нового служащего, но, по заверениям Бонэ, никакого подвоха со стороны главы торгового дома ожидать не следовало. С полицией Елпатов действительно не «дружил». Если Бонэ был сочувствующим, то Елпатов — нейтральным. До поры до времени, естественно...

Так в жизни Косачевского начался период, который он, шутя, называл «ковровым», самый спокойный, если не самый счастливый, период в его бурной и неустроенной жизни профессионального революционера.

Бонэ пытался приохотить Косачевского к театру, но вскоре убедился, что театрал из его гостя не получится. Поэтому по вечерам он чаще всего сидел дома у самовара, к которому Косачевский привык в ссылке, и смаковали вишневое и земляничное варенье — великая мастерица была на подобные штуки жена Бонэ Варвара Михайловна! Довольно часто к этому вечернему чаепитию присоединялся снимавший неподалеку квартиру молодой искусствовед Василий Петрович Белов. Изредка заходил на огонек Елпатов. Раз два почтил своим присутствием эти вечерние чаепития и чопорный Мансфельд-Полевой, считавший нужным время от времени «ходить в народ». Говорил за самоваром о чем угодно, только не о коврах, к которым Косачевский постепенно стал испытывать чувство, похожее на ненависть. На эту тему был наложен молчаливый запрет, нарушенный лишь один раз, когда Мансфельда, большого любителя ковров, обладавшего довольно приличным собранием «антиков», бессовестно надул некий перс, подсунув ему вместо старинного «охотничьего» ковра искусную подделку, раскрашенную ко всему прочему анилиновыми красками, которые получили повсеместное распространение в конце прошлого века.

От Мансфельда тогда досталось (на словах, разумеется) не только жулику, но и техническому прогрессу, который порождает таких жуликов. Ведь раньше, когда ковроделы знали лишь натуральные красители и не имели представления о химии, которая, слава богу, находилась в зачаточном состоянии, жуликам нечего было делать. А теперь? Вот вам плоды просвещения!

— Повсеместная замена естественных красителей анилиновыми — смерть ковроделия! И сейчас мы с вами присутствуем при его агонии, — задыхался от праведного гнева Мансфельд и бил своим сухоньким кулачком по столу. — Единственный государь, который понял опасность и попытался ее остановить, — это шах Насреддин. Единственный! Я не ретроград, я либерал, я против изуверских казней. И все же я считаю глубоко разумным закон шаха, который предписывал за ис-

пользование в ковроделии вместо натуральных красителей всяческой химической дряни отсекает ослушникам правую руку. Правую, ту, которая пакостничала, снижая качество персидских ковров.

Маисфельд не менее часа перевозносил меры, принятые в свое время персидским шахом против ковроделов — поклонников технического прогресса. А когда чиновник дворцового ведомства, наконец, откланился, Косачевский шутливо спросил Бонэ:

— Ну как, Александр Яковлевич, кому на этот раз вы сочувствуете — тем, кто рубил руки, или тем, кому их рубили?

Бонэ, убиравший со стола посуду, простодушно посмотрел на Косачевского своими невинными младенческими глазами и сказал:

— Рубить руки — это слишком. На месте шаха я бы ограничился каторжными работами — год, от силы два, не больше...

И, сконфузившись от безудержного хохота, которым разразился Косачевский, смущенно стал оправдываться:

— Ведь действительно химия погубила ковроделие, Леонид Борисович. Можете мне поверить — это катастрофа. Нет, не думайте, я, конечно, верю в прогресс и не сомневаюсь, что со временем анилиновые краски будут такими же стойкими, как натуральные. Но разве этим все исчерпывается? Старые ковры, Леонид Борисович, живут по триста — четыреста, а то и более лет. Мало того, не только живут, но и хорошеют: с годами тона их цветов становятся мягче, бархатистее, а ворс приобретает серебристый отлив — благородную седию, которая придает каждому старому ковру особую прелесть. Это свойство натуральных красителей. Химия здесь бессильна. Я уж не говорю о том, что растительные краски дают такие глубокие и мягкие тона, Леонид Борисович, которые даже при большой интенсивности никогда не кажутся кричащими.

Косачевский вытер выступившие от смеха слезы.

— Итак, симпатии на стороне шаха?

— Вы упрощаете, Леонид Борисович.

— Но все-таки — год каторги?

— Не меньше, — твердо сказал Бонэ и звякнул чашкой. Это означало: приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Даже сейчас, несколько лет спустя после этого разговора, Косачевский не мог удержаться от улыбки.

Заместитель председателя Совета московской милиции не любил ни фанатиков, ни фанатизма. Однако это не расстраивало на самого счастливого человека в Москве — Александра Яковлевича Бонэ и его «ковровый» фанатизм.

Особиячок Бурлак-Стрельцова, в котором, как и во многих других московских особияках, мирно уживались классицизм, ампир и барокко, находился совсем недалеко от здания Уголовно-розысской милиции, но все же к назначенному времени Косачевский опоздал, хотя и не по своей вине. Созданный летом семнадцатого года Союз московских дворников с утра и до вечера занимался массой самых разнообразных и самых неотложных дел: деятельно участвовал в муниципализациях и национализациях домовладений, сборе с жильцов квартплаты, которая частично шла на содержание Союза, засыпал Совдеп ходатайствами о выдаче дворникам оружия и увеличения им пайка... Единственное, до чего у него никогда не доходили руки, — это до расчистки и уборки заваленных снегом улиц. На это у Союза не было ни времени, ни сил, ни желания.

То и дело проваливаясь по колено в рыхлый глубокий снег и поминая недобрым словом московских дворников с председателем их Союза во главе, Косачевский выбрался в конце концов на протоптанную с утра узкую тропинку, которая и привела его через проходной двор в переулок, где находился дом Бурлак-Стрельцова.

На крыльце его уже дожидались молодой искусствовед Белов, с которым Косачевский познакомился во времена «коврового периода», и пожилой член Комиссии по охране памятников искусства и старины с очень длинной и трудной фамилией, но зато очень простым именем и отчеством — Иван Иванович.

— А где Бонз? — спросил Косачевский.

— Да вот тоже что-то запаздывает.

— Подождем? — то ли спросил, то ли предложил Белов.

— А зачем, собственно? — пожал плечами Иван Иванович. — Холодно ждать.

С почтительностью, к которой примешивалась изрядная доля презрения к «новым господам», которые вовсе и не господа, а так, шушера, ежели взглядеться, мордастый швейцар с лихо закрученными усами принял у них пальто.

— Добрый день, господа! Счастлив вас у себя видеть! — сказал Бурлак-Стрельцов, поспешно спускаясь по лестнице, которая вела на второй этаж, и всем своим видом показывая, что это не просто сказано из вежливости, а он действительно счастлив их видеть. Очень счастлив.

Хозяину особняка было лет сорок — сорок пять. Гладко зачесанные седоватые волосы с косым английским пробором, мягое, мучнистое лицо, запавшие глаза с неестественно блестящими расширенными зрачками кокаиниста, дергающийся рот, суетливые беспорядочные движения.

«Психопат», — определил Косачевский.

— Прошу, господа, прошу,— непрерывно повторял Бурлак-Стрельцов, дергая головой и размахивая руками.— Не желаете ли чаю? Я сейчас распоряжусь.

— Да не суетитесь вы, ради бога! — поморщился Иван Иванович.— Какой чай? Мы же к вам не в гости пришли, а по делу.

— Справедливо! — почти с восторгом согласился Бурлак-Стрельцов.— Какой к черту чай? Дело, прежде всего дело. Да и чай у меня, признаться, дрянной, залежалый. Это я так, по привычке.

Узнав, что Косачевский из Совета милиции, Бурлак-Стрельцов побледиел и еще более засуетился.

— Милиция? А зачем, собственно, милиция?

Иван Иванович поторопился объяснить, что у милиции к владельцу особняка нет претензий, а просто существует такой порядок.

— Ах вот как,— немного успокоился Бурлак-Стрельцов и натужно улыбулся.— Конечно, конечно, как говаривал Петр Первый, полиция — нерв государственности, ее стеновой хребет. Я счастлив, что господин Косачевский нашел время, чтобы посетить меня. Очень приятно. Польщен.

— У вас каталог имеется? — спросил Белов.

— Конечно, конечно,— с готовностью закивал Бурлак-Стрельцов, всем своим видом показывая, что, если бы даже каталога и не было, он тут же, не сходя с места, его составил.

— Тогда давайте приступать к делу,— сухо сказал Белов.

— Да, да, давайте приступать к делу,— обрадовался Бурлак-Стрельцов и повернулся к Косачевскому.— Ежели позволите...

С этого момента хозяин особняка обращался только к Косачевскому, перед которым явно испытывал почтительный трепет.

Основная часть коллекции размещалась в большой гостиной, которую Бурлак-Стрельцов именовал голубой. Они прошли туда через запущенный зимний сад с уже пожухшими тропическими растениями. Здесь пахло засохшими цветами и гнилью. Тот же застоявшийся запах, к которому примешивался запах пыли, был и в гостиной.

— Ежели, господин Косачевский, вам потребуются какие-либо объяснения, я к вашим услугам,— сказал Бурлак-Стрельцов.

Как и предполагал Иван Иванович, восточная коллекция Бурлак-Стрельцова была собранием богатого дилетанта, который вкладывал деньги в покупку случайных вещей, рекомендованных ему тем или иным антикваром. Поэтому наряду с подлинными шедеврами восточного искусства здесь сосед-

ствовали средние, а то и просто плохие вещи, на которые бы никогда не обратил внимания подлинный ценитель.

По мнению Ивана Ивановича и Белова, наибольший интерес представляла со вкусом подобранная большая коллекция эфесных чаш самурайских мечей с изящными миниатюрными нирустациями из золота, серебра, малахита, перламутра, коралла и жемчуга. Это действительно была первоклассная коллекция, пожалуй, лучшая в России.

— Ковры — в диванной, — сказал Бурлак-Стрельцов Косачевскому.

Тот посмотрел на часы. Они уже находились здесь более часа. Если Бонэ до сих пор не пришел, то, видимо, уже не появится. Наверное, у него что-то стряслось. Жаль, но ничего не поделаешь. Придется обойтись без него.

— Ну как, товарищи?

— Что ж, показывайте свои ковры, — сказал Бурлак-Стрельцов Иван Иванович. — Мы хотели дожидаться еще одного члена комиссии, специалиста по коврам. Но, учитывая, что его до сих пор нет... Впрочем, товарищ Косачевский, насколько я знаю, сможет его в какой-то степени заменить. Так, Леонид Борисович?

Косачевский сделал неопределенный жест рукой, который мог обозначать все что угодно, в том числе и согласие со словами Ивана Ивановича.

Бурлак-Стрельцов изобразил на лице приятное удивление.

— Вы, оказывается, разбираетесь в коврах?

— До революции я некоторое время служил у Елпатова, — объяснил Косачевский.

— Ах вон как! — Хозяин особняка был в восторге. — Это просто замечательно! Подумать только, у самого Елпатова! Тогда вы, вне всякого сомнения, сможете по достоинству оценить мое собрание. Господни Елпатов тончайший знаток. Его мнение для меня всегда было законом. Кстати, в шестнадцатом я, по рекомендации господина Маисфельда — изволили знать такого? — приобрел у него два великолепных антика, которые теперь составляют мою гордость.

В собрании Бурлак-Стрельцова, которое занимало, помимо диванной, еще две примыкающие к ней комнаты, насчитывалось около шестидесяти ковров различных размеров. Тут были яркие, похожие на экзотические гигантские цветы «галаче» XV века из южной Индии с широкой каймой и традиционными лотосами — в виде бутонов и распускающихся цветов; красные и темно-синие старые афганцы с граблями и песочными часами на бордюре, с рядами восьмиугольников и мотивом следа слоновьей ступни; поражающие четкостью рисунка и контрастностью расцветки ковры XVI века из Армении с изображением борьбы между драконами и фениксами.

Бурлак-Стрельцов подвел Косачевского к висящему на стене большому «звериному» ковру, где в центральном поле средн сложного переплетения цветочной ориаментики были нзображены леопарды, преследующие благородных оленей.

— Десять тысяч рублей золотом,— не без гордости сказал он.— У французского консула сторговал — пятнадцать тысяч сукин сын просил. Еле уломал. XVI век.

Красочный многоцветный ковер отливал благородной седииной столетий — ковровой патиной.

— Бобер, истинный бобер,— говорил Бурлак-Стрельцов, любовно поглаживая ковер ладонью.

Косачевский потер между двумя пальцами ворс ковра. Он был жестким и сухим. Ворс «антиков» обычно более мягок и эластичен. Бонэ называл XIX и XX века веками фальсификаций.

«Когда-то седина была верным признаком «антиков»,— говорил он Косачевскому,— а теперь ковровая патина зачастую свидетельствует лишь о степени квалификацин жульников и о их знакомстве с химией».

Косачевский посмотрел на светящееся тихим восторгом лицо Бурлак-Стрельцова, который продолжал гладить ковер, и ласково сказал:

— Боюсь, что вас иадули.

Бурлак-Стрельцов не понял.

— Да, я знаю, что переплатил,— самодовольно и благодушио откликнулся он.— Но я не жалею об этом. Уж больно хорош.

— Я о другом.

— Простите?..

— Ковер-то из иовых.

— То есть?

— Подделка под «антик».

Бурлак-Стрельцов снисходительно улыбулся.

— Ну что вы, господин Косачевский! Посмотрите только, какая великолепная патина! Такую патику искусственно не создашь.

— Вы недооценяете мастерство иынешних умельцев,— нравоучительно сказал Косачевский.— А зря. В человека иадо верить. Вот, пожалуйста.— Косачевский разогнул ворс ковра.— Обратите виимание на места вязки узлов. Видите? Они иазначительно живее окрашены, чем ворс. О чем это свидетельствует? То-то и оно. И густота ворса иеодиородная. А тут нити утка видны... Чтобы нейтрализовать действие кислоты, щелочь пораньше применять следует. А они снебрежничают, вот и сожгли кислотой.

— Вы думаете, кислота?

— Да. Скорей всего, лимонная.

К ним подошел, заинтересовавшись разговором, Белов. Осмотрел места вязки узлов, засмеялся, демонстрируя молодые, белые, как кипень, зубы.

— О чем разговор? Конечно же, кислота и, конечно же, лимонная. Какие тут сомнения? Видите, какие узелки, Иван Иванович? А сработано неплохо — первый сорт. Сколько заплатили? Десять тысяч? За такую работу не так уж дорого. Мастер работал. Но вам, Леонид Борисович, надлежит свои таланты растрачивать не в Совете милиции, а у нас в комиссии. Уж больно у вас глаза приметливы.

— В Совете милиции такие глаза тоже не помеха, — заверил его Косачевский.

Бурлак-Стрельцов растерянно смотрел на ковер.

— Консул производил впечатление порядочного человека...

— Такое впечатление производят все жулики, — нравоучительно заметил Косачевский. — Впрочем, консула тоже могли обмануть.

* * *

На квартиру Бонэ Косачевский позвонил поздно вечером. К аппарату подошла Варвара Михайловна. Косачевский назвал себя и попросил Бонэ.

— А разве Александр Яковлевич не с вами? — удивилась Варвара Михайловна.

— Нет.

— Как же так?

— Мы действительно должны были сегодня с ним встретиться. Осматривались собрания Бурлак-Стрельцова. Но он почему-то не явился.

— Странно. Он ушел из дома в шесть утра.

В напряженном, нарочито спокойном голосе жены Бонэ ощущалась не тревога, а леденящий безысходный ужас. Косачевский попытался ее успокоить.

— Нет, я не волнуюсь. Но что с ним могло произойти? — сказала она, когда Косачевский исчерпал немногочисленные слова утешения.

Задавать вопросы, конечно, значительно легче, чем искать на них ответ.

Что могло произойти... Мало ли что могло произойти с человеком в Москве 1918 года!

Косачевский повесил трубку, дал отбой и позвонил дежурному по Уголовно-розыскной милиции. Дежурил аккуратный и исполнительный инспектор Борин, который входил в группу Косачевского по расследованию ограбления Патриаршей ризницы. Косачевский подробно описал ему внешность Бонэ.

— Через час я вам телефонирую, Леонид Борисович, — пообещал Борин.

Борин позвонил через полчаса. Произошло самое страшное: Бонэ оказался одним из 27 человек, убитых в Москве за прошедшие сутки...

Его труп был найден в Ананьевском переулке и теперь находился в Первом морге Городского района.

Ломая спички, Косачевский закурил.

— Вы меня слышите, Леонид Борисович? — спросил Борин.

— Да, слышу, — подтвердил Косачевский, раскуривая отсыревшую папиросу. — Когда и кем обнаружен труп?

— Труп найден около двенадцати дня. В сугробе. Его снегом присыпало. Дети наткнулись. Они из снега крепость строили, — обстоятельно объяснил Борин. — Ну, и родителям сообщил, а те — в милицию. Пролом черепа и шесть проникающих ножевых ранений в области грудной клетки, сердце задето... По заключению медика, смерть наступила между шестью и семью часами утра, возможно, несколько позже. Пролом черепа и ножевое ранение сердца смертельны. Три раны посмертные, нанесены уже трупу. Вы меня слышите, Леонид Борисович?

— Слышу, Петр Петрович, слышу, — Косачевский сделал глубокую затажку, аккуратно стряхнул пепел в пепельницу. Происшедшее никак не укладывалось в его сознании. Значит, в то время, когда они встретились возле особняка Бурлак-Стрельцова, Бонэ уже не было в живых. Но как он оказался в Ананьевском переулке, что ему там потребовалось? У папиросы был едкий и кислый вкус. Косачевский с отвращением раздавил окурки в пепельнице, спросил у Борина, кто из Уголовно-розыскной милиции выезжал на место происшествия.

— Агент второго разряда Омельченко из Городского района, — сказал Борин. — Тот, который бандгруппу Лысого ликвидировал. Толковый работник.

— Омельченко опрашивал жителей близлежащих домов?

— Разумеется, Леонид Борисович.

— Кто-нибудь видел убийство?

— Нет, никто ничего не видел и не слышал.

— Собаку применяли?

— Да, но безрезультатно.

Трудно было предположить, чтобы у такого человека, как Бонэ, имелась враги, ведь он был из тех, что и мухи не обидит. И тем не менее Косачевский спросил:

— Предполагаемые мотивы убийства?

— Скорей всего ограбление, — помедлив, сказал Борин. — Пальто и шапка с убитого сняты, карманы пиджака и брюк вывернуты. Но, сами понимаете, ручаться ни за что нельзя.

Косачевский закурил новую папиросу, но тут же сунул ее в пепельницу.

— Я вас попрошу, Петр Петрович, проследить за расследованием. А Омельченко пусть ко мне завтра с утра подъедет.

— Будет исполнено, Леонид Борисович.

— И еще... А впрочем, все, Петр Петрович. Спокойной вам ночи.

Теперь Косачевскому предстояло самое трудное — беседа с Варварой Михайловной. Конечно, нужно было ее как-то подготовить, найти необходимые слова утешения. Но как и чем можно утешить человека, потерявшего своего близкого? В подобных случаях утешает только время. И то не всегда. Косачевский знал людей, которые пронесли нетронутой скорбь потери через всю свою жизнь.

Косачевский подошел к телефону, снял трубку и вiovь положил ее на рычаг. Нет, он не мог заставить себя позвонить жене Бонэ. Но около часа ночи позвонила она сама.

— Извините за поздний звонок, Леонид Борисович...

— Я не сплю.

— Вы что-нибудь выяснили?

— Я звонил дежурному по Уголовно-розыскной милиции, — сказал Косачевский, невольно оттягивая тот момент, когда придется сказать о происшедшем.

— Им что-нибудь известно?

— Да.

— Что же произошло с Александром Яковлевичем? — почти выкрикнула она.

— Видите ли...

— Леонид Борисович, меня не надо подготавливать, — после паузы сказала она. — Я не истеричка. Я хочу знать правду. Он убит?

— Да. Его сегодня нашли мертвым в Апаньевском переулке.

— Я смогу получить тело Александра Яковлевича?

— Конечно.

— Где оно находится?

— В Первом морге Городского района. Если позволите, я завтра за вами заеду между одиннадцатью и двенадцатью, и мы туда вместе поедem.

— Хорошо, — сказала она и повесила трубку.

Косачевского считали человеком с железными нервами, но в ту ночь он уснул все-таки только под утро.

* * *

Версия об убийстве Бонэ с целью ограбления, выдвинутая агентом второго разряда Омельченко и поддерживаемая Бориним, подтвердилась.

На следующий день после похорон Александра Яковлевича, во время перестрелки бойцов из боевой дружины Уголовно-

розыскной милиции с бандой Сиволапого, пытавшейся ограбить склад мануфактуры на Мясницкой, был убит один из бандитов, некто Велопольский, известный под кличкой Утюг. На безымянном пальце правой руки убитого оказалось кольцо с бирюзой, принадлежавшее Бонэ. Это кольцо подарила мужу в день его рождения десять лет назад Варвара Михайловна. А во внутреннем кармане пиджака Велопольского нашли бухгалтер Бонэ и его карманные часы.

Допрошенная в присутствии Борина и Косачевского жена бандита подтвердила, что он, по его словам, взял эти вещи у ограбленного и убитого им человека.

Таким образом, розыскное дело об убийстве Александра Яковлевича Бонэ в связи со смертью убийцы подлежало прекращению. Но оно прекращено не было...

Вскоре на стол Косачевского легло несколько листов мелко испсанной бумаги. Это был протокол допроса жильца дома № 4 по Ананьевскому переулку Павла Никаноровича Дроздова, который не был своевременно допрошен сотрудниками Уголовно-розыскной милиции в связи с тем, что в день убийства Бонэ уехал на четыре дня в деревню, где менял свои вещи на сало и картошку.

Во время допроса Дроздов сообщил, что без двадцати восемь утра он пошел за водой к водоразборной колонке, находящейся в конце переулка. Когда, налив ведра, он возвращался обратно, в переулок въехала коляска. Хорошо рассмотреть эту коляску он не смог, так как метель еще не стихла. Но, похоже, что коляска была не извозничья, а лакированная, с ацетиленовыми фонарями. Из этой коляски кучер и седок вытолкали в сугроб какого-то человека, которого Дроздов принял тогда за пьяного и только потом понял, что это был не пьяный, а убитый, тот самый, которого дети в снегу нашли.

Показания Дроздова, подтвержденные затем некоей Васильевой, крест-накрест перечеркивали первоначальную версию, не вызывающую раньше серьезных сомнений.

Из допроса Дроздова следовало, что Бонэ убили не в Ананьевском переулке, а где-то в другом месте, откуда труп перевезли в переулок и там бросили. Это не могло не наводить на размышления. Если бы преступление совершил уголовник Утюг, то зачем, спрашивается, ему нужно было бы возиться с трупом? Не все ли равно бандиту, в каком именно районе Москвы обнаружат его очередную жертву? Убил, ограбил и скрылся. К чему напрасно рисковать с перевозкой? Что ему это могло дать?

Нет, если Утюг и был причастен к происшедшему, то только в качестве исполнителя чьей-то воли. И тот, кто стоял за спиной профессионального убийцы, очень боялся, что подозрение может пасть на него. В отличие от бандита, за которым уже

числилось несколько убийств, ему было что терять. Потому-то мертвого Бонэ, чтобы сбить со следа милицию, и увезли подальше от места преступления.

А коляска? Где бы Утюг мог раздобыть венскую лакированную коляску с ацетиленовыми фонарями? Это были дорогие коляски. Такую коляску мог себе позволить только богатый человек. А о венской лакированной коляске, в которой привезли тело Бонэ, говорил не только Дроздов, постоянно употреблявший слово «похоже», но и Васильева, в показаниях которой этого слова не было.

Так возникла новая версия убийства Бонэ. Но кому и в чем мог помешать этот милый обаятельный человек, которого Косачевский шуточно называл «вечно сочувствующим»? Кому он ненароком перешел дорогу?

Странное. Очень странное убийство.

— Я вас попрошу, Петр Петрович, забрать у Омельченко это дело, — сказал Косачевский Борину.

— Вы его хотите кому-либо передать?

— Да, хочу. Этим делом займемся мы с вами, Петр Петрович. Не возражаете?

Борин развел руками.

— Как прикажете, Леонид Борисович. Только Омельченко квалифицированный работник.

— Не сомневаюсь, — сказал Косачевский. — Но Бонэ был мне очень дорог. Я хочу сам найти его убийцу. Этим я отдам ему последний долг.

— Я вас понимаю, Леонид Борисович, — наклонил голову Борин.

Косачевский усмехнулся.

— Что ж, понимать друг друга — это не так уж мало.

В тот же день Косачевский посетил вдову Бонэ и попросил ее продиктовать ему список людей, с которыми у Александра Яковлевича были какие-либо отношения — деловые или личные.

— Зачем вам это?

— Мы ищем убийцу.

— Вы думаете, что его убили не уголовники? — догадалась она. — Чушь! Полнейшая чушь! Вы же знали Александра Яковлевича. У него никогда не было и не могло быть врагов. У него были только друзья.

— Не смею с вами спорить, — сказал Косачевский, обмакнув перо в чернильницу, склонился над листком бумаги. — Давайте все-таки составим с вами список... друзей.

Варвара Михайловна вздохнула и стала диктовать:

— Елпатов, Мансфельд, Белов, Бурлак-Стрельцов...

Бонэ вел довольно замкнутый образ жизни, но, к удивлению Косачевского, список его знакомых вскоре достиг ста человек.

Чтобы их всех проверить, Борину нужно будет основательно потрудиться.

— Если еще кого-либо вспомните, обязательно телефоннируйте мне, — попросил Косачевский.

— Хорошо, — безразлично согласилась она.

— Александр Яковлевич хранил письма?

— Нет, у нас в семье это не было принято.

— Поинтио. И еще. Я у вас хочу забрать бумагу мужа. На время, разумеется. Потом я их вам верю.

— Бумаги? Их не так уж много. Записи по истории ковроделия вам тоже потребуются?

— Обязательно.

Вяло усмехнувшись бескровными растрескавшимися губами, Варвара Михайловна достала из письменного стола мужа черную кожаную папку с замочком.

— Вот, пожалуйста. Здесь, насколько мне известно, все его заметки и выписки. Александр Яковлевич был очень аккуратным и педантичным человеком. Этому у него можно было поучиться. Так что здесь все по истории ковроделия. Изучайте. Будем надеяться, что вам хоть что-нибудь из всего этого пригодится.

— Будем надеяться, — эхом отозвался Косачевский и, помолчав, сказал: — Я бы хотел задать вам несколько вопросов.

— Да?

Косачевский достал из кармана пиджака и протянул ей записку, полученную им от Бонэ накануне убийства.

— Как видите, здесь Александр Яковлевич писал о каких-то «крайне важных» новостях, которыми он хотел поделиться со мной. Причем он был уверен, что эти новости меня заинтересуют.

Прочитав записку, Варвара Михайловна вернула ее Косачевскому.

— Так что вы, собственно, хотите меня спросить?

— О каких новостях шла речь? Что он имел в виду?

— Боюсь, что тут я ничем не могу быть вам полезна, Леонид Борисович. Я абсолютно ничего не знаю.

— Разве он вам не рассказывал о своих делах?

— Почти нет. Он считал, что его дела — профессиональные, разумеется, — мне не интересны и из деликатности почти никогда не говорил о них.

— А в поведении его вы не замечали ничего особенного?

— Вы имеете в виду дни, предшествующие убийству?

— Именно.

Она задумалась.

— Пожалуй, последнее время он был в каком-то приподнятом настроении, — неуверенно сказала она. — Чаше, чем обычно, шутил, смеялся.

— А с чем это могло быть связано?

— Не знаю. У меня как раз заболела сестра, и все остальное как-то отошло на второй план.

* * *

Косачевский читал записи Бонэ из черной кожаной папки, переданной ему Варварой Михайловной, у себя в номере Первого Дома Советов обычно по ночам, когда его сосед Артюхин уже сладко спал. Косачевский любил работать по ночам. Эта привычка появилась у него еще в годы ссылки.

В бледном анемичном свете керосиновой лампы мчались по бумажке стремительные фиолетовые строчки:

«Прелесть ковра заключается в рисунке, в качестве шерсти, из которой он сделан, в искусстве мастера, его терпении, но главное — краски. Без многообразия и высокого качества красителей ковроделие никогда не смогло бы достичь тех вершин, которых оно достигло к XV — XVI векам.

Краски всегда привлекали к себе внимание людей и постепенно стали необходимым атрибутом любой цивилизации.

Вспомним хотя бы Древний Рим. Здесь краски были не только предметами первой необходимости, но и своеобразными символами могущества, красоты и богатства.

Сотни рабов-ныряльщиков вылавливали улиток-багрянок. Для получения одного грамма бесценной краски, в которую окрашивались тоги римских императоров, требовалось чуть ли не 60 тысяч этих улиток.

Из Египта в Рим доставляли растение сафлор. Его лепестки шли на изготовление желтой и розовой краски.

Из Африки прибывало красное индиго — орсейль, из Индии темное и светлое кашу — сок акаций и пальм.

Не меньший интерес к краскам был и в древней Руси. Здесь почти не пользовались заморским сырьем, а изготавливали краски из собственного сырья, преимущественно из различных растений. Зеленую краску делали из крапивы и перьев лука, желтую — из шафрана, коры ольхи, шавеля, коричневую — из коры молодого дуба и желудей, алую — из барбариса, а малиновую — из молодых листьев яблони. Багровый же цвет давала червель, краска, которую получали из маленьких червячков, водившихся в корнях растения, именуемого по-латыни «полигонум мннус».

Но первенство тут всегда принадлежало Востоку, который славился многообразием, красотой и стойкостью своих натуральных красок для шерсти, шелка и хлопка. Именно здесь поражали своим многоцветьем ковры и ткани. Именно здесь были созданы первые в мире ковры, которые являлись образцами красоты для многих поколений.

Когда я оказался в Индии, уже многие натуральные красители древности были забыты. Многие, но не все, и даже не большая их часть. По-прежнему мастера касты красильщиков получают светло-красную краску из картамина, добавляя в чан настой кожуры плодов манго; красную — из проваренной смеси лодхры с лесным лаком (густой, как воск, налет на ветвях деревьев, оставляемый насекомыми); желтую — из турмерика, смешанного с соком лимона; оранжевую — из цветов дерева сингхор (белые лепестки обрываются, а оранжевая сердцевина вываривается в воде); серую — из сока плодов черного миробалана, смешанного с купоросом.

И тем не менее общепризнанно, что современные индусские ковры и ткани по своим краскам значительно уступают старым. То же самое можно сказать и о коврах Персии и Турции, изготовленных с применением натуральных красок (об анилиновых говорить не будем).

В чем же дело?

А суть вопроса заключается в том, что тайной всегда было не столько сырье для производства красителей, сколько особенности процесса изготовления красок, рецепты крашения и такне, казалось бы, несущественные детали, как время года, когда следует добывать и применять тот или иной краситель, место добычи, особенности воды в разных районах страны и многое, многое другое.

Перевернув очередную страницу рукописи, Косачевский увидел на обороте две заметки, сделанные красными чернилами. Почерк был тот же:

«**Прасковья Ивановна Кузнецова-Горбунова**¹. Считается первой русской поэтессой из крестьян. Была крепостной графа Н. П. Шереметева (село Кусково). С 14 лет Кузнецова-Горбунова была «при верьхе актрисою». Вышла замуж за своего помещика. Имела на Шереметева большое влияние, обладала тонким вкусом, дворец в Кускове многим ей обязан. Кузнецовой-Горбуновой принадлежит широкоизвестная песня «Вечер поздно из лесочку я коров домой гнала...», описывающая ее первую встречу с будущим мужем. Обязательно посетить Кусково и навести соответствующие справки. Возможно, удастся что-либо выяснить у ее родственников и потомков графа Н. П. Шереметева».

«**Эжен де Мирекур**, настоящая фамилия Жако. Литератор, псевдонимы, проходимец. Прославился скандальными брошюрами. Начал свою своеобразную карьеру в 1845 году, издав книжонку об Александре Дюма, в которой обличал писателя в том, что все романы Дюма написаны в действительности

¹ Под этой двойной фамилией известная крепостная актриса П. И. Жемчугова (Ковалева) значится в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона и некоторых других дореволюционных изданий.

безвестными литераторами. Брошюра произвела громкий скандал и была нарасхват. Дюма привлек Мирекура к судебной ответственности за клевету, и по приговору суда тот был посажен на полгода за решетку. Однако это не только не охладило клеветника, который, благодаря скандалу, стал одним из самых популярных литераторов Франции, но навело его на мысль создать точно в таком же стиле серию книг о всех выдающихся людях современности. В задуманную им серию вошло около ста книжек, которые пользовались значительно большим успехом, чем произведения Стендаля, Бальзака и Дюма. Мирекур мог бы стать одним из богатейших людей Франции, но многочисленные судебные штрафы за клевету поглощали большую часть его баснословных гонораров. Поэтому, путешествуя в 1861 году по России, Мирекур особо не роскошествовал.

В 1873 году величайший из пасквилянтов принял монашество и отправился в качестве миссионера на Гаити, где и скончался. Судя по всему, о его пребывании в России в личных архивах различных лиц должны были сохраниться документы, которые могут оказаться весьма полезными. Во всяком случае пренебрегать такой возможностью не следует».

Эти записи не могли не удивить. Почему Бонэ, которого, казалось, ничего, кроме ковров, не интересовало, собирался посетить Кусково и разыскать родственников Шереметева и его жены? А его интерес к документам о пребывании в России де Мирекура? Странно, очень странно. И еще. Какую связь усмотрел Бонэ между проходившим Эженом де Мирекуром, зарабатывающим деньги на оплевывании общественных деятелей, и крепостной девушкой, ставшей по воле судьбы графиней Шереметевой?

Записи были не менее загадочны, чем само убийство. Но может быть, они имеют к нему какое-то отношение?

Тщательная проверка знакомых Бонэ, которую методично проводил Борин, пока что никаких ощутимых успехов не дала, хотя у некоторых проверяемых или вообще не было алиби или было, но весьма сомнительное, из тех, которые Борин именовал «трухлявыми». Но это еще ни о чем не свидетельствовало. Какой нормальный честный человек будет заботиться о своем алиби, если он ни в чем не виновен? Железное алиби — или дело случая или приобретение тех, кто очень в нем заинтересован, то есть преступников.

Но все же работу Борина нельзя было назвать безрезультатной. Она расширила представление о самом убитом, о его связях, о людях, с которыми он общался, об их взаимоотношениях, склонностях, интересах, образе жизни — выявила факты, среди которых рано или поздно окажутся те, что станут ключом или отмычкой к происшедшему. Об этом свидетель-

ствовал опыт Косачевского. Случайное, несущественное постепенно отшелушится, отойдет, а главное останется. Но, что может стать главным, определяющим, сейчас не угадаешь, для этого потребуется время, а пока надо накапливать факты, методично и кропотливо.

В докладе Борниа заместителя председателя Совета милиции заинтересовало упоминание о трех поездках Боиз в Ржев. Дважды он туда ездил в 1915 году и один раз совсем недавно, за десять дней до своей смерти.

Не с этим ли городом была каким-то образом связана записка, которую ему оставил Боиз? «Дорогой Леонид Борисович! Дважды заезжал к Вам, но так и не смог застать. Понимаю: дела, дела и опять дела. А все-таки льшу себя надеждой, что встретимся. Не напрасно? У меня крайне важные новости. Уверен, что они и Вас заинтересуют...»

«Крайне важные новости...»

— Боиз один ездил во Ржев?

— Нет. Первый раз он там был с Бурлак-Стрельцовым.

— А потом?

— Безоговорочно утверждать не буду, но, похоже, один. Я еще это уточню, Леонид Борисович.

Косачевский стер ладонью пыль с письменного бронзового прибора, который остался от прежнего хозяина кабинета, и спросил, чем Борни объясняет эти поездки во Ржев.

— Затрудняюсь что-либо определенное ответить, Леонид Борисович. Говорил с женой покойного — она не знает. Еще кое с кем беседовал — тоже без толку. Хочу сегодня подъехать к Бурлак-Стрельцову.

Косачевский на мгновение задумался.

— Бурлак-Стрельцов... А почему бы вам не начать с Елпатова?

— Ну что ж, можно и с Елпатова. Только Ржев, насколько мне известно, никогда и никакого отношения к ковроделию и к торговле коврами не имел, так что Елпатов, опасаясь, здесь не помощник. Скорей всего, Боиз ездил туда по личным делам.

— Возможно, — согласился Косачевский. — Но Елпатов не любил зря платить деньги своим служащим. И ежели кто-то из них уезжал по личной надобности, то обязательно отпрашивался у хозяина, объяснял ему причины. Так что начнем все-таки с Елпатова, а Бурлак-Стрельцова прибережем до следующего раза. Не возражаете?

— Тогда я сегодня заеду к Елпатову.

— Знаете что? Возьму-ка я это на себя, — сказал Косачевский. — Уж так и быть, нанесу ему визит по старой дружбе. Как-никак, а ведь я его бывший служащий. Поминется, даже вместе чай пивал.

— Ну, ежели вместе чай пивал... — Борин развел руками.

Елпатов узнал Косачевского сразу.

— А, господни Пивоваров! Рад, рад, что вспомнили. Присаживайтесь.

Губы его улыбались, но маленькие, глубоко посаженные глаза глядели холодно и настороженно.

— Уже не Пивоваров,— усмехнулся Косачевский.

— И не Семен Семенович, понятию?

— Леонид Борисович.

— Счастлив новому знакомству с вами, Леонид Борисович.

— Надеюсь.

— Да уж чего тут надеяться! Счастлив не счастлив, а деваться некуда... И в какой же вы должности или чине, Леонид Борисович, нынче пребывать изволите? Народный комиссар путей сообщения, к примеру, армией командуете, хотя и без погон генеральских, или финансами по всей России управляете?

— Помощник председателя Совета московской милиции,— сказал Косачевский, который никогда не терял присущего ему хладнокровия.

— Помощник председателя милиции? Это по-старому вроде бы полицмейстер?

— Не совсем.

— Тогда извините великодушно, что не разобрался. Темный я. В таких материях толка не знаю. Ведь я больше по торговой части мастак, только с аршином да со счетами дружен. Где купить подешевле, где продать подороже, как прибыль получить да убытки стороной обойти,— вот этому обучен. Купец, словом, коммерсант. Для купца же государственные дела, а тем паче полицейские — лес темный: что ни шаг, то колдобина...

Реквизировать небось пришли? — спросил Елпатов.— Ежели так, то с запозданием. Без вас уже постарались. Во всем торговом доме разве что я сам еще не реквизирован. И то потому как от такой реквизиции никакого прирбытка новой власти не предвидится. На колбасу и то не пустишь — жилист... Бонэ-то где теперь? Небось тоже на реквизициях подиаторел?

— Нету больше Бонэ, Ермолай Иванович...

Маленькие глазки бывшего главы торгового дома впились в лицо Косачевского.

— Как это нет? Помер, что ли?

— Убит.

Елпатов перекрестился.

— За что ж его? Ведь покойный-то из тех был, что не только делом, но и словом самого последнего подлеца не обидит. Хотя душегубу-то что? Душегуб из-за рубля отцу родному глотку перережет...

Косачевский задал Елпатову несколько вопросов о знакомых Бонэ, а затем спросил о поездках убитого в Ржев.

— В Ржев?! — изумился бывший глава торгового дома.

В его удивлении было что-то показное, нарочитое. Впрочем, Косачевский мог и ошибиться, он слишком мало знал Елпатова.

— Это на ржевских, выходит, подозрение имеете?

Косачевский пропустил вопрос мимо ушей.

— Нас интересуют поездки Бонэ в Ржев,— повторил он.

— Когда же он ездил туда?

— Он там был несколько раз. Впервые, если не ошибаюсь, в 1915 году.

— Ишь ты, в пятинадцатом, на второй год войны... Что-то не припоминаю. По делам торгового дома делать ему там вроде бы было нечего. Он у нас вообще-то больше по заграницам ездил. А в России где? Петербург, Киев, Варшава... Ну, Туркестан, Тифлис...

И снова в интонации собеседника Косачевскому почудилась фальшивинка. Может, Елпатов что-то пытается скрыть? Но зачем?

— Он тогда посещал Ржев вместе с Бурлак-Стрельцовым. Елпатов задумался.

— И у господина Стрельцова, сколь знаю, никаких надобностей во Ржеве не имелось... Разве что его домыслы с Волосковыми, ведь родом-то они оттуда, из Ржева.

— А кто такие Волосковы?

— Красильщики. Великие мастера красильного дела были. Только то вам без интереса, господин Косачевский, и дело их, и они сами давно уж быльем поросли.

— И все-таки?

Елпатов хмыкнул.

— Ежели такое любопытство, я не против. Только история та давняя, ежели и не с царя гороха ее начинать, то уж не позднее как с Петра Алексеича Великого, преобразователя российского.

Действительно, историю Волосковых следовало начинать с Петра Первого.

России петровских времен требовались не только чугуны, железо, лес, порох и сукна, но и краски.

И в 1716 году Петр Первый подписал указ «О сыску и объявлении посылке красок в губернии и о не вывозе оных из-за моря». А вслед за тем канцелярия Правительствующего Сената разработала и разослала на места реестр необходимых государству красок. Много предприимчивых людей занялись тогда розысками красильного сырья и изготовлением красок. Но счастье, как всегда бывает в подобных случаях, улыбнулось немногим. И вот среди этих немногих оказался русский умелец,

часовщик из Ржева Иван Волосков. Во всем разбирался Волосков: в механике, токарном деле, слесарном, кузнечном. Только в красильном ничего не смыслил. Но именно в красильном ему суждено было прославиться на всю Российскую империю.

В те времена — да и не только в те — самой дорогой краской считался кармин. Изготавливался он из кошенили, насекомых, которые водились на территории нынешней Мексики на кактусах с экзотическим названием нопале. Пуд кармина стоил тогда в России 280 рублей, а пуд той же краски, изготовленной из лучшего сорта кошенили, так называемой «серебристой», и все 350 — деньги невообразимые. Получить кармин из русского сырья никому не удавалось. А часовщику из Ржева удалось. И продавал Волосков свой кармин по 150 рублей за пуд. Вскоре в Ржев потянулись красильщики и купцы. Купцы уезжали от Волоскова довольные, а красильщики — несолоно хлебавши: никому и ни за какие деньги Волосков своего секрета не открывал.

Заводик Ивана Волоскова во Ржеве превратился при его сыне Терентии в завод, не очень большой, но зато процветающий. Терентий, как и его отец, был мастером на все руки: и астрономические часы-автоматы делал, и телескоп для наблюдений за солнцем сам себе смастерил, но больше всего времени он, понятно, уделял все-таки красильному делу.

Терентий значительно улучшил качество волосковского кармина, который при нем стал вывозиться за границу. Этой краской заинтересовалась и Петербургская Академия художеств, рекомендовавшая ее для окраски в малиновый цвет с отливом отечественного бархата и для изображения багрянца на иконах.

Завод тогда, помимо кармина, выпускал уже превосходный бакан, отличные белла и другие краски.

После смерти Терентия, который умер в 1806 году, красильное дело во Ржеве перешло в руки его внучатого племянника Алексея. Алексей Волосков еще более улучшил знаменитый кармин. Краска теперь меньше боялась воздействия света, стала ярче. Ее начали использовать для печатания кредитных билетов. Удостоенный двух золотых медалей в России, волосковский кармин в 1851 году получил третью медаль, на этот раз на Всемирной выставке в Лондоне. Тайна ржевских красильщиков после смерти Алексея Волоскова так и осталась тайной, хотя в лаборатории завода, куда раньше доступа никому не было, теперь толклось немало людей, начиная с мелких пройдох и кончая солидными дельцами.

Время от времени кто-нибудь оповещал, что секрет кармина им разгадан и желающие могут у него приобрести этот кармин

в любом количестве. Но все эти сообщения кончались одним коифузом: не та краска, что у Волосковых, много хуже.

— Вот Бурлак-Стрельцов и не удержался, решил по-пробоваться,— сказал Елпатов,— благо обстоятельства к тому подтолкнули. Ему там подо Ржевом в пятнадцатом году наследство досталось. Приехал он во Ржев бумаги оформлять, в гостинице, как положено, остановился. Там его жулики и отыскивали. Ну и надули в уши про Волосковых. А Бурлак Стрельцов господин легковёрный, не из вдумчивых — шалтай-болтай, словом. Да и кому не лестно секрет волосковского кармина открыть? Вот он и принял все за чистую монету. Загорелся. Ну, а Александра Яковлевича вы знали. Его таким делом недолго было в соблази ввести. Он же, как дитя малое, был душа нараспашку до самого сердца. Вот и покуролесили они на пару во Ржеве. А толку, понятно, нуль.

— С кем же они во Ржеве встречались?

— С жуликами, естественно,— хмыкнул Елпатов.— Кто, кроме жуликов, мог их в соблази ввести касательно волосковского кармина? Дело-то пустое.

— Но ведь Александр Яковлевич был еще дважды во Ржеве.

— Вольному воля, господин Косачевский. Покойный мог туда и трижды и четырежды ездить и каждую байку из собственного кармана оплачивать. Я же говорю: дитя малое. Какой с него спрос?

Косачевский вспомнил про свой давний разговор с Бонэ о премии Наполеона и спросил у Елпатова, не отыскиали ли Волосковы равноценной замены краске индиго.

— Нет, чего не было, того не было. Если бы Волосковым это удалось, то им бы не грех было во Ржеве золотой памятник поставить. Краски, равной индиго, еще никто не изобрел.

— Однако Александр Яковлевич мне о таком открытии говорил.

— Кто же додумался до этого?

— Не знаю.

— Вот и я не знаю,— засмеялся Елпатов.— Что-то вы, господин Косачевский, здесь напутали.

Может, действительно, он напутал или память ему изменила? Кто его знает. Твердой уверенности у Косачевского не было.

Он показал Елпатову заметки Бонэ о Кузнецовой-Горбуновой и Мирекуре. Елпатов надел очки, внимательно прочел, недоумевающе поглядел на Косачевского.

— Почему Бонэ интересовался этими людьми?

— Об этом разве что у него самого спросить можно. Да только покойники, сколь знаю, не очень-то разговорчивы.

— Но это может иметь какое-то отношение к ковроделню?

— Сомнительно.

— А к ржевским розыскам Александра Яковлевича?

— На это вам, господин Косачевский, никто не ответит.

Но в этом Елпатов ошибся. На свой вопрос Косачевский получил исчерпывающий ответ от другого человека. И этим человеком был Маисфельд-Полевой, которого заместитель председателя Совета милиции допросил в тот же день.

* * *

Робкий луч солнца, воровски пробравшийся через давно немытые стекла окна в кабинете Косачевского, осветил бледное личико потомка славных немецких рыцарей. Он смотрел на Косачевского жалобными голодными глазами и, похоже, готов был променять все подвиги прошлого на тарелку дымящихся наваристых щей и хороший ломоть пышного довоенного хлеба, который некогда продавался в любой хлебной лавке. Увы, такими сказочными сокровищами заместитель председателя Совета милиции не располагал, поэтому он предложил своему собеседнику (Косачевский тщательно избегал слова «допрашиваемый») стакан чая и кусок похожего на замазку черного хлеба.

— А сахарок у вас найдется? — робко спросил потомок рыцарей.

— Найдется, — сказал Косачевский и, поставив перед ним сахар, рядом положил записи Бонэ.

— Вам это о чем-нибудь говорят?

— В каком смысле?

— Почему Александр Яковлевич собирал сведения об этих людях?

— Ну как же, как же — Маисфельд поспешно допил свой стакан, и Косачевский долил ему чая. — Ведь, по слухам, Мирекур во время своей поездки в Россию приобрел в Петербурге у Агонесова великолепный норыгинский ковер. И у Кузнецовой-Горбуновой был такой ковер.

— Какой ковер?

— Норыгинский.

— А что означает «норыгинский»?

Маисфельд был настолько удивлен этим вопросом заместителя председателя Совета милиции, что даже перестал жевать.

— Вы не знаете, кто такой Норыгин?

— Представления не имею.

Мансфельд вытер сомнительной чистоты носовым платком рот и веско сказал:

— Это был единственный в мире человек, который с полным правом мог бы претендовать на премию Наполеона...

— Позвольте, позвольте,— перебил его Косачевский, почувствовав, наконец, в своих руках нечто вроде кончика ниточки этого запутанного клубка, в котором прошлое каким-то образом переплеталось с настоящим.— Вы имеете в виду премию тому, кто отыщет равноценный заменитель индиго?

— Именно,— подтвердил Мансфельд.

— Мне покойный Александр Яковлевич что-то говорил об этом.

— Естественно, Александр Яковлевич очень высоко ценил заслуги этого выдающегося человека. В работе Александра Яковлевича по истории ковроделия, которую от так и не успел закончить, Нoryгину должна была быть посвящена целая глава. Хотя это и не доказано, но специалисты убеждены, что Нoryгин не только нашел равноценные заменители для большинства красок, которыми пользовались древние ковроделы, но и разгадал способы их изготовления и рецепты крашения.

Когда Мансфельд допил свой чай, Косачевский попросил его подробней рассказать о Нoryгине.

Оказалось, что Варфоломей Акимович Нoryгин был крепостным графа Шереметева и находился на оброке.

Нoryгин стоял у самых истоков дела Волосковых, будучи правой рукой Терентия, которому помогал разрабатывать рецепты бакана, белил и постоянно улучшать качество знаменитого волосковского кармина.

Нoryгину приписывалось много открытий и усовершенствований в красильном деле. Утверждали, что, работая у Волоскова, он якобы нашел полноценный заменитель для индиго, эффективный способ добиться устойчивости окраски кармином, который боится солнечного света и довольно быстро под его воздействием выцветает, устойчивости окраски красным индиго (орсейлем) и проводил успешные опыты по окраске верблюжьей шерсти, которая обычно крайне плохо поддается окраске и употребляется теперь в коврах в естественном виде, хотя имеются сведения, что в XV веке ее умели окрашивать в различные цвета.

Утверждали, что Нoryгин, работая в заводской лаборатории Волоскова (он был единственным, кому, кроме хозяина завода, доверялся ключ от этого помещения), сумел разгадать многие секреты древних мастеров Востока, и прежде всего Персии, которая считалась родиной ковроделия.

Все это Нoryгин держал в тайне, делаясь с Волосковым только своими второстепенными усовершенствованиями. Это

была не только дань установившейся среди мастеров традиции. Нoryгин мечтал о собственном деле, которое помогло бы ему выкупиться из крепостной зависимости и стать вольным человеком.

Но в 1793 году Шереметев затребовал Нoryгина к себе в Кусково. Какой разговор состоялся между помещиком и его крепостным — неизвестно, но, судя по всему, Нoryгин понял, что его мечте не суждено осуществиться. Граф не хотел давать вольную талантливому мастеру, хотя за него просила жена графа, сама бывшая крепостная, Прасковья Ивановна Кузнецова-Горбунова. И тогда Нoryгин вместе с работавшими на том же заводе Волоскова во Ржеве сыном Иваном и Али-Мирадом бегут из России — сначала в Бухару, а затем перебираются в Персию. Здесь, в Кермане, Нoryгин и Али-Мирад стали совладельцами ковровой мануфактуры. Она просуществовала сравнительно недолго, но оставила по себе память в мировом ковроделии. Всего, по мнению большинства специалистов, ею было выпущено не более сорока или пятидесяти ковров, однако каждый из них был своеобразным шедевром по яркости, блеску, чистоте красок и разнообразию тонов. Это была вершина ковроделия. Достаточно сказать, что и тогда и позднее нoryгинские ковры ценились любителями значительно дороже лучших персидских антиков XV — XVI веков. Большая их часть была приобретена для дворцов шаха, но восемь или десять оказались в Европе. Два своих ковра Нoryгин прислал в дар Кузнецовой-Горбуновой, к которой до самой своей смерти испытывал глубокое уважение и симпатию. Один нoryгинский ковер был приобретен непосредственно в Кермане русским дипломатом Агонесовым. Этот ковер в дальнейшем и оказался у Мирекура, который торговал его в Петербурге у внука дипломата. По слухам, Мирекур, приняв монашество, подарил его настоятелю монастыря.

Скончался Нoryгин от холеры в 1795 году и был похоронен в Кермане. Али-Мирад пережил его всего на несколько месяцев. После их смерти мануфактура, перешедшая по наследству к Ивану Нoryгину, захирела, а затем и полностью прекратила свое существование. Нoryгин-младший, который унаследовал дело отца, но не его таланты, прожил за границей много лет и вернулся в Россию незадолго до Отечественной войны 1812 года уже свободным человеком (вольную ему и его отцу Шереметев подписал по просьбе Кузнецовой-Горбуновой за несколько дней до ее смерти).

Приехал Нoryгин-младший с одним неказистым сундучком, но в нем оказалось достаточно денег, чтобы купить во Ржеве в Князь-Димитровской части города, расположенной по левому берегу Волги, двухэтажный каменный дом и открыть лучшую в Князь-Димитровской стороне мясную лавку.

Ни к красильному делу, ни к коврам сын Норыгина никакой склонности не имел. Тем не менее среди его гостей было много красильщиков и тех, кто занимался коврами, в том числе и Алексей Волосков, владелец известного на всю Россию ржевского красильного завода. Объяснялось это не столько уважением к памяти Варфоломея Акимовича Норыгина, сколько тем, что поговаривали, будто в сундучке, привезенном Иваном в родной Ржев, были не только деньги, но и сафьяновый портфель, где хранились записи его покойного отца. Охотников заполучить эти записи было очень много, значительно больше тех, кто позднее хотел узнать секрет волосковского кармина. Но и тем, и другим в одинаковой степени не повезло.

А в семидесятые годы в Томске в лавке купца Рыкова стала продаваться исключительной красоты и стойкости синяя краска, ни в чем не уступающая индиго, но в два раза дешевле его. Как выяснилось, изготавливал эту краску для Рыкова ссыльный народник студент-химик Аистов, являвшийся, кстати говоря, уроженцем все того же Ржева, которому, видно, самой судьбой было предопределено сыграть немалую роль в красильном деле России.

Отбыв положенный ему срок ссылки, Аистов вернулся в родной Ржев. Тяжело больной, он больше политической деятельностью не занимался, но красильное дело не бросил: оно до самой смерти кормило его и его семью. Дело было не ахти какое большое — ни одного наемного работника, только свои. Но заработка на безбедное существование вполне хватало. Любопытно, что Аистов не скрывал, что пользуется изобретением Варфоломея Акимовича Норыгина, и называл свою краску «норыгнкой». Но больше из него ничего выпытать не могли. А ведь самым интересным было — каким образом к нему попал рецепт изготовления этой краски. Ответа на этот вопрос никто добиться не мог — Аистов или отмалчивался, или отделялся шуткой. Молчали и те, кто вместе с ним варил краску. Зато любопытные молчаливостью не отличались, строили различные предположения. Самым распространенным был слух о том, что легендарный сафьяновый портфель попал к Аистову от его сводного брата, который в свое время приобрел полуразрушенный дом Ивана Норыгина и, перестраивая его, обнаружил этот портфель замурованным в стене. Так это было или не так, — кто знает.

А в 1915 году, когда бывший ссыльный давно уже покоился в земле, во Ржеве, помимо русского индиго, появилась в продаже новая великолепная краска пурпурового цвета.

И вновь вспыхнул интерес к таинственному портфелю Варфоломея Норыгина.

Тогда-то Бурлак-Стрельцов вместе с Бонэ и отправились во Ржев...

Записав последнюю фразу показаний Мансфельда, Косачевский спросил, слышал ли Елпатов про всю эту историю.

— Разумеется, — сказал Мансфельд.

— А почему вы, собственно говоря, в этом так уверены?

— По той простой причине, что о Норыгине я услышал впервые лет пятнадцать назад от господина Елпатова.

Косачевский помолчал, осознавая сказанное допрашиваемым, а затем сказал:

— Я хочу предупредить вас, господин Мансфельд, что ваше заявление может иметь исключительно важное значение в расследовании убийства Александра Яковлевича Бонэ. Поэтому вы должны отнестись к нему с должной ответственностью.

Под столом звякнули рыцарские шпоры.

— Я дворянин.

— В 1918 году одного этого мало, господин Мансфельд.

— Я привык всегда отвечать за свои слова и всю жизнь говорил только правду.

— Итак, вы утверждаете, что впервые о Норыгине услышали именно от Елпатова?

— Да.

— И твердо в этом уверены?

— Да.

— Ну что ж, тогда не откажите мне в любезности вот здесь расписаться.

Мансфельд молча поставил под показаниями свою подпись.

— Теперь, если вас не затруднит, следующий вопрос: совместная поездка в 1915 году Бурлак-Стрельцова и Бонэ во Ржев состоялась по чьей инициативе?

— По инициативе Бурлак-Стрельцова. Он должен был оформить получение там наследства. Это совпало с вновь возникшими слухами о портфеле Варфоломея Норыгина, и господин Стрельцов предложил Александру Яковлевичу поехать вместе с ним. Александр Яковлевич, который уже давно питал интерес к так называемому норыгинскому наследству, тотчас же согласился.

— А эта поездка не была связана с секретом волосковского кармина?

— Нет.

— Откуда вы это знаете?

— Я присутствовал при разговоре Стрельцова с Бонэ.

— Где и когда происходил этот разговор?

— В конце января Бурлак-Стрельцов приехал на квартиру к Бонэ, показал ему пурпурную краску, которая появилась к тому времени во Ржеве, и сказал, что теперь, наконец, появился шанс отыскать норыгинское наследство. Бонэ с ним

согласился, и они договорились о совместной поездке во Ржев, которая состоялась во второй половине января.

И вновь Косачевский предложил свидетелю расписаться под своими показаниями.

— Елпатов знал о цели этой совместной поездки?

— Конечно. Он был очень заинтересован в «норыгинском наследстве». Если бы розыски Бонэ и Бурлак-Стрельцова увенчались успехом, то это дало бы ему и Бурлак-Стрельцову миллионные барыши.

— Вы только поэтому думаете, что он знал о цели поездки?

— Нет, не только. Елпатов мне сам об этом говорил. Он финансировал командировку Бонэ, посулив тому в случае удачи двадцать тысяч рублей и пожизненный пенсион ему и его супруге. Бонэ со свойственным ему бескорыстием отказался от какого-либо вознаграждения. Он считал, что норыгинское наследство должно принадлежать России и способствовать его поискам — долг каждого русского патриота.

— Елпатов и Бурлак-Стрельцов заключали какое-нибудь соглашение на тот случай, если норыгинское наследство будет обнаружено?

— Насколько мне известно, только устное, хотя Елпатов и считал господина Стрельцова малонадежным партнером.

— Для этого были основания?

— Да. Господин Бурлак-Стрельцов никогда не отличался в делах особой щепетильностью, а к тому времени его финансовое положение оставляло желать лучшего, что могло оказать дополнительное влияние на его подход к деловым отношениям.

— То есть мог и смошенничать?

— Я этого не говорил. Я говорил лишь об отсутствии изысканней щепетильности и расстройстве дел.

— Если такая формулировка вас больше устраивает, я не возражаю, — сказал Косачевский, который уже до этого составил себе представление о Бурлак-Стрельцове. — Но давайте вернемся к их устному соглашению. К чему оно сводилось?

— Перед отъездом во Ржев Бурлак-Стрельцов зашел ко мне.

— Чтобы поделиться своими планами, как благодетельствовать России?

— Нет, чтобы занять деньги — пятьсот рублей, которые он обещал мне вернуть после получения наследства.

— Кстати, наследство было большим?

— Двухэтажный каменный дом, который он собирался продать, и около двадцати тысяч денег и ценными бумагами. Учитывая широкий образ жизни господина Стрельцова, такое

наследство трудно признать большим. Как говорится, на один зуб.

— Понятно.

— Я выписал ему вексель на пятьсот рублей, и он мне сказал, что, если удастся разыскать бумаги Норыгина, то Елпатов возьмет его компаньоном в новое красивое дело и выплатит ему пятьдесят тысяч рублей наличными, что даст ему возможность полностью преодолеть финансовые трудности. Бурлак-Стрельцов, которому весьма свойственно прожектерство, очень надеялся на успех и строил воздушные замки.

— Его ожидания оправдались?

— Нет. Поездка во Ржев закончилась полнейшей неудачей. Им тогда ничего не удалось найти.

— Вы в этом уверены?

— Абсолютно. Бурлак-Стрельцов был очень разочарован, так как рассчитывал на большие деньги. Он даже собирался одно время продавать свой особняк в Москве и собрание произведений искусства, в том числе и восточные ковры, к которым и я тогда приценивался. Но потом ему повезло в карты, и все образовалось. Разочарован, понятно, был и Елпатов. Он потерял надежду отыскать норыгинское наследство. «Легенда», — сказал мне Елпатов.

— И тем не менее Бонэ в том же году вновь посетил Ржев?

— Да.

— И вновь в поисках норыгинского наследства?

— Да.

— Елпатов знал и об этой поездке?

— Разумеется, ведь Александр Яковлевич служил у него. Александр Яковлевич вообще ничего не скрывал от Елпатова.

— Чем была вызвана эта поездка, новыми сведениями?

— Насколько мне известно, нет.

— А чем же?

— Александр Яковлевич был по натуре оптимистом и умел заразить этим оптимизмом других, в том числе и Елпатова. Он почти никогда не отказывался от задуманного.

— В данном случае его оптимизм оправдался?

— Мне трудно исчерпывающе ответить на ваш вопрос, господин Косачевский. С самим Александром Яковлевичем относительно его вторичного посещения Ржева я не беседовал. Как-то не приходилось к слову. Но в ноябре 1916 года я случайно встретился с господином Елпатовым в бильярдной купеческого клуба. Во время нашего краткого разговора я между прочим спросил у него о норыгинском наследстве. Елпатов ответил, что особых новостей покуда нет, но некоторые шансы

на успех после вторичной поездки Бонэ во Ржев все-таки появились. По его словам, Александру Яковлевичу удалось разыскать кого-то из родственников НORYГИНА, и тот подтвердил, что сафьяновый портфель существует, что он хранится у внука АИСТОВА, но тот теперь в действующей армии на фронте. «Так что, пошутил Елпатов, только и делаю, что еженощно молю господа о здравии раба божьего Егория».

— Это так надо понимать, что внука АИСТОВА, у которого якобы находится портфель, зовут Егором или Георгием?

— Видимо.

— С чем была связана последняя поездка Бонэ во Ржев?

— Не знаю.

— Елпатов, Бурлак-Стрельцов или Бонэ вам что-нибудь о ней говорили?

— Нет. Но я предполагаю, что она тоже была каким-то образом связана с норыгинским наследством.

— Елпатов знал об убийстве Бонэ?

— Думаю, что да.

— Почему?

— О смерти Александра Яковлевича мне на второй день телефонировал господин Стрельцов, а Стрельцов и Елпатов, насколько мне известно, поддерживают постоянные отношения. В частности, Стрельцов обратился в Московский Совдеп за получением охранной грамоты на свои собрания по совету Елпатова. Поэтому трудно предположить, чтобы Стрельцов уведомил об этой прискорбной вести меня, но не поставил в известность Елпатова, с которым довольно часто общался по различным делам. Между ними всегда были отношения, которые можно назвать дружественными, а Бонэ ведь был служащим Елпатова, и его судьба была для господина Елпатова небезразлична. Да и вдова покойного живет в доме Елпатова. Невероятно, чтобы она не сказала ему о постигшем ее несчастье.

— Что вы можете сказать о Бурлак-Стрельцове?

— Господин Стрельцов некогда был очень богатым человеком. И это казалось ему естественным состоянием. А когда его финансовое положение пошатнулось, он стал нервничать. Когда же человек нервничает, то начинает проявляться его истинная суть. А суть господина Стрельцова не вызывает симпатий. Боюсь ошибиться, но, по моему мнению, это очень мелкий человек, тщеславный, завистливый, малодушный, склонный к неожиданным поступкам, зачастую недостойным порядочного человека.

— А как к Бурлак-Стрельцову относился Бонэ?

— Бонэ ко всем хорошо относился, даже к тем, кто заведомо этого не был достоин. Он был очень добрым человеком и умел находить достоинства даже в тех, в ком их никогда не было.

— Какие же достоинства он отыскал в Бурлак-Стрельцове?

— Это может показаться смешным, но он считал господина Стрельцова жертвой судьбы, которая вначале дала ему все, а затем, лишив многого из того, что он имел и к чему успел привыкнуть, сделала его несчастнейшим из несчастных. «Если бы он родился нищим, — любил говорить Бонэ, — он был бы самым счастливым подданным Российской империи». Бонэ считал господина Стрельцова добрым и наивным, но немного избалованным ребенком. Он его консультировал, когда Стрельцов стал собирать ковры, и если в коллекции Стрельцова есть что-либо заслуживающее внимания, то в этом заслуга Бонэ. Господин Стрельцов полный профан в ковроделии, хотя и считает себя великим знатоком. Он разбирается только в картах и женщинах. Поэтому, когда вновь начались разговоры о норыгнском наследстве, он не зря пригласил с собой во Ржев Александра Яковлевича. А тот по своей наивности считал это знаком дружбы и доверия. Более того, Александр Яковлевич был убежден, что поиски норыгнского наследства их общее дело, и всегда посвящал господина Стрельцова в свои удаchi и неудачи, хотя Стрельцов после их первой поездки во Ржев, разуверившись в успехе, больше не ударил пальцем о палец, а проводил все свое время за карточным столом. Стрельцов вообще равнодушен к людям, хотя Александр Яковлевич говорил мне, что он не чужд альтруизма и как-то спас от тюрьмы некоего уголовника, который теперь служит у него швейцаром и готов отдать жизнь за своего хозяина. («Проверить!» — подумал Косачевский.) Увы, Александр Яковлевич всегда был легковерен. Он стремился верить во все, что могло украсить человека, кем бы он ни был в действительности. Мне очень жаль, что Александра Яковлевича больше нет, господин Косачевский. Это был прекрасный человек и непревзойденный знаток искусства ковроделия, искусства, которое, видимо, никогда больше не возродится.

— Мне говорили, что вы собираетесь эмигрировать? — сказал Косачевский.

— Эмигрировать? — вскинулся Мансфельд. — Нет, господин Косачевский, вас ввели в заблуждение. Я не собираюсь эмигрировать. Действительно мои предки захоронены в Германии. Но мой дед похоронен в России. Здесь же покоится мой отец. Здесь же умру и я. Германия — это мое прошлое, а Россия — настоящее. Я не могу отказаться от нее. Отказаться от нее — это значит отказаться от самого себя.

— На что вы сейчас живете, господин Мансфельд?

— Я за свою жизнь составил некоторое состояние. Мне его хватит на год-полтора.

— А потом?

— Я неплохо разбираюсь в антикварнате, особенно в коврах.

— Вам разве неизвестна судьба антикварных магазинов?

— Я не это имел в виду. Я имел в виду музеи. Государственные музеи... Если останется Россия, то останутся и музеи. Музей — прошлое России. Страна не может идти в будущее, забыв свое прошлое. А будут музеи, найдется работа и для меня. Ведь будут музеи?

— Обязательно будут, — сказал Косачевский. — И в новой России будут самые лучшие музеи мира.

— Вот видите, и вы так считаете.

Косачевский закурил и искоса посмотрел на Мансфельда. Потомок немецких рыцарей, тщедушный, почти прозрачный, сидел на краешке стула, подперев ладошкой острый подбородок и устремив взгляд куда-то поверх головы хозяина кабинета. Здесь, в комнате, находилось лишь его брэнное тело, а мысли витали где-то далеко: может быть, в залах будущего музея ковров, а может быть, где-то еще. Лицо Мансфельда как-то стояло, посерело, кончики тонких, четко очерченных губ опухли. Он устал. Как-никак, а допрос уже длился около четырех часов.

— Хотите еще чая?

— Нет, благодарю вас, господин Косачевский.

— Тогда прочтите все, что я записал с ваших слов, и распишитесь, вы очень помогли нам, господин Мансфельд.

* * *

Итак, Елпатов лгал. Лгал, когда говорил, что не знал об убийстве своего бывшего служащего. Лгал, когда утверждал, что Бонэ и Бурлак-Стрельцов ездили во Ржев, чтобы отыскать там рецепт волосковского кармина. Лгал, когда отрицал свою осведомленность о последующем посещении Бонэ Ржева. Лгал, когда говорил, что не имеет представления, почему Бонэ заинтересовался Кузнецовой-Горбуновой и этим прохиндеем Минрекуром.

Для чего?

Ложь, конечно, не доказательство и даже не тень доказательства причастности бывшего главы торгового дома к происшедшим событиям. Косачевский был достаточно опытен в розыском деле, чтобы обманываться на этот счет. И тем не менее люди редко лгут из любви к искусству. Чаще всего у них есть для этого какие-то основания. Правда, лгут они по разным соображениям, порой не имеющим прямого отношения к тому, что стало поводом к их допросу. Но ложь — это ложь. Она не может не настораживать.

Почему все-таки Елпатов пытался утаить правду о норы-

гинском наследстве? Не хотел, чтобы оно могло достаться Советской власти? Возможно. Точно так же вполне возможно, что у него были и какие-то другие соображения.

Покуда обо всем этом можно было лишь догадываться. Ясно одно: после показаний Мансфельда, правдивость которых не вызывала никаких сомнений, и Елпатов и Бурлак-Стрельцов приобретали для следствия особый интерес. Их связь с Бонэ в поисках норыгинского наследства вполне могла стать основой новой версии убийства Александра Яковлевича Бонэ. А вот насколько эта версия окажется достоверной — дело будущего. Ближайшего будущего, как надеялся заместитель председателя Совета московской милиции. Во всяком случае, здесь стоило покопаться.

Вторично допрашивать Елпатова Косачевский пока не хотел. Такой допрос мог лишь помочь бывшему главе торгового дома сориентироваться в сложившейся обстановке, а это затруднило бы дальнейшее расследование. Ни к чему было сейчас вызывать в Уголовно-розыскную милицию и Бурлак-Стрельцова. Пусть эти двое считают, что про них совершенно забыли, и спокойно занимаются своими делами... под постоянным тайным наблюдением сотрудников уголовного розыска. Если не сегодня, то завтра Косачевский будет располагать о них сведениями, которые помогут разобраться и в них самих, и в мотивах их поведения.

А пока эти сведения будут постепенно накапливаться, центр розыскной работы следует, видимо, перенести во Ржев, где легко можно отыскать людей, с которыми Бонэ встречался и говорил.

Но к тому времени, когда были отработаны не только схема, но и детали дальнейшей работы по делу об убийстве, произошло событие, значительно ускорившее раскрытие преступления.

Допрашивая одного из уголовников, задержанного во время облавы на Хитровом рынке, Борин совершенно неожиданно для себя узнал обстоятельства, которые вскоре стали решающими в деле об убийстве Бонэ.

Вначале случайно полученные сведения представлялись малосущественными даже ему самому. Действительно, что может быть интересного в том, что у некоего бандита Велопольского по кличке Утюг, которого застрелили сотрудники розыска на Мясницкой во время ограбления склада мануфактуры, имеется брат, занимавшийся в молодости воровством, а затем остепенившийся? Ничего. Мало ли у кого из преступников есть остепеннившиеся братья!

Но, как известно, в розыскной работе малосущественное порой превращается в весьма существенное, а то и в определяющее. Так произошло и на этот раз...

— Вы помните, Леонид Борисович, Велопольского? — спросил Борин, входя в кабинет Косачевского.

— Велопольский? Нет, не припоминаю.

— Ну тот, у которого нашли принадлежавшие Бонэ кольцо с бирюзой и карманные часы.

— Утюг?

— Ну да, из банды Сиволапого. У него, оказывается, есть брат — Иван Велопольский, и этот брат уже около двенадцати лет работает швейцаром у Бурлак-Стрельцова.

— Любопытно, весьма любопытно, — сказал после паузы Косачевский. — Мансфельд тоже упоминал о швейцаре.

— И это еще не все. — Борин достал из кармана пиджака какой-то предмет, завернутый в папиросную бумагу. Это был серебряный портсигар.

— «А. Я. Бонэ», — прочел Косачевский на внутренней стороне крышки. — Откуда он у вас?

— Этот портсигар третьего дня продал скупщику Севрюгнну Иван Велопольский. Я только что закончил допрос Севрюгнна. Вот его показания, Леонид Борисович.

Косачевский бегло просмотрел исписанный аккуратным почерком Борина лист бумаги. Да, Севрюгин ошибиться не мог: Ивана Велопольского он знал давно. Некогда Велопольский был женат на его дочери, которая умерла в 1912 году.

— Не исключено, конечно, что портсигар — подарок Утюга...

— Не исключено, — согласился Косачевский. — Но не слишком ли много совпадений?

— Да, совпадений многовато. Прикажете задержать и допросить Велопольского?

— Думаю, целесообразней сначала произвести тщательный обыск в особняке Бурлак-Стрельцова.

— Согласен, — кивнул Борин. — Когда? Завтра?

— Сейчас, Петр Петрович. Если вас не затруднит, вызовите автомобиль и пригласите старшего по дежурной группе. Я поеду с вами.

Во время обыска в вестибюле между досками паркета были обнаружены засохшие затеки крови.

— Вы убили Александра Яковлевича Бонэ? — спросил Косачевский у швейцара.

— Мы, — сказал тот. — Вместе с братухой порешили... Да только не по своей воле, господин хороший.

— По чьей же?

— Хозяин велел. А мы-то что? Мы люди маленькие. Приказано — сделано. Нам-то он не мешал. Теленком был покойный: с открытыми глазами на убой шел. Только и спросил: за что? Да только нам не до разговоров было...

В тот же день Иван Велопольский, Бурлак-Стрельцов и Елпатов были арестованы и препровождены в камеру предварительного заключения Московской уголовно-розыскной милиции.

* * *

— Таким образом, интуиция не обманула заместителя председателя Совета московской милиции,— сказал старый искусствовед Василий Петрович Белов, единственный оставшийся в живых участник тех далеких событий 1918 года, с кем меня пятьдесят лет спустя свела судьба и от которого я узнал обо всей этой истории.— Заметки Бонэ о Кузнецовой-Горбуновой и Мирекуре действительно стали ключом к тайне убийства Александра Яковлевича Бонэ.

После признания Ивана Велопольского, подтвержденного вещественными доказательствами и показаниями Севрюгина и Павла Дроздова, который опознал и самого Велопольского, и венскую лакированную коляску Бурлак-Стрельцова, в которой труп убитого привезли в Ананьевский переулок, заpiresательство Елпатова и Бурлак-Стрельцова теряло всякий смысл. В этом они окончательно убедились на очных ставках с Маисфельдом. И уже через два дня после их ареста Косачевский располагал исчерпывающими материалами обо всем происшедшем.

Теперь уже не вызывало никаких сомнений, что знаменитый сафьяновый портфель Варфоломея Акимовича Норгина был не досужей выдумкой любителей легенд, не мифом, а реальностью. Судя по всему, его действительно обнаружил в стене норгинского дома сводный брат ссыльного студента Анстова. И с тех пор бесценные документы мастера с завода Волосковых находились в семье Аистовых. Последним их владельцем был Георгий Анстов, внук ссыльного студента.

Как было с достоверностью установлено материалами следствия, в 1915 году преподавателя ржевского реального училища Георгия Аистова призвали в армию, а в начале 1917 года он попал в плен к немцам. Длительное время ничего не было известно о его судьбе. А в 1918 году Георгий Аистов вернулся из плена в родной Ржев, о чем Бонэ написала крестная Аистова, Марфа Иванцова. Сразу же после получения письма от Иванцовой Бонэ выехал во Ржев, где встретился с Аистовым. Допрошенный Бориным Анстов рассказал о своей встрече с Бонэ. «После беседы с Александром Яковлевичем,— сказал он,— я окончательно утвердился в мысли, что норгинское наследство должно стать достоянием России. Никаких сомнений на этот счет у меня не было». Анстов заявил Бонэ, что, хотя он и не большевик, но всей душой сочувствует новой власти и ее начинаниям, поэтому охотно передаст Бонэ документы

Норыгина. Дело осложнялось лишь тем, что эти бумаги находились тогда у его жены, которая уехала в Самару к родственникам. «Как только она вернется,— сказал Аистов Бонэ,— я тотчас же все привезу вам в Москву». Георгий Аистов выполнил свое обещание, и дней через десять после их беседы во Ржеве легендарный сафьяновый портфель уже был в руках Бонэ.

Легко себе представить радость Александра Яковлевича. Наверное, это был самый счастливый день в его жизни. Отыскать документы Норыгина было его мечтой, и вот, наконец, эта мечта осуществилась. Бонэ не считал нужным скрывать от кого-либо свою удачу, а тем более от Елпатова, к которому относился с большим уважением. Елпатов поздравил Бонэ с успехом и предложил своему бывшему служащему приобрести у него бумаги Норыгина за сто тысяч рублей, исходя из того, что в эмиграции он смог бы превратить эти бумаги в миллионное состояние. Бонэ от такой сделки категорически отказался, и Елпатов понял, что убедить Бонэ он не сможет. Тогда-то Елпатов и отправился к Бурлак-Стрельцову.

Нет, он не говорил со своим давним приятелем об убийстве Бонэ. Елпатов не скатился до уголовщины. Речь лишь шла о том, чтобы использовать все средства давления на Александра Яковлевича. Но Бурлак-Стрельцов не привык останавливаться на половине дороги. Убедившись в том, что с портфелем Норыгина Бонэ добровольно не расстанется, он решил, по его выражению, прибегнуть к крайней мере. Убийство было совершено в его особняке братьями Велопольскими ранним утром того самого дня, когда к хозяину особняка должна была прибыть комиссия из Московского Совдепа.

— А портфель Норыгина? — спросил я.

— Этот портфель Бонэ принес с собой, чтобы ознакомить хозяина особняка с документами, розыск которых они начинали вместе в 1915 году. После убийства Александра Яковлевича Бурлак-Стрельцов отдал портфель Елпатову, получив за него сто тысяч рублей,— сказал Василий Петрович.— У Елпатова этот портфель и обнаружили при обыске работники Уголовно-розыскной милиции. Но, увы, документов в нем уже не было... Опасаясь улик, Елпатов перед обыском сжег все бумаги Норыгина. Портфель он тоже бросил в печь, но тот лишь успел слегка обгореть.

— Итак, все норыгинское наследство превратилось в пепел?

Василий Петрович помолчал.

— Кто его знает. Когда месяц спустя я встретился с Косачевским на совещании в Московской комиссии по охране памятников искусства и старины, он мне говорил, что имеются сведения о том, что Елпатов, получив портфель от Бурлак-

Стрельцова, снял копии с важнейших документов и передал их кому-то из своих людей. Подтвердились ли впоследствии эти сведения — не знаю. Косачевский был вскоре направлен на подпольную работу на Украину.

Покинул Москву и я. Больше о норыгинском наследстве я никогда и ничего не слышал. Но знаете крылатые слова о том, что рукописи не горят? Я в это всегда верил. И сейчас верю...



Марк Азов, Валерий Михайловский

ВИЗИТ «ДЖАЛИТЫ»

ОДНОФАМИЛЕЦ СРЕДНЕВЕКОВОГО ФИЛОСОФА

У стенки грузового причала в Константинополе стоял пароход. На его черном борту с облупившейся краской, на облезлых спасательных кругах и рассохшихся шлюпках было написано по-английски и по-русски имя средневекового философа: «Спиноза». Ниже замазан старый порт приписки судна — Одесса и надписан новый — Ливерпуль. Трубы не дымили. По опустевшей палубе прохаживался часовой, русский казак с винтовкой.

Вдруг часовой остановился, приставив приклад к ноге. Матросы в брезентовых робах поднимали на верхнюю палубу носилки с мертвым телом, накрытым с головой клеенчатым плащом. Поверх плаща лежала капитанская фуражка.

Носилки с телом капитана «Спинозы» пронесли по пустой палубе и по трапу вынесли на пирс. По традиции его следовало проводить гудком. Но для гудка у «Спинозы» не было пара. Даже легкого дрожания нагретого воздуха не ощущалось над обрезом его непомерно высоких труб. Пароход стоял с холодными котлами: он находился под арестом в иностранном порту. Капитана сегодня утром нашли в каюте с простреленной головой. Ни письма, ни записки при нем не обнаружили. Следовательно так и записал в протоколе: «Покончил с собой, не оставив письменного свидетельства».

Но это было не совсем так. Когда тело капитана погрузили на арбу и возница-турок погнал лошадь по крутой каменной улочке вверх, капитанская фуражка стала сползать по скользкой клеенке плаща, и сопровождавший тело человек в белой курточке — стюард со «Спинозы» спрятал ее под своей кур-

точкой. Вскоре арба остановилась у дома, где размещалось представительство «Русского каботажного бюро» в Константинополе.

Эта контора, возглавляемая безработными адмиралами, бежавшими из России от большевиков, сдавала внаем русские пароходы, угнанные вместе с экипажами при отступлении белых из Одессы, Новороссийска и прочих захваченных красными портов. Русские пароходы и их продажные на чужбину экипажи плавали теперь под иностранными флагами в чужих морях. А некоторые, как, например, «Спиноза», ходили к берегам Крыма, где окопались остатки белогвардейщины, подбирали удирающую от красных публику, грузили на борт имущество крымских фабрикантов и содержимое казенных складов, принадлежавшее, до того как белые захватили Крым, Крымской Советской Республике, и вывозили в Турцию. Здесь были жизненно важные вещи: одежда, медикаменты, провиант. Белые не оставляли ничего: ни хлеба, ни лекарств...

Стюард сдал тело капитана представителю бюро, получил расписку и пошел... в букинистический магазин. Там они вместе с букинистом подпорол подкладку фуражки и вынули письмо...

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО КАПИТАНА «СПИНОЗЫ»

«Милая Настенька!

Не вини ты меня, ради бога! Вини их. Ты знаешь, кого... Сперва они меня с родиной разлучили, когда угнали за границу русский торговый флот, потом впутали в бесчестное дело: принуждали вывозить из Крыма продовольствие, чтобы кормить белые корпуса, которые формируются за границей на помощь Врангелю. А в России дети пухнут с голоду... Так, мало того, теперь они сами же отдали меня под суд. Предъявили следователю фальшивые документы, по которым выходит, будто я принял на борт «Спинозы» продовольствие с казенных складов в Феодосии. Но я в этот рейс, уж ты-то можешь мне поверить, Настенька, кроме пассажиров да оборудования табачного производства и давящих прессов с парфюмерной фабрики, что в Судаке, ничего не грузил. Так что, естественно, продовольствия по прибытии в Константинополь на борту не оказалось. Хотя со складов, как выходит по документам, господа из белого интендантства под надзором контрразведки этот груз якобы взяли и переправили на пароход. Теперь чем хочешь клянись — не докажешь, что ты не украл. Если даже в тюрьму не посадят, все равно не то капитаном — кочегаром не возьмут ни на одно судно. Тем более — в чужой стране... Так что единственный, кто нас рассудит, — это тот никелиро-

ванный револьвер, который я тебе, Настенька, не велел трогать. Помнишь?.. Он нас с тобой, родненькая, разлучит. Теперь уж навсегда...»

Буккинист несколько раз перечитал письмо.

— Весьма ценный документ,— сказал он,— весьма! Если продовольствие не попало на борт «Спиннозы», значит, оно осталось в Крыму: спрятано где-то в районе Феодосия — Судак... Письмо капитана поможет нам его отыскать.

— Капитан просил меня передать письмо его жене в Крыму.

— Вот мы и передадим. Сам-то вы попадете в Крым не скоро. «Спинноза» крепко застрял в Константинополе. Пока идет следствие, наложен арест на фрахт. А других рейсов на Крым сейчас нет.

— А как же вы переправите письмо? Посуху?

— «Джалитой».

— С контрабандистами?.. Да если контрабандисты прочтут письмо, они сами разыщут спрятанное продовольствие. Это же хлеб! А в России — голод. Представляете, сколько сейчас стоит в России пуд муки?!

Буккинист улыбнулся:

— Об этом не беспокойтесь: на «Джалите» поплывет свой человек.

— Поплыть-то он поплывет,— покачал головой стюард,— а вот доплывет ли? Ноябрь наступает. В ноябре Черное море потопит парусник.

— «Джалиту» не потопит,— ответил буккинист убежденно.— «Джалита» хитрый бот. Очень хитрый!..

ХИТРЫЙ БОТИК «ДЖАЛИТА» И ЕГО ЭКИПАЖ

7 ноября 1920 года в горах за Новоросийском родился бора́ — губительный северо-восточный ветер. Но море еще не ощутило его дыхания — лежало ленивое, штилевое. Короткий широкий ботик, сверху похожий на жучка, казалось, уснул на снмем щите моря, хотя полз он под всеми своими косыми парусами. Гафельный грот на его единственной мачте, фока-стаксель и кливера над бушпротом вяло морщились от дохлого ветерка, а то и вовсе бессильно обвисали.

Ботик был чуть побольше шлюпки, но с палубой, на которой сейчас находился весь его международный экипаж: двое небритых молодчиков, медлительных и грязных, как их посудина, хозяин судна — турецкий грек из Трапезунда и Гриша, русский, в «вышнанной» украинской сорочке и берете английского матроса, с помпоном.

— Ветерку бы-ы,— мечтательно протянул Гриша.

Грек посмотрел с тревогой на задымленный горизонт:

— Осень. Плохой ветер бывает: бора.

— А если дизель качнуть?

Под палубой «Джалиты» был спрятан дизель-мотор с компрессором. Обычно катера таможенной охраны легко догоняли парусники контрабандистов. С «Джалитой» этот номер не проходил: в нужный момент включался двигатель. Кабы не двигатель, грек ни за что бы не решился пересекать Черное море в такое негостеприимное время года.

— Ну так качнуть дизель? — переспросил Гриша.

— Берег близко, — ответил наконец грек. — Мыс Мысхак, Новороссийск. С парус мы маленький турецкий контрабанда: чулочка, лифчика, кокаинчика. А мотор услышат — спросят: кто такой? Красный, белый? Становись к стенке.

Гриша снял берет с помпоном, почесал затылок:

— Да-а!.. С вами влипнешь... А если я сам по себе? Так не бывает?..

— Не бывает. Все русские поделились: белая — красная.

— А я выделился... в отдельное государство. Что, не может быть? Свой государственный флаг! — Гриша размотал засаленный шарфик и помахал им в воздухе. — Герб тоже свой! — Задрав рубашку, он продемонстрировал наколку на груди: русалка в кольцах удава.

Грек окинул Гришу критическим взглядом:

— Голоштаный твой государство.

— Что есть — то есть, — без спора согласился Гриша. — Министр финансов ходит без портфеля. Поэтому я и инаился на вашу «Джалиту», господин Михалокопулос... Тыфу, чуть язык не вывихнул. Давай по нмееи: ты меня просто Гриша, я тебя просто...

— Ксенофонт.

— Так вот, Сеня... финансы у нас с тобою скоро будут, потому что вот это пока работает. — Гриша деликатно постукался в свой собственный лоб, словно там шло заседание. — Министерство иностранных дел!

Грек не выдержал — улынулся, крепкие молодые зубы сверкнули под усами:

— Значит, у вас, как это говорится, «министерская голова»?

— В самую точку, — согласился Гриша. — Ты когда-нибудь видел Крым на географической карте — той, что в школе? С виду это такой кошелечек, ридикюль, куда российская толстопузья сложила сейчас всю монету, какую только успела свести в Крым, удирая от большевиков...

Грек, не слушая, смотрел на море: вдали уже обозначилась потемневшая полоса воли с барашками пены. Ветер, налетая, срывал барашки. Гриша перехватил взгляд:

— Не бора это, просто свежачок. Ты слушай: когда большевики возьмут Перекоп, они, можно сказать, развяжут кошелечек, и мы с тобой начнем грести золото совковой лопатой — за место на «Джалите» желающие драпануть из Крыма отвалят больше, чем мы сможем увезти. У меня даже есть на примете один пассажир, вернее сказать, пассажирка...

В этот момент сизая полоса волн с барашками добежала до ботика, сильный порыв ветра накренил суденышко.

— Ай, говорил, бора! — закричал грек. — Грот убирай! Стаксель! Кливер! (Гриша с трудом убирал хлопающие паруса.) Качай дизель!

Гриша раздраил люк, добрался до дизеля и схватился за пусковой рычаг. Застучал двигатель, палуба задрожала. Чихая нефтяными парами, оставляя мазутные пятна, ботик взобрался на волну и дал ход. Грек и Гриша вдвоем вертели штурвал. Вода то и дело окатывала обоих. Ботик, стуча дизелем, вползал на водяные горы, несущиеся наперегонки с тучами, и, срываясь с их пенистых вершин, зарывался чуть ли не вместе с мачтой. Иногда под кормой обнажался винт. Его лопасти свистели в воздухе среди брызг и пены...

Вдруг дизель чихнул — грек и Гриша прислушались. Снова чиханье и всхлип. Потом мгновение тишины; только слышно, как вода скатывается с палубы.

Грек увидел, как побледнел его моторист.

— Ханá, дизель скис, — прохрипел Гриша.

Волна развернула ботик, другая, как кувалдой, ударила в пузатый борт, грек и Гриша уже не могли держать суденышко иосом к волне. Потерявший управление ботик несло боком. Палуба все круче накренилась. Темная морская глубь глядела прямо в глаза... И вдруг среди грохота волн Гриша услышал голос грека:

— Коммерция не должна пропадать.

Гриша не поверил своим ушам, нашел время говорить о коммерции!.. Может, показалось?.. Но грек говорил в самое ухо:

— Кто живой доплывет до Крыма, будет делать, как я скажу. Слушай и запомниай...

АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ КОРАЛЛОВЫХ ОСТРОВОВ

Бора длится обычно не более суток. И вот уже вновь как ни в чем не бывало катятся ласковые волины к берегам вожделенного Крыма. В бирюзовом ожерелье прибоя лежит полуостров. На юге в эту пору осенн солище еще исправно освещает выходы известняка и можжевельные заросли Яйлы,

ветер треплет листву дубово-буковых рощ на склонах гор. Винзу, где полоса пляжей, маленькие крабики взбегают на гладкие теплые камни. А на севере срывается по ночам ледяная изморозь, порой падает и тает снег. Там, у перешейков, где решалась судьба Крыма, шла тяжелая работа войны: по белесой воде Сиваша, заткнув за поясные ремни подобранные полы шинелей, брели красноармейцы.

На траверсе Севастополя, Феодосии, Керчи подпиралн дымаи небо суда пяти государств — английская, французская, итальянская, турецкая и греческая эскадры. Дрожали бронепалубы от гула беспрерывно работающих машин. Антанта тянула к Крыму пятерню.

— Ожидается высадка союзников! — кричали мальчишки-газетчики на набережных крымских городов. — Большевики не войдут в Крым!

Но в силу союзников уже никто не вернул. Высаживались они и в Одессе, и в Новороссийске... даже в Архангельске, а большевики одержали верх и вошли во все эти города. Вот и сейчас армии Фрунзе неумолнно надвигаются, как бора в ноябре. И, хотя еще не было приказа об эвакуации, дорога, сбегавшая серпантинном по склонам Яйлы к морю, была забита беженцами. Подпирая друг друга, извозничьи пролетки, линейки, брички двигались вниз черепашим шагом. Время от времени с криком и руганью их оттесняли вооруженные люди, требуя пропустить военные обозы. Зеленые двуколки казенного образца и мобилизованные гражданские телеги, платформы ломовиков, даже арбы были с верхом завалены ящиками, мешками и кулями, покрытыми рогожей, мешковиной, брезентом. Груз тщательно охранялся: за телегами шли не в ногу усталые солдаты в обмотках и английских бутсах, побелевших от крымской известковой пыли. Солдаты обросли бородой и даже офицеры были небриты.

Телеги проезжали мимо некогда шеголеватых, ныне облупившихся ворот. На арке сохранилась лепная надпись:

КЛИМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

За этой аркой начиналось как будто бы другое царство: царство причудливых парковых растений, клумб, ваз, беседок и мраморных львов с кольцами в зубах. От арки аллея крымских туй вела к веранде, увитой снизу виноградом. Здесь стояла плетеная санаторная мебель. Сидя в белом ивовом кресле, доктор Забродская Мария Станиславовна беседовала с заграничным коммерсантом.

— Господни... — Мария Станиславовна запнулась, — простите, очень трудная фамилия... Ми-ха-ло-ко-пу-лос...

— О, можно просто Ксенофонт!

— А?.. Ну да! — вспомнила Мария Станиславовна. — Был такой древнегреческий полководец. Учили в гимназии. — Теперь она уже не могла без смеха смотреть на потомка древних греков, одетого одесским пижонем: кургузый обдергайчик — короткий пиджачок в талию — и брюки-дудочки, которые он то и дело поддергивал, чтобы не сминались на коленях, заодно демонстрируя штиблеты — лак с велюровым верхом. Только на голове вместо традиционной шляпы канотье возвышалась красивая турецкая феска. Как будто господин Михалокопулос по забывчивости надел на голову цветочный горшок.

Товар, который рекламировал грек, был еще более странным, чем его одежда. Вынимая из саквояжика, он раскладывал перед Марией Станиславовной красочные картинки на глянцево-бумаге: коралловые острова с токоногими пальмами, белая вилла и такая же белая яхта, перевернутая в зеркале лагуны.

— Сколько стоит такая вилла?

— Миллион.

— Вместе с островом?

— Это называется атолл.

— Яхта тоже входит в эту сумму?

— Яхта?

— Ну да, тут написано. Я еще не научилась читать по-французски: «Яхта «Глория» с кают-компанией и...», пардон, «...гальюном».

— Яхта от другой вилла.

— Тогда сочувствую вам, господин Ксенофонт. Вы зря пересекли Черное море. Надеюсь, не очень качало?

— Самая чуточка... А почему зря?

— Потому что без яхты за всю вашу экзотику в России сейчас и фунта муки не дадут. А вот за место на пароходе, пусть на палубе, в угольной яме, снимут с себя последнюю рубашку или норковый палантин.

— Вы можете покупать совсем маленький бунгало с банановой рощицей. Это будет стоить совсем не миллион.

— Какая разница, если белая яхта «Глория» не ожидает в гавани?

— Кто вам сказал — не ожидает? Очень ожидает! Но только не «Глория», а «Джалита» — дизельный бот.

«Кажется, этот грек существует на самом деле, — подумала Мария Станиславовна. — Не сон, не романтический бред...»

— Почему вы решили, что я хочу уехать из России?

— Богатые люди убегают от революции.

— А кто вам сказал, что я богатый человек?

— Я знал вашу семью, госпожа Мария: вашу мамашу, вашу папашу, сторож Никита и мерин Сивый, на котором Никита возил бочку.

— А я-то думаю: где я вас видела?!.. Ну, конечно! Когда-то до революции к нам приходил коммивояжер фирмы «Зингер», тоже с картинками... швейных машинок. Мама еще была жива. Ну да! Он вот так же, простите, поддегивал брюки, чтобы не пузырились на коленях. Значит, теперь вы уже швейные машинки не предлагаете? — Марии Стаиславовне вновь стало смешно. — Теперь вы коммивояжер по продаже коралловых островов с банановыми рощицами.

— И белыми яхтами. Лишь бы это вас развеселяло.

Охота смеяться вдруг пропала.

— Вы ошиблись адресом, к нам больше не ходят коммивояжеры.

Грек сложил руки на животе и сочувственно вздохнул:

— Я все знаю, госпожа Мария: прочитал газету в Трапезуиде. Наверно, сам бог нуждается в хорошем докторе, если он позвал ваш папа. Но я не думаю, что профессор Забродский оставил свою дочь без всякого средства. Стаислав Казимирович имел достаточную практику. Богатые люди со всего света привозили к нему свои дети с больные легкие. Конечно, он был состоятельный человек, если на свой капитал купил здесь, в Крыму, виллу с парком над морем и открыл климатический курорт.

— Пойдемте, — она встала, — я вам покажу деньги профессора Забродского, если интересуетесь.

И пошла, не оборачиваясь, вдоль каменных перил веранды. На ней был белый докторский халат. И поскольку ее собеседник был моряк, он не мог отделаться от ощущения, что она плывет, как парусная лодка. Она даже крепилась, как лодка, потому что шла в старых туфельках на сбитых каблучках.

«САХАРНЫЙ» БУНТ

В столовой санатория сидели дети, мальчики и девочки, в белых панамках. Они, видимо, собирались пить чай. Стаканы сгрудились в стороне на подиуме, и двое старших — паренек лет четырнадцати, с лицом, чуть тронутым оспой, и девочка того же возраста, с виду совсем уже барышня, — разливали чай.

Перед каждым лежал ломтик хлеба не больше спичечной коробки и бумажка с каким-то белым порошком. Дети, должно быть, отказывались принимать порошки: в столовой стоял галдеж, который сразу оборвался, как только вошли Мария Стаиславовна и грек.

— В чем дело, Рая? — спросила Мария Стаиславовна у девочки-барышни, разливавшей чай. — Почему шум?

— Революция, Мария Стаиславовна. Они нас свергают: меня и Колю.

Младшие загалдели с новой силой:

— Они неправильно делят сахар!

Только теперь грек понял, что порошок на бумажках не лекарство, а сахарный песок в микроскопических дозах.

— Когда-то в России были соляные бунты, — сказала Мария Станиславовна, — а у вас, значит, сахарный? — она рассмотрела все бумажки. — Абсолютно одинаковые порции!

— Нет, не одинаковые! — возразил мальчишка лет десяти, видимо, главный застрельщик бунта. — Мы посчитали крупинки!

Мария Станиславовна взглянула на грека: понял ли он, что происходит?

Грек сделал вид, что рассматривает дерево. Посреди столовой росло дерево. Оно выросло такое высокое, что для него специально в стеклянной крыше столовой пришлось проделать дыру, и теперь дерево проходило сквозь крышу, его крона шумела над павильоном.

— Хорошо, Сережа, — сказала Мария Станиславовна, — я сама буду развешивать сахар. Коля! — обратилась она к пареньку, которого собирались свергнуть. — Принеси аптекарские весы.

Пока Коля бегал за весами, Рая поставила перед греком стакан подкрашенной водицы — здешний чай.

Коля принес весы и длинный ящичек с гнездами мал мала меньше для гирек. Гирьки Мария Станиславовна брала пинцетом.

— Чтобы на гирьках не оставался жир от рук, — объяснила она и, окончив взвешивать, присела за стол рядом с греком. — Дальше пусть делят сами. У них свой способ.

Способ оказался простым:

— Олюня, отвернись, — распорядился Коля.

Самая маленькая девочка послушно повернулась лицом к двери.

— И не подглядывай! — закричала другая девочка.

Коля коснулся пальцем одной из бумажек с сахаром:

— Кому?

— Андрею!

Андрей схватил свою долю.

— Кому?

— Райке!

Девочка-барышня тоже получила.

— Кому?

— Сереже!

Застрельщик бунта с достоинством взял свою порцию.

— Кому?

— Катюше!

— Кому?

— Дяде.

Грек оглянулся..

— Вам, вам,— сказала Мария Стаиславовна.

Грек испуганно отодвинул стакан:

— Нет, нет! Дяде не надо. Дяде доктор запретил кушать сладости... слишком много,— физиономия господина Михалокопулоса стала красней его фески.— Дядя лучше покурит на свежий воздух.

Наталиваясь на столы и стулья, грек выскочил из столовой и по первой же попавшейся аллее углубился в санаторный парк...

МАДАМ-КАПИТАН

Навстречу греку из зарослей одичавших изломанных и увядших табаков вышла дама. Дама самая натуральная: вся в кружевах и рюшах, как парижский зонтик. Ее кукольное личико утопало в страусовом боа. Серьги с подвесками раскачивались на ходу и, чудилось, издавали мелодичный звон. Но из крошечного ротика, похожего на цветок львиный зев, вырывался боцманский бас:

— Это ваша «Джалита» болтается у рыбацкой пристани?

— Наша.

— Значит, это вы из Константинополя? А где «Спниоза»? Уже на неделю опаздывает!..

— «Спниоза» не будет. Совсем присохнул в Константинополь, у стенка стоит, котлы холодные.

— Чего же они ждут? Пока красные возьмут Крым?..

Грек только руками развел:

— Мы человек маленький, пароходом не управлял.

Мадам оглядела грека снизу вверх: от штиблет до фески.

— Слушай, как тебя там...

— Ксеофонтос Михалокопулос.

— Длинновато для короткого разговора. Сколько?

— Нисколько.

— Вам дают не бумажки, а золото!

— Пассажиров не берем.

— Половина сейчас, половина в Константинополе.

— Не берем пассажиров.

— Все сейчас! Сразу! Тут же!

Дама стала отстегивать серьги с подвесками...

— Нет, нет, мадам. Ваше золото легкое, а вы тяжелая: много чемодан. «Джалита» совсем маленький ботик.

— Контрабандистская лайба! Вроде я не знаю. У самой муж моряк. Капитан! Понял? Был бы он здесь... Ну да черт с тобой! — из бархатного ридикюля, расшитого несортным жем-

чугом, дама вынула золотой портсигар, нажала кнопку — полноразмерная крышка откинулась, осыпав грека солнечными зайчиками, машинка внутри портсигара сыграла первые такты ноктюрна Шопена. — В нем без малого фунт золота, — сказала она, — можешь взвесить.

— Не интересуюсь.

Ее глаза, узкие, «в японском стиле», сузились еще больше:

— Может, ты не коммерсант? Прикидываешься? А? — дама отступила шага на два, как бы фотографируя грека. — Интересный сюжет для контрразведки!

Грек протянул руку за портсигаром:

— Подумать надо.

— Подумай, пока думалка на плечах.

Грек взвесил портсигар в руке, внимательно рассмотрел его и даже обнюхал.

— Что ты там ищешь? Пробу?

Но грек читал надпись на крышке.

— Вы сказали, ваш супруг капитан?

— Дальнего плаванья.

— А здесь написано — генерал. — Грек довольно сносно, хотя и медленно, читал по-русски: — «Генералу медицинской службы, профессору Санкт-Петербургской военно-медицинской академии Станиславу Казимировичу Забродскому от друзей и коллег в день...»

— По-твоему, у дочери Забродского могло удержаться золото в доме? — прервала она чтение.

— Мария Станиславовна очень дорожит памятью папа.

— Ей не приходится дорожиться! Интересно, как бы она прокормила целый выводок кухаркиных детей?

— Это все дети кухарки? — не понял грек.

— Ну, так говорится... У нее сейчас и кухарки-то нет. Старшие дети все делают: Рая и Коля. А вообще-то там всякие есть: Рая вон внучка статского советника, а Колю при красных привели, при Крымской Республике, Сережу — тоже...

Грек, подумав, сунул портсигар в карман обдергайчика.

— Будем считать — это задаток. Вы где живете?

Дама указала в конец аллеи, где виднелась ограда санатория:

— Тут, по соседству, за заборчиком. Но твое дело телячье — ждать на пристани. И ни с кем больше не договаривайся. Понял? Кто меня обманет, тот долго не проживет. — Она наклонилась к самому уху грека так, что он чуть не задохнулся от запаха розовой эссенции и вина. — Знаешь, кто у меня сейчас на веранде сидит, угощается белым мускатом? Не знаешь? Так вот, не приведи бог тебе узнать!..

Заскрипел ракушечник аллеи — дама исчезла в зарослях табаков. Запах вина и эссенции долго не выветривался там,

где она прошла. Грек пошел по ароматному следу дамы и уткнулся в решетчатую ограду. За оградой был, видимо, чей-то хозяйственный двор. В загончке хрюкала свинья. Мужик в клеенчатом фартуке приволок эмалированную кастрюлю и вывалил свинье в корыто остатки пищи.

— Здравствуйте,— заулыбался грек.— У вас табачочек не найдется? У нас весь выкурился.— Грек вытащил золотой портсигар — аванс дамы, нажал кнопку. По лицу мужика запрыгали солнечные зайчики, заиграла музыка.— Немного пустует. Правда?

— Ух ты! — мужик, как младенец, потянулся к игрушке.— Живут же люди!

— У вас свинки живут не хуже,— заметил грек.— Картофель фри кушают.

— Так ведь у нас пансион мадам-капитан.

— Дама-капитан?! —

— Муж у нее капитан, а сама мадам пансион содержит: господа живут, которые больные, нуждаются в поправке. Я сторожем при них.— Сторож не сводил глаз с портсигара.— А сколько, к примеру, тянет этот портсигар?

— Два пуда сахар.

— Ну уж и два!..

В столовой санатория дети уже допили чай и составляли стаканы на поднос, когда вошел грек. Он нес объемистый бумажный куль с казенной лиловой печатью. Куль был не полон, но достаточно тяжел. Грек поискал глазами, куда бы пересыпать содержимое, увидел большой стеклянный шар, видимо, бывший аквариум без воды и рыбок, опрокинул над ним куль, потекла струйка сахарного песка. Струйка становилась струей, сосуд наполнялся сахаром. Дети смотрели как зачарованные.

— Миню ваших ворот молочный ручеек течет с кисельный бережочек,— сказал грек загадочно и вышел из столовой.

Миню ворот климатической станции по-прежнему под охраной солдат катились возы, груженные ящиками, мешками и кулями. На них лиловели такие же казенные печати, как на том куле с сахаром, который грек принес из пансиона мадам-капитан.

В ЭТО ВРЕМЯ В МОСКВЕ

В Москве в это время уже выпал снег. От снега слегка посветлели улицы. А больше, собственно говоря, освещать их было нечем: кое-где горели одиночные неразбитые фонари, да у извозчиков за фонарными стеклами колыхались желтые

язычки огня. Свет гасили рано: спешили лечь спать, зарыться под одеяло, потому что в домах было холодно, топить нечем. Долго не гасли лишь окна учреждений: в те времена работали чуть ли не до утра. На фасаде Наркомата здравоохранения желтели ряды окон. В приемной подшивала бумаги бессменная секретарша.

— Нарком у себя? — спрашивали все, кто входил в приемную.

И всем она отвечала одинаково:

— Товарищ Семашко на совещании в Отделе лечебных местностей.

Совещание только начиналось.

— Уважаемые коллеги, — говорил Николай Александрович Семашко, народный комиссар здравоохранения, прохаживаясь вдоль длинного стола для заседаний, уставленного стаканами жидкого чая в солидных дореволюционных подстаканниках. — Хочу вам напомнить, что еще в прошлом, 1919 году постановлением Совнаркома от 4 апреля все лечебные местности и курорты, где бы таковые на территории России ни находились, переходят в собственность республики и используются для лечебных целей. Подчеркиваю: где бы ни находились! В том числе и в Крыму, где мы уже приступили в свое время к национализации курортов, но, к сожалению, нам помешали деникинский десант и врангелевщина. — Нарком быстро оглядел собравшихся здесь врачей, одетых весьма разномастно: кто в кителе царского еще образца, кто в новой форме врача Красной Армии, а кто, как и сам нарком, в пиджачной тройке. — Сейчас, когда Красная Армия вновь вступает в пределы Крыма, я прошу вас, русских курортных врачей, мобилизовать все свои силы и знания. В Крыму мы наглядно осуществим лозунг о переселении бедноты из хижин во дворцы богатей. — Семашко взглянул на бородатого профессора, о котором знал точно: профессор терпеть не может лозунгов. — Мой совет вам, профессор, безотлагательно затребовать под тубсанаторий царскую дачу в Ливадии.

— У кого затребовать? У Врангеля?

— Пока соответствующие учреждения рассмотрят вашу просьбу — это при нашей-то канцелярской волоките, — от Врангеля в Крыму и следа не останется, — заверил нарком.

— Это не совсем точно, — сказал негромко человек, сидевший в стороне от всех, возле шкафа с делами Отдела лечебных местностей. — От врангелевщины останется довольно глубокий след.

Никто, кроме наркома, не расслышал его слов, а Николай Александрович подумал: «Где-то я уже встречал этого товарища. На редкость домашний, уютный человек. Пристроился себе в уголочке и что-то черкает в тетрадке, слияв химии»

ческий карандаш. Смешно: на нижней губе у него отпечатались фиолетовая риска...»

Когда совещание окончилось, нарком подошел к нему:

— Вы от Дзержинского?

— Именно так.

— Пройдемте, пожалуйста, в мой кабинет...

В кабинете Семашко выключил верхний свет, включил настольную лампу.

— Где-то я вас видел, — сказал он, рассматривая собеседника при свете лампы, — а где, не припомню.

— В Париже, — ответит тот. — Вернее в Лонжюмо. В 1911 году. Вы были тогда секретарем партийной школы, а я приезжал связным... Грузчик.

— Теперь вспомнил. Все тогда посмеивались над вашей конспиративной кличкой. Грузчик должен быть атлетом по телосложению.

— Дело в том, что я действительно работал грузчиком, — сказал Грузчик. — Правда, по-моему, — наилучшая конспирация.

— А настоящая ваша фамилия?

— Степаиов, Степаи Данилович Степаиов-Грузчик... через черточку: Уполномоченный ВЧК по Крыму.

— Ах, вот как! По Крыму. Феликс Эдмундович прислал именно того, кого я просил. Мы, к сожалению, не можем обойтись сейчас без помощи ВЧК и КрымЧК. — Семашко вынул из ящика стола документ, заранее подготовленный для этого разговора. — Вот список курортов, национализированных Советской властью еще в девятинадцатом году при Крымской Республике.

Грузчик приблизил бумагу к самому носу, стал читать.

Свет в кабинете наркома замигал, потом совсем погас. Степаиов-Грузчик встревоженно потер глаза и шумно выдохнул воздух.

— Это свет погас или я перестал видеть?

— Свет, свет! — успокоил его Семашко. — Опять что-то на электростанции. — А у вас, голубчик, куриная слепота. Плохо питаетесь. Я вам как врач выпишу рыбный жир.

— Не дадут, Николай Александрович.

— А я как нарком здравоохранения наложу резолюцию. Пусть попробуют не дать.

Секретарша внесла керосиновую лампу.

— При лампе вы тоже не сможете это прочесть, — сказал Семашко, — возьмите с собой. Дело ведь не в перечне санаториев, а в том, о чем просил товарищ Ульяиов. Я говорю о Дмитрии Ильиче Ульяиове, брате Владимирна Ильича.

— Я так и понял. Кто лучше Ульяиова знает крымские курорты!

— Безусловно! Прежде всего, он врач. Причем крымский врач. Был земским врачом не где-нибудь в Нижнем Новгороде, как я, к примеру, а в Крыму, в Феодосийском уезде. Более того, он возглавлял Советское правительство Крыма — то есть, в сущности, это он создавал первые советские курорты, о которых мы с вами говорим.

В лампочке вновь накалились угольки — включился электросвет. Секретарша унесла керосиновую лампу.

— Так вот, — продолжил нарком, — товарища Ульянова тревожит продовольственная база. Чем с первого же дня, после ликвидации врангелевщины, мы будем кормить курорты? Насколько мне известно, белые вывозят из Крыма все, что могут вывезти, включая продовольствие.

— Мы им не очень-то позволяем. У нас довольно сильное подполье в Крыму и партизаны, — сказал Грузчик, — но дело в том, что они не только вывозят. Часть продовольствия они прячут.

— Прячут? Для кого?

— Этого не знает даже врангелевская контрразведка.

— А вы, значит, знаете, что знает и чего не знает их контрразведка?

Впервые за весь разговор Степанов-Грузчик улыбнулся:

— Вы же опытный конспиратор, товарищ Семашко, даже поопытней меня.

— Ладно, не будем вдаваться в подробности. — Николай Александрович приложил ладони к заварному чайнику, принесенному секретаршей. Так было теплее. — Если прячут, значит, надо найти, но не дать им задушить голодом наши курорты. И второе, о чем... точнее, о ком просил позаботиться доктор Ульянов. О врачах, которые работают в крымских санаториях сейчас, при белых. Среди них есть просто подвижники! Взвалит мешок на плечи и отправляется пешком через горы куда-нибудь в Ялту, чтобы обменять свои личные вещи на еду и лекарства для больных детей. Но, боюсь, когда Фрунзе займет Крым, мы недосчитаемся некоторых из них. Многих уже потеряли безвозвратно. Как, например, профессора Забродского.

— Вы имеете в виду генерала Забродского?

— Я знаю, что вы не жалуете генералов. Но Забродский был генералом медицинской службы, профессором Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, из которой вышли лучшие русские врачи. Те, которые потом умирали и на фронтах рядом с солдатами, и в холерных бараках во время эпидемий.

— Мы знаем Забродского. Ему принадлежал климатический детский курорт в Судаче.

— Значит, вам известно, что, выйдя в отставку, он на свои

средства открыл туберкулезный санаторий для детей и не обиделся, когда санаторий национализировали, а остался в нём главным врачом...

Степанов-Грузчик слушал не перебивая.

— Но Станислав Казимирович Забродский умер,— продолжал нарком,— санаторий сейчас содержит его дочь Мария Станиславовна, тоже врач-фтизиатр. И если она или кто-либо из ее коллег, курортных врачей Крыма, в ближайшие дни сбежит с белыми — эмигрирует из России, мы с вами будем виноваты.

Степанов-Грузчик задвигался в кресле, встревоженно, как тогда, когда погас свет. При всякой неясности он испытывал какое-то болезненное неудобство.

— Я хотел бы вас понять, Николай Александрович.

— Разъясню на примере того же санатория Забродской. Я его знаю лучше других. Пока этот курорт был частной лечебницей, родители платили за содержание и лечение своих детей. Естественно, это были люди состоятельные. А в девятнадцатом году, когда санаторий стал советским, туда поступили также больные из неимущих классов: дети рабочих, крестьян, красноармейцев. Вы понимаете? Теперь, когда Крым отрезан от всей страны, в санатории Забродской сошлись дети, чьи родители либо воюют друг с другом, либо погибли в гражданской войне, умерли от голода и тифа. И можете не сомневаться, среди детей санатория тоже идет своя... своеобразная... классовая борьба.

— Ясно,— сказал Грузчик.— Но какую позицию занимает дочь Забродского, пока неизвестно.

— Известно.— Николай Александрович произнес это с некоторым раздражением.— Конечно, известно! Позицию врача! Если она действительно дочь Забродского! Для врача они все больные дети, и всех надо лечить. Если бы доктор Забродская рассуждала иначе, она бы давно сбежала за границу, бросив больных детей на произвол судьбы.

Степанов-Грузчик вновь задвигался в кресле:

— Не понимаю... Зачем ей бежать с белыми, если она все так правильно понимает?

— Она не понимает только одного: понимаете ли это и вы? Она сейчас дрожит над каждым ребенком, ночами ходит с поильничком, кутает им ноги, поддувает легкие, рискуя сама заразиться ТБЦ, а вы придете и устроите чистку: выгоните детей эксплуататорских классов, оставите только детей рабочих и крестьян.

— Вот теперь я понял.— Грузчик по-прежнему не улыбался, но был весьма доволен.— Мы постараемся разъяснить всем врачам, что Советская власть не собирается делить больных на чистых и нечистых.

— Вот именно об этом я и хотел вас просить. Этим вы сэкономите для нас и врачей, и санатории.

— Понятно! — Степапов-Грузчик аккуратно уложил список крымских санаториев между страничками своей тетрадки, попрощался и ушел. Лиловая риска от чернильного карандаша так и осталась на его губах.

ГРЕК В ГОРОДЕ

...Как только грек вышел из санатория, от арки ворот отделился человек в офицерском кителе с пустым рукавом и устремился за ним.

Вынырнув из зарослей можжевельника, дорога вывела на карниз, нависающий над обрывом. Здесь грек остановился. Далеко внизу, в котловине, над голубой полусферой залива ютился типичный крымский городок, сбегающий к морю террасами виноградников и табачных плантаций. Был он пыльный и грязный, весь — глина и булыжник, но на набережной, по обводу бухты, среди привозной субтропической зелени белели античным мрамором и дразнили мавританскими стрельчатыми формами дворцы и особняки.

Грек смотрел на городок, шурясь, потом заморгал покрасневшими веками, казалось, он вот-вот заплачет, но не заплакал, а лишь шмыгнул по-мальчишески носом и начал спускаться к городку.

На набережной к греку подошел пацан с голым пузом. Суконные матросские брюки сползли вниз, а рубашонка, на оборот, задралась вверх, и пуп торчал «внутиком».

— Давно с Туреччины? — поинтересовался голопузый, глядя на феску грека.

— Немножечко недавно.

— А шо привезли? — он приглядывался к саквояжку.

— Кремешки для зажигалки.

— Много?

— Два кило. Хватит?

— На весь Крым.

Голопузый оглушительно свистнул. Грека со всех сторон обступили такие же голопузые.

— Ось вони, — голопузый указал на грека, — торгуют оптом, а ось вони, — он указал грязным пальцем на свою голопузую команду, — обеспечивают розничный сбыт.

— А коммиссионные?

— Какой процент? — залопотал голопузый.

Сдвинув на глаза феску, грек поскреб в затылке:

— Я буду подумывать, господа коммерсанты.

Он думал об этих огольцах: от детей из санатория они

отличался, как краснокоже от бледнолицых. Эти не пропадут, думал грек, а тех жалко.

— Думайте швыдче, — поторопил предводитель голопузых, — бо времена меняются: скоро будет мировая революция. Большевики отменяют все границы, и конец контрабанде. Шо тогда робить будете?..

— А вы?

— Нам шо? Мы бычков ловим н усикн — креветку.

— Вот н мы будем ловить бычков.

На грека посмотрели как на ненормального:

— Тю, скажете! Вы же грек!

— А разве грек только рака ловит? — возразил грек. — Как это... «шел грек через рек, сунул рук — цапиул рак»?

— Ну-у, вы взрослый.

— А из чего взрослый грек получается? Из маленький греческий пацанчик.

Вдруг все разом обернулись. По набережной, не спеша, сохраняя свое собачье достоинство, шла шотландская овчарка, наверно, самое красное в городе существо: рыжая с черной спиной. В затемненной витрине турецкой кофейни отразился ее изысканный экстерьер. В зубах собака несла детскую плетеную корзиночку.

— Курнт, — сказал кто-то.

Грек уставился на пацанов.

— Кто курит?

— Собака. А кто же еще?

— Собака?!

— Ну да. Она табак покупает.

— Но, может, она хозяину покупает?

— Хозяин как раз не курнт.

Грек рассмеялся, ткнул пацана пальцем в прожаренный животик и нырнул в кофейню. Вслед за ним вошел в кофейню человек в офицерском кнтеле с пустым рукавом.

СОБАКА, КОТОРАЯ ПОКУПАЛА ТАБАК

Вход в кофейню был задернут полосатой шторой, которую ветер забрасывал чуть ли не на крышу, н в дверном проеме светился залнв. В шкатулочном нутре кофейни, расписанном турецкими узорами, сидели в основном офицеры. Чашечки н бокалы перед ними то н дело подпрыгивали от грохота проезжающих по набережной телег.

— Уже нашлись предусмотрительные отцы-командиры, — сказал один офицер. — Свозят потихоньку в порт все, что подороже.

В железном ящике мангала томился кофе в закопченных

джезвах. Буфетчик то и дело поглядывал в сторону столнка, за которым сидел грек — господин Михалокопулос. Грек, видимо, очень дорожил своим костюмом и, оглядев критически несвежую скатерку на столнке, подтянул повыше рукава обдергайчика, обнажив накрахмаленные манжеты сорочки. В манжетах блеснули дорогие запонки.

Буфетчик подошел:

— Скатерть сменить?

При этом он рассматривал запонки грека. Это были морские запонки: два рубиново-красных якорька.

— Главное не скатерть, а что на скатерти, — сказал грек.

Буфетчик принес кофе, масляны, сухарики... И снова уставился на запонки грека: якорьки были выложены по золоту из мелких рубинов. Грек перехватил взгляд:

— Хорош?

— Штучная вещь.

— Фирма плохой не держит. Хорош запонка — хорош товар, хорош товар — хорош клиент.

Человек в офицерском кителе — он устроился за соседним столнком — прислушивался к разговору. Грек стрельнул глазами в его сторону.

— Пардон, — извинился тот, — я лишь хотел обратить внимание — местная достопримечательность. — Он указал на проход между столнками.

Собака которую грек видел на набережной, уже обошла несколько магазинов и вошла в кофейню. В детской корзинке, которую она держала в зубах, уже лежали кое-какие покупки и деньги. Собака и покупала, и расплачивалась, и получала сдачу.

Кто-то из офицеров протянул руку — погладить ее. Собака, слегка ощерившись, вежливо предупредила: не трожь.

— У шотландских овчарок колли мертвая хватка, — сказал человек с пустым рукавом, — похлеще бульдожьей. Ее хозяин завел специальные стальные клещи: разжимать челюсти.

Кофейня уважительно притихла. А буфетчик как ни в чем не бывало протянул руку к корзинке, взял ее из собачьих зубов и поставил на прилавок. Деньги переложил в кассовый ящичек красного дерева, из застекленного шкафа вынул пачку «капитанского» табака расфасовки Стамбол в фольге, повертел ее в руках и сказал:

— Без бандерольки не возьмет. Дрессированная, черт.

Офицеры в кофейне дружно засмеялись:

— Не поощряет, значит, контрабанду!

Буфетчик с пачкой в руке ушел в комнатку позади стойки. Пока он отсутствовал, однорукий успел переселиться за столнк грека:

— Простите, не имел чести знать...

— Ксенофонт Михалокопулос.

— Очень приятно... — он пробормотал что-то, точнее, проглотил свою фамилию — грек так и не расслышал — и вернулся к рассказу о собаке. — Чистопородная колли! У себя на родине в Шотландии эти колли не только овец пасут, но и детей нянчат. А у ее хозяина, механика Гарбузенко, было очень много детей. В городе говорили: «Самая большая семья в Европе». В маленьких городках всегда находится что-нибудь самое большое в Европе. Но пока Гарбузенко, он в прошлом судовой механик, где-то плавал, тут вся семья вымерла. Тиф скосил. Да-а... Возвращается хозяин, открывает калитку — двор пуст. Только собака навстречу катит пустую колясочку... Эта колясочка до сих пор лежит у него во дворе вверх колесами. Вы никогда не бывали у Гарбузенко?

— Не бывался.

— Жаль. У него вывеска на заборе тоже, говорят, самая длинная в Европе, а может, и в Азии.

Буфетчик тем временем у себя в комнатухе достал из ящичка бандерольку — бумажную полоску с казенными, еще царскими печатями (когда-то без этих бандеролек не дозволялось продавать привозной табак во избежание контрабанды) и написал на оборотной стороне: «Грек в городе». Полоской он опоясал табачную пачку и вернулся к стойке.

Собака ждала. Как только буфетчик положил в корзиночку пачку с бандеролькой, она сдвинулась с места... Офицеры проводили ее аплодисментами. Грек тоже похлопал в ладоши. Не аплодировал только человек в офицерском кителе: у него была одна рука.

МЕХАНИК ПО АЭРОПЛАНАМ И ПРИМУСАМ

Свернув с набережной в переулок, собака прошла вдоль дувала — забора из разнокалиберных камней вперемешку с глиной и навозом. Дувал тянулся столько, сколько тянулся переулок, и столько же тянулась надпись, выведенная дегтем по камням:

«Г-н Гарбузенко, механик по бензиновым аппаратам: судовым, автомобильным, аэропланам, и чистка примусов!»

В конце этого предложения была калитка, наверное, самая маленькая в мире. В нее не то что аэроплан — примус протискивался лишь в одном случае: если его нести впереди себя на вытянутых руках.

Собака нажала лапой на металлический рычажок и открыла калитку. Во дворе под навесом коптила целая шеренга примусов. Г-н Гарбузенко касался примусной нглой горелки —

примус почтительно замолкал, подносил огонек — вспыхивал синим венчиком и весело пел. Мастер энергично подкачивал медные насосники.

— Пришла, Весточка, — сказал Гарбузенко с грудной украинской ласковостью, обтер руки ветошью, принял корзиночку из собачьих зубов и обратился к клнентам: — Извиняйте, люди добрые. Обед у нас — хозяйка пришла.

Вместе с Вестой он прошел в свою мазанку с громадным турецким ковром, который свисал со стены, перекрывая широкую тахту. Здесь Гарбузенко игрушечным кинжальчиком вскрыл бандерольку и прочитал на оборотной стороне бумажной ленты: «Грек в городе». Новость ему, видимо, понравилась, он поцеловал собаку в нос:

— Спасибо, Веста, ласточка.

Потом вынул из духовки чугунок с борщом, из буфетки — стопку тарелок будянского фаянса с узором в виде листьев и ягод земляники и все тарелки расставил по столу, как для большой семьи. Фотографии всех Гарбузенко, больших и маленьких, занимали в мазанке целый угол. Механик посмотрел на фотографии, вздохнул и убрал тарелки обратно в буфетик, а из кухонного шкафчика вынул два грубых «поливяинных полумыска» — такие глубокие тарелки продавали гончары из Опoшнн — и одну ложку.

— Дай-ка я тебе, золотце, борщику насыплю, — сказал он собаке и зачерпнул ей погуще, с куском мяса.

Собака не спеша, солидно, принялась за еду. Гарбузенко же, наоборот, спешил: через пять минут он уже выходил из калитки...

Как раз в это самое время человек в офицерском кителе с пустым рукавом спустился по каменной лесенке к пляжу. Пляж был пуст. Только у самой воды среди гниющих водорослей стоял вестовой солдат: охранял одежду офицера коитрразведки. Виден был черный череп на рукаве гимнастерки. В руке у солдата были часы с открытой крышечкой.

— Давно купается? — спросил однорукий.

Солдат взглянул на часы:

— Уже минуто.

Купальщик, лиловый, трясущийся, выскочил из воды на берег.

Без мундира он был похож на семинариста — борода, грива...

— Кто же купается в ноябре, господин Гуров? — сказал однорукий.

— У меня с-воя с-система з-закаливания организма. — У купальщика зуб на зуб не попадал.

Вестовой подал одежду. Гуров натянул гимнастерку с черепом на рукаве и воззрился на однорукого:

— Ну?..

— На климатической станции был посторонний, грек с «Джалиты» Ксенофонт Михалокопулос. Больше часа проторчал.

— Пансионом интересовался?

— Не знаю. Я у арки ждал. Вы не велели попадаться на глаза докторше.

— Та-ак... Не велел.— Гуров приблизил свою бороду к лицу однорукого.— Дыши на меня!.. Кто пил мускат у мадам-капитан?!

— Мускат я пил в кофейне Монжоса. После санатория грек пошел туда.

— С кем встречался?

— Говорил с буфетчиком.

— О чем?

— О запонках. Запонками похвалялся: купил, говорит, в армянской антикварной...

— Кого знает в городе?

— Вроде бы никого — даже механика Гарбузенко не знает...

— Та-ак...— Гуров застегнул новенькие английские краги, полюбовался своими икрами, затянутыми в блестящую желтую кожу, забрал у солдата часы, захлопнул крышку.— Все?

Однорукий затоптался на песке:

— А что еще?

— Таких, как ты, расстреливают в военное время без суда и следствия.

— За что?

— За то, что снял наблюдение! — Гуров мотнул головой, словно полоснул однорукого клином бороды.— Ты знаешь, кто такой этот грек? Связной Крымревкома!..

АРЕСТ

Истерзанный в бора ботик «Джалита» приткнулся среди шаланд за городом у рыбацкого поселка. Как килевое судно он стоял на глубине, пришвартованный к дырявым мосткам на полусгнивших сваях. На пристани, на мостках, на палубе «Джалиты» не было видно ни одного человека. Только на мгновение откинулась крышка люка, высунулась красная феска грека — и в ту же секунду по мосткам гулко застучали бутсы: к ботику быстро шли солдаты с карабинами. Впереди — однорукий в офицерском кителе, позади — ротмистр Гуров с черным черепом на рукаве. Грек поспешно выскочил на палубу, захлопнул за собой люк.

— Здравствуйте, господин Михалокопулос,— раскланялся однорукий.

— Проверить трюм! — распорядился Гуров.

Солдат в фуражке с голубым околышем оттолкнул грека, который стоял на люке, и полез в трюм. Гуров тем временем совал свою бороду во все закоулки, простукивал борта, мачту, спасательный круг... и вдруг ловким движением разнял его на два круга. На палубу «Джалиты» посыпались разноцветные кружевные лифчики «Парижский шик».

Грек воздел руки к небу:

— Ах, подлец-турок! Какой круг продавал! Чтоб ты утонул совсем с этим кругом, контрабандист проклятый!

— Напрасно расходуете свой актерский талант,— поморщился Гуров,— мы и не думали принимать вас за контрабандиста.— И обернулся к однорукому: — Ну что он там копается в трюме?

Однорукий наклонился к люку:

— Заснул, Горюнов?..

И вдруг упал на спину, грохнувшись головой о фальш-борт — снизу его дернули за ноги. Из люка выскочил человек в шинели солдата, в его фуражке с голубым околышем и, прикрывая лицо рукавом, прыгнул за борт. Его тело вонзилось в воду почти без брызг. Ударили карабины, запрыгали по воде пулевые фонтанчики.

— Погодите,— сказал Гуров.— Что зря тратить порох? — И щелкнул крышечкой часов.— Больше двух минут никто еще не просидел под водой, даже я...

Всплыла фуражка, пробитая пулями.

— Царствие небесное,— сказал Гуров,— вернее, морское.— И захлопнул крышечку часов.

Из рубки выволокли солдата. Он был раздет и связан собственным ремнем, вращал белками глаз и, задыхаясь, мычал: рот был законопачен промасленными концами.

Однорукий вытащил кляп:

— Говори: какой он был?

— Черный.

— Негр, что ли?

— Черный, а там темно, как в пренсподней.

— Ладно. Выудим труп — разберемся,— буркнул Гуров и повернулся к греку: — А может, вы нам расскажете, кто у вас побывал в гостях?

Грек вместо ответа снял феску и перекрестился, глядя на море. Там плавало нефтяное пятно, будто утонул не человек, а подводная лодка.

Однорукий дернул его за рукав:

— Прошу, господин Михалокопулос.

— Не понимаю.

— Вы арестованы.

Гуров быстро сунул руку за широкий пояс грека и вытащил кривой турецкий ножик.

По дырявым мосткам застучали бутсы. Гуров с подручными уходил, увозя арестованного. Все смотрели только на грека, а если бы поглядели вниз, увидели бы сквозь щели мостков среди желтой пены и плавающего мусора запрокинутое лицо. Глаза у беглеца были открыты, он видел подбитые гвоздями подошвы, желтые краги Гурова и туфли господина Михалокопулоса...

«НА ЛОВЦА И ЗВЕРЬ БЕЖИТ»

Обычно Гарбузенко устраивал баню по субботам и тогда же — постирушку. Но сегодня он изменил своим обычаям: в пятницу среди бела дня искупался в иочвах — деревянном корыте и уже заодно вымыл Весту. Купая, он с ней беседовал:

— Ты когда-нибудь бачила такого дурня? Все люди приходят домой сквозь калитку, а он через забор. Это раз. Второе: все люди сперва стирают — потом выкручивают. А он с себя все снял, выкрутил — потом уже выстирал. И повесил сушить не на солнышке, как все люди, а в темном сарайчике. Такой дурень... Хотя и не дурее за других людей. Человек прыгнул в море — они и стреляют в море. А зачем человеку плыть в море, когда он может плыть до берега? Глупо и не умно. Что, нельзя поднырнуть под днище и вынырнуть под мостками? Воно же не пароход, что под него не поднырнешь. Воно такое же корыто, как это, только вместо собаки в нем дизель стоит. — Гарбузенко задумался. — Слухай! А что, если в случае чего мы скажем, что я ремонтировал дизель? Га? Я ж таки правда ремонтировал дизель на «Джалите», когда они пришли... А что я еще там делал, кого интересует? Да-а... но почему тогда прыгнул в море, если только ремонтировал дизель? Что бы ты ответила на такой вопрос, если бы тебя спросили? Измазался в мазуте — хотел помыться?..

Может, Веста и нашла бы что ответить, если бы ее спросили, но странный посторонний звук прервал монолог Гарбузенко. Это было кваканье автомобильного клаксона. Поспешно вытерев руки, Гарбузенко стащил с вешалки парадный бушлат, оставшийся еще от морской службы, мичмаику и выскочил на улицу.

У дувала, под гарбузенковской вывеской, стоял открытый автомобиль с красными кожаными сиденьями, никелированными фарами, откинутым гармошкой верхом. Местная пацанва густо облепила авто.

На грушу клаксона жал офицер в кожаном реглане. На флотской фуражке красовались автомобильные очки.

— Вы не тот, за кого себя выдаете, Гарбузенко, вы не механик, — офицер вышел из машины и рукой в огромной перчатке приподнял капот. — Это, по-вашему, ремонт?

Пацанва, открыв рты, разглядывала автомобильные внутренности.

— Киш! — прикрикнул Гарбузенко. — Саранча! — захлопнул капот и сел в машину вслед за офицером. — Дайте газ. Проверим клапана.

Машина поехала, пацаны побежали сзади, но скоро отстали...

— Так кто кого поймал, Вильям Владимирович? — улыбнулся Гарбузенко. — Может, я нарочно того-сего не докручиваю, чтоб вы приезжали.

— Получается: я, офицер морской контрразведки, у вас на побегушках?

— Не у меня, а у своего автомобиля... По-моему, стучит во втором и третьем цилиндрах...

Автомобиль выехал на набережную, стал пробираться среди телег с военными грузами, пугая клаксоном лошадей. О чем еще говорил Гарбузенко, расслышать в уличном шуме и грохоте было невозможно. Но чем больше он говорил, тем больше мрачнел его собеседник.

ДОПРОС

Автомобиль остановился у особняка в стиле провинциального модерна.

— Займитесь клапанами, — сказал старший лейтенант, — а я поговорю с Гуровым.

Гарбузенко откинул капот, стал копаться в моторе, а старший лейтенант прошел в кабинет Гурова, громадный, с модными окнами разной величины и формы. Посреди кабинета на паркетном полу с виноградным орнаментом стояла кухонная табуретка. На табуретке сидел грек, господин Михалокопулос.

— А-а, Дубцов! — обрадовался Гуров. — Ты-то мне и нужен. Ты ведь еще в восемнадцатом году служил в морской контрразведке. Ну-ка взгляни. Узнаешь? Выдает себя за грека. Присмотрись. Хорошо, что я еще не успел разбить ему морду.

— Вы будете извиняться перед турецкий консул! — возмущенся грек.

— А-а! Он турок!

— Он такой же турок, как и грек! Французский матрос —

вот он кто! В восемнадцатом был арестован вами же, морской контрразведкой, в Одессе за большевистскую агитацию на французском транспорте.

— Не помню, чтобы мы арестовывали французов из экспедиционного корпуса.

— Да какой он француз?!

— Уже и не француз?

— Он болгарин!

— Еще и болгарин?

— Среди матросов французского транспорта были болгары, тебе ли не знать. И этот — болгарин, без дураков, натуральный. — Гуров усадил Дубцова на диван, такой же громадный, как все в этой комнате, и уселся рядом. — Поздравь меня, Вия, я жар-птицу поймал. Это Райко Христов — болгарский коммунист, моряк по профессии. Большевики его используют как связного между бюро Коминтерна в Константинополе и Крымревкомом.

Грек схватился за голову и закачался на табурете:

— Если вы не доверяете документы, спросите турецкий консул!

— Как раз документам я и доверяю, — Гуров повернулся к Дубцову. — С последним рейсом «Спинозы» приезжал один человек из Константинополя — там видел Райко Христов с документами на имя грека Михалокопулоса, — Гуров наклонился к арестованному. — Эти документы ваш смертный приговор! — Гуров снова подсел к арестованному. — Поэтому буду с вами откровенен, мертвые ведь умеют хранить секреты: у нас в контрразведке пытаются зверски. Так что уж лучше не тянуть с ответами. Кто прятался в трюме «Джалиты», когда мы пришли с обыском?

Дубцов встал с дивана. Настроение у него было препаршивое.

— До чего вы мне надоели... оба, — сказал он. — Никакой он не болгарин, не грек, не француз, а самый элементарный русский.

Гуров обиделся:

— Ну знаешь, Вия... Чтобы так говорить, надо...

— Уметь читать. На нем написано. — Дубцов шагнул к арестованному. — Руки! Руки на стол!

На каждом пальце растопыренной пятерки можно было различить старую татуировку — шалость детских лет, крохотные зеленые буквы: «г», «р», «и», «ш», «а».

— Гриша, — прочитал Гуров.

— Гриша, — повторил Дубцов, — а не Ксенофонт и не Райко.

ГРИША

Итак, это был Гриша. Второй член экипажа «Джалиты» Гриша-моторист. Разоблачение пришлось ему как раз кстати, под видом грека его вполне могли поставить к стенке в белой контрразведке. Теперь он честно рассказывал, как нянялся к греку в мотористы.

— А где тот болгарин? — Гуров так и впился глазами в Гришу. — Где болгарин, который выдавал себя за грека? Это он прыгнул за борт?..

— Не знаю, грек он или болгарин, но только он вообще не дотянул до Крыма — в бора погнб. Под это время, вот господни старший лейтенант не даст соврать, бора срывается с гор.

Гуров посмотрел на Дубцова, — он никогда не видел его таким мрачным.

— Да, — процедил Дубцов, — были сводки, в районе Туапсе — Новороссийск свирепствовал северо-восточный ветер.

— Кабы не дизель, мы бы оба потонули, — продолжал Гриша. — Вы же видели, на «Джалите» дизель-мотор стоит. А погнб он из-за того же дизеля. Форсунка засорилась, я бросился прочищать, но не дополз и до люка — шарахнуло волной о фальш-борт. — Гриша снял феску грека, показал ссадину на затылке. — Вот он и сунулся сам в трюм. Но он же не моторист. Поднял фланец с двигателя, а оттуда так и хлынуло — пары отработанного мазута скопились под фланцем. Я оклемался — нет его. Полез в трюм, а он уже все — надышался.

— Отравление парами бензола, — сказал Дубцов после долгой паузы. — Случай на флоте не единичный.

— А зачем ты переоделся греком?

— Так ведь сам просил. Еще на траверсе Мысхака, как сорвался бора — договорились, если из нас двоих я один дотяну до Крыма, должен взять его бумаги и разный там шурум-бурум из суидучка: феску, запонки... Иначе, он сказал, вся коммерция прогорит...

— И куда пойти? С кем встретиться?

— Он сказал, ко мне сами подойдут, если признают за грека.

— По-твоему, один грек на всем Черном море?

— А запонки? Он сказал, таких запонок других нет.

— Ну-ка, отстегни.

Гриша отстегнул и положил на зеленое сукно стола рубиновые якорьки.

— Значит, это пароль? Интересно. Ну и что ты должен был передать?

— Только, что «Спиноза» не вышел в рейс. В Константинополе на приколе стоит, котлы холодные. Капитана под суд отдали за то, что «Спиноза» из Крыма в Константинополь пришел без груза.

— Хватит! — Гуров вскочил. — Ври да не завирайся!

— Пусть говорит, — впервые за все время допроса Дубцов заинтересовался. — Что значит — без груза?

— Ну не вообще, а без продовольствия с военных складов: ни муки, ни сахара, ни масло-какао. Он сказал: если продукты остались в Крыму, с ними тут можно делать коммерцию. А от коммерции кто откажется?..

Дубцов бросил на Гурова вопросительный взгляд.

— Да иу-у... Это какая-то панама, Виля, — пожал плечами Гуров.

— Но «Спиннозы» действительно нет.

— Скорей всего, его задержали коммунисты. Их там полно в Константинополе: и турки, и греки, и французы, и болгары. По всему свету звонят в газетах, что мы у детей вырываем последний кусок из глотки.

Гриша на минуту забыл, что его допрашивают, так его заинтересовал этот разговор.

— Ты нам не нужен, — вдруг сказал Гуров Грише. — Тебя под видом коммерции втравили в политику. Назови человека, который прятался в трюме «Джалиты», когда мы пришли, и я даю тебе слово дворянина...

— Не знаю. Я сам только перед этим пришел. Может, он и от меня прятался. Пойщите в бухте.

— Мы всю бухту обшарили. Господни Дубцов даже баркас нам выделил с водолазом, но утопленник куда-то смылся.

— Я тем более не водолаз.

— Это исправимо. Мы с тобой будем искать вместе: мы — в городе, а ты — на рифах.

— Как это?..

— Ну, рифы видел? Камни на выходе из залива.

— Знаю.

— Вот на этих камнях и посидишь, пока не вспомнишь.

На лбу у Гриши выступил пот:

— Да вы что, господни офицер?! Может, шутите? Не лето... Сами знаете, какая на рифы накатывает волна. Меня там накроет с головой.

— Вот ты и будешь... водолаз! Если не вспомнишь.

Гуров поймал плюшевого чертика, который свисал с потолка на шелковом шиуре, и дернул. Звякнул звонок — вошел одиорукый.

Когда Гришу провели мимо Дубцова, офицер прочитал в его взгляде целый монолог: «Как вам не совестно, господни старший лейтенант, носить флотский мундир после этого? Вы же все знаете про эти рифы!»

Дубцов отвернулся к окну. Там, внизу, Гарбузенко копался в моторе. Расстегивая на ходу кобуру, Дубцов выбежал из кабинета.

Гарбузенко уже закрывал капот.

— Вот что, Гарбузенко,— сказал Дубцов, вынимая из кобуры браунинг,— придется мне вас арестовать. Гришу повезли на рифы. Там из него все равно вытянут, кто гостил на «Джалнте»... Ну, что вы на меня смотрите? Так будет лучше для вас и для Гриши тоже.

«ГАРБУЗОВЫ РОДИЧИ»

Сдав Гарбузенко под расписку дежурному офицеру, Дубцов уехал и вернулся к Гурову через полчаса. За это время в вестибюле контрразведки построился взвод солдат в походном снаряжении: шинели в скатку и вещмешки за плечами.

— Совсем оголтели контрразведку,— пожаловался старшему лейтенанту дежурный офицер с черепом на рукаве.— На фронт гонят. Видно, плохи дела на Перекопе.

Дубцов, не отвечая, прошел в кабинет Гурова. В руке у него был лакированный портфель, которым Дубцов, видимо, очень дорожил: усевшись на диван, положил на колени.

Ввели Гарбузенко.

— У меня к вам вопрос, Гарбузенко,— начал Дубцов.

— У меня тоже: драндулет теперь сами будете ремонтировать?

Гуров рассмеялся:

— В России легче царя свергнуть, чем того, кто ремонтирует автомобили.

Дубцов даже не улыбнулся.

— Давайте по-деловому, Гарбузенко,— только ответы на вопросы.

— Та что я, премьер-министр? Ответы, еще и на вопросы! Это ж какую голову надо иметь?!

— Вопрос всего один: откуда вы знаете грека с «Джалиты»?

— Не знаю никакого грека.

— Он как Сократ,— сострил Гуров,— знает, что ничего не знает.

— А я и того Сократа не знаю. Он что, тоже грек?

— Представьте себе, да! — расхохотался Гуров.— Как раз Сократ грек настоящий!

— Что-то мне сегодня везет на греков.

Дубцов резко прервал этот никчемный разговор:

— Вы большевистские газеты читаете?

Гарбузенко сразу стал серьезным, слегка побледнел.

— Вы, правда, думаете, Вильям Владимирович, что я большевик?

— Значит, я большевик! Я регулярно читаю большевистские газеты. А ротмистр Гуров — тот уж точно большевик. Он из них статьи вырезает и в альбомчик вклеивает. — Из лакированного портфеля Дубцов вынул газету, потрепанную, но аккуратно подклеенную, протянул Гурову. — В твоём архивчике позанимался, ты уж извини.

Гарбузенко всем туловищем повернулся к Гурову, пытаясь заглянуть в газету...

— Для вас там — ничего нового, — одернул его Дубцов. — Ограбление красного хохлана Новоросснйска. Государственного хранилища! Похищены ценности, конфискованные большевиками у буржуазии. «Угро», как всегда, всех выловил, приговор, как всегда, приведен в исполнение. И только главный сукин сын, организатор и вдохновитель всего этого дела, сбегал на греческой контрабандистской лайбе с похищенными ценностями... Конфискованными у буржуазии. Клнчка — Гарбуз... Бывший судовой механик.

Гуров, отложив газету, с ннтересом разглядывал Гарбузенко:

— А ведь верно — Гарбуз. Как я не подумал?

— Есть такое, что ли, присловье, — сказал Гарбузенко, — «Гарбузовы родичи»... Ну вроде... седьмая вода на киселе. У гарбуза много семечек, из каждой семечки, если дуже захотеть, может вырасти Гарбузенко.

— И уплыть на греческой лайбе, которая называется «Джалита»... Пошутил и хватит! — Дубцов подошел к столу и поднял салфетку, которой были прикрыты запонки грека. — Что вы скажете об этих запонках?

— Что они без мотора. Я по моторам механик, а не по запонкам.

— Чьи это запонки?!

Гарбузенко зажмурился в ожидании удара, но Дубцов только расстегнул портфель. Из портфеля он на этот раз извлек фотокарточку, по всей видимости из семейного альбома. На ней был изображен молодой Дубцов. Поясной портрет со скрещенными на груди руками.

— Посмотри на это фото, Гуров, если ты Шерлок Холмс. Внимательно!

Гуров схватил увеличительное стекло и увидел на фотографии те же запонки в виде якорьков:

— Это твои запонки?

— А то чьи же? Мне их отец подарил по случаю производства в лейтенанты. Ювелир Рутберг по заказу делал: выложил из рубинов по золоту якоря.

Гуров тщательно сквозь лупу рассмотрел запонки:

— Есть клеймо ювелира.

— Я не сомневался. Потом эти самые запонки ЧК изъяла

при обыске на моей квартире в Новороссийске, а вы, господин Гарбуз,— повернулся он к Гарбузенко,— спереть изволили из красного гохрана заодно с прочими ценностями, «конфискованными у буржуазии»!

— Та як бы я знав, господин старший лейтенант, что воно ваши запойки.

— Знал бы — соломку подстелил. А теперь нам с ротмистром Гуровым все понятно. Вы отдали запойки греку — контрабандисту Михалокопулосу, который вывез вас тогда из Новороссийска на своей «Джалите». — Дубцов повернулся к Гурову. — Так что этот грек был контрабандист самый настоящий. Он знал, что его другу Гарбузу хорошо знакомы эти запойки, потому и передал их Грише на случай, если сам погибнет в бора. Так и получилось. Увидев на Грише запойки, вы, Гарбузенко, поспешили явиться на «Джалиту», где вас чуть не застукал господин Гуров. — Дубцов дернул чертика, звякнул звонок, вошел одиорукий. — Отведите в соседнюю комнату, — распорядился Дубцов. — Пусть там напишет признание.

ПРИЗНАНИЕ ГАРБУЗА

Когда одиорукий возвратился в кабинет Гурова с бумагой, исписанной каракулями Гарбузенко, Дубцов еще был там. Схватив бумагу, он запер ее в свой заветный портфель.

— Теперь он у нас на крючке: за эту бумаженцию выполнит любое задание. Красные ему не простят ограбления гохрана — это он понимает.

— Ты что? Предлагаешь его выпустить?! — удивился Гуров.

— А что, солить? Ты какие получил инструкции относительно уголовного элемента? Оставить красным в наследство всю заразу, что притащилась за нами в Крым: воров, налетчиков, спекулянтов.

— К Гарбузу это не относится. Он у красных не останется.

— Почему?

— По твоей же логике так получается: если ему красные не простят...

— Логика — это у тебя. Ты у нас Шерлок Холмс. А у меня — психология. Ты был когда-нибудь у Гарбузенко дома? Видел собаку да колясочку из новых прутков — все, что осталось от его детей?

— Проверял. Действительно у него жена и дети — все погнбли.

— Так вот: нас с тобой, хоть мы и не воры, Россия вскоре

начнет забывать потихонечку. А этот старый орел от разбитого гнезда не отойдет.

Гуров запустил пальцы в бороду и стал ходить по кабинету.

— Ты еще скажи, отпустишь Гришу.

— А Гриша тут вообще ни при чем.

— Ну знаешь, я не Иисус Христос.

— А я думал, наоборот, ты Христос! Он ходил по воде, как посуху, а ты тоже пойдешь пешком по волнам до самой Турции?

— Не рано ли разогналсЯ?

— Я слов на ветер не бросаю, Гуров, ты меня знаешь,— Дубцов проверил, плотно ли закрыта дверь, и склонился к самому уху Гурова: — Я получил сведения по морскому телеграфу: наши сдали Турецкий вал и откатились к Ющунским позициям. А на причале тысячи беженцев ждут прихода «Спинозы». Но «Спиноза» не придет — это ты, надеюсь, понял. И нам с тобой для спасения собственной шкуры остается только дизельный бот «Джалита» с мотористом Гришей да механиком Гарбузенко, который должен отремонтировать на ней двигатель. Словом, ты как хочешь, а я не намерен становиться к стенке в КрымЧК только лишь потому, что, по твоим непроверенным данным, под видом грека на «Джалите» плыл покойник... болгарин Христов Райко, которого я, кстати сказать, в восемнадцатом году лично уничтожил. То есть сдал французам и получил расписку, что он расстрелян в их плавучей тюрьме по приговору военного суда.

— Что же ты раньше молчал?

— Хотел посмотреть, как ты ловишь коммунистов. Поучиться,— Дубцов мягко, даже как-то нежно улыбнулся.

МОКРЫЙ ДОЖДА НЕ БОИТСЯ

Прозрачными островами темнеют в море рифы. Будто сутулые циклопы сошлись в кружок и угрюмо плещутся среди моря. Вода колышет зеленые юбочки водорослей вокруг бедер великанов. В морщинах скал кишит морская живность: хойничат крабы, погнают медузы.

С приходом осенней штормовой погоды рифы все чаще и чаще накрывает волна.

Гриша сидит на уступе рифа. Его ноги связаны, руки прижаты к туловищу телефонным проводом. Провод пропущен сквозь кольцо, вмурованное в скалу. Моргая воспаленными веками, Гриша смотрит на море, откуда неумолчно надвигается холодная водяная стена. На то, что штормить не будет, надежды нет. Морю все равно, на кого работать, море не разбирает:

красный — белый или вообще ни при чем. Сколько людей контрразведка уже возила на эти рифы. Не хочешь закладывать себя и других — сиди жди, пока сомкнется над головой морская гладь. Время тебе дается на размышления.

А о чем тут размышлять? Выдать Гарбузенко? Сказать, что это он прятался на «Джалнте», когда пришел Гуров? Ведь так оно и было: Гарбузенко явился на «Джалиту», потому что ему, а не кому-то другому, грек вез сведения об исчезнувшем продовольствии... Но тогда вместо Гриши здесь будет сидеть Гарбузенко, связанный телефонным проводом. Спасти свою шкуру — утопить другого? Как потом жить? И как смотреть в глаза одной женщине? Гриша даже наедние с собой боялся назвать ее по имени. Кто он этой женщине и кто она ему? Такие женщины только в книжках бывают. И только мужчины из книг — чистые, честные, образованные и в белых костюмах — имеют право глядеть им в глаза, а не те, кто, со страху обмаравшись, закладывают других...

Первая волна, навалившись, прижала Гришу к камням и откатилась... Стало нестерпимо холодно, ноги — как не свои. А кто, собственно, такой Гарбузенко? Почему его надо жалеть? Он с греком Михалокопулосом задумали разыскать спрятанное продовольствие со «Спинозы». Для чего? Для своей коммерции. А рядом голодают дети. Дети, которые посчитали крупинки сахара и даже ему, Грише, выделили порцию. Как Олюня сказала: «Это яде». Нет уж! Пусть Гарбузенко сидит на рифах. Это его место!

Под ударами волн Гриша извивался на камнях, пытаясь перетереть провод, которым был связан. Где же они, подручные ротмистра Гурова? Может, и не думают приезжать за Гришей? Может, им вообще не до него? Да мало ли на их совести загубленных людей? Одним больше, одним меньше. А у него, у Гриши, жизнь одна. Но какое им дело до его жизни? Кто такой Гриша, чтобы его беречь больше, чем других? «Заплуювокзал». Да, было время, когда прилипло к нему это прозвище: Гриня Заплуювокзал. Мало кто знал его настоящую фамилию. Заплуювокзал, да и только! А почему имению Заплуювокзал, тоже уже никто не помнил. Кроме Гриши. Самое чистое место в городе — вокзал. Туда гулять ходили, как на бульвар, кавалеры с барышнями. Дежурный в белоснежном кнтеле и красной шапке звонил в надраенный медный колокол: «Господа, поезд отправляется!» Вот Гриша и взялся на спор перед всем городом, на глазах станционного жандарма и начальника станции посреди перрона... плюнуть. И плюнул.

— Тыфу! — Гриша выплевывал заливавшую рот соленую воду. — Тыфу!

Вот это и был, Гриня, твой первый и последний подвиг. Теперь уж ясно, что ничего лучше этого тебе уже в жизни не

совершить. Жизни-то осталось от силы полчаса. Что можно сделать за полчаса жизни?

Воля накрыла его с головой и не спешила откатываться. Неужели так и остаться в зеленой могиле, как муха в бутылочном стекле?.. Но в глаза вновь глянуло небо. Только невыносимый холод сковал тело. Нет! За полчаса еще многое можно сделать: предать человека и умереть предателем или не предать и умереть человеком. Кто бы ни был Гарбузенко: контрабандист, спекулянт, налетчик, — но когда Гриша его спросил: «Что бы вы хотели иметь от коммерции с продовольствием?» Гарбузенко ответил: «Только с долгами расплатиться. Покойный профессор Забродский Станислав Казимирович моих малых лечил — денег не брал ни грошика, а теперь его дочка Мария Станиславовна с чужими детьми мается». И Гриша не пожалел тогда, что передает ему, а не кому-то другому, матросскую флягу-маиерку с упрятанным в ней письмом капитана «Спинозы». Более того, Гриша показал Гарбузенко пустой куль из-под сахара с лиловой казенной печатью! «У докторши дети, как галчата, голодые, а рядом в пансионе мадам-капитан сторож откармливает свинью», — сказал он.

По сути, они, Гриша и Гарбузенко, договорились подбросить Марии Станиславовне с детьми харчишки. Разве не так? И значит, предав Гарбузенко, Гриша предает и Марию Станиславовну, и эту маленькую — она показалась ему прозрачной — Олью... Чем она больна и в чем виновата? Наверное, этого Грише не узнать никогда...

Воля, которая ринулась на рифы, была выше всех своих сестер: она закрыла небо...

Вдруг где-то близко застучал мотор. Огибая рифы, шел баркас, в баркасе сидели солдаты с карабинами и одиорукий.

— Ну, надумал? — спросил одиорукий.

Гриша не ответил. Он даже не слышал вопроса. Вода залила уши, и в ушах пело море.

Солдаты стали втаскивать Гришу на борт баркаса. Вахмистр обиажил шашку...

«Нет уж, лучше море, — подумал Гриша, когда металл клинка коснулся тела, — родней как-то...» — И потерял сознание...

Вахмистр шашкой перерезал провод, которым был обмотан Гриша.

— Везучий парень, — сказал одиорукий. — Если не сдохнет, будет жить.

Гриша очнулся, когда солдаты, вытащив его из баркаса, швырнули на палубу «Джалиты». Он не увидел в море рифов. На этом месте плясали волны — шторм вовсю разыгрался, и призрачные острова исчезли...

Одиорукий оставил на «Джалите» часового. Поглядев, как

Гриша ползает по палубе, раскорячась подобно крабу, часовой беспечно уселся у фальшборта в обнимку с карабином. Руки «для сугреву» он спрятал в рукава.

А Гриша, цепляясь за принятованные детали оснастки, заполз в жилую рубку, где сразу задвигался живей, отыскал свой разграбленный сундучок: все вещи перевернули при обыске, но, слава богу, не изъяли то, что искал Гриша,— клеичатый водонепроницаемый кисет...

Часовой стерег лишь тот борт «Джалиты», что примыкал к мосткам. Он не мог себе представить, что Грише еще не надоело купаться. Да Гриша и сам бы не поверил, что у него хватит на это духу. Но вдруг он вспомнил старую уличную погудку «Мокрый дождя не боится», и на мгновение ему стало даже смешно.

Часовой чиркнул спичкой, укрыл пламя от ветра в лодочке из ладоней и стал прикуривать. В этот момент он видел только уютно освещенную лодочку ладоней, огонек, кончик цигарки, ощущал тепло и вкус махорочного дымка, а Гриша, преодолевая дрожь, сползал в ледяную воду с противоположного борта...

УТОПЛЕННИК

День этот был ветреный, но солнечный. Мария Станиславовна вывела детей на прогулку. В санатории оставался только Коля. Тот самый паренек, с лицом, тронутым оспой, которого чуть не свергли при «сахарном» бунте. Коля оставался за всех: и за сторожа, и за дворника, и за посудомойку. Зато остальные могли гулять. Они шли вдоль моря по мелкой гальке пляжа. Шли чинно парами, держась за руки. У всех шен бережно закутаны кашне.

— Не надо спешить,— говорила Мария Станиславовна,— дышите ровнo. Сережа, не подходи близко к морю — ноги зальет. Олюня, дыши только носом. Сережа! Я тебя в другой раз не возьму на прогулку!

От запаха моря и йода у Марии Станиславовны закружилась голова. А может, и от того, что она ограничивала себя в еде: детям не хватало. Мария Станиславовна присела на обкатанный морем камень, который откололся от большого валуна, скатившегося с горы в незапамятные времена. Теперь он лежал наполовину на пляже, наполовину в море, похожий на серого мешковатого бегемота.

Дети разбрелись по пляжу. Они искали камешки. Олюня нашла камень с дырочкой.

— Это курный бог,— объяснил ей Сережа.— Надешь на ниточку и носи на шее.

— Да,— сказал Андрей,— куринный бог от всего помогает.
— Кроме болезней,— возразила Олюня,— от болезней помогает только Мария Стаинславовна.

«Если бы,— подумала Марня Стаинславовна,— если бы это было так».

Вдруг из-за валуна-«бегемота» выскочила Райка, старшая девочка, ее постоянная, верная помощница. Она в волеении жадно хватала ртом воздух:

— Там... там...

— Не смей дышать ртом! — закричала Мария Стаинславовна. — Ноябрь месяц!

— Там утопленник!

Марня Стаинславовна бросилась за угол валуна.

— Я сама! Никому не подходить!

Но все уже были там. Человек в мокрой одежде лежал под нависшим краем валуна — под брюхом «бегемота», уткнувшись носом в гальку пляжа. Ключья водорослей и мелкие ракушки запутались в его волосах.

Марня Стаинславовна, присев рядом, подняла и положила к себе на колени тяжелую руку, стала нащупывать пульс.

— Не надо,— пробормотал «утопленник», — я живой.

ЧТО БЫЛО В КЛЕЕНЧАТОМ КИСЕТЕ

Гриша открыл глаза и увидел огненный веичик в стеклянном пузыре под белым эмалированным абажуром.

Лампа на сложной системе блоков и шнуров с противовесами проплыла в воздухе и зависла под Гришным изголовьем.

Гриша увидел лицо Марии Стаинславовны и зажмурился: сверкающий диск на ее лбу ослепил его.

Металлической лопаточкой она разжала Грише рот, солнечный зайчик осветил горло.

— Скажите «а».

— А-а-а...

Марня Стаинславовна сдвинула одеяло, обнажив Гришину грудь с его «государственным гербом»: русалкой в кольцах удава. Она приложила стетоскоп к животу русалки:

— Дышите!

Дыхание у Гриши было мощное и чистое: как будто море перекачивает гальку пляжа.

— Не дышите!

Трубочка была деревянная, короткая. Голова Марии Стаинславовны почти касалась Гришиной груди, и от этого сердце стучало округло, громко.

— Малярней болели?

Гриша болел тропической малярней.

— Да-да...

— Ну вот: спровоцировали приступ. Температура подскочила. Даже бредили. Но организм у вас!..— Она сунула Грише градусник под мышку и бережно, как археолог античную статую, укутала Гришину выпуклый торс.— Кто же купается в ноябре?

— Кто вам сказал, что я купался?

— В волосах была тина, как у утопленника. Еле вычесали.

— Где мои вещи?

Гриша поспешно сел, свесив на пол голые ноги.

Мария Стаиславовна открыла тумбочку:

— Вот. Рая все высушила, даже отгладила... Но вам еще следует лежать.

Гриша стал быстро одеваться. В кармане пиджака нащупал свой клеенчатый кисет: слава богу, цел.

— Решайте, Мария Стаиславовна, вы уходите со мной на «Джалите» или нет?

— С кем это с вами я должна уходить? Вы ведь не тот, за кого себя выдавали, не грек Михалокопулос, не торгуете коралловыми островами, даже разговариваете без акцента.

— Да уж нечего темнить. Помните, как вы жили на даче в Кореизе? Саидалики у вас тогда были из лосиной кожи с дырочками. Не помните?.. И ворону не помните? Ручную ворону с перебитым крылом? Она клевала вам ножки сквозь дырочки, а вы слезами садик поливали... Значит, не помните меня? Гришей меня звали. Гришуйей, Гриней, Грицком. Из-за палисадничка бросал в ворону палку.

— Ворону вспомнила. Ужасная птица.

— А меня забыли, значит? Где уж тут запомнить! Ваш папаша профессор и генерал, а я был рыбацкий хлопец. Ходил босой, бычков к вам носил продавать вяленых.

— С тех пор, значит, и пристрастились к коммерции?

— Коммерции? — Гриша не сразу понял.— А-а... Так то грек был коммерсант, а не я.

— А кто нам достал сахар? Сразу целый мешок! Дети забыть не могут. У вас это как в цирке получилось: фокус-покус!

Гриша невесело усмехнулся:

— Такой коммерции меня жизнь научила, Мария Стаиславовна. Она еще и не тому научит. А вообще какой я коммерсант? Я матрос. Был русским моряком. Плавал на пароходах русского торгового флота. А где они теперь, пароходы?.. Где «Доброфлот»? Где Черноморо-Балтийское пароходство? Где су-

да частных фирм? «Мишурес и сыновья» из Одессы — и те обмишурились. Последний их пароход «Спиноза» в Константинополе к стенке присох. Белые угнали русские пароходы за границу. А экипажи заблудились в иностранных портах, и я с ними. Все, что нам осталось от России, — «Русское каботажное бюро» с конторами в Ливерпуле и Константинополе, биржа морских извозчиков «кому, что, куда».

— А почему бы вам не вернуться в Россию?

— Кем я тут буду без флота? «Матрос с разбитого корабля»? Такая дразнилка была у пацанов, если помните. Кому я здесь нужен, когда голод и холод, тиф и война?

— Я вот, женщина, прожила здесь самое трудное время, а вы — мужчина, моряк.

Гриша смотрел в сторону. Он явно что-то не договаривал.

— Ну ладно, — сказал он наконец. — Я моряк. А знаете, что для моряка в жизни главное? Думаете, море?

— Берег.

— Нет. Кто на берегу! Вот я и выдумал себе такую сказку, вроде у меня есть кто-то на берегу.

Гриша развязал свой клеенчатый кисет и вынул фотографию, наклеенную на картон с выдавленной виньеточной надписью: «Фотоателье Коржъ. Крымъ. Судакъ».

Мария Станиславовна сразу узнала себя.

— Это я! В год выпуска из гимназии.

— Да. Фотограф вашу карточку выставил в витрине, а я, извиняюсь, стибрил. Вы меня в ту пору вплотную не видели: вас тогда разные умники с книжками окружали, как забор. А я издали поглядывал: ну такая красивая, что смотреть больно, как на солнце. И не смотрел бы, — вдруг добавил Гриша с какой-то совсем новой интонацией, — но почему-то мне вас и сейчас как-то... ну жалко, будто вас до сих пор клюет ворона.

— Так оно и есть, — сказала она тихо. — Я долго не могла... стать взрослой, что ли, все мне казалось, кто-то подойдет и ударит, если рядом не будет папы.

— То-то и оно. Я как прочитал в газете в Трапезунде, что вы теперь одна остались, так и понял: самой ей не выехать — затрут. А я возьму да и отвезу голубку к теплым морям. В России ей сейчас не выжить: красные не больно жалуют генеральских дочек. Вот я и нанялся к греку мотористом. Он рассчитывал взять из Крыма пассажира, вот бы и взял пассажирку.

— А что пассажирка не согласится, вы подумали?

— Только об этом и думал, можно сказать, всю жизнь: ни за что не согласиться. Кто я? Матрос! А сейчас должны согласиться. Революция! Революция всех сравняла. Вы — жеи-

щина, я — матрос, матросу нужен кто-то на берегу, и вам надо к кому-то пришвартоваться.

Странно, но даже это словечко, с которым матросы на бульваре знакомилась с модистками: «Разрешите к вам пришвартоваться», не показалось Марии ни смешным, ни грубым. А что? И «пришвартовалась» бы. Ведь все так тревожно: все бегут куда-то к морю. И вдруг из-за палисадинка выходит Грнша и бросает в ворону палку...

А вслух Мария сказала:

— Так сложилась жизнь, Грнша, что между нами ничего не может быть...

Грнша ожидал это услышать.

— Потому что я матрос, — сказал он. — Ясно!

Марии стало обидно за него.

— Зачем вы так? Что тут стыдного? Меня вынуждал матрос — папин вестовой. Я родилась, когда папа был корабельным доктором, и выросла среди моряков. Вы моряк! Вот вы кто! И не надо унывать перед генеральскими дочками, Грнша. Когда в мире — мир, а в доме — отец, мы млеем перед интеллектуалами. Пока не очнемся в открытом море на обломках родительского дома. Вот тогда мы предпочитаем моряков. Я говорю о мужчинах, из которых можно опереться.

Грнша не слушал, что она говорит: в конце концов все это слова и слова, а он ее любит. И вся его жизнь была бы, как стоячая вода без соли, если бы не эта, пусть несбыточная, мечта.

— Я бы полюбила моряка, — вдруг дошел до Грнши ее голос, — только моряка и полюбила бы.. если бы не полюбила моряка.

— Так вы уже?..

— Да. Он тоже моряк.

Все было кончено.

— «Он» — это совсем другое дело, — сказал Грнша. — При «Нем» мне, конечно, нечего делать. — И направился к двери. Но уйти не мог, никак не мог. — А где же он плавает, этот ваш «Он», что не видит, как вы тут бедствуете?..

— Еще не хватало, чтоб я к нему обращалась с просьбами!

— Ко мне вы тоже не обращались.

— Но он даже не знает, как я к нему отношусь. И ради бога, я вас умоляю, ни словом, ни намеком не проговоритесь ему! Этот человек — просто друг. Он мне только друг, вы понимаете?!

— «Он» здесь?

— В том-то и дело! Вдруг ни с того ни с сего приехал!

Мария Станиславовна раздернула шторы. Окно амбулатории выходило во двор. Во дворе санатория стоял автомобиль

Дубцова. Дети, онемев от восторга, разглядывали никелированное чудо.

— Сейчас я вас ему представлю,— сказала Марня.— Где же вы?

Гриша исчез. Марня беспомощно оглядывалась по сторонам: его нигде не было.

МОЖЕТ ЛИ МУЖЧИНА БЫТЬ СЕСТРОЙ?

Старший лейтенант Дубцов в полной форме — фуражка с белым верхом, китель с золотыми шевронами на рукавах и наградной кортик с темлячком на аиненской ленте — стаскивал с заднего сиденья автомобиля коробки конфет и корзины с фруктами.

— Помоги-ка, дружок,— подозвал он Колю и подал картонную коробку.

Коля донес коробку до крыльца, швыриул в сердцах на ступеньки и ушел в аллею.

Там его догнала Райка:

— Зачем ты какао бросил?

— Не надо мне вашей какавы.

Коля даже не замедлил шаг.

— Почему нашей? Ну почему?

Коля остановился:

— А ты спроси офицера, кому он эти сладости привез — сыну машиниста или виучке статского советника?

— Ах вот как ты думаешь?

— Как все!

— Значит, когда красные придут, тебя будут шоколадом кормить, а меня отсюда вообще выгонят! Да? Ну, что молчишь? Я буржуйка? А то, что я ноги малышне мою, и горшки за ними выношу, и ем вдвое меньше тебя, не считается. Да?

Коля, насупившись, молча ковырял носком ботинка ракушечник аллеи.

Вдруг что-то зашуршало в кустах. Райка вздрогнула:

— Ой!

— Не бойтесь, пацанята,— прошептал чей-то голос.— Это я.— Из-за кустов вышел Гриша. Он только что благополучно вылез из окна амбулатории, где поначалу спрятался за шторы, и теперь держал путь к забору, чтобы исчезнуть навсегда.

— Куда вы? — спросила Рая.— Обратно в Турцию?

— Может, и в Турцию.

— Да он не турок,— сказал Коля.

— Значит, в Грецию.

— И не грек. Теперь уже ясно — русский, и никуда не поедет.

— Нет уж, пацаията. Отдаю кормовой.

Коля насупился.

— Значит, вы из этих... из буржуев, раз тикаете от революции.

— Это я-то из буржуев?

— Ну уж не из трудящих. Все трудящие себе счастье добывают, а вы тикаете.

Гриша невесело усмехнулся:

— «Трудящие»... А кто знает, что оно такое счастье и с чего его едят?

— У дедушки был толковый словарь,— сказала Рая.— Там написано: «Счастье, счастья, множественного числа нет. Ощущение полноты жизни».

— Как? — Гриша заинтересовался.— Так и написано?

— «Ощущение полноты жизни».

— Нет! Что множественного числа нет — написано?

— Написано.

— Я так и думал: множественного числа нет. Больше, чем на двоих, не выдается. Третий — уже лишний.— Гриша посмотрел на Колю.— А говоришь «трудящие». Я, хлопчик, сам по себе, где хочу, там и живу. Могу вообще себе устроить отдельное царство-государство. Назову его, скажем, Гришия. Меня Гришей звать.

— Лучше Гришландия,— посоветовала Рая.

— Так еще красивше,— согласился Гриша.— Островок с баиановым садочком посередке океана я уже приглядел. Так что, территория будет. Население? Хотел там одну барышню поселить...— Гриша бросил грустный взгляд в сторону дома, из которого ему пришлось постыдно бежать.— Ну да ладно. Чем нас меньше, тем у нас меньше забот — армии не надо, если населения всего один человек и тот уклоняется от службы в армии. Полиция тоже ни к чему — у нас не воруют, только перекладывают из кармана в карман. И революции устраивать никому: когда человек один, кому он мешает? Никому от него ни холодно, ни жарко,— Гриша безнадежно махнул рукой.— Прощайте, трудящие, дай вам бог счастья.

Он направился к забору санатория, но Рая схватила его за рукав:

— Возьмите меня с собой,— заговорила она сквозь слезы.— Я вам буду еду готовить и белье стирать. Я всему научилась в санатории — мне за няньку приходится быть при малышах. Возьмите, пожалуйста! Все равно он говорит, меня при красивых из санатория выгонят, потому что дедушка мой — статский советник. Возьмите, если у вас там не сыро. При сырости мне совсем нельзя жить.

— Ну... ну... Зачем же сырость разводить, если нельзя? Давай вытрем.— Гриша руками размазал слезы по ее лицу и сказал грустно: — Нет у меня там сырости. Ничего у меня там нет.— И посмотрел на Колю, ища сочувствия.

— Все равно вы буржуи,— сказал Коля,— и паразиты! Райка первая. Она ему будет готовить и стирать! Слыхали? А у докторши вон сколько ртов голодных! Олуне совсем худо стало. Лежит в изоляторе. Даже бредит и то едой: «Упу надо! Упу надо!» Это она супу просит,— Коля круто развернулся и пошел к дому.— Крупу добывать надо, а не с вами разговаривать!

Гриша очень хорошо понял Колю, лучше чем Коля — его, потому что Коля ни разу не был в Гришиной шкуре, а Гриша в Колиной не раз уже побывал.

— Чудак,— сказал он Коле.— Ну где ты крупы достанешь? Украдешь с воза на дороге — так конвойный тебя пристрелит, того и жди!

Коля, не оборачиваясь, уходил по аллее. Гриша поймал его за полу курточки:

— Ну постой... Ну пойми ты, наконец: кто я такой вашей докторше, чтобы в ее доме оставаться?

Коля посмотрел на него с презрением.

— Был бы я взрослый, вот как вы, женился бы на Марии Станиславовне.

— Вообще это мысль. Но пришла не в ту голову.

— Вы думаете, она на вас не позавидует?..

Рая даже испугалась:

— Не слушайте его — он дурак!

— Ну, значит, будете сестрой,— решил, наконец, Коля.

— Может, братом?

— Я вам дело говорю: сестрой-хозяйкой. При больных легких надо досыта есть — это вам каждый скажет. А с такой сестрой-хозяйкой, как вы, мы бы каждый день ели от пуза. Жри — не хочу! Думаете, забыли, как вы сахар принесли?

Гриша в этот момент охотно бы сгреб в охапку и пацана, и дивчину, прижал бы их голова к голове на своей груди и утешил: «Ладно, не горюйте, пацанята. Где нашелся сахар — найдется и крупа». Но вместо этого он схватил Колю за лацканы курточки из чертовой кожи и трянул так, что швы затрещали.

— Если ты, сепельдявка, будешь девочек обижать, близко ко мне не подходи никогда больше! Понял?!

Коля был счастлив.

«МЫ С ВАМИ ПРОЩАЕМСЯ НАВСЕГДА»

— Я натуральная свинья,— говорил старший лейтенант Дубцов, сидя в плетеном кресле на веранде санатория.— Уже почти месяц в этом городишке, видел вас мельком, но ни разу не заехал, не поинтересовался, как, на какие средства вы живете.

— Я не обижалась,— успокаивала его Мария Станиславовна,— знала, что вы не можете сюда приезжать. Вам вовсе незначит пятнать свой белый мундир предосудительными связями.

— Не понял... Что вы называете «предосудительными связями»? Я никогда не скрывал, что обязан жизнью вашему папе: сам был вот таким же тщедушным мальчиком в белой панамке, как эти зеленые гороховые стручки, что и сейчас слоняются по двору санатория.

— Значит, вы не знаете, что я на подозрении у контрразведки?

— Вы? Это становится интересным! — Дубцов поплотнее устроился в кресле.— Рассказывайте, Маша, что здесь произошло?

— Ротмистр Гуров потребовал истории болезни. Ему надо было знать, кто чей ребенок и при какой власти поступил. Я отказала: для меня нет детей красивых или белых — только больные и здоровые.

— Вы правы. Мы с детьми не воюем.

— Гуров сказал то же самое: «Мы с детьми не воюем». Но если придут красивые,— сказал он,— они мигом выявят детей офицеров, дворян и в лучшем случае выгонят из санатория, а в худшем — будут ловить на этот крючок их родителей, чтобы расправиться с ними, как с врагами Советской власти.

— И вы показали ему историю болезни.

— Нет. Я не верю Гурову. Большевики, при том, что они забрали у папы санаторий, кормили детей, снабжали медикаментами, бельем. Они последнее отдавали. Чего никак нельзя сказать о вашей власти. Вы даже, уходя, увозите все с собой. Мимо наших ворот день и ночь возят в порт продовольствие. Вы обрекаете нас на голод, милый благородный старший лейтенант.

Дубцов улыбнулся.

— Вы так и сказали Гурову?

— Кроме последних слов. Вот уж кого не назовешь благородным. В городе рассказывают такие ужасы о зверствах контрразведки... Вы слышали о рифах?

На этот вопрос Вильям Владимирович предпочел не отвечать.

— Я вас внимательно слушаю, — сказал он вместо этого.
— Ну вот... Гуров меня выслушал и сказал: «Вы больше-
вничка и выполняете декреты Совнаркома».

— Только и всего?

— Не смейтесь. Это действительно так: Советы объявили
все курорты народным достоянием и подчинили Отделу ле-
чебных местностей комиссариата здравоохранения. В девят-
надцатом году, при красных, мы с папой из хозяев курорта
превратились в служащих. Нам прислали детей из немущих
классов. Из них тоже кое-кого не успели забрать родители.
И возможно, эти родители — комиссары, но я не намерена
выдавать их Гурову.

— Значит, Гуров ушел несолоно хлебавши?

— Плохо вы знаете Гурова.

— Возможно, с вашей помощью узнаю лучше.

— Он действительно ушел, а назавтра прислал своего
помощника... одиорукого... с целой командой каких-то людей
в штатском, военном и полувоенном. Они переселили меня с
детьми на пустующую дачу с пауками, где мы провели две ночи,
пока они устраивали здесь обыск.

— И все-таки изъяли истории болезни.

— Они к ним даже не прикоснулись. Они вообще искали
не в доме.

— А где же?

— В погребках. Прежний владелец имения вырыл под домом
большие винные погреба. Но папа купил только половину
имения, вторую часть приобрел капитан, муж мадам, и погреба
ее собственность. Вход в них со стороны пансиона.

Дубцов встал, прошелся по веранде:

— Вы не хотели бы, Маша, прокатиться на авто?

— Покатайте ребят.

— Все не поместятся. А выбирать?.. Вы же сами говори-
те — они все равны.

— Хорошо. Только до моря.

Дети смотрели с завистью, как Мария Станиславовна уса-
живается в автомобиль. Некоторые из них еще ни разу в
жизни не катались «на моторе».

Автомобиль остановился возле каменной лестницы, которая
вела к пляжу.

Выйдя из машины, Мария Станиславовна вместе с Дуб-
цовым спустилась к морю.

Здесь Дубцов заговорил откровенно:

— Я не хотел бы, чтобы вы меня путали с Гуровым,
Машенька! Мы с ним занимаемся одним и тем же делом, но
мы разные люди, и не исключено, что между нами проходит
линия фронта.

— Как это понять?

— Достаточно, если вы поймете: Гурову безразлично, как вы к нему относитесь, а мне — нет.

— Это не мешает вам уехать вместе с Гуровым.

На это Дубцов ничего не сказал, но Мария решила добиться ответа.

— Когда вы уезжаете, Виля, завтра, послезавтра?

— Никто не знает, что будет завтра. Пока идет война, я буду выполнять свой долг.

— Это не ответ, а отговорка. Вместо правды — красивое слово. «Долг». Папа всегда морщился от подобных выражений: «врачебный долг» и все такое прочее. «В слове «долг» есть что-то принудительное, — так он говорил. — Я лечу, потому что люблю лечить людей». Но вы же не любите убивать людей. Я знаю, не любите. Вас просто втянуло в этот кровавый водоворот. Вот именно втянуло какой-то безличной силой. Знаете, как солдаты в госпиталях говорят... Мне ведь пришлось поработать в госпитале... Они не говорят, кто их ранил. Они говорят: «ранило». Вот и вас ранило — а говорите «долг».

Они дошли до валуна-«бегемота».

— А вот и «бегемот»! — обрадовался Дубцов. — По-моему, я первый когда-то заметил, что этот камень похож на бегемота.

— Почему вы все время переводите разговор?

— Потому что это все политика, а вы, сколько я вас помню, всегда смотрели в себя: вокруг война, революция, но вам был интересен только свой внутренний мир.

— А вы уверены, что это так называется, — спросила она, — «внутренний мир»? Может, это была «внутренняя война»? Революция — в душе девочки! А вот вы как раз были пришельцем из того... внешнего мира. Каждый раз, когда вы по старой памяти нас навещали, я видела на вас не только новые звездочки или шевроны, но какое-то отражение того, что происходит там. Правда, только отражение. Это отражение меня обмануло.

— Насколько помню, я вам никогда не лгал.

— Отражение лгало. Не знаю, как это объяснить... Помните, у нас в гостиной висела картина. Морская баталия. Ночью в неподвижной воде отражаются горящие фрегаты. Тихо. Таинственно. Как свечи, топящие в черноте рояля. Но ведь на фрегатах горели люди. Живьем! А я любовалась. Пока эти ваши войны и революции не ворвались сюда сами, без вас, без белого кителя и золотых вензелей. С гнойными ранами, газовой гангреной, тифозной горячкой и голодной пеллагрой, пожирающей истощенных детей!..

Дубцов молча поглаживал серо-зеленый бок «бегемота».

— А знаете, — сказала Мария, — здесь нашелся один человек, который предложил мне сбежать от всего этого на

коралловые острова. Он даже показывал картинку: зеркальная лагуна, белая яхта...

— Вот кто действительно лгал, как его картинка!

— А вы? Почему вы, Виля, не предлагаете мне помощь? Уж для вас-то найдется место на пароходе. Почему вы не берете меня с собой?

Наконец-то Мария поставила свой вопрос прямо, без обиняков. Дубцов не мог не ответить, но он не спешил отвечать. Некоторое время они с Марией шли молча вдоль полосы прибоя по космам гниющих водорослей. Волна беспрерывно перекачивала гальку пляжа.

— Никуда вы не уедете, — сказал Дубцов. — Я вырос в вашем доме, уж я-то знаю, если к вам забредала кошка или приبلудная грязная собачонка, она меняла все планы семьи: откладывались выезды, переезды... А тем более — больные дети. Вон вы даже на автомобиле не хотели ехать без них.

Она посмотрела на него потемневшими от слез глазами:

— И сейчас не поеду на вашем автомобиле. Мы с вами прощаемся... навсегда.

И пошла вдоль моря по космам гниющих водорослей обратно в санаторий пешком.

Дубцов догонять не стал. Он посмотрел на часы и поспешил к машине.

Подъезжая к городку, он еще издали заметил над особняком, где размещалась контрразведка, столб дыма.

«Свершилось», — подумал Дубцов и прибавил скорость. Действительно, солдаты выносили из дверей особняка папки с делами и жгли их во дворе.

Гуров в своем кабинете тоже поспешно перебирал бумаги: одни совал в портфель, другие швырял в камин, в котором тоже пылал огонь.

— Красные полностью овладели перешейками, — сообщил он Дубцову, — взяли Перекоп, Чонгар, прорвали Юшуньские позиции и наступают на Джанкой. Врангель подписал приказ отходить к портам Крыма.

ПАРОХОДЫ НАДО ВЕРНУТЬ

У ворот Феодосийского порта казачья цепь сдерживала толпу беженцев. Некоторые из них уже давно ждали погрузки и сидели на чемоданах, баулах, тюках с подушками. Закусывали разными припасами из кошелок с торчащими бутылками молока.

Какие-то господа заседали на казачьего офицера, который дежурил у пулемета, повернутого рыльцем к толпе.

— Почему вы не берете людей?

— Неслыханио! Люди ночуют на пристани.

— Чего вы ждете? Большевиков?!

Офицер с трудом их перекрикивал:

— Господа! Все уедут, господа! Но сперва — грузы.

Решетчатая ограда порта смеялась красной кирпичной стеной, над которой торчали ржавые железные буквы вывески: «Слесарные мастерские Феодосийского порта».

Внутри царило запустение, с балок потолка свешивались закопченные бороды паутины.

Один слесарь лениво водил рашпилем, извлекая из железа звук, от которого болят зубы. У других станков и верстаков никого не было: обед. Четверо сидели в закутке среди железного хлама, умниали из одного чугуника толченую картошку.

— Ты бы, Денис Петровнч, туда сметаики запустил, — говорил один из них, заглядывая в чугунок, — хотя бы для конспирации.

— Ешьте, товарищ Радчук, что дают. Мы вас слушаем, товарищ Баранов!

— Решение Крымревкома, — сказал Баранов, — суда не выпускать, сорвать белым эвакуацию, а значит, и вывоз продовольствия.

— Можно песочку в золотики, а можно и масло выпустить, — посоветовал Радчук.

— Кустарщина. — Баранов взял горбушку хлеба и стал натирать ее чесноком.

Четвертый отложил ложку, достал чернильный карандаш, послужил и что-то отметил на клочке бумаги. На его нижней губе от чернильного карандаша отпечаталась лиловая риска. Только по этой риске, пожалуй, и можно было узнать обросшего седоватой щетной Степанова-Грузчика. Уполномоченный ВЧК по Крыму переправился позапрошлой ночью из Новороссийска на катере «Аджинбей», доставившем боеприпасы и оружие партизанам для решающей схватки с белыми.

— Я вот тут отметил для резолюции, — сказал Грузчик, — русские пароходы, те, что в крымских портах, надо задержать во что бы то ни стало. (Для посторонних эта запись выглядела так: «Забрать у прачки бязевые кальсоны».) Существует декрет Советской власти о национализации торгового флота. Значит, суда наши. Почему белые адмиралы в Лондоне и в Константинополе должны торговать русскими моряками на всех морях и океанах? Пароходы надо вернуть Советской России в целостности и сохранности.

— Ну и как же мы это сделаем? — спросил Радчук.

Грузчик покосился на слесаря, который водил рашпилем по железу. Баранов подошел к слесарю:

— Так не работают, а саботируют. На станке точи!

Слесарь подмигнул — понял.

Со звоном и визгом заработал станок.

— Вот теперь нас никто не услышит,— сказал Грузчик.— Сообщаю главное: по общему плану восстания мы захватываем город, а значит, и порт. Сигнал к началу восстания — взрыв артиллерийских складов на железнодорожной станции. После взрыва берем тюрьму, мастерские и порт с пароходами. А партизаны в это время захватывают Судак и перерезают белым дорогу на Феодосию. Придется им, не сворачивая к морю, катиться напрямик на Керчь.

Вбежал парнишка в замасленной спецовке:

— Петрович! До инженера.

Денис Петрович вышел вслед за парнишкой и очень скоро вернулся.

— Деша от Гарбузенко,— сообщил он, улыбаясь.

— Как?! — удивился Баранов.— Разве он не арестован?

— Выходит, не арестован, раз у них там работает собачья почта...

Степанов-Грузчик взял Дениса Петровича под руку, как барышню, и сказал:

— Передайте, пожалуйста, по этой вашей почте — пора заняться санаториями.

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

Веста с корзиночкой в зубах толкнула лапами вертушку двери и вошла в шкатулочное нутро кофейни Монжоса. В кофейне было пусто, буфетчик переворачивал стулья. Взяв деньги, он положил в корзиночку пачку табака и, когда собака ушла, прошел в подсобку, где подержал кредитку над огнем, пока не выступили буквы... Прочитав, вышел во двор.

Во дворе кофейни стояла платформа ломового извозчика. Несколько парней с фабрики эфирных масел сгружали ящики с надписью: «Кофе мокко».

— Все, хлопцы,— сказал им буфетчик,— несите их в дом.

Хлопцы затащили ящики в кофейню, там распечатали. В ящиках были патроны. В этот момент за дверью, завешенной полосатой шторой, хлопнул выстрел... Один... другой...

— Ша,— сказал буфетчик,— без паники. Это всего-навсего драдулет.

По набережной, фырча и стреляя синими выхлопами, катился автомобиль Дубцова. Старший лейтенант в автомобильных очках, в кожаном реглане сидел за рулем, рядом — ротмистр Гуров. Один из парней вытащил из-под стойки ручной пулемет Гочкиса:

— Засмолить бы!

Буфетчик отвел в сторону ствол пулемета:

— Еще попадешь...

— В кого?

— В кого не надо.

Парень с удивлением оглядел улицу: кроме Дубцова и Гурова, не было видно ни одной души. Ветер гнал по булыжнику клочки бумаги, смятые папиросные пачки и прочий сор — следы поспешного бегства. А со стороны гор, подступавших к морю, уже слышалась пальба.

— Красно-зеленые, — сказал Гуров, — партизаны. Как бы не перерезали дорогу.

— Ничего, мы пройдем морем на «Джалите», — успокоил Дубцов, — там сейчас Гарбузенко чинит мотор да твой часовой сторожит моториста Гришу.

Автомобиль скатился с горы к рыбацкой пристани. «Джалита» была на месте, но что-то в ней явно изменилось.

Ни часового, ни Гарбузенко, ни Гриши не было видно. Безжизненная «Джалита» под всеми парусами маячила у мостков.

— Сбежали, сволочи! — ругнулся Гуров.

Он занес ногу, чтобы прыгнуть на борт «Джалиты», и чуть не свалился в море — причальные канаты были обрублены. Легкий береговой ветерок относил «Джалиту» к выходу из бухты. На палубе так никто и не появился.

Автомобиль с Дубцовым и Гуровым, рыча и отплевываясь бензиновым дымом, вновь вскарабкался на гору. Отсюда открывался вид на подкову городка. Дубцов резко потянул на себя ручку тормоза.

— Смотри!

Над мавританской башенкой особняка, где прежде размещалась контрразведка, бился на ветру кумачовый флаг.

— Красные в городе? — Гуров не поверил своим глазам. — Когда они успели?

— Долго ли умеючи? Подпольщики впустили партизан, — Дубцов развернул машину и стал съезжать с горы. — Попробуем пробиться на Феодосию, авось не перережут дорогу.

...А «Джалиту» несло ветром в сторону рифов. Неуправляемое суденышко плыло боком, купая паруса. Навстречу, со стороны моря, шла рыбацья шалаанда. Видно, возвращались с лова. В садках поблескивала кефаль. Дед-рыбак дремал, сидя на корме. Его внуки, совсем еще хлопчики лет двенадцати — четырнадцати, гребли и посмеивались, глядя на потухшую сигарку, вывалившуюся из раскрытого рта. Сигарка лежала на груди деда.

— Эй! На паруснике! Э-ге-ге-гей! — закричали хлопцы. — Чи е хто? Отзовись!

Никто не отзывался. Только слышно было, как по палубе парусника перекачивалось, гремя, пустое ведро.

Хлопцы растолкали деда:

— Диду! Там парусник сам собою плыве. Без матросов. Гукалы — никто не видгукнувся.

— Мабуть, п'яніє?

— Ні, диду. Никого нема!

— Ну-у... Значить, то, хлопці, летючий голландець.

— А шо воно таке?

— Летючий голландець? — Дед сам затруднялся с ответом, долго лизал, заклеивая, свою сигарку. — Воно то, чего нема и не може бути, але люди бачили.

КТО ЕСТЬ КТО

— Фу, черт! — Дубцов потянул на себя ручку тормоза. — Не везет так уж не везет. — Он вышел из машины, вынул пробку радиатора — пошел пар. — Возьми там ведро, Гуров, набери воды.

Дубцов поднял капот, приблизил ладони к разогретому мотору, прислушался к бульканью и потрескиванию в автомобильных внутренностях, а Гуров, вытащив ведро из багажного ящика, стал спускаться с дорожной насыпи в глубокую промоину, образуемую ливневыми потоками, стекавшими с гор. Чтобы вода не размывала дорогу, под насыпью, на дне промоины была проложена каменная труба. Из трубы вытекала какая-то желтоватая водичка. Гуров подставил ведро. Вода затарахтела по дну.

Дубцов захлопнул капот и подошел к краю промоины. Гуров заметил, что правую руку Дубцов держит за бортом реглана.

— Что это у тебя, Виля, за наполеоновский жест?

Дубцов не ответил и руку из-за борта реглана не вынул.

— По-моему, вы не очень торопитесь, ротмистр, — сказал он хмуро.

— Прикажи воде течь быстрее.

Вода текла тонкой, как ниточка, струйкой. Ведро наполнялось почти незаметно. Но Дубцова все это вроде бы не касалось:

— А по-моему, вы нарочно хотите опоздать на пароход.

— Почему ты вдруг перешел на вы?

— Можно и на ты. Я с тобой свиней не пас. Я офицер флота, плавал юнгой, окончил школу гардемаринов, а ты хам: мараешь белое дело, терроризируешь Марию Станиславовну, интеллигентную женщину, которо^ю ты в лакеи не годишься, скотина!

Гуров схватился за кобуру. Дубцов вынул руку из-за борта реглана. В руке был браунинг.

Вдали гроыхнул взрыв, второй, третий. Затем целая серия взрывов. Дубцову почудилось, что камни под ногами дрогнули. И действительно, с дорожной насыпи скатился камешек, за ним потянулась струйка известковой пыли.

— Артиллерийские склады взорвали на станции Феодосия, — сказал Гуров. — Это конец, Виля. Поймаешь? Всё! Слышишь выстрелы? — вслед за взрывами стали раскатываться двойные винтовочные хлопки. — Офицеров вылавливают. Сюда тоже скоро прискачут и порубят нас с тобой обоих, как белых шкур! Бежать надо!

Гуров начал выбираться из промоины, на ходу расстегивая кобур. О браунинге Дубцова он как будто забыл.

— Руки! — скомаидовал Дубцов. Гуров поднял руки. — Вот теперь кругом. — Спорить с браунингом было бесполезно. Гуров покорио повернулся спиной к Дубцову. — Кобуру расстегнули, весьма любезно с вашей стороны. — Спрыгнув в промоину, Дубцов вынул револьвер из кобуры Гурова. — Вот теперь побеседуем. Сядьте... Сесты! Это допрос! — Гуров присел на край трубы, из которой текла вода — уже набралось полведра, — Дубцов сел напротив. — Я вас не задержу до прихода красных, Гуров. Пока наполнится ведро, окончится и суд, и дело. — Дубцов вынул из кармана реглана матросскую флягу — манерку, отвинтил крышку, выудил из фляги свернутое трубочкой письмо капитана «Спинозы» и протянул Гурову...

— Зачем вы погубили человека, Гуров? — спросил Дубцов, когда Гуров коичил читать. — Ведь вы же оформили документы о погрузке продовольствия на «Спинозу», а фактически его не погрузили. И капитан, которого обвинили в краже, пустил себе пулю в лоб.

— А если он действительно украл? Где у вас доказательства, что продовольствие осталось в Крыму?

— Допрос поручено вести мне, а не вам, — я и задаю вопросы. Каким образом к сторожу пансиона по соседству с Марией Станиславовой попал куль сахара, за который вы, Гуров, лично расписались на складе?

— Откуда у вас такие сведения?

— У морской контрразведки тоже есть свои люди, как вы понимаете...

— Ну-у... мало ли... Конвойный продал по дороге один мешок.

— Ведро наполняется, Гуров. Я залью радиатор и уеду. Но вас я тоже не оставляю красным. Так что, не стоит тянуть. Зачем вы установили слежку за климатической станцией, убрали оттуда Марию Станиславовну с детьми и двое суток вели какие-то таинственные работы в винных погребах?

— Там нет никаких погребов.

— Погреба находятся под домом. Но вход со стороны пансиона — и сторож оттуда потихонечку тащит мешки с казенными печатями. Те самые, которые вы там сложили.

— Ты меня оскорбляешь, Виля, — Гуров улыбнулся, хотя ему было не до смеха. — Я, по-твоему, не только вор, а еще и дурак: украл и закопал, как собака кость, а сам уехал за море. Что ж, я из Турции буду приторговывать этническими харчишками?

Дубцов тоже усмехнулся:

— Наконец-то в вас заговорила логика. Я так и понял — никуда вы не собираетесь уезжать от этих харчишек. Вам и здесь будет неплохо. Потому что вы либо купленный предатель, либо агент ЧК.

Гуров вздрогнул не столько от этих слов, сколько от того, что вода, переполнив ведро, выплеснулась ему на ноги.

— Напрасно надеетесь, — заговорил он, — что, отделившись от меня, вы скроете от ЧК свои собственные дела, господин Дубцов. Там, уверяю вас, известно, что вы белый палач, а не заблудший интеллигент. Достаточно одного фокуса, который вы проделали с болгарским коммунистом Райко Христовым. Эту историю я слышал только вчера из ваших уст. Сам не убил — так отдал французам на растерзание, еще и расписку получил! Иуда взял расписку на 30 серебряников! Так что, еще неизвестно, кто из нас предатель. Время покажет, кто из нас кто, господин Дубцов, кого Россия помянет добрым словом: тех, кто удирает, или тех, кто здесь остается!

Выстрел раскатился и отдался эхом в горах... Стреляли из винтовки. Один, два, три выстрела... С горы катились, дребезжа, телеги с одуревшими от гонки лошадьми. Повозочные, прыгая с телег, сбегали с дороги в кусты. Дышло передней пароконной упряжки ударило прямо в радиатор автомобиля. В облаке известковой пыли проскакал верховой казак.

— Назад! — заорал казак, поравнявшись с автомобилем. — Вороти оглобли, ваши благородия! Партизаны дорогу перерезали. — Он соскочил с коня, стал его расседлывать. — Я с-под Феодосин скачу. Там восстание! Большевики артиллерийские склады рванули, тюрьму взяли, в порт прорвались.

Казак расседлал коня, поцеловал его в ноздри и, взвалив на плечи седло, скрылся в зарослях можжевельника. Выстрелы участились, застучал пулемет, ухнули разрывы гранат...

Мария Станиславовна обходила кровати в палате девочек, собирала градусники и ставила в стакан с розовой сулемой. Стакан с пучком тонких градусников стоял на стеклянном столике, столик дрожал, и градусники звенели.

— Стреляют, — прошептала Олюня, когда Мария Станиславовна подошла к ее кровати, — я боюсь.

— Не бойся, Олюня,— успокоила Мария,— это далеко.

Но это было очень близко. Марья разделила надвое челочку, мешавшую девочке смотреть, и вышла на крыльцо. Бой шел, казалось, совсем рядом, на дороге. Даже в санаторном парке появились какие-то люди, со стороны арки слышался нарастающий топот. «Красные,— подумала Марья.— Это значит, Дубцов уже далеко». Уронив голову на каменные перила, она заплакала. А топот ног в санаторном парке тем временем приближался. Когда она подняла голову и отвела рукой волосы, прилипшие к мокрым щекам,— она увидела в глубине аллеи Дубцова и Гурова... Мундры на них были истерзаны: погоны, шевроны вырваны «с мясом».

— Ничего не спрашивайте,— прохрипел Дубцов.— Спрячьте нас.

СЕСТРА-ХОЗЯЙКА ПРИСТУПАЕТ К РАБОТЕ

Над морем в осенней дымке вставало солнце. Розовые блики заплескали на окнах просыпающегося города. Выйдя из хозяйственного флигелька, где он пристроился на ночлег, Гриша взглянул на море — бесконечная водяная стена отгораживала, казалось, землю от неба. По этой стене еще вчера проползали пароходы. Но сегодня что-то было не так: горизонт был пуст. Дымы броненосцев Антанты уже не подпирали небо.

Гриша перевел взгляд на город. Утренний бриз развернул флажок над мавританской башенкой. Флаг был ярко-алый. «Все,— подумал Гриша,— белым в Крыму делать нечего. Вряд ли остался хоть один. Можно гулять свободно».

Скрип ракушечника в аллее заставил Гришу отпрянуть. Со стороны летней кухни к санаторию шел мужчина в гражданском пальто и шляпе. Гриша не сразу разглядел его лицо, но... манера держаться! «Офицер! И не сухопутный: те будто швабру проглотили, а этот движется вольно, как оперенная парусами мачта при попутном ветре. Дубцов! Не удрал, сволочь! Неужели не понимает, что красным и пять раз его поставить к стенке будет мало?! Не может не понимать.— Гриша стал рассовывать по карманам свое немудреное имущество.— Прощайте, Мария Станиславовна! Видать, и вправду любит вас ваш «Он», если рискнул жизнью — остался с вами...»

— Дядя Гриша!

Гриша обернулся. Со стороны санаторного корпуса к нему бежал Коля. «Его еще не хватало. Попробуй теперь уйти по-английски, не попрощавшись».

— Ну что тебе?

— Что сегодня на завтрак готовить? Совсем ничего нет.

«Спроси у другого дяди,— хотел бы сказать Гриша,— у

Дубцова Вильяма Владимировича». Но сказал он другое: — Что-нибудь придумаем,— и повернул... к ограде пансиона мадам-капитан.

А Коля пошел будить Рая, что-то она сегодня заспалась. Но Рая не спала. Она лежала, уткнувшись лицом в подушку, и наволочка была мокрой от слез.

— С чего бы я ревел,— сказал Коля,— наши уже в городе! Сам видел флаг!

Она как будто не слышала. Коля постоял, постоял и дернул за плечо, стараясь оторвать ее голову от подушки.

— Ну, может, тебя не выгонят. Подумаешь, дедушка статский советник. Он же не офицер, а библиотекарь, с кинжками воевал.

— Не библиотекарь, а ученый библиограф — смотритель университетской библиотеки.

— Ничего,— успокоил Коля,— заработает прощение, если хорошо будет себя вести.

Гриша тем временем дошел до ограды пансиона, ловко, как обезьяна, вскарабкался по решетке вверх, перелез на дерево, пристроился среди ветвей. Перед Гришей, как на ладони, был весь пансион. Господа в осенних пальто, с теплыми кашне на шее гуляли по аллеям. Какой-то дяденька раскачивался в гамаке. Другой, совсем уж дряхлый, возлежал в кресле-качалке, накрытый клетчатым шотландским пледом. Третий... Гриша чуть не свалился с дерева... Третий был однорукий! Филер контрразведки, который возил его, Гришу, на рифы и обратно. «Ротмистра только не хватает до полного комплекта»,— подумал Гриша, и, как по заказу, он увидел, что с веранды пансиона по каменным ступеням спускается Гуров. Гриша даже усомнился: может, не Гуров? Нет, он. В сером демисезоне с бархатным воротником. Без бороды. Морда голая, как колено.

Пока Гриша слезал с дерева на забор, мысль его работала на всех оборотах: «Ясно, откуда у сторожа пансиона оказался мешок с казенных складов. Эта компашка заблаговременно запасалась харчами. Придется поделиться, господа, с детьми. Так будет по-божески». Гриша спрыгнул с забора не в парк санатория, а на хозяйственный двор пансиона и осторожно проткнул дверь флигелька, в котором, должно быть, жил сторож... Жил он, прямо скажем, не по средствам. В его каморке стояли роскошная кровать из орехового дерева и трельяж с разными дамскими цацками: пудренницами, флакончиками для духов, баночками с кремами и румянами.

— Входи,— сказал знакомый боцманский бас.— Чего царапаешься, как кот?

Вместо сторожа во флигельке жила теперь мадам-капитан. Гуровская компания вытеснила ее из собственного дома.

— А-а! Бывший грек, коммерсант-неудачник!

Гриша понял: мадам уже знает, Гуров ей успел объяснить, что здесь отирался Гриша-моторист с «Джалиты» под видом грека.

— А я думал, вы уже уехали! — сказал он с наивным видом.

— Как? Верхом на палочке?

— На метле.

— Он еще острит! А кто обещал меня вывезти? Кто взял золотой портсигар?

— Ну я... Только меня самого взяли ваши, между прочим, знакомые.

Мадам сделала вид, что не расслышала.

— А портсигарчик к тому же ворованный,— добавил Гриша.

Мадам окаменела от такой наглости, но через мгновение ее прорвало:

— Слушай, ты! Отчаливай отсюда! И чтоб до завтра твой поганый след смыло с песка! Когда я воровала? Я брала у Марии вещи и обменивала их на продукты.

— Продукты тоже ворованные. В казенной упаковочке. Но вы не беспокойтесь, я никому не скажу, если вы мне скажете, где у вас склад.

Мадам захлопала глазами, как магазинная кукла, что, кстати, очень шло к ее кукольному личику:

— Какой склад?

— Тот самый, где спрятаны продукты.

— Какие продукты?

— Которые в порт возили с казенных складов. Сахар, мука, галеты, ветчина в банках, беконы, сало, шоколад.

— Шоколада захотел?

— Голод и не к тому приудит.

— Ах, голод! Так бы сразу и сказал. Я женщина жалостливая,— мадам огляделась по сторонам, плотно прикрыла дверь и поаинила к себе Гришу: — Пригнись-ка.

Гриша приблизил ухо к ее губам и от молиноеносного удара головой опрокинулся на пол. Сидя на полу, он размазывал по лицу юшку, а мадам как ни в чем не бывало поправляла прическу.

— Ну, как, молодой человек? Вы удовлетворили ваше любопытство?

— Да! Теперь я кое-что понял: в том припортовом паислоне, где ваш муж-капитан откопал себе супругу, не было вышибалы, вы работали за него.

Острым каблуком высокого ботинка мадам-капитан прицелилась Грише между глаз.

— Вы можете сделать из меня половичок, постелить на

пороге и вытирать ботики,— сказал Гриша,— но я не отвяжусь — я должен кормить детей Марии Стаиславовны!

— Ты?! — мадам удивилась настолько, что даже убрала ногу.— Ну-ну!.. Ты что ей, муж?!

— Сестра!

Мадам отошла на почтительное расстояние и внимательно оглядела Гришу.

— Что он грек, еще можно было поверить. Но что оно — сестра!

Гриша встал с пола, уселся в кресло у трельяжа и, рассматривая себя в трех зеркалах, стал не спеша разъяснять:

— С вами разговаривает сестра-хозяйка советского санатория. На дворе Советская власть! Вы не заметили? А от кого же прячете продовольствие? От какой власти?

Мадам растерялась:

— Братишка! Ты что думаешь — это мой склад? Мне только бросают мешок-другой... за хранение.

— Кто? Кто вам «бросает»?

— Ты что, моей смерти хочешь? Да этот... ну тот... только сегодня меня расстрелять грозил за разглашение. Прибежал, как смерть, бледный. «Из-за вашей неосторожности,— говорит,— Виля заподозрил меня в большевизме!»

— Гуров!

— Почему Гуров? Я сказала Гуров?

— А с чего бы я взял? Брякнули. Язык вас доведет!.. Либо Гуров ликвидирует, либо Дубцов пристрелит, либо красивые поставят к стенке.

Мадам села на свою ореховую кровать, подперла пухлыми ручками кукольные щечки и заговорила плачущим голосом:

— Теперь ты понимаешь, матросик, почему я хотела уехать от них всех. Но ты же сам первый меня обдурил. Хотя не ты последний — союзники тоже. Три военные эскадры обдурили: английская, французская, еще и греческая. Чем я их только не подмазывала! Розовое масло, его наперстками меряют, бидонами таскала! Монастырский жемчуг граненым стаканом, как семечки на базаре, сыпала в карманы боцманов! И что? Миноносцы только хвостиком вильнули и уплыли в синее море! Что же мне теперь, за вероломство союзников у стенки стоять?

— Это все вы расскажете в ЧК.

При слове «ЧК» мадам обмерла.

— Я вам полчаса вбиваю в голову,— продолжал Гриша,— за пособничество контрреволюции и укрывательство народного добра, а также спекуляцию продовольствием никто вас по головке не погладит.

Гриша встал и направился к двери. Мадам немедленно вскочила и перегородила ему дорогу.

— Бодайтесь,— сказал Гриша, втягивая голову в плечи и наклоняясь вперед,— посмотрим, кто кого.

Мадам поглядела на Гришину круглую голову, на загорелый крутой лоб, блестящий, как металлическая болванка, и заплакала.

— Голубчик! Ну не выдавай ты меня, дуру! Ну польстилась на то, на сё, выменивала у Марии вещи на продукты. Так с таких же, как она, грех не брать. Для Марии вещи — это сор. Она их не доставала, они на нее сами сыпались. Ты не поверишь, матросик, выгребает из гардероба горжетки из лис, не рыжих, а красных. Царских! Как будто это портянки! И проедает со своим выводком в один день без единого стоа души. А я бы удавилась! Я же не мадемуазель Забродская, не профессорская дочка. Паисии, где я обучалась, сам знаешь, не институт благородных девиц, даже не ресторан первого разряда. Что мы там проходили? Брать! За все брали: за разбитую посуду, за подбитый глаз...

— Это забыть пора,— сказал Гриша,— вы жена капитана.

— А где он, капитан? Где плавает, в каких морях? Может, и рад бы вернуться, да белые не отпустят и красные вряд ли примут. Нет у меня, матросик, ни капитана, ни корабля! Одна осталась при разбитом корыте.

Грише даже жаль ее стало. Тем более что судьба этого неведомого капитана была на редкость схожа с его собственной судьбой.

— Ну ладно,— согласился Гриша,— в политику я не лезу. Но меня, как бывшего моториста, интересует чисто техинческий вопрос: чем вы глотку смазываете, что у вас кусок не застревает, когда голодные дети смотрят в рот?

Мадам проглотила слезы. Гриша с удивлением следил, как ее глаза высыхали и вновь становились мокрыми. Эти новые слезы, Гриша не сомневался, были самые настоящие, без «туфты».

— Где ты такую бабу видел, чтобы детей не любила? — заговорила она уже не боцманским, а обыкновенным жеиским голосом.— Такая каракатица одна на миллион. Мне бы самой ребеночка... Так бог не дал. Я у Марии Олюню просила, самую махонькую, удочерить. Отказала. Может, еще родители найдутся, говорит. А у меня сердце кровью обливается: детки, как снежиночки, тают... Пусть не даром, за вещи, а все-таки я их кормила в самое трудное время. Это мое оправдание перед богом, что своих не нарожала!

Гриша понял, что пора ковать железо.

— За бога я не ручаюсь,— сказал он важно,— а что касается Советской власти, могу быть свидетелем, что вы добровольно сдаете продукты государственному санаторию.

— Так ведь ключ у Гурова.

— Значит, не договорился.

Гриша решительно открыл дверь и вышел.

Мадам выскочила следом:

— Ну кто же так торгуется? Давай не по-твоему, не по-моему. Есть ход, про который и Гуров не знает.

Мадам подвела Гришу к решетке забора. Там среди бурьяна торчала из земли какая-то широкая труба квадратного сечения, накрытая сверху двускатной крышей наподобие домика.

— Тут винные погреба проходят от пансиона под ваш санаторий: эта труба для вентиляции. Только сюда не то что ты — пацан не пролезет.

Гриша хитро усмехнулся:

— Пацан, которого вы, мадам, выкармливали, пролезет в дырочку от макаронны.

«ПОКА Я ЗДЕСЬ, МАРИЯ В ЧК НЕ ПОБЕЖИТ»

Узкий луч дневного света из вентиляционной трубы прорезал тьму погреба. Сперва в этом луче повисли ноги мальчика, потом он прыгнул, зажег свечу. Огонек осветил лицо Коли, ящики, мешки, бочки, коробки. Тускло поблескивали жестяные банки. Все это громоздилось до потолка и образовало узкий коридор. Некоторые ящики были повреждены (видно, сгружали наспех). В ящиках оказались галеты — очень вкусное солоноватое печенье, шоколад, засушенные и засахаренные фрукты. Коля сразу не видел такого богатства. А в одном из ящиков лежали «фрукты» покрупнее, завернутые в промасленную бумагу. Коля развернул. Гранаты-лимонки. Много ребристых гранат в гнездах. Коля открыл картонную коробочку, похожую на пенал, там были запалы к гранатам.

Вдруг в конце коридора закрепились ржавые петли и образовался узкий прямоугольник света, который постепенно расширялся: открывалась дверь. Коля попятился и приткнулся спиной к пирамиде ящиков. Один чуть не упал ему на голову. Он хотел его с силой отпихнуть и замер. На ящике был нарисован череп и написано: «Динамит!» Вся пирамида состояла из таких же ящиков. Коля дунул на свечку, но погреб уже освещался дневным светом через открытую дверь. Коля поспешил спрятаться за ящиками.

Вошли двое — Гуров и Дубцов в цивильных костюмах.

— Как видишь, Вляя, я неплохо поработал, — сказал Гуров. — Из таких складов мы будем подкармливать наши боевые группы в лесу. Кое-что пустим на черный рынок. Подрыв экономик. Уверен — ты Маркса не читал, пренебрег. Значит,

будешь подрывать экономику динамитом,— Гуров расхохотался.

— Если бы я тебя расстрелял тогда на дороге, как вражеского агента, было бы еще смешней,— сказал Дубцов.

— Ну не мог же я все тебе выложить так, за здорово живешь,— стал объяснять ему Гуров,— мы оставляли склады не для «белого дела» вообще, это слишком расплывчато, а для нашей организации, в которой ты не пожелал бы состоять. Мы, сторонники твердой руки, хотим, чтобы у России был царь похлеще Ивана Грозного,— тогда уж никаких революций. И ради этого святого дела не брезгуем ничем и никем, даже бывшими секретными агентами охранного отделения. Я сам — в прошлом жандарм, «цепной пес» не только для большевиков, но и для розовых интеллигентов, вроде тебя. Вы, поминется, таких, как я, полицейских ищете, а порога не пускали. А теперь вы, спасая шкуры, за границу улепетываете, а мы, кого вы в приличный дом не пускали, остаемся спасать Россию.

Коля слушал, подпирая спиной ящики, готовые в любой момент рухнуть.

— Я хотел бы,— сказал Дубцов,— чтобы меня и в дальнейшем принимали в приличных домах. Ну, на худой конец, оставить о себе добрую память у Марии Стаиславовны. Это семья русского врача, Гуров, здесь всегда судили о человеке по одному, главному, признаку — как он относится к больным. А мы и так подмочили свои репутации. Мы вывозим или прячем продовольствие, а большевики снабжали санатории! Не спрашивая, между прочим, чьих тут лечат детей: офицерских или комиссарских.

— Вот ты и попался на большевистский крючок! — крикнул Гуров так громко, что Коля отшатнулся, и ящики вiovь поехали на него.— Твоя милая интеллигентная Мария Стаиславовна; с ее санаторием, первая ласточка большевистской пропаганды «Курорты трудящимся!». В Монако, на Ривьере, в Ницце нежатся миллионеры, а здесь — немущие классы. Оценил ход? Советы уже национализировали другие лечебные местности России: Кавказские Минеральные Воды, башкирский кумыс. Теперь очередь за Крымом. Вот тут коммунисты и осуществят свои лозунги из зависть трудящимся всего мира: переселят во дворцы богачей обитателей хижин. На мраморных террасах ливадейских дач цесаревичей будет резвиться чумазные дети трущоб, и большевики залечат им язвы прошлого.

Гуров на самой громкой ноте оборвал свою речь.

— Продолжай,— сказал Дубцов.

— Ты знаешь, что я хочу сказать.

— Ты хочешь сказать, большевикам это удастся, если они прокормят свои курорты.

— Ну, разумеется, если смогут прокормить. Мы не для того

вывозили и прятали продовольствие, чтобы кормить золотушных кухаркиных детей!

Дубцов повернулся и пошел к светлеющему прямоугольнику двери.

— Придется обойтись без меня. Я вам не помощник. У меня у самого в детстве были слабые легкие, и профессор Забродский взял меня в свою семью, чтобы выходить. Иначе не видать мне моря, как тебе меня.

Гуров сунул руку в карман.

— Здесь не место убирать свидетелей, Гуров, — сказал, не оборачиваясь, Дубцов. — Тут динамит. Достаточно одного выстрела, и мы взлетим на воздух вместе со складом и санаторием. Я понял, на что ты рассчитываешь, Гуров, — сказал Дубцов. — Пока я здесь, Мария в ЧК не побежит.

— Сообразительный.

— Профессионал. Мне, как и тебе, понятно, Гуров, что заложить склады еще не все. Надо знать, что с ними дальше делать, кому передать. То есть надо дожидаться представителя центра нашей организации, получить у него пароль, явки. Ведь у вас не один такой склад. Это понятно. И само собою разумеется, что человек с инструкциями центра придет не на склад, что было бы idiotизмом, то есть не в пансион, а в санаторий! И если ЧК его здесь засечет, представляю, какой это будет для них подарок!..

— Но ты ведь сам сказал: пока ты в санатории, Мария в ЧК не побежит.

Наступило молчание. У Коля уже не было сил поддерживать спинной ящики, но в такой тишине он боялся пошевелиться...

— Ладно, — сказал Дубцов, — дождусь представителя вашего центра, а потом все равно уйду.

С тяжелым металлическим гудением закрылась за Дубцовым и Гуровым чугунная дверь подвала. Коля поправил ящики и бросился к вентиляционному люку. Наверху его ждал дядя Гриша:

— Что так долго?.. Я уж думал, ты задохся там.

«ТУТ БУДЕМ ЖИТЬ ТОЛЬКО МЫ»

На задворках санатория была вырыта когда-то сливная яма. Санитары сносили туда ведра с помоями, тазы с мыльной водой. Но санитаров давно уже не было, а Коля и Рая, по мнению Марин Станиславовны, были слабы для такой работы, и она это делала сама, пока не появился Гриша. Он возник так же неожиданно, как исчез. Вышел из зарослей засохших табаков, когда Мария тащилась с очередным ведром к сливной яме, взяла ведро из ее рук и сказал:

— Я буду вашим хозяйством заниматься, пока на мое место какого-нибудь комиссара не пришлют.

И с этого момента Мария вновь почувствовала себя женщиной, вернее сказать, барышней. Ведро больше не оттягивали рук.

Но в этот же день, вечером, Мария увидела Раю с большим крапчатым тазом, полным мыльной воды. Помыв малышам ноги, Рая, согнувшись, тащила таз к черному ходу санаторного корпуса. Мария Стаиславовна вырвала у нее таз из рук и сама направилась к сливной яме. Она шла вдоль ограды санатория и вдруг, быстро нагнувшись, поставила таз так, что мыльная вода выплеснулась на землю... Вдоль санаторной ограды к арке ворот пробирался Коля с узелком в руке. Мария Стаиславовна узнала узелок: с этим узелком мальчнка привели в санаторий. Она догнала его, схватила за рукав курточки:

— Объясни, почему ты собрался уходить! — Коля молчал. — На дворе ноябрь, — Мария чуть не плакала, — осень! Дождь, ветер, холод... голод. И так по всей России! Куда ты пойдешь? — Коля старался не смотреть ей в глаза. — Зачем же я тебя лечила, если ты все равно пропадешь?

— Вы до всех добрая, — выдавил из себя Коля.

— А ты хотел, чтобы не до всех?! Чтобы я теперь лечила только тебя, Сергея, Андрюшу, но не Раю, не Витю?!

— Я вам ничего не скажу, мне дядя Гриша не велел.

— Значит, это дядя Гриша тебя наладил из санатория! — Мария решительно зашагала к хозяйственному двору, где, по ее предположению, должен был обретаться Гриша. — Ну я с ним поговорю!

— Не говорите дяде Грише. Он вовсе ни при чем. Он, наоборот, сказал: «Не наше дело, кого здесь прячет Мария Стаиславовна. Мы с тобой не доносчики». Так он сказал.

— Ах, вот оно в чем дело! Ты хочешь донести на Вильяма Владимировича.

Мария увидела, как сузились у Коли зрачки.

— А хоть бы и так! — сказал он зло. — Они только на то и рассчитывают, что все молчат. Я слышал, как этот ваш Вильям Владимирович сказал ротмистру Гурову: «Пока я здесь, Мария в ЧК не побегит».

— Естественно. Мне же не четырнадцать лет, как тебе. Уж я-то могу понять, что донести — это все равно, что убить человека, которого я знаю с детства. Что бы ты сказал, если бы при белых я донесла на тебя? Я же спрятала твою историю болезни от Гурова. А Вильям Владимирович в твоём возрасте тоже лечился в нашем санатории. Донести на него — все равно что расстрелять своей рукой. Ведь его обязательно расстреляют.

— А что вас самих расстреляют, если найдут у вас офицера, вы подумали? — Коля смотрел на нее уже не со злостью, а с жалостью. — А говорите, вам не четырнадцать лет.

— Я не могу убить человека, даже если он целится в меня, — сказала Мария Станиславовна.

— Потому и не можете, что жизни не знаете. — Коля давно подозревал, что докторша никакая не взрослая, а просто большая девочка вроде Рая. — Он же не только целится, он убьет! У меня батяка был никакой не большевик, а просто паровозный машинист с депо Симферополя. Но белые не стали разбираться, большевик не большевик. Локомотив неисправный — на семафоре повесили.

Марин стало как-то вдруг одиноко и холодно.

— Боже... как ты продрог! — Она стала согревать руки мальчонка в своих ладонях. Руки были жесткие, в цыпках: он все делал в санатории и за дворника, и за уборщицу. — Постарайся понять: если одна собака взбесилась, ты же не станешь убивать всех собак. Вильям Владимирович — морской офицер. Он попросту не мог быть там, в Симферополе, он воевал в море.

— Воевал?! — у Коли, как всегда, когда он особенно был взволнован, лицо покрылось красными пятнами. — Ваш Вильям Владимирович палач из контрразведки!

— Он служит в контрразведке?

Ей никогда это не приходило в голову. Никак не могло прийти. Вилия и контрразведка?! Мальчонка просто слышал звон...

— Пусть вам дядя Гриша расскажет, как они с Гуровым его на рифах топили — выдавай товарищей или сиди жди, пока окоченеешь от холода.

— Ложь! — Марин казалось, что она кричит. На самом деле кричала она шепотом. — Между Дубцовым и Гуровым не может быть ничего общего!

— Только склад, — сказал Коля и осекся...

— Какой склад?

— Никакого склада.

— Нет уж, говори до конца. Если ты обвиняешь человека, так уж не будь голословным, изволь свои обвинения доказать!

— Мне дядя Гриша не велел говорить про склад.

— Но ты же уже сказал.

— А вы дяде Грише не скажете?

— Я с детства приучена хранить секреты.

— У них склад в винных погребах. Меня дядя Гриша туда просунул через трубу. Ту, что для воздуха. Чего там только нет: сахар, мука, сыр, масло, галеты, консервы, шоколад. Вот такие плитки! — Коля развел руки, как рыбак, демонстриру-

ющий длину пойманной шуки.— От одного запаха можно в слюнях потонуть. И все они прячут, чтоб заморить голодом большевистские санатории.

— Бред!

— Я это слышал от них, как от вас. Он еще вас ласточкой назвал.

— При Гурове?

— Вы думаете — Вильям Владимирович? Гуров вас ласточкой назвал. Твоя Марня, — говорят, — первая ласточка большевистских курортов. Только пусть большевики теперь спробуют прокормить ее чумазных кухаркиных детей. Это он про меня! — Коля прижал к груди свой узелок. — Так что, прощайте, Марня Станиславовна, никому я на вас с вашим Вильям Владимировичем доносить не собирался. Но жить с ним в одном доме не хочу!

Марня вырвала из его рук узелок:

— Иди сейчас же в палату! Сейчас же! Я тебе обещаю — тут будем жить только мы: ты, я, Рая, Олюня, Сережа, Витя, Андрей, Алеша...

— И дядя Гриша.

— И дядя Гриша! — у Марни сорвался голос. — Оставьте меня в покое! Оставьте все меня!

Коля не стал больше испытывать ее терпение, повернулся и побежал через заросли обратно к санаторному корпусу.

Его узелок остался у Марни в руках.

ИЗ ХРОНИКИ СЕМЬИ ЗАБРОДСКИХ

Марня не могла так ошибиться в Виле. Сколько она помнила себя, столько же она помнила его. Когда Маша и Виля впервые встретились, он был подростком, как Коля, а Маша — как Олюня, совсем еще маленькой девочкой. Его отец был капитаном судна, на котором ее отец, Станислав Казимирович Забродский, плавал когда-то в начале своей карьеры корабельным доктором. Дубцовы вообще потомственные моряки. Дед был участником обороны Севастополя, героем Крымской войны, Виля чуть было не нарушил этой семейной традиции — с детства к нему привязалась болезнь легких. Но крымский воздух и искусство профессора Забродского помогли ему избежать самого страшного — «процесса». Воспитываясь в семье профессора, в доме Забродских, Виля свою болезнь «перерос», и его приняли в морской корпус. Пожалуй, именно Вилию чудесное исцеление натолкнуло Станислава Казимировича на мысль открыть собственный климатический курорт для предупреждения детского туберкулеза.

И этот самый Дубцов прячет продовольствие от больных

детей?! Он, который всегда являлся по первому зову о помощи, откуда бы ни послышался зов. Во время Балканской войны, последней на счету, летом 1913 года лейтенант русского флота Дубцов на свой страх и риск, вопреки воле начальства, доставил в страдающую Болгарию госпитальное оборудование на канонерской лодке. Мария сама слышала об этом от болгарина, болгарского моряка, который недавно, в восемнадцатом году, гостил в их доме вместе с Дубцовым. Кажется, его звали Райко Христов...

Мария поймала себя на слове «гостил». Какие все довоенные слова! Если бы об этом госте пронюхал какой-нибудь Гуров, Виле угодил бы под военно-полевой суд.

Нет, нет, это несовместимо: Виле и Гуров! Но может, она, Мария... попросту говоря, пристрастна. Ведь это его отчеты о плаваниях она вырезала из «Статистических сборников Российского географического общества» и вклеивала в альбом, как институтка стихи. А однажды она прочитала в тех «Сборниках», что за заслуги перед географической наукой лейтенант Дубцов награжден медалью Семенова-Тянь-Шанского. Она гордилась этой его медалью больше, чем его же крестом и кортиком на анинской ленте, полученными за храбрость в войне 1914 года.

Да! Конечно, ей трудно судить о Виле беспристрастно... Но папа! Когда папе надо было посоветоваться со своей совестью, он звал Вилю. Так было, когда папу назначили генерал-инспектором санитарной службы флота. При первой же инспекции он обнаружил не только антисанитарные, но и вообще нечеловеческие условия содержания военных моряков. Гнилая червивая пища, кишашие паразитами кубрики и гальюны, издевательства над матросами и мордобой. Папа рассказывал, как он подал тогда протест морскому министру Григоровичу и как его протест пошел гулять по канцеляриям. И тогда генерал решил посоветоваться... с лейтенантом. Он заперся в своем домашнем кабинете с Вилей Дубцовым. Мария не могла слышать, о чем они там говорили. Она знает только одно: это Виле сказал папе, что Григорович намеренно маринует его протест. Ведь матросы и сами жалуются. Признать правоту профессора Забродского — значит, признать, что требования матросов справедливы. Этого министр не сделает никогда, сказал Виле, и папа на Вилю накричал. Он кричал, что дойдет до самого царя — и справедливость восторжествует! Но очень скоро папе пришлось убедиться, что Виле был прав. Царская охранка как раз в это время готовила грандиозную расправу над матросами всего Черноморского флота. Провокаторы из меньшевиков и эсеров донесли, что готовится вооруженное восстание на кораблях «Иоанн Златоуст», «Синоп», «Три святителя», «Евстафий», «Пантелеймон», «Кагул», «Память Мер-

курня». Сто сорок три матроса были схвачены и преданы военно-полевому суду. По приказу царя коллегию военно-полевого суда возглавил морской министр Григорович. Тот самый, кто так безбожно мариновал протест Забродского. Пока профессор писал протесты, царь и его министр готовили физическую расправу. Забродский протестовал против мордобоя, а коллегия военного суда приговорила 17 моряков к смертной казни, остальных ожидала каторга...

Утром 24 ноября 1912 года лейтенант Дубцов пришел на квартиру генерала Забродского в Севастополе, и они снова заперлись в кабинете.

— Сегодня ночью, — сказал Виля, — приговор приведен в исполнение. Матросы расстреляны и зарыты на мысу близ Херсонесского маяка. В одного из них, большевика Лозинского, солдаты отказались стрелять. Капитан Путинцев, который командовал расстрелом, застрелил его собственноручно.

В этот же день генерал-инспектор санитарной службы флота профессор Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии Забродский подал в отставку и никогда больше не надевал военный мундир.

А Виля?.. Виля его подвел. Сам он не ушел из военного флота, хотя мог бы заниматься наукой, плавая на гражданских судах.

«Да-а... Вот тогда, наверно, началось падение Вили Дубцова, — подумала Мария. — Виля не подвел папу, а предал... Но папа, с его прекраснодушием, не понял этого и не осудил».

«Если такие, как Виля, уйдут из флота, — говорил он, — кто будет защищать Россию на морях? Царь? Министр Григорович? Или палач Путинцев?»

И вот, оказывается, Виля, как тот Путинцев — палач!

«ВЫ ДОЛЖНЫ МНЕ ВЕРИТЬ СЛЕПО»

Дубцов брился в мезонине, в небольшой комнатухе с покатым потолком. Он был в брюках профессора Забродского и в своей белой рубашке с твердыми манжетами. Пиджак от папиного костюма, единственного не выменянного Марией на еду, висел на спинке стула.

Мария по винтовой лестнице взбежала вверх:

— Уезжайте! Я прошу вас! Я так хочу!

— Раньше вы не хотели, чтоб я уезжал.

— Я молила бога, чтобы вы успели уехать.

Дубцов улыбнулся:

— Кажется, я уловил вашу логику. Все, что вы говорите, следует читать наоборот.

— Все! Все в жизни следует читать наоборот! Это даже мальчик знает, Коля, в свои четырнадцать лет! — Мария почти кричала, прижимая к груди Колин узелок с вещами. — Вас в первую очередь следует читать наоборот! Почему вы мне не сказали, что служите в контрразведке?

Лицо Дубцова стало до безжизненности серьезным:

— Я имел честь вам заметить, Мария Станиславовна, что выполняю свой долг. Вам это, помнится, не понравилось.

— Еще бы! Если это долг палача!

— Вы прекрасно знаете, что я не палач. Хотя был один случай, когда мне приказали расстрелять человека, но...

— Вы говорите о болгарине?..

— Вы знаете, о ком я говорю. Не стоит повторять. Я не уверен, что нас не подслушивают.

— Здесь некому подслушивать!

— А кто вам сказал, что я служил в контрразведке?

Мария только сейчас заметила, что так и пришла сюда с Колиным узелком.

— Коля в погребе слышал ваши разговоры с Гуровым. Мы с детьми взвешиваем крохи на аптекарских весах, а вы с Гуровым сидите в подполье на мешках с сахаром, как собаки на сене! Как вы могли?! Как могли вы, Вильям Владимирович, выбрать такой бесцельный вид оружия в борьбе с большевиками: «...морить голодом кухаркиных детей!» Стыдно, Вильям Владимирович! Стыдно воевать с большими детьми. У этих детей есть свой враг, понимаете? Страшнее всех ваших бронированных дредноутов! Могу вам его показать в микроскоп. Против этого врага здесь одна женщина. Я!.. Я их сберегла до конца войны... двоих схоронила... А вы! Здоровые взрослые мужчины... Уходите! Я вас не люблю!

— Я вас тоже люблю.

Мария замерла, прижавшись к стеклу окна, как застygнутая взглядом божья коровка. Она боялась посмотреть на Дубцова. А вдруг он ничего этого не говорил? Ей показалось? Или, наоборот, он сказал это. Что тогда?..

Заскрипели доски пола. Мария вытянула вперед руки, отгораживаясь от приближающегося Дубцова Колиным злощастным узелком, как вдруг луч солнца стрельнул сквозь оконное стекло — и в манжетах старшего лейтенанта вспыхнули рубиновые якорьки.

— Как? У вас снова эти запонки?! Значит, болгарин здесь? Он вернулся?!

— Этот человек никогда не вернется. Море не возвращает...

— А кто же вам вернул запонки?

Нет, это уж никак не укладывалось в голову. Дубцов тогда, когда прятал болгарина, передел его в свой костюм, рубаху,

отдал ему запонки с якорьками — подарок отца... Не мог же он потом его расстрелять и вернуть себе запонки!..

Дубцов надел пиджак и рубиновые огоньки погасли.

— Вы должны мне верить слепо, — сказал он тоном, отсекающим любые возражения. — Слепо! Не думая! Не спрашивая ничего! — Он вынул из кармана брюк браунинг, проверил обойму, заглянул в ствол патрон, сдвинул предохранитель, переложил браунинг в карман пиджака. — Другого выхода у нас с вами нет. Если себя не жалеете, пожалейте Колю, ему этого подслушивания не простят.

«СВЯЗАЛСЯ ЧЕРТ С МЛАДЕНЦЕМ»

Гриша в белом халате и докторской шапочке вошел в столовую суп. Облачко пара с запахом лаврового листа вознеслось к потолку, к дырке, сквозь которую росло дерево, стоящее посреди столовой в кадке. Все дети дружно слюнули слюнки.

— Ополоник, — скомаидовал Гриша и протянул к Коле руку за половником.

Коля даже не посмотрел в Гришину сторону. Упорно пряча взгляд, он бессмысленно переставлял хлебницу: то на край стола, то на середину.

— Нашкодил? Ну, признавайся — нашкодил?

Коля рванулся, выскочил из столовой. Гриша догнал. Взглянул Коле прямо в глаза.

— Сказал? По глазам вижу, что рассказал докторше. А она ему скажет, Дубцову!

— Ну и пусть скажет! Пусть он катится отсюда колбасой!

Гриша сорвал с себя докторскую шапочку и стал ее топтать:

— Что я наделал?! Что натворил?! Связался черт с младенцем!

Не снимая халата, бросился в дом к Марии.

— Вы уже передали Дубцову то, что вам Коля рассказал? Мария кивнула — она абсолютно не умела лгать.

— Я должен был сам вас предупредить. Так нет же, гордость не позволила, не дай господь, вы подумаете, что я клепаю на вашего Вильяма Владимировича, потому что он — это «Он». Что теперь будет, вы понимаете? Вы ему сказали, он Гурову скажет, а у Гурова целая банда прячется в пайсоне мадам-капитан.

— Вильям Владимирович сам просил никому не говорить.

— Просил? Еще бы он не просил! Да если вы раззвоните, их завтра же к стенке прислонят в ЧК. Это же террористы. Их на фронтах разбили — они ушли в подполье, объявили белый

террор. Вы думаете, там только продукты, на этом складе? Как бы не так — динамит и гранаты! И они потерпят, чтобы ЧК это все накрыла? Первое, что они сделают, — поубивают свидетелей! Себя не жалеете, хотя бы о Коле подумали. Да он его просто придавит, как жучка в аллейке, ваш Вильям Владимирович!

— Подите прочь!

Мария протянула руку в сторону двери. Глаза у нее были круглые и совершенно неподвижные.

Гриша пробкой выскочил в коридор, швырнул скомканный халат в открытую дверь амбулатории и, выбежав из корпуса, зашагал напрямик к арке ворот... но вовремя вспомнил, что Дубцов может его увидеть из окна мезонина, и нырнул в кусты...

Прячась за кустами, Гриша добежал до ограды санатория, перелез через нее и спрыгнул в заросли можжевельника.

Тут его кто-то поймал за ногу:

— Далеко собрался?

— Это вы, господин Гарбузенко?

— Что за привычка спрашивать, когда надо отвечать? Гражданская война кончилась, я лег себе под заборчиком отдыхать, а ты на меня сверху падаешь. Что? Ворота забыли проделать в заборе?

— Ну... я... чтоб офицер не увидел. Подумает — бегу доносить...

— А ты разве не доносишь?

— Не-а... Только в лавочку за табачком.

— А кто курит? Ты — нет. Мария Станиславовна?

— Ну, офицер же.

— И ты по секрету от него бегаешь ему же за табачком?

Гарбузенко постукал себя по животу костяшками пальцев: звук был такой, будто он стучит в дверь.

— Что у вас там?

— Гроб с музыкой, — распахнув бушлат, Гарбузенко показал маузер в деревянной кобуре. — Ну! Будем говорить... или слушать музыку?

— В город шел, в этот... красный ревком.

— Ну я — ревком. Слухаю вас.

Гриша даже не удивился. Наоборот, только теперь все стало на свои места. Значит, человек, с которым он плыл на «Джалите», действительно не был греком Михалокопулосом, это был болгарский коммунист Райко Христов, и запонки с якорьками, которые он перед смертью успел передать Грише, послужили паролем для Гарбузенко, который тоже не контрабандист, не налетчик, а возглавляет здешний подпольный ревком.

Гриша затарахтел, как пулемет:

— Коля доведется, что офицеры тут прячут продукты,

а докторша брякнула Дубцову. Они их убьют. И пацана и докторшу!

Гарбузенко посмотрел на Гришу так, как будто перед ним был несмышлениш, который опрокинул банку с вареньем и прилип к табуретке.

— А для чего я тут сижу? По-твоему, я к этому забору приставлен, чтоб его подпирать? (Гриша не знал, что на это ответить.) Ну чего глазами блымаешь? Никто никого не убьет. Стрелять в санатории запрещено строжайшим образом. Там же дети!

Гарбузенко сложил табуреточкой руки, чтобы подсадить Гришу обратно на забор. Но Гриша не спешил ею воспользоваться:

— Обратно я не пойду. Меня докторша выгнала...

— Я тебе не пойду! И что значит — выгнала? А кто будет пацанву кормить? Наши товарищи говорят — невозможно улежать в секрете, так смачно пахнет от твоей кухни.

Грише понравился такой разговор.

«Теперь или никогда», — подумал он и начал издаലെка:

— Господни!.. Пardon, сорвалось... товарищ Гарбузенко! Если вы правда ревком...

Гарбузенко положил руку на маузер:

— Вам предъявлен мандат.

— Еще раз pardon! Просьба к вам, извините, конечно, за нахальство. Дело в том, что у меня там в заграницах, за неимением другой работы, талант открылся до коммерции.

— У нас за такие таланты показывают небо в клеточку.

— Жаль. Тут как-то... ну, родным, что ли, пахнет. Даже от вашего маузера, товарищ Гарбузенко, теплом тянет, как от печки в деревне. А там... там даже коммерция не по мне, скучная какая-то, все под себя гребут. Здесь я хоть пацанят накормил супчиком, а там что? Сам нажрался — и на бок?

— Короче! Чего ты хочешь?

— Можно, я останусь сестрой-хозяйкой?

— Да хоть тетей, — согласился Гарбузенко и вновь подставил Грише скамеечку из рук. — Лезь домой и сиди там тихо, не рыпайся — вот и вся резолюция.

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ЛИЦ

У крыльца санатория остановилась пролетка. Лошадьми правил красноармеец в остроконечном шлеме. С пролетки сошел человек в длинной кавалерийской шинели с «разговорами» — нашивками малинового сукна поперек груди — и в фуражке с красной звездой. На тонком ремешке, переброшенном через

плечо, висела кобура с наганом. Вбежав на крыльцо, приезжий снял фуражку, и на плечи шишел хлынула волна блестящих черных волос. Военный оказался женщиной.

Дети, окружив пролетку, смотрели, как красноармеец-повозочный оглаживает разгоряченных лошадей.

— Ведерко будет? — спросил он ребятишек. — Коней напоить.

— Будет, если сестра-хозяйка разрешит, — сказала Олюня.

— А что, вредная тетка? — спросил красноармеец.

Все засмеялись. Олюня побежала за ведром, остальные, как по команде, повернулись к веранде. С крыльца спускалась Мария Станиславовна в сопровождении приехавшей «комиссарши», как ее окрестили все.

— Я вас не понимаю, гражданка Забродская, — говорила она Марии Станиславовне, — отказываюсь понимать. Я представитель продовольственного и медицинского отдела Крымревкома. Надеюсь, у вас не вызывает сомнений мой мандат? Вот... «выдан товарищ Тихомировой...»

— Зачем мне мандат? Я вам верю. Но сейчас не так-то просто поднять истории болезни. Я всю регистрацию спрятала под старой рухлядью. Контрразведка интересовалась.

— То была белая контрразведка. Они не собирались кормить ваших больных. А мы для снабжения санатория продовольствием должны определить, сколько детей здесь будет завтра.

— Надеюсь, столько, сколько сегодня.

— Это решать будем мы.

У Марии Станиславовны задрожали губы.

— Подождите, — сказала она, — я попробую отыскать истории болезней.

Она вернулась в дом, а к Тихомировой подошел Сережа — основательный десятилетний человек:

— У вас звезда настоящая?

— А какая же?

— И у меня такая. Батяня подарил. А они говорят, не настоящая.

Тихомирова надела ему на голову свою фуражку:

— Герой!

Фуражка накрыла героя до подбородка. Вокруг захохотали.

Сережа сбросил фуражку. Она упала. Тихомирова подняла, отряхнула и пошла по парку, разглядывая клумбы, статун, вазы на постаментах...

Тем временем Мария добралась до винтовой лестницы, ведущей в мезонин. Именно там, под полом мезонина, была спрятана ее канцелярия...

Но что она скажет Дубцову? Ведь Гуров оказался прав в своих предсказаниях: новые власти намерены сами опреде-

лять, кого из детей они оставят в санатории, а кого...

Мария остановилась — Дубцова не было. Комнатушка с покатым потолком оказалась пустой, на подоконнике лежало брошенное полотенце. Вопреки своей хвальной флотской аккуратности, Виля не повесил его на крючок. Спешил. Люди с красными звездами его спугнули. Кусая губы, чтобы не заплакаться, Мария стала поднимать «хитрые» доски пола. Те самые, которые полупьяный плотник забыл прибить при ремонте дачи. Мария еще в детстве устроила здесь свой тайник. Прятала, чтоб над ней не смеялись, дневники, потом кое-какие письма, вырезки из статей Дубцова в сборниках географического общества... И вот теперь — истории болезни, где написано не только кто чем болен, но и кто чей сын, чья дочь...

Доставая из-под пола запылившиеся папки, Мария перепачкалась, а увидев в зеркале умывальника свое лицо, покрасневшее, со вспухшими, искусанными губами, заплаканными глазами, расстроилась еще больше. Предстать перед этой Тихомировой в таком жалком виде? Никогда! Мария быстро ополоснула лицо под умывальником, вытерла полотенцем, которое валялось на подоконнике, и по привычке повесила полотенце на место, возле умывальника...

За оградой санаторного парка на высоком дереве «гнездили» матрос с биноклем. В бинокль он видел окошко мезонина.

— Ложная тревога, товарищ Гарбузенко, — крикнул матрос, — он убрал полотенецко!..

Мария вышла из дому. Тихомирова у крыльца не было, и Мария пошла ее искать. Ей не терпелось сказать все сейчас же.

Если они сами решают, кто нуждается в лечении, пусть и лечат они сами! Она отдаст «комиссарше» папки с рентгеновскими снимками, температурными графиками, со всеми записями — свидетельствами непрерывной и почти безнадежной войны профессора Забродского и его дочери против палочки Коха, а сама уйдет. Куда ей идти? Об этом Мария не думала. Как только Тихомирова укатит со своим красноармейцем на облучке, вновь появится Виля, и если она не ослышалась — он правда ее любит, то...

В конце аллеи санаторного парка в увитой граммофончиками беседке сидели и мирно беседовали Тихомирова и Дубцов.

Мария развернулась и, крестясь на стоптанных каблучках, пошла обратно к дому.

ПЕРЕМЕНА ДЕКОРАЦИИ

Красноармеец-повозочный, который привез в санаторий Тихомирову, уже успел набрать воды для лошадей (вода вытекала из пасти каменного льва в глубине парка), но почему-то не понес к лошадям, а пошел с ведром кружным путем, вдоль забора пансионата. Вода то и дело выплескивалась из ведра, оставляя на ракушечнике дорожки влажные пятна.

Дойдя до места, где забор был пониже и одно из деревьев чуть ли не ложилось на забор, красноармеец поставил ведро, вскарабкался по веткам дерева на забор и спрыгнул с другой стороны. В саду пансионата было тихо и влажно, пахло опавшим листом, господа в осенних пальто, с теплыми кашне на шее гуляли по аллеям и раскачивались в гамаках, как будто не было ни революции, ни гражданской войны. Самый дряхлый больной возлежал в кресле-качалке, накрытый клетчатым шотландским пледом. При виде красноармейца он и ухом не повел.

Из-за зеленой изгороди появился однорукий.

— Крымский воздух целителей, не правда ли? — произнес красноармеец фразу, которую ни один повозочный, или, как их называли, ездовой, не выговорил бы ни за какие шиши.

— Да, — ответил ему однорукий, — но в груди теснит.

С крыльца сошел Гуров:

— Поручик Ружицкий, вы с ума сошли! Кто разрешил являться в пансион?!

— Нужда привела, — отвечал «красноармеец», он же поручик, — надо срочно менять дислокацию.

— Почему?

— Потому что вы поспешили удрать из города, господин ротмистр.

— Не понимаю ваших намеков. Что же мне, большевиков дожидаться? — Гуров снял шляпу, вытер платком взмокший лоб. — Я воспользовался случаем, у старшего лейтенанта Дубцова был автомобиль.

— То-то, что у Дубцова! Только вы изволили испариться, как пришел ответ из заграничного центра на ваш запрос о Дубцове. Ему действительно два года назад было поручено сдать французским экспедиционным властям коммуниста, болгарина Райко Христова, и он действительно вернулся с распиской, что Христов расстрелян в их плавучей тюрьме.

— Почему же такая паника?

— Потому что расписка — липа. Французы в глаза не видели ни Дубцова, ни Христова. Как выяснилось, Дубцов был знаком с болгаринном еще с Балканской войны тринадцатого года, и он его где-то прятал, пока французы не убрались восвояси вместе со своей тюрьмой.

Гуров со шляпой в руках превратился в подобие манекена из магазина готового платья.

— Вы... вы... — наконец с трудом выдавил он из себя. — Вы, Ружицкий, не понимаете, что принесли! Это значит, что Дубцов еще в восемнадцатом году работал на красных. Конечно, он не сдал болгарна французам. Теперь я даже могу сказать, где он его прятал! Здесь! В санатории! Спросите у мадам-капитан. Дубцов гостил у Забродских как раз в это время. С приятелем! Все ясно! Он передел его в штатское... Даже свои запоики ему отдал с якорьками... и переправил в Турцию, где Христов превратился в Михалокопулоса!..

— Как же так?.. — Ружицкий посмотрел на Гурова с нескрываемым презрением. — Как Дубцову удалось обвести во круг пальца такого травленого волка, как вы?

— Он сыграл ва-банк! Сам арестовал Гарбузенко. У меня бы он не сошел за уголовника.

— И тем не менее.

— У Дубцова есть одна вредная... для нас... привычка: говорить только правду. И статейку он мне показал настоящую об ограблении красного гохрана в Новороссийске неким Гарбузом, сбежавшим на греческой контрабандистской лайбе, и фотографию, где на нем, на Дубцове, эти самые запонки. Только между газеткой и фотографией, как я теперь понимаю, связи нет никакой вообще. Грек-контрабандист имеет к болгарину Райко Христову такое же отношение, как налетчик Гарбуз к большевику Гарбузенко. Райко Христов — вот кто под видом грека вез на «Джалите» сведения, что «Спиноза» пришел из Крыма в Константинополь без продовольствия!

— Но Христов не довез: погиб в бора, — подсказал одно-рукий.

— Сам не довез, но передел греком моториста Гришу и дал ему запонки Дубцова, чтоб явок не открывать. Гриша-то не большевик, зачем ему много знать? Большевики и так бы вышли на Гришу: они ведь ждали грека при запоиках с якорьками.

Гуров оглядел присутствующих: кажется, не только он, они тоже начали кое-что понимать.

— Ну, а дальше — как по нотам, — продолжал он. — Гарбузенко побывал на «Джалите», мы его чуть не засекли там. От Гриши он получил фляжку с письмом капитана «Спинозы», передал ее Дубцову, — короче, выложил Виле все, что узнал от Гриши, да и Мария добавила, — вот Дубцов и вырулил на наш склад.

— Дубцов знает о складе?! — переспросил Ружицкий. — И вы еще спрашиваете, почему паника?

Гуров понял, что окончательно теряет авторитет: «больные» вот-вот начнут разбегаться.

— Не беспокойтесь обо мне, Ружицкий,— сказал он, поглядывая на других.— Дубцова я могу нейтрализовать хоть сейчас: он рядом... в санатории.

— Где?..— Ружицкий не поверил своим ушам.— В санатории? Нет! Вы, наверно, шутите, Гуров. В санатории сейчас представитель центра!

Гуров уже больше не держался за свой авторитет. Хотя бы голову спасти:

— Это провал! Не исключено, что мы блокированы! Виталий Викентьевич,— взгляд Гурова остановился на «дряхлом»,— настала ваша очередь действовать.

— Слушаюсь!

— Остальным уходить. А вы, Ружицкий, и ты,— Гуров обернулся к однорукому,— со мной в санаторий!... Ну, если Вилия и на этот раз вывернется, я съем эту шляпу!

Гуров потряс шляпой и нахлобучил ее на голову по самые уши...

А Гриша, так и не дождавшись ведра, которое Олюня отнесла красноармейцу-повозочному, пошел к источнику с бидоном для молока. Дойдя до каменного льва, Гриша увидел на дорожке следы воды, выплеснувшейся из ведра. Следы показывали направление, в котором шел человек с ведром. Гриша пошел в этом направлении.

Ведро стояло у ограды пансионата. Красноармеец, вне всякого сомнения, перелез через забор в пансион мадам-капитан...

Гриша, не раздумывая ни минуты, побежал вдоль ограды санатория к тому месту, где только вчера разговаривал с Гарбузенко.

Из зарослей можжевельника ему навстречу выскочила Веста.

— Привет,— обрадовался Гриша,— где хозяин?

Веста беззвучно ощерилась.

— Я свой,— заверил ее Гриша,— Гриша я, мне твой хозяин нужен. Товарищ Гарбузенко. Только два слова... полслова сказать.

Из-за дерева вышел Гарбузенко:

— Ну чего ты до собаки прицепывся? Ей приказано: с посторонними в разговоры не вступать.

Гриша рассказал про «красноармейца». Гарбузенко — как подменили:

— Тревога, хлопцы! — Из-за кустов высыпали вооруженные люди. Среди них был и буфетчик из кафе, и фабричные парни с «гочкисом». — Не дай бог, опоздаем, не дай бог!

ИЗ ДВУХ ДУБЦОВЫХ ОСТАЛСЯ ОДИН

Гуров, Ружицкий и однорукый пробежалн через хозяйственный двор пансона н, отогнув неприваренный прут ограды, пролезли в санаторный парк.

— Вы, Ружицкий, обойдите вокруг климатической станции — нет ли засады. Это вполне вероятно. Мы же, черт возьми, выпустили механика Гарбузенко, — сказал Гуров.

— Не мы, а вы.

— Выполняйте, поручик!

Ружицкий, пригибаясь, побежал через парк. Ему вовсе не улыбалось напоротся на засаду. Нет уж! Скорей к лошадям — н подальше от этого гнблого места!..

В беседке, увитой граммофончиками, Тихомирова спешнла закончить свой разговор с Дубцовым.

— У нас мало времени, господин Дубцов. Пока врач копается в историях болезни, я должна передать вам инструкции. Людям, которые будут приходить из лесу, передадите оружие н взрывчатку. Продовольствие тоже должно рассосаться по воровским притонам н спекулянтским тайникам. Голод н террор вызовут панику н спекулянтский бум, приучат население к мысли, что большевики не способны управлять страной. Вот тогда-то мы н выступим открыто.

— А пароли для людей, которые придут из леса? — спросил Дубцов.

— Те же, что н для нас: «Крымский воздух целителен, не правда ли?» — «Да. Но в груди теснит».

Больше говорить было не о чем, Тихомирова встала.

«Где же Гарбузенко? — встревожился Дубцов. — Я же оставил полотенце!»

Надо было потянуть время.

— Пароли, несомненно, вашего сочинения, — улыбнулся он. — Только дама могла додуматься.

— А я н есть дама. Хотя держала призы за выездку н стрельбу.

— Да-да! Я о вас в «Ниве» читал. «Дама-амазонка». Ходили слухи, что вы переодетый мужчина. Теперь бы я этого не сказал.

Послышался шелест опавших листьев, шум раздвигаемых кустов, быстрые шаги.

«Наконец-то!» — обрадовался Дубцов.

Но это был не Гарбузенко. За клумбами среди засохших табачков мелькнули фигуры Гурова н однорукого... Как-то вдруг опустело в груди — это всегда бывало с Дубцовым в минуты смертельной опасности. Что делать, если они при Тихомировой начнут выяснять с ним отношения?

— Уходите, — быстро сказал Дубцов, — мне не нравятся эти люди. Я их возьму на себя.

Он встал и вышел из беседки на дорожку, навстречу Гурову и одиорукому. А Тихомирова — она оказалась не из трусливых — решила прикрыть Дубцова и, скрываясь за граммофончиками, стала заходить в спину приближающимся людям, на ходу вынимая наган из кобуры. Одиорукий и Гуров одновременно выхватили оружие, бросились к Дубцову:

— Попался, сволочь!..

За их спинами Вильям Владимирович увидел Тихомирову с наганом.

— Чекисты! — крикнул он ей.

Тихомирова четко, как в тире, дважды выстрелила с руки: одиорукий упал ничком к ногам Дубцова, Гуров опрокинулся на спину, его шляпа откатилась к Тихомировой. Тихомирова отшвыриула шляпу ногой и побежала через парк к своей пролетке. Пролетка уже была видна в конце аллеи, но Тихомирова резко замедлила бег. Она увидела, что Ружицкий стоит с поднятыми руками и вооруженные люди вынимают из карманов его шинели гранаты. Тихомирова пристроила наган в сгибе руки и постаралась успокоить дыхание, чтобы стрелять наверняка: по патрону на человека... Вдруг что-то огненное и живое метнулось ей под ноги.

— Ой! — Тихомирова взвизгнула, как и полагается женщине. — Собака!

Это была Веста...

Выстрелить в собаку Тихомирова не успела. Дубцов догнал и стал выворачивать наган из ее рук. Тихомирова впилась зубами в руку Дубцова. Подбежавший Гарбузенко с трудом оттащил ее от Вильяма Владимировича.

— Ну что вы цапаетесь? — укорял он ее при этом. — Вы же культурная женщина. Берите пример с собаки. Она вас цапала? Нет. И между прочим, не стреляла в санатории.

— Ей простительно, — вступился за Тихомирову Дубцов, — она убила двух злейших врагов Советской власти.

Тихомирова забилась в истерику, пытаясь плюнуть в лицо Дубцову.

— Плюете вы не так метко, как стреляете, — сказал Дубцов и, пожав руку Гарбузенко, направился к крыльцу санатория.

Он не успел остыть, но уже понимал, что каждый шаг отдаляет его от прошлого, где было два Дубцова: Дубцов — царский офицер и Дубцов — большевик-подпольщик, Дубцов — офицер белой контрразведки и Дубцов — разведчик Красной Армии, — а теперь остается один Дубцов, которого ждет мирное море, географические исследования и вот эта испуганная Маша на крыльце санатория...

Мария придерживала спиной дверь, чтобы дети не высыпали

на крыльцо. Ведь в парке санатория шла война, два раза даже стреляли. Папки с историями болезни она по-прежнему держала в руках, не зная, кто же теперь представитель новой власти,— Тихомирову арестовали при ней.

Дети во всем этом разобрались раньше Марии Станиславовны: Гриша растолковал Коле, Коля — Рае, а уж Рая всем остальным.

Выходило, что главным большевистским комиссаром оказался Дубцов!..

Но все эти вопросы мною выветрились из головы Марии, когда Дубцов взбежал к ней на крыльцо.

— Это не в вас стреляли, Виля? — только и спросила она.— Поклянитесь, что не в вас!

Дубцов засмеялся:

— Как видите, не в меня. Успокойтесь и выпустите детей. Все уже позади. Мне осталось выполнить только одно поручение. Печальное, к сожалению. Но зато последнее. Последнее! — повторил он и побежал в сторону пансиона.— Я сейчас же вернусь!

ПОСЛЕДНЕЕ ПОРУЧЕНИЕ

Во дворе пансиона стоял автомобиль, на котором раньше ездил Дубцов, и зеленый грузовик. В кузов грузовика под прицелом «гочкнса» бодро прыгали все «больные». Рядом рыдала мадам-капитан.

— Я их жалела, думала — больные люди.

— Вылечим,— заверял ее Гарбузенко,— раз и навсегда. После нашего лечения их ни одна хвороба не возьмет.

Грузовик с арестованными выруливал к воротам, и Гарбузенко усаживался в автомобиль, когда в пансионе появился Дубцов.

— Вильям Владимирович! — обрадовался ему Гарбузенко.— Хорошо, что вы пришли. Портфельчик заберите свой... тот, что в машине оставили,— он протянул Дубцову его лакированный портфель.— Кстати, газетку, если не жалко, подарите мне. На память.

— Какую газетку?

— Где пишется про ограбление гохрана в Новороссийске. Вы еще Гурову давали почитать.

— Но вы же к тому Гарбузу не имеете никакого отношения. Гарбузенко обиделся:

— Як це не нмею? А кто ликвидировал ту банду?!

Дубцов вынул из портфеля газету и молча отдал Гарбузенко. Он не был расположен шутить. Разговор, который ему предстоял, был не из веселых.

В гостиной пансиона среди испорченных кресел и выпотрошенных во время обыска диванов сидела мадам-капитан. «Перевоплощение» Дубцова ее нисколько не удивило. После предварительного допроса она поняла, что у красных здесь был свой.

— Значит, теперь вы меня будете допрашивать? — спросила она, когда Дубцов вошел в гостиную.

— Нет. Это дело личное, Настасья Петровна. К сожалению, не могу больше скрывать.

Дубцов достал из кармана пальто медную флягу-манерку, которую Райко Христов вез из Константинополя на «Джалите», отвинтил крышку и вынул свернутое трубочкой предсмертное письмо капитана «Спинозы» к жене:

«Мил-я Настенька!»

Настасья Петровна читала, и ее глаза наполнялись слезами.

«Не вини ты меня, ради бога! Вини их. Ты знаешь, кого...»

— Ва-а-сень-ка-а-а!.. — Она обхватила руками голову. — Я же сама тебя убила, родненький, своей рукой!..

Дубцов налил ей воды из остывшего самовара, но она не заметила протянутой ей чашки — перед глазами то расплывались, то прояснялись строчки письма:

«...Впутали в бесчестное дело: принуждали вывозить из Крыма продовольствие... А в России дети пухнут с голоду... продовольствия... на борту не оказалось... не докажешь, что ты не украл...»

Она схватила руку Дубцова, державшую чашку с водой:

— Вильям Владимирович! Вы же его знали... Васеньку. То был святой человек. Другой на меня не захотел бы и плюнуть, а он в порту подобрал и всю жизнь на меня молился... Солнышко!.. Он бы меня простил. Я же не знала, что за продукты тут прячет Гуров, Васенька! — Она вновь забилась в рыданиях, будто стараясь докричаться до своего капитана, зарытого на православном кладбище в турецком городе. — Я ж для тебя старалась, меняла продукты на золото. Нам же на чужбине предстояло жи-и-ть!

«...Единственный, кто нас рассудит, — это тот никелированный револьвер, который я тебе, Настенька, не велел трогать... Он нас с тобой, родненькая, разлучит. Теперь уж навсегда...»

Дубцов слишком хорошо знал, как судят револьверы. Он ничем не мог помочь этой женщине. Только поставил чашку с водой на стол перед ней и пошел к выходу...

Мадам вскочила:

— Постойте! — она, оттолкнув кресло, шагнула к Дубцову. — Меня бог наказал и еще больше накажет, Вильям Владимирович, если я сейчас промолчу! Они продукты, что спрятали, детишкам не оставят, они завалят погреб!

Дубцов так и замер на пороге:

— Говорите!

— Английский фугас заложен, корабельный, для взрыва крюйт-камер... с часовым механизмом. Виталий Вкентьевич, этот с виду полудохлый, он у них самый здоровый, должен был все проделать в случае провала. Мне он поклялся — это не опасно. Сказал, только кровля рухнет, завалит погреб — и красивые ничего не найдут у меня предосудительного.

— Не опасно?! — Дубцов бросился к двери. — Там динамит!

Он, не разбирая ступенек, прыгнул с крыльца и побежал к погребам, натываясь на кусты и деревья, потому что на дворе уже было темно. У чугунной двери дежурил матрос, тот, что до этого гнезвился на дереве, наблюдая за окошком мезонина.

— Товарищ Дубцов, — обратился он к Вильяму Владимировичу, — скажите товарищу Гарбузенко, что вы сами убрали полотенецко с подоконника, а то... вы ж его знаете...

— Немедленно! — Дубцов его не слышал. — Выводите людей из санатория, в первую очередь — детей! Вот-вот взорвется динамит под полом!

Матрос сорвался с места. Дубцов не смотрел ему вслед. Отвалив тяжелую дверь, он вбежал в погреб, чиркнул зажигалкой. Освещая ящик за ящиком огоньком зажигалки, искал фугас. Огонек метался от его дыхания и поминутно гас. Дышать спокойно он не мог от волнения и спешки. Свистело и хрипело в груди.

Дубцов глубоко вздохнул и задержал дыхание. Огонек перестал метаться, наступила тишина и в тишине стало слышно тиканье часового механизма. Вот оно! Под ящиками с динамитом!

Снимая ящик за ящиком, осторожно, бережно, Дубцов наконец-то добрался до фугаса. Разрядить? Можно не успеть. С фугасом в руках он побежал к открытой двери, откуда тянуло холодом ноябрьской ночи.

Мадам-капитан была во дворе.

— Бросьте! — крикнула она, увидев Дубцова с его ношей. — Взорвется!

— Рано!

Сразу за оградой пансиона был обрыв к морю. Вильям Владимирович бежал на шум и запах моря, чтобы сбросить с обрыва свой опасный груз...

А в санатории уже все спали, когда прибежал матрос. Детей выносили вместе с одеялами. Мария несла Олюню, Гриша — сразу двоих. Коля и Рая тащили за руку упирающихся за спящих ребят. Еще никто, кроме Гриши и Коли, не успел понять, зачем и кому нужно это поспешное бегство, когда со стороны обрыва, за пансионом, донесся раскат взрыва и вспыхнул над темными деревьями огненный шар...

«НАД ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ У НАС ВЛАСТИ НЕТ»

— Еще в одна тысяча девятьсот двенадцатом году,— рвал кладбищенскую тишину голос Гарбузенко,— он сошел с офицерского мостика броненосца «Иоани Златоуст» до нас, революционных матросов, и остался большевиком до своего последнего шага...

У ног Марин лежала плита с надписью: «Д-р Забродский Стаинслав Казимирович, 1861—1920 г.» — могила отца. Для Вили вырыли рядом...

— Мы, большевики Крыма, клянемся тебе, дорогой товарищ,— доносился до нее голос Гарбузенко,— довести до конца начатое дело: очистить наше днище от всякой поганой ракушки... бандитизма... шпионства... спекулянтства, что оставила контрреволюция в своем последнем гадючем гнезде!

Вокруг было полно народу: красноармейцы с трубами, матросы, парни с фабрики эфирных масел, дети из санатория, жители городка и приехавшие из Феодосии рабочие механических мастерских. Мария увидела на мгновение лицо Гриши, Олюня уснула на его плече... Неужели впереди еще целая жизнь без отца и Вили?..

— Я мало читал,— вдруг тихо, по-домашнему заговорил Гарбузенко, и от этого голос его раздался над самым ухом, дошел до Марин,— но я много видел. Мы с незабвенным товарищем повидали и синее море, и белые города, не скажу, чтобы слишком ласковые до простого человека. Но я вам так скажу: должно же быть хоть одно такое гостеприимное место, где бы трудящиеся всего мира могли спокойно себе греться у моря на песочке; как какне-нибудь миллионеры.— Гарбузенко запилулся и сказал: — Жаль, мои днты того не побачуть...— И уткнулся лицом в мичманку, которую мям в руках...

В толпе всхлинула женщина... Гарбузенко мичманкой вытер мокрое от слез лицо и повернулся к Марин.

— Над жизнью и смертью, товарищ доктор, у нас власти нет. Только на вас надежда.

...Когда все кончилось и люди разошлись, на краю кладбища у самого моря остался старый корабельный якорь с прикрученной к нему железной табличкой:

ДУБЦОВ В. В.

морьяк

ТАКОЕ ГОСТЕПРИИМНОЕ МЕСТО

(Эпilog)

Через два дня Гриша пришел в тот самый особняк на набережной, где прежде была контрразведка. Теперь там располагался ревком. В бывшем кабинете Гурова заседал Гарбузенко.

— Ну как, товарищ Гарбузенко, — спросил Гриша, — вы еще не передумали назначать меня сестрой-хозяйкой?

— Передумал, — ответил Гарбузенко. — Ты что, будешь в юбке ходить? Так юбок у нас нема на складах. Давай краше мы тебе выпишем галифе и оформим приказом заведовать санаторией по коммерческой части. Только в лечебную часть не лезь. А то! — Гарбузенко с угрожающим видом потянулся к маузеру. Но вместо маузера у него теперь был телефон. — Ну, короче, — сказал он, — по лечебной части у нас будет Мария Станиславовна.

На этом, как считал Гарбузенко, разговор был исчерпан. Но Гриша топтался на пороге и никак не уходил:

— Боюсь, товарищ Гарбузенко, что я вам не подойду. Для меня они все одинаковые... Ну разве что одни пацаны, другие — девочки... А для вас, скажем, Коля — советский пацан, а Рая уже не советская дивчина.

— Почему же не советская, когда лечится в советской санатории?

Вот и все, что сказал Гарбузенко по этому поводу.

А на следующий день Гарбузенко поехал в Симферополь. Там его встретил Бела Кун — венгерский коммунист, председатель Крымревкома. Бела Кун жил в одной маленькой коммуналке с Дмитрием Ильичом Ульяновым, братом Владимира Ильича. Ожидали приезда наркома здравоохранения Николая Александровича Семашко. Дмитрий Ильич попросил Гарбузенку собрать для Семашко сведения о положении курортов в районе Феодосия — Судак.

Почему так срочно понадобились эти сведения, Гарбузенко узнал чуть позже, в конце декабря. А в начале декабря Гарбузенко пришел в санаторий к Грише и Марии Станиславовне. Пришел он не один, с ним пришла Веста. В зубах у нее была та самая детская корзинка, в которой во время врангелевщины Веста носила подпольную почту. Теперь в корзинке лежали хлебные карточки и талоны на «жирность», принадлежавшие самому Гарбузенко.

— Нехай, коли будет ваша ласка, поживет у вас на санаторном, так сказать, режиме, пока я на новом месте приживусь.

Дело в том, что Гарбузенко переводился в Москву на работу в ВЧК.

...Москва была завалена сиегом, ледяной ветер забирался под южную ненадежную одежку, и Гарбузенко тут же на привокзальной площади затосковал по Крыму. Он не знал еще тогда, что сугробы да ледяной ветер станут его спутниками на всю оставшуюся жизнь, что придется ему командовать стройками в Сибири, а затем и, того похлеще, прокладывать Севморпуть — дорогу в Ледовитом океане.

Коля и Рая уже стали совсем взрослыми, у них даже сын рос Гриша, когда во всех газетах появилась фотография льдины, на которой, широко расставив ноги в огромных тюленьих торбасах, привязанных к поясу, стоял Гарбузенко. Льдина раскалывалась на куски, ее уносило течением куда-то чуть ли не в другое полушарие, но Коля, Рая и их сын Гриша были, как тогда говорилось, «на все сто» уверены, что со льдиной ровным счетом ничего не случится, пока на ней, расставив ноги, стоит Гарбузенко...

Но это все еще было впереди, а пока Гарбузенко в легких ботиночках топал по снегу к машине, в которой ждал его Степанов-Грузчик. Ждать ему пришлось долго: поезд, по обыкновению, опоздал, — и теперь Грузчик опаздывал на собрание актива Московской партийной организации. Услышав, что на этом собрании будет выступать Ленин, Гарбузенко потребовал от Грузчика везти и его туда. Грузчик, подумав, согласился:

— Ладно. Там наши ребята дежурят. Проведут.

И Гарбузенко попал, что называется, с корабля на бал.

Это было 6 декабря 1920 года. Гарбузенко впервые в своей жизни лично слушал выступление вождя пролетарской революции и, конечно же, не пропускал ни одного слова, но, когда Ленин заговорил о Крыме, стал подталкивать локтями сидевших рядом товарищей: мол, смотрите не прозевайте такой важный момент!

— Сейчас в Крыму, — сказал Ленин, — триста тысяч буржуазии. Это источник будущей спекуляции, шпионства, всякой помощи капиталистам. — И, сделав небольшую паузу, Ильич добавил: — Но мы их не боимся!

И Гарбузенко понял: Ленин отлично знает о работе его и других товарищей из ВЧК и КрымЧК.

Для Ленина действительно было очень важно, чтобы мы не боялись контрреволюционных заговоров в Крыму. Ленин готовил декрет о Крыме. Вернувшийся из поездки по Крыму нарком здравоохранения Семашко сразу же направился к Ленину в Совнарком. Он привез сведения о курортах, в том числе и те, которые собирал для него Гарбузенко по просьбе Дмитрия Ильича Ульянова.

Владимир Ильич тут же поручил Николаю Александровичу подготовить проект декрета «Об использовании Крыма для

лечения трудящихся», и через несколько часов Ленин с карандашом в руке редактировал текст:

«Благодаря освобождению Крыма Красной Армией от господства Врангеля и белогвардейцев открылась возможность использовать лечебные свойства Крымского побережья для лечения и восстановления трудоспособности рабочих, крестьян и всех трудящихся всех Советских республик...» Дойдя до этого места, Владимир Ильич предложил добавить: «...а также для рабочих других стран...»

21 декабря 1920 года декрет был подписан и передан по прямому проводу в Симферополь Ульянову. Дмитрий Ильич ознакомил с декретом всех заведующих санаториями и главных врачей, и Мария с Гришей, каждый про себя, вспомнили тот ноябрьский день без солища, когда Гарбузенко, утирая мичмаикой слезы, заговорил про синее море и белые города, которые видели они с Дубцовым в плаваниях, и открыл всему городу свою нехитрую мечту:

— Должно же быть хоть одно такое гостеприимное место, где бы трудящиеся всего мира могли спокойно себе греться у моря на песочке, как какие-нибудь миллионеры.



Геннадий Прашкевич

ВОЙНА ЗА ПОГОДУ

Глава первая. МОРСКАЯ СКУКА

1

Не окажись на «Мириом» собак, Вовка Пушкарев помер бы со скуки прямо посреди Карского моря.

Понятию, скука скуке рознь.

Заскучать можно и на родной Кутузовской, на прекрасной этой и широкой набережной, где прошла почти вся Вовкина четырнадцатилетняя жизнь. Но в Питере, где Вовка знал тайны всех ближайших проходных дворов, скука не проблема. Свистни закадычного дружка Кольку Милевского — и вот она перед тобой развеселая и свободная жизнь! Хочешь, плыви в Петергоф, хочешь, гуляй по Новой Голландии, хочешь, добирайся хоть до Дудергофской горы, хоть до Комендантского аэродрома!

Заскучать, понятию, можно и в чужой деревянной Перми, куда Вовку с мамой эвакуировали осенью сорок первого. Но и в Перми скука не такая уж проблема. Читай книги. Включай черный картонный репродуктор, слушай сообщения Совинформбюро, а если уж совсем невмоготу в холодной чужой квартире, борзди себе на воображаемом корабле необозримые ледовые пространства замерзших оконных стекол!

Но в море!..

Раньше Вовка так и думал: заскучать можно где угодно, только не в море, тем более в настоящем. Но вот вздыхает, всхлипывает за кормой второе море подряд, а он, Вовка, так и не увидел пока ничего интересного.

Н и ч е г о !

На две-три минуты глянул из тумана голый, каменный лоб

мыса Канин Нос, но в тот день Вовке было не до наблюдений. В тот день Вовку укачало до тошноты и он валялся на рундуке в тесной душной каютке. В беспросветной, в промозглой мгле (в ж м у ч н — так объяснил боцман Хоботило) прошло за кормой еле различимое желтоватое плато острова Колгуева. Укрытая мутным, с изморозью дождем (м о р о з г о й, по объяснению того же боцмана), явилась и исчезла по левому борту узкая полоска Гусиной Земли, обживал которую когда-то и его, Вовкин, отец — полярный радист Павел Дмитриевич Пушкарев. А еще несколько часов торчали они зачем-то под обрывистыми утесами мыса Большого Болванского. Но попробуй Расскажи закадычному другу Кольке, что он, Вовка, за все свое путешествие видел лишь этот Б о л в а н с к и й! Колька, понятно, его на смех поднимет.

Из тумана в туман, из жмучи в морозгу.

Он, Вовка, предпочел бы видеть р ы ч а р ы — этот крошащийся, выдавленный на берег лед.

«Странный у тебя род занятий,— сказал бы Колька Милевский.— Не мужской род!»

И оказался бы прав, потому что интересным морское путешествие было для Вовки только в самый первый день, когда караван грузовых судов под прикрытием сторожевика вышел из Архангельска и на борт «Мириного» поднялся военный инспектор. Весь экипаж морского буксира, а с ними и всех следующих на нем полярников собрали в кают-компанию, даже Вовку пригласил — сиди, мол, только не вякай! — и этот военный инспектор, худощавый и очень спокойный капитан-лейтенант (на кителе его строго поблескивали узкие погоны с четырьмя звездочками), деловито и как-то очень по-хозяйски заметил, что так, мол, и так, идет уже осень одна тысяча девятьсот сорок четвертого года и победа наша уже не за горами, а вот об осторожности забывать не надо. Совсем недавно, пояснил капитан-лейтенант, старика Редера сменил в фашистских верхах молодой адмирал Дениц, и этот адмирал — та иная метла, что чисто метет. Оживилась оберкоманда дер крисмарине, обнаглели гитлеровские подводники — опять стали заглядывать в наши внутренние моря. Недавно, например, потопили у Новой Земли транспорт, а у Ямала загнали на мель баржу.

Больше всего удивило Вовку то, что нашему командованию, а значит, и военному инспектору были известны не только номера четырех прорвавшихся в Карское море подлодок, но даже фамилии их командиров — Мангольд, Шаар, Франзе и Лаинге. «Интересно бы на них взглянуть, на этих фашистских командиров,— подумал Вовка.— Наверное, маленькие, злые, зубы железные. Лежат под водой на грунте, зарылись в ил, жрут кофе с печеньем, ждут, когда появится над ними кто-нибудь

послабее. Над слабыми, вроде той несчастной баржи, чего не покуражиться?»

Никаких подлодок в море, правда, пока не встретили, но капитан буксира «Мирный» Григорий Федорович Свинблов неустанно требовал от экипажа осторожности. А Вовку капитан Свинблов откровенно невзлюбил. Не место пацану на буксире! Все ему казалось, что шумит Вовка на все Карское море, все ему казалось, что отвлекает Вовка внимание вахтенных от страшного, низкого полярного горизонта. Натянет морскую фуражку с крабом на самый лоб, а сам так и зыркает: где Вовка? На шее белый шарфик, будто вышел капитан прогуляться по Невскому, на губах презрительная улыбочка — знает он, дескать, таких, как Вовка!

Понятно, время военное, но Вовка тоже мог помочь экипажу.

Карское море шумно вздыхало, предчувствовало долгую зиму. Старый буксир (каким только судам не пришлось поработать на победу!) срывало с волны, он проваливался в воду, вздымал тучи холодных брызг, встряхивался, как собака. Жалобно поскрипывали металлические шпангоуты, на палубах, на баке, в узких коридорных переходах однообразно и скучно, как в мастерской, пахло олифой, сурнком, сырым пеньковым тросом. Круглая корма «Мирного» сильно раскачивалась. От качки немели ноги, но Вовка не уходил с палубы. Свой долг морю он отдал под Каниным Носом и теперь, бледнее, упрямее цеплялся за леера. «Не те пошли капитаны! — думал Вовка. — Пусть «Мирный» оторвался от каравана, далеко от серьезного сторожевника, но чего уж так бояться подводных лодок! Это ведь наш, это советский бассейн! Не мы, а нас тут должны бояться!»

Но, думая так, Вовка старался не упускать из виду ни один квадрат морской поверхности. Военный инспектор просил не забывать об осторожности. Не трусить просил, не прятаться в мертвые туманы, а именно — не забывать об осторожности! И это он, Вовка, поднял боевую тревогу, первым заметив невдалеке хищный вражеский перископ! Здорово и страшно рывкнула сирена, на корме в один момент распахнулись спаренные крупнокалиберные пулеметы. И разве он, Вовка, виноват в том, что «подлодка» оказалась полутакопленным бревном?

После ложной тревоги Вовку невзлюбил и боцман Хоботило.

Будь Хоботило похож на настоящего боцмана — свисток на груди, клеенчатая зюйдвестка, высокие морские сапоги, волевой подбородок, — Вовка многое бы ему простил. Но боцман Хоботило больше всего был похож на пермского возчика: он таскал черный, отсыревший от тумана бушлат, разношенные кирзовые сапоги, от него вечно пахло сурнком и олифой, а на голове красовалась самая обычная меховая шапка с отогнутыми вверх ушами.

Боцман в шапке! Ну какой это боцман?

А еще — фамилия...

Мама пыталась объяснить: дескать, из поморов боцман. Дескать, у них там, у поморов, все фамилии чудные, а хоботило — это всего лишь узкий криво изогнутый мыс, глубоко вдающийся в море. Но лучше бы боцман Хоботило не вдавался так глубоко в Вовкину личную жизнь, и не мешал бы Вовке спускаться в машинное отделение, где так сладко и жарко пахло машинным маслом, и не запрещал бы подниматься на бак, откуда даже в туман можно было кое-что увидеть, и не мешал бы подкармливать ездовых собак, которые жили на корме в специально сваренной для них металлической клетке.

Собаки везли на остров Крайночий Вовкина мама — метеоролог Клавдия Пушкарева и радист Леонтий Иванович.

Мама есть мама. А с радистом Вовке опять не повезло. Ведь что такое полярный радист? Человек волевой, сильный, как, скажем, старый друг отца Эрнст Теодорович Крейкель. Зимовал на Северной Земле, зимовал на Земле Франца-Иосифа. С Новой Земли, с ее каменистых безжизненных берегов связывался по радио с антарктической экспедицией американца Бёрда! Летал на дирижабле «Граф Цеппелин», плавал на знаменитом «Челюскине», держал связь с родной страной, находясь на дрейфующей льдине! Веселые песни знал! «Снега у нас просторные, пространства — без конца...» С таким не заску-чаешь.

Или отец.

В свои сорок четыре года Вовкин отец успел облетать пол-Арктики. Обживал Новую Землю, заведовал зимовкой на острове Врангеля, и при каких обстоятельствах не срывал сеансов радиосвязи. А дело непростое — достучаться из полярной мглы до далеких советских портов или до идущих по морям караванов.

А Леонтий Иванович, мамин радист, оказался человеком очень близоруким. Он носил круглые смешные очки в такой же круглой смешной металлической оправе, он абсолютно ко всем на буксире обращался одинаково — братец! — он вообще напоминал веселый, но плохо управляемый воздушный шар. Кругленький, толстенький, он постоянно находился в движении: то снимет шапку, пригладит ладонью розовую лысину, то вскочит, услышав склянки, будто только сейчас узнал, что «Мирный» вышел в открытое море; на все всегда Леонтий Иванович смотрел из-под своих круглых смешных очков как впервые, и везде и всегда голос его оставался кругленьким и насмешливым. Пи-пи-пи! Па-па-па! Будто морзянка попискивает, будто не мужчина, будто не полярник стоит на палубе, а привязан к лееру веселый воздушный шар, затянутый в меховую оленью малицу. Совершенно непонятно, за что

уважали Леонтия Ивановича собаки? Леонтий Иванович их не баловал. Напротив, кормил раз в сутки да еще Вовку предупреждал: «Ты это, братец, собачек не порть, не подкидывая им кусочки. Ездовая собачка, братец, она тощая должна быть. Жирная собачка нарту не потянет. Мне, братец, тощие красавцы нужны!»

Подпрыгивает, попискивает, как радиозонд, поблескивает очками. Нет, чтобы сидеть где-нибудь в тылу у фашистов и корректировать по радиции огонь наших батарей!

Он, Вовка Пушкарев, имел право так думать. Несмотря на свои четырнадцать лет, несмотря на свой явно недоупитанный вид, он при первой возможности осаждал кабинет пермского военкома. Военком злился, видя скуластую Вовкину физиономию.

«Сколько тебе говорить? Подрасти! Такие, как ты, понадобятся нам после войны!»

«Я справку принес».

«Какую еще справку?»

«А вот какую!» — Вовка подсовывал военкому линованный лист, вырванный из тетрадки, и военком, сняв очки, близоруко всматривался.

«Так... — вздыхал он. — Заявление... Пушкарев Владимир... Прошу направить в действующую армию... Это мы уже знаем... Подтверждаем, что Пушкарев В. занимался в клубе любителей-коротковолновиков... — Военком аккуратно складывал листок и возвращал Вовке: — Тетради бы поберег... У меня и профессионалы имеются, любитель. Твое дело — школа. Ты слово «оккупант» до сих пор пишешь через одно «к». Отцу сообщу!»

«А вот не сообщите!» — хмурился Вовка.

«Почему не сообщу?» — хмурился военком.

«На Севере отец...»

Вовка любил отца, но со службой его была какая-то незадача. Радист-полярник Павел Дмитриевич Пушкарев с самого начала войны находился на острове Врангеля. Вовка понимал, что кто-то и там должен работать, но особенно на эту тему говорить не любил. «Где служит отец?» — «На Севере». — «В спецвойсках?» — «Положим...» Пусть будут спецвойска. Отец как бы хранил военную тайну. Но он, Вовка, своего добьется, он рано или поздно, но попадет на фронт. Он не Леонтий Иванович, чтобы плыть не на фронт, а от фронта.

Понятно, метеорологи и радисты тоже помогают фронту. Понятно, сидеть годами на голых полярных островах — испытание не из самых легких. Но с таким испытанием, в конце концов, вполне могла справиться мама (не зря именно про нее вспомнило Управление Главсевморпути, когда понадобилось сменить полярников на острове Крайночном), с этим испыта-

нием мог справиться и он, Вовка! Зачем тащить на Север Леонтия Ивановича, когда фронту необходим каждый мужчина? Могли бы Вовку отправить на зимовку. Он — сын полярников. Он anerонд с барометром не спутает, стратус от кумулюса отличит, а скажи: «Нарта нужна!», справится и с алыком — с этой ременной собачьей упряжью, соединившей в себе свойства хомута, чересседельника, подпруги, постромок, всего сразу. Мысленно Вовка не раз гнал нарту по тундре. В правой руке — остол, левой вцепился в баран, есть там такая деревянная дуга, чтобы за нее держаться. И с собачками Вовка нашел общий язык!

На «Мирном» в клетке семь крупных ездовых псов. Больше всего Вовке нравился вожак — Белый. Он правда был бел как снег. На фоне сугробов его и заметить трудно — глаза черные да нос. Вовка знал: Белый его уважает. Вовка знал: сунь он руку в клетку, погладь Белого, пес не тяпнет его зубами. Вовка тайком подкармливал собачек сэкономленными за чаем сухарями.

— Белый! Где твоя мамка, Белый?

Это у них была такая игра.

Услышав про мамку, будто понимая, Белый ложился на пол клетки, тихонько поскуливал. Далеко от Белого находилась его мамка. В Архангельске Леонтий Иванович обменял ее на новенький гелиограф Кемпбелла, и плыла сейчас мамка Белого к берегам Англии, а ее новый хозяин, наш союзник, штурман эсминца «Аллен» Берт Нельсон, гордился ею и трепал ее густой загривок, поглядывая, не пикирует ли на них фашистский бомбардировщик.

Да, в Северном и в Норвежском всегда опасно. Но тут-то, в Карском?!

Вовке было стыдно за жирный угольный дым буксира, которым пахло, наверное, даже на дне моря. Вовке было стыдно за боцмана Хоботню, начинавшего суетиться, чуть лишь пробивалось сквозь облачность низкое полярное солнце. Вовке было стыдно за Леонтия Ивановича, которого вовсе не мучило назначение на зимовку. Вовке, наконец, было стыдно за себя, не уговорившего военкома отправить его на фронт. Пусть курсы коротковолновиков-любителей Вовка не закончил и справка у него была липовая, все же рацию он знал, а азбуку Морзе читал на слух. Конечно, он не даст двести знаков в минуту (это кореш Колька мог сыпать морзянку с такой быстротой, будто шел на дно), но с элементарными погодными сводками Вовка был справился.

И вообще...

Будь Вовка капитаном «Мирного», буксир вел бы себя совсем иначе. Будь Вовка капитаном «Мирного», буксир не прятался бы от родного солнца. Будь Вовка капитаном «Мир-

ного», буксир и в одиночку шел бы прямо на Крайночной, не шарахаясь трусливо из жмучи в морозгу. Появись фашистская подлодка, Вовка смело бы повел буксир на таран!

Но Вовка не был капитаном. И взяли его на борт только потому, что «Мириный» с Крайночного шел в Игарку, а в Игарке у Вовки жила родная бабушка — Яна Тимофеевна Пушкарева. Одна только мама знала, каких трудов стоило ей договориться с Управлением Главсевморпути взять на борт «Мириного» сына. Поэтому, наверное, и сердилась: «Не попадайся людям под иоги! Не мозоль глаза! Не дерзи боцману!» — «А чего он обзывается «иждивенцем»? А чего он отобрал мой свисток!»

Мама только вздыхала.

Со свистком целая история. Утром выбрался Вовка на палубу, проскользнул незаметно на корму. Туман, сыро. Самое время испытать свисток, который Вовка спер в Архангельске со склада, когда ходил помогать грузить на буксир пробковые пояса. Вид у свистка ничтожный, а в инструкции сказано: слышимость — пять миль.

Дунул.

Хорошо, от души дунул.

Пять ие пять, но на свист, произительный и высокий, мгновению вывалился из тумана вахтенный, а за ним сам Хоботило. Ловчее портового краиа вознес Вовку над палубой:

— Не зови лихо, когда оно тихо, иждивенец!

До Вовки ие сразу дошло, что л и х о в данном случае вовсе ие одобрение, скорее хула. Опять получалось: все на судие пасут друг друга от бед, радист на связь ие выходит — «Мириный» находится в зоне радиомолчания, — только он, Вовка, пассажир и иждивенец, кличет это самое лихо.

— Откуда свисток, поливуха?

Вовка знал: поливуха — это такой подводный камень, через который вода перекачивается, ие давая буруиа. Опасный камень, подлый. Сравнивать Вовку с поливухой было ие честно. Это он и выложил боцману.

— Не учи бабушку кашлять! Ты своим свистком все Карское разбудил!

Кутаясь в малицу, появилась на палубе мама. Из-под рыжей лисьей шапки выглядывал кончик рыжей косы. Ни о чем не спрашивая, попросила боцмана:

— Отдайте иие мальчишку, дядя Кирилл. Я его посажу за учебники.

И сказала Вовке:

— Кончился для тебя август. Считай, живешь уже в сентябре!

И пошла иеторопливо вниз, двумя фразами перекроив

календарь, создававшийся человечеством многие тысячи лет. А ведь до сентября оставалось целых три дня. Вовка мог совершенно законно бить баклуши и беседовать с Белым, и вдруг — сентябрь, приехали!

С мамой не поспоришь. Она в бабушку. Даже боцман Хоботило ни в чем не перечил маме. На острове Врайгеля в пургу она разыскала и вывела к поселку двух заплутавших в тундре геологов. Она переплывала на байдарке зловредную Большую полынью. Она делилась погодой не только с материком, но и с эскимосами. Эскимосы, те даже приезжали к ней в Ленинград. С одним (его звали Аньялик) Вовка пил чай. Аньялик курил трубку и все время звал маму на остров Врайгеля. «Без тебя скушно, умилек, — говорил он. — Мы одешков пасем тебе, умилек. Все эскимосы ждут тебя, Клавдя!»

Получалось, история со свистком как бы обидела и маму.

А Яна Тимофеевна?

Десять лет живет в Игарке, в изюбных Енисея. «При могиле деда». Дед умер в начале тридцатых, и баба Яна ни за что не захотела верннуться в Питер. «Не брошу деда. Проживу при могиле». А когда Вовка побывал с мамой у бабы Яны, выяснилось, что живет она вовсе не при могиле, а в приземистом бараке, срубленном из черной лиственницы. Через весь барак тянулся коридор, тесно заставленный кадушками, ларями и сундуками. Там удобно было играть в прятки, стучать медяками о косяки. Стоило кому-то крикнуть «Атас!», вся вольная Вовкина компания мчалась в бабкину комнату. А туда суишься! Яна Тимофеевна Пушкарева так лихо умела дать отпор ворчливому населению барака, так уверенно попыхивала короткой трубкой, что ее не на шутку побаивались. Как только баба Яна приезжала погостить к дочери, в большой квартире Пушкаревых сразу начинало пахнуть трубочным табаком и березовыми вениками. Баба Яна обожала баю, особенно ту, что за Литейным мостом. «А тебе надо больше есть, задохлик! — покрикивала она на внука. — Я из тебя сделаю Амундсена!»

Это была ее мечта: сделать из задохлика Амундсена.

Вовка знал: Руаль Амундсен — великий полярный путешественник и исследователь, но почему-то ему казалось, что «сделать Амундсена» означает прежде всего научить его лихо отстаивать справедливость и, конечно, курить трубку.

Трубку он, кстати, попробовал. Засекла его в туалете сама баба Яна. Трубку отобрала, а внуку наподдала так, что даже мама возмутилась: «Он же еще ребенок!» — «Крепче вырастет!» — тряхнула седыми кудряшками баба Яна.

На бабу Яну Вовка не обижался.

Время от времени Вовкины родители надолго исчезали — очередная зимовка. Тогда в питерской квартире воцарялась баба Яна и жизнь сразу становилась жутковатой и интересной. Жутковатой потому, что баба Яна следила за каждым его шагом и не ленилась заглядывать в школу, а интересной потому, что Вовке разрешалось рыться в отцовских книгах. В основном это были работы по метеорологиче и радиodelу, но, к величайшему своему удовольствию, Вовка обнаруживал среди них то «Альбом ледовых образований», то «Лощию Карского моря», то книгу с совсем уж захватывающим названием «Грозы и шквалы». Это позволяло ему держаться на равных с закадычным дружкой Колькой Милевским, единственным его другом, которого признавала баба Яна: «Этот самостоятельный!»

Баба Яна была права.

Будучи старше Вовки на два года, Колька Милевский уже подрабатывал. Он, Колька, считал: главное в жизни — дел о! Правда, еще и обстоятельства так сложились: отец у него умер, матери надо было помогать.

Делом Колька занимался на Литейном, в ремонтной мастерской, расположенной в таинственном полуподвальчике старинного дома, помогая мастеру. Вовка любил забегать к нему в мастерскую. Там пахло канифолью, луженым металлом, кислотами. Приносили чинить мясорубки, паять кастрюли. Случалось, пригоняли детские коляски — там ось полетела, здесь недостает спиц. Колька не важничал, поддегивал клеенчатый фартук, посмеивался, сидя под репродуктором. И конечно, это Милевский затащил Вовку в клуб любителей-коротковолиовиков. Официально Вовку в клуб не приняли, но Колька, любимчик отставного сержанта Панькина, что руководил занятиями, упрости его, и усатый этот сержант закрывал глаза на присутствие скуластого пацана, никаких особых надежд не подававшего, но что-то там выстукивающего на тренировочном пианино. Как-то в июне, перед самой войной, пользуясь своим особым положением, Колька Милевский упрости сержанта проверить Вовку в деле.

— Пушкарев? — удивился сержант. — Нету такого в списке.

— Мало ли! Вот он, натурально сидит.

— Этот? — еще больше удивился сержант. — А ну, садись за параллельный телефон. Вот карандаш, будешь писать тексты.

Вовка, волнуясь, нацепил эбонитовые наушники.

С замиранием сердца вслушивался он в комариное попискивание морзянки. Передача шла из Хабаровска. Деловая

передача, быстрая. Слишком быстрая для Вовкных ушей, понятия не имевших о настоящих эксплуатационных условиях. Ухватит букву, потом другую, а слово не всегда складывается.

Сержант рассердился:

— Ты где это, Колька, раскопал такую хилую форму жизни? Тут не детский сад, тут курсы радиотелеграфистов.

— Он не хилая форма! — обиделся и Колька. — У него отец полярный радист!

Сглаживая грубость сержанта Панькина, Милевский забежал к Пушкаревым. Он к ним ходил с таким же удовольствием, как Вовка в мастерскую. У Пушкаревых были различные приемники, библиотека по радиodelу. Опять же, баба Яна. Она сразу спросила:

— Ишь, смурные... Напакостили?

— Экзамен провалил, — честно признался Вовка. — Подвел Кольку.

— А мог сдать?

— Мог! — вступился Колька за друга. — Если бы передача велась медленней, сдал бы!

— Кто ж это ради него будет медлить?

— Практика нужна! — защищал Колька друга. — У Вовки какая практика? Считай — никакой! Я сам им займусь. Я его натаascaю на это дело, а откажется сержант принимать экзамен, пожалуйca одному своему приятелю. Он и в Главсевморпути, он и в академии!

— Кто такой? — удивилась баба Яна. — Тоже слесарь?

— Академик, баба Яна! Вот кто!

— Какой еще академик?

— Шмидт!

— Шмидт? — удивился и Вовка. — Тот самый?

— Тот самый! Челюскинец!

— А где ты с ним подружился? — засомневалась баба Яна.

— В трамвае. — Колька от бабы Яны ничего не скрывал, это в нем бабе Яне нравилось. — Я еду в трамвае, зайцем понятно, тут и берут меня за плечо. Влип, думаю, высалят. А голос не строгий. Вежливый голос. Передайте, дескать, товарищ, гривенник. Я, понятно, не спорю, передаю гривенник, а сам глазом — зырк! Точно, он! Бородинца, что венник, глаза голубые и рост под потолок! Поглянулca я Шмидту.

С Колькой не пропадешь!

Колька давно, наверное, надел форму. Три года не виделcя. За это время Колька, конечно, прорвался на фронт. Сидит сейчас в боевом блиндаже — чуб направо, плечи широкие. А на рукаве кителя черный круг с красной окантовкой. А в центре круга две красные зигзагообразные стрелы на фоне адмиралтейского якоря!

«Эх, нет Кольки...— вздохнул Вовка.— Ладно! Нечего нюнить! Не в Игарку же я плыву в самом деле. Это мама так думает — в И г а р к у. Это капитан Свиблов так думает — в И г а р к у! Это боцман Хоботило так думает... А у меня свои планы!»

От одной мысли о задуманном Вовкину спину жгли злые мурашки.

Но о задуманном Вовкой никто не знал.

Глава вторая. БРЕВНО ЗА КОРМОЙ

1

Тайна действительно была великая.

Завтра или послезавтра, знал Вовка, буксир «Мирный» бросит якорь в ледяную воду бухты Песцовой. Там, на ее берегу, уже два года ждут смены зимовщики. Стосковались по Большой земле, отвыкли от гражданской жизни, и все равно один из них подал рапорт — потребовал, чтобы его, Лыкова Илью Сергеевича, оставили с мамой и Леотием Ивановичем еще на одну зимовку. Сам потребовал, понимая военную обстановку. Настоящий человек!

Вот при разгрузке буксира Вовка улучит момент и юркнет незаметно в ледяные торосы. Одет он тепло, карманы набиты сухарями. Время военное, капитан Свиблов ни за что не станет тянуть с отплытием: грузов «Мирного» ждут в Игарке! Ну, а Лыков Вовку поймет! Не может не понять. Только растает дымок «Мирного», Вовка и объявится! Он делом хочет помочь стране и зимовщикам. Обеды варить? Пожалуйста! Ходить на охоту? Хоть на белого медведя! Снимать показания с приборов? В любое время!

Кстати, снимают показания с приборов на метеостанции четыре раза в сутки, через каждые шесть часов — в час ночи, в семь утра, в час дня и в семь вечера. Он, Вовка, в любое время готов бежать на метеоплощадку. Фонарь привязан к руке, метели он не боится — всегда готов!

А если уж важны для мамы его школьные занятия, пожалуйста, он и заниматься готов. Вернется на материк, сразу сдаст все экзамены. Ведь самое главное это то, что, если он, Вовка, проведет достойно зимовку, если он, Вовка, поможет зимовщикам обеспечить бесперебойную работу метеостанции Крайночного, никто уже никогда не посмеет его упрекнуть в том, что в самый разгар наступательных боев одна тысяча девятьсот сорок четвертого года, когда советские бойцы подошли к границам Восточной Пруссии, захватили важные плацдармы в Польше и Висле, освободили Молдавию и во-

сточную часть Прибалтики, он, Вовка Пушкарев, сын полярников, трусливо отсиживался вдали от сражений в утепленном бараке своей бабки Яны Тимофеевны.

Оно, конечно, нехорошо начинать жизнь полярника вроде как с обмана. Прятаться, заставлять людей волноваться... Но Лыков явно его поймет, а он, Вовка, стахановским трудом смоем с себя вину!

Такие мысли успокаивали Вовку, но все равно на душе скребли кошки.

Еще как скребли!

Он и проснулся из-за этого. Никаких кошек, конечно, не было. Но совсем рядом, в нескольких сантиметрах от Вовкиного уха, за тонким металлическим корпусом буксира, там, где раньше уютно побулькивала, шипела забортная вода, сейчас, леденя душу, что-то терлось о металл, отвратительно скрежетало. «Мирный» то сбавлял ход, то вдруг рвался вперед, как собака из алыка.

Вовка повернул голову, взглянул на маму.

Мама спала. Она спала на левом боку, набросив поверх одеяла свою аккуратную меховую малицу. Глаза мамы были закрыты, по щеке рассыпались рыжие кудряшки, тяжело, как золотая, лежала на подушке коса.

«Почему рыжих дразнят? Они же красивые!»

— Мама!

Она только сладко вздохнула, дунула, не просыпаясь, на щекочущие ее кудряшки, и Вовке почему-то стало жалко ее. Ведь чего они только не перевидали за эти три года! Эвакуация. Медленные поезда. Чужие дома... И работала мама не на метеостанции, а на стройке. Это потом о ней вспомнили в Управлении Главсевморпути, когда понадобилась смея зинмовщикам с Крайночного.

«О маме вспомнили! — возгордился Вовка. — Не о ком-нибудь! О маме!»

Он соскочил с койки, прижался к иллюминатору и ахнул.

За крутым, нависшим над водой бортом «Мирного» быстро неслись, отставая от буксира, мелкие льдинки, то белые, то лиловые, будто облитые чернилами. Со скрежетом цеплялись они за борт, ползли вдоль него, крошились, поддирывали под брюхо. Буксир бодался, вспарывал бронированным носом узкие льдины и упорно продирался к цели.

— Лед, — вздохнула мама, открывая глаза. — Когда успело натащить?

— Ночью! — подсказал Вовка. Он хитрил. — Я тоже догадался, что это лед. — Ему очень не хотелось, чтобы мама вспоминала о своем решении перекроить мировой календарь. Но мама никогда не меняла решений. Она видела Вовку насквозь.

— Чего смеяться? — обиделся он. — Вот затрет «Мирный» льдами, тогда посмеемся!

«А что! — сам же и зажегся он. — Вмерзим в лед, как нансеновский «Фрам», начнем дрейфовать через весь Ледовитый. Я заведу специальный журнал, буду отмечать толщину льдов, погодные условия, всяческие проявления полярной жизни. А потом выйдем на вольную воду и встретят нас в Питере, как челюскинцев. Сам Колька Мнлевский будет стоять на балконе!»

Но мама сказала:

— Не хитри! Доставай учебники. Заниматься будешь все время, специально попрошу боцмана следить за тобой. Сейчас придет Леонтий Иванович, он погоняет тебя по-немецкому. Ты все запустил.

И не выдержала:

— Не дуйся!

И не выдержала:

— Иди ко мне. Когда мы теперь увидимся...

Вовка насупился. Не любил этих телячьих нежностей да и знал: скоро они увидятся! Нензвестно еще: обрадуется ли ему мама.

— Ладно, полярник, — засмеялась мама. — Дуйся не дуйся, а немецким все равно займешься сейчас.

Натянула свитер, глянула в иллюминатор: заметила как бы про себя:

— Т е р т ю х а...

— Какая еще т е р т ю х а?

— Лед такой. Ледяная каша, ее тертюхой зовут. Если мороз не ударит, она нам не страшна. А с правого борта, наверное, остров виден. — Она сразу погрустнела: — Ох, Вовка!

— А давай я слетаю на палубу!

— Не надо. — Мама умела быть жесткой. — Насмотришься при разгрузке. — И попросила: — Вовка, помогай бабушке! Она она. И трубку ее не слюнявь.

— А я слюнявл? — обиделся Вовка. — Я куриул-то всего разок.

— Ну вот. А тошнило тебя до вечера.

— Подумаешь! — Вовка независимо расправил плечи. Но с мамой очень-то не поговоришь. Сорок лет, а рассуждает, будто ей сто.

2

По грубым командам боцмана Хоботило, по грохоту сапог на палубе Вовка с тоской и восторгом понял, что «Мирный» действительно подходит к острову. Но прямо перед Вовкой сидел на рундуке веселенький и лысый Леонтий Иванович. Он

посменвался, он поблескивал стеклами очков, он выстукивал что-то по столу. *Тире точка тире...* Вот ведь! Мама наверху возится со снаряжением, а Леонтий Иванович, так называемый мужик, отнимает у Вовки драгоценное время.

Точка тире точка точка...

«Морзянка!»

Тире точка тире...

«Буква К...» — дошло до Вовки.

Точка тире точка точка...

«А это Л...»

Точка тире... Точка тире тире... Точка тире...

«Клава!.. Какая еще Клава?.. — растерялся Вовка. — У него что, есть жена или дочь? Ее что, зовут Клава?..»

Точка тире точка точка... Тире точка тире тире... Точка точка точка... Вовка сам машинально отстукал морзянку по столу. Он не хотел дразнить Леонтия Ивановича, но как-то само собой получилось — л ы с ы й.

— Готов? — усмехнулся Леонтий Иванович. И предложил, улыбаясь: — Начнем с перевода. Согласен? — И медленно, прислушиваясь к не очень-то уверенной Вовкиной морзянке, продиктовал: — Спартаковцы — друзья народа! — Он, наверное, прочел это в книжке. — Спартаковцы — опора народа, спартаковцы — его будущее. Теперь переведи на немецкий.

«Почему у Леонтия Ивановича такой кругленький голос? — задумался Вовка. — И почему он весь такой кругленький? И что, интересно, сейчас за бортом? Все еще тертюха или какая-нибудь склянка, что лопается и звенит под носом буксира, как стекло? А может, там шипит, разваливаясь, серый блинчатый п а л а б а ж н и к, с которого на Севере начинается зима? Или там с н е ж у р а, р е з у н, м о л о д и к?»

Точка тире точка точка... Точка... Тире точка... Тире... Точка тире точка тире... Точка точка...

«Л е н т я й! Кто лентяй? Он, Вовка, лентяй? Ну, Леонтий Иванович! Сидит весь в очках, улыбается. Интересно, где он провел последние три года?»

— Хочешь стучать, стучи по-немецки, — засмеялся Леонтий Иванович. Он Вовку тоже видел насквозь, хотя вопросы задавал явно бессмысленные. Чем, например, занимается полярный медведь в знаменитом зоопарке Гагенбека?

— Известно чем! — не выдержал Вовка. — Развлекает фашистов.

— Ну и дурак! — заметил Леонтий Иванович. Не ясно было только, Вовку он имел в виду или медведя. — Отвечай, братец, развернуто на вопросы. И не бойся ошибиться. Я поправлю. — И вовсе не к месту спросил: — Одежка у тебя в порядке? Дыр, опорин нет? Могу подштопать.

«Еще чего! — испугался Вовка. — У меня карманы забиты сахаром и сухарями. Две недели экономил, прятал. А тут сразу — показывай одежонку!»

— Все у меня заштопано, — сказал вслух. — Мама проверяла.

— Ах, мама... — непонятно вздохнул Леонтий Иванович, и круглые его глаза подернулись под очками мечтательной влажной дымкой.

Вовка даже разозлился: «Говорит про спартаковцев, а сам?..»

— Леонтий Иванович, — спросил, не глядя на радиста, — а где вы так хорошо изучили фашистский язык?

— Нет такого языка, братец, — покачал головой Леонтий Иванович. — Есть прекрасный немецкий язык. На нем «Капитал» написан. На нем говорит Эрих Тельман. Ты, братец, с выводами никогда не спеши, а то вырастешь попрыгушкой.

— А все же, Леонтий Иванович?

— В Поволжье я вырос, братец. Там немцев — пруд пруди. С немецкими пацанами рос. Пригодилось, тебя учу.

— А где вы зимовали, Леонтий Иванович?

— В Тобольске.

— Да нет, я про Север спрашиваю.

— А-а-а... — развеселился Леонтий Иванович. — В разных местах. На Белом, на острове Врангеля. На Врангеле вместе с Пашей, с отцом твоим. Я там в помощниках как бы ходил, только на Севере мы все друг другу помощники. — Леонтий Иванович рассмеялся: — Мы там, братец, маму твою здорово расстраивали.

— Как это?

— А медведи нам мешали. Поводились, понимаешь, никаких сил нет. Склад ограбили, удушили собаку. Мы с Пашей, то есть с Павлом Дмитриевичем, собрались однажды да и разыскали все три берлоги. Только в берлогу с карабином не влезешь, а медведи понимают, что нашкодили, — не идут на глаза. У Паши, то есть у Павла Дмитриевича, револьвер был системы «кольт», старый револьвер, но страшной убойной силы. Вот мы и лазали по очереди в берлогу, а твоя мама сердилась, братец.

— И вы лазали? — не поверил Вовка.

— А почему нет? — обрадовался Леонтий Иванович.

Вовка пожал плечами. Отец — да. Но чтобы кругленький Леонтий Иванович полез в берлогу...

Спросил, как бросился в омут:

— А почему вы не на фронте, Леонтий Иванович?

Вопрос радисту страшно не понравился. Он даже побагровел. Точнее, побурел. Вся его лысина побурела.

— Нахал ты все-таки, братец! Мальчишка и нахал! Ду-

маешь, фронт — это только там, где стреляют? Ошибаешься. Фронт, он сейчас повсюду. И у нас тут идет война. Особая, но настоящая война. Скажем, так: война за погоду! — И добавил, нахмураясь: — Иди прохлади мозги. — И буркнул под нос по-немецки, будто сердился: — Эр ист... — И дальше там: — ...блос айн Бубе!

Мальчишка, дескать!

Вовка даже плечами не стал пожимать. «Погодите, скоро увидите, какой я вам мальчишка!»

Вылетел на палубу.

Слева, мористее «Мирного», почти до горизонта тянулись широкие поясны битого льда. Над отпадышами, околышами поблескивало солнце — низкое, негреющее. Над темными разводьями, похожими на кривые черные молнии, курились испарения. А справа, за неширокой полосой вольной воды, совсем близко белел невысокий берег острова Крайночного, окаймленный прибитыми, выжатыми на сушу льдинами. Рычары.

Вовка назубок помнил карту острова.

Еще бы не помнить! Зимовать собрался на острове.

Вон тот хребет — это, конечно, Двуглавый. Он голый и неприступный, он тянется с запада на восток через весь остров и делит его на две неравные части. Северная — берег бухты Песцовой, где под скальными утесами стоят в снегах бревенчатые домики метеостанции, южная — Сквозная Ледниковая долина, плоская как сковорода. Это на ее берега смотрел сейчас Вовка. «Почему Ледниковая? Там что, ледник лежит?» И сразу вспомнил про Собачью тропу. «Почему Собачья? Идет по ущелью, рассекающему хребет, а ущелье тоже названо Собачьим...»

«Мирный» решительно распахивал крепким носом редкий проносной лед. Лыдины кололись, испуганно подныривали под буксир. Если прыгнуть вон на ту лыдину, можно перепрыгнуть с нее на другую, можно так вообще допрыгать до берега. Правда, не стоит. Все тут открыто, Хоботило засечет сразу...

«Потерпим».

Вовка сбежал на корму, присел перед клеткой:

— Белый! Где твоя мамка, Белый?

Белый счастливо ощерился.

А Вовку морозило. Вовке казалось — все видят его оттопыренные карманы, все видят его натянутые под самодельную малицу свитеры. Потому он и прятался на корме — за собачьей клеткой.

Нелегко это — делать что-то тайком.

Вовка сидел на корточках перед клеткой, но смотрел не на собак. Знал, мама сейчас волнуется, Леонтий Иванович волнуется — нелегко расставаться с Большой землей. Знал, ка-

питан Свиблов волнуется — поскорее бы скинуть груз, увести буксир под защиту материка. И матросы волнуются, сочувствуют маме, Леонтию Ивановичу. На острове остаются! Герон! Никто, конечно, не догадывается, что он, Вовка Пушкарёв, тоже полярник, тоже герой, только тайный. Он на остров сойдет потихоньку, слава ему пока ни к чему.

Он послунил палец, выставил перед собой.

Ветер меняется, все круче берет к северу. Это означает — упадет ночью температура. Сейчас около нуля, будет похуже. Не очень весело сидеть в торосах без огня, но придется. Зато капитан Свиблов ни минуты лишней не задержится у острова. Ему, кажется, никогда не нравились льды.

Высокая зеленая волна, шурша редкими льдинками, встала перед форштевнем «Мирного», с размаху хлопнула буксир под левую скулу. «Мирный» вздрогнул, тяжело завалился на корму. Собак сбило с ног, они, рыча, покатались по клетке. Черный дым ударил из пузатой трубы, мутная вода жадно облапила брюхо буксира, такая мутная, будто «Мирный» правда зацепил винтами дно.

Вовка так и подумал: «Дно зацепили...»

И от мыслей этих, от стылой воды, от тишины, царящей над морем, стало ему жутко.

Вольная вода. Низкое солнце. Редкие льдины. Бревно стоячее несет над водой. Далеко несет. У таких топляков один конец набухает, погружается в воду, другой торчит над поверхностью. Совсем недавно Вовка из-за такого же топляка поднялся, дурак, тревогу. Но сейчас на палубу он не побежит. Кое-чему научился, не желает он, чтобы орал на него боцман Хоботило. Топляк, он и есть топляк. Пусть плавает, пока не утонет.

Бревно за кормой навело Вовку на новые мысли.

Как ни мал остров Крайночной, но много есть на нем потаенных бухточек и заливчиков. Не может быть, чтобы не занесло сюда течениями какой-нибудь просмоленный бочонок с картами, нарисованными от руки, с записками погнбающих в море путешественников. Вот тогда будет что рассказать Кольке!

«Пора, — решил Вовка. — Поднимусь к маме. Осмотреться надо. Скоро выгрузка».

Он ступил на трап, ухватился за металлический поручень, собираясь одним рывком выскочить на верхнюю палубу, но какая-то невыносимая, никогда не испытанная им сила, несравнимая даже с железными мускулами боцмана Хоботило, выдернула трап из-под Вовкиных ног, швырнула Вовку в воздух.

— А-а-а! — успел выдохнуть Вовка, и тотчас в уши ему что-то жадно, огненно ахнуло, опалило огнем. Мир льдов,

мутной воды, мир морского буксира мгновенно погрузился в мрачную тишину какого-то совсем другого, какого-то совсем еще неизвестного Вовке мира.

Глава третья. ЧЕРНАЯ ПАЛАТКА

1

Он почувствовал — ветер сменился.

Раньше ветер налетал порывами, теперь дул ровно, пронизывающе. Всей спиной, несмотря на малицу и два свитера, Вовка чувствовал нестерпимое ледяное дыхание, но встать не мог и сообразить не мог, почему он лежит на льду, а не на палубе «Мирного»? Левая рука, подвернутая при падении с трапа, онемела, саднило ушибленное плечо и обожженную щеку, но, наверное, и это не заставило бы его подняться, не пройдишь по его лбу что-то влажное и горячее, совсем как собачий язык.

— Белый! — позвал он.

И хотел спросить: «Мамка где, Белый?» Но собственный голос прозвучал так хрипло, так непохоже, что он сам испугался.

Испугался и открыл глаза.

«Это небо. А это Белый. Он лапу поджал. И смотрит так, будто он, а не я спрашиваю про мамку. И лбом толкает. Лезет в карман. Сухари. Помнит. Хорошая у Белого память».

Сказать то же самое о своей памяти Вовка не мог.

Он боялся поднять голову.

Одно дело, если он действительно лежит на краю Сквозной Ледниковой — тогда можно будет подумать, как он сюда попал. Другое дело, если он просто свалился за борт, и буксир, застопорив машины, раскачивается рядом с берегом, и с палубы смотрят на Вовку Леонтий Иванович, боцман Хоботило, капитан Свиблов...

«Почему я не могу поднять руку? Примерз рукав? Почему примерз? Сколько времени я лежу на льду?»

Вовка с отвращением отодрал рукав малицы от порнистого белого льда. Медленно поднялся. Его пошатывало. И «Мирного» он не увидел. «Мирного» не было, буксир, наверно, ушел.

До самого горизонта тянулись широкие поясины льдов, разведенных ветром. В полыньях лениво покачивались околыши, море вздыхало, играл на солнце ледяной блеск.

Льды.

Теперь это была не та тертюха, которую легко раздвигал укрепленный нос «Мирного», это были вполне приличные льды, нанесенные ветром издалека.

Ледяные зубья, голубые клыки.

Угораздило бы «Мирный» врубиться скулой в такое вот поле, тут не то что Вовку, тут боцмана Хоботило выбросило бы за борт!

И ведь угораздило. Он, Вовка, лежит на льду, рядом Белый прихрамывает. Хороший оказался удар, если опрокинуло металлическую клетку с собаками.

Вовка потер ушибленное плечо.

Он стоял на самом краю огромной, выдавленной на берег льдины. Внизу хлопотала, всхлипывая, черная, как чернила, вода. Совсем близко темнела громада хребта Двуглавого. Это за ним, знал Вовка, лежит бухта Песцовая, это за ним уютно дымят домишки зимовки.

«И рукавицы нет. Левая на руке, а правой нет».

Вовка отчетливо, до малейших деталей представил, что сейчас делается на палубе «Мирного». Боцман всяческими словами поносит этого беспутиого поливуху, его, Вовку, испортившего весь рейс, Леонтий Иванович по-немецки поносит сбежавшего пса, капитан Свиблов презрительно усмехается — ох, уж это Управление, навязавшее ему такого дурацкого пассажира! «Льды! — тычет перед собой Свиблов. — Не морозь, не молодежь. Крепкие льды! А у меня, сами понимаете, груз. К берегу не пойду, пусть с зимовки Леонтий гонит за пацаном упряжку!»

А мама?

Если бы мама увидела, что его, Вовку, выбросило за борт, она добралась бы до него даже вплавь.

— Белый!

Вовкин голос прозвучал хрипло, неуверенно. Негромко прозвучал. Даже Белый взглянул на Вовку с недоумением.

«В з р ы в! — дошло до Вовки. — Я же помню: огнем ударило! Это подлодка была! Это не бревно за кормой качалось! А я, дурак, никого не предупредил!»

Со страхом он огляделся.

Где они — разбитые шлюпки, обломки надстроек, нетонущие пробковые пояса?

«Ничего нет! — обрадовался. — ОтбилсЯ «Мирный». Спрятался от торпед во льды, а к пушке фрицев не допустили пулеметчики. Меня взрывом выбросило, но «Мирный» ушел. Сейчас в бухте Песцовой Леонтий Иванович собирает упряжку. Часа через три здесь будет. Меня же и отругает. «Ушло, — скажет, — судно. Не стал тебя ждать Свиблов. Ушел, пока ты тут за бургом болтался!» Кругленько так скажет.

Ему, Вовке, это и надо. «Никакого обмана. Просто в ы б р о с и л о з а б о р т. Зимую поневоле».

Ободренный, Вовка взглянул на хребет.

Но такие темные, такие угрюмые ползли по распадкам тучи,

что ледяной холодок вновь тронул его тощую спину. Приедут за ним или нет, пока он один. И даже рукавички у него нет. А ветер холодный. И теплей ночью не станет.

«Зато мама ни за какие коврижки не посадит меня обратно на буксир. Раз за «Мирным» охотятся фрицы, не посадит она меня на буксир!»

«А если не приедет Леонтий Иванович? Если буксир ушел в море и отстаивается во льдах? Если капитан Свиблов уйдет из-за подлодки в Игарку?»

«Трус! — обругал себя Вовка. — А еще хотел спрятаться в торосах! Два свитера натянул!»

«Колька бы не струсил», — сказал он себе. И позвал: — Белый!

Голос все еще звучал хрипло, растерянно. Белый даже голову не повернул. Но как мог звучать Вовкин голос, если, повернувшись, наконец, к морю, он, Вовка, с ужасом разглядел на одной из вздыбленных, обкрошенных льдин бесформенные, но ясно различимые ярко-алые пятна.

«Сурик! — с запозданием, но догадался Вовка. — Это сурик. Это краска, которой покрывают днища судов. «Мирный» вворачался тут как мамонт, уворачивался от фашистских торпед, лез сквозь льды, не разбирая дороги! Отбил, ушел, вот только льдину всю перепачкал. Надо теперь самому топтать на станцию».

Он не мог оторвать глаз от ярко-алых пятен.

Почему он не увидел их сразу? И что там на льду делает Белый?

Он снова окликнул собаку, но Белого оклик не остановил. Прихрамывая, припадая на переднюю лапу, пес бежал по краю округлой широкой полыньи, постукивая, водил низко опущенным черным носом. Вдруг, остановившись, яростно заработал передними лапами, будто нору рыл или прокапывал спуск к воде.

— Белый!

Пес продолжал работать. А под Вовкиным унтом что-то непонятно хрустнуло.

Щепка!

Самая обыкновенная деревянная щепка...

«А разве щепки бывают не деревянные? — тупо спросил себя Вовка. И так же тупо ответил: — Бывают». А сам думал: никогда в жизни не видал он ничего более мрачного, чем эта обыкновенная щепка. Всего лишь щепка, а спину так и леденит.

— Белый!

Пес и сейчас не обернулся. Покрутившись на месте, он уселся прямо на лед и, вскинув вверх лобастую голову, то-скиливо, дико завыл. И вой этот оледенил Вовку почище ветра.

Охнув от боли в плече, Вовка бегом припустил к полынье. Не может Белый завять ни с того ни с сего. Там что-то есть такое, в этой проклятой полынье!

И застыл на бегу.

Замер.

В полынье, на широком ледяном языке, под алыми пятнами сурика, наполовину выбросившись на голубоватый этот ледяной язык, лежал вниз лицом боцман Хоботнло.

Он лежал лицом вниз, но Вовке совсем не надо было видеть его лицо. Он узнал боцмана сразу — по черному бушлату, по кирзовым сапогам, по мощным раскниутым рукам. Вот только шапки не было на боцмане. Редкие волосы на затылке обмерзли, тонкими сосульками обвисали к неподвижной воде.

Молча, не веря самому себе, забыв о Белом, забыв вообще обо всем, Вовка сделал шаг к полынье.

Его била крупная дрожь.

Он знал: надо спуститься к воде, надо помочь боцману, но ногн отказали ему. Позвал шепотом:

— Дядя боцман!

Хоботнло не отозвался.

— Дядя боцман!

Хоботнло молчал.

«Я трус, — с ужасом подумал Вовка. — Я боюсь спуститься к воде!»

Он думал так, а сам медленно, понемножку, спускался н, наконец присев, коснулся рукой обледелого боцманского бушлата. Сукно показалось ему стекляннм. Таким же стекляннм, похожим на прозрачную янчную скорлупу, показался ему заледенелый затылок боцмана.

«Что я делаю? Зачем я тяну за хлястик бушлата? Он, хлястик, сейчас оборвется...»

Хлястик, правда, оборвался.

Не мог Вовка вытянуть из воды такое большое, такое грузное тело.

Он сел на краю полыньи и заплакал.

«Это подлодка была. А я увидел перископ и принял его за бревно. Я никому не сказал, боялся — будут смеяться».

«Где мама?»

Вовка плакал. Он не мог оторвать глаз от боцмана, от черной неподвижной воды.

«Там, внизу, под водой, — подумал он, — лежит сейчас на грунте чужая подлодка. Там, внизу, — подумал он, — чужие матросы поздравляют с победой Шаара или Мангольда, Франзе или Лаинге. Они, — думал он, — пьют сладкий горячий кофе и гогочут над несчастным буксиром, так сильно дымившим своей пузатой трубой».

«Нет! — не поверил он. — Не могли они утопить буксир.

Пулеметчики им не дали. Вон ведь ледокольный пароходик «Сибиряков» сражался против целого линкора!»

«И погиб! — вспомнил Вовка. — Геройски, но погиб...»

Он не хотел так думать о «Мирном». Все в нем сопротивлялось таким мыслям. Не могло не сопротивляться. Ведь на «Мирном» была мама!

Он не смог вытащить боцмана из полыньи. Но и оставить его в воде он не мог. А если боцман очнется? Если боцман крикнет: «Эй, на шкентеле! Руку!»

«Бежать надо. На метеостанцию».

— Белый!

Но Белому было не до Вовки. Белый настороженно обследовал валяющийся неподалеку ящик.

— Белый! — утирая слезы, крикнул Вовка, а сам уже стоял над ящиком, отдирая его фанерную крышку.

Шоколад!

Шоколад «Полярный».

Однажды, еще до войны, забежал к Пушкаревым знаменитый друг отца — радист Кренкель.

Маме — цветы, Вовке — плитку шоколада.

Он хорошо помнил: шоколад «Полярный».

А Кренкель устроился на диване, посмеиваясь, рассказывал отцу о своей давней поездке в Германию. В тридцать первом году Кренкеля пригласили участвовать в полете на дирижабле «Граф Цеппелин». Забыв о шоколаде, Вовка ждал приключений — взрывов в воздухе, бурь в эфире. Но Кренкель не столько говорил о дирижабле, сколько ругал польскую охранку — дефеизиву. Они, эти дефеизивщики, отобрали у него на границе журнал «Огонек» и газету «Известия», а кроме того, все, как один, походили на генералов, так лихо позвякивали их шпоры, так вониственно топорщились усы, так ярко вспыхивали под солнцем медные полоски на обводах роскошных конфедераток.

Оглядываясь на полынью, Вовка положил в карман несколько шоколадных плиток. Это он угостит маму и Леонтия Ивановича, шоколад ведь везли для них. «Вот ведь как удачно получается, — сглотнул он слезы. — И сам приду. И приведу Белого. И еще шоколад будет».

Он твердо знал: не мог погнбнуть «Мирный». Капитан Свиблов не мог допустить этого. Капитан Свиблов самый осторожный капитан Северного флота, он не подпустит подлодку к «Мирному».

О боцмане Хоботило Вовка старался не думать.

Лежащий в полынье боцман сразу разрушал все его мысленные построения.

Он брел по плотному снегу, под низким и тусклым небом, кусок шоколада таял во рту, но из-за слез Вовка не чувствовал его вкуса.

В Перми, в эвакуации, вспомнил он, время тянулось так медленно. В Перми мама возвращалась со стройки так поздно. Но все равно, лучше бы он сидел сейчас в Перми, в той чужой холодной квартире. Пусть поздно, но мама возвращалась. Она присаживалась рядом, обнимала Вовку: «Как там отец? Ему небось холоднее». — «Ничего, — соино бормотал Вовка. — Он же не на фронте». — «Оболтус! — вскипала мама. — Дался тебе этот фронт!»

Пусть бы мама сейчас сердилась, лишь бы «Мирный» ушел от подлодки.

Глотая слезы, Вовка брел вдоль берега, думая, как не повезло боцману Хоботило и как несправедливо везет ему, Пушкареву Вовке. И Белый сзади хромот, и карман набит шоколадом, и на метеостанции ему обрадуются.

— Устроился... — зло шептал себе Вовка. — Сперва на «Мирном» устроился, иждивенец, всем мешал, теперь иду на станцию. А Хоботило...

Будто желая остановить Вовку, дать ему одуматься — куда это он бредет? — встала по правую руку чудовищная каменная стена, иссеченная черными прослоями. Будто бросили на снег огромную стопу школьных тетрадей, смяли их, переложили копировальной бумагой.

«Как уголь...» — подумал Вовка.

И понял: уголь. Каменный. Сыплется сверху из черных прослоев. Вон сколько насыпалось — целые горы.

Но остановила Вовку не каменная стена, не угольные пласты, секущие эту стену.

Палатка!

Под каменной стеной, среди черных угольных глыб торчала самая обыкновенная брезентовая палатка.

Вид у нее был нежилый — застегнута, зашнурована, поросла поверху густым инеем. Но это была самая настоящая палатка, и над нею, укрепленный растяжками, возвышался деревянный шест — антенна.

— Эй! — завопил Вовка.

Белый, лая, мчался рядом, но, не добжевав до палатки, остановился, настороженно повел носом.

Вовка никаких запахов не чувствовал.

Холодя пальцы, расшнуровал обмерзшие петли, залез, сопя, в палатку.

Никого.

В дальнем углу — деревянный ящик. У входа — примус,

бидон, видно, с керосном, его-то и унюхал Белый. И свернутый спальный мешок.

«Что в ящичке? Неужели опять шоколад?»

Но в ящичке хранился не шоколад.

В ящичке хранилась рация.

Металлический корпус холодно обжег пальцы, но все было при ней, при этой рации — и эбонитовые наушники, и пищик, и бронзовый канатик антенны, и батареек. Тут же, обернутые резиной, лежали три коробки спичек «Авон».

«Рация! — радовался Вовка. — Если надо, я сам выйду в эфир!»

Он вовремя вспомнил о зоне радиомолчания. Если рядом действительно бродит фашистская подлодка, разумней было молчать.

«Маленько отдохну, — сказал он себе. — Маленько отдохну и на станцию».

— Совсем маленько отдохну, — сказал он вслух, озираясь, а сам уже качал примус, негнущимися пальцами зажигал спичку.

Спичка, наконец, вспыхнула, примус зашипел, пахнуло в лицо керосном, теплом — живым пахнуло. И, сдерживая готовые хлынуть слезы, Вовка с презрением сказал себе: «А еще во льдах хотел прятаться!»

«В сентябре-то! — Сейчас, добравшись до палатки, Вовка не хотел прощать себе ни одной ошибки. — Снегу тут в сентябре на ладонь».

Сын полярников, он в общем представлял, что это такое — полярная осень.

Никакого медленного угасания природы.

Не падает листва с деревьев, не жухнет, свертываясь в ветошь, трава. Нет тут травы, нет тут деревьев — не с чего падать листьям. Просто однажды над голой тундрой, над безлюдными островами, над мертвым проносным льдом начинается бусить дождь, низкая синева неба недобро ложится по краю неба, а ночные заморозки стеклят ручьи, промораживая воду до самого дна.

Вот тогда-то и падают на тундру шумные ветры, несущие с собой бешеный сухой снег.

«А я хотел в снег зарыться...»

Примус шипел, в палатке заметно потеплело. Сверху, с оттаявшего тента, сорвалась мутная капля.

«Отдохну маленько...»

Но рыкнул злобно Белый.

Рядом рыкнул, у входа в палатку.

И так же злобно залились в ответ чужие собаки.

«Леонтий Иванович?...»

Торопясь, Вовка рвал на себя полу палатки, торопился

увидеть собак. И увидел их. И еще на нарте увидел: цепляется за деревянный баран остолбеневший от самого его присутствия бородатый приземистый человек.

Глава четвертая. В БУХТЕ ПЕСЦОВОЙ

1

Бороду неизвестный забрал в ладонь, так что из-под рукавицы клочьями торчали русые волосы.

— Гин!

Крнчал он на своих собак, но Белый, ощерившись, тоже поджал хвост, отступил за палатку.

Бородач соскочил с нарты.

Малица на нем была потерта, поношена. Вовка увидел пару заплат. А еще больше удивил его рост бородача: при таких мощных плечах он вполне мог оказаться раза в два выше.

Округлив глаза, бородач ошеломленно выдохнул:

— Ты кто?

— А вы не от мамы?

Бородач совсем ошалел:

— Хотел бы я увидеть здесь маму!

— А «Мирный»? — Вовка все еще наполовину торчал из палатки. — Разве «Мирный» не пришел?

— Хотел бы я увидеть здесь «Мирный»!

— Мы — смена, — выдохнул Вовка. Он был в отчаянии. — Я — Пушкарев с «Мирного».

— Гин! — заорал бородач. Не на Вовку. На Белого, вновь облаявшего ездовых псов.

— Гин! — бородач с силой вогнал остол в снег, намертво закорил нарты. Одним движением втолкнул Вовку в палатку, резво, как медведь, ошалело уставился на раскрытый ящик с рацней, на раскинутый спальный мешок (на нем сидел Вовка), на примус, издающий веселое ядовитое шипение. — Смена, говоришь?

— Смена.

— Не староват для зимовки? — неприятно ухмыльнулся бородач и скинул шапку. Голова оказалась неожиданно круглой, коротко стриженной. Он быстро, удивленно крутил ею, недоверчиво шурился: — Сколько тебе? Одинадцать?

— Почти пятнадцать, — с надеждой приврал Вовка, не сводя глаз с незнакомца.

— Лгун!

— Почему? — испугался Вовка.

— Где тебя отлучило от «Мирного»?

— А разве «Мирный»...

— Гни! — заорал бородач. Вовкины вопросы, похоже, ничуть его не занимали. — Что ты делал на «Мириом»?

— Плыл к бабушке.

— К бабушке? — ойкнул бородач. — Не надо! Не встречал я на Крайночном бабушек.

— Я плыл в Игарку, — совсем упал духом Вовка. — А на Крайночной плыла смена.

— Кто? — быстро и недоверчиво спросил бородач.

— Мама, — пожегил Вовка. Он видел, незнакомец ему не верит. — Ее зовут Клавдия Ивановна. И еще радист. Леонтий Иванович.

— А, знаю! — притворно обрадовался бородач. — Леонтий Петрович, как же! Длинный такой, с усами!

— Неправда, — дрожащим голосом возразил Вовка. — Он не длинный. Он толстенький. И голос у него тонкий. И не Петрович он, а Иванович.

— Вот я и говорю — Семеныч. Давно с ним мечтаю встретиться.

Вовка видел: ему не верят. Вовка видел: бородач не может объяснить его появление в палатке. Но похоже, бородача здорово тянуло к Вовке. Он даже наклонился, он даже пропел фальшиво:

— «Цветут фиалки, ароматные цветы...» — И быстро спросил: — Патефон везете?

— Наверное. — Вовка не видел среди снаряжения патефона, но огорчать бородача не хотел. — Вещами мама заведует.

— А чего ж ты болтаешься тут один, Пушкарев Владимир?

— Я не один, — похолодел Вовка.

— Собаки не в счет. У меня их шесть штук, так я ж не говорю: нас семеро.

— Я не один, — с отчаянием повторил Вовка. Он сразу вспомнил о боцмане, лежащем в полынье.

— Кто еще? — привстал бородач.

— Там... В полынье... Там боцман... Я не мог его вытащить...

Бородач выругался:

— Гаси примус! Расселся!

Вовке во всем хотелось слушаться бородача. Он вдруг поверил: если он во всем будет слушаться бородача, они сейчас спасут боцмана, они найдут «Мириый», они увидят маму. Но бородач враз помрачнел.

— Гни! — прикрикнул он на собак. — Зови своего пса. Нарты оставим здесь. Собаки у меня ненецкие, ни бельмеса не понимают по-русски. А твой, я гляжу, помор.

— Ага, — мотнул головой Вовка. — Он из Архангельска. У него мамку увезли в Англию.

— Союзники?

— Ага.

— Дружбу крепят?

— Ага.

На ветру ушибленное плечо вновь заныло. По всему горизонту, сводя Вовку с ума, лежала мрачная синевница. От всеобщей этой химической тусклости, от мертвенной тишины, низкой и бледной, еще страшнее, еще ужаснее показались Вовке кровавые пятна сурика, ярко выделяющиеся на белых плоскостях вздыблинных льдин.

— Понято... — озираясь, бормотал бородач. — Покоптели немножко. Костерчик жгли, нет?.. Шучу я... Шучу... А это, значит, и есть боцман? Видный мужчина. Ругаться, наверное, любил.

Наклонившись над боцманом, бородач пытался расстегнуть промерзший бушлат.

— Не получается... Ладно... Ты его личность, значит, удостоверяешь, а я твоим словам, значит, верю. Так? — И подсказал Вовке: — Говори, т а к! И губу подбери, наступишь на губу. Тащи боцмана за руку!.. Что значит, не можешь? Тошинт? Ничего! С возрастом и это пройдет, Пушкирев Владимир. Боцмана вот не тошинт, а я не знаю, кому из вас сейчас легче.

Вовка сжал челюсти.

Он уже видел, как хоронят людей. Он уже видел раненых в госпиталях. Он многого навидался за последние три года. Но ведь боцман Хоботило совсем недавно был жив, боцман Хоботило совсем недавно прикрикивал на него, топал на него сапогами...

Механически, не понимая, что, собственно, он делает, Вовка подтаскивал обломки льда к глубокой трещине, в которую бородач с трудом уложил тело боцмана.

— Потерпи, братан, — вслух бормотал бородач. — Ты на нас не сердись, братан. Ты полежи, отдохни, мы тебя потом устроим по-человечески.

«Это он боцману...» — думал Вовка.

— Хороший был мужик?

«Это он мне...»

— Помор, сразу видно. Они, поморы, здоровые. Много примет знал, наверное. Они в этом деле знатоки. — Бородач неожиданно прикрикнул на Вовку: — Эй, на шкеителе! Плыть нам с тобой, стрик полуношника, к северу! Восточники да обедники — заморозные ветерочки! Так боцман говорил?

Вовка с трудом кивнул.

Бородач нахмурился:

— Ты, Пушкирев Вовка, морду не вороти в сторону. Ты уйми желудок. Ты в серьезную историю ввязался. Братана морского хороним. Нашего братана. — И разрешил: — Топай к палатке.

— А ящик?

— Какой ящик?

— Вон...

— Что в ящике?

— Шоколад.

— Ну? — бородач полез в ящик. — Правда! Мы ящичек возьмем на плечо. Шоколад — это большой подарок. Ты еще сам налопаешься этого шоколада.

«Никогда больше не буду я его лопать», — с отвращением подумал Вовка. А вслух сказал:

— Мы, наверное, скулой врубился в льдину. — Он ни на грош не вернул себе, но убеждал бородача: — Вот меня, наверное, и выбросило на лед. Я ничего не помню. Стоял на палубе, а потом — лежу на льду. И боцмана выбросило. И Белого.

Он боялся, он не хотел упоминать подлодку.

Была ли подлодка?

Бородач ошалело взирал на Вовку. Он взирал на него как на сумасшедшего. И поддакнул как сумасшедшему:

— Бывает. Неосторожно шли.

Слишком легко он согласился с Вовкой, и Вовке это было противно, будто оба они, не сговариваясь, обманывали друг друга.

А бородач думал: «Не договаривает малец. Стукнись буксир о лед, гарью бы не пахло. И ящик на льду. И боцман. И собака. Уйди «Мирный» в море, я бы заметил его. Берегом ехал. Бойтся малец. В шоке».

Убойный снег поскрипывал под ногами. Подмораживало. Ветер упрямо брал круто на юго-запад, мел по всей Сквозной Ледниковой.

«Триста... Триста пятьдесят... Четыреста... — считал Вовка шаги. — Почему он идет так быстро? У него же на плече ящик».

Шел, не веря, что каких-то три часа назад он стоял у иллюминатора, а на рундуке, раскидав по подушке рыжую косу, спала и улыбалась во сне мама.

2

Палатка остыла.

Бородач разжег примус, поставил на него котелок со снегом.

— Чаёк любншь?

— Ага.

Бородач усмехнулся:

— Я тоже.

— У меня сахар есть. И сухари.

— Откуда? — подозрительно покосился бородач. — Там что, еще валяются ящики?

Вовка не ответил. Он сжал в ладонях жестяную кружку с кипятком, и она замечательно обожгла ладони.

— Ладно,— сказал бородач.— Мы люди занятые. Давай, Пушкарев, выкладывай. Как на духу выкладывай. Все и без вранья!

И Вовка выложил.

Все выложил.

О «Мириом», вышедшем из Архангельска с зимовщиками для Крайночного и с грузами для Игарки («С какого причала? — шурился недоверчиво бородач.— С Арктического? Ладно. Есть такой».); о маме-метеорологе, которую Управление Главсевморпути разыскало в далекой Перми («А в Питере где жили? На Кутузовской? Ладно. Есть такая».); о Леонтии Ивановиче, любившем выстукивать морзянку в самый неподходящий момент («Знаю чудаков. Есть такая привычка».); о бабе Яне, ожидающей внука в Игарке («Небось, живет в каменном доме? Нет? В бараке. Ладно. Запомним».); даже о военном инструкторе выложил все, даже о ложной тревоге, поднятой им в море; забыл, правда, фамилию одного из фашистских командиров («Да наплевать. Мангольд или Ланге, все равно гады!»); наконец, выложил он и свой тайный план — бежать с буксира, когда начнется разгрузка.

Вовкин план бородачу не понравился. Поскреб бороду, спросил с усмешкой:

— Дезертировать хотел?

— Как это дезертировать? — ужаснулся Вовка.

— А так! — без всякого снисхождения объяснил бородач.— Время военное, приказ есть приказ. Тебе какой курс определили? Игарка! А ты?

— Я не успел...

— Ах, не успел! — ядовито хмыкнул бородач.

Но сладко шипел примус. Усыпляюще пахло керосином. Ломило суставы от тепла и усталости. Глаза слипались. «Я не дезертир,— подумал про себя.— Я не в тыл бежал к бабке. Я рвался к зимовщикам».

— Ладно,— сжалился бородач.— Знаю я твою маму. И об Леонтии слышал, пухом ему вода. Лыков я. Илья Сергееч. По уличному уставу кликали в детстве Илькой, но тебе — дядя Илья. Ясно? — И спросил: — Своего шоколада мало? Зачем полез в ящик?

Вовку мутило от шоколада, он негромко ответил:

— Людей искал.

— В ящике?

Вовка промолчал.

— Что нашел-то? — прищурился Лыков.

— Рацию.

— Откуда знаешь, что рация?

— Я почти на такой работал.
— Как работал? Врешь!
— Не вру. Меня Колька Милевский, он жил на Литейном, водил на курсы радиотелеграфистов.
— И морзянку знаешь?
— Ага.
— А ну, отстучи что-нибудь.
Вовка послушно отстучал. *Тире тире... Точка тире... Тире тире... Точка тире...*

Лыков сразу насутился, забрал бороду в ладонь:
— Ладио, братан. Отыщем мы твою маму.
— Может, сейчас попробовать? — вскинулся Вовка. — Давайте выйдем в эфир. «Мирный», он где-то рядом!
— А эти твои? — многозначительно постучал Лыков по ящику. — Эти твои Мангольд да Ланге, да прочие гады? Думаешь, они лопухи? Никогда так не думай о врагах, Вовка. Если они нас запеленгуют, хорошего не жди. Не псами же нам пугать подлодку. Белый твой не бросится топить подлодку. Так ведь? — И сам ответил себе: — Так! — И добавил, вставая: — Идем!

3

Вовка бежал рядом с нартами.

Он устал, очень саднило плечо, но бежать было все же легче. Нарты, наживо связанные ремнями, ходили под ним ходуном, баран рвался из рук. Собаки, порывкая на Белого, лихо несли нарты, тянули алык то левым плечом, то правым, Вовку бросало как куль с мукой.

— Чего ты как на насесте! — прикрикнул Лыков. — Полозья есть, ставь ноги на полозья.

Лыкову езда не доставляла никаких неудобств. Он пружинисто бросал корпус из стороны в сторону, не теряя равновесия, гнал собак. Гин! Гин!

— На твоего пса сердятся собачки. Он что, ходил у тебя в жоках? Это жаль. Не подпустишь к упряжке. Я утром выскочил на бугор, — повернулся Лыков к Вовке. — Туман над морем, не видать ни земли, ни моря. Только вдруг туман осветился изнутри — красным. Полыхнуло. Надо, думаю, смотаться. Кто знает, что там? — Он спохватился и сменил тему: — Рацию-то, слышь. Рацию, что ты видел в ящике, ее наш радист слепил. Головастый мужик. Литовец. Рымас Елинскас. Катушки для контура и вариометра сам мотал из звонкового провода. Бет такой одномиллиметровый двойной обмотки, понятно? Ну, а для прочности покрыли его шеллаком. Стахановцы!

Вовка молча кивал.

«Белый хромает — жалко». Мысли путались. «На «Мирном» есть врач, может, залечит Белого? Сколько льдов! Плоские они. И небо плоское».

Собаки на ходу воротили морды, порывались для порядка на Белого. Лыков, не уставая, работал остолом. Выйдя на ровный участок берега (справа, совсем вблизи, мрачно шли к морю обрывистые предгорья Двуглавого), гикнул, пустил собак во всю прыть. Шесть их было, но несли как бешеные. На ходу Лыков ловко прыгивал с нарт, бежал, задыхаясь, снова прыгал на нарты. Ни разу не споткнулся, не выронил остол, все поглядывал.

«Вымотался пацан. Лицо — как бумага. Щека красная. Поморозил? Обжег? И верит, дурачок, ушел «Мирный» в Песцовую. Я бы увидел. На дне он, наш «Мирный». Карский штаб предупреждал: бродит подлодка. Плохо дело. Жалко мальчика...

Жалко мальчика, — думал Лыков, прыгая на нарты. — Ничего он не понял, отшибло соображение. Не ушел «Мирный», все там — на дне. Надо сразу занять мальчика делом, кончилось для него детство. Оно, в общем, раньше кончилось. Что они видели за эти годы, наши мальцы? Война проклятая!»

Собаки дружно тянули нарты.

Двуглавый вырос, занял полгоризонта, слева бледно тянулось выцветшее от холода море. Высокие льдины отражались в плоской воде, одинаково лиловые в воздухе и в море; оставалась за спиной голая заснеженная тундра, плоская, низкая. Кочки не делали ее неровной.

Трясая на нартах, оглядываясь на прихрамывающего Белого, Вовка жил одним: скорей увидеть Песцовую!

Круглая бухта, вольная. Две-три лиловые льдины. А посреди бухты «Мирный» — белый, а дым из пузатой трубы — черный. На борту выстроилась команда. Вовку даже ругать не станут. Нашелся. Он ведь не виноват, что его выбросило за борт.

«Но как они меня потеряли? Как я оказался на льду? Как оказался на льду боцман и Белый?»

Он догадывался, он знал, но гнал от себя эти мысли. Твердил себе: «Ударил из пулеметов, не позволили фрицам добежать до орудия, ушли в лед. Поцарапать днище легко, вот она и красна на льдах».

С моря бил ветер, холодил лицо.

Собаки отворачивали морды в стороны, казалось — любят Двуглавым.

В Пермь, вспомнил Вовка, зимой было тоже холодно. Утром протопят печку, к вечеру все равно вымерзнет. Он и дома сидел в пальто. Дровишек всегда не хватало. На оконных стеклах намерзали, оплывая на подоконник, ледяные пластины. Но в Пермь даже это было Вовке на руку. Так легче было ждать маму. Ведь, как Руаль Амундсен, как челюскинцы, Вовка

каждый вечер искал свой путь во льдах, шел своим Северным морским путем.

Весь Ледовитый океан, дымящийся от мороза, лежал перед Вовкой на промерзшем оконном стекле. Бумажка, заменявшая корабль, скользила сверху, с чистого стекла, подходила к кромке вечных льдов. Тут приходилось пускать в дело стальной бур — сломанное ученическое перо. Лед лопался, бежали по льду снеговые узкие трещины.

Тошнй полярник В. П. Пушкарёв, самый главный специалист по Северу, буром-пером колот громадные пакеты льды, пробивал коридор для своего корабля, растаскивал по вязущему, не отпускающему судно стеклу тяжелые льдины.

Главное — пройти Северный морской путь за одну навигацию! То есть пройти его до возвращения мамы! Зимовать во льдах Вовке было ни к чему. Ведь он, полярный капитан В. П. Пушкарёв, доставлял на мыс Челюскин, на сибирские острова, на далекую Чукотку и даже для камчадалов самые что ни на есть вкусные вещи. В трюмах его судна лежал шоколад «Полярный», лежали сахарные головы, свежие мандарины, сало в бочках, морошка моченая, консервы мясные и рыбные, чай. Эскимосы и чукчи, полярники и промышленники выходили на обрывистые берега, представляли ладони к высоким лбам — ждали, облизываясь, Вовкиных товаров.

Что там Ченслер и Пахтусов, что Мак-Клур и Франклин! Ему, Вовке, мог позавидовать сам капитан Воронин!

Сейчас же Вовка хотел одного: увидеть «Мирный»!

Еще вчера не было для него судна более скучного, еще вчера не было для него команды более осторожной, еще вчера он не понимал и с презрением думал — зачем вообще выходить в море, если путь твой все равно лежит в сплошной морозге и жмучи? Сейчас Вовка все был готов отдать за встречу с «Мирным». В голове гудит, болит плечо, но пусть бы еще сильнее болело, только пусть мама лежит на рундуке и спит. Он не стал бы ее будить. Надо выйти на палубу, выскочить в одном свитере, а малца пусть лежит поверх одеяла — так маме теплее. Ведь какая красивая мама была перед отъездом с материка: на голове беретик, пальто с широкими плечками; матросы, проходя мимо, морщили носы от удовольствия.

«Где мама?»

Вовка бежал рядом с нартами, рядом с Лыковым, но ничего не замечал, ничего не видел. Лыков жалел: «Подвело мальчика. У Николая Ивановича есть банка консервированных лимонов. На случай Победы хранили, но тут такой случай, хоть плачь. Не много мальцу видеть радостей. Не придет «Мирный». Это он еще в шоке, он еще специально травит себя — на лед наткнулись. Не лед, подлодка. Приедем, предупреджу Римаса. Николай Иванович — человек деликатный, мягкий, а Римас

такое может брякнуть, малец на него с ножом киется. Ему сейчас много не надо. Он как пружина взведен. Ему главное — маму увидеть. Чует ведь, плохо дело, но надеется, обманывает себя. Боцмана похоронил, мамку не может...»

4

— Перекур! — крикнул Лыков, вгоняя остол в снег. — За тем вои увалом — станция. Вниз слетим в две минуты, что на твоих санках. Перекур, Пушкарёв Владимир!

— Вы мне?

— Нет, собачкам! — хмыкнул Лыков.

Это был второй перекур.

Вовка устал, но готов был бежать без всяких перекуров, так хотелось ему быстрее увидеть Песцовую. Только Лыков все равно устроил перекур. Скручивал козью ножку, старался не смотреть на Вовку. Всякое ему приходилось видеть, но чтобы малец мать терял, на глазах терял — такого не видел!

Тоший пацан. Видно, жилось несладко.

А где эвакуированным жилось сладко?

«Ничего, — решил Лыков. — Отстучим в Карский штаб, летчики ущучат подлодку. Разгулялась, стерва! Война к завязке, а она кусается!»

Вздыхая, свертывал самокрутку.

— Отдышись, малец.

— Я не малец! — огрызнулся Вовка.

— Да вижу, вижу. Владимир ты Пушкарёв. Вижу.

Вовка промолчал.

— Ты не злился, — вздохнул Лыков. — У нас тут не курорт, не Северная Пальмира. Мы третий год без людей. Ты на острове — первый.

Вовка молчал. Его молчание задевало Лыкова.

— Наверное, думаешь, полеживаем в спальничках, поплеываем в низкое небо? Ведь думаешь так? А жить тут трудно, Пушкарёв Вовка. Было время, не спорю — закусывали икрой. А сейчас не брезгуем и гагарой. Кричит она свое «ку-ку-лы», а мы ее все равно в кипяток. Еще на траве-салате держимся. Растет у нас такая трава-салата, многолетнее из крестоцветных. Она даже при сорока градусах мороза зеленая. И стебель зеленый, и листья зеленые, даже цветы. Лучшее противоягодное, потому что другого у нас нет, Вовка. Любим мы ее, эту траву-салату. Нельзя нам без нее никак. А без нас, Вовка, никак нельзя фронту. За наши метеостанции, Вовка, Гитлер отдал бы лучшую дивизию, вот как она всем нужна — погода. Самолет ведь не поднимешь в воздух, если рядом идет гроза, танки не пустишь по болотистой равнине, если ждешь дождей, катер

торпедный и тот не полезет в шторм. Погода, Вовка, нужна всем. И погоду даем мы!

Вовка промолчал.

— Ладно,— обиделся Лыков,— если не придурок, сам поймешь.

— Ага,— кивнул Вовка. И спросил: — Может, поедем?

Лыков хмыкнул, но встал, двинулся к нартам.

Взметывая снег, собаки одним махом вылетели на высокий гребень. Рвали алыки, влаивали — почуяли дым жнлья.

Вовка вытянул шею, привстал на несущейся вниз нарте:

— Дядя Илья!

Он первый увидел.

На вольной воде, черной, как тушь, лежало медленное длинное тело подлодки. Вокруг палубного орудия суетились люди в незнакомой форме, с рубки вяло свисал казавшийся черным флаг.

— Дядя Илья!

Второй раз за день Вовка никого не успел предупредить.

Ударили автоматные очереди. С визгом, пятная кровью снег, покатались с откоса расстрелянные собаки. Чужие люди, хрипло покрикивая, бежали навстречу. Краем глаза Вовка увидел упавшего с нарт Лыкова. Но его самого уже крепко держали. Промасленные меховые куртки, небритые лица, рты, немо выкрикивающие слова, из которых ни одно не задерживалось в сознании.

Куда его тащат? Почему они кричат «Эр ист»?

«Ну да,— мелькнуло в голове,— там еще было — блос айн Бубе! Утром мне так сказал Леонтий Иваиович. Я спросил его: «Почему вы не на фронте?», а он разозлился: вырастешь попрыгунчиком! И добавил: «Эр ист...» Мальчишка, дескать! Всего лишь мальчишка! А я еще решил: подумаешь, мальчишка! Еще увидите!»

Эр ист блос айн Бубе!

Вовка возненавидел себя.

Он — мальчишка!

Он всего лишь мальчишка!

Глава пятая. ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ

1

Вовка будто ослеп.

Единственное окошечко склада, прорубленное под самым потолком, света фактически не давало. Он переполз через какой-то мешок, ткнулся растопыренными пальцами в бороду Лыкова. Обрадовался, услышав:

— Не лапай. Сам поднимусь.

Вовка по шороху, по постаныванию Лыкова определил — поднялся. Кажется, привалился к мешку, скрипнул зубами, медленно вытянул перед собой (до Вовки дотянулся) неестественно прямую левую ногу. Спросил:

— Кто еще тут?

— Вся команда! — ответил глухой от ярости и сдерживаемой боли голос. — Кто еще?

Лыков выругался:

— Не уберегли станцию!

— Они десант высадили за увалом. Они тайком подошли, — торопливо пояснил другой голос, нервный, явно потерянный. — Римас работал с Диксоном, он сидел в наушниках, не слышал ничего. Ему прикладом дали прямо по пальцам, рацию в куски, а меня взяли в комнатке — я бланки чертил для нашего гелиографа.

Тьма чуть рассеялась.

Уже не смутные пятна, можно было рассмотреть людей.

Один, белея повязками (обе руки обмотаны полотенцами), сидел на куче каменного угля, другой (толстенький, подвижный) шаркал унтами под окошечком — то ли хотел заглянуть в него, то ли просто тянулся к свету. Тот, что сидел на куче угля (видимо, радист), был без шапки, но в унтах, в ватных брюках, в меховой рубашке без воротника (такие на Севере называют «стаканчиками»); он, похоже, не замечал холода.

— Когда высадились? — спросил Лыков, не говоря вслух — о и и.

— Примерно через час, как ты отъехал. Как специально ждали. Угрозидно же тебя вернуться.

Вовку они все еще не видели. Он не шевелился, пристыл к мешку.

— Я ехал не с ночевой.

— Это понятно, — суетился толстенький под окошечком. — Все равно обидно, Илюша. Задержись на ночь, смотришь — ушли бы. А так у нас шибко нехорошо.

— Оставьте, Николай Иванович! — оборвал тот, что сидел на куче угля, сложив на коленях обмотанные полотенцами руки, — радист Елинскас. — Илья, он что, ясновидящий? Они, наверное, шли в погруженном состоянии. И сидьте, прошу. Свет застите.

— Что с руками? — отрывисто спросил Лыков.

— Я ж говорю, — опять засуетился толстячок. — Римас ключом работал на рации. А они ворвались, они, наверное, решили — он о них сообщает, вот и припечатали пальцы к рации.

— Куда с такими руками? — беспомощно выругался радист.

Вовка не видел лиц. Вовка видел тени, слышал голоса, ловил каждое слово. Ждал, что ответит Лыков.

Ответил не Лыков. Толстячок сказал:

— Может, тебе еще повезло, Римас. Будь пальцы в порядке, они могли посадить тебя за рацию.

— Я бы не сел! — опять выругался радист.

— А я и не говорю, что ты бы сел. Я говорю: посадили бы. Силой бы посадили.

— Не меня! — литовец явно не блистал вежливостью. Выругался он похлеще боцмана Хоботило, но к этому на зимовке, похоже, давно привыкли, потому что Николай Иванович насколько не обиделся на Елиискаса, так и продолжал притоптывать под окошечком:

— Кто же ее ждал? Кто ее ждал, эту подлодку?

— Интересно, — ии к кому не обращаясь, пробормотал радист. — Ну, впихнули они нас в наш же собственный склад. Ну, прокантуемся мы в нем до утра. А утром? Утром что будет?

— Утром «Мирный» придет! — охотно откликнулся Николай Иванович: — Он же на подходе. У них какая-нибудь пушчоика есть. Напугают подлодку.

— Нет на «Мирном» пушек, — иегромко сказал Вовка в темноту. — Пулеметы есть, а пушек на «Мирном» нет.

— Кто? Кто там? — удивился Николай Иванович. — Пацаи? Откуда пацаи?

— С «Мирного», — еще тише ответил Вовка.

— С «Мирного»?!

— Оставь пацаиа! — приказал Лыков. Левая его нога торчала перед ним, как выстрел. — Я привез пацаиа. Мы с ним боцмана похоронили на Угольном. Не придет «Мирный».

— Неправда! — выдохнул Вовка. — Придет! Он во льдах от подлодки прячется!

— Горластый, — удивился радист, явно разочарованный. И предупредил: — Ты, паря, тише. Там за дверью — не повар. Там фриц стоит. Вот вернем хозяйство, тогда голоси как можешь. А сейчас я — за дисциплину.

— Нет там никого за дверью, — подал голос Лыков. — Я прислушивался. Ушли они. Не дураки, торчать на морозе. Замок навесили. Это ты, Коля, прихватил с материка замок.

— Так от медведей! От медведей, не от людей! — обиделся по-детски Николай Иванович. И совсем не к месту удивился: — Вот ведь! Вчера со скуки слышали, сегодня людей на Крайночном — не протолкнешься!

— «Не протолкнешься»! — взорвался Лыков. — Расстрелять нас мало! Война к концу, мы рот раззявили! А они, — кивнул Лыков в сторону двери, — они даже не торопятся. Могли сжечь станцию, а не жгут, могли пристрелить нас, не пристрелили, могли сразу загиать в подлодку, доставим, дескать,

русских гусей в фатерланд, да ведь не торопятся... Не торопятся... — повторил он.

— Почему? — шепотом спросил Николай Иванович.

— Метеоплощадка целая? Целая. Приборы действуют? Действуют. Рация есть на подлодке? Есть. Чего же им торопиться? Погода всем нужна. Они ради нее гоняют в Арктику специальные самолеты, не жалеют ни горячего, ни пилотов. А тут стационар! Давление? Пожалуйста. Температура? Пожалуйста. Сила, направление ветра? Пожалуйста. Это для фрицев сейчас ценней, чем если бы они потопили наш транспорт. Они же теряют свои станции, им не хватает сведений о погоде. Они нас, смотришь, еще благодарят.

— Ага, — сплюнул Елискас. — Поблагодарят...

— Так вот! — объявил Лыков. — Сами потеряли станцию, сами ее и вернем.

— Как?

— Забыли про Угольный? Там, на разрезе — резервная рация, спасибо Римасу. Срочно надо связаться с Карским штабом, пусть шлют самолет, надо утопить эту сволочь.

— А мы? — охиул Николай Иванович. — Они ведь и нас разбомбят!

— Заслужили, — отрезал Лыков.

Николай Иванович заматался под окошечком, зашаркал унтами:

— Хватятся нас. Не сегодня, так завтра хватятся!

— Если хватятся, — мрачно подсчитал радист, — то не сегодня и не завтра. В лучшем случае, через неделю. Осень, Николай Иванович. Решат, пурга нас накрыла. Бывало такое, знаете. Так что неделю, а может, и все две наши фрицы могут работать спокойно.

— А «Мирный»? — не соглашался, настанвал Николай Иванович. — Нас не хватятся, ладно. А «Мирный»? Он что, иглока? Его-то уж начнут искать!

— Недели через две, — мрачно подсчитал радист. — Здесь же зона радиомолчания. Молчит и молчит. Выйдет из зоны, сам объявится.

— Илья! — взмолился Николай Иванович. — Ты толком нам объясни, что с «Мирным», какой боцман, откуда пацан?

— Он хороший пацан, — коротко объяснил Лыков. — Это потом. Что на материке, Римас?

— Наши под Яссами, — радист сразу повеселел. — Румыны сбросили Антонеску, они объявили фрицам войну. — И скрипнул зубами: — Война к концу, а мы в мышеловке.

Вовка слушал. Вовка ничего не понимал.

Лиц не видно, темно. Бревенчатые холодные стены. На дверях замок. Рядом фашисты. А они теряют время на разговоры! Бежать, бежать надо на Угольный! Срочно надо бежать!

Он не выдержал, сполз с мешка, на ощупь исследовал дверь.

Хорошая оказалась дверь. Прочная. А для большей прочности ее еще оковали металлической полоской. От холода на шляпках гвоздей проступил бархатный иней.

А ночью?

— Судьбинушка, — расслышал он глухой голос радиста. — Я, братаны, совсем по-другому мог устроить судьбу. Я, братаны, хоть и литовец, а родился в Средней Азии, станция там есть — Каган. А в Москву приехал поступать в училище. Рисовал понемножку — урюк цветет, ишаки бегают. Один хороший человек присоветовал, я поехал. Хороший город Москва, только ночевать негде. Спустился в пивной погребок, думаю — досижу до утра, нет, в полночь вытолкали. А я одурел — Москва! Бродил всю ночь по улицам. Дворники метут, весело. А в училище привязался ко мне старичок, говорят, профессор, чем-то я ему не понравился. Суиул мне гипсовую головку — богиня греческая. Я списал ее, а старичок: «Старовата она у вас. Постарела, она, — говорит, — под вашим карандашом лет на полтора ста». Я обидчивый был, плюнул. Вышел перекурить, на стене объявление. «Курсы радиотелеграфистов... Форма... Питание...» Чего мне эти богини, если они так стареют? Ключул на форму. А не засуетись, найди я подход к тому старичку, смотришь, сидел бы сейчас в Самарканде...

— Как это в Самарканде? — обиделся Николай Иванович.

— А так! — отрезал радист. — В любом случае, не в складе!

Вовка ничего не понимал. Бежать надо на Угольный, а он про судьбинушку! Все воевать должны! При чем тут Самарканд? Вот и дядя Илья причитает, мол, собачек жалко, пулями их посекали.

— Ты себя жалеи, Илья, — сказал Лыкову Николай Иванович. — Собачки дело иаживное, новых завезем. За ночь не замерзнем, у меня тут одежда есть, а вот утром? Что утром?

— А ты не думай. Страшись, а не думай, — заметил радист. — Я вчера с Пашкой болтал, с Врангеля. Он мне стучит: жену, сынишку не видел почти три года. А я ему: увидишь на материки, потерпеть надо.

— С Врангелем? — Вовку как током ударило. — Вы с Врангелем разговаривали?

— С Пашкой, — возразил радист. — Но это все равно. С Врангелем.

— А фамилия?

— Врангеля? — опешил радист.

— Да нет. Пашки. Вы же сами назвали Пашку.

— Зачем тебе фамилия? — насторожился Елиискас. — Фамилии радистов есть военная тайна.

— Я все равно знаю! Это ведь Пушкирев! Это папа! — захохотался Вовка.

— Отец? — радист шевельнулся, пытался всмотреться в сумрак. — Бреешь!

А Лыков положил руку на Вовкино плечо, погладил его:

— Садись ближе. Когда рядом — теплее. Я вот думал угостить тебя засахаренными лимонами, а оно, видишь, как получилось. Уж прости... — И сказал в темноту: — Ты, Римас, не шепурши. Дельный у нас пацаи, не брехливый.

— Пашка-то! — неизвестно чего обрадовался радист. — Это он, Пашка, выручил нас на Белом. Нас там сидело пять человек, и все, как один, чахли от фарингита. Першит в глотке, сопли по колено, кашель. Мы как только не обогревали домик. Приспособили даже лампу паяльную. Утром врубишь — газит. Зато через десять минут хоть в трусах бегай. Если бы не фарингит... Вот тут-то и явился Пашка. Сошел с «Красина». Пузо вперед, шерится от удовольствия. Он всегда как с картинки. И удивляется. Зачем, дескать, стране больные полярники? Зачем, дескать, стране сопливые зимовщики? «Не помогают, кхе-кхе, лекарства, — поясняем. — Таблетки, кхе-кхе, грызем, нет, кхе-кхе, толку». Пашка: «Воду на чем греете?» — «На паяльной лампе. Так быстрее». — «Домик чем прогреваете?» — «Паяльной лампой. Так быстрее». — «Вот и дураки, — говорит. — Угар, он первым делом воздействует на слизистую». И приказывает: «Лампу на склад! Печку топить углем, угля вам завезли. Лучше вилку рукавицей держать, чем бегать в маечке вокруг паяльной лампы!» Деловой у тебя отец, Вовка!

Вовка сжал зубы.

«А мама?.. Где мама?!»

Лыков почувствовал. В темноте, стараясь не потревожить покалеченную ногу, обнял, притянул Вовку. Дохиул в ухо:

— Ты тоже неплох, братан!

Понятно, ничего другого не мог сказать, но Вовке сразу стало легче.

— Бежать надо!

— Это опять ты? — удивился радист.

— Я!

— Точно, ушлый! — одобрил радист и помахал в темноте белыми полотенцами. — Если я убегу, паря, иосом мне, что ли, стучать по ключу?

— И я, похоже, отбегался, — как эхо отозвался Лыков. — Не

вижу, что там с ногой, но, похоже, отбегался. Крови нет, а немеет нога, совсем я ее не чувствую. Да и с рацией не управляюсь. Не по мне наука.

— Так я же есть! — плачуще, обиженно выкрикнул из темноты Николай Иванович. — Я могу. Я справлюсь. Римас подтвердит — справлюсь.

— Оставь, Коля, — хмыкнул Лыков. — С твоей фигурой лезть через угольный лючок! Не смешн. Сам выпилинвал лючок. Шель в два бревешка. Вовка может пролезть, может быть, Римас бы вытолкнулся, но не мы.

— Илья, — вдруг спросил радист, — ты съел кашу?

— Какую кашу?

— Пшенную. Я на Угольном целый круг оставлял. В мешке у входа.

— Не видел. Она мороженная, ничего с ней не будет.

— А если расширить лючок? — суетился Николай Иванович.

— Чем? Зубами? — хмыкнул радист. — Это не бланки для гелнографа.

— Что ж получается? — забегал под окошечком Николай Иванович. — Что ж получается?

И умолк.

Плотная тишина затопила темное пространство склада. Даже окошечко погасло окончательно — сумерки сошли на Крайночной.

— Ну, а ты? — нарушил тишину Лыков. — Чего ты молчишь, Пушкарев Владимир? Болит у тебя что-нибудь?

— Ничего у меня не болит.

И тут до него дошло — это же они ему предлагают! Это же они ему предлагают бежать к Угольному. Опять одному бежать!

Плечо у него ныло, ныли ноги, ныла обожженная щека. Еще хуже была мысль — опять один останется! Совсем один! Посреди тундры. Без мамы, без Белого, без Лыкова, без боцмана Хоботило. Куда он пойдёт?

Но вслух сказал:

— Я пойду.

Думал, фыркнул на него — тоже, мол, герой! Но никто не фыркнул, тишина в складе теперь стояла уважительная.

Елнискас спросил:

— Сядешь за рацию?

— Я попробую. Я быстро не могу, но я попробую. Я на курсы ходил, только не сдал экзамен.

— Экзамен? — обрадовался радист. — Ну, паря! Знаешь, кто все экзамены сдает не глядя?

Но объяснить, кто это сдает все экзамены не глядя, радист не успел. Заторопился, подобрал ноги, и Вовка услышал

быстрое, точное притоптывание. *Тире точка... Точка... Точка точка точка... Тире... Точка тире точка... Точка точка тире...*

Вовка, не дослушав, неуверенно выстукал в ответ: «Не струшу».

— Сможешь... — с сомнением одобрил Елиаскас. — При желании тебя даже понять можно.

— Сможет? — быстро переспросил Лыков.

— Если дойдет.

— Это моя забота. Вовка, ты слушай. У нас, значит, прорублен здесь лючок для угля. Узенький, но как раз под твои плечи. Да ты не обижайся, сейчас не до этого. Ты как вывалишься в лючок, ногами толкайся от стены и ползи прямо вперед, никуда не сворачивай, пока не упруешься в стояки метеоприборов. Там морозно. Я, думаю, луна. Оно и хорошо — видней будет. Только ты, Вовка, не торопись. В таком деле суетливость ни к чему. Лучше лишний час провалиться в снег, чем завалить дело в одну минуту. Фрицы нас, сам видишь, не очень караулят, знают — куда нам бежать? Но ты себя этим не утешай. Сразу от метеоплощадки бери вправо, валнись в овраг, не ошибешься. Чеши по оврагу, упруешься в Каменные столбы, торчат там такие, как растопыренные пальцы. Это и есть выход на Собачью тропу. Я бы тебя отправил берегом, но это обходить Двуглавый, лишние двадцать километров, опять же по снегу. А Собачью тропу начисто выметает ветром, часа за четыре, как по коридору, дотопаешь до Угольного. Только на выходе, братан, не суетись. Прикинь, где палатка. Не дай тебе бог проскочить мимо. В тундре однаешься прежде, чем придет помощь.

— Я не буду торопиться. Я осмотрюсь.

— Но и зазря не трати время, — предупредил радист. — Нам тут тоже невесело. — И спросил: — Антенну натянешь? Питание подключишь? В эфире не растеряешься?

— Я попробую.

— Верный ответ.

— Слышь, — шепнул из темноты Николай Иванович. — Это ветер шумит или фрицы переговариваются?

— Ветер... — прислушался Елиаскас. И загнул такое кудрявое ругательство, что даже Лыков хмыкнул.

А Николай Иванович уже шурушал в углу, отгребал от лючка уголь.

— Коля, — спросил Лыков, — что в ящиках?

— Тряпье.

— А тяжести есть?

— Печка чугуниная, — по хозяйски перечислил Николай Иванович. — Железяки от ветряка. Ящики с геологическими образцами, еще с лета. Чего ты ревизуешь меня?

— Я не ревизую. Я думаю о Вовке.

— Ящики тут при чем?

— А ты эти ящики, Коля, уложишь под дверь. Плотнo уложишь, чтобы сдвинуть их было невозможно. Слышь,— через силу усмехнулся он,— францы нам стукнут утром, а мы в ответ: рано еще, дайте выспаться!

— Ха! Гранату под дверь, вся недолга!

— Домишки рядом стоят, Коля. Метеоплощадка рядом. Чего им нас подрывать? Им же спокойнее — сидим взаперти. А нам и нужно, чтобы они считали: мы все здесь сидим! А то, если кинутся за Вовкой, он от них не уйдет. Так что ты попотей, Коля! У нас сейчас вся надежда на тебя, Коля! Ты сейчас самый нужный нам человек. Мы с Римасом не помощники, а Вовке пора.

— Ты лежи, Илья. Сделаю! — обрадовался, засуетился Николай Иванович. — Я китайскую стену воздвигну, к нам сам Гитлер не сумеет войти. А вам я шкуры достану, чтобы ночью не поморозиться. Вот только лючок очищу, вот только выпущу Вовку на волю.

Он, как крот, копался в углу. Ползли шумно угольные комья, осыпалась крошка.

— Запустишь рацию? — с сомнением переспросил Елинскас.

— Я попробую.

— Должен! — приказал радист.

Лыков, охнув от боли, шевельнулся:

— Значит, прямо вперед от стены склада, до стояков. Метеоплощадку оставишь по левую руку. Вдруг там торчит франц — ты спокойнее, не шуми. И не суетись на Собачьей тропе. Там, как на Луне, все повывмерзло. Камни скользкие. Ногy потянешь, колено выбьешь — один останешься. Мы тебе не подмога. Сгинешь в ночи. Так что, следи за собой...

— А вы? — шепотом спросил Вовка.

— О нас не думай. Себя береги. Это приказ. Ты однажды приказ нарушил, так что искупай вину. Идти тебе до Угольного, так мы называем разрез. Найдешь палатку, ты в ней уже грелся, натянешь антенну, выйдешь в эфир. Больше ничего. Это опасное дело, Вовка, но ты ведь сам хотел опасного дела. Ты стране, не только нам, можешь помочь. У нас погоду воруют. И помни, никаких отклонений! Даже если появится перед тобой «Мирный», ни на секунду не отвлекайся от дела. Это приказ!

— Ага,— выдохнул Вовка.

— Отца узнаешь по почерку? — вдруг спросил Елинскас.

— Не знаю.

— Ладно... Зато тебя легко опознать,— вздохнул радист. — Выйдешь в эфир, голоси открытым текстом, тут не до шифровок. Всем, всем, всем! На остров Крайночной высажен фашистский

десант. Срочно уведомите Карский штаб. И наши фамлины: Краковский, Лыков, Елинская. Запомнил?

— Ага.

— И еще, — помолчав, добавил радист. — Илья, он человек деликатный, он тебе еще не все сказал. Если свяжешься с какой-нибудь станцией, отключайся сразу, минуты лишней не торчи в эфире. Фрицы тебя с ходу запеленгуют. Так что, волоки рацию в скалы и сам отсиживайся в стороне. А если случится — один останешься, помни: это ты, а не они, хозяин острова. И все тут твоё. Хоть раз в сутки, но выходи в эфир со сводкой, если они не переколошматят приборы. Место у нас больно важное — половина циклонов идет через Крайночной. С приборами справишься. Как-никак, сын поляриков. — Он сплюнул и позвал: — Как у вас, Николай Иванович?

Из темноты донеслось недовольное пыхтение:

— Точно, не пролезаю я. Ну, никак не пролезаю. А лючок открыл. Вои как свежестью тянет!

— Не свежестью. Холодом, — возразил радист. — Вконец выстудил избу. Веди пацаана!

Вовка почувствовал на щеке руку, горячую, без рукавицы.

— Это я, — шепнул Николай Иванович. — Обниматься не будем, в угле я весь, измараю тебя. Ползи, друг Вовка, в лючок. Тихо, вперед головой ползи. Да подожди, не рвись. Почему ты без рукавицы? Потерял? Вот мою возьми. Я ее сам шил.

Лыков выдохнул из темноты:

— Бери, Вовка!

Вовка нащупал щель, протиснулся в узкий лаз, задохнулся от темного, ударившего в глаза ветра.

Глухо хлопнула лючница, зашуршал уголь. Это Николай Иванович изнутри заваливал лаз.

Из чернильной мглы (не было луны) дуло. Снег порхало оседал под руками. Ни огонька, ни звука.

«А собьюсь? А выползу на фрицев?..»

Но полз, зарываясь в снег. Полз, пока не ткнулся головой во что-то металлическое.

«Ага... Стояк... Я на метеоплощадке... Сейчас надо правее взять... Где овраг?..»

Его понесло вниз.

«Вот он, овраг!» — понял Вовка.

Что-то бесформенное, тяжелое шумно навалилось на Вовку, вдавило его в снег, жаркодохнуло в лицо.

«И ножа нет!» — беспомощно вспомнил Вовка, отчаянно отбиваясь от мохнатой, жадно дышащей в лицо морды.

И перестал отбиваться.

— Белый!

И Белый, будто понимая — нельзя шуметь! — не рычал, не

взланвал, лишь повизгивал слабо, как щенок, и лез, лез мордой в Вовкино лицо, лез под мышки, толкался носом в карман.

— На, жрни! — свирепо и счастливо шептал Вовка. — На, жрни, жадюга.

Он ругал Белого, а сам был счастлив, и Белый счастливо лизал его в лицо, а он тащил его за мохнатый загривок, шептал:

— Белый! Белый! — И конечно, не удержался, спросил: — Мамки где иашн, Белый? — Не к месту, не ко времени спросил, но плевать ему было на место и время.

Впервые за этот тяжкий, впервые за этот безрадостный день ему, Вовке, повезло. Впервые за этот тяжкий день он почувствовал уверенность.

— Я дойду! — шепнул он в лохматое ухо Белого. И поправил себя: — Мы дойдем!

И когда во тьме, чуть разреженной выступившими на небе звездами, когда в чернильной нехорошей тьме, мертвенной, холодной, смутно проявились перед ним растопыренные каменные пальцы, еще более смутные, чем царящая вокруг произительно ледяная тьма, он сразу сообразил: это и есть Каменные столбы, это и есть выход на Собачью тропу, которая пугала его одним своим названием. Зато по тропе он мог идти в рост, ни от кого не прячась.

Глава шестая. СОБАЧЬЕЙ ТРОПОЙ

1

Он так боялся ошибиться, пройти в темноте мимо Каменных столбов, свалиться не в тот овраг, навсегда потеряться в заснеженном безнадежном предгорье Двуглавого, что, увидев столбы, он не выдержал — сел.

Сидел по пояс в снегу, не чувствовал резкого, набирающего силу ветра.

Не от ветра ему было холодно. Леденила мысль: один!

Совсем один!

Где мама? Где единственный, где неповторимый друг Колька? Зачем война? Почему ему надо опять переть куда-то по снегу, карабкаться по Собачьей тропе, нскать черниую палатку?

Один.

Он замер, всей спиной чувствуя напряженную малозвездную бездну ночи.

Ветер шуршал средн скал, ворошил, разводил тучн — вдруг прорывался лунный тревожный свет. Залитый им мир сразу менялся: тень приходили в движение, ползли по снегу, вместе с ними колебались, приходили в движение скалы.

Вовка понимал: так лишь кажется, но все равно старался потеснее прижаться к Белому, поглубже зарыться в его лохматую, в его теплую шерсть.

Белый рыкнул, отбежал в сторону. Будто напоминал — идти надо!

— Я сейчас,— шепотом отозвался Вовка.

Но не встал. Сидел в снегу.

Закопаться бы, зарыться, спрятаться от ледящего ветра. Лежать, думать: завтра к острову подойдет «Мирный»!

Но он был один. И он уже не верил, что «Мирный» может подойти.

Он вспомнил, Лыков сказал: «В таком деле суетливость ни к чему. Лучше лишний час провалиться в снегу, чем завалить дело в одну минуту».

«Ты однажды приказ нарушил,— вспомнил он еще слова Лыкова,— так что искупай вину. Даже если «Мирный» появится, не отвлекайся от задания, выполняй приказ!»

«Место у нас больно уж важное,— вспомнил он слова радиста,— половина циклонов идет через Крайночной».

Все понимал, а встать, войти в ущелье боялся. Это ведь только слова: пройдешь как по коридору. Еще надо пройти!

Белый залайл.

— Тихо!

Недоверчиво ворча, будто сердясь на Вовкино промедление, Белый положил голову ему на колени.

— Ты не ругайся, Белый,— шепотом сказал Вовка.— Я боюсь. Но мы сейчас пойдем. Мы быстро пойдем.

Белый засопел. Совсем как на «Мирном», когда их разделяла металлическая решетка.

— Не веришь? — спросил Вовка, презрительно выпячивая губу.— Вот и Лыков не верит. Говорит, не придет «Мирный». А как он может не прийти? Ведь на нем мама.

Белый встряхнулся.

Вовка понял: не слушает его Белый. И еще понял: не надо думать о «Мирном». У него, у Вовки, приказ: запустить рацию, выйти в эфир. Даже если «Мирный» передо мной появится.

Вовка вдруг отчетливо увидел склад, который все еще где-то рядом и который еще плотнее сейчас заполнен холодом и тьмой. Черную ночную бухту увидел, увидел на ее поверхности хищное тело чужой хищной подлодки. И услышал шорох каменноугольной крошки, и почувствовал пронзительную боль в разбитых суставах Елинскаса и страшную немоту онемевшей, негнушейся ноги Лыкова.

«Сколько они продержатся?»

Утром фрицы с удивлением, опешив, ткнутся в забарри-

кадированные изнутри двери склада. Утром францы с удивлением услышат требовательный голос Лыкова.

Какие переговоры!

Гранату под дверь, спалят склад францы!

Спалят, аккуратно пересчитают трупы: айн, цвай, драй! А где четвертый? Где мальчишка? Где этот э р и с т? Не может быть, чтобы русские мальчишки сгорали в огне дотла?

Остальное ясно.

Глянув на карту Крайночного, даже дурак догадается: уйти с метеостанции можно лишь берегом или по Собачьей тропе. Пару десантников на перевал, другую пару на берег. Что ой, Вовка, поделяет со специально обученными специалистами?

Карта протнет него...

А вообще Вовка любил географические карты.

Дома у Пушкаревых картами был набит чуть ли не целый шкаф.

«Зачем столько? На каждый остров по нескольку штук!»

«А они разной степени точности, — объясняла мама. — Съему вели разные люди. Одни немножко ленив, другой немножко неаккуратен, вот и получаются карты разной степени точности».

Вовка с удовольствием рылся в картах.

Ему нравилось, например, очертания Крайночного. Это была мамина карта. Она много раз ею пользовалась, на сгибах карта была протерта, посажена на марлю, на полях, на самом планшете густо пострели пометки.

«Ты осторожней, — предупреждала мама. — Мой экземпляр, считай, единственный. Я сама его уточняла».

«Вот погоди, — обижался Вовка. — Вырасту, сам составлю карту Крайночного. Совсем точную».

«Это хорошо, — смеялась мама, — но тебе, действительно, следует подрасти. Ты у меня совсем еще мальчишка».

«Почему?» — сердился он.

«Да потому, что только мальчишка может думать, что на берегу бухты Песцовой обязательно должны водиться песцы, а хребет Двуглавый выглядит таким со всех четырех сторон света».

«Разве не так? Ты же сама давала эти названия».

«А мы впервые высадились на Крайночной со стороны Сквозной Ледниковой. Хребет только оттуда выглядит двуглавым».

«А Песцовая?»

«А там на гальке валялся дохлый песец. Может, его льдом принесло, не знаю...»

Вовка понимал: мама права — дело не в названиях.

Но в названиях, нанесенных на географическую карту, всегда было что-то такое, что немножко, но лишало правоты самые правильные слова мамы.

Нет, мама, конечно, была права, и все же...
«Почему я не поднялся на палубу, к маме?»

«Почему я хотел убежать от мамы?»
Горько и страшно было Вовке в ночи.

— Я дойду! — сказал он вслух, себя же поддерживая.
Подозвал Белого:

— Мы дойдем!

И двинулся под Каменные столбы, разбитые широкими трещинами, из которых густо сочился тысячелетний ледниковый холод.

— Надо идти!

Смутные очертания скал напоминали разъяренные человеческие лица.

«Как выглядят эти Мангольд, Шаар, Франзе, Ланге? Смотрят они прямо перед собой или воротят носы в стороны? Носят усики, как Гитлер, или всегда чисто выбриты, как всегда чисто выбрит папа? Длинные у них волосы или они коротко стригутся, как дядя Илья?»

«Не все ли равно?»

«Не все равно! — сказал себе Вовка, выдирая ногти из сугроба. — Не все равно! Не могут фашисты походить на папу или на дядю Илью!»

Он крепко сжал кулаки.

Он з и а л: не могут эти фашисты походить на его отца. Он з и а л: не могут эти мангольды и шаары походить на Леонтия Ивановича или на боцмана Хоботило! Там, под водой, все всегда смутно и бледно, там, под водой, все всегда находится в смутном бледном движении; эти фашисты, они, наверное, похожи на крабов. Они, наверное, плюгавые и косые, и лица у них плюгавые!

Вовка задохнулся от ненависти.

Вовка не мог допустить, чтобы эти фашисты разворовывали его, Вовкину, родную погоду.

2

Он спотыкался, брел среди мерзлых скал.

Если бы не небо, высвеченное звездами, если бы не узкая линия звезд, точно повторяющая все изгибы стен ущелья, он вообще бы не видел дорогу.

Но звезды светили.

Слабо, но светили.

Ориентируясь по их смутной извилистой ленточке, Вовка ступал по камням, по сухому инею, покрывавшему камни, цеплялся за выступающие каменные уступы. Иногда стены почти сходились («Застрашу!» — пугался Вовка), иногда расходились широко — над головой сразу прибавлялось звезд.

Лыков оказался прав. Заблудиться в ущелье оказалось невозможно. Вывихнуть ногу, разбить колено, защемить ступню, это пожалуйста. Но не заблудиться! И не растерять силы в снегу! Снег почти весь выдуло ветром.

«Сколько я нду? Час? Два?..»

Он не знал.

Его подгоняла смутная тревога.

Он не понимал причин этой тревоги, но торопился. И лишь когда на очередном повороте каменная стена вспыхнула на мгновение стеклянистыми чудными кристалликами, будто искрами ледяными плеснули в глаза, понял: смутно, но он видит стену ущелья!

Луна?

Он обернулся, задрал голову.

Если луна и вылезла из туч, висеть она должна за вершиной Двуглавого; свет, смутно заливавший ущелье, шел не от луны.

Он замер.

«Это зарево! Это фрицы все поняли и подожгли склад!»

«Я не успею. Они догонят меня».

И крепко сжал кулаки:

«Должен успеть!»

«Должен успеть! — сказал он себе. — Должен найти палатку. Я не имею права ее не найти. Я должен подать сигнал бедствия!»

«Нет, — решил он. — Это будет не сигнал бедствия. Я просто сообщу о случившемся в Карский штаб. А сигнал бедствия пусть посылают фрицы».

Но ему было страшно.

Он устал и замерз. Он потерял счет шагам. Под ногами путался Белый.

— Черт белый!

Пес не обиделся.

Он не мог обижаться на Вовку.

Вместо того, чтобы спать спокойно в Игарке или в Перми, он, Вовка, полз вместе с ним по Собачьей тропе; вместо того, чтобы долбить алгебру в Игарке или в Перми, Вовка вместе с Белым пересекал Двуглавый.

Белый радовался, чуял запах сухарей.

Вовка лез по тропе, он пугался зарева за спиной, а оно разгоралось. Вовка каждой мышцей чувствовал крутизну подъема. Тревожный отсвет помогал ему, бледно высвечивая промороженные грани скал, но лучше бы не было этого отсвета! Вовка и без него нашел бы тропу, Вовка и без него вскарабкался бы по гигантской каменной лестнице, обвешанной со всех сторон ледяными наростами.

Не было в мире места безжизненней и безнадежней Собачьей тропы.

«А мама говорила...»

Вовка вспомнил о маме, какая она была красивая и как, глядя на нее, матросы морщили от удовольствия носы.

Он улыбнулся.

Мама любила рассказывать о Крайночном. Она говорила: «Обжечь остров — это не меньше, чем открыть его».

«А Крайночной, он веселый! — смеялась мама. — Еще снег лежит повсюду, еще гоняет по морю льды, а на острове весна. Наст пролонишь ногой, под корочкой снега — лужайка зеленая. Будто крохотная теплица. Камнеломка пробивается — зеленей ничего не бывает. Распускаются бутончики полярного мака. Ой, Вовка, там так красиво!»

Вовка невыразимо любил маму.

«Встретимся, не отойду ни на шаг, — решил он. — Так и буду ходить за ней».

Мама...

Вовка не выдержал, сел на камень.

Белый тотчас, поскуливая, полез носом в карман.

— На! — отдал сухарь Вовка.

Вспомнил: в палатке лежит замороженная пшенная каша. Так радостно говорил. Но до каши надо добраться.

Встал.

По ноющим ногам чувствовал: не час идет, не два, больше... Помнил упрямо: его цель — палатка! И слова Елинскаса помнил: «Нам тут тоже не весело».

— Дойду!

Чем дальше уходил Вовка от метеостанции, тем больше мучила его, подступая, мысль о рацине.

Рация...

Было время, Вовка, как все, страшно хотел стать шофером. Крути баранку, гони полторку по дорогам — перед тобой лежит вся страна.

Было время, Вовка, как все, страшно хотел стать летчиком. Веди машину сквозь грозовой фронт — нельзя не летать в стране Чкалова, Леваневского, Громова, Коккинаки!

Было время, ему, как всем, страшно хотелось стать полярником. Как не захотеть этого в стране челюскинцев и панинцев! Полярник смел. Полярник надежен и дисциплинирован. Он следит не только за погодой, не только за состоянием неба, льдов, течений, он следит еще и за приборами. Приборы, они как люди — двух одинаковых не бывает. Да и стареют они. Засоряются капилляры, по которым движется в термометрах спирт, испаряется постепенно ртуть из барометров, растягиваются волоски гигрометров. Если ты настоящий полярник, ты должен чувствовать свои приборы!

Но сейчас, на Собачьей тропе, Вовка понял: он пойдет по следам отца. Его призвание — радиodelo.

Кончится война, он вернется с победой с Крайночного и целком посвятит себя этому благородному делу. Он добьется, что его, как отца, будут узнавать в эфире по почерку.

Раньше Вовка (мама права) был баклушн. Раньше Вовка (Колька Милевский прав) только развлекался. Потому и не сдал экзамен сержанту Панькину. А ведь мог. Ведь видел Колькину манеру работать на ключе.

Что благороднее радинодела?

Гибнет судно в Макасарском проливе или где-нибудь за Аляской, за тысячи верст от Вовки, а он слышит далекое SOS и тут же передает куда надо: срочно окажите помощь несчастным!

«Пойду в Арктическое, — твердо решил Вовка. — Закончится война, пойду в Арктическое».

Вспомнил Елннскаса: «Форма... Питание...»

«Только бы кончилась война!»

Звезды стояли над Вовкой. Стены ущелья. Непонятно, сколько впереди километров. Нехорошо тут!

«А на складе лучше?»

Он так ясно представил холодную тьму склада, шорох каменноугольной крошки, запах лежалой муки, он так сильно почувствовал ожидание, заполнившее тьму холодного склада. Да и склад ведь, наверное, уже подожгли... Ноги сами собой задвигались быстрее. Он почти бежал. Не было сил бежать, но бежал, пока не ударился коленом об острый выступ.

Боль ослепила его.

Упал на колено, вцепился в лохматый встопорщенный загривок Белого. Так, скорчившись, сидел минут пять. Вспомнил слова Лыкова: «Не суетись... Ногу потянешь, колено выбьешь — один останешься. Мы тебе не подмога».

— Не суетись! — прикрикнул на себя.

Встал.

Прихрамывая, шагнул.

Еще шагнул.

Боль отступала. А дальше еще легче было ступать.

Почему?

Понятно, подъем кончился. Вон сколько звезд над головой. Он на перевале. Луна висит за Двуглавым, все в голубом, в неестественном свете.

Он замер.

Градиозный каменный обрыв косо спадал на тундру. Темные слои мешались со светлыми, как на Угольном, рядом с палаткой. В луином свете вспыхивало, взрывалось ярко что-то неведомое — там, наверху.

Лед? Хрусталь горный?

Он не знал.

Он не хотел знать. Ему было достаточно того, что не надо лезть наверх.

Наклонив голову, двинулся упрямо в черноту вновь сузившегося ущелья.

Собачья тропа! Знал, как назвать. Нашли самое точное определение.

Собачья!

Даже Белый вымотался, вываливался из пасти жгучий язык, поглядывал косо на Вовку. Сколько, мол, брести этим коридором?

— Иди, иди!

Вовка скользил по льдистым наекам, хватался за выступы, помнил: его ждут на метеостанции, радовался — греют рукавички Николая Ивановича. Не обморозит пальцы, отстучит сообщение в Карский штаб.

«Сколько еще идти?..»

Одно знал точно: тропа пошла под уклон.

Чувствовал это по изменившейся линии стен, по удлинившемуся шагу, по тому, как сносило его теперь при падении вперед, к палатке. Заторопился было, но заставил себя не спешить. Не хватало подвернуть ногу тут, перед целью.

Шел, цепляясь за сосульки, висящие с каменных стен. Шел, ругал себя.

«Все при деле, а я иждивенец. На «Мирном» — все заняты делом, я один был баклуши. Леонтий Иванович рядом, разве я с ним поговорил? Обидел только. Почему, дескать, не на фронте! А тут тоже фронт. Тут даже страшней, чем на фронте. А мама? Чем я помог ей? А боцман Хоботило? Я же только мешал боцману, подманивал к судну лихо!»

Вовка сплюнул с презрением.

«Иждивенец! Лыков вот добровольно согласился отработать еще один сезон на острове. Он сто лет не видел людей, он сто лет не слышал патефона. А он, Вовка, даже не знает — везут ли Лыкову патефон!»

«Цветут фиалки, ароматные цветы...»

«А радист? Он послушал мою морзянку, он сразу все понял. Но он сказал — м о ж е т. Значит, я д о л ж е н. Николай Иванович, например, уже бы добежал до Угольного, если бы мог выбраться со склада!»

«Иждивенец!»

Никогда Вовка не презирал себя так сильно.

Заблудись он, заплутай в ущелье или в тундре, погиб бы он не от холода, не от недостатка сухарей, — погиб бы от презрения к самому себе.

К счастью, Вовка не заблудился.

К счастью, он прошел Собачью тропу.

С высокого уступа, запорошенного сухим снегом, увидел не

каменные развалы, увидел плоские пространства Сквозной Ледниковой.

Лунный свет был так ярок, что слепил глаза, мешал видеть детали.

Различал: на фоне неба, на фоне нечастых звезд смутно вырисовывается восточное плечо Двуглавого. Различал: отражаясь от снега, лунный свет размывает предметы — то ли глыба льда, то ли медведь присел в трех шагах?

Лыков прав. Труднее всего определить именно здесь, в тундре. Разберись, где палатка? Пойми, куда двигаться?

И пес куда-то исчез.

— Белый!

Не было пса.

Исчез, растворился в невериом свете. Первобытная тишина отразила Вовкин крик.

Он теперь не боялся кричать.

— Белый!

В ответ грянул с моря орудийный выстрел.

«Подлодка!»

«Да нет,— презрительно успокоил себя Вовка.— Идет сжатие льдов. Лыдины выдавливает на берег. Крошатся льды, лопаются».

— Белый!

Не откликался пес.

«Бросил,— возненавидел Вовка пса.— Кого бросил, гад!»

Торопился.

Не хотел ждать рассвета.

Хотел незамедлительно выйти в эфир.

Луна теперь не помогала. Больше мешала. Все вокруг тонуло в голубоватой обманчивой дымке, в стеклянной голубизне. Вовка шел вроде к темным осыпям, а вышел ко льдам. Поднялись вдруг справа торосы.

Вот она, увидел он, полынья! Он узнал ее по темным пятнам на льдинах. Здесь, рядом, в трещине, лежит боцман Хоботило. Мрачно дымит, всхлипывает вода в полынье. Вовку зовет.

Прислушался.

Точно, поскуливание, плеск!

Ничего не видел в голубом мареве, зато отчетливо слышал — зовет Белый!

«Упал в полынья?»

Чуть не на ощупь, обходя промоины, обходя ледовые завалы, Вовка шел на поскуливание, всматривался в ледяную пустыню. Видел: стремительно взмывают над Сквозной Ледниковой странные серебристые полосы.

Или так кажется?

Нет, понял он, не кажется.

Мощный порыв ветра обдал его холодом, поднял над

Сквозной Ледниковой широкий снежный шлейф, сверкающий, затейливый, аккуратно повторяющий все капризы разостланного под ним рельефа. Мириады мельчайших ледяных кристалликов, беспрепятственно двигаясь, ярко вспыхивали, диковато преломляли лунный свет. Вовка похолодел: поземка? пурга идет?

Крикиул:

— Белый!

Услышал из лунного марева поскуливание пса.

«Тоже мне, путешественник!»

Не знал, себя ругает или Белого.

Наверное, себя.

Ему, Вовке, следовало искать черную палатку, а он искал Белого. Ему, Вовке, следовало думать о зимовщиках, ему следовало возвращать стране украденную фашистами погоду, а он думал о каком-то там Белом, он рисковал заблудиться, провалиться в трещину, из которой никто извлечь его не сможет.

Клял себя, а все равно шел. Не мог не идти на зов Белого.

Шел, чувствуя себя ничтожно малым и слабым среди безмерных пространств ледяного острова, обвитого шлейфами начинающейся пурги, шел, подавленный безмерностью мировых событий, которые почему-то никак не могли разрешиться без его, Вовкиного, участия.

Зато нужен он!

Раньше, например, нуждались в нем только родители. Ну, еще Колька, хотя Колька вполне мог обойтись и без него. Но сейчас, на Крайночном, Вовка был нужен всем! И Кольке, и отцу, и маме, и Лыкову, и Елиаскасу, и Николаю Ивановичу, и капитану Свиблову. Всей стране нужен!

Он шел.

Помнил приказ Лыкова, но шел на зов пса. Шел, рискуя окончательно заблудиться.

Лишь твердил упрямо:

— Найду!

3

Ему повезло.

Он набрел на полыню, в которой барахтался Белый. Он вырчил из воды пса.

Ему повезло.

Пес по запаху вывел его прямо к палатке.

Вовка не знал, сколько времени он убил на Собачью. Чувствовал: вышел к палатке вовремя. Даже, может, раньше, чем надеялся Лыков. Далекий отсвет, принятый им за зарево, луна, явившаяся над Двуглавым, помогли ему. И сейчас Вовка не собирался терять даже минуты. Вот только примус разжег.

Натянув на шест антенны бронзовый тросик, подключив питание, Вовка отложил в сторону рукавицы, уставился со страхом на рацию.

Будет она работать? Справится он с нею? Свяжется с кем-нибудь?

Десятки вопросов. Все тревожные.

Скинув шапку, Вовка надел холодные эбоинтовые наушники. У Кольки Милевского, вспомнил он, были такие же, только покрытые пористой резиной. В тех бы Вовка не обморозил уши.

Подумав, натянул шапку поверх наушников.

Лампы нагревались.

Весело, ядовито шипел примус.

Разом, возникнув из ничего, запели в наушниках дальние голоса. Свист, вой. Слабый писк морзянки.

«Будь рядом Колька...»

Но Кольки не было. Даже Белый закопался в снег за палаткой. Впрочем, чем он мог ему помочь, Белый?

Он поставил локти на брошенный поверх ящика журнал радиосвязи, но работать с ключом в этой позе было неудобно. Он снял руки с ящика. Правую положил на ключ, левой работал на переключателе.

Точка тире тире... Точка точка точка... Точка... Тире тире...

«Всем! Всем! Всем! Я — Крайночной. Ответьте Крайночному. Прием».

В наушниках хрипло свистело. Прорывалась резкая норвежская речь, взрывалась непонятная музыка, будто из-под воды несло бульканье, шипение. Не было лишь ответа, на который Вовка рассчитывал. Никто не торопился отвечать на его неуверенную морзянку.

«Всем! Всем! Всем! — повторил он. — Я — Крайночной. Ответьте Крайночному. Прием».

Его испугало внезапное оживление в эфире: сквозь рев и треск атмосферных разрядов прорвались голоса сразу нескольких станций. Забывая друг друга, стремительно стрекоча, они будто специально явились помучить Вовку — он ничего не мог понять в их птичьим стрекоте. *Точка точка точка точка тире... Точка точка точка тире...* До него не сразу дошло: **ц и ф р ы!** Передачи велись кодированные. Он с облегчением

вздохнул, поймав нормальную морзянку: морской транспорт «Прочищев» запрашивал у Диксона метеосводку. Диксон уверенно и деловито отвечал: «Единый мелко битый лед в количестве двух баллов, видимость восемь миль, ветер зюйд-вест».

Диксон и «Прочищев» работали открытым текстом. Они никого не боялись. Они чувствовали себя дома.

Это обрадовало Вовку.

«Всем! Всем! Всем! — уже уверенней отстучал он. — Я — Крайночной. Ответьте Крайночному. Прием».

Никто его не слышал.

Никому не было дела до далекого Крайночного, взывавшего о помощи. Транспорт «Прочищев» тоже его не слышал. Он, Вовка Пушкарёв, мог рассчитывать лишь на случай. А над островом несло и несло тучи снега.

«Всем! Всем! Всем!»

Вовку или не слышали, или не понимали.

В сущности, это было все равно — не слышат или не понимают, но Вовка предпочел бы первое.

И замер, расслышав ускользящий писк: «Крайночной! Крайночной! Я — РЕМ-16. Я — РЕМ-16. Прием».

Он боялся ответить. Он боялся переключить рацию на связь. Он боялся оборвать эту столь неожиданно возникшую ниточку, мгновенно связавшую его со всем остальным, огромным, далеким миром.

Но отвечали ему!

«Я — Крайночной! Я — Крайночной! — заторопился он, — испугавшись, что его потеряют. — РЕМ-16. РЕМ-16. Я — Крайночной!»

«Крайночной! — немедленно откликнулся РЕМ-16. — Кто на ключе? Прием».

«Лыков, — машинально отбил Вовка. — Краковский...»

И с ужасом понял: он забыл фамилию радиста!

Имя помнил — Рнмас. А фамилия полностью улетучилась из памяти.

«Река Миссисипи, — вспомнил он, — ежегодно выносит в море почти пятьсот миллионов тонн ила...»

«Гуано образуется не там, где есть птичьи базары, а там, где не бывает дождей...»

«При чем тут Миссисипи? При чем тут гуано? — ужаснулся он этим фразам из учебника географии, вдруг всплывшим в его голове. — Мне нужна фамилия радиста! Мне не поверят, если я не назову фамилию радиста. Вообще, — спохватился он, — зачем я перечисляю все фамилии? Разве могут сидеть на ключе сразу три человека?!»

«Крайночной! Крайночной! — чуть слышно попискивала морзянка. — Я — РЕМ-16. Я — РЕМ-16! Прием».

«Я — Крайночной! — ответил наконец Вовка. — Передачу ведет Пушкарев. Прием».

«Крайночной! Крайночной! Подтвердите имя».

«Не надо было называть себя, — понял Вовка. — Я совсем запутался. РЕМ-16 мне не поверит. Мне сейчас вообще никто не поверит. Я сам все запутал, первыми своими словами все запутал. Зачем я перечислял фамилии?»

Но отстучал он совсем другое.

«РЕМ-16! РЕМ-16! — отстучал он. — Я — Крайночной! На остров высажен фашистский десант. Нуждаемся в помощи».

«И опять я говорю не то, — ужаснулся он. — РЕМ-16 подумает: десантники высадились на Сквозной Ледниковой, а мы спокойно отсиживаемся на метеостанции».

Но РЕМ-16 не был придурком.

«Крайночной! Крайночной! Откуда ведете передачу?»

«Я — Крайночной! Передачу веду с резервной станции».

«Я — РЕМ-16! Я — РЕМ-16! Просьба всем станциям освободить волну. Откликнуться Крайночному. Откуда ведете передачу, Крайночной?»

Вовка понял: ему не верят. Он слишком много наболтал чепухи. Он слишком неуверенно владел ключом. Он все делал зря, все напрасно. Он даже Собачью тропу одолел напрасно. Зачем было мучиться, если ему все равно не верят?

Но отстучал он совсем другое.

«Я — Крайночной! Я — Крайночной! Метеостанция захвачена фашистским десантом. Просьба срочно уведомить Карский штаб. Как поняли? Прием».

«Я — РЕМ-16! Я — РЕМ-16! Откликнуться Крайночному! Крайночной, вас поняли, вас поняли. Сообщите состав зимовки».

«Краковский, — отстучал Вовка. — Лыков. — И вспомнил с восторгом: — Елинскас».

«Кто ведет передачу?» — пищал РЕМ-16.

«Пушкарев».

«В списке зимовщиков Крайночного радист Пушкарев не числится».

«РЕМ-16! РЕМ-16! — торопливо отстукивал Вовка, боясь ошибиться, боясь сбиться с волны. — Буксир «Мирный» подвергся нападению подлодки. Метеостанция захвачена фашистским десантом. Просьба срочно уведомить Карский штаб. Как поняли? Прием».

Эфир взорвался.

Шипя, прожигали атмосферу шаровые молнии, дребезжа, сыпалось с небес битое стекло, что-то визжало, выло дико и странно, хрипело, наводя ужас на Вовку. А с полога палатки упала на ключ мутная капля.

«РЕМ-16! РЕМ-16!» — напрасно зывал Вовка.

Не было РЕМ-16. Исчез РЕМ-16. Пропал.

«Черт с ним! — сжал кулаки Вовка. — Кто-нибудь поверит. Время у меня еще есть. Немного, но есть. Лыков ведь думает, что я еще только ищу палатку, а я успел даже поговорить с этим РЕМ».

«А если батареи сядут? Если мне никто не ответит? Если антенну ветром снесет?»

«Всем! Всем! Всем! — торопясь, стучал он. — Всем! Всем! Всем! Я — Крайночной. Ответьте Крайночному. Прием».

Точка тире тире... Точка точка точка...

Шум в эфире стихал, сменялся резким шипением, будто жарил рядом на сковороде сало, вновь рухнул сверху треск, грохот; одновременно налетал на палатку ветер, сотрясал полотно, сбивал на Вовку мутные капли. Шипел, взрывались атмосферные заряды, будто совали в воду раскаленный штырь. Нервно, прерывисто прыгал под пальцами ключ.

«Всем! Всем! Всем!»

Точка тире тире... Точка точка точка...

Норвежскую речь заменяла немецкая. Торжественно и печально звучала органная музыка. Все сокрушая гремели в выси небесные барабаны. А потом сквозь всю эту свистопляску, вогнав Вовку в подлую дрожь, пробила знакомая морзянка:

«Я — РЕМ-16! Я — РЕМ-16! Отключиться Крайночному».

«Я — Крайночной! Срочно нуждаемся в помощи. На остров высажен фашистский десант. Просьба срочно уведомить Карский штаб. Как поняли? Прием».

«Я — РЕМ-16! Крайночному! Вас поняли. Немедленно отключайтесь. Вас могут запеленговать. — Незвестный радист закончил вовсе не по уставному: — Удачн, братан!»

И отключился.

«Кто он, этот РЕМ-16? — ошалел от удачи Вовка. — Откуда? С Ямала? С Диксона? С Белого? С матернка?»

Впрочем, это было не главным.

Главное, его услышали, его передачу приняли, его сообщение поняли! Каждая его неуверенная буква принята и понята этим замечательным неизвестным ему РЕМ-16. Теперь он, Вовка, свободен! Ему не надо прятаться в скалах, торопясь рассвет, ему не надо помирять со страха над рацией, не зная, поймут тебя или не поймут.

Он медленно отключил питание.

Он медленно встал.

Он медленно вылез из палатки, подняв Белого.

Молочно светлело над Двуглавым небом.

Но если это и было зарево, горела не метеостанция. Не могли ее домики дать сразу столько света. Хотя весь керосин вылей на них.

«Сполохи! — догадался Вовка. — Северное сияние. Столбы. Позорн. Voi как распрыгались!»

Ему сразу стало легче.

Это был не пожар.

А значит, Елинскас, Лыков, Краковский — все они еще живы, все они еще в складе. И они надеются на него, на Пушкарева Владимира!

Он ухватился за канатик антенны и, вскрикнув, отдернул руку.

Тросик колотился как еж. Наверное, на нем были заусеницы.

Вовка снова, теперь осторожнее, потянулся к канатику и снова его кольнула стремительная голубая искра.

«Электрические разряды! — понял Вовка и облился запоздалым ледяным потом. — Мне повезло! Ой, как мне повезло! Через час я бы нигде не пробыл! Через час меня не услышала бы даже самая мощная радиостанция мира! Ой, как мне повезло! Ой, какой молодец этот РЕМ-16!»

Смотав бронзовый канатик, он забросил его в ящик.

«Рацию спрячу под скалами. Там ее никто не найдет. Если даже наши летчики не успеют, если даже нагрянут сюда фрицы, никто не найдет рацию».

Он споткнулся о джутовый мешок, валяющийся у входа.

«Это каша».

Он вытащил из мешка светлый замороженный круг, лизнул его языком.

«Каша!»

Ему хотелось есть. Еще больше он хотел спать. У него ныло все тело.

«Спрячь рацию! — прикрикнул он на себя. — Успеешь выспаться!»

Запер ящик, натянул рукавицы, откинул полу палатки.

— Белый!

«Чертов пес! Снова как провалился».

Пятясь, вытащил ящик.

Мела поземка.

Он не видел собственных ног, будто брел по щиколотку в мутном бурном ручье.

— Белый!

Он не думал, что пес ему поможет. Но вдвоем было бы веселее.

«Чертов пес!»

Напрягаясь, проваливаясь в наметенные ветром сугробы, дотащил ящик до угольных осыпей. Дальше начинался слоистый обрыв. Здесь, под обрывом, Вовка и закопал ящик с рацией. Глянул, запоминая: острый угловатый выступ, выдвинувшийся в тундру, четыре валуна, сваленные друг на друга; постоял, поднял голову.

Конус Двуглавого четко просматривался на фоне звезд. Млечный Путь дымно и пусто лежал поперек неба. А небосвод за хребтом наливался внутренним белым светом, страшным, эфирным, будто налитывался светящимся молоком.

И вдруг сполох!

Огненные волны одна за другой, пульсируя, неслись к зениту. Бледные пятна то отставали от них, то обгоняли, а над Двуглавым, занявшим полгоризонта, раздувалось гигантское зеленоватое полотнище. Оно меняло оттенки, оно подрагивало, будто его раздувало сквозняком, оно неумолимо ширилось, захватывая все новые и новые участки неба.

«Успел! — радовался Вовка, и ледяные мурашки бежали по его костлявой спине. — Успел! Скоро прилетят самолеты!»

Он услышал шумное дыхание. Он увидел Белого.

«Разболтался без хозяина пес, — подумал строго. — Носится без дела».

Но строгости Вовке хватило ненадолго.

Он упал в снег и за уши притянул к лицу мохнатую морду Белого.

Белый засмеялся и показал желтые клыки. Он знал: Вовка ему все простит

— Белый, — спросил Вовка шепотом. — Где наши мамки, Белый?

2

Пес вздохнул. Он не смотрел на небо.

И напрасно.

Там, в небе, как в шляпе фокусника, творились всяческие чудеса.

Вдруг ниспадали с небес, разматываясь на лету, медленные зеленоватые ленты. Вдруг вставали из-за хребта яркие длинные лучи. Тревожно, как прожекторы, они сходились и расходились, выискивая в зените только им известную цель. И неслись, неслись, неслись цветные яркие волны, пока, наконец, над Двуглавым не встала в ночи призрачная зеленая корона.

Почти такую корону соорудил для себя Вовка Пушкарев, отправляясь в конце одна тысяча девятьсот сорокового года на школьный новогодний бал-маскарад.

Склеить корону Вовке помог Милевский.

Корона Кольке тоже правилась, но, провожая Вовку, он все же сказал: «Если бы это я шел на маскарад, я нарядился бы в форму радиотелеграфиста. Китель, а на рукаве черный круг с красной окантовкой. А в центре круга две красные зигзагообразные стрелы на фоне адмиралтейского якоря!»

Вовка вздохнул.

Уже полнеба пылало в эфирном сиянии.

Широко раскрыв глаза, обняв Белого, Вовка смотрел вверх, и тысячи мыслей одновременно ронлись в его голове.

Он вспомнил Невский проспект, как шли по нему, отражаясь в витринах, колонны вооруженных рабочих. А еще вели на привязи аэроплан. Аэроплан был серый, как слон, и весь в широких морщинах.

Он вспомнил Пермь. Там на стене военкомата висел плакат. Молодой солдат, ужасно похожий на Кольку Милевского, целовал краешек красного знамени. В левой руке каска, на груди автомат. «Клянусь победить врага!»

Он вспомнил Архангельск. Там на кирпичной стене возле Арктического причала тоже висел плакат. Девочка за колючей проволокой. «Боец, спаси меня от рабства!»

Обняв Белого, Вовка сидел на снегу, и ему казалось, что и это все он уже видел когда-то.

Остров. Ночь. Северное сияние.

Где? Когда? Как вспомнить? Ведь не бывал он севернее Игарки, и даже там, в Игарке, не видел сияний: гостил у бабушки летом.

Тысячи мыслей одновременно мучили Вовку. Одна касалась Леонтия Ивановича, другая «Мирного». Одна касалась отца, другая боцмана Хоботило. А еще был дядя Илья Лыков, отогревающий под медвежьей шкурой свою негнущуюся, совершенно онемевшую ногу. Еще был Николай Иванович, то скляно ожидающий рассвета под единственным окошечком закрытого изнутри и снаружи склада. Еще был литовец Елин-скас, совсем недавно разговаривавший с Пашкой с Врангеля — с его, Вовкиным отцом.

Он смотрел в пылающее небо.

Вспышки пульсировали, шипелись. Вспышки металлись.

Тире тире... Точка тире... Тире тире... Точка тире...

Вовка понимал, что обманывает себя, что не может быть мамы там, в этих северных сияющих небесах, но взглядом ловил каждую вспышку; они сливались в его мозгу в одно непреходящее, в одно зовущее слово — мама.

Тире тире... Точка тире... Тире тире... Точка тире...

— Белый! — шепнул Вовка.

Пес заворчал, повернул голову, но спрашивать у него Вовка ничего не стал. Расхотел спрашивать, решил не связаться с собакой, шерсть которой была так густа, так уютно путалась в пальцах.

Глядя на играющие в небе огненные столбы, читая про себя призрачные быстрые вспышки, Вовка отчетливо увидел бесчисленные острова великого Ледовитого.

Были среди них острова плоские, как блин, песчаные, низкие,

были острова высокие, поросшие голубоватым мхом, были просто голые ледяные шапки, с которых лед уходил в зеленую толщу вод.

Вовка отчетливо видел каждую самую потаенную бухточку, каждый самый неприметный мыс, где работали не знающие усталости метеорологи.

Температура, влажность, направление ветра, осадки.

Метеорологи спешили к радистам, радисты брались за ключ.

Точка тире... Точка тире...

Сотни метеостанций работали на огромную страну, протянувшуюся от Белого до Черного моря, сотни радиogramм летели с островов туда — к материку. Это означало: открыт путь танкам, кораблям, самолетам! Это означало: все для освобождения Родины!

«Война за погоду, — вспомнил Вовка слова Леонтия Ивановича. — У нас тут тоже идет война. Самая настоящая война за погоду!»

Война!

Сейчас, осознав это, Вовка Пушкарев вовсе не желал эту войну проигрывать. Особенно здесь, на Крайночном.

Он не знал, когда появятся самолеты. Он даже не знал — услышит ли, увидит ли их? Но самолеты должны были появиться. РЕМ-16 это обещал твердо. Вот почему, забравшись в палатку, уже не имея никаких сил куда-то уходить, прятаться, Вовка разогрел на примусе кашу, пытаясь представить — а к это будет?

Рев моторов, пронзительный посвист пуль, перепуганные, бегущие по насту фрицы.

Кто-то, подзывая подлодку, опомнится, метнет гранату в черную, как смоль, ледяную и непрозрачную воду бухты Песцовой.

Но он опоздает.

Фашистская подлодка пустит последний масляный пузырь и вместе с нею уйдет, наконец, на дно океана тот человек, чье лицо Вовка так и не смог себе представить, уйдет на дно океана этот Ланге, Фрайзе, Шаар, Мангольд, чье невнятное, блеклое, подводное лицо долго еще будет сниться Вовке в его повторяющихся полярных снах.

«Эр ист...»

Ладно. Пусть. — мальчишка.

Мальчишки однажды обязательно становятся взрослыми!

Это были сладкие мысли.

Такие же сладкие, как пшенная каша, которую он, наконец, разогрел. Такие же красивые, как мама. Такие же необоримые, как сон, который вдруг повалил его на расстеленный спальник. Такие же невыразимо уютные, как посапывание Белого, залегшего у входа в палатку.

Белый тоже уснул.

Ему было все равно, горит над ним северное сияние или нет.

Рыкнув пару раз для порядка, он свернулся клубком прямо на снегу, но и во сне его собачьи короткие веки тревожно и быстро подрагивали.

Несмотря на свой сон, Белый снежинку лишнюю не впустил бы в палатку.

Правда, снежинки эти летели так быстро, они были такие юркие и проворные, что даже сам Белый, не раз отличившийся в этот день, ничего не мог с ними поделать.

Он ведь не знал, что сами эти снежинки тоже были частью той погоды, за которую воевал Вовка Пушкарев.

Белый не обращал внимания на снежинки.

Другое дело — люди.

Заслышав Белый шаги, неважно — свои или чужие, он вмиг бы очнулся, он вмиг бы нашел способ сообщить о них Вовке.

3

Давайте и мы помолчим.

Пусть Вовка поспит.

Ему еще столько предстоит узнать. Ему еще столько предстоит сделать.



Александр Кулешов

«ЧЕРНЫЙ ЭСКАДРОН»

«Клянусь говорить правду, всю правду, ничего, кроме правды»

*Текст присяги свидетеля,
выступающего в американском суде*

Глава I. Я — ИЗ ИНТЕРПОЛА

Давайте познакомимся.

У меня английское имя Джон, французская фамилия Леруа, я родился в Бельгии, и среди моих родителей, бабушек, дедушек и прадедушек, насколько я знаю, не было двух человек одной национальности. Наследственность сказалась: моя первая жена была марокканкой, вторая — итальянкой, третья... Впрочем, третьей еще нет, но если будет (в чем я сомневаюсь), то наверняка эскимоской или папуаской. Люблю экзотику!

Но зачем повторяться? Все это я вам уже говорил. Помните? Когда рассказал историю о похищении самолета. Не помните? Ну и слава богу! Мое участие в этой кошмарной эпопее было, прямо скажем, довольно бесславным. Гордиться нечем. Хорошо, что все кончилось благополучно. Для меня, во всяком случае. И во всех отношениях. Во-первых, я остался жив и невредим, а во-вторых, мое начальство об отсутствии у меня излишнего героизма во время всей этой кутерьмы толком ничего не узнало. Может быть, догадывалось, но предпочло считать своего доблестного агента образцом смелости и самоотверженности. О нем, о начальстве, которое гоняется за преступниками, сидя в своих уютных кабинетах, судят ведь по нашим подвигам. Так что, сами понимаете...

И вот меня в виде поощрения направили работать в Интерпол. А может, посчитали, что уж лучше пусть я воюю с чужими преступниками как доведется, чем со своими не

очень-то здорово. Словом, какая разница — важно, что я, Джон Леруа, бывший сотрудник отдела по борьбе с воздушным терроризмом, стал сотрудником Интерпола — международной полиции. Звучит!

Вы знаете, что такое Интерпол? Наверняка не знаете. Поэтому, простите за некоторую сухость изложения, я вам сейчас нарисую, что это за штука. Я тоже о нем кое-что слышал и читал, но, пока не начал там служить, не очень-то представлял себе, что к чему.

Так вот. Преступники теперь любят путешествовать. Эдакие туристы и бизнесмены. Сегодня он грабит банк в Рио-де-Жанейро, а завтра уже загорает на пляже в Камакуре, недалеко от Токио. Сегодня он спер килограммчик драгоценностей в ювелирной лавочке в Париже, а завтра сбывает их в Сиднее. Уж про торговцев наркотиками и говорить нечего.

Ну, а раз преступники стали мотаться по свету, да еще создавать международные банды и организации почтище транснациональных картелей, то пришлось под это дело подстраиваться и полиции. Выходить, так сказать, на международную арену.

И вот теперь в Интерпол входит без малого 140 стран! Почти Объединенные Нации. Восточная Европа и Россия, правда, в стороне, но, судя по газетам (да и по моему личному, известному вам опыту), там-то как раз бандиты особенно туризмом не увлекаются. В этих странах наши корифеи преступных дел почему-то предпочитают не гастролировать. Справедливо опасаются получить туристскую путевку по дальним (и долгим) северным маршрутам.

Да я не о том. Я об Интерполе. Работа здесь кипит. За один год чуть не полтора ста тысяч телеграмм рассылает штаб, он называется Секретариатом и находится в Париже. Разные там есть отделы. Один называется «Отдел международного сотрудничества», и в нем три отделения. Первое занимается преступлениями против личности и преступлениями экономическими, второе — фальшивомонетничеством и компьютерными преступлениями, а третье — борьбой с незаконным распространением наркотиков. Меня, разумеется, в это третье отделение и определили. Как же, специалист!

Работы хватает. Уж если второе отделение за один год едва ли не на сто миллионов долларов фальшивых бумажек изъяло — одних долларов в 63 странах, — то можете себе представить, сколько у нас работы!

Но зато спокойно. Сидишь, исследуешь, анализируешь, передаешь во все страны информацию и получаешь ее из всех стран. Тихая работа. Париж — город красивый, девочки там тоже красивые и отзывчивые. Тем более ко мне, Джону Леруа, красавцу и атлету. Живу, не тужу. Есть, конечно, и случаи,

когда приходится выехать в какую-нибудь страну, участвовать в деле. Тут в Секретариате такая информация хранится, что будь здоров — на четыре миллиона преступников только международного класса! Почти население Швейцарии. Вот бы их всех вместе собрать и на какой-нибудь большой остров и выслать. Интересно, как бы они там жили? Наверное, передушили бы друг друга.

Впрочем, скажу вам по секрету, что все эти бандиты «международного класса» просто овечки по сравнению с бизнесменами того же класса. Вот где друг другу горло перегрызают и не оглядываются, вот где настоящие банды воюют, куда там всяким мафиози и «мёрдер-трестам»! Мне мои коллеги из второго отделения, которое компьютерными преступлениями занимается, рассказывали — заслушаешься. Там что ни преступник, то Эйштейн, был такой физик знаменитый, слышали? Небось может вечный двигатель изобрести, а он с компьютерами орудует. Один так сделал, что на его счет в банке чужие деньги переводят, другой от налогов избавился, третий к каждой получке нолик прибавляет. Даже дети теперь стали в компьютеры играть и такое творят, что сам черт ногу сломит...

Ну, да бог с ними, с крошками. Расскажу эпизод из своих дел — наркоманных. Правда, после того случая с самолетом у меня к ним душа не лежит. Но что поделаешь, определили — служи.

Вот такой случай.

Однажды на шоссе поздним вечером мчавшийся на большой скорости автомобиль врезался в придорожное дерево. Ну конечно, прибыла полиция и при осмотре места происшествия обнаружила странное явление: вокруг лопнувшей шины (которая и послужила причиной аварии) рассыпался непонятный белый порошок. После внимательного изучения выяснилось, что это не женская пудра и не тальк для младенцев, а героин. Что тут поднялось!

Поскольку машина была зарегистрирована в одной стране, пассажир был из другой, а катастрофа произошла в третьей, за дело взялся Интерпол, командировавший на место своего лучшего (как мне кажется) агента Джона Леруа.

Прибыл. И узнаю, что все шины в этом примечательном авто были набиты героинном, даже запасная. Ну, не набиты, но по килограммчику в каждой было. Значит, так: снимали колесо, вынимали камеру, вдували в нее порошок, затем надували, вставив на место, и — привет, посылка готова. Только с одной перестарались, нервничали, наверное, и такого давления не пожалели, что, когда скорость перевалила за сто пятьдесят, все лопнуло. В том числе и вся эта хитрая затея: улетучились миллионы.

Словом, выяснили, кто пассажир, и потянулась ниточка.

Когда уже все дело раскрыли, выяснилось, что предприятие было поставлено с размахом. Много народа попало, но все мелюзга. А вот главных, кто за всем этим стоял и кто зарабатывал львиную долю прибыли, их-то не оказалось. Исчезли. Испарились. Были у нас на кое-кого подозрения. Да разве к таким подступишься! Тут можно не только место, а и голову потерять. У меня в стране миллионеры, как известно, преступниками быть не могут. А уж какие миллионы приносит торговля наркотиками, так это просто уму непостижимо!

Могу сказать, что только в Соединенных Штатах и только за один 1983 год объем торговли наркотиками достиг 100 миллиардов долларов! А? Ничего себе цифра. 100 миллиардов! Это треть военного бюджета страны.

Помните, я вам обещал заморочить голову разными цифрами. Я их не очень-то люблю, но специально для вас взял в наших архивах. Как зарабатывают миллионеры на наркотиках, я вам сказал. А вот как добывают деньги на наркотики те, кого к героину эти же миллионеры приучили? Вот пожалуйста. Некий доктор Болл не поленился одиннадцать лет подряд наблюдать 243 человека, регулярно принимавших героин (ума не приложу, как ему это удалось!). Значит, 237 из них были ворами-рецидивистами, которые воровали, чтоб иметь, на что покупать свой героин. Словом, за время наблюдения они в общей сложности совершили около полумиллиона уголовных преступлений. Ничего, а? Ну, а что им делать? Навидался я этих наркоманов. Кошмар. И главное, чем дальше, тем больше. Начинает с десяти сантиграммов, потом двадцать, тридцать, сорок... Ему надо все больше. Подходит время колоться — он уже не человек, а животное, руки дрожат, есть ничего не может, вечно больной, худющий, глаза как у кролика. И все ради чего? Ну, десять минут ему будет хорошо, ну, полчаса. Да и то впадает в спячку, ничего ему не надо. А потом в сто раз хуже.

Начинают, думают поразвлечься, перед подружками похвастаться — мол, покуриваю, понюхиваю, покалываю... Как же, собралась компания юных балбесов, друг перед другом выпендриваются. А потом, когда спохватываются, стоп, брат. Поздно. Да, страшное это дело...

Это страшное дело, но страшно выгодное.

Сами посудите. Где-то на Карибских островах, в Ницце или на Гавайях живет-поживает в роскошной вилле мистер Икс. Который не то что наркотиков никогда не употреблял, а и виски-то пьет только после шести вечера и сигары курит лишь три раза в день. Так ему рекомендовал его личный врач. А за тридцать земель работает на него целая армия. Где-то в Таиланде в «Золотом треугольнике» растут мак, везут его

горными тропами, переправляют куда-нибудь в Гонконг, оттуда контрабандой в Нидерланды или Канаду, перерабатывают, тайно переправляют в страны Европы и Америки... И всюду идет жуткая война, целые сражения между таможенниками, полицией и переправщиками, торговцами, распространителями. Гибнут сотни людей, еще сотни садятся за решетку. Но сотни тысяч гибнут не от пуль, а от героина, гашиша, опиума, ЛСД, морфия и другой мерзости. А мистер Икс, восседая на Гавайях в своей вилле, знает себе считает прибыль — сто, двести, иной раз и тысяча процентов!

Приятно и, главное, безопасно. Прибыль эту он вкладывает в земельные участки, нефтяные скважины, в военно-промышленный бизнес. И там он уважаемый, удачливый бизнесмен. В моей стране не принято спрашивать, откуда у человека деньги. Лишь бы они были.

И кто только с наркоманией не борется — и ООН, и Интерпол, и разные международные организации! И не могут в толк взять, что, пока у одного миллионы, а у другого шиш, ничего не изменится. Потому что тот, у кого миллион, захочет иметь второй, а тот, у кого нет ничего, будет стараться одурманивать себя разной дрянью, чтоб хоть на минутку почувствовать, что у него все есть.

И в конечном счете ему же хуже. А мистер Икс? С ним ничего не произойдет.

Вот я вам еще одну историю расскажу из того недолгого, увы, периода, что я в этом Интерполе подвизался.

Однажды нам сообщили, что в большой партии сигарет обнаружены блоки сигарет, начиненных ЛСД. Такие сигареты особенно любят юные идиоты, воображающие, что ЛСД — наркотик не очень опасный, и убеждающиеся в обратном, когда уже поздно давать задний ход.

Начали проверку. Сигареты как сигареты, марки разные: «Салем», «Винстон», «Кемел», «Мальборо», «Честерфилд». Тысячи тонн, десятки тысяч блоков, миллионы пачек. Попробуй проверь! Вскрывали, исследовали, обнюхивали (не мы, конечно, собаки, есть такие специально дрессированные на распознавание наркотиков). Иногда обнаруживали то, что искали. Но системы установить никак не могли.

Что оставалось делать? Поступили, как частенько поступаем. Схватили одного юнца, пообещали, что не посадим, если назовет своего «пушера» (поставщика). Назвал. Юнца того, правда, с пулей в затылке вскоре на свалке обнаружили, но «пушера» взяли. С ним беседовали иначе. Невежливо беседовали. Когда он уж совсем на ладаи стал дышать, все же назвал оптовика. «Пушер», к сожалению, очень скоро умер в тюремном госпитале от насморка или от геморроя, уж не помню, но оптовика мы все же сграбастали. С тем грубо не

поговоришь — у него одинх адвокатов столько, сколько во всем моем отделе сотрудников, а уж денег...

Состоялся суд.

— Ваши сигареты везли на сухогрузе «Бегония»? — спрашивают.

— Мои, — отвечает.

— Вам известно, что среди них были сигареты с ЛСД?

— Нет, неизвестно.

— А вот свидетели... (тут ему целый список зачитывают) показывают, что по вашему распоряжению накануне отплытия из определенных ящиков изымались блоки, а вместо них вставляли другие.

— Ну и что?

— А то, что именно в этих блоках были сигареты с ЛСД.

— Так это ваши «свидетели», а по мне лжесвидетели, их туда сами и вложили.

— Все свидетели? Их двадцать семь. Что ж, они все сговорились? Доказано, что они раньше не были знакомы.

— Зато они все меня ненавидят и хотят оклеветать!

И верю. Адвокаты вынимают целые горы документов, и выясняется, что все двадцать семь голубчиков имели основания этого оптовика ненавидеть. Всех он чем-нибудь мог шантажировать, все были перед ним в долгу, все его боялись.

— Вот видите, — твердят адвокаты, — это месть!

Впрочем, один свидетель заявил, что имеет убедительные доказательства — у него, мол, есть письмо обвиняемого с соотвествующими инструкциями.

Но тут обвиняемый почувствовал себя плохо, по просьбе адвокатов заседание отложил на два дня, а когда собрались снова, узнали о большом несчастье: тот свидетель заснул с непогашенной сигаретой, наверное в пьяном виде, возник пожар, и он сгорел вместе со своим домом. Кошмар!

Много там еще болтали на этом процессе, прокурор свое, адвокаты свое... Короче говоря, пришлось за недостатком улик этого оптовика, очередного мистера Икс, отпустить. В тюрьму отправились двадцать семь свидетелей, превратившихся в обвиняемых (простите, двадцать шесть — один-то погнб во время пожара).

А обвиняемый, превратившийся в невинную жертву полицейского произвола, отправился на Гаван, чтобы поправить здоровье, пошатнувшееся в результате людской несправедливости...

Я-то в этом деле большого участия не принимал, разве что присутствовал при изъятии сигарет. Скучное занятие: ящиков видимо-невидимо и в каждом видимо-невидимо блоков сигарет. К концу дня даже заядлый курильщик небось готов бросить курить.

И все же кое-какие выводы я для себя из этой истории сделал. Мы, значит, бедные государственные служащие, в данном случае полицейские, трудимся в поте лица, ворошим миллионы каких-то дурацких сигарет в понсках иголки в стоге сена, мотаемся по всему свету — разыскиваем «свидетелей», мелких подонокков, хватаем, наконец, главного подонокка. И что ж дальше? А ничего. Главный делает нам ручкой и уплывает на собственной пятипалубной яхте к тропическим горизонтам, мы же продолжаем наш энергичный бег по механической дорожке. Есть такая, знаете, мчишься во весь дух, сучишь ногами, весь мокрый, а все на месте топчешься.

Вот тогда-то впервые и пришла мне в голову мысль: к чему все эти хлопоты, процессы, болтовня, когда и дураку ясно, кто главный преступник? А раз так, то чего возиться — хлопнуть его на месте, и все. Ну как? Как моя мысль? Вроде бы правильная, верно? Черта с два! Хлопнешь, а потом тебя самого хлопнут за самоуправство, за превышение власти, за неоправданное убийство... Ты кто? Обыкновенный полицейский, чинуша, рядовой страж порядка. А он, мистер Икс? Фигура, миллионер, столп общества. На таких, как он, наше общество и держится. И слуги общества, в том числе мы, полицейские, тоже, между прочим.

Так что надо еще два раза подумать, что нам выгодней: хлопнуть таких или, наоборот, оберегать. А то, глядишь, без работы окажешься.

И все-таки где-то внутри осталось у меня сожаление, что упустили мы случай разделаться с этим оптовиком. Когда он еще в наших руках был, а не перешел в ведение прокуроров, судей — всей этой машины. Вот так!

Я здесь подробно поделился с вами моей мыслью, потому что дальнейший мой рассказ с нею связан. Тогда эта мысль пришла мне в голову впервые.

Итак, значит, служу в Интерполе, не тужу. А если быть честным, то бью баклуши. Но этого никто, как я думал, не замечает.

Ошибаюсь.

Оказывается, замечал как раз тот, кому замечать не следовало, — мой начальник.

И однажды меня вызывают в Секретариат и, не глядя в глаза, вручают предписание — вернуться на мою благословенную родину за новым назначением.

Война с преступностью в международном масштабе оказалась не по мне, придется сражаться в национальном. И, сдав дела (которые, если честно, никогда, в общем-то, не занимался), сажусь в самолет и лечу домой.

Моя служба в Интерполе длилась недолго.

Глава II. НА НОВОМ МЕСТЕ

Я опускаюсь все ниже в полицейской иерархии. Сначала воевал с воздушными пиратами, потом с торговцами наркотиками, потом служил в Интерполе, и вот теперь меня определили в уголовную полицию (кончу я, наверное, регулировщиком уличного движения, что, не знаю почему, у нас считается для полицейского дном). Здание, в котором помещается моя новая контора — серое, облезлое и большое. Длиннющие гулкие коридоры, широкие лестницы (лифтов нет). В коридорах пахнет сыростью, штукатуркой, еще чем-то протным.

В комнатах мы, инспектора, сидим по четверо. Но поскольку вечно кто-нибудь — а чаще все — на задании, то комнаты, как правило, пустые. Иногда по коридорам мчатся сломя голову оперативные группы или отдельные инспектора. Где-то что-то случилось. По вечерам сидим, пишем бесконечные, никому не нужные документы.

Утром дремлем, как сонные мухи, а днем, если не мотаемся по заданиям, пьем кофе, а то и пиво.

Вот такая обстановка.

Начальник вызывает меня и говорит:

— Будем знакомы, Леруа. Все данные у тебя для работы в нашем отделе есть: ты и дзюдоист, и каратист, и боксер, и снайпер. Ростом и силой тебя бог не обидел. А опыта тебе не занимать. Вот только тут помечено, — и листает какие-то бумажки, — что, как бы это сказать, не рвешься ты в пекло и вообще к работе относишься сдержанно. Но это ничего, у нас тут, если во время работы спать, можно и вечным сном уснуть. Так что переучишься. Желаю тебе успеха. Иди трудись.

Вот такая приветственная речь. Мог бы, конечно, и потеплей слова найти. Да ладно, начальники, они все одинаковые, им не угодишь.

Иду к себе в комнату и начинаю знакомиться со своими коллегами. Их трое.

Тот, для кого я «стрела» (так на нашем жаргоне называется старший в двойке), Гонсалес, среднего роста, черноволосый, черноусый. Он самый старый, ему сорок лет, и он так ни до чего не дослужился. Наверное, из-за своей болтливости. Просто поразительно, как можно столько говорить! Даже на задании в засаде, и там умудряется шепотом острить, рассказывать старые анекдоты, что-то бормотать под нос. Но опыта у него больше, чем у нас у всех, вместе взятых.

Второй, Джон, мой тезка; его, с тех пор как пришел я, стали называть Джон-маленький. В отличие от меня, Джона-большого. Еще бы, он — метр семьдесят, я — метр девяносто! Совсем молоденький, только из нашей школы, весь такой

ладный, быстрый, точный. Он про эту школу много рассказывал, я вам как-нибудь перескажу.

Наконец, третий — О'Нил, ирландец. Мне сдается, что мало на свете есть полиций, где бы не служил хоть один ирландец. Он — «стрела» для Джона-маленького. Здоровый парень, ростом с меня, весом побольше, конечно, рыжий, спокойный, а по части болтливости вполне компенсирует Гонсалеса, если тот рта не закрывает, то этот, наоборот, раскрывает только, чтоб пожрать, в этом деле он рекордсмен. И если не поел, становится мрачным, злым, агрессивным. Выпить тоже не дурак.

Вот такая компания. Столы наши в одной комнате, и, между прочим, по ним легко догадаться, кто где сидит. У О'Нила всегда там стоит термос с чаем, какие-нибудь бутерброды, пакетики с поджаренным картофелем (а в глубинных ящиках, если покопаться, найдется и кое-что покрепче чая). У Гонсалеса на столе полный хаос — бумаги, дела, журнальчики легкомысленного содержания, фотографии кинозвезд и спортивных чемпионов, рекламные проспекты... У Джона-маленького стол, как танцплощадка в парке перед грозой, — пустота полная, у него все в ящиках разложено, вынимает только когда надо.

Вот так. У меня, конечно, все выглядит нормально. Нужное под рукой, не нужное — в корзине для мусора. (Правда, я не всегда отличаю нужное от не нужного.)

День мой строится так. Встаю, полчаса занимаюсь изометрической гимнастикой, гантелями, эспандером, лезу под душ, бреюсь, одеваюсь и выхожу. Завтрак и вообще еду я готовить не люблю, хоть и умею. Захожу в кафе на углу и съедаю что под руку попадется, потом сажусь на автобус и отправляюсь в присутствии. В восемь сижу за рабочим столом. Джон-маленький уже на месте и вежливо здоровается.

О'Нил приходит с опозданием на одну-две минуты, хлопает нас по плечу так, что мы чуть не падаем со стула, и орет во все горло «Салют!». Бывают дни, когда он больше ни одного слова так и не произносит.

С опозданием минимум на четверть часа, запыхавшись, виновато оглядывая нас, влетает Гонсалес.

— Понимаешь, — бормочет он, — вот незадача. Ну что ты будешь делать? Автобус уходит, бегу, а наперерез мне кошка! И черная! Ну? Пришлось подождать, пока пройдет кто-нибудь. И назло, только какая-то старушенция плетется, пока она кошкин маршрут пересекла, два автобуса прошли! Ну? А что было делать? — в глазах его столько скорби, словно он потерял любимого человека. — Ведь черная! Я бы, конечно...

Он еще что-то бормочет, но в это время раздается сигнал, и мыдвигаемся на утреннюю оперативку.

Ее проводит начальник. Он любит это делать обстоятельно, сообщает всякие цифры и факты глобального масштаба, ин-

какого отношения к делу не имеющие. Этим, по его выражению, он «расширяет наши горизонты».

— Вы, мальчнки,— говорят он (мы все для него мальчнки, хотя кому-то и за сорок, и кто-то весит побольше ста килограммов),— вы, мальчнки, должны понимать, для чего служит полиция. Наша задача — борьба с преступлением! — Он говорит это с таким видом, словно открыл новую планету.— Защита нашего общества, самого демократического и свободного общества в мире, от посягательства убийц, насильников, грабителей, бандитов, фальшивомонетчиков... (он еще долго перечисляет все возможные виды преступников, но заканчивает всегда одинаково) и подрывных элементов. Запомните — подрывных элементов, всех этих экстремистов, «красных», забастовщиков, студентов, разных там демонстрантов!

Я, конечно, не очень в этих делах разбираюсь, но наш начальник, по-моему, еще меньше, он всех валит в одну кучу. Я слышал краем уха, как один его коллега (тоже комиссар) как-то сказал ему: «Ты все-таки не в политической полиции служишь, а в уголовной. Вот и лови убийц и воров». А наш отвечает: «Для меня коммунист и убийца одно и то же, я бы их всех...» И так выразительно тряхнул рукой — указательный палец вытянут, большой поднят. Вот такой у нас начальник! Ему палец в рот не клади. Уж кто-кто, а он демократию защитит!

Пока он вещает, мы дремлем. Никуда не денешься, так даже лучше. Пусть выговорится, а то станет еще наши недостатки разбирать, знал я таких начальников. Нет, пусть уж лучше «расширяет наши горизонты».

— Понимаете вы, что за один год,— доносится до меня голос начальника сквозь дремоту,— у нас в стране было зафиксировано 1,6 миллиона преступлений, а раскрыто меньше четверти! Это же черт знает что! В нашем отделе я этого не допущу. Мы будем раскрывать минимум одну треть! Треть — вот задача!

Он произносит эти слова с пафосом, делает паузу и уже будничным тоном продолжает:

— А теперь перейдем к текущим делам.

Мы просыпаемся, ерзаем на стульях, шелестим блокнотами. Начальник зачитывает сводку.

— Так, вчера,— тянет он,— так, значит, значит, так: убийств — семь, ограблений — пятнадцать, изнасилований — тридцать, всего-навсего три драки — тридцать семь краж — двадцать, самоубийств... Ну, это не наше дело, пожары... тоже... Ну, что ж, спокойный денек, отличный денек. Вот бы всегда так.

Действительно, по сравнению с другими днями вчерашний выглядит вполне мирно.

Дальше идет, как мы ее называем, диспетчерская работа. Мы получаем задание и разбредаем по разным направлениям. Куда? Ну, вот, хоть такой день.

Месяца три назад была совершена попытка ограбления банка. Ничего особенного в этом нет, банки у нас грабят по несколько штук ежедневно. Есть такие, на которые нападали раз по десять. Удивительно было не то, что напали на банк, а то, что грабителей задержали. Вот это случается не часто.

Вы когда-нибудь заходили в наш город в банк? Нет? Тогда опишу вам его. Обычно это величественное здание с мраморным или гранитным нижним этажом. Двери — грузовик может проехать, кованые решетки толщиной в руку, с позолотой. Внутри, как в церкви, огромный зал, колоннада, в середине массивные столы, на которых клиенты могут заполнять свои чеки. Вдоль стен стойка, за ней клерки, мужчины и женщины, стучат на машинках, нажимают клавиши компьютеров, пишут бумаги. Главное, конечно, касса. Это такая клетка из толстого пуленепробиваемого стекла, герметически захлопывающаяся, так что газ не проникнет. Подходит клиент к окошечку, ему выдвигают ящик, куда он кладет документы на получение денег. С другой стороны ящик от кассира закрыт герметической заслонкой, потом кассир придвигает его к себе, берет документы, кладет деньги — все это время ящик герметически закрыт уже от клиента — и снова выдвигает его.

А на стенах, в колоннах, в разных тихих местах телекамеры. Если налет, любой служащий поднимает руки вверх, а ногой нажимает кнопку — включается телекамера, в соседнем полицейском отделении звучит сигнал, на всю улицу воет сирена...

Я еще забыл вам сказать, что у дверей стоят парочки дюжих молодцов с пистолетами и дубинками у пояса, а в дежурке таких еще трое-четверо сидит.

И все же банки грабят всюду. Нам как-то наш начальник, этот любитель статистики в международных масштабах, цифры приводил.

В Лос-Анджелесе, например, 624 ограбления банков за год. А? Ничего, почти по два в день. А в Вене куда меньше, по полтора ограбления в месяц. Всего-то!

Вам, конечно, интересно узнать, как грабят банки, как при такой защите, о которой я вам рассказывал, все же запросто удается и деньги взять, и спокойно покинуть место действия. Извините. Не получится. Еще не хватало мне тут устранять курсы повышения квалификации по части ограбления банков. А то как бы и вам не пришла охота попробовать свои силы в таком предприятии. А что? Если уж двенадцатилетние мальчики с игрушечными пистолетами взялись за дело...

А в тот раз, о котором я рассказываю, преступников задержали. Они стали жертвами уличного движения. У нас оно сумасшедшее. В часы пик куда быстрее было бы ехать на осле, чем на автомобилях. Так вот, убив одного из охранников и прихватив два мешка денег, грабители, числом четверо, выбежали на улицу и вскочили в ожидавшее их такси. Такси было угнано за два часа до налета. За рулем сидел водитель в форменной фуражке.

Как только преступники вскочили в машину, она сорвалась с места и выехала на резервную зону. (У нас в городе крайняя правая полоса уличного движения отведена только для автобусов и такси.)

Так бы они и смылись, если б не случай. Ох уж этот случай! Сколько тщательнейшим образом разработанных планов рушится из-за его величества *случая*. Вот и на этот раз.

Хотя, учитывая число алкоголиков в нашей стране, особой случайности в этом *случае* не было. Просто какому-то подвыпившему типу, сидевшему (а у нас таких тысячи) за рулем своей «вольво», надоело плестись в бесконечной веренице еле двигающихся машин, и он резко свернул на резервную полосу. Такси преступников врезалось в «вольво». Треск, грохот, скрежет, крики... Сбежался народ, появился регулировщик, подошли преследователи. Грабителей схватили и отправили куда надо. Следствие недолгое — все и так ясно.

Оказывается, нет. Те четверо признают свою вину — а куда деваться, их сто свидетелей видели, служащие банка, прохожие... А вот тот, что сидел за рулем, все отрицает. Меня, мол, заставили, пригрозили, что если сбегу, то найдут и убьют. Он ни в чем не виноват, только сидел в машине, никого не грабил, никого не убивал. Сидел, дрожал от страха. Те четверо подтверждают.

И тут к нам поступает записка. Написана явно женской рукой. В записке сказано, что не только этот липовый таксист был в сговоре с преступниками, но он-то и есть главарь шайки, он разработал весь план, и вообще это не первое их ограбление, и все это можно доказать. Но писавшая боится за свою жизнь и потому в полицию не идет, а, вот, пишет. И если в полиции хотят получить доказательства, то пусть принесут положенную денежную награду на место встречи, которое автор письма укажет по телефону. Зачем такие сложности, почему сначала писала, а потом собиралась звонить — неясно. Ну, женщина ведь, чего вы хотите? Словом, позвонила она раза два еще, в конце концов договорились встретиться на каком-то пустыре, в подъезде заброшенного дома, что выходит на маленькую площадку. На площадке фонарь, и, если что не так, ей, наверное, из этого подъезда все будет видно и она сумеет куда-нибудь спрятаться. Ну, не знаю. Такие вот условия. И начальник говорит:

— Вот вы, Леруа, с напарником пойдете туда к десяти вечера, отдадите ей деньги и возьмете доказательства. Да не забудьте расписку у нее взять, а заодно и проверьте документы, мало ли что, может быть, ее придется свидетелем вызвать? Доказательства, что принесет, тоже проверьте, не липа ли? Да будьте поосторожнее, все же с деньгами идете. Мало ли что они там задумали — может, сообщники.

Вечером мы с Гонсалесом отправляемся на эту дурацкую операцию. У меня к ней душа не лежит. Какой-то пустырь, развалины, народу кругом никого, непонятная баба...

Подходим, действительно, фонарь яркий горит (кому он здесь нуже?), и никак его не минуешь, чтобы к подъезду этому подобраться, правильную позицию выбрала.

Договариваемся так: Гонсалес становится у стены дома напротив, в темном углу, меня прикрывает. А я иду в подъезд. Сердце колотится, душа в пятках, но иду.

Вхожу, пахнет сыростью, отбросами и еще чем-то знакомым. Чем же? Наконец соображаю — кровью, уже знаю, что будет дальше. Настроение портится окончательно. Вынимаю фонарь, делаю два шага. Так и есть — вот она лежит. Молодая еще, одета прилично, в руках зажала портфель так, что не вырвешь. Но зачем вырывать, они просто вынули из него все бумаги. Потом, конечно, после того, как всадили ей в спину нож.

Следов борьбы, как выражаются в наших протоколах, не обнаружено. Как потом установили, когда она пришла в этот подъезд (и почему она такое место выбрала?), ее уже ждали.

Вот и вся история. Несложное такое дело. Тех четверых, конечно, осудили. Ну а главный, за неимением против него улик, был оправдан. Пытался прокурор обвинить его в сообщничестве, но адвокат без труда доказал, что тот действовал под влиянием страха. Он очень испугался, когда ему пригрозили. А вы бы не испугались? Ну вот, и он тоже.

Я этот случай и не вспомнил бы, если б не одна деталь, которая мне потом долго не давала покоя. Откуда убийцы все так узнали, где она должна была с нами встретиться? Ведь если б следили за ней, то после нее в подъезд вошли, а не раньше. Кто мог им сообщить? Судя по ее поведению, она вряд ли кому-нибудь проговорила, значит, только у нас в полиции обо всем этом знали. Кто же предупредил убийц?..

И я вспомнил, что мне как-то Джон-маленький рассказывал, он, между прочим, молодой-то молодой, но много чего знает. Вообще толковый парень. Один недостаток — не все в нашей работе одобряет. Эдакий идеалист. Начитался рекламных объявлений в журналах: «Хочешь помочь людям — становись полнsmеном!» И стал. Помогать-то мы помогаем, но вот кому и как? Не такой это простой вопрос, я к нему еще вернусь.

Так вот, как-то Джон-маленький мне рассказал, он это

в английской газете «Дейли экспресс» вычитал. Там говорилось, что однажды грабители совершили налет на лондонский банк «Ллайд бэнк лимтед» и прихватили девять миллионов фунтов стерлингов. А пока шло следствие, 250 тысяч осело в карманах полицейского начальства. Эта газета, говорят, даже написала: «Такого еще не знала история Скотленд-Ярда». Про Скотленд-Ярд не скажу, но у нашего начальства небось оседает не меньше. Впрочем, это я так, пошутил. Не вздумайте моему начальнику сказать, он такого юмора не поймет.

...Однажды прихожу на работу после задания, копаюсь в документах. Все как обычно. Напротив за столом бубнит Гонсалес:

— Понимаешь, не могу решить, менять машину или нет (у него какой-то древний «форд», и он без конца мечтает продать его и купить маленькую БМВ, но все денег не хватает). Если я продам мою за тысячу монет, то придется приложить еще тысячу. С другой стороны, моя колымага еще года два протянет. Вот я и думаю... поминишь, как Кафунет все не знал, что со своей слишком длинной тросточкой делать. «Наверху, жаловался, набалдашник красивый — не хочется резать, а внизу она мне не длинна». Ха-ха-ха...

Он заливается смехом (никто его не поддерживает) и снова начинает морочить нам голову своими автомобильными проблемами.

Джон-маленький смотрит на часы — половина первого — встает, достает из-под стола гантели и начинает «работать». Он всегда за полчаса до обеда это делает. Поразительный парень — все время занимается самосовершенствованием. Я думаю, он далеко пойдет, во всяком случае, дальше нас всех.

Вот тогда-то раскрывается дверь и в комнату врывается О'Нил. Именно врывается, а не wpłyвает, как обычно. Его кирпичного цвета лицо на этот раз более потолка. Губы в ниточку, глаза горят. Мы его таким никогда не видели.

Некоторое время он стоит посреди комнаты, а мы вопросительно смотрим на него.

— Маруччи встретил, — выдыхает он, — в баре. Зашел выпить, он там сидит. Сволочи!

Мы не верим ушам. Чтобы вам было ясно, о чем идет речь, нужны некоторые пояснения. Год назад этот самый Маруччи попался, когда пытался всучить в банке липовый чек. Преступление не бог весть какое, и непонятно, почему он стал оказывать яростное сопротивление, ранил двух служащих, пытался скрыться на машине. При этом отстреливался и попал одному полицейскому, другу О'Нила, в ногу. В конце концов, Маруччи все же задержали. На суд он явился, окруженный адвокатами. Полицейский тот на всю жизнь остался хромым, но от претензий к Маруччи отказался. Никто ничего

не мог понять, и лишь много позже он, выпив, проболтался, что получил от преступника такого отступного, что, по сравнению с этим, назначенная ему пенсия выглядит жалкими чаевыми.

Маруччи со всеми своими адвокатами защищался отчаянно. Он призывал все, не говорил только одного — откуда у него чек. Было ясно, что он кого-то покрывает, но кого, так никто и не узнал: По совокупности — все же трех человек ранил, в том числе полицейского, — ему дали приличный срок. И что же — едва год миновал, а он сидит себе в баре, потягивает пиво! Могу себе представить, что почувствовал О'Нил. Он, прямо скажем, парень не сентиментальный, но за друга того изувеченного очень переживал.

О'Нил долго молчит. Наконец говорит:

— Еще зубы скалит, сволочь. «Ах, инспектор, — смеется, — давно не видались. Как поживаете?» Скрутил я его и в участок — решил, что он сбежал.

О'Нил умолкает, вытирает свою бычью шею платком.

— Ну! — торопим.

— Да все у него в порядке. Подал апелляцию, пересмотрели, — он машет рукой, — и выпустили под надзор. А поднадзорным в бары ходить не запрещается. — О'Нил помолчал. — Еще грозился жалобу подать — пока вел, я ему бока все-таки помял немного. Да не стал, сказал, что прощает меня по случаю старого знакомства. О'Нил замолчал теперь уже надолго, а мы стали возмущаться.

— Вот, — расшумелся Гонсалес, — мы, значит, жизнью рискуем, головы подставляем. Нас, как куропаток... А преступники, у кого кошелек потолще (а у кого из них тощий!), не успеешь оглянуться — и уже на свободе. И еще на нас же жалобы строчат.

Гонсалес продолжает возмущаться, а Джон-маленький, не прерывая свои гантельные упражнения, между двумя выдохами констатирует:

— Да... мы-то... всех защищаем... а вот нас... кто бы защитил... куда суд смотрит?..

Я отвечаю на его наивный вопрос.

— Туда смотрит, — говорю, — где больше дают. У кого карман пошире. Судьи, между прочим, тоже люди и хотят хорошие машины иметь и в горы ездить отдыхать. Ты видел, во Дворце правосудия стоит такая мраморная баба, глаза завязаны, а в руках весы, называется Фемида. Она, конечно, из-под повязки ничего не видит, но на какую чашу больше монет положили, очень даже ясно чувствует. Так что суду и смотреть не надо...

— Судьи, конечно, не рискуют, что их подстрелят, — говорит Джон-маленький, он спрятал гантели и завязывает гал-

стук,— но все же я бы тех, кто стреляет в полицейских, судил постороже.

— Самим надо судить,— неожиданно произносит О'Нил.— Других — пусть судьи. А если нашего тронут — наш суд и должен быть.

— Ну, этого никто не разрешит,— говорят Джон-маленький,— есть закон, там все определено, чем нам заниматься, чем прокуратуре, чем суду. Но за нападение на полицию необходимо строго карать, это верно.

О'Нил осуждающе смотрит на него.

— Эх ты, сосунок,— роняет.— Ничего, есть среди нашего брата поумней, кто знает, что делать.

— А что? — взрывается Гонсалес.— Я бы...

— Когда поумнеете, поймете.— О'Нил окныдывает нас презрительным взглядом и выходит из комнаты.

— Один генерал,— начинает Гонсалес,— привез сына к священнику, чтобы тот его умнее сделал. Приезжает через год...

Но мы не слушаем. Пора на обед.

Как ни странно, эта маленькая история вызвала много разговоров. То ли О'Нил сумел заразить коллег своим возмущением, то ли это было каплей, переполнившей чашу, так или иначе, но ворчали многие.

Дело в том, что действительно, и мы в уголовной полиции это особо чувствуем, преступников ловят с опасностью для жизни. У нас ведь в стране преступники не мальчики из церковного хора. У них по десятку покойников на совести, по дюжине ограблений банков и магазинов, а уж сколько загубленных наркотиками душ и не сосчитать. Каждого ждет тюремное заключение лет на двести — триста. Смертной казни, скажи спасибо, в нашей стране нет. (Хотя я лично предпочел бы пулю, чем всю жизнь за решеткой сидеть.) Так неужели такие люди остановятся перед еще одним убийством? И какая разница, кого убивать — шофера такси, официанта, прохожего или полицейского? Только шоферы и прохожие за преступниками не гонятся, не выслеживают их и задержать не пытаются. А мы — да. Ну пускай, раз выбрал такую профессию, считайся с ее неудобствами. Но уж коль скоро на твою драгоценную жизнь кто-то покусился, а ты его поймал, так будьте любезны, господа судьи, вкатите этому кому-то на полную катушку. А что получается? Мы рискуем, а то и, жертвуя жизнью, ловим бандитов, сажаем их на скамью подсудимых. Согласно закону. И вдруг начинает действовать иной закон. Адвокаты, связн, взятки, «убирание» свидетелей... Конечно, мелкий жулик сто тысяч монет залога не внесет, а вот у кого на совести полдюжины убийств, тот может. Адвоката за полмиллиона кто в состоянии нанять? Только гангстерский босс, только глава крупной банды. А взятку в миллион дать — и того важнее.

И получается: чем страшней преступник, чем больше преступлений он совершил, тем у него больше шансов выйти сухим из воды.

Мы-то по рукам-ногам законом, всякими правилами, инструкциями связаны. Как же, страна порядка и демократии, у нас ведь права человека на первом месте! То-то пара миллионов без работы ходит, еще десяток миллионов недоедают и что такое водопровод в квартире только из рассказов знакомых знают. Еще десяток миллионов свое имя подписать не умеют, потому что бесплатно у нас только воевать учат. Но зато государство уважает их права! И все они небось очень гордятся, что их «права человека» никто нарушить не может!

Ладио, это я так, отвлекся, в лирику ударился. Вы в таких случаях не стесняйтесь, останавливайте меня, мол, Леруа, куда заигнул? Возвращайся на дорогу!

Я вам изложил нашу печаль. Так что делать? Не заняться ли самодеятельностью? Точнее совместительством. Скажем, прибавить к своим обязанностям и обязанности прокурора, судьи, а заодно и палача. Правда, платить за такое совместительство никто нам не станет, но и жизнями нашими нам платить, может, тоже придется поменьше. А? Вот такая идея.

Выяснилось, что велосипеда мне изобрести не удалось. До меня кое-кто сумел до того же додуматься. Но мне-то откуда знать? Впрочем, тогда я еще об этом не ведал. С кем бы, думаю, поделиться своими соображениями? С Гонсалесом? Он как решето, в нем ничего не удерживается, а соображения мои не дай бог кому-нибудь станут известны, и, главное, что это мои соображения. Джону-маленькому? Не доверяю я ему. То есть, доверяю полностью в нашей работе. А вот, как бы это деликатней выразиться, в некотором, что ли, толковании не доверяю. Очень он уж какой-то правильный. Одно слово — идеалист, ну или честный. У нас это одно и то же.

Пожалуй, поговорю с О'Нилом. Тот поймет.

Глава III. ПОМОЖЕМ ПРАВОСУДИЮ

О'Нил понял. Я пригласил его в небольшой бар «Под сапогом», в котором частенько собираются в свободное (и в служебное, замечу, тоже) время полицейские нашего управления. Бар как бар. Над входом метровый старый сапог из железа скрипит на ветру. Внутри особой чистоты не наблюдается. Но ее здесь никто и не требует. Длинная стойка покрыта стершейся кожей, десятка два столиков на железных ножках, без скатертей. Пьют здесь все, кроме коньяка, — дорог А так пиво, виски, красное и белое вино, разные наливки, водки. Закусывают чем бог послал — маслинами, орешками, бутер-

бродами величиной с подводную лодку... Сидим. Молчим. С О'Нилом любой разговор превращается в собственный монолог

— Слушай,— говорю,— я тут поразмышлял. Все-таки свинство получилось с этим Маруччи.

— Сволочи! — изрекает О'Нил.

«Кто? — думаю.— Судьи? Гаингстеры? Адвокаты? Неважно!» Я продолжаю:

— Слушай, если правосудие такое беспомощное, давай поможем правосудию. А? — и смотрю на него испытующе.

— Как? — спрашивает и опрокидывает двойную порцию виски (конечно, ирландского) Он всегда пьет двойную порцию и, между прочим, не одну.

— А так,— мне надоедает вся эта дипломатия, и я приступаю прямо к делу,— давай его сами прикончим. В конце концов, может быть, судьи просто оказались слишком добрыми. Бывают же добрые судьи!

— Добрые — не знаю,— говорит О'Нил,— честные — нет! — и он опрокидывает «за воротник» очередную порцию.

— Ну, неважно,— говорю.— Важно, что мерзавец...

— Сволочь! — рычит О'Нил.

— Ладио, пусть сволочь. В общем, этот Маруччи оказался на свободе. Это возмутительно. Надо исправить, его ведь должны были бы приговорить к смертной казни, если б она у нас была. Но раз судьи не приговорили, приговорим мы, а заодно и приведем приговор в исполнение. Ну, как?

О'Нил хлопает меня по плечу с такой силой, что, будь я поменьше и полегче, вошел бы в табурет, на котором сижу, как гвоздь, под самую шляпку.

— Ты настоящий парень, Джон! — говорит О'Нил и в связи с этим опрокидывает еще порцию.— Маруччи сволочь,— добавляет он деловито.— Ты умней меня, говори, что надо делать,— и смотрит хитро.

А что делать? Никакого плана у меня нет. Я и предложение свое сделал больше в расчете на О'Нила, сведет, мол, меня с кое-какими ребятами, о существовании которых я подозреваю. Однако ни с кем он меня не свел и пришлось обходиться своими силами.

Меня этот Маруччи в лицо не знал, поэтому никаких оснований опасаться я не имел.

...Поздно вечером мы подъехали к тому бару, где Маруччи, как я понял, проводил большую часть своего времени, и, дождавшись, пока он выйдет с приятелями, тихо поехали за ним. Между прочим, это был уже четвертый вечер, что мы за ним охотились. Но то он уезжал с кем-нибудь на машине, то его до дому провожали друзья или еще что-нибудь. А тут попрощался с какими-то типами и дальше побрел один.

Погода, надо сказать, благоприятствовала: дождь, ветрище, чуть дома не сносит, и район какой-то гиусный, облезлые дома, тротуары в ямах, фонари с побитыми лампочками... Мразь!

Когда на совсем глухой улочке оказались, я ускорил движение, обогнал Маруччи, притормозил и, выйдя из машины, предъявил свое удостоверение.

— Патруль,— говорю,— проверка документов. Вы Пеликоне?

Он сначала испугался, по-моему, даже бежать хотел, потом успокоился.

— Какой я Пеликоне! Я Маруччи. Вот мои документы,— сует мне.

— Маруччи,— с сомнением качаю головой и, достав из кармана какую-то карточку, перевожу взгляд с нее на него.— А вот у нас фото Пеликоне, и уж больно вы на него смахиваете.

— Да бог с вами,— бьет себя в грудь Маруччи.— Не Пеликоне я. Вот же документы, и фото там мое есть. Вы сравните, сравните!

— Вот что,— говорю,— поехали в участок, там разберемся.

— Да чего разбираться, вы только взгляните! Я же...

— Поехали,— беру его за руку,— если ошиблись, на машине домой отвезем, по такому дождю только выиграешь — давай залезай.

Тем временем О'Нил пересел за руль, поднял воротник плаща, в машине темно, так что Маруччи его не узнал. Продолжая возмущаться, залез со мной на заднее сиденье, и мы поехали. Я надел ему наручники, объяснил:

— Таковы правила, уж не взыщи.

И вот, когда мы выехали на главную улицу, где от огня светло как днем, он в какой-то момент увидел в зеркальце лицо О'Нила и сразу все понял.

Знаете, я никогда не думал, что человек может до такой степени измениться буквально за долю секунды. Постареть на двадцать лет.

Маруччи ссутулился, лицо стало блее бумаги, губы обвисли, глаза потухли. Он тяжело задышал, словно запах неминуемой смерти душил его. Да, да, смерть имеет свой запах, и он почувствовал его.

Некоторое время катили молча. Я внимательно слежу за ним, как бы он чего-нибудь не выкинул. Он сидит и молчит.

И вдруг я слышу его хриплый шепот:

— Ребята, у меня есть деньги — две тысячи. Я отдам.

— Где они у тебя? — спрашивает О'Нил,— может, в твой банк заедем или у тебя чек, как тот?

— Да нет,— бормочет Маруччи,— с собой они, вот в этом кармане, в верхнем внутреннем, можете проверить, я все отдам.

А потом еще столько же донесу завтра, скажите, куда, клянусь, принесу. Я клянусь...

Теперь он торопится, захлебывается словами, чего-то обещает, в чем-то уговаривает, объясняет.

Я не слушаю. Мне вдруг сделалось противно и тоскливо. И эта ночь с ее чертовым бесконечным дождем, и этот трусишка, жулик, убийца, подонок, который старается нас разжалобить, а сам наверняка никого никогда не жалел, и даже О'Нил с его бычьей шеей, застывший, словно цементная глыба, на переднем сиденье... Ну их всех к дьяволу!

— Слушай,— говорю я О'Нилу,— и у него к дьяволу!

Но, перехватив в зеркальце взгляд моего коллеги, умолкаю. Мне делается не по себе. Я определенно не хотел бы оказаться на месте Маруччи.

Мы выезжаем на загородное шоссе.

Теперь Маруччи замолк окончательно. Он еще жив, но и уже мертвец.

С полчаса мы колесим по проселку, наконец подъезжаем к какой-то глубокой яме, заброшенному песчаному карьере или выработке, уж бог его знает что это. Видно, О'Нил присмотрел это место заранее.

Машина останавливается, и мы все выходим. И тогда происходит непонятное. О'Нил вынимает из кармана нож и по самую рукоятку вонзает его Маруччи в спину. Тот падает как подкошенный.

Видя мой удивленный взгляд, О'Нил поясняет:

— По пуле установят служебный пистолет.

Затем он залезает Маруччи в карман, вынимает деньги, деловито пересчитывает и половинку подает мне.

— Что мы, зря старались? — Он пожимает плечами и, столкнув тело в яму, направляется к машине.

Но вот что интересно: перед этим он вынимает из кармана какую-то бумажку и засовывает ее Маруччи в карман.

Любопытно. Но я ни о чем не спрашиваю. Я чувствую такую усталость, словно один вырыл всю эту гигантскую песчаную дыру. Ну и денек! Хорошенькую идейку я подкинул О'Нилу. Молодец Леруа! Лучше б ты свои гениальные идеи записывал подальше в ящик.

Едем обратно, голова пустая. О'Нил завозит меня домой и на прощанье говорит:

— Ты молодец, Джон! Ребята оценят. До завтра!

У меня нет сил спросить, какие ребята и как оценят. Я вяло жму ему руку и, едва поднявшись к себе, валяюсь на постель.

На следующий день все же на работу не опаздываю.

Все нормально, как всегда. Погода отличная, в кармане приятно шелестит тысяча монет. В конце концов, что произошло? Ничего. Два полицейских выполнили свой долг, на-

казали преступника, уж коли судьи не смогли или не пожелали этого сделать. Просто мы помогли правосудию.

Идет утреннее оперативное совещание.

Как всегда, начальник, самодовольно поглаживая живот, начинает с планетарных проблем.

— Число преступлений растет, — изрекает он и смотрит на нас с таким видом, будто именно мы главные виновники этого. — Например, в ФРГ за один год прирост, — деловито сообщает он, словно речь идет о поголовье скота, — 5,5%. В Париже число убийств возросло на 7%, а ограблений и краж в метро, автобусах, на вокзалах и в музеях — на 58%. Слышите, в музеях! — Он смотрит на нас гнивым взглядом, и мы подозрительно оглядываем друг друга, не спрятал ли кто-нибудь в задний карман брюк Венеру Милосскую. — Что касается всей Франции в целом, — зловеще продолжает начальник, — то за год там совершено 3,4 миллиона преступлений. Уж про Америку я не говорю, она всем нам подает пример: 5 миллионов преступлений в год. — Он восхищенно щелкает языком и, как бы извиняясь, добавляет: — У нас в стране, конечно, поскромней, но и население поменьше. Впрочем, наши цифры вы и сами знаете. Знаете?

После некоторого неловкого молчания Джон-маленький, этот ученый муж, говорит:

— Знаем, господин комиссар.

— Конечно, знаем, — развязно подхватывает Гонсалес, но тут же затыкается, потому что вдруг начальник спросит.

— Да? Ну ладно, — продолжает тот, — перейдем к текущим делам. Зачитываю сводку. — Он начинает излагать все, что произошло за вчерашние день и ночь. Убийств столько-то, грабежей столько-то, похищений, драк, налетов...

Мы слушаем, скрывая зевоту. Ждем, когда речь дойдет до конкретных заданий. И тут я неожиданно слышу:

— В заброшенном карьере в восемнадцати километрах от города найден, убитый ударом ножа в спину, некий Маруччи, тридцати восьми лет, рецидивист. Проходил, между прочим, по нашему отделу. В кармане пиджака обнаружена карточка со знаком черепа и скрещенных костей и надпись «Черный эскадрон», следов убийц не обнаружено.

Я затаил дыхание, мне показалось, что начальник смотрит на меня. Или на О'Нила, мы сидим рядом. Но может, только показалось?

Начальник делает паузу и многозначительно произносит:

— Конечно, этого подонка не жалко, наверняка счета сводили бандиты между собой. Но объективно они помогли правосудию. — И, помолчав, добавляет со вздохом сожаления: — Эх, не тех этот «Черный эскадрон» на тот свет отправляет, не тех!

Помолчав еще, начальник продолжает зачитывать сводку.
«Не тех,— размышляю я,— а кого надо? Кто те?»

Наконец, доходит очередь и до заданий.

Нам с Гонсалесом выпадает какая-то ерунда, а вот на долю О'Нила приходится неприятная штука. Поступил сигнал, что один из ребят нашего отдела «подвержен коррупции», как изящно выразился начальник, а проще говоря, берет взятки. Была тут одна история с каким-то рестораном, где кого-то убили, наш парень там присутствовал и вот якобы все потушил, получив за это приличный куш. Вообще-то такими вещами занимается другой отдел, специальный, но из уважения к нашему начальнику и чтоб подчеркнуть, что наказание может быть и дисциплинарным, не обязательно уголовным, поручили нам. Мол, сами набедакурили, сами и разбирайтесь.

Тогда-то и произошел у меня с О'Нилом странный разговор. Подходит он ко мне и говорит:

— Слушай, Джон, не в службу, а в дружбу — одолжи Гонсалеса на это задание.

— А что случилось,— удивляюсь,— ты же сам моего тезку хвалил, разладилось что-нибудь?

— Да нет,— мнется,— он парень что надо, но не в таком деле.

— Не понимаю, дело-то простое.

— Вот именно,— говорит.

— Ты можешь толком объяснить? — спрашиваю.

— Пойми, кто-то из наших ребят сделал маленький бизнес. Что тут плохого? Мы все не ангелы. А теперь его за это тягать будут. Зачем это нужно?

— Ну, согласен,— говорю,— но почему Джон-маленький не годится?

— У него взгляды какие-то странные,— туманно поясняет О'Нил.— Уж больно он прямой, как палка, честный чересчур — словом, не созрел еще.

Я задумываюсь, действительно, что-то в этом. Джоне-маленьком есть такое, эдакое. Идеалист он, я же вам говорил. И в таком простом, но деликатном деле может оказаться не на высоте.

— Ладно,— соглашаюсь,— бери Гонсалеса.

Тут пора, видимо, прочесть вам небольшую лекцию о специфике нашей работы. А то вы там сидите в иочных колпаках, с сигаретой в руке у телевизора и думаете, что мы, стражи порядка, не спим двадцать четыре часа в сутки, оберегая ваш покой, и получаем за это миллионы. Так? Признайтесь, так вы думаете?

Представьте, что ошибаетесь. Я не хочу сказать, что мы нищие, но все-таки, имея в виду, чем приходится заниматься,

платят нам мало. Зато требуют много. И чтобы мы раскрывали преступления в том числе.

Ни один полицейский в нашей стране и, насколько я знаю, в Италии, и в Англии, и в Америке, и во Франции, не может работать, не имея своих осведомителей. У всех у нас есть с десяток подонков, которые нам регулярно доносят на других подонков.

А чем прикажете платить? Вот именно. Поэтому я смотрю сквозь пальцы на кое-кого, у кого в его баре в подвальном туалете порой продается наркотик, или кто торгует спиртным без лицензии, или заходит иной раз к соседям в квартиру без их ведома и не через дверь, а через окно, чтобы одолжить денег до лучших времен. Зато я получаю сведения по крупным делам, которые раскрываю. За что мне честь и хвала.

Это я так, примитивно объясняю. На самом-то деле все сложнее. Приходится защищать моих «подопечных» от моих коллег, которые не в курсе дела, и взаимно не трогают их «подопечных», о которых они меня предупреждают. Сами понимаете. Один американский полицейский написал книгу «Полиция в беде». Это мне, конечно, Джон-маленький рассказал (он прямо помешанный — все, что касается полиции, не просто читает, а прямо изучает). Так вот там черным по белому написано: «Если полицейские начнут арестовывать информаторов других полицейских, начнется полный хаос». Верно сказано. Вот и приходится ломать голову — кого сажать, кого нет. Не простое дело, скажу я вам.

Мы все, как правильно заметил О'Нил, отлично знаем, где нас угостят бесплатно кружкой пива, где всучат блок сигарет (это для рядовых, я-то могу претендовать на большее). Приходят к нам и такие, как Джон-маленький, у которых нет широты взглядов. Их, конечно, приобщают, растолковывают, что к чему. Если упрямятся, создают атмосферу морального осуждения. Плохо ведь, когда в стаде заводится паршивая овца...

Но бывают у нас и такие гадкие «подопечные», которые за свои грехи отделаться всего лишь информацией не могут. Они тогда кое-что к этому добавляют. Наш начальник, помнится, сообщил на очередной оперативке, что в США преступные синдикаты (какая-то сенатская комиссия это установила) каждый год тратят на подкуп полиции 4,5 миллиарда долларов, что, мол, больше, чем вся зарплата всем полицейским страны! Ну еще бы, страна-то богатая!

С возмущением начальник нам об этом сообщил, грозил пальцем. «В нашей стране этого нет, говорил, и быть не должно. Имейте в виду!» Мы имеем. Но все же бывают, разумеется, исключения. Вот как этот случай, на расследование которого послал О'Нила.

Ничего особенного, мне потом Гонсалес рассказывал:

— Пришел в этот ресторан человек, напился, начал буянить. Ну, хозяин его и вывел. А в процессе выведения тот умер...

— Что значит «в процессе выведения»? — говорю. — Ты по-человечески можешь выражаться?

— А что тут неясного? — обижается. — Он его вывел из ресторана, тот, наверное, пытался его ударить, хозяин в ответ ударил хулигана. Ну, может, немного перестарался, а тот небось хрупкого был здоровья и вот скончался...

— Ладно, а при чем тут наш коллега?

— Он там в это время был, в этом ресторане, зашел случайно, выпивал. Но, во-первых, он был в штатском, во-вторых, не на дежурстве. Ну, просто зашел, как обыкновенный гражданин. Почему, спрашивается, он должен был вмешиваться?

— Так он полицейский или нет? — спрашиваю.

— Полицейский, — подтверждает Гонсалес, — в смысле профессии, но не полицейский в смысле времяпрепровождения. Ведь он просто сидел, как гражданин, и выпивал. Почему он должен был вмешиваться? Другие же посетители не вмешивались. Он закончил выпивать, вышел, сел в такси и поехал домой.

— А почему его обвинили во взяточничестве? — недоумеваю.

— Ну, это уж совсем анекдот. У него не было с собой денег на такси, и хозяин ему дал...

— И много дал? — я начинаю догадываться.

— Да не очень, — мнется Гонсалес, — что-то около пятисот монет.

— А такси стоило десять, да?

— Восемь, — бормочет Гонсалес.

— Все ясно, — говорю, — в результате никто ничего не видел, тем более наш парень. Убийство доказать нельзя. Покойник «в процессе выведения» сам наложил на себя руки. И что вы с О'Нилом доложили?

— Что наш коллега был в состоянии сильного опьянения, на что имел полное право, поскольку не находился на службе, а потому ничего видеть не мог. И то, что этот хулиган пришел к хозяину ресторана объясняться, поскольку тот увел у него жену, никакого отношения к делу не имеет.

— Ах, он еще и увел у того жену...

— Ну и что? Словом, мы всех, кого положено, допросили, составили отчет, посидели там немного и...

— Где посидели?

— В том ресторане, где же еще! Мы с О'Нилом, хозяин, наш товарищ. В конце концов, работали же, неужели ужина не заслужили!

— Скажи честно, Гонсалес, домой небось на такси ехали и проезд хозяин оплатил?

— А что такого?

— Нет, ничего, дорога пять монет стоила, а хозяин небось пятьсот дал?

— Ну уж пятьсот,— вяло возражает Гонсалес.— Понимаешь, это как в том анекдоте. Человек спрашивает таксиста: «Вы в город?», а тот отвечает: «Нет, в деревню». Ха-ха-ха! — Он залывается смехом и тут же замолкает.— И вообще что пристал! Что-нибудь я неправильно сделал?

— Да нет, все правильно,— говорю,— все правильно. О'Нил знает, что к чему.

— А вот Джон-маленький считает, что неправильно,— задумчиво говорит Гонсалес,— он мне тут целую проповедь прочел об обязанностях полицейского, чести, морали и всякой чепухе. Он мне напоминает того отца из анекдота, знаешь, приходит к дочери...

— Да пошел ты со своими анекдотами! — я, наконец, не выдерживаю.

Он обижается и молча уходит.

Я остаюсь и размышляю. Кто здесь прав? Наверное, прав Джон-маленький. Но и Гонсалес прав. Не они виноваты, что жизнь так устроена, и не им ее менять. Чтобы позволять себе всякие там угрызения совести, чтобы всегда действовать по совести, надо иметь миллионы, а вот как раз те, кто имеет миллионы, совести-то и недосчитываются. В конце концов, и так забот много, буду я еще тратить время и силы на разные там моральные соображения. Важно отхватить у жизни максимум для себя, а остальное...

Что касается О'Нила, то я его понимаю, мы друг друга понимаем. Еще прямо не говорим ни о чем, но понимаем.

Только наш начальник — или надеясь перевоспитать Джона-маленького или по глупости — мог свести их в одну связку.

Конечно, О'Нил старше, опытней, авторитетней, а Джон-маленький пока что «огурчик», как мы называем вновь испеченных выпускников полицейских школ. Но по части теории и разных знаний он нас всех за пояс заткнет.

Так вот, взгляды у них с О'Нилом на все, почти на все, разные. Но до поры до времени Джон-маленький молчал. Он вышколенный, для него дисциплина — дело святое. Раз О'Нил «стрела», значит, с ним спорить не полагается.

Но однажды случилось такое, что все поставило на свои места.

На очередной оперативке начальник особенно серьезен.

На этот раз он лишь бегло касается мировых проблем, а когда переходит к заданиям, оставляет нас четверых, остальных отпускает.

— Так меньше шансов, что преступники что-либо узнают. — Поясняет он и, видя наши недоуменные взгляды, добавляет: — Вы, что ж, думаете, только полиция среди этих подонков имеет свои уши, они у нас тоже имеют свои.

Укрепив таким образом нашу веру в порядочность и надежность наших товарищей по службе, он начинает излагать задачу.

Значит, так: поступил (откуда? наверное, от тех самых ушей) «сигнал» (его любимое слово), что намечается ограбление ювелирного магазина. Согласно полученным сведениям, грабители проникнут в магазин через дыру в потолке (которую они почти пробили, осталось надавить), обойдя сигнализацию. Потом тем же путем выберутся из магазина и сделают ручкой.

Мы должны, войдя незадолго до закрытия в магазин, остаться там в засаде и задержать грабителей. Хозяин в курсе. Поскольку за последние месяцы были совершены ограбления уже нескольких ювелирных магазинов и высокое начальство выражает недовольство, то наш непосредственный шеф очень надеется, что эта операция принесет ему лавры победителя. Судя по почерку, наши будущие клиенты совершили и все предыдущие ограбления.

Опытные грабители, как известно, не дети (хотя теперь такие дети пошли...). Поэтому мы готовимся очень тщательно. Чистим и проверяем наши 45-е калибры, «токи-уоки», иаручинки, маленькие пистолеты, телескопические дубинки. Надеваем ботинки на легкой резиновой подошве. Мы с О'Нилом выпиваем по паре банок пива, Джон-маленький примеряет пуленепробиваемый жилет, но он ему не годится, и Джон бросает эту затею.

Магазин торгует допоздна. Когда мы подходим к нему, уже темно, улица освещена, народу много, особенно туристов, и в магазине людно. Так что мы, затерявшись среди покупателей, незаметно поодиночке исчезаем в служебном помещении и забираемся в кабинете хозяина. Он весь зеленый от страха. Нет, не за нашу жизнь, что вы! За судьбу своего драгоценного товара.

— А они не могут всех вас убить и все унести? А гранаты они не взорвут? Ведь все погнбнет здесь! А во время перестрелки не пострадают витрины? — Он прыгает вокруг нас, как козлик на лугу, и морочит голову своими дурацкими вопросами.

Мы сообщаем ему, что весь квартал оцеплен, на крыше дома затаились снайперы, в решительный момент подлетят вертолеты... Он уже почти успокаивается, но все портит этот остряк Гонсалес:

— И потом на улицу должен вплыть ракетный крейсер, — добавляет он с невнимательным видом, — сейчас начнут воду напускать.

И сам же начинает хохотать своей идиотской шутке. Хозяин опять впадает в панику.

Нас спасает звонок — конец рабочего дня. Продавцы, накрыв стеклянные прилавки холстами и заперев неогороженные шкафы, опускают перед дверью и витринами металлические жалюзи и исчезают с такой быстротой, словно грабители уже в помещении. Последним, качаясь от страха, уходит хозяин, предварительно включив сигнализацию.

Этот мерзавец, у которого в лавке на миллионы бриллиантов, изумрудов, золота, серебра, не догадался оставить нам хоть полдюжины банок пива. Мог бы, между прочим, и чего покрепче.

Сидим с пересохшими глотками, мрачные, ждем. Бывает, что по неделям сидят в таких засадах, пока голубчики не явятся. Могут и вообще не прийти.

Ждем.

Уже два часа ночи, улица, хоть и одна из центральных, затихла, изредка машина проедет... начинается дождь. Он косой и под ветром стучит в металлические ставни.

Мы уже начали дремать, когда, как гром с ясного неба, раздается грохот с потолка, и мы понимаем, что наши клиенты пробрались-таки потолок и через минуту пожалуют в гости.

Конечно, мы немного дали маху, следовало рассредоточиться, а мы как засели в этом кабинете, так и сидим. Но тут начинаем действовать быстро и энергично — все-таки опыт и школа сказываются.

Беззвучно выходим в коридор, что отделяет кабинет от торгового зала, подходим к его дверям и, зажав дыхание, ждем. Наконец, слышим глухой стук — видимо, кто-то спустился по веревке и прыгнул, через несколько секунд стук повторяется — второй, а вскоре и третий. Сколько же их? Наверху наверняка остался еще один.

Проходит несколько минут, и мы слышим звук разбитого стекла. Они особенно не стесняются и правильно делают — кто здесь, что услышит?

Значит, трое или четверо...

— Черт знает что, — театральным шепотом шепит Гонсалес, — как у себя дома работают, бьют стекло, ходят-бродят. Я помню...

— Да замолчи ты, — говорю и толкаю локтем О'Нила, — начал!

Он кивает и вынимает мощный карманный фонарь, в другой руке у него пистолет.

Мы с грохотом раскрываем дверь и врываемся в торговый зал.

Яркий луч выхватывает трех человек в черных комбинезонах. Они взяты возле неогороженного шкафа, в руках у них

отмычки, сверла, всякая аппаратура и никакого оружия. Они настолько поражены нашим появлением, что, когда Гонсалес орет: «Руки на затылок!», даже не реагируют. Наконец, повернувшись к нам лицом, медленно поднимают руки. Вид у них дурацкий, растерянный и испуганный. Один постарше, судя по морщинистой в шрамах физиономии, прошел огни и воды, двое других — мальчишки, лет по двадцать. Они еще не могут понять, что произошло.

Джон-маленький выходит вперед и ловко, с поразительной быстротой обшаривает карманы грабителей. К нашему изумлению, выясняется, что у них нет оружия! Что это — нахальная уверенность, что оно им не понадобится, или, наоборот, хитрость: поймают, обвинить в вооруженном налете не удастся.

Мы уже достаем наручники, но в этот момент Гонсалес совершает роковую ошибку — нажимает выключатель у двери, и в комнате зажигается свет.

Все последующее происходит мгновенно и занимает в десять раз меньше времени, чем мне требуется, чтоб это рассказать.

Из дыры в потолке гремят два выстрела. Джон-маленький хватается за руку, я стреляю в черную дыру на звук, и там раздается глухой вскрик. О'Нил разряжает свою обойму в грабителей, они валятся, как колоды, и застывают неподвижно. Гонсалес нажимает выключатель, в комнате воцаряется темнота, и тут же мощный фонарь О'Нила устремляет свой луч на дыру в потолке.

Повторяю, все это длится две-три секунды. Это, знаете ли, в детективных фильмах все стреляют направо и налево, и все остаются живы. В жизни иначе: когда профессионалы такого класса, как мы с О'Нилом, стреляют, то требуется доля секунды, чтобы продырявить человеку башку, — мы не промахиваемся.

Другой вопрос, в кого и зачем стрелять. Ну, то, что я первым же выстрелом прикончил того, который палил в нас с потолка — это, конечно, удача. Да просто спасло нам всем жизнь (в отличие от этого идиота Гонсалеса, который, включив свет, чуть нас всех не угробил).

А вот зачем О'Нилу потребовалось убивать тех троих, безоружных, с руками на затылке? Именно этот вопрос задает ему Джон-маленький.

— Тебя, дурака, спасал, — ухмыляется О'Нил.

Он смело лезет по веревке, свисающей из дыры. (А вдруг тот, четвертый, еще жив или есть пятый?) Я страхую его, направив пистолет в дыру. Гонсалес перевязывает Джону-маленькому руку — пуля резанула по мякоти, ничего опасного.

— Зачем он это сделал? — теперь уже у меня спрашивает Джон-маленький. Его широко раскрытые глаза устремлены на меня, и сейчас особенно ясно видно, как он еще молод. — У них же не было оружия.

— Никто ничего не может знать в таких обстоятельствах, — туманно отвечаю я.

А что я еще могу сказать? Я и сам не понимаю, зачем О'Нилу понадобилось убивать тех двух мальчишек, ладно бы уж старшего.

О'Нил в этот момент быстро спускается по веревке обратно.

— Порядок, — говорит он. — Тебе, Леруа, прямо в цирке выступать, точно в лоб.

Он неторопливо подходит к лежащим грабителям и вкладывает одному из них в руку револьвер, нажимает, чтоб остались отпечатки пальцев. Достает второй револьвер и продолжает такую же операцию.

— Хорошо, у того две пушки было, — говорит он с довольной улыбкой, — внушительней получается. А ты, — он поворачивается к Джону-маленькому, говорит зло и резко, — запомни: когда четверо опасных бандитов открывают огонь по полицейским, да еще ранят одного из них, нам ничего другого не остается, как отвечать. После предупредительного выстрела, разумеется, — он поднимает свой 45-й калибр и стреляет в потолок. — Ясно?

Но Джон-маленький ничего не соображает. Из-за ранения или он действительно с другой Галактики, начинает спорить:

— Послушайте, О'Нил, вы же прекрасно знаете, что пистолетов у них не было, что они не сопротивлялись. Их можно было спокойно задержать, и...

И тут я впервые вижу, как О'Нил выходит из себя.

— Сосунок! — кричит он. — Девчонок с бантом! «Задержать»! Мы их задержим, они по пять лет получают, через два года выйдут и начнут опять в полицейских, в таких, как ты, болванов, стрелять! Нет, пусть уж отдыхают. На кладбище! Вот из-за таких законников, как ты, нас шлепают как мух!

— Хватит, — говорю я, — все ясно. Задание выполнено. Засада удалась. Преступники пытались оказать сопротивление. Ранили храбро вступившего с ними в схватку Джона-маленького, но были нейтрализованы огнем остальной команды. Такова официальная версия. И никакой другой! Ясно?

Я многозначительно смотрю на Джона-маленького. Он опускает глаза и молчит. Лицо у него совсем белое, крови все-таки он потерял немало.

Я снимаю телефонную трубку и звоню дежурному.

Начальнику я докладываю так, как сказал. Он доволен. Ликвидирована опасная шайка вооруженных грабителей, готовых на все. Нам объявляют благодарность. Джон-маленький через неделю возвращается в строй.

А через месяц мы уже забыли об этом деле. Так, по крайней мере, я думал.

Глава IV. ЧТО ТАКОЕ «ЧЕРНЫЙ ЭСКАДРОН»?

Вы любите лекции? Нет? Да? Не понял. Словом, если не любите, можете закрыть страничку и идти выгуливать вашу таксу или смотреть телевизор. Потому что я собираюсь прочесть вам лекцию.

Я начну с того, что и вы прекрасно знаете. Почему у нас вообще есть преступники? Вы таким вопросом не задавались? Нет? Так я отвечу — по тысяче причин. Во-первых, есть наивные люди, которые никак не могут понять, почему они всю жизнь гиут спину, работают и еле сводят концы с концами (это если у них есть работа), а есть такие, которые ни черта не делают, но имеют миллионы. Почему, если ты украл булку, тебя засадят на пять лет, а если прикарманил железную дорогу или банк, то тебя сделают сенатором? И тогда они начинают вносить поправки в судьбу и становятся грабителями и ворами. Далее, у нас оружие продают везде, только что не в молочных магазинах.

В газетах однажды писали: заказал человек по почте снайперскую винтовку с оптическим прицелом. Ему тут же даже без задатка прислали. А человеку тому один год от роду! Вот такой у него отец шутник. Все можно купить при желании — автомат, пулемет, винтовку, мину, даже миномет. Одни добрый папа подарил сыночку к его двенадцатилетию небольшой танк. Настоящий, садись — и давай в атаку. В Америке у 50 миллионов семей есть дома огнестрельное оружие, во Франции — у 10 миллионов, в Англии — у миллиона. И потом телевидение, там же под экран надо ведро подставлять — столько крови льется. В Соединенных Штатах ребятишки, эти ангелочки, к четырнадцати годам видят на телеэкране одиннадцать тысяч убийств! Ничего? Тут и Джек-потрошитель позеленеет от зависти. В моей стране не лучше.

Короче, причин для преступности много. И все всех жутко боятся. По вечерам никуда не ходят. Дома превращаются в крепости, а уж какие хитрые всякие там электронные, инфракрасные и другие системы охраны придумывают, — сил нет. Собак заводят, сторожей, одни в своей лавке на ночь даже крокодила выпускал!

На полицию-то не очень полагаются. Во-первых, потому что нас не хватает. Преступников миллионы, нас десятки тысяч, где уж тут справиться... Во-вторых, не доверяют нам. То и дело возникают скандалы. Не хочу писать о моей стране, я — патриот! Но примеров мог бы вам привести множество. Вот хоть такой. Однажды солидная комиссия — целых тридцать два ученых юриста — провела обследование деятельности нью-йоркской полиции. И что, вы думаете, она установила? Что взятки от преступников получали практически все полицейские,

начиная с рядового и кончая начальником департамента по уголовным делам! Иногда полицейские забирают героин у наркоманов и тут же сами его перепродают. А сколько случаев, когда задерживали налетчиков, грабителей и оказывалось, что это переодетые полицейские. Словом, не очень-то нам верят.

Поэтому всюду граждане стали заниматься самодеятельностью, вернее, «самоохраной».

В той же Америке создалась целая ассоциация добровольных борцов с преступниками. В ней пять миллионов человек. Все, конечно, вооружены, но в случае катавасии попробуй выясни, кто член этой ассоциации, а кто хулиган.

В Англии тоже создали общество... оказания поддержки пострадавшим от ограблений. Работы у общества много, каждой группе, из которых оно состоит, приходится иметь дело в среднем с восемнадцатью ограблениями в неделю.

Всюду есть такие организации, в моей стране тоже.

Все они помогают, как могут, полиции и состоят из граждан, которых принято называть «законопослушными».

Но есть и другие. Те не любят преступников, но и на законы поплеывают.

Приведу пример опять-таки из американской жизни. А чему тут удивляться? Где самая большая преступность? В США. Поэтому я оттуда и беру примеры. Но не огорчайтесь — можно привести такие же и из жизни Франции, Италии, Англии, ФРГ, да и моей тоже.

Так вот, в Америке есть такая милая организация, называется POSSE COMITATUS. Эти лихие ребята считают, что полиция и шерифы плохо справляются со своими обязанностями и поэтому взяли это на себя. Они даже сами выбирают судей, накапливают целые арсеналы, устраивают полевые учения. Уж не знаю, с кем они собираются воевать, но, по-моему, никак не с преступниками.

Есть и почище. Есть немало нелегальных вооруженных организаций по борьбе с преступностью. Например, в Балтиморе она называется «Черный октябрь». И наказывает преступников, как вы догадываетесь, без суда и следствия одним способом — убийством. В уголовный кодекс члены этой организации не заглядывают — им некогда. Находит полиция на улице трупы, а рядом записка: «Эти люди торговали наркотиками» и подпись: «Черный октябрь». Начали следствие — действительно, убитые числились в розыске. Да вот полиция-то до них не добралась, а «Черный октябрь» сумел. Только не раз находили убитыми людей, которые только подозревались в преступлениях, как потом выяснилось, напрасно. Но «Черному октябрю» в этом не с руки разбираться. На том свете сочтемся...

Так что хоть полиция эта организация и помогает, но и работы наваливает.

В Детройте есть ассоциация «Население — против преступников». Все ее члены имеют машины, разъезжают по городу и обо всем, что им кажется подозрительным (а им подозрительным кажется все), доносят полиции, чем прибавляют ей ненужной работы. В Индианополисе есть общество «Крестовый поход против преступности». Словом, много можно привести примеров. А что им делать, гражданам, коли на них нападают в метро, на улице, в их же домах? Убивают, избивают, грабят, насилуют? Не говоря уж о том, чего они натерпятся от хозяев на работе, от налоговых инспекторов, от повышающих без конца цены владельцев магазинов да, к слову говоря, и от самих полицейских.

Ну, ладно, бог с ними, с гражданами. Как говорит Гонсалес (уж не знаю, где он это вычитал): «Каждый народ имеет жизнь, которую заслуживает». «...Правительство, которое он заслуживает», поправляет его Джон-маленький, этот всезнайка.

Меня больше интересует судьба моих собратьев по ремеслу — полицейских.

Невеселая, скажу вам, судьба. Опять же не буду приводить в пример мою страну (я — патриот), чтобы не расстраиваться, но, скажем, во Франции за один год при исполнении служебных обязанностей было застрелено преступниками 63 полицейских. В других странах побольше.

Но добро б ловили этих убийц и вешали на фонарных столбах! Ничего подобного. Начинается бесконечное следствие, суд, фокусы адвокатов. Если убийца какой-нибудь жалкий наркоман или там грабитель-одиночка, ему могут как следует припаять. Но если это член преступного синдиката или какой-нибудь важный босс, то это дело безнадежное. Наверняка выкрутится. Так что ж нам, в ладоши хлопать? А вернее, хлопать ушами?

И вот в Бразилии, а потом и еще кое-где, у нас в частности, возникла среди полицейских идея иной раз самим прикладывать руку, как бы это поделикатнее выразиться, к наказанию преступников.

В Соединенных Штатах — там попроще. Там мои коллеги руководствуются простым принципом: «Сначала стреляй, а потом задавай вопросы». Там когда полицейский подходит к автомобилисту-нарушителю, тот кладет руки на руль и остерегается их оттуда убирать. Иначе, чего доброго, «дорожник» подумает, что он лезет за револьвером, и всадит в него пулю. Вообще они молодцы — своих в обиду не дают.

Если там полицейский кого пристрелит, начальство за него горой: защищался, мол, от нападения, необходимая самооборона. И если он даже пристрелил негритенка, или какого-нибудь старика, или случайного подростка, он защищался, а те на него нападали. Вообще в Америке полицейские не любят, когда их

обижают. Мне как-то Джон-маленький, знаток истории, рассказал любопытную, но и поучительную историю, правда, по другому поводу.

Был в США такой знаменитый гангстер Лаки Лучиано. Однажды, когда он еще не разъезжал в бронированном автомобиле, окруженный телохранителями, стоял он на углу Четырнадцатой улицы в Нью-Йорке и поджидал девушку. Вдруг останавливается около него машина с опущенными шторками, вылезают трое с пистолетами и вежливо приглашают сесть в машину и составить им компанию. Там ему затыкают рот, избивают, в конце концов выбрасывают без сознания на каком-то уединенном пляже. Когда он пришел в себя, то дотопился до первого встречного полицейского и сказал ему: «Позовите мне такси и забудьте, что видели меня, получите пятьдесят долларов». Но тот доставил Лучиано в больницу и вызвал инспекторов. Лучиано правдиво ответил на все их вопросы, кроме одного. Когда его спросили, кто были эти трое, напавшие на него, он сказал: «Понятия не имею, никогда их раньше не видел». И только через много-много лет уже в Италии он рассказал журналистам, что избили его за то, что он не уплатил очередной дани полицейским. Так что у них там все ясно.

Ну, а в Бразилии люди темпераментные, полицейским надоело ловить бандитов, рискуя жизнью, а потом узнавать, что эти бандиты или оправданы или получили ерундовые наказания. И они создали свой союз.

Не просто обычный профсоюз, как, например, АФПП — Автономная федерация полицейский профсоюз Франции или такие же профсоюзы полицейских в других странах, а тайную организацию, и назвали ее «Эскадрон смерти». Этот бразильский «Эскадрон смерти» родился в 1964 году в Рио-де-Жанейро. Тогда там убили полицейского Ле Кока по кличке «Лошадиная морда» (у полицейских, как вы знаете, тоже есть клички). Убил его гангстер Кабо Фрио. И вот некоторые коллеги этого Ле Кока поклялись на его могиле отомстить и объединились в группу, которую назвали «Эскадрон смерти». Вскоре труп Кабо Фрио был найден на пустынном пляже. Тамошние коллеги полицейские вошли во вкус. Вскоре «Эскадрон» насчитывал уже полторы тысячи человек.

А потом в Сан-Пауло появилась аналогичная компания под названием «Белая лилия» (воистину белая как саван!), а в городе Нитерое — «Красная гвоздика». Они мстили за убитых полицейских, выносили приговоры гангстерам не только не дожидаясь суда и следствия, но даже и поимки этих людей, просто ловили и сами же приводили приговор в исполнение.

Конечно, народ не знал, что полиция имеет к этим «эскадронам» какое-либо отношение. Считалось, что это воин-

ственные, решительные граждане создали вот такие отряды самообороны. В них входили не любые, кто захочет, а надежные, свои ребята.

Сначала действовали деликатно. Ну, скажем, стреляли в гангстеров, когда и нужды не было, когда можно было их просто задержать. Потом начали за ними специально охотиться, выслеживать и убивать. Не таких, которых полиция обязана была и без того разыскивать и арестовывать, а таких, против кого просто были серьезные, а иной раз даже ерундовые подозрения.

Потом наступил следующий этап — «стражи порядка» стали похищать преступников! Получая информацию от своих осведомителей, они устраивали засады, нападали переодетыми или официально предъявляли свои удостоверения и забирали человека «на допрос», «для дачи свидетельских показаний», «для проверки» — и увозили.

Это я знаю и еще кое-кто. А широкая общественность нет. Потому что те, кого увозили, уже ничего рассказать не могли. Их трупы потом находили где-нибудь за городом. И что вы думаете — одно время преступность даже пошла на убыль! Главарь банд испытывали такой панический страх перед этими «Эскадронами смерти» (а они появились и в других странах Южной Америки), что многие вообще бежали за границу.

Вы можете мне сказать, что сейчас эти «Эскадроны смерти» заняты, судя по газетам, вроде бы другими делами. Но не торопите меня, к этому вопросу я еще вернусь.

Словом, запугали они тогда преступников. Но вскоре те пришли в себя, и началось противодействие. Понимая, что пощады им не ждать, даже те воры, торговцы наркотиками, угоищики машин, которым по большому счету ничего особенно не грозило, начали отстреливаться и вообще палить по любому поводу. Полицейских стало погибать больше. Вот такая история.

Непонятно только, зачем я вам все это рассказываю. Ну, Бразилия Бразилией, там эти «эскадроны» родились, но к чему Бразилия, когда есть моя благословенная родина, замечательная страна свободного предпринимательства, где любой может стать миллионером, если, конечно, может. Лучше я вам расскажу про наш «Черный эскадрон», а заодно и про себя. В конце концов, рассказываю ведь я! Вот и слушайте мою историю.

Тот день выдался прекрасный — небо голубое, зелень изумрудная, птички поют, детки щебечут, мы с О'Нилом идем по улице и беседуем. Вернее, беседую один я, потому что с ним любой разговор, как я уже отмечал не раз, превращается в монолог.

— Повезло сегодня, — рассуждаю я, — весь день свободны. Ребята за нас работу сделали, сами себя...

Я имею в виду компанию юных наркоманов, которых мы должны были забрать. Мы знали, где они собираются, знали, кто достает им героин и когда принесет. Установили слежку за притоном, видели, как поставщик дважды поздними вечерами приносил им товар. Но сами эти ребята не показывались — трое парней и трое девиц. В ту ночь поставщик не пришел, и мы решили: не дожидаясь, брать их. Раз не пришел, они остались без своей «порции», а в таких случаях наркоманы становятся опасными, идут на розыск и тут уж, чтобы добыть свое зелье, ни перед чем не остановятся. Могут убить кого и сколько хочешь.

Осторожно поднимаемся по лестнице. Ох уж эти лестницы — какое-то скользкое, грязное, воиющее стойло, не дом, а кошмар, как жить в таком — не представляю себе! А где же жить?.. Помию, случайно оказался свидетелем выселения. Живут-то здесь нищие, платить за жилье нечем (хотя платить следовало бы им, за то что в таком живут). Их и выселяют. Иногда они сопротивляются, баррикадируют двери, швыряют камни, льют на головы полицейским всякую дрянь. Но в конечном счете их все же выбрасывают на улицу со всем их барахлом. Хорошо, что барахла-то особенного у таких не бывает. Смешно видеть, как на улице вдоль тротуара выстраиваются косые столы, колченогие стулья, шкафы без дверей и кровати без матрацев. И разное тряпье. Детишки сидят, некоторые смеются — интересно ведь, когда все выносят, женщины плачут. Мужчины стоят стиснув зубы. В глазах у них такое, что лучше бы не видеть.

И если честно, то ничего тут смешного нет. Жутко — это да...

Но к чему это я? А-а, вспомнил, вот в таком доме ютятся наши «клиенты». Значит, поднимаемся на седьмой этаж, спотыкаясь и скользя на каждой ступеньке (что в таких домах лифта не бывает, вы, конечно, догадались?). Подходим к двери, занимаем привычную позицию. Двое с пистолетами в руках с обеих сторон двери, один в глубине коридора целится в дверь, четвертый, самый быстрый (и храбрый), Джон-маленький, высаживает плечом дверь и падает на нее, чтобы в него не попали, если преступники будут стрелять. Но выставлять дверь не приходится. Джон-маленький сначала просто нажимает ручку (мне бы это в голову не пришло), и дверь открывается. Тогда мы всей гурьбой влетаем в квартиру, кричим: «Не двигаться! Полиция! Руки на затылок! Будем стрелять!»

Но весь этот гвалт излишен. В квартире тишина, и на первый взгляд никого нет.

Потом мы их обнаруживаем — двое лежат на кухне, двое, уронив голову на грудь, притулились в дальнем коридорчике,

и двое на одеялах застыли в спальне (кроватей нет, их заменяли старые рваные одеяла).

Все мертвые. Нет, не убитые, просто мертвые. Вернее, убитые в свои восемнадцать — двадцать лет героинном, ЛСД или уж не знаю какой там чертовщиной. Смотреть на них страшно: как скелеты, желтые, руки-палочки все исколоты, грязные, в каких-то лохмотьях.

И только лица у них снова стали детскими (при жизни-то у таких и лица жутковатые — серые, с синими мешками под глазами, щеки впалые, видывал я этн пугала). Особенно запомнил я одну из девчонок. Небось когда-то была похожа на ангелочка — волосы золотые, до пояса разметались, глазки голубые застыли теперь в покое...

Я, как вы уже поняли, особой чувствительностью не отличаюсь, да и жизнь не приучила. Но попадись мне сейчас тот поставщик (мы знаем, где он живет, но не трогали его, все связан прослеживали), я бы его голыми руками задушил.

— ...Убить такого мало, — слышу я ворчание О'Нила, словно он мои мысли читал.

— Все ясно, — говорит Гонсалес, — судя по всему, они уже второй день как умерли, потому поставщик и не пришел. Он когда прошлый раз был — помните, мы еще удивлялись, почему так быстро вышел, — их мертвыми застал. Что будем делать?

— Братъ его, — говорит Джон-маленький, — а то мы с этой слежкой только покойников будем находить.

Мы спускаемся вниз, садимся в машину, вызываем по радиотелефону дежурную бригаду, звоним в отдел по борьбе с наркоманией, сообщаем, что сделали за них почти всю их работу, и трогаемся в путь, чтобы эту работу завершить.

Поставщик, прошу прощения, живет в таких условиях, в солидном доме, в хорошей квартире. Он не сразу открывает, требует поднести к «глазку» в двери наши удостоверения, потом просит минутку подождать, он сейчас оденется.

Я и сквозь толстую дверь отлично вижу, чем он сейчас занят. Он действительно одевается с быстротой престидижитатора, закидывает в карман свою денежную наличность, пистолет и мчится в кухню, где имеется дверь на черную лестницу, быстро открывает ее, выскакивает на площадку и... оказывается в объятиях Джона-маленького. Между прочим, начал он спускаться по идущей вдоль балконов пожарной лестнице, внизу встретил бы О'Нила. Мы все же не школьники и в нашем деле разбираемся.

Джон-маленький обезоруживает «клиента», надевает на него наручники, вводит обратно в квартиру и открывает нам дверь.

Мы собираемся все в большой комнате и смотрим на этого типа без особой нежности. Парень крепкий, мрачный, особого страха, видимо, не испытывает.

— В чем дело? — спрашивает. — Ордер на обыск у вас есть?

— Есть, — отвечает О'Нил, — пожалуйста, — и своим огромным кулачищем бьет его с такой силой, что тот отлетает к стене и странно, что не пробивает ее насквозь. Медленно оседает на пол. Теперь в его глазах страх — он уже понял, что его ждет.

— Может, заберем его в управление, — нерешительно предлагает Джон-маленький, этот любитель законных методов.

О'Нил даже не оборачивается к нему. Одной рукой он поднимает за шиворот нашего «клнента», другой наносит еще более страшный удар.

«Допрос» продолжается в том же духе еще полчаса.

Зато мы узнаем адреса всей его клиентуры и, что неизмеримо важнее, оптовика, который его снабжает.

— Все, — с удовлетворением констатирует О'Нил и идет мыть руки.

Вернувшись в комнату, он некоторое время стоит в задумчивости, потом спрашивает поставщика:

— Сам-то колешься?

Вопрос лишний, потому что, обыскав комнату, мы нашли запас наркотиков и шприц да и следы нескольких уколов у того на руке. Видимо, недавно начал.

— Я вызываю группу? — спрашивает Джон-маленький.

— Идите вниз, — говорит О'Нил, — я сам позвоню и сейчас вас догоню, — и он незаметно подмигивает мне.

Мы спускаемся и идем к машине. О'Нил приходит через несколько минут, один, хватает радиотелефон и докладывает дежурному.

Слушая его доклад, мы с удивлением переглядываемся (ну, я-то, может, и не очень удивлен). Выясняется, что после обнаружения группы мертвых наркоманов мы срочно отправились по нмевшемуся у нас адресу с целью арестовать поставщика и избежать новых трагедий. Однако, проникнув к нему на квартиру, обнаружили его мертвым, сильно избитым. Смерть наступила от того, что, пытаясь вколоть себе очередную порцию героина, он, видимо, вследствие шока, вызванного избиением, ошибся и вколол в вену воздух...

Закончив свой фантастический доклад, О'Нил внимательно смотрит в глаза Джону-маленькому и Гонсалесу и веско роняет:

— Ясно? — потом добавляет: — А все, что он нам рассказывал, узнали от осведомителей и кое-что им за это отвалили, за счет конторы, конечно.

Он коротко смеется, а остальные молчат. Так, молча, мы добираемся до управления. Моемся, бреемся — уже утро — пьем кофе в ближайшем кафе и расходимся по домам. Ночь была бурная, мы здорово поработали, и начальник, довольный нами, разрешил весь день отдыхать.

Мы с О'Нилом идем вместе.

День чудесный, небо голубое, зелень изумрудная... Ах, я уже говорил это. Иду и продолжаю свой монолог.

— Слушай,— говорю О'Нилу,— может, займемся теперь оптовиком? Представляешь, какую мы, благодаря этому поставщику, цепь раскрыли. Как думаешь, наградят нас? — мечтаю.

Наконец О'Нил раскрывает рот.

— Кто? — спрашивает.

Теперь рот раскрываю я, от удивления.

— Как кто? Начальство.

Он пожимает плечами и молчит.

— В конце концов,— говорю я,— мы же какую работу сделали? Притон тот накрыли, не наша вина, что там одни покойники были. Раз. Поставщика тоже накрыли. И он иам все...— Тут я спохватываюсь и торопливо добавляю: — И не наша вина, что он тоже покойником оказался. А какие сведения добыли — всю клиентуру этого поставщика, небось человек тридцать. Ну и, главное, оптовик. Хотя пока мы этот наш козырь начальству и не выкладывали. Ну, как?

— За что ж награждать? — в свою очередь спрашивает О'Нил. — За покойников? Так их на кладбище пруд пруди. Вот дали день отдыха, и радуйся.

Действительно, не за что нас награждать получается. Молчу.

— А вот кое-кто другой может и впрямь премию отвалит. Жирную,— неожиданно произносит О'Нил и так же неожиданно сворачивает к подвернувшемуся кафе.

Садимся за столик, заказываем пиво. (В баре кофе пили, в кафе — пиво, так и живем.)

— Сегодня ночью наисем визит тому оптовiku,— говорит О'Нил. — Частный. Деловой. Так и так, мол: «Не хотите ли вознаградить нас за усердную работу?» Что скажешь?

Что я скажу? Скажу, что с О'Нилом не пропадешь. Он еще умней, чем я думал. Ну, ладно, не умней — хитрей, ловчей, короче говоря, такие, как он, умеют устроиваться. И я за ним в кильватер.

— Поехали,— говорю и встаю.

Он усмехается:

— Поехали по домам, выспимся, а вечером — за премией,— и он подмигивает.

Продираю глаза, когда на дворе уже темно. Бреюсь, надеваю хороший костюм, красивый галстук — все-таки не куда-нибудь идем, а в гости к солидному человеку. Когда я спускаюсь вниз, у подъезда уже ждет О'Нил в своем новеньком «форде». Этот «форд» он купил недавно (наверное, на такие вот премии, за какой мы сейчас направляемся). В управлении

никто об этом не знает, так что, показав мне свое приобретение, О'Нил тем самым оказал мне большое доверие.

Мы едем молча. Сосредоточены. Все же оптовик с размахом это не поставщик, тем более не какие-то там жалкие мальчишки-наркоманы. Это человек со связями, у него могут быть телохранители, и его голыми руками не возьмешь. Одно дело, если бы мы были в мундирах, с полицейским эскортом, с сиренами, с ордерами на обыск, на арест, по заданию начальства... А так он может взять да и пристрелить нас за милую душу, скажет: двое неизвестных вооруженных вломлись в квартиру, стали угрожать. У нас ведь на лбу не написано, что мы полицейские! Он, может быть, фокусник не хуже О'Нила, такую нисценировку устроит, что хоть в Голливуд приглашай.

Так что мы в напряжении.

Подъезжаем. Дом роскошный. Вернее, не дом, а вилла, довольно уединенная. К нашему изумлению, ни сторожей, ни собак, ворота раскрыты, над подъездом фонарь.

Звоним. Дверь открывает молоденькая служанка в фартучке.

— Кого? — спрашивает.

— Хозяина, — говорим мы, отеснив ее, вваливаемся.

Хозяин выходит в холл. В халате, ночных туфлях. Ему лет шестьдесят, он носит очки, почти лысый, с брюшком — вид коммерсанта, удалившегося от дел, или доброго дедушки, отправившего детей и внуков в кино и отдыхающего у телевизора. Но вот внуки вернулись, и он спешит их радостно встретить.

Но мы на его внуков не похожи, он это сразу понимает и меняется в лице. Нет, на лице этом возникает выражение не страха, а просто недовольства, какой-то брезгливости, словно мы пришли продавать пылесос или принесли счет за газ.

— Что вам нужно? — спрашивает.

— Поговорить, — отвечаю.

Он смотрит на служанку, потом открывает дверь в кабинет и жестом приглашает пройти.

Входим. Да, живет он неплохо, кабинетик что надо.

— Садитесь, — говорит сухо, — я вас слушаю. Вы откуда?

— Мы из полиции, — отвечаю.

На его лице читаю выражение явного облегчения. Мне даже кажется, что на губах его промелькнула ироническая улыбка.

— Из полиции? Чем обязан?

— Видите ли, — начинаю я, — сегодня ночью мы задержали некоего (я называю имя) и имели с ним долгую беседу.

— Да? — Он вскидывает брови. — А я слышал, что когда вы явились к нему, он уже преставился.

Ничего не скажешь — информирован он неплохо, знает то, что не знает даже наш начальник. Откуда?

Но я не показываю вида.

— Вас неправильно информировали, — говорю, — он действительно скончался, но перед этим рассказал нам много интересного. Иначе, — добавляю, — мы бы здесь не были.

— Значит, это вы его прикончили, — говорит он задумчиво, — ну что ж, это неплохо. По крайней мере этот болван никому, кроме вас, не проболтается. А ваш начальник в курсе?

Ага, он начинает понимать.

— В том-то и дело, что нет, — отвечаю, — кроме нас, никто до его прискорбной кончины с преступником не беседовал.

— Ну, так что? — неожиданно спрашивает он, и на губах его мне снова чудится ироническая усмешка.

— Если начальство узнает, — объясняю (может быть, он не такой понятливый, как я думал), — у вас могут быть большие неприятности, как вы догадываетесь. А мы получим награду. Так вот... — Я делаю паузу, но он тоже молчит, — так вот, нам безразлично, от кого получать награду, нам важен ее размер, — и я вопросительно смотрю на него.

Он встает, направляется к комнатному бару. О'Нил вынимает пистолет.

Старик усмехается, открывает бар, наливает рюмку коньяка и залпом выпивает ее. Нам не предлагает. Потом возвращается к своему креслу.

— Если я вас правильно понял, — говорит он и смотрит на нас не мигая, — вы решили сделать свой маленький личный бизнес? Так? Вы забываете мое имя, а я выдаю вам за это премию. Сколько, позвольте узнать?

— Десять тысяч монет! — выпаливает О'Нил.

Теперь в глазах нашего собеседника я читаю откровенную жалость.

— Да, — произносит он задумчиво, — мелко плаваете, без размаха. Десять тысяч монет! За это и машины приличной не купишь. Наверное, только начинаете?

Я растерян. Он что, не понимает? Может, он хочет, чтобы мы увеличили нашу ставку вдвое-втрое? Может, у него какая-то тайная мысль?

О'Нил медленно краснеет, лицо его, и без того цвета спелого помидора, становится багровым. Это значит, что его охватывает ярость. Лишь бы он все не испортил.

— Какое это имеет значение, — поспешно говорю я, — начинаем не начинаем? Если вы оцениваете наше доброе к вам отношение дороже, мы весьма вам благодарны, не откажемся.

+ Я действительно оцениваю доброе ко мне отношение много-много дороже, — тянет он, словно читает нам нотацию, — только не ваше. Ясно? Только не ваше! — Он тоже начинает злиться, теперь я вижу, что он с трудом сдерживается; пальцы его судорожно теребят пояс халата. — Не ваше! А кое-кого куда

выше, куда выше! Если голову задерете, то не увидите. Ясно? — Ярость овладевает им все больше и больше, он начинает краснеть. — И не для того я плачу десятки тысяч, чтоб какие-то мелкие шантажисты, какие-то вонючие ищейки, какие-то, какие-то... — он задыхается, подыскивая слова, — инспекторишки десятого разряда вламывались ко мне со своими нахальными требованиями! Нет уж избавьте! Если б у вас хватило ума доложить вашему начальству, черта с два вы бы посмели ко мне явиться! Сейчас же вон, иначе я позабочусь, чтобы вас послали патрулировать мусорные свалки. Вон! Сейчас же! Ясно?

Он встает, нажимает кнопку звонка. В дверях появляется молоденькая служанка.

— Проводите этих, этих, — он все же пересиливает себя, — господ!

Мы сидим молча, пораженные этой сценой. Всего мы могли ожидать, но не такого. И постепенно я тоже начинаю ощущать поднимающуюся во мне ярость. Ах мерзавец! Он платит нашему начальству тысячи и тысячи, а нам отказывает в грошах да еще выкидывает за дверь! Мерзавец! Но и начальники хороши, отправляют нас под выстрелы разных бандитов, а когда мы такую вот крупную дичь ловим, так стоп-стоп — она неприкосновенна! Она платит налог за свою неприкосновенность. Только не нам, с нас хватит и пуль, а господам начальникам. Неужели и нашему?

— Не верите? — шипит оптовик. — Сомневаетесь? Тогда слушайте, вам же хуже будет. — Он подходит к телефону, набирает номер и вызывает имя, от которого у меня глаза лезут на лоб (куда там наш начальник! Начальники еще десяти степеней выше перед этим именем дрожат, что собаки хвостики).

— Слушай, — говорит он в трубку требовательно, — что же это творится! Являются ко мне какие-то твои ребята и начинают валять дурака. Требуют... Что? Их имена? Сейчас передам им трубку. А ну-ка, — это уже нам. Он торжествующе смотрит на нас.

Наверное, этот взгляд и решил дело.

Мы приходим в себя. Встаем. Я подхожу к телефону. Беру у него трубку, кладу на рычаг, вырываю провод из розетки и, вынув пистолет, всаживаю в этого мерзавца две пули. Он валится, так ничего и не поняв. И слышу еще выстрел. Оборачиваюсь. О'Нил неторопливо прячет пистолет в кобурю под мышкой, а горничная лежит неподвижно у двери... О'Нил верен себе. Он обо всем подумает. Затем он достает кусочек картона и кладет его возле убитого. Мы с сожалением бросаем прощальный взгляд на неподвижное тело в задравшемся халате, на эту роскошную комнату, на девчонку, вся вина которой только и была, что не вовремя зашла да не у того служила (небось радовалась, что нашла работу).

Вздыхнув, мы спешим к машине и покидаем этот негостеприимный дом. Молча переживаем наше разочарование.

Последствия нас не страшат. Сверхвысокий начальник не такой дурак, чтобы интересоваться, кто пришел его знакомого. Тем более, что теперь эта курица уже золотых яиц ему не снесет. Наоборот, он постарается погасить дело и еще не раз помучается, задаваясь вопросом: слышали ли те, «его ребята», какое имя произнес этот идиот! Впрочем, мало ли какое имя он мог назвать, доказательств все равно нет. Что ж поделать, придется искать другого, а скорее всего, его самого найдут кому надо.

Разумеется, на следующий день в газете мы находим заметку: убит очередной гангстер, крупный бизнесмен по части торговли наркотиками (и откуда эти журналисты знают больше, чем мы в полиции?). Около тела обнаружен знак, свидетельствующий, что убийство совершил «Черный эскадрон». Наверняка сведенные счетов. Эти гангстеры вечно воюют друг с другом и друг друга уничтожают. И слава богу. И ретивый журналист начинает вздыхать по добрым старым временам, вот, мол, Аль-Капоне, тот, будь здоров, молодец, однажды его ребята среди бела дня на самой оживленной улице Чикаго застрелили девять человек из соперничающей банды. А всего за пять лет этот легендарный гангстер отправил на тот свет 335 конкурентов! Теперь таких уже не сыщешь, сокрушается репортер, измывались люди, измывались...

Вот и весь некролог.

Только, пожалуйста, не думайте, что меня мучали угрызения совести в связи с усопшим. Туда ему и дорога. Ладно еще, что отправлял молодежь наркотиками, негодяй, так он еще хотел нас придавить! Из-за его дурацкой самоуверенности и он жизни лишился, и мы, что важнее, лишились законной премии. Просто мерзавец! Нет, таких надо убивать!

— Вот видишь,— укоризненно сказал мне потом Джон-маленький,— не стали бы ждать, доложили бы тогда начальнику, может быть, сумели этого оптовика взять раньше, чем его кто-то ликвидировал.

Нет, он неисправимый идеалист, этот маленький Джон. Гонсалес понятливей. Он только посмотрел на меня вопрошающе на следующее утро. Так собака смотрит на хозяйку, выходящую из кухни,— не несет ли чего?

Убедившись, что ждать ему нечего, вздохнул. Ну что ж, значит, не получилось...

Через несколько дней после всей этой суматохи О'Нил пригласил меня в ресторан пообедать. Ого-го! Это что-нибудь да значит. Чтоб О'Нил расщедрился угостить кружкой пива, нужно событие космического значения, например, столкновение кометы с Землей! Но пригласить на ужин в ресторан... Может,

он заболел? Может, история с оптовиком повлияла на его психику?

Впрочем, когда я подъехал к ресторану на своей машине (я не говорил, что приобрел себе недавно БМВ? Так, завелись случайно кое-какие лишние деньжата), то убедился, что О'Нил все же далеко от своих принципов не отступает — ресторан оказался захудалым. У него и название унылое — «Пустыня». Когда я вошел, то понял, почему он так называется — ни одного посетителя. Оно и неудивительно, чтоб доехать до ресторана, пришлось тащиться по каким-то пыльным улицам, мимо свалок и пустырей.

Занят только один стол. Там сидит О'Нил и еще четверо здоровых парней в штатском. Но меня не обманешь — сразу определил, что это коллеги, скорей всего, из спецподразделений или из уголовного, хотя в этом управлении я вроде бы всех знаю. Но может, из пригородов?

Оказалось, даже из другого города.

Встречают меня радушно, наливают, жмут руки, похлопывают по плечам. А сами незаметно, но внимательно приглядываются — что я за птица?

Едим, пьем, обсуждаем всякие новости, в основном спортивные, даже спорим: я за одну команду болею, они — за другую. Но все это закуска.

Главное блюдо выставляется на стол, когда на столе появляется кофе.

Крышку с кастрюли приподнимает О'Нил. До этого он, как всегда, больше помалкивал.

— Слушай, Джон,— говорит он и обнимает меня за плечи,— О'Нил мало болтает, но все понимает. И людей определяет без ошибки. Я видел тебя в деле и скажу прямо: ты наш человек. Он торжественно смотрит на меня.

Я благодарно улыбаюсь и жду, что будет дальше.

— Я тебе верю, как себе, и перед моими друзьями ручаюсь за тебя, как за себя.

Он опять смотрит на меня. Я опять на него.

Тогда один из тех вынимает из кармана кусочек картона и кладет на стол. Я вглядываюсь, это знакомый мне знак «Черного эскадрона» — череп и скрещенные кости на черном фоне.

Теперь они все смотрят на меня.

Я прочувственно кашляю.

— Это вы? — спрашиваю.

— Мы,— отвечает тот из них, кто, наверное, Старший,— и за нами сотни других.

И он начинает посвящать меня.

— Понимаешь, друг, нам надоело, чтобы нас стреляли как куропаток (где-то я уже это слышал), а потом эти «охотники»

отдельвались бы штрафом, как за безбилетный проезд. Мы честные полицейские (он говорит это вполне серьезно), мы честно делаем свое дело, боремся с преступниками, рискуем жизнью, а то и отдаем ее, и хотим, чтобы это окупалось, чтобы все эти убийцы, грабители, бандиты, чтобы все они получали по заслугам. Может быть, не всех надо казнить, но на тридцать — сорок лет, а то и на всю жизнь за решетку их упрятать надо. Мест в тюрьмах пока хватает, а не хватит, можно построить новые, это тебе не школа или больница, на тюрьмы деньги всегда найдутся. Согласен?

— Согласен.

— Отлично. Мы считаем, что закона не нарушаем. Просто мы отбросили всякие ненужные формальности — там следствие, улики, доказательства, судопроизводство, адвокатов... Кому это нужно? У организованных преступников теперь такие синдикаты, такие тресты, что им любой транснациональный концерн позавидует. А денег в сто раз больше, чем у нас на всю полицию тратится. Они своих из любой передраги вытащат. Я имею в виду, кого хотят вытянуть, мелюзгу свою они нам всегда, как кость собаке, бросают...

— Но мы не собаки и собачьей смерти не хотим! — восклицает плотный парень, который, по-моему, уже набрался.

— Именно, — говорит Старший, — но ждаты, пока в нас будут стрелять, мы не намерены. Мы стреляем первыми! Раз нам становится наверняка известно, что этот человек преступник, ну, почти наверняка, так чего ждать? Собирайте всякие улики, разыскивайте свидетелей (если он не успеет их убрать)? Допрашивать? Не проще ли ликвидировать его, и все? И потом, когда об этом узнают другие, когда они поймут, что за ними не конкуренты охотятся, а мы, полицейские, только не собирающиеся оглядываться на закон, они два раза подумают, раньше чем совершить преступление. А то и вообще сбегут на край света. — Он помолчал. — Словом, мы перешли в наступление. Ищем, ловим и казним. Вот так, Джон Леруа. Такие у нас правила. Будешь с нами?

— А как начальство на это смотрит? — задаю на всякий случай вопрос.

Они смотрят на меня с удивлением и собираются заговорить все разом. Но Старший останавливает их, подняв руку.

— Во-первых, начальство ничего не знает, — разъясняет он, — во-вторых, наш «Эскадрон» состоит не только из рядовых инспекторов, есть и старшие, и главные, есть даже комиссары («во-вторых» как-то не очень вяжется с «во-первых», но бог с ним), в-третьих, если уж что и всплывает, то кто для начальства важнее — убитый преступник или свой, между прочим живой, подчиненный? Так что в семейном кругу вопрос и решаем. Ну, уж если газеты большой шум поднимают, то

такого полицейского переводят подальше, в крайнем случае накладывают дисциплинарное взыскание. Если уж совсем нельзя без суда обойтись, что ж, суд проявляет понимание... Ну, так будешь с нами?

Они все смотрят на меня.

Я встаю, чтоб подчеркнуть значительность минуты, застегиваю пиджак и поочередно пожимаю им руки.

— Считайте — я с вами, — говорю торжественно с хрипотцой.

Они вскакивают, обнимают, заказывают еще вина и пива.

Пьем до поздней ночи, домой меня провожают всей командой.

Прощаясь, Старший говорит:

— О «работе» потолкуем позже.

Вот так я и стал членом «Черного эскадрона» — передового, как я тогда думал, движения по борьбе с преступностью. Полицейские, идущие на шаг впереди полицейских! Освободители страны от скверны! Мстители за павших товарищей!

Вот кто мы!

Глава V. «ЭСКАДРОН» ЗА РАБОТОЙ

Наша первая «экспедиция» (так в «Эскадроне» называют карательные акции) проходила следующим образом. Впрочем, это была для меня первая экспедиция, «Эскадрон»-то действует уже не первый день, и, как я позже узнал, ячейки его имеются почти во всех управлениях нашей полиции.

Так или иначе, для меня это было дебютом. Вы знаете, что такое «рэкет»? Ну, еще бы, сейчас каждый школьник знает. Все же напомним. Это когда приходят к хозяину ресторана, бара, кафе, лавочки парочка интеллигентных молодых людей и предлагают свои услуги для защиты его заведения от гадких хулиганов. Если хозяин не дурак, он радостно соглашается и в дальнейшем платит им круглую сумму или 10—15% от выручки. Если, напротив, дурак, то отказывается, ссылаясь на то, что вот уже двадцать лет функционирует его заведение и никто на него не нападает. Молодые люди огорчению вздыхают, сетуют, что по нынешним временам ничего нельзя знать. И представляете, попадают в самую точку! Потому что с рестораном начинают происходить всякие несчастья: то в нем взрывается бомба, то у входа избивают посетителей и они перестают ходить туда, то начинается пожар...

И тогда даже самый глупый и упрямый из хозяев понимает, насколько правы были те млые молодые люди, и, как только они вновь появляются, спешит договориться с ними об охране своего заведения.

В магазинах иногда молодые люди дают совет хозяину: закупать товары лишь у определенного поставщика. И хотя товары у него хуже и дороже, но зато с ними не происходит того, что происходит с другими закупаемыми товарами, если он не послушался совета. А именно — нападений на грузовики, пожара в лавке, нежелание кого-то из запуганных служащих работать и тому подобное.

И не надо думать, что рэкету подвергаются только мелкие предприятия, большие тоже. Хотите пример? Пожалуйста. Вы же люди недоверчивые, вам подавай доказательства. Извольте.

Есть в Америке такая фирма «А и П», у нее множество магазинов самообслуживания. Так вот, те самые молодые симпатяги (ну, может быть, на этот раз они были постарше и посolidней) посоветовали фирме принять для продажи какое-то моющее средство. «А и П» добросовестно проверили его и выяснили, что им и снег добела не отмоешь. И вежливо отказались. Что дальше?

А дальше нашли убитым директора одного из магазинов «А и П», потом нашли убитым администратора другого магазина, затем начали сгорать, неизвестно кем подожженные, магазины и склады фирмы — в общей сложности шестнадцать! А дальше? Дальше фирма приняла на продажу чудодейственное моющее средство. Чудодейственное потому, что, хотя оно плохо отмывало, сразу прекратились убийства и пожары.

Или вот еще «забавный» случай. Вдруг в Нью-Йорке начали взлетать на воздух машины, развозящие мороженое! Ну? Вы когда-нибудь слышали что-нибудь подобное? Обычно взрываются танки, когда во время атаки попадают на минное поле. А тут холодильники с эскимо! За одну неделю несколько штук. И водителям стали по ночам звонить доброжелатели и сообщать, что если они не уволятся из транспортной фирмы, то тоже взлетят вместе со своими машинами. И они уволились. Никто не хотел больше возить мороженое в этот район города, и пришлось всем мороженщикам закрыть свои лавочки. А вся монополия торговли этим любимым детками продуктом перешла к члену (как потом выяснилось) мафии.

Есть миллион и других форм рэкета. На нем преступники зарабатывают, может быть, и не так много, но тоже неплохо. И главное, рэкет, коль скоро он уже налажен, особых трудов от тех, кто им занимается, не требует.

Ну, ладно, хватит, а то я скоро стану, как наш начальник, перед тем как рассказывать о конкретных делах, буду вам читать лекцию по сравнительной криминалистике с примерами из международной практики.

Так вот, нам пожаловался один из наших осведомителей — хозяин небольшого кафе. Он когда-то погорячился во время забастовки, будучи штрейкбрехером, и в потасовке с пикет-

чникам проломил одному из них голову. Не насмерть, но прилично. Мы помогли ему выкарабкаться из этой передраги, а он в благодарность кое-что нам иногда сообщал. Так сказать, хроника из жизни преступного мира. И вот, говорят, являются к нему те самые молодые люди, предлагают свое покровительство и дальше все по знакомой схеме.

Создается необычное положение. Нам порой приходится защищать наших осведомителей от наших же коллег, которые не в курсе дела, я уже говорил об этом. От «коллег» наших осведомителей мы их не защищаем. Это дело безнадежное — узнав, что нам кое-кто докладывает, те без предупреждения, иной раз по одному подозрению, отправляют его на тот свет. И вообще это их темные делишки, и нам негоже в них вмешиваться. Представьте, как мы будем выглядеть, если заявим во всеуслышанье: «Это наш информатор и, хотя сам преступник, доносит нам на других преступников. Так что не смейте его трогать!»

Но тут все иначе. К нам обратился законопослушный гражданин, уважаемый владелец кафе, который требует оградить его от гнусных шантажистов и рэкетиров. Мы имеем право, даже обязаны вмешаться. Полция мы, в конце концов, или не полция!

Однако те двое мальчишек нас мало интересуют, мелкая сошка. Нам нужна дичь покрупнее — тот, кто их послал; мы имеем сведения (от наших информаторов, разумеется), что в этом районе уже многие владельцы кафе выплачивают дань. Нам они об этом не сообщают, но мы-то знаем. И есть основание полагать, что это какая-то новая банда, раньше здесь все было спокойно, никого ни от кого защищать не приходилось и никому за это платить тоже. (И никто, между прочим, в полицию с предложением новогодних подарков или пожертвований в наш фонд не являлся.)

Значит, нам надо прихватить этих двух юношей, вежливо выяснить у них, кто за ними стоит, и нанести ему визит.

За дело беремся вчетвером — я, О'Нил и двое инспекторов уголовной полиции, одного зовут Тим, другого Том — удобно запомнить, тоже из других районов, как и мы. Здесь нас не знают, мы в штатском. О'Нил надевает зеленый фартук и полосатую жилетку и изображает «нового бармена». Я и Тим садимся в уголок и потягиваем пиво. Том остается на улице, чтобы посмотреть, не прикрывает ли кто тех двоих.

Ведут они себя весьма уверенно, чтобы не сказать нахально: предупредили о своем визите по телефону, пригрозили, что придут последний раз, и если не получат согласия, то хозяину несдобровать. Подъезжают на гоночной машине прямо к дверям. Никто их не подстраховывает. Они спокойно входят

и прямо направляются в кабинет владельца кафе. Остаться незамеченными им трудно, потому что по расцветке они напоминают попугаев. Серо-буро-малиновые пиджаки, желтые галстуки, белые ботинки. Им лет по двадцать, видно, еще неопытные, но уже считающие, что им все позволено. Они еще пока играют в «гангстеров». Зрелость придет позднее (если доживут). То, что до сих пор захват их бандой всех кафе района проходил без сучка и задоринки, внушает им уверенность.

У дверей кабинета путь им преграждает О'Нил. Это предусмотрено планом, хозяин должен подготовиться.

— Куда? Туда нельзя, — говорит О'Нил.

— Посторонись-ка, — угрожающе наступает один из парней.

— Говорю, хозяин занят, — не уступает О'Нил.

— Тебе что сказали, — второй грубо отталкивает О'Нила, и оба проходят в дверь за стойкой в конуру, которая служит владельцу кафе кабинетом... Они захлопывают дверь, задвигают стулья, и запереться изнутри они не могут. В конуре лишь узкое окно, на нем решетка, и оно всегда плотно зашторено.

Мы с Тимом встаем и идем за стойку. О'Нил снимает свой фартук и жилетку. Редкие посетители — люди многоопытные и, поняв, что надвигаются события, торопливо выкладывают на стол мелочь и покидают кафе.

Мы подходим к двери и прислушиваемся. Еще накануне мы проделали в стене отверстие в виде воронки и отлично слышим все, что происходит в кабинете, тем более что никто там не старается говорить тихо.

— Ну, так что, — спрашивает один из молодых людей, — надумал?

— Нечего мне думать! — возмущается хозяин (роль честного возмущенного гражданина ему плохо удастся). — Неужели мне ваша защита, никто на меня не нападает, а нападёт, я вызову полицию, у нас прекрасная полиция, она всегда готова защитить порядочных людей (это он говорит особенно громко, чтобы мы слышали).

— Не валяй дурака, — наседают те, — никакая полиция тебе не поможет. Мы с тобой говорим третий раз, учти, четвертого не будет!

— Сколько вы хотите? — спрашивает хозяин в соответствии с нашими указаниями.

— Пятнадцать процентов выручки.

— Да вы разорите меня! — возмущается он. — Ведь налоги безбожные, цены выросли, клиентов, сами видите, раз-два и обчелся...

— Хватит болтать! — кричат те, их терпению, видимо, приходит конец. — Будешь платить или нет? А то сегодня же ночью взорвем твою забегаловку ко всем чертям!

— Я хочу видеть вашего босса, мы с ним договоримся,— начинает сдаваться хозяин.

Это окончательно выводит мальчишек из себя (они, значит, недостойны, чтобы с ними вели переговоры!). Мы слышим звук пощечины.

— Ну? — рычат они.

— Ладно,— хозяин делает вид, что запуган вконец.— Значит, я вам отдаю пятнадцать процентов дневной выручки, а вы оставляете меня в покое, ни бить, ни взрывать не будете?

— Не будем,— самодовольно говорит один.

— Не будем,— поддакивает второй.

— Нет,— требует хозяин,— повторите, что не будете ни бить, ни взрывать, если я отдам пятнадцать процентов выручки. А может, десяти хватит?

— Довольно! — говорит один из парней.— Мы люди честные: если будешь аккуратно платить пятнадцать процентов, ни убивать тебя, ни кафе твое взрывать и жечь не будем, можешь не сомневаться! — в голосе его благодушие.

Они одержали победу и потеряли бдительность. Будь они поопытней, никогда бы тех слов не сказали. Сказали бы, что намерены его охранять за такую-то плату. А так, если их слова записаны на пленку или услышаны свидетелями (как в данном случае, мы и диктофон с собой принесли и все, что слышится из-за стены, записываем), им и времени на суд незачем тратить — могут прямоком бежать в тюрьму лет так на десяток.

— Я подчиняюсь насилью! — с душераздирающим вздохом восклицает хозяин. Эта фраза — сигнал.

Мы врываемся в комнатушку, в одно мгновение скручиваем потрясенных парней и привязываем к стульям. Хозяин выбегает в зал, запирает дверь, опускает жалюзи и на полную громкость включает радиолу.

Тогда О'Нил засучивает рукава и начинает допрос.

Не хочется его описывать. Я выхожу.

Допрос длится недолго, они выкладывают все: имя своего босса, его адрес, когда застать, как войти, кто его ближайшие сообщники. О других они знают мало, но все же знают. Когда допрос окончен, мы заворачиваем их в брезент, укладываем в ящик из-под продуктов и через заднюю дверь переносим в крытый грузовичок, который заранее подождали.

Потом загружаемся туда же и едем в гости к боссу. Он живет за городом. Вилла окружена парком. У входа сторож с пистолетом. Мы останавливаем машину перед воротами, подходим к сторожу (один из нас надел по дороге мунир), предъявляем удостоверение. Сторож открывает ворота и говорит:

— Езжайте прямо, я предупрежу господина...— Он поворачивается к висящему на столбе внутреннему телефону

Нет, у этого босса помощники никуда не годятся. Если б он сначала позвонил, а потом открыл нам, неизвестно еще, чем бы все кончилось. Но поскольку он поступает наоборот, все кончается очень плохо... Для него.

О'Нил стучает его пистолетом по затылку.

Оставив машину, мы тихо крадемся к дому, где-то в глубине парка ворчат собаки — их, наверное, выпускают позже. В доме несколько окон освещены. Мы подходим к двери. Она закрыта. Обходим дом, находим неплотно притворенное окно и влезаем в него. Тишина. Откуда-то глухо доносится музыка.

Поднимаемся на второй этаж, крадемся на звук.

Через приоткрытую дверь видим большой кабинет. За столом на диване разговаривают двое, один из них тот, кто нам нужен. Они смеются, чем-то довольны.

Тим распахивает дверь, и мы входим в комнату. Те двое смотрят на нас с изумлением, встают.

Вот в этот-то момент и гремят выстрелы. Был, оказывается, третий, он стоял у домашнего бара в углу. Увидев нас, сразу все понял и начал стрелять. Тима он уложил первым же выстрелом, Тома ранил в ногу... Больше ничего не успел. Я попал ему прямо в лоб. О'Нил тоже не стал дожидаться и застрелил тех, что стояли у дивана. Все. Занавес.

Поскольку на выстрелы никто не сбежался, мы предположили, что никого больше в доме нет.

О'Нил сбежал за машиной, мы затащили тела в грузовичок, перевязали Тому ногу и покинули место действия. Я посмотрел на часы. С того момента, как мы заговорили со сторожем, прошло десять минут.

Мы отъехали от города километров за сорок. И прямо у дороги в канаве сбросили трупы, положили в карман босса нашу картонную визитную карточку — знак «Эскадрона» — и покатали в город.

Тима по дороге закопали в лесу и помолились на могиле. Тома завезли домой и вызвали врача («своего», конечно).

Когда я поднялся к себе и полез под душ, за окном уже занималось утро.

Вот так прошла моя первая «экспедиция».

А что, ничего прошла...

В этот день начальник обрушил на нас такое количество цифр и фактов, что у меня разболелась бы голова, если б у меня вообще когда-нибудь что-нибудь болело.

Когда мы все собрались на утреннюю оперативку и приготавлились досыпать под очередную колыбельную начальника то, что утром не добрали, он вдруг начал кричать:

— Вы, бездельники, вы намерены работать или нет? Вы превратились в канцелярских крыс! Скоро забудете, как ходят пешком! Что это за встречи? Что, я вас спрашиваю? Пьянки,

обжорство! Я знаю! Заходите к своим «кукушкам» в их бары, кафе, пивные и за рюмкой «имеете контакт!» Вот у тебя, Рамон (есть у нас такой, убежденный «трезвенник»), какие контакты: на пол-литра, на литр, может, на полтора? А где результаты? — Он делает паузу. — Не верят нам, не надеются на нас... — Он сокрушению вздыхает, заглядывает в бумажку и уже обычным монотонным голосом вещает: — Вот возьмем для примера Соединенные Штаты (он всегда берет их в пример, и иной раз мне кажется, что он тайно завидует, что мы никак не перегоним их по преступности), смотрите, там деловые люди, бизнесмены, то есть самые ценные люди, — и он смотрит на нас строгим взглядом, — самые ценные, из-за безделья официальной полиции каждый год тратят 2,5 миллиарда долларов на содержание частной полиции (а еще сколько, думаю я, на подкуп той самой «официальной»), 6,5 миллиарда — охранные телеустановки, запоры, особые двери. Ясно? И все эти расходы потому, что такие бездельники, как вы, торчат в участках, а не гонятся за преступниками! — Начальник опять начинает нервничать. — В Америке полиция узнает лишь о 20% совершенных преступлений, из них только 30% раскрывается, так что даже такие неучи, как вы, могут подсчитать, что лишь одно из двенадцати преступлений заканчивается приговором суда (после которого половина осужденных, раз-два — и оказываются на свободе, мысленно дополняя я лекцию начальника). Во Франции, — продолжает он, — три из четырех дел остаются нераскрытыми, в Англии — шесть из десяти. У нас в стране все же лучше, мы только половине не раскрываем... — Он тяжело вздыхает и ворчливо добавляет: — Если б вы порезвее бегали и больше думали о том, как выполнять свои обязанности, мне не пришлось бы краснеть за вас, как вчера, когда шеф полиции, наш с вами высокий шеф, руг... — Он спохватывается: — беседовал со мной.

Теперь все ясно. Шеф как следует намылил голову нашему начальнику, и, конечно, тот постарался передать эстафету нам — отсюда вся истерика.

Наконец, выпустив пары, начальник переходит к текущим делам. Когда мы узнаем об этих делах, становится ясно еще одна причина устроенного нам разноса: предстоит «работа», которую мы терпеть не можем, — воевать с демонстрантами.

Тихо, тихо! Не вопите, я вам сейчас все объясню. И, как начальник, приведу даже цифры, которые он же нам когда-то приводил. На чужом примере (примеров из практики нашей собственной страны он почему-то приводить не любит, он тоже патриот). Так вот, например, на тысячу горожан в Парнже приходится 7,5 полицейских, в Марселе — 2,4, в Лионе — 1,8... вы можете сказать — зачем больше? Правильно. Если заниматься жуликами, то хватит. А вот если заниматься еще

демонстрантами, пикетчиками, забастовщиками, теми, кто не хочет, чтобы их выкидывали из их лачуг, кто не хочет, чтобы у них под носом строили военные базы, кто не хочет, чтобы их уволили, то на тысячу жителей надо иметь две тысячи полицейских. (Между прочим, мной раз и наш брат — полицейский — устраивает забастовки...)

Поэтому, когда в городе ожидаются очень уж крупные манифестации, мобилизуют все подразделения. Нас в том числе. И вот мы, специально обученные, тренированные, подготовленные для сыска работы — раскрытия сложных уголовных преступлений, надеваем дурацкие каски с забралом, как у средневековых рыцарей, только из плексигласа, берем в руки, как те же рыцари, щиты, а вместо алебард и палиц резиновые дубинки и идем наводить порядок.

На этот раз защищать демонстрантов! Случай редкий, обычно демонстрантов разгоняют. А тут защищать. Но ничего страшного в этом нет. Весь фокус в том, кто демонстрирует и в честь чего.

Если, например, против снижения зарплаты или увольнения, это, конечно, возмутительно, это подрывает устои, и таких надо разгонять. А вот если за правительство «сильной руки», против «коммунистической опасности», за восстановление доброго имени невинного борца за справедливость, брошенного в тюрьму десяток лет назад лишь за то, что помог оккупантам отправиться на тот свет несколько тысяч своих земляков, тогда, пожалуйста, демонстрируйте на здоровье!

Так считает начальство. Но большинство других наших граждан придерживается иного мнения. И те из них, кто поможет, познергичней и погорячей, устраивают свою незаконную контрдемонстрацию и в случае встречи могут обидеть тех, законно демонстрирующих. Вот чтобы такой несправедливости не случилось, нас и мобилизуют, и мы, облачившись в современные рыцарские доспехи, идем валять дурака. Заметьте, что наши обычные «клиенты» — воры, убийцы, грабители, насильники, торговцы наркотиками и другие подоики — демонстраций не устраивают. Они предпочитают действовать индивидуально или небольшими, но высококвалифицированными коллективами. И им нет дела, что мы заняты какими-то манифестантами. Они аккуратно делают свою работу и нас не ждут.

Так удивительно ли, что половина, а то и больше дел у нас остается нераскрытыми, что нашего брата не хватает?

Короче, загружаемся мы в машины и, ворча, едем охранять этих «борцов за справедливость». Борцы выглядят внушительно. Когда мы прибываем на место, то я задаюсь вопросом, кто кого будет охранять.

Здоровенные ребята в блестящих сапогах, в галифе, перепоясанные портулеями, в каскетках, а на рукавах черные

повязки со скрещенными стрелами. Половина, по-моему, уже прилично налилась, хотя еще двенадцати нет.

Может, кто и не заметил, но мой тренированный глаз уже определил, что в карманах, за пазухой, а у кого и прямо в руках есть дубинки, кастеты, велосипедные цепи. Догадываюсь, хотя ручаться не могу, что это не единственное и не самое страшное, чем они вооружены. Это, конечно, безобразие! Но мне-то, в конце концов, какое дело? Поскольку мы прибыли, чтобы этих «беззащитных мальчиков» охранять, то против нас они свои арсеналы применять не будут. А на остальное мне наплевать...

Демонстрация начинается.

Если не считать воинственного и важного вида «демонстрантов», выглядят они довольно жалко. Идут сотни три молодых людей и несут свои черные флаги со скрещенными закорючками и плакаты с надписями: «Африканцы в Африку! Азиаты в Азию!», «Вон из страны иностранных рабочих!», «Иностранцев на фонарный столб!».

Идем пустыми улицами, от окраины к центру. Они по мостовой, мы по бокам, вдоль тротуаров.

Редкие прохожие в нашу сторону не смотрят. Кое-кто отворачивается, находятся и такие, кто сплевывают. Иногда встречаются темнокожие, они торопливо исчезают в подъездах или сворачивают в переулки.

Если вы не знаете, я вам объясню, в чем дело. Читать газеты надо, черт возьми! А не сидеть весь день, уткнувшись в телевизор, и выключать его только когда показывают «Последние известия». Дело в том, что в нашей благословенной стране, где безработных больше, чем у О'Нила веснушек, оказывается, не хватает рабочих рук! Вот такой парадокс. И эти рабочие руки импортируются из разных африканских, ближневосточных и азиатских стран, совсем иных; «руки» приезжают в соглашаются работать на любых условиях, потому что дома у них остались «рты», которые каждый день хотят хоть что-нибудь поест.

В профсоюзы эти иностранцы не объединены, друг друга не знают, всего и всех боятся, и хозяева им весьма довольны. Но недовольны наши собственные рабочие, которые рискуют превратиться в безработных. И те из них, что поглупее, воображают, что вся вина на «иностранной рабочей силе», как пишут газеты. И разные организации, у которых (это даже я понимаю, хотя политикой не интересуюсь, никогда не интересовался, а главное, никогда интересоваться не буду) совсем иные цели, под лозунгом борьбы с «иностранцами-засильниками» сколачивают такие вот банды, мутят воду, провоцируют у всех недовольство и раздражение. А мы все это должны утрясать!

Теперь понятно? Ну, слава богу.

Мы идем по пустынным улицам в центр. Долго идем, у меня уже ноги устали. Чем ближе к центру, тем больше народа. Кое-кто приветливо машет нашим демонстрантам, кое-кто грозит кулаком, но большинство не обращает внимания, у всех свои невыездные дела.

Я уже начинаю зевать от скуки, когда все происходит

Неожиданно, откуда только взялась, улицу перегораживает толпа. Нет, это не толпа, это встречающая демонстрация. И тогда мне становится не по себе. Это тысячи людей, тут и женщины, и совсем юные девчонки, и ребята (тоже не дистрофики), и старики, даже дети есть. У них свои плакаты: «Долой фашистов!», «Долой безработицу, а не иностранных рабочих», «Да здравствуют профсоюзы»... И хотя дубинок у них я не вижу, но вид довольно решительный.

Обе колонны останавливаются в полусотне метров друг от друга. Я замечаю, что наши коллеги из службы порядка напрягаются, застегивают под подбородком ремешки касок, опускают плексигласовые козырьки, берут в руки дубинки. Они в таких делах собаку съели — что-то сейчас начнется.

И начинается.

Неожиданно наши беззащитные мальчики с дикими криками и свистом врзаются в стоящую перед ними толпу и начинают с таким неистовством бить направо и налево дубинками и велосипедными цепями, словно молотят зерно.

Их намного меньше, но перед ними неорганизованный народ, женщины, дети, а главное, никто не привык к дракам. Конечно, здоровые ребята сопротивляются, дерутся, у некоторых есть палки, но все же толпа начинает разбегаться, оставляя на асфальте раненых и огушенных.

В дело вступают полицейские. Они тоже начинают молотить дубинками с криками: «Разойдись! Прекрати беспорядки! Всем расходиться!»

Но что я замечаю — колотят-то они не наших молодцов, а как раз тех, из контрдемонстрации, даже женщинам попадает. А кто сопротивляется — выкручивают руки, надевают наручники и волокут к машинам, которые уже подоспели к месту побоища.

Что ж, правильно, нам приказано защищать «демонстрантов», вот мы и защищаем.

Через пятнадцать — двадцать минут перекресток пуст: ни демонстрантов, ни прохожих, ни, между прочим, наших «мальчиков» (они не дураки, они свое дело сделали, и ждать, пока займутся ими, им не с руки).

Мы подбираем раненых граждан, залечиваем ссадины товарщикам — кое-кому из наших тоже попало в горячке, — заталкиваем арестованных в грузовики и, облегченно вздохнув, покидаем поле брани.

Такая вот полицейская операция. Ворчу. Но ворчать перестаяю, когда на следующий день начальник объявляет нам благодарность и щедро раздает премии. Ого-го, рассуждаю, куда приятней заработать премию, разбив башку несколькими старикам и бабам, чем ничего не заработать (если не пулю), гоняясь за настоящими бандитами.

Так что негоже быть неблагодарным.

И в следующий раз, когда пошлют охранять «демонстрацию», надо поспешить за каской и дубинкой, чтоб не опоздать. Не следует торопиться, когда пошлют на задержание опасных преступников. Здесь поспешность ни к чему. Пусть этим занимаются сознательные граждане из движений «Обеспечение спокойствия граждан во время летних отпусков», «Последний троллейбус», «Последний электропоезд» и других столь же полезных. К сожалению, не получается, приходится работать нам.

— Молодцы, ребята, — начальник доволен. Очередную операцию он начинает в мажорных тонах. — Вы достойно защитили наши демократические права. Никто не имеет права нарушать гражданские права! — Он грозно смотрит на нас. — Никто! И те, кто попытался попортить эти права, помешать мирной демонстрации, получают по заслугам! А те, кто защитил демонстрацию, будут вознаграждены!

Тут-то он и сообщает нам о премиях и благодарностях.

Довольные, идем обедать в ресторанчик и опрокидываем несколько кружек пива.

Весело вспоминаем всю эту бодягу с демонстрациями.

— Хорошо работали ребята! — одобительно говорят О'Нил. — Цепями работали, будь здоров! Обучены.

— Да уж, подхватывает Гонсалес, — прямо скажем, лучше любого хулигана. Слушай, О'Нил, а может, они днем этих девок и детей колошматят, а по ночам, того, на прохожих нацеливаются, а, как думаешь? — Он весело смеется. — Знаешь, так, подходят к какому-нибудь подгулявшему франту, р-р-раз его по башке, бумажничек забирают и вежливенько извиняются: «Ох, простите, мы думали, вы возражаете против наших справедливых лозунгов. Да здравствуют профсоюзы! Чао!» — Он опять начинает хохотать. (Удивительная у него способность смеяться собственным остроумием.)

И тогда не выдерживает даже выдержанный Джон-маленький.

— Все-таки я не понимаю, — говорит, — как такое происходит? С точки зрения закона, это недопустимо. Непровоцированное нанесение тяжких телесных повреждений, превышение необходимой самообороны, оскорбление действием, нападение на малолетних...

— Заткнись, — рявкает О'Нил, — нечего было нарываться. Что искал, то и получил.

Джон-маленький с минуту обиженно смотрит на О'Нила, но потом упрямо продолжает:

— Незаконные действия, а мы их не только не пресекли, а даже поощрили.

— Слышишь,— усмехается О'Нил и поворачивается ко мне,— «незаконные действия»! Уж молчал бы...

Тут мне бы хотелось сделать небольшое отступление, если не возражаете, конечно. Не возражаете? Спасибо. Тогда сообщу вам, что высокое понятие законности при его, так сказать, практической реализации, как бы это поделикатней выразиться, приобретает порой своеобразные формы.

Ведь что главное? Поймать и разоблачить преступника. Так? И здесь цель оправдывает средства. Когда закон помогает — да здравствует закон! Когда мешает — тем хуже для закона.

Вы уже догадались, что примеры я буду приводить не из опыта нашей страны (вы ведь не забыли, что я патриот!), а — правильно — США. И хватит удивляться. Еще Драйзер, их же писатель, сказал: «Говорят, что Америка идет впереди всего мира, но в чем? В преступлении!» (это мне однажды Джон-маленький сообщил). Поэтому легче всего находить примеры по части преступности, а значит, и работы полиции, в жизни США. Уж извините и не ворчите.

Так вот, у них там есть такая форма работы полиции, которая называется «под прикрытием». Если раньше эта работа являлась как бы частью уголовного расследования уже совершенного преступления, то теперь она считается профилактикой. Если честно говорить, то провокацией, тут только три первые буквы общие. А в остальном...

Не верите? Судите сами. Подстрекательство, использование подставных лиц, вовлечение разными хитрыми путями в преступление потенциальных преступников или рецидивистов, которые это преступление совершать и не собирались. А то еще привлекают разных случайных людей, чтобы изображали «профессиональных свидетелей».

Иной раз полицейские агенты переодеваются бродягами, ивалидами, курьерами, дворниками, таксистами. Им помогают театральные гримеры, режиссеры, косметички. Прямо свой Голливуд! Потом эти актеры становятся «жертвами» преступления, которое сами же спровоцируют, свидетелями.

Один играет подвыпившего кутилу, который все время лезет за бумажником, другой таксиста, пересчитывающего выручку, третий тащит покупки из магазина. Вокруг в толпе шишряет целая команда переодетых инспекторов.

В Америке и масштабы американские. Один раз нью-йоркская полиция ни много ни мало создала целую фиктивную автотранспортную компанию во главе с бывшим преступником. Другой раз еще почище: приехали в Штаты члены подпольной

мафии, так, чтобы их задержать, полиция приняла активное участие в организации подпольного концерна игорных домов на Аляске. Ничего себе? Да?

Или еще так: выявляют какого-нибудь жулика — растратчика, поддельвателя чеков, промышленного шпиона, собирают на него улики, потом приглашают голубчика и говорят: «Вот смотри, лет на десять — пятнадцать тянет». Когда он едва в окно не выпрыгивает со страху, ему обещают укрыть его от суда, если он будет выполнять задания (вроде наших осведомителей, только не мелкого пошиба, а вполне презентабельных, даже входящих в «общество»). Такой агент остается служить в фирме и начинает привлекать к своей незаконной деятельности других сотрудников. Потом всех накрывают. Агент выходит сухим из воды, доверившихся ему лопухов сажают за решетку, полиции воздают по заслугам. Такая вот невинная форма работы.

Ловят там, конечно, и нашего брата — полицейского, есть у них «Отделы по внутренним вопросам». Как ловят? Да очень просто. В «такси» кто-то якобы оставил по забывчивости ценную вещь, «шофер» сдает ее в участок. Или кто-то передает постовому полицейскому «найденный» бумажник. Что дальше? Сдадут наши парни эти находки куда положено, или прикарамят?

Вся эта система, конечно, приносит полицейскому начальству свои плоды. Но как считают ученые-криминологи, это палка о двух концах. Преступления начинают совершать люди, которые при других обстоятельствах на это не пошли бы. (Так что, перехитрив саму себя, полиция вроде бы содействует росту преступности.) Бывает, что никакого преступления не было, а представители полиции утверждают, что было, — ведь кроме самого полицейского, истцов-то нет. Это приводит к фальсификациям, ложным свидетельским показаниям. Возникает и по-научному называемая «непредвиденная преступность» — это когда сотрудники полиции, действующие «под прикрытием», под чужой личиной сами становятся жертвами. И уж совсем скандал, когда быстро приспособившиеся преступники начинают выступать в роли сотрудников полиции, работающих «под прикрытием».

Ну, как мое «отступление»? Чем я хуже нашего ученого Джона-маленького? То-то! Я тоже кое-что знаю, уж поверьте...

Если быть откровенным, мы тоже продельваем такие фокусы. Но это между нами. Помню, как однажды мы ловили брачную аферистку. Посмотришь — элегантная молодая дама, высокая, красивая, с грустинкой в глазах: еще бы — недавно похоронила мужа.

Внимание она ни на кого особенно не обращала, снова выйти замуж не спешила, судя по ее словам, покойный супруг оставил ей достаточное наследство.

И нас-то уж она, конечно, не заинтересовала, если б со-

вершению случайно не выяснилось, что умерший супруг был у нее не единственным. Это обнаружила страховая компания: там что-то неясное оказалось с ее предыдущей фамилией. Страховые компании, как известно, работают, словно бульдоги, — уцепятся, уже не вырвешься. Стали копать, и выяснилась интересная картина. Эта очаровательная вдова оказалась в столь печальном положении седьмой раз! Она похоронила семь мужей. Конечно, у людей устойчивые вкусы, и если уж кто-то влюбляется не один раз, то, как правило, в тех, кто чем-то схож. А эта профессиональная жена оказалась прямо-таки маньяком. Единственное, что отличало ее мужей друг от друга, были внешность, возраст, национальность, в общем, пустяки. Зато все они были люди с достатком, все любили выпить, имели не очень здоровое сердце и вскоре после свадьбы застраховывали свою жизнь в пользу жены на несуразно большую сумму. Видимо, это обстоятельство, хотя медики на этот счет ничего не говорят, приводило счастливого супруга к скорой смерти от сердечного приступа.

Безутешная вдова меняла после этого города и веси (дважды даже подданство), фамилию и, в конце концов, не в состоянии выдержать одиночества, снова выходила замуж.

Не могу сказать, чтоб остальные страховые компании ничего не предпринимали. Но женщины их сумела перехитрить. Кроме последних. То ли поумней там были детективы, то ли сумма страховки уж очень велика, то ли совершила она, наконец, какую-то ошибку (преступник обязательно рано или поздно совершает ее), но, как видите, до истины докопались, сообщили и нам.

Долго думали, как быть. И кончилось тем, что Джон-большой, Джон Леруа, ваш покорный слуга, стал восьмым претендентом на руку этой милой дамы по имени Алиса (последнему имени, так как если б я стал перечислять все предыдущие, мы бы и завтра не кончили).

Между прочим, это задание я выполнял с особым удовольствием. Несмотря на столь многочисленные и частые потери близких, следы горя не испортили ее лица. Нет, честно: очаровательная женщина.

Познакомиться труда не составило. Это произошло, как вы понимаете, совершенно случайно. Она ехала на своей гоночной «мазератти» (над которой, зайдя ночью в ее гараж, наши ребята слегка поколдовали), и вдруг — чих-чих — машина останавливается. В моторе она ничего не понимает, и если б его вообще вынули, то наверняка не заметила бы. Стоит расстроенная, кусает губу.

И тут как раз я проезжаю мимо на «своем» роскошном «крайслере». (Эх, мне бы такой!)

— Ах-ах, у мадам беда? Я могу помочь? Что случилось?

Через пять минут «мазератти» в порядке, я одарен сияющей улыбкой и согласием в честь возвращения машины в строй выпить рюмку в дорогом баре.

Угощаю я ее щедро, не кривлюсь, глядя на цены в меню (пусть кривится бухгалтер нашего управления, когда прочтет мой финансовый отчет).

Я ей явно нравлюсь. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Вы меня видели? Хотя бы на фотографии? Нет? Поверьте, много потеряли. На меня все девушки заглядываются. Она не исключение.

Но когда она узнает, что у меня крупное дело в ФРГ, отель в Италии и магазины во Франции, а главное, моя внешность богатыря и молодца, увы, обманчива, поскольку я надорвал сердце, занимаясь в свое время чрезмерно спортом, интерес ее возрастает многократно.

Ну, что вам рассказывать дальше? Вы же прекрасно все знаете. Мы встречаемся вечером, потом на следующий день, заходим в рестораны и кафе, на третий день я остаюсь у нее ночевать, на десятый — мы решаем связать наши судьбы. Через две недели мы без всякой пышности и торжеств (по ее настоянию, все же траур еще длится) регистрируем наш брак (я на чужое имя и по подложному паспорту).

Свадебное путешествие, которое мы совершили на машине, проехав Францию, Италию, ФРГ, Швейцарию и Бельгию, было чудесным и не очень дешевым (плевать я хотел на бухгалтера нашего управления!). Однажды мы чуть не попали в аварию, и она, как практичная женщина, предложила застраховать наши жизни. Я, разумеется, в ее пользу, она — в мою.

С этого момента каждый раз, когда я пил утренний кофе, предобеденный коктейль или пятичасовой чай, у меня мороз пробегал по коже.

И потом, как долго это могло продолжаться? Ей было хорошо со мной, вдруг она захочет остепениться? Оставить свой кладбищенский бизнес?

Но когда нам становится известно, что она потихоньку приобрела себе виллу в Новой Зеландии и перевела туда, как выяснилось, немалый капитал, мы понимаем, что роковой (для меня) час приближается.

Замечу, что все это время я неоднократно заходил к «врачу», а однажды даже пригласил его на дом, где он осматривал меня в ее присутствии. Озабоченно качал головой, цокал языком и выписывал разные лекарства. Наконец, чтобы ускорить события, он посоветовал мне на два-три месяца залечь в кардиологический санаторий где-нибудь в горах. Алиса такой срок ждать, видимо, не собиралась и на то, что господь призовет меня к себе, не полагалась. Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай.

И вот настал ТОТ день. День, к которому я столько готовился и которого под конец жутко боялся. Я вдруг сообразил, что ее-то уличат, осудят, но не будет ли это все происходить на основании моей насильственной кончины? Пусть уж лучше живет себе в Новой Зеландии и горюет по усопшим мужьям, оставив в дураках правосудие, чем правосудие это торжествует за мой счет. Дудки!

Но, прямо скажем, мысли эти пришли мне в голову несколько поздно. В какой-то момент мною овладело жгучее желание все ей выложить и обменять ее спасение на половину ее капитала, а то и на спокойную жизнь с ней же в далеких краях. А что?

Но все-таки чувство долга,— а скорей всего, благородный инстинкт самосохранения,— взяло верх. Последние дни я плохо спал (вдруг она изменит метод и прирежет меня во сне?), плохо ел, нервничал. Еще год такой жизни, и я таки нажил бы себе ту сердечную болезнь, о которой твердил ей.

Поразительно, однако, как все просто кончилось. Она уж слишком верила в себя, не сомневалась в своей звезде. Еще бы, семь удачных дел...

Короче говоря, ужинаем мы с ней в ресторане (Гонсалес сидел за соседним столиком; нас всегда незаметно сопровождал кто-нибудь из отдела), и прямо там, в ресторане, на виду у всех (правда, когда притушили огни по случаю танго) выпала из перстня в мой бокал порошок, пока я выходил в туалет.

Гонсалес, который все это видел, предупредил меня в вестибюле, когда я возвращался в зал.

Дальше все было делом техники.

Сев на место, я предложил ей:

— Давай обменяемся бокалами и выпьем до дна. Согласно поверью, мы узнаем мысли друг друга!

Как, вы думаете, она прореагировала? Удивительная женщина! Такого хладнокровия, сообразительности, быстроты действия я мало у кого встречал. Она мгновенно попыталась сорвать с руки кольцо и одновременно смахнуть со стола бокалы. А? Ну не молодец?

Потом, уже на следствии, она призналась, что не успел я закончить фразу, как она все сопоставила, вспомнила все мелкие ошибочки и промахи, которые я за эти месяцы совершил и которые тогда проходили незаметно, сообразила, кто такой Гонсалес и зачем он выходил, поняла, что ей надо делать, и начала действовать.

Но поскольку мы все же поопытней и лучше тренированы, ничего у нее не получилось. Я как в тисках зажал ее безымянный палец с кольцом, Гонсалес успел подхватить мой бокал; подбежали официанты...

Чтобы не устраивать лишнего шума, мы постарались по-быстрей вывести мою нежную супругу, надели на нее наручники и увезли в управление.

Допрашивали ее многие — и начальник, и следователи, и я. Улучив минуту, когда мы остались вдвоем, она сказала мне, ласково улыбаясь:

— Скольких, Норман (Норманом я был для нее), мне удалось отправить на тот свет! И я не жалею, право же, они большего не заслуживали, никчемные людишки, недостойные жить на земле. А вот ты мне пришелся по душе, с тобой мне было по-настоящему хорошо, впервые в жизни. Показалось мне в начале что-то подозрительным — я ведь никому не верила. Потом, признаюсь тебе, увлеклась. Потому и бдительность, как говорится, потеряла. Жаль, могла бы быть с тобой счастлива, жаль...

— Так чего ж ты, дура,— говорю,— отравить меня собралась?

— Как чего,— и смотрит на меня своими большими добрыми глазами,— привычка, Норман. От привычек знаешь как трудно отделаться... Ладно, прощай, не поминай лихом.

Тут вошел народ, и разговор наш поучительный прервался. Но с тех пор я остерегаюсь слишком прочно привыкать к чему-нибудь.

Суд над ней обещал быть сенсационным, газеты заранее облизывались и готовили репортажи.

Но суд не состоялся. Она отравилась накануне, насыпав себе в чай тот самый порошок, который как-то сумела сохранить.

Ее похоронили на тюремном кладбище, имущество конфисковали в пользу государства, а надзирательницу, которая обыскивала ее при доставке в тюрьму, уволили.

Глава VI. «ДЕЛО ЖУРНАЛИСТОВ»

Дело это в свое время вызвало сенсацию.

Я имел к нему кое-какое отношение. Поэтому расскажу о нем поподробнее.

Мы думали, что та история с демонстрацией и доблестные подвиги моих коллег во время оной преданы забвению. И вспоминает о ней изредка только этот упрямый Джон-маленький, который никак не хочет понять, что полиция, как армия, обязана выполнять приказ, а уж какой это приказ — правильный, неправильный, законный, незаконный,— не наше дело. На то начальство и существует, чтобы решать.

Я заметил, что отношения между О'Нилом, «стрелой» Джоном-маленького, и Джоном-маленьким испортились окончательно. О'Нил все время шпыняет своего младшего партнера, хамит

ему. Он подозревает почему-то, что Джон-маленький тайно ведет счет его, О'Нила, промахам, записывает и когда-нибудь доложит начальнику. Все это, разумеется, чепуха, но подготовка у Джона-маленького получше, чем у его «стрелы», и, если уж на то пошло, соображает он лучше.

Да, так вот, оказывается, не только Джон-маленький не забыл историю той демонстрации. Особенно вредным оказался журналист одной, как принято выражаться, левой газеты «Единство» по имени Карвен. Этот Карвен, эдакий борец за справедливость, прямо-таки ненавидел полицию. Так, во всяком случае, нам казалось. Правда, были случаи, когда он отмечал заслуги полиции в розыске или аресте какого-нибудь преступника. Но что ж тут особенного? А вот поливать нас грязью за то, что мы следим за порядком, сажаем в тюрьму смутьянов и разных там горлопанов, которые стремятся этот порядок нарушить, — свинство.

Поэтому мы и считали его своим врагом. Не только его, конечно. Было немало журналистов, особенно в этих самых «прогрессивных», точнее, левых, социалистических, коммунистических газетах, кто отравлял нам жизнь — придирался, издевался, когда мы ошибались, возмущался, что мы слишком долго ловим какого-нибудь убийцу...

Но они это делали так, эпизодически, по конкретному поводу. А вот Карвен занимался своим делом основательно, вел целую летопись, приводил цифры (и всегда точные, мерзавец), факты, имена. Не раз пытались его привлечь за дезинформацию, клевету. И каждый раз срывалось. Все, что он утверждал, он убедительно доказывал и судебные заседания использовал, чтобы лишний раз нас в чем-нибудь обвинить.

Между прочим, с не меньшей яростью нападал он на преступность. И опять не по мелочам, а, как выражается наш начальник, «глобально». Объектом его нападок являлась организованная преступность.

И сопоставлял. Мол, организованных преступников полиция и суд милуют, а отыгрываются на мелюзге.

Вся, мол, страна поделена на сферы влияния между бандами. Азартные игры, проституция, торговля детьми, контрабанда, торговля наркотиками, рэкет, похищение людей с целью выкупа, убийства по контракту, подпольные лотереи, ростовщичество... Да разве все перечислишь! А доходы миллиардные. Я здесь не буду приводить его цифры по нашей стране (я — патриот!). А все по той же Америке. Этот Карвен все время толковал в своих статьях, что Америка самая коррумпированная, самая преступная, самая бандитская страна и т. д. и т. п.

Вот, мол, там мафия за год заработала 48 миллиардов долларов, почти столько же, сколько самая крупная промышленная корпорация США «Эксон».

А поскольку налогов, как известно, бандиты не платят, то никакие автомобильные или нефтяные концерны с ними тягаться не могут. Деньжата свои мафия вкладывает в законный нормальный бизнес, а мафиози становятся уважаемыми бизнесменами. Этот Карвен утверждал, что в 1977 году организованные преступники владели тысячами законных фирм с миллиардными годовыми доходами.

Не все в Америке знают, как зовут президента, но все знают знаменитых бандитов, газеты их прославляют, телевидение показывает, журналы печатают их мемуары (у нас в стране та же картина, хоть масштабы и поскромней, впрочем, тсс! Я патриот!). Помните, я упоминал такого короля гангстеров, ныне, слава богу, покойного, Аль-Капоне. Так вот, за один год газеты посвятили ему без малого 18 миллионов столбцов на своих страницах.

«Хорошо, а как со всем этим борется полиция, суд?» спрашивал этот чертов Карвен. И опять приводил кучу цифр и фактов. Вот полиция Буффало арестовала главарей преступного мира, собравшихся на тайное совещание. Они в один голос заявили, что это был «холостяцкий обед». Действительно, ни одной женщины не присутствовало. И суд всех отпустил «за недостатком улик». Другой раз судили президента одного из банков в штате Джорджия. Он растратил сущую безделицу — 5,5 миллиона долларов. Ему по тамошним законам полагалось 300 лет тюрьмы! А дали десять. Между прочим, в тот же день тот же суд влепил по шестнадцать лет трем мальчишкам, которые «облегчили» другой банк на четырнадцать тысяч долларов. (Гонсалес, который любит всякие подсчеты, вычислил, что, если б тех ребят судили по той же мерке, что и президента банка, им дали бы по полторы недели тюрьмы!)

И пошел, и пошел, мол, полицейские все взяточники, воюют только против прогрессивных элементов, против левых организаций, а не против настоящих преступников. И тут уж берется за нашу благословенную страну и опять вываливает кучу цифр и фактов.

Вот так он вцепился в историю с демонстрацией.

Во-первых, он опубликовал целое исследование про этих «тихих» демонстрантов с кастетами за пазухой. Что они неонацисты (так их теперь называют), что их цель скинуть правительство, пересажать коммунистов, закрыть профсоюзы, что поклоняются они Гитлеру, что они имеют целые арсеналы. Их надо запретить, организацию распустить, а не защищать.

И взялся за нас. Что это за полиция, которая защищает преступников и избивает мирных граждан! Где справедливость? Где порядок?

Вот пример, мол, та демонстрация. Против нее протестовали честные граждане. Шли мирно, спокойно. А эти громилы сами спровоцировали побоище. Так мало того, что полиция не помешала им, она еще встала на их сторону...

«Нападения полицейских с дубинками на мирных демонстрантов,— писал Карвен,— неповинных прохожих, журналистов, фотографов и просто случайно подвернувшихся жителей города были предумышленными и бессмысленными». Это «полицейские беспорядки!», это «разгул полицейских дубинок!». И все это при молчаливом, а в ряде случаев и явном одобрении руководства полиции...

(Вообще я вам скажу, мне Джон-маленький как-то показал — к чему бы это? — журнал «Криминалистик» из ФРГ. Так там рассказано, что однажды среди молодежи провели анкету, мол, как она относится к деятельности полиции. Ох уж лучше б не проводили! Молодые, они за словом в карман не лезут и прямо шпарят в анкетах про нашего брата: «наемные охотники», «гангстеры», «громилы», «блустители капитализма». 94% отвечавших на вопросы анкеты твердо убеждены, что основная функция полиции — это борьба с различными беспорядками: демонстрациями, митингами, маршами протеста. Слава богу, что хоть 6% посчитало, что главная задача полиции — борьба с преступностью. Однако вернусь к Карвену).

Карвен достал фотографии, на которых запечатлены довольно невыгодные для нас моменты, в том числе О'Нил во всей своей красе, проламывающий голову какой-то старухе. Ну и что? Ее небось давно на том свете с фонарем ищут!

Старуха выжила, и вообще на этот раз обошлось без покойников, но дел мы все-таки натворили.

И когда этот чертов Карвен вытащил все на обозрение народу, да еще с жуткими фото, поднялся большой шум. Многие организации стали собирать подписи протеста, устроили демонстрации перед парламентом, потребовали наказать виновных.

Даже наши благопристойные газеты и те что-то провякали, что так, мол, не годится.

И начальство вынуждено было принять меры. Кого-то перевели в провинцию, кому-то объявили порицание, кого-то оштрафовали (есть у нас такое наказание в полиции, не знали?), в том числе О'Нила. А О'Нил, наверное, любое наказание мог бы перенести, но когда дело касается его кошелька, он готов защищать его ценой жизни (не своей, конечно).

— Ну, ладно, ну, я ему припомню, ничего, я ему покажу,— бормотал он себе под нос.

Сначала я думал, что он имеет в виду нашего начальника или самого шефа, но, оказалось, что Карвена.

— Это он все затеял,— шипел О'Нил.

Уж не знаю, у кого и как возникла в нашем «Черном эскадроне» эта идея, но мы решили заткнуть этому Карвену глотку.

В конце концов, рассуждали мы, «Черный эскадрон» существует, чтобы защищать полицейских, коль скоро правительство не в состоянии этого сделать. Мы убиваем преступников, чтобы они не убивали нас.

Карвен именно это и делает. Просто он убивает нас не физически, а морально («И материально!» — вставляет О'Нил, который никак не может забыть своего штрафа). А раз так, он подлежит ликвидации!

Конечно, были попытки привлечь Карвена к суду за клевету. Но ничего не получилось — на все у него были доказательства, фото, свидетели. И даже благосклонные к нам и не благосклонные к Карвену суды ничего не могли сделать.

...Мы собрались, наша группа (мы все поделены на группы, и входят в каждую не обязательно сотрудники одного и того же отдела, это просто так получилось, что мы с О'Нилом оказались вместе) — О'Нил, я, Лонг (он из другого города) — и прибывший для руководства операцией какой-то неизвестный мне, судя по всему, высокий полицейский чин, тоже из нашего «Эскадрона». Вообще мы предпочитаем, чтобы акции выполнялись не местными полицейскими. Но в этом случае О'Нил настоял на своей (и, следовательно, на моей, он теперь не может, видите ли, без меня!) кандидатуре.

Мы собрались вечером. Где? Правильно, в небольшом загородном ресторанчике, где нас не знают.

Ресторанчик в горах, он повис над долиной, вдали за синие горы закатывается красное солнце, внизу туман, черная лощина... Красота! Нет, я определенно романтик, как красиво все описываю. А где она, красота? Вот я немногим больше тридцати лет живу на свете и что-то особой красоты не вижу. Дерутся люди, ссорятся, стараются раздавить других, чтобы самим выше подняться. Все продается, все покупается, была б цена подходящая. И крови кругом много, и грязи хватает, а веночков из незабудок я что-то не видел.

Может быть, конечно, профессия свой отпечаток накладывает, все же я полицейский, а не певец в церковном хоре. Но вот если взять в пример Джона-маленького. Он ведь тоже полицейский, а рассуждает по-другому. Помните, я вам обещал рассказать, что он о своей школе говорил? Не помните? Ну, неважно, я все равно расскажу.

Школа у них была за городом. Аккуратные такие домишки, вспоминает, кирпичные, красные, кругом лес. Учились там и девушки, у них, в отличие от долгогривых курсантов-мужчин, волосы были коротко подстрижены. Джон-маленький поступил

в школу, когда ему было семнадцать лет (ребят с семнадцати принимают, а девочек — с восемнадцати с половиной почему-то, хотя, по моим личным наблюдениям, женщины умеют раньше нас). И вот еще интересно: минимальный срок службы после школы для мужчин определен в шесть лет, а для женщин — в девять!

Занимались серьезно. Ну, там всякие теоретические дисциплины, стрельба, вождение машины, спортивная подготовка, строевая, разминирование в городских условиях, дзюдо.

Занятия интересные. Вот такое, например. Курсантам сообщается о каком-нибудь «преступлении», и они должны его расследовать сами — найти украденное, установить связи, за чем-то следить, кого-то задержать. «Преступник» — тоже курсант. Причем этот «преступник», «свидетели» по ходу дела получают от руководителя занятий разные инструкции, меняющиеся в зависимости от хода расследования. Закачивается занятие заседанием суда, чтобы курсант понял, где с умом поступил, а где свалил дурака.

Экзамены тоже интересные. Скажем, Джон-маленький получил пятерку (заметьте, не за стрельбу, а за сообразительность) на таком вот экзамене. На киноэкране «обстановка»: из портового пакгауза вор уносит краденое. Полицейский, то есть в данном случае Джон-маленький, видит это, кричит «стой», выхватывает пистолет и... не стреляет (а стреляют из светового пистолета, который проектирует на экран «зайчика»). Вор убегает. Почему же Джон-маленький не стрелял? Оказывается, в полутьме, царившей в «порту», он усмотрел на экране за спиной вора железнодорожные цистерны с бензином. Значит, промахнулся он, произошел бы взрыв. Все действие на экране длилось лишь несколько секунд, но он сообразил. Вот и получил пятерку. Много там разных предметов изучают, необходимых полицейским. Еще такую науку проходят: как разгонять демонстрации, арестовывать ораторов на митингах, освобождать завод от пикетчиков. Занятия проходят с водометами, газовыми гранатами, стрельбой пластиковыми пулями. Устраиваются самые настоящие штурмы зданий, атаки со щитами, касками, пуленепробиваемыми жилетами, противогазовыми масками.

На экране демонстрируются снятые со стометровой высоты городские кварталы, и курсанты должны определить, где ставить заграждения, если демонстрация пойдет, скажем, к зданию ратуши, а где заблокировать автомобильное движение, если таксисты устроят, как в Монреале во время Олимпиады, «ползучую» забастовку и начнут разъезжать по городу со скоростью пять километров в час, создавая пробки.

Раньше в полицейских школах учили борьбе с преступниками, теперь — с демонстрантами тоже.

— Значит, все демонстранты — преступники, — резюмировал О'Нил, послушав Джона-маленького.

Тот посмотрел на него неодобрительно, но промолчал. «Стрела»-то О'Нил, а Джон-маленький уважает дисциплину. У нас он стажер. Но после стажировки он сдаст еще экзамен, получит звание старшего инспектора, и тогда не исключено, что О'Нил попадет к нему в подчинение. И уж тут туго придется О'Нилу, потому что как ни уважает Джон-маленький дисциплину, но закон он уважает еще больше. Уж кто-кто, а он никогда не поймет, что такое «Черный эскадрон»... Но я отвлекся.

Значит, сидим мы в том окраинном рестораничке: я, О'Нил, Лоуг и прибывший нами руководить Высокий чин (я его так и буду называть, потому что спрашивать имени, если их не говорят, не принято, а погои на нем нет).

Как будем осуществлять акцию? Конечно, Карвен не миллионер, не депутат и не главарь мафии, а потому личной охраны у него нет. Но все же он понимает, что к чему, и один по ночам пустынными улицами не ходит, дверь даже полицейским, не вызвав предварительно своего адвоката, не откроет и наверняка носит оружие.

Зато у него есть любимая девушка, она живет в уединенном домике недалеко от города, и хотя не часто, но он приезжает к ней провести пару часов. Вот тут мы и должны осуществить нашу операцию.

Совершить наезд на его машину, когда он будет ехать к своей девушке, нереально. Во-первых, на шоссе днем, а он по вечерам не ездит, оживленное движение, во-вторых, у него в машине телефон, и если он что-либо заподозрит, то наверняка позвонит друзьям, в газету да и в полицию, в-третьих, вообще «наезд» стал настолько привычным способом ликвидации кого-нибудь, что все его опасаются, все о нем знают и знают, как его избежать.

Остается одно. Накрыть его у девушки. Здесь опять возникают трудности. Посещает он ее нечасто и в самое неожиданное время. Не можем же мы устроить там засаду и ждать неделю и полмесяца, пока он появится! Значит, надо вызвать его туда. Как? Сами понимаете, это может сделать только сама девушка. Но это рискованно. Допустим, мы к ней влопимся, угрожая, заставим его позвонить. Но захочет ли она, а вдруг, жертвуя собой, откажется или крикнет в трубку про опасность. Кроме того, он все время настороже, что-нибудь не так в ее голосе, и он все поймет. Наконец, он просто может приехать ие один.

Ломаем голову и так и эдак.

Выпили уже бочку пива, наверняка, а решения так и не находим.

Наконец, его находит Высокий чин.

— Вот что, в их отсутствие проникнем в дом, установим микрофоны и как только, благодаря им, узнаем, что он в доме, примчимся.

— А куда будет поступать сигнал? — спрашиваю. — Ведь мы же не сидим все время по домам.

— Поступать будет к О'Нилу и Леруа и домой и на службу. Уж в одном из четырех мест он вас застанет? А мы с Лонгом будем ждать вашего звонка в отеле. Ну, в крайнем случае кто-то будет отсутствовать, так отправимся втроем или вдвоем.

Мы ничего не понимаем, и он объясняет. Микрофон будет реагировать только на голоса девушки и Карвена, знаете, как эти современные замки, которые открываются только на голос хозяина, даже если он простужен или пьян вдрызг. Это исключает сигнал, если в доме посторонний, потому что при звуке третьего голоса сигнал не срабатывает. Микрофон, услышав голос Карвена, передает приказ красной лампочке у уличного поста. Она зажигается. Чтобы у патрульного не возникло подозрений, ему сообщают всю систему, только говорят, что микрофоны установлены в кабинете местного ресторатора, которого мы подозреваем в контрабанде спиртным.

Мы, действительно, побывали у него ночью, установили микрофоны, но не включили их.

Увидев, что лампочка зажглась, патрульный тут же звонит мне или О'Нилу на службу или домой и называет условный пароль. (На всякий случай, а то гангстеры давно уже научились подслушивать служебные разговоры полиции.) Мы немедленно звоним в отель Высокому чину и Лонгу, нашим сообщникам (извините, я оговорился, я хотел сказать, товарищам), и выезжаем.

Есть, конечно, риск, что, пока доберемся — это даже с сиреной минут пятнадцать — двадцать, — Карвен уедет или кто-то еще войдет в дом. Может оказаться, что мы с О'Нилом будем где-нибудь на задании. Но всего не предусмотреть. На всякий случай, уходя, переключаем наши телефоны на дежурного и сообщаем ему, где находимся — пусть вызывает. Подробностей не говорим, да ему наплевать. Таких кодированных и некодированных звонков поступает в управление десятки в день.

Опасения оказались напрасны. Все прошло как по маслу. Или Высокий чин такой умный и опытный, или просто повезло. Через несколько дней после нашего совещания мы с О'Нилом, дождавшись, пока девушка уехала на работу (библиотекарем она служила), спокойно вошли в дом, там замок ногтем можно открыть (и понятно, почему — воровать-то нечего было, бедновато она жила), и расставили наши микрофоны по всем комнатам, даже в ванной, даже в туалете. Спрятали надежно, это мы умеем, научились (хотя я сильно сомневаюсь, что залезать в чужие квартиры и расставлять там тайные под-

слушивающие устройства входит в функции, а главное в права полиции).

Проходит еще три дня, мы с О'Нилом сидим в кабинете, Джон-маленький на задании, а Гонсалес на обеде.

Вдруг звонок. Патрульный равнодушным голосом вызывает пароль — эти загородные полицейские все какие-то коровистые, им все все равно, даже разоблачение крупного контрабандиста спиртным в их родном городке. Ну и хорошо! Какой-нибудь чересчур активный и любознательный нас бы не устроил.

Я перезваниваю в отель, и выясняется, что Лоиг на месте, а Высокий чин, как назло, отсутствует.

Короче говоря, через десять минут мы мчимся на машине-ловушке по загородному шоссе. Вы не знаете, что такое машина-ловушка? Это такой древний драндулет, которых уже давно не выпускают, но стекла у него пуленепробиваемые, он весь напичкан радиопередатчиками, телефонами, радаром, сиренами, и мотор у него, как у гоночной машины — можно выжать 160—180 километров в час. Это как раз та скорость, с какой Лоиг ведет машину. Он, конечно, ас.

Невдалеке от дома, за лесочком, останавливаемся. Час дня, все обедают, ни одной собаки, ни одного человека, ни одной машины.

Мы спокойно подходим к дому, к счастью, он в лесу, перемахиваем через жалкий заборчик с той стороны, где нет окон, потом прокрадываемся к терраске и, сразу взбежав по ступенькам, врываемся в дом. Дверь даже не была закрыта. Легкомысленный он все-таки человек, этот Карвен. Или наивный?..

Они сидят в столовой и обедают. Обед скромный, без пива и вина. Он снял пиджак и кинул на диван. По его взгляду, брошенному на пиджак, я сразу соображаю и в один прыжок оказываюсь возле дивана. Все правильно — из кармана пиджака я вынимаю пистолет. Нет, он действительно наивный, Карвен, — из такого пистолета можно убить только комара, да и то не малярного.

Лоиг ас не только в автомобилевождении, но и в стрельбе. Ни слова не говоря, он выхватывает револьвер с глушителем и выпускает всю обойму в Карвена.

О'Нил остается верен себе, он любит свидетелей тогда, когда они помогают ему раскрывать преступления. Ему. А не тем, кто вскоре придут в этот домик.

Он тоже вынимает пистолет (и тоже с глушителем) и тоже выпускает всю обойму в девушку. (Вот к этому я никак не могу привыкнуть, нехорошо это, все-таки женщина...)

Затем мы быстро забираем наши микрофоны и выходим. О'Нил, как всегда, выходит последним, на минуту задержавшись, зачем?..

На шоссе и вообще по-прежнему кругом ни души. Мы добегает до нашей машины и теперь уже медленно (зачем привлекать внимание?) возвращаемся в город.

В отеле нас ожидает Высокий чии. Он сокрушается, что не смог принять участие в акции, но хвалит нас за ее блестящее проведение.

Мы все довольны (хотя, честно говоря, у меня перед глазами стоит лицо той девушки, она-то и не при чем). Однако на следующий день наше хорошее настроение начинает гаснуть.

Во всех газетах, по радио, по телевидению сообщается о «зверском убийстве» журналиста Карвеи и его жены, совершенное «Черным эскадроном» (карточка с черепом и скрещенными костями была найдена возле трупов). Высказываются разные предположения, руководители полиции (в том числе Высокий чии) клянутся, что преступники будут найдены, и действительно, вся полиция (в том числе мы с О'Нилом) поднята на ноги. Газета «Единство» обещает награду каждому, кто поможет раскрыть преступление.

Но возмущение всеобщее — демонстрации, запросы в парламенте, протесты, письма, гневные статьи в печати.

Большинство подозревает тех самых молодчиков, демонстрацию которых защищала полиция и из-за которых заварилась вся каша. А кого же еще? Не полицию же, черт возьми, подозревать?

Были и другие предположения. Карвеи — то, что называется «разгребатель грязи», он написал немало разоблачительных статей, сделал сенсационные репортажи о всяких преступниках, о чиновниках-взяточниках, о парламентариях-демагогах, о бизнесменах-жуликах... Так что хватало народу, у кого был на него зуб.

— Это черт знает что! — возмущается наш начальник на очередной оперативке. — Преступники обнаглели! Известно ли вам, — кричит он так громко, что все мы вздрагиваем и просыпаемся, — известно ли вам, что за десять — двенадцать лет количество убийств в нашей стране возросло. А вы куда смотрите? Вот вы, О'Нил? И вы, Леруа? И вы? (И он тыкает пальцем еще в полдюжины присутствующих.) Куда вы все смотрите, хотел бы я знать!

Когда оперативка заканчивается, начальник приказывает мне и О'Нилу остаться и говорит:

— Это убийство возмутительно, но сдается мне, что Карвеи был преступником! Да, да, не возражайте. Глубоко законспирированным преступником. Эти журналисты ого-го! Раскапывал всякие делишки и шантажировал. А может быть, и налетчиком был. Почему нет? У вас что, есть доказательства обратного? Нет? Так помалкивайте (что мы и делаем в течение всего этого монолога).

Начальник некоторое время задумчиво смотрит в окно, потом продолжает:

— Конечно, действия этого таинственного «Черного эскадрона» преступны и лично мне глубоко противны. Но все-таки нельзя отрицать, что он нам, полиции, здорово помогает. Преступники его боятся больше, чем нас.— На лице его появляется одобрительная улыбка, но он тут же спохватывается и гневно орет: — Но мы рано или поздно доберемся до этого «Черного эскадрона»! Мы его выведем на чистую воду! Никому не позволено в нашем демократическом государстве попираť права человека. Это может делать только полиция,— он кашляет, мнется, — то есть, я хочу сказать, защищать права человека. Мы, мы с вами, их должны защищать, а не какой-то «Черный эскадрон».— Начальник делает паузу и с присущим ему чувством логики добавляет: — Но конечно, спасибо ему, добро пожаловать каждому, кто помогает нам бороться с преступниками и (ну, конечно же!) подрывными элементами!

Почему он нас задержал в кабинете? Чтобы высказать одобрение «Черному эскадрону»? Но почему нас? Ои что, догадывается?

Между прочим, увлекшись описанием собственных подвигов, я как-то забыл вам сообщить, что работа по борьбе с преступностью идет. Наш отдел, в частности, осуществил несколько успешных операций по задержанию банды иалетчиков, ограбивших банк, группы подпольных букмекеров, убийцы, охотившегося за шоферами такси...

И «Черный эскадрон» тоже не дремал. То и дело газеты сообщали о трупах, найденных в глухих дворах, заброшенных каменоломнях, в лесу, на пустынных пляжах.

Все это были или скрывавшиеся преступники, или подозреваемые в преступлениях, но ходившие на свободе за иеимением против них достаточных улик. С точки зрения закона. Но не с точки зрения «Черного эскадрона». И поэтому эти неосторожные убийцы и грабители, вместо того чтобы спокойно доживать свой век в уютных тюремных камерах, преждевременно расставались с жизнью под пулями «Черного эскадрона».

А общественность, которая вечно вопит по любому поводу? Что она? Она возмущалась. Всем. Одни — неэффеkтивностью полиции, другие — всемогуществом гангстеров, третьи — произволом неизвестных граждан, создавших «Черный эскадрон» и творивших суд и расправу, подменяя государство. Кто им дал такое право? Сегодня они расправляются с преступниками, а завтра? Кто знает, до чего они дойдут...

Были и такие, кто, наоборот, приветствовал «Черный эскадрон» и даже намекал, что неплохо бы ему заняться и кое-какими смутьянами, которые своими вечными демонстрациями,

митингами, стачками мешают жить добропорядочным гражданам, аккуратно платящим налоги и посещающим церковь.

Нашлись даже дураки-дилетанты, которые начали создавать из «сознательных граждан» свои собственные «Черные эскадроны». Но преступники быстро поняли разницу между нами и этими самозванцами и отбили у них охоту воевать с нарушителями закона.

И мы, конечно, когда ловили таких, громко возмущались. «Ах, ах! Как не стыдно! Зачем вы занимаетесь самодеятельностью и в результате погибаете от рук бандитов, когда есть мы, доблестные стражи порядка, самоотверженно преследующие этих бандитов. Ах, ах, нехорошо!»

И вдруг взорвалась бомба. Нет, не та, обезвреживанию которых обучали Джона-маленького в его полицейской школе. А газетная, что гораздо хуже.

Часов в шесть утра в моей квартире раздался телефонный звонок. Звонил Высокий чин.

— Газету читал? «Единство»? — спросил он коротко (как будто я лунатик, чтобы бродить ночами во сне и покупать первые выпуски газет). — Прочти! И скажи своему другу (это, значит, О'Нилу), чтоб почитал. Встретимся вечером там же.

Я звоню О'Нилу и передаю этот разговор.

— Что будем делать? — спрашивает.

— Я лично — спать дальше, — говорю.

Он вешает трубку, а через час, когда я уже собираюсь отправляться в отдел, вваливается с газетой и молча протягивает мне.

Я начинаю читать. И сразу понимаю, почему так всполошился Высокий чин. Постараюсь коротко объяснить вам, захотите подробности, прочтите статью сами — «Единство» за четвертое число, первая полоса. Да вы сразу увидите — заголовков в полстраницы, и какой заголовок: «Черный эскадрон» — организация полицейских-убийц! и подзаголовок: «Убитый «Черным эскадроном» журналист нашей газеты Карвен разоблачает своих убийц после своей гибели».

Что же оказалось? Оказалось, что Карвен нас перехитрил. Он, когда вел свое расследование действий полиции во время той демонстрации, как выяснилось, залез куда глубже, чем мы думали. Он не только установил, что мы, мягко выражаясь, не совсем тех били, кого следует, но докопался до нашей организации. Всего, к счастью, он выяснить не успел, но узнал достаточно. Узнал, что «Черный эскадрон» — это вовсе не союз чересчур активных граждан, жаждущих помочь полиции и самих превратившихся в убийц, а тайное сообщество полицейских, попирающих ту святыню — закон, — которую он-то в первую очередь и призваны охранять.

Карвен раздобыл факты — свидетельские показания, запн-

саинные на пленку, разные документы, фото, снятые скрытой камерой. Называл имена (к счастью, наши там не значились), описывал преступления, совершенные «Черным эскадроном»...

Полюй картины он, повторяю, составить не успел, но и так материал собрал не дай бог!

А главное, весь этот материал он отдал на хранение в адвокатскую контору с пометкой: «В случае моей смерти прошу переслать в мою газету». Чувствовал все-таки, что мы с ним можем свести счеты. Остерегался.

Какие же есть подлые люди на свете! Ну что ему стоило позвонить любому из нас — он ведь называет там имена, знал, кому звонить, — и сказать: «Ребята, вот есть у меня кое-какой товар, не хотите ли купить тысяч за пять?» Да хоть за десять! Мы не мелочные, дали бы. И жил бы он, как бог, на эти деньги, машину новую купил, а не ту развалюху, в которой ездил. И женился бы на этой своей девушке, и домик бы ее обставил, а не то, что теперь там, убогость одна. Так нет, он, видите ли, честный! Вот от таких честных жить стало невозможно. Правильно все-таки мы его наказали. Я всегда говорю: рано или поздно справедливость торжествует!

В общем, попал его материал к Дору, это тоже журналист будь здоров, ему палец в рот не клади — до плеча откусит. Он, между прочим, не из «Единства». Он — «фри ланс», так сказать, свободный художник, для кого хочет, для того и пишет, но репутация у него безупречная. Он выступает только с сенсационными разоблачениями. Всегда основательно, аргументированно, бьет не взирая на лица. Боятся его все, даже министры. Материалы его настолько сенсационны, что за него дерутся даже солидные газеты, которые за правительство и против левых.

Уж не знаю, почему «Единство» отдало ему материалы. Может, чтоб шуму было больше, а может, еще почему... Ведь полиция может возбудить дело по обвинению газеты в клевете (хотя факты в статье неопровержимые). А нападать на этого Дора непросто, он может так дать сдачи, что не проснешься!

Начинает он свою статью, как всегда, с цитаты: «Вот что пишет английский специалист Хофстеттер в своей книге «Скотленд-Ярд-72»: «В настоящее время имеется подтвержденное статистическими данными мнение, что преступник в 60% случаев так или иначе остается на свободе, избегает ареста. Это, безусловно, говорит о недостаточно эффективной работе полиции, низком коэффициенте ее полезного действия. Но если даже преступник задержан, то у него всегда есть не менее 40% шансов быть оправданным, благодаря архаичной судебной системе». «Понятно, — продолжает Дор, — что уж коль скоро полицейские задерживают преступников, им бы хотелось, чтобы эти преступники несли суровое наказание. И, видя, что этого

не происходит, они берут на себя функции карающей руки и совершают самое страшное для государственных органов преступление — вершат самосуд! Отсюда рукой подать до гитлеровских эсэсовцев или тон-тон-макутов Дювалье». И дальше Дор, как хирург, врезается все глубже в «феномен самоуправства» (какое слово придумал!), воссоздает историю «Черного эскадрона», приводит кучу примеров, которые раздобыл покойный Карвен. Потом начинает заниматься предсказаниями: мол, увидите, «Черный эскадрон» превратится в «орудие господствующего класса», в «орудие террора, направленного против прогрессивной общественности», в «орудие ликвидации гражданских свобод и прав человека»...

И пошел, и пошел...

Вот такая бомба.

Днем все газеты эту статью перепечатали, радио и телевидение передало. Шум-гам! Разговоров! И конечно, легкая паника в наших рядах.

Начальник всех собирает и произносит речь:

— В этот трудный час, — говорит он и смотрит на нас так, словно выступает на собственных похоронах, — мы должны соблюдать особую выдержку, дисциплину! Подрывные элементы (без этих подрывных элементов он не может обойтись) начали наступление на самый оплот государства, на его карательные органы, на нас, на полицию. нас обвиняют в гнуснейшем преступлении — самовольных поступках! Но вы лучше, чем кто-либо, знаете, что это ложь. Вот американские юристы выдвигают формулу «мятеж полиции», она убедительно обосновывает, почему мы имеем право, хм... ну... в общем, иногда... немного... так сказать, дать себе волю. «Полицейские тоже люди», — говорят они, разве это не правда? Мы даже не просто люди, мы лучшие друзья людей... — Он замолкает, сообразив, что сказал что-то не то, потом продолжает: — Словом, вы меня поняли — у американских юристов есть твердая доктрина — «полиция имеет право на войну», то есть полицейское насилие, конечно, зло, но зло неистребимое, и с ним следует смириться. Один из префектов Парижа сказал как-то, что «каждый молодой человек «для полноты воспитания» должен быть избит полицией»! Ясно? И я с ним полностью согласен! — выкрикивает начальник и тут же добавляет: — Но это я вам говорю. Дору я, разумеется, этого не скажу, ха-ха!

Он обводит нас требовательным взглядом, мы подобострастно хихикаем, улыбаемся, а главные подхалмы, вроде моего Гонсалеса, хватаются за животы от смеха.

Только Джон-маленький что-то бормочет себе под нос. (Между прочим, я его потом спросил, что именно. Он посмотрел на меня дерзко и говорит: «У русских был писатель, Горький, не знаете? Так вот он однажды высказал такой афоризм: «Жаж-

дешь свободы? Иди служить в полицию. Жаждешь абсолютной свободы? Поступи в агенты охранного отделения». Так в царской России называлась служба безопасности». А? Каков? Ох, этот Джон-маленький, дождется он когда-нибудь...)

Действительно, мы чувствуем себя свободней, чем другие граждане (фу, черт! Начинаю цитировать Джона-маленького, а точнее, того русского писателя!). Но это мы сами знаем. А для других мы все теснимся в жестких рамках «солдат спасения».

Короче, долго накачивал нас начальник: чтобы некоторое время вели себя потише, не стреляли направо и налево и во время разгона демонстраций проламывали не сто голов, а не больше девяноста.

После совещания выходим с О'Нилом. Он говорит:

— Дору шею свернем. На той неделе. Надо связаться с Высоким чином.

Он с ним связывается, а потом ходит мрачный. И молчит. Сначала я ничего не мог понять. Потом Высокий чин срочно вызвал нас на свидание. Видно, боялся, что О'Нил его не послушает и сам свернет шею Дору.

— Ты пойми,— втолковывал он нахохлившемуся О'Нилу,— нельзя сейчас его трогать. Он же выступил с разоблачением нашей организации и, будем откровенны, нанес нам сильный удар. Мы, если хочешь знать, временно сворачиваем свою деятельность против преступников, надо переждать...

— Но ведь Карвена...— пытается возразить О'Нил.

— Карвена ликвидировал «Черный эскадрон» до того, как стало известно, кто мы и что. И еще вопрос, кто и за что его убрал. На него многие нож точили. Есть разные версии. А Дор выступил конкретно против нас. Только «Черный эскадрон» мог его ликвидировать. Убьешь его, и тут такое поднимется! Ага! Убил, отомстил! Все ясно, Дор был прав. Все, что он написал, истина. Понимаешь или нет? Нам не то что трогать его сейчас нельзя, нам его охранять надо. А то еще уголовники пристукнут, чтобы потом на нас свалить. Так что ни-ни! Дор неприкосновенен. И это приказ, понял, О'Нил? Смотри! — Потом, смягчившись, добавляет: — Не беспокойся, его час придет. Мы ничего не забываем.

Все это «дело журналистов», как его окрестили газеты, вышло нам боком. Затаились мы. Между прочим, уголовнички быстро этим воспользовались и осмелели.

Я уж дальше вам повествовать не буду. Скажу только, что газеты, радио, телевидение еще долго шумели и то и дело вспоминали про «черные дела» «Черного эскадрона» (даже тогда, когда мы были ни при чем).

Постепенно все вошло в колею. Опять стали разгонять демонстрантов, пристреливать ввиду «необходимой самообо-

роны» преступников, а то и охотиться за ними (только наш знак не оставляли). Выжидали.

Дело в том, что наступали выборы. Левые эти самые усилились, народ их стал поддерживать, так что «верхушка» наша слегка закачалась, нет, не очень, слегка. А сменится «верхушка», сменится шеф — полетит наш начальник... И что с нами будет, неизвестно. «Помните, как в Чили вначале было или в Португалии? — озабоченно каркает Гонсалес, — ох, трудные времена идут, трудные. Что бывает хуже плохого? Очень плохое; вот». Он так обеспокоен, что даже не смеется над своими дурацкими поговорками.

Так, конечно, продолжаться не может. Что-то должно произойти. Знаете, как когда нависает туча, все ходят, словно на них мешки погрузили, дышат как рыбы на берегу. Но в конце концов, гроза все же разражается, и всем становится легче (кроме тех, в кого ударяет молния, но тут уж ничего не поделаешь — не надо высовываться...).

Глава VII. ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ

Если бы я рассказал вам о своей работе все, то пришлось бы ставить на полки тома числом не меньше, чем в Британской энциклопедии. Вы учтите, что каждая пухлая папка (ее так и называют «том») дела, даже если аукнется одним листком для сотрудника криминальной полиции, который в расследовании этого дела участвовал, то он за мой год службы целое собрание сочинений издаст. Просто я вам о всякой ерунде не рассказываю, и вы, наверное, воображаете, что, придя на работу, мы там целый день режемся в карты или идем в соседний бар пить пиво. Да? Вы так думаете? Признайтесь. Ах иет? Значит, совесть у вас все-таки есть. Вы своего налогового инспектора не каждый раз обманываете? Ну, молодцы.

Так вот, могу вам доложить, что трудимся мы не покладая рук, а вернее, ног.

Ну, хоть такой день.

Во дворе дома находят убитого. Не просто убитого, а предварительно зверски избитого. Утром. Экспертиза устанавливает, что убийство произошло где-то между полуночью и часом и именно там, где нашли тело. Что мы делаем? Правильно, начинаем выяснять, кто покойник, поскольку, как вы догадались, никаких документов (а заодно и денег) у него не обнаружено. И еще ищем свидетелей.

О'Нил с Джоном-маленьким осуществляют первую операцию и пусть сами вам расскажут, как это делают. Мы с Гонсалесом — вторую.

Дом большой — девять этажей, пять подъездов, по четыре

квартиры на этаже. Считать умеете? Сколько получается? Верно, сто восемьдесят квартир. По девяносто на нос, поскольку нас двое: Сорок пять отбрасываем, их окна выходят на улицу, а не во двор, еще штук пять пустуют. Но сорок-то квартир надо обойти. Иногда следует поинтересоваться и другими квартирами, может, кто двором поздно возвращается...

Вот тут-то начинается самое деликатное. Вы, конечно как медведи, ломились бы в каждую квартиру. Черта с два! Надо знать, с кем имеешь дело. Конечно, если квартал бедный, дом старый, жильцы пролетарни, мы особенно не церемонимся. Что ночью, что на заре звоним в дверь, смотрим на открывшего (или открывшую) таким зловещим взглядом, словно мы уже знаем, что именно он (или она) убийца.

Люди робеют. Они-то знают, что не виновны, но надо еще нас в этом убедить, а удастся ли? Испуганно, кто угодливо, кто растерянно, приглашают в свою небогатую берлогу, накладывают на белье (мы ведь их разбудили) старенькие пальто, цыкают на детей, подставляют нам продавленные стулья...

К делу это, конечно, не относится, но хотите знать? Ничего нет хуже бедности! И противней. Иногда (но это уж совсем между нами) я понимаю воров или там грабителей. Не всех, конечно, не тех, у кого миллионы, а они еще банк потрошат на миллионы, а тех, у кого жрать нечего, кто какой год ходит без работы, у кого дома полдюжины ртов неокормленных или старуха мать в больнице (где по двадцать, а то и по сто монет в день надо платить). А рядом дворец, где двести комнат, и краны в ванных из золота, и яхта с кокаиндой в пятьдесят человек, и «кадиллак» с бампером из серебра, и самолет личный реактивный. И все у одного человека. Который, между прочим, тоже безработный, бедняга, потому что за него на его заводах, шахтах, железных дорогах десятки тысяч человек работают (и радуются, что имеют работу). Вот тогда тот бедняк идет воровать, и я его понимаю (между прочим, тех, кто банки потрошат, чтоб свои миллионы удвоить, я, грешным делом, тоже понимаю, но, заметьте, осуждаю).

Ну, да ладно. Начинаем допрашивать, кто что видел, слышал... И ничего, как правду не узнаем. Дело в том, что люди эти, что в нашем обществе на самом низу стоят, на подножке, всего боятся. Они по опыту знают, что ничего хорошего от полиции им ждать не приходится и стараются, даже если что и видели, от всего откеститься. И потом, не хочу людей обижать, конечно, но иногда мне кажется, что они испытывают злорадство — пусть, пусть эти полицейские ищейки побегают, так им! Хотя этим отомстим за то, чего от них натерпелись (ну, не от нас, так от мунципалитета, домохозяйина, хозяина на работе — словом, от начальников, от всех, от кого зависят, а зависят-то они от всех).

Так что свидетели они трудные. Неблагодарные свидетели. А что вы хотите?

Еще трудней, если в доме (не в таком, разумеется, как этот) живут сильные мира сего. Иной раз выходит к вам дворецкий и сообщает, что «господин (госпожа) занят», «отдыхает», «играет в теннис», «смотрит фильм» (в своем домашнем кинозале) и т. д. Если настанвать, они звонят куда-то, и ты получаешь нахлобучку от начальства. Для них полицейский, пришедший делать свою работу, вроде попрошайки или продавца пылесосов. Пусть заходит с черного хода и ждет на кухне. В лучшем случае разрешают поговорить с прислугой...

Легче всего иметь дело со «средним слоем», с буржуа. Те уважают полицию, поскольку считают, что мы их защищаем, а главное, обожают всякие сенсации, сплетни, пикантные ситуации и еще хотят оказаться на виду (вдруг о них напишут в газете или поместят их фото). К сожалению, они еще больше дают интервью репортерам, чем полиции. И, что хуже, фантазия их не знает границ... Кроме того, не бывает, чтобы хоть у двоих совпадали показания...

Дом, во дворе которого произошло убийство, населен разным народом, но больше неимущими. Начинаю свой поход с первого подъезда...

Скажу сразу: поход ничего не дает. Зато сколько интересных и неожиданных встреч! Хотите, расскажу?

На первом этаже я звоню в дверь чуть не полчаса, кричу: «Полиция!», стучу и, только пригрозив, что буду стрелять в замок, слышу, как поворачивается ключ. В передней меня ждет вся семья — мужчина, ростом мне до пояса, в руке кухонный нож, женщина, растрепанная, глаза ввалились, худая, изможденная, старуха и четверо ребятишек. И что б вы думали? У старшего карапуза — ему лет восемь — в ручонке тоже нож, правда, не кухонный, а перочинный.

— Мы не выедем! Лучше уходите! Я за себя не ручаюсь! — кричит мужчина (а крик-то как мышиний писк) и неловко размахивает ножом (так недолго и по своей семье попасть).

— Пожалуйста, уйдите, не трогайте нас, — причитает женщина, — мы все заплатим, все, у него будет работа, ему обещали, я клянусь вам, но куда нам сейчас, младшая вот больна, мы все заплатим, ему обещали...

Она бормочет тихим голосом, монотонно, без выражения. Видно, что уже дошла до ручки.

Младшие дети не режут, а как-то не по-детски молча плачут, я таких раньше не видел. Но больше всего меня поразил старший — у него в глазах такая взрослая, что ли, ненависть, что мне делается не по себе, и ножичек свой малюсенький он сжимает, аж пальцы побелели (пальцы-то как спички).

Ну, что они мне могут рассказать? Что такие могли видеть? Да я уверен, что этот мужчина позавидовал бы моему убитому черной завистью — у того больше нет заботы, тому не надо беспокоиться, как семью прокормить, где работу найти, как вообще жить. У мертвых-то забот не бывает...

Я быстро ретируюсь и звоню в следующую квартиру. Не успеваю задать первый вопрос, как уже понимаю, что здесь задерживаться тоже нечего. Семья — три человека, муж, жена, взрослая дочка. словно они в одном хоре поют, в один голос: «Нет, не видели, не слышали, не знаем, не заметили, не интересовались, спали...»

Потом все начинается сначала: «Не видели, не слышали...»

Новые этажи, новые квартиры, новые люди, а результат тот же, даже когда попадаетесь кто-то, кто готов «помочь».

Вот этот небритый, грязный тип на четвертом этаже, явно склонный к алкоголю, если учесть количество пустых бутылок из-под дешевого вина, которыми обставлена его квартира (больше ничем):

— Это Хабиб, араб с верхнего этажа, — шепчет он мне в ухо и обдает таким ароматом, что хоть содовой разбавляй. — Я вам точно говорю, его когда четвертый раз избил, он поклялся, что раньше, чем его из страны вышлют, он десяток белых прикончит. Я вам точно говорю, это Хабиб, не упустите его! Подонок! Никогда гроша не одолжит, бывает, знаете, ну, не хватает там немного на стаканчик, попросишь до понедельника. Никогда не даст! «Мне самому, говорит, нужно, у меня дома семья — десять человек». Слышите — десять человек! Где-то, в Алжире или не знаю где. Вот бы и сидел там, нет, сюда приехал, работу у честных людей отнимать. Я вам точно говорю, это Хабиб...

Опять эти истории с иностранными рабочими. Не удивлюсь, если мой пьянчужка шел в рядах той демонстрации, что мы защищали.

Странная штука! Вот приезжают к нам в страну эти негры или арабы, дома с голоду мрут, здесь за полцены работают, конечно, хозяева предпочитают их нанимать, нашим и платить больше надо, и профсоюзы у них забастовку, того гляди, устроят. А цветные да черные... Какая там забастовка, они готовы по двадцать пять часов в сутки работать. Так что я понимаю наших, которые хотят их из страны выкинуть, но вы мне вот что объясните: почему избивают, убивают их, требуют высылки как раз те, кто имеет работу и вообще неплохо устроен, вроде молодчиков из тогдашней демонстрации, а кто победней, простой народ, выходит на контрдemonстрацию? Им что, меньше надо? Им работа не нужна? Нет? Не пойму, может, еще есть что-то, что людей связывает, что черных, что белых, что желтых? Не только монеты?

Добрался я до этого Хабиба. Он на самой верхотуре живет. Там три комнаты, в каждой жилец, ванной нет, а туалет на лестнице, площадкой ниже. Думал, попаду в какие-нибудь его африканские джунгли. Ничего подобного: аккуратная комната, все чисто прибрано, на стене его одежда висит (шкафа-то нет), небогатая одежда, но тоже чистая. А над кроватью фотография приколата — женщина черная, молодая, красивая и куча ребятишек, мал мала меньше. И когда успела нарожать?

Хабиб этот самый вроде бы молодой. Смотрит на меня обреченно. Он, наверное, из тех, кто заранее согласен со всем, чем его судьба по башке шарахает. Посмотрел на меня то-скливо, вздохнул, отложил какую-то плошку с овощами — небогатый обед свой — и стал куртку натягивать.

Я говорю:

— Ты куда?

Он смотрит, не понимает.

— Я тебя не забирать пришел, — говорю, — спросить кое-что хочу.

Он так и сел на кровать — в глазах такое выражение, словно он в лотерею миллион выиграл.

Очень огорчился, что помочь не смог, старался изо всех сил, морщил лоб, жмурился. И очень виноватым себя чувствовал. Все смотрел, не обидел ли он меня. Понимаете? Он, ни в чем не виноватый, считал, что я прямо-таки великое добро ему сделал, не арестовав, а он, мол, ничем отплатить не смог! Как же так!

Если человека не за что в тюрьму тащить, то никто и не имеет права этого делать, ему просто в голову не приходит. Вот люди...

Ну, ладно. Кончил я свой обход, встретились с Гонсалесом виизу. Чешем затылки, что дальше делать? Идем к машине, звоним дежурному, тот ворчит:

— Долго вы там будете болтаться? Я вас уже полчаса вызываю, возвращайтесь. Нашли убийцу...

Возвращаемся. Выясняется следующее. О'Нилу и Джоун-маленькому повезло. Убитого опознали по нашей картотеке, оказался подпольным букмекером, собирал ставки для скакового тотализатора. Такие букмекеры жутко честные. Ты им даешь деньги, называешь лошадь или еще чего, там разные пари заключаются. Выиграл, на том же месте — в каком-нибудь баре заолустном, в парке, а то и в общественной уборной — получай свой выигрыш. Никаких записей, расписок, все на доверии. На этом его коммерция и держится. Но расплачиваться-то он приходит с деньгами. Вот и бывает, что кто-нибудь из счастливицков рассуждает: а почему бы мне не прихватить выигрыш и других счастливицков? Так что убитых букмекеров

мы за год находим, что тараканов после травли в бакалейной лавке. Что поделаешь, у каждой профессии свой риск...

Убитый был мелкой сошкой, и клиенты у него были такие же. Так что конец его вполне закономерный. О'Нил покопался в картотеке, выяснил, что парень этот принимал свои пари в небольшом дешевом баре, где собиралась всякая шантрапа, разыскал с помощью коллег парочку осведомителей, те назвали парочку клиентов покойного букмекера. О'Нил отправился по адресам. Первого не застал, а второго обнаружил у одной женщины (с которой, по его словам, он провел ночь) неважной репутации. О'Нил — человек, как вы уже поняли, решительный и терпеть не может лишней работы. Чего гоняться за другими клиентами этого букмекера, когда вот есть один в наличии. Букмекер-то не был светлой личностью, а уж его клиенты и подавно. Зачем церемониться? Даже если не этот его пришел, то наверняка за ним другие грехи числятся, так какая разница? Словом, О'Нил привез того парня и женщину в управление, спустился с ними в подвал, в камеры (есть у нас такие для предварительного заключения, иногда для допросов, удобств там маловато, зато звукоизоляция великолепная). Часа три допрашивал задержанного, и, представьте, признался-таки, подлец!

Правда, толком, как убивал, рассказать не мог, но это от волнения. О'Нил ему все растолковал, протокол написал, и задержанный все подписал. После чего его отправили в тюремную больницу: он после допроса поскользнулся, упал на лестнице и так разбился, что сам ходить уже не мог. И что интересно, та женщина, которая его изобличила, поскольку вспомнила, что ночь он у нее не проводил, тоже поскользнулась и тоже сильно разбилась. Есть же неуклюжие люди на свете! Но домой все же сама добралась, уж очень торопилась покинуть нашу уважаемую контору.

...Таких дел у нас тысячи.

И рассказал я вам все это для примера.

Речь-то о другом.

На следующий день после успешного завершения операции с букмекером О'Нил позвонил мне поздно вечером (я уже в постель лег) и сказал, что хочет познакомить меня с «интересной блондинкой». Это у нас код: «интересная блондинка» — тот Высокий чин, который руководит нашей группой «Черный эскадрон». Ну, вы знаете, я о нем уже рассказывал.

«Дело срочное, торопит О'Нил, блондинка ждать не может». Ворча на эту нетерпеливую даму, я снова оделся и поехал «на любовное свидание».

Высокий чин озабочен, нервничает, чувствуется — дело серьезное. Мы с О'Нилом слушаем внимательно. На этот раз нас всего двое.

— Чем меньше народу, — говорят Высокий чин, — будет об

этой акции знать, тем лучше. Крупная дичь. Очень крупная. Учтите. Работать надо не просто в перчатках, в резиновых, в хирургических.

И он объясняет, в чем дело. В страну прибывает король наркотического бизнеса. Закоренелый негодяй, связи у него огромные, и хотя список его преступлений длинней, чем окружность Земли по экватору, но связи такие могущественные, что предавать его суду так же бесполезно, как американского президента.

Поэтому задача такая: из аэропорта он едет в отель, так вот, нельзя дать ему доехать до отеля. Необходимо остановить его по дороге, официально предъявить удостоверения и без шума увезти, якобы для уточнения личности. Увезти в определенное место и передать тем, кто будет ждать. Зовут этого крупнейшего преступника Бер Банка. Нужна всемерная осторожность. Ни малейшей ошибки. Самолет приходит в двенадцать дня.

Он показывает нам фотографню. Араб. Средних лет. Лицо незаурядное — сразу можно запомнить.

Наутро, после очередной накачки, простите, оперативки, на которой начальник долго и нудно, как всегда, морочит нам голову проблемами преступности в космическом масштабе, мы с О'Нилом срываемся под предлогом обязательного ежегодного медицинского осмотра.

Мчимся на аэродром.

Прнезжаем только-только и сразу узнаем на выходе нашу крупную дичь.

Первая накладка — его встречают. Двое здоровых парней и щуплый молодой человек в очках. Все арабы. Дело плохо — здоровяки явно телохранители. С такими шутки плохи.

О'Нил находит выход: он бросается в комнату аэродромной полиции, о чем-то шепчется там. Я вижу, как к здоровякам подходят двое в форме и после горячего спора уводят с собой. У них будут проверять документы, пока мы не уедем. Конечно, есть опасность, что Бер Банка и дистрофик в очках станут дожидаться своих ангелов-хранителей. Но все устраивается. Посоветовавшись, они садятся в машину — здоровенный «ситроен» — и шпарят в город. Мы еле успеваем за ними. На шоссе, где мы хотели их перехватить, нам их догнать не удастся. Слава богу, в городе движение такое, что все машины еле плетутся. Нарушая правила, по резервной полосе, отведенной городскому транспорту, обгоняем их и за две улицы до отеля (где, как мы знаем, Бер Банка заказан номер) прижимаем «ситроен» к тротуару.

Мы подходим осторожно: вдруг начнут стрелять. Но араб спокойно предъявляет свой паспорт. И тут новый сюрприз —

паспорт дипломатический! Да, видать, связи у него огромнейшие. Но мы настаиваем на своем, требуем следовать за нами. Предъявляем полицейские удостоверения. Тогда молодой человек в очках вылезает из машины, вынимает ручку и начинает переписывать данные наших удостоверений. Это было бы катастрофой. Но Высокий чин такой вариант предусмотрел. Накануне он вручил нам удостоверения на другое имя. Я превратился в главного инспектора, О'Нил даже в комиссара (иомер на нашей машине мы тоже заменили). Молодой человек внимательно разглядывает удостоверения, сравнивает фото с нашими физиономиями, начинает что-то говорить о дипломатической неприкосновенности, о вызове консула и т. д.

Нам все это надоедает, да и народ начинает собираться. Я заталкиваю этого Бер Банка в нашу машину, О'Нил — дистрибука в «ситроен», и мы разъезжаемся.

Через полчаса в укромном лесу за городом мы передаем нашего задержанного кому положено. (А положено четырем мрачного вида типам — наши товарищи из «Черного эскадрона» или ребята из спецподразделений?.. В общем, это не наше дело, в таких случаях чем меньше будешь знать, как говорится, тем дольше проживешь.)

Возвращаемся домой. Меняем номер машины на настоящий, сжигаем, как велел Высокий чин, подложные удостоверения, спешим в госпиталь на обследование, оттуда на службу. К счастью, нас никто не спрашивал, дел нет, Джон-маленький и Гоисалес помирают от скуки. Мы долго и шумно возмущаемся порядками в госпитале, где приходится тратить чуть не целый день на никому не нужное обследование. Потом бежим перекусить — мы ведь не пообедали, а вот это, по сравнению со всем остальным, настоящая беда.

Ночью долго не могу уснуть. Все вспоминаю нашу акцию. Да, дичь, этот Бер Банка, действительно крупная. Я об этом сужу не только по его телохранителям, машине, диппаспорту, а по его виду. Что-то в нем есть благородное, я бы даже сказал, величественное. Чувствуется, что человек незаурядный, ничего не скажешь. Я еще таких бандитов не встречал. Но, может, очень крупные бандиты и должны быть похожи на президентов, министров, директоров банков? (Между нами говоря, по крайней мере у нас в стране, они и делами друг от друга не очень отличаются.) Молодцы мы, «черноэскадронцы», не только по мелким гангстерам работаем, но и вон каких «боссов» хватаем. Только почему его сразу не ликвидировать? Наверное, из-за тех самых связей. А может, хотя бы из него выбить разные сведения: сообщников, перевалочные пункты, склады базового сырья... Засыпаю поздно. Просыпаюсь рано. Невыспавшимся. Но раз проснулся, так проснулся. Занимаюсь гимнастикой, лезу под душ, одеваюсь. Выхожу пораньше, захожу выпить кофе в со-

седнее кафе, беру со стойки утреннюю газету, разворачиваю н... чуть не захлебываюсь кофе, хотя он не очень горячий.

Прямо на меня с первой полосы смотрит огромная фотография Бер Банка! Огромнейшая! И заголовок во всю газету: «Похищен лидер оппозиционной партии...»

Впиваюсь в репортаж, словно там содержатся советы, как стать миллионером.

Выясняется, что в некоем арабском государстве, которое пинком под одно место выкинуло, как они выражаются, «колонизаторов», то есть нас (ну, как англичан, французов, португальцев, чем мы хуже?), сложилась хитрая ситуация. Выкинуть-то выкинули, так сказать, официально, то есть это уже не наша колония. Но разные фабрики, плантации, рестораны, отели, принадлежавшие моим небедным соотечественникам, которые качали оттуда будь здоров деньжат, остались на месте, а хозяев выслали. Они, конечно, в ярости, требуют компенсации, возврата имущества. И пришедшие там, в этом арабском государстве, к власти руководители в растерянности — возвращать не возвращать, экспроприировать не экспроприировать? Справятся ли со всем этим хозяйством сами? Не наживут ли беды? Словом, идут там в их парламенте дебаты. И вот этот Бер Банка — главный противник оставлять все, как было. Гнать в шею иностранных хозяйчиков, забрать их недвижимость, как «украденную у народа» (он, значит, тоже против «иностранных рабочих» у себя в стране, разница только в том, что «работяги» эти — миллионеры и работают на них местные бедолаги. Интересно получается, оказывается, миллионеры разных стран вроде бы жители одной страны, и бедолаги разных стран — другой, вот и разберись, где тут «национальные границы»!).

Но у богатых свои какие-то сложные игры, и, оказывается, у нас в стране есть среди них те, для кого «выкинутые» — конкуренты. И если они разорятся в результате экспроприации, то надо бежать в церковь ставить свечку.

Поэтому они в нашей стране поддерживают Бер Банка. Вот такой кавардак, прямо голова кругом идет! Бер Банка приехал, если верить газете, «провести переговоры с сочувствующими кругами и найти поддержку». Но «выкинутых» это не устраивает, а поскольку в нашей стране у них связей тоже хватает, они этого Бер Банка тихо похищают и ликвидируют.

Встает вопрос — мы-то при чем? «Черный эскадрон» воюет с уголовными преступниками и политикой не занимается, вопреки предсказаниям Дора. Хотя... Теперь, как я вижу...

В статье сказано, что похищение осуществили представители полиции, приведены все данные наших фальшивых удостоверений — их сообщил, конечно, тот дистрофик — очкарик.

Вот такие дела. Долго сижу, перечитываю газету. Это пока

только сообщение. Представляю, какой теперь начнется шум! Не спеша иду на работу, вхожу в кабинет. Наши все там. О'Нил молчит еще крепче, чем обычно. Джон-маленький возмущается, что какие-то политические интриганы и газетчики пытаются втянуть честную полицию в грязную провокацию.

Гонсалес вопит:

— Негодяи, им бы все свалить на полицию! Мы их охраняем, оберегаем, так на нас же все валят! То не тех разгоняем, то не тех сажаем. А теперь, оказывается, мы еще каких-то заграничных дипломатов, или кто он там, ворует! Черт знает что! «Полция, как говорил Наполеон, это мусорная метла общества...»

— Наполеон так никогда не говорил, — вмешивается этот педант, Джон-маленький.

— Неважно, — отмахивается Гонсалес, — не говорил, так мог сказать. Мы кто? Мы «кассензаторы и водовозы», говорил Наполеон...

— Наполеон так не говорил, — снова влезает Джон-маленький.

Но Гонсалес продолжает:

— Вот, я помню, был случай... — далее следует один из его бесконечных рассказов, которые никто не в состоянии дослушать до конца.

После работы идем домой пешком — я и О'Нил. Молчим. Наконец я не выдерживаю и спрашиваю:

— Ну, что скажешь?

Он пожимает плечами, этот болтун.

— Могли бы хоть нас предупредить. Мало ли что! А то — «король наркотиков»!

А куда делся Высокий чин? Мог бы позвонить. Но в общем-то, все ясно — выжидает, все ли обойдется, не выйдут ли на нас? Когда убедится, что опасаться нечего, сам объявится. Никуда не денется.

Но он долго не дает о себе знать. В газетах поднят такой шум, словно похитили не какого-нибудь там зулуса, а кинозвезду. Все всех обвиняют, мечут друг в друга гром и молнии, задают вопросы, кто похититель, куда дел Бер Банка. К счастью, про «Черный эскадрон» не упоминают, даже про Дора с его разоблачениями забыли, тем лучше.

Между тем мы под тихую свое дело продолжаем.

Время от времени где-то в пустынных уголках находят трупы преступников или подозреваемых в том, что они преступники.

И вот здесь на безоблачном небе нашей деятельности появляется тучка. Собственно, она не появляется, а разрастается. Это Джон-маленький. Чем ближе окончание срока его стажировки, а следовательно, повышение в чине, тем увереннее он себя чувствует, тем тверже отстаивает свою точку зрения.

А точка зрения у него не всегда совпадает с нашей. Для Джона-маленького существует один бог — закон и его апостолы — всякие там инструкции и указания. И так же, как недопустимо обмануть господина, так нельзя и нарушать законы. Такие общепринятые истины, как «цель оправдывает средства», «с преступником поступай преступно», «око за око, зуб за зуб», которыми мы объясняем друг другу наши действия, для этого святого не существуют. Для людей приходится иной раз покривить душой, разыграть маленький спектакль, кое-что представить в ином свете. Тут уж ничего не поделаешь. Ведь все эти крикуны и зануды, которых убивают, грабят и насилюют, жаждут крови преступников, но в то же время требуют соблюдения закона! С чего бы? Хотите, я вам объясню? Да потому, что где-то в тайниках души они не зарекаются сами оказаться в шкуре преступников, ну, может, не убийц и насильников, а скажем, махинаторов, растратчиков, неплательщиков налогов, короче, авторов, как мы выражаемся, «противоправных деяний». Вот тут-то они и не хотят, чтобы их вешали, гильотинировали, сажали на электрический стул или пристреливали во время арестов. Э, нет! Тут все должно быть по закону. Штраф там, небольшой срок, адвокаты-спасители...

Так что, уж извините, если мы управляемся сами. Не надо только нам мешать.

Еще понятно, если мешает какой-нибудь законопослушный дурак, или трусливый судья, или лентяй-прокурор. Но когда наш же товарищ, полнейший — это уж никуда не годится!

Идешь на обыск — берешь ордер, допрашиваешь — пальцем не тронь, вынул пистолет — давай предупредительный выстрел... Если бы все так действовали, то из любой полицейской операции преступники устраивали бы себе вечера смеха.

Так как быть? Посоветовались и решили, что я с ним поговорю. Гонсалес для Джона-маленького не авторитет — он считает его старым болтуном (в чем, в общем-то, прав), с О'Нилом у них отношения натянутые, да и какой О'Нил собеседник! Остаюсь я.

И, пригласив моего тезку как-то в ресторанчик (за свой счет я заказываю скромный ужин, но солидную выпивку), начинаю деликатный разговор.

— Слушай, Джон, — говорю я тонко, — тебе что, больше всех надо?

Он удивленно смотрит на меня. Я разъясняю.

— Мы где работаем? В полиции. Мы имеем дело с подонками и мерзавцами. Нас убивают, калечат, нам мало платят, а газеты поливают нас помоями. Преступники, если им повезет, купаются в деньгах, жнут в камерах с телевизорами и холодильниками и пишут мемуары. А ты их защищаешь!

— Я? — Он тарашит глаза.

— А кто же? Ну, попортили мы кому-то физиономию во время допроса, ну, пристрелили парочку сгоряча. Так ведь это все для пользы дела. Закон есть закон, мы все его уважаем, но нельзя же без конца заниматься всей этой формалистикой. Если соблюдать все правила уголовного кодекса, некогда будет ловить гангстеров.

— А если не соблюдать, — приходит, наконец, в себя и начинает петушиться Джон-маленький, — так можно отправить на кладбище и за решетку полстраны.

— Ну и что, — говорю (тут даю промашку), — нас-то не отправят...

— Ах, вот как ты рассуждаешь! Кто прав, кто виноват, значит, полицейские будут определять? Не нужны ни прокуратура, ни суд, ни присяжные, ни кодексы, ничего... Вот украли у господина Икс машину, приходит Леруа и говорит: украд Игрек. Игрека хватают и сажают в тюрьму. Так, по-моему?

— Ну, не так, конечно, — стараюсь исправить оплошность, — но нам-то лучше видно...

— Что вам, то есть нам (поправляется все-таки), видно? Кому больше в карман сунут, тому меньше и видно.

— Ну, знаешь! — теперь я начинаю кипятииться (терпеть не могу, когда тот, с кем я спорю, прав). — Конечно, есть и среди нас не ангелы, уроды всюду есть. Хорошо, у тебя вот такой характер, у других — другой. Так не мешай им жить.

— Нет уж! — смотри-ка, завелся Джон-маленький, раньше за ним такого не замечал. — Нет уж! И знаешь, что я тебе скажу. Я вот подожду-подожду, а потом напишу рапорт об о'ниловских делишках, пусть не считает меня за дурачка!

— Смотри, — говорю с угрозой, — как бы ты не подавился своим рапортом. Учти, когда офицер шагает правой, а рота левой, значит, рота не умеет ходить, а когда и офицер и рота с правой идут и только одни паршивый новобранец с левой, то на него быстро управу найдут!

— Ну, что ж, посмотрим. — Джон-маленький встает и смотрит на меня с сожалением. — Я-то думал, хоть ты настоящий парень. А оказывается... Ладно, ты еще увидишь, кто прав. Не может в нашей стране не восторжествовать справедливость! — и он уходит. (Ах, ах, где это он так красиво научился говорить?)

Не вышел разговор. Я сам виноват, не с того конца подошел. Надо было деликатно, конечно, объяснить ему, намекнуть, словом, что с нашей службы можно кое-что иметь. Это, знаете ли, такой аргумент, перед которым пока никто устоять не может.

Рассказываю о разговоре О'Нилу. Тот, конечно, становится пунцовым.

— Рапорт? — шипит. — Пусть подает. Даже лучше, чтобы подал. Ему тогда все ясно станет...

Не знаю, как для других, но для меня эти слова моего друга звучат туманно. Туманно, но зловеще.

Живем, служим.

И вдруг объявляется наш исчезнувший неофициальный шеф. Высокий чин. Он вызывает нас по телефону уже в другой, но такой же занюханный рестораник и начинает разговор как ни в чем не бывало, словно не было той акции с Бер Банка, когда он нас обманул, и всех последующих событий. Он не дает себе труда что-либо объяснить, оправдаться, а главное, мы-то хороши — хоть один бы вопрос ему задал. Сидим как пай-мальчики, внимательно слушаем.

— Вы, наверное, читаете в газетах, что иной раз бесследно исчезают враги порядка и государства, — важно разглагольствует. — Это преступники почище любого убийцы и гангстера. И справляться с ними законным путем потрудней. Тут такой шум поднимется, не дай бог. Могут поставить в парламенте вопрос о доверии. Могут министру юстиции, а то и премьеру разные дурацкие вопросы задать. Вы знаете, как мы других обвиняем в нарушении прав человека, и вдруг сами... Не годится. А так исчез тихо человек. Ну, тоже, конечно, пошумят, но конкретных виновников-то нет. Будут друг на друга валить — белые на черных, черные на белых, левые на правых, правые на левых... Поди разберись. Поручать такие дела можно только высококвалифицированным профессионалам и к тому же абсолютно надежным. Как вы! Мы вам верим (кто «мы», интересно?).

Он еще долго нас накручивает. Потом переходит к делу.

Неподалеку от столицы должен состояться какой-то митинг, созываемый коммунистической партией. На нем ожидается выступление трех ораторов, рабочих лидеров. Известно, что они будут призывать ко всеобщей забастовке. Правые газеты уже ругают этот будущий митинг, а те правые организации, которые еще правее правых, даже грозятся.

Вот эти трое ораторов на митинге выступить не должны.

Одним из них, металлистом, займемся мы с О'Нилом и он, Высокий чин (какая от него помощь, мы уже знаем, так что придется действовать вдвоем), шахтером и докером займутся другие.

Дело очень трудное. Металлисты не лидеры оппозиции, их защищают не профессиональные детективы, а такие же рабочие. Но я бы предпочел иметь дело с первыми, нежели со вторыми. Зато рабочие будут считаться с официальными представителями власти, а детективы еще неизвестно. Они, как мы, сначала стреляют, потом разбираются.

Выясняем, что поедет на митинг наш клиент на своей машине (какой-то старой БМВ), и с ним будет четверо.

Размышляем и с помощью Высокого чина, великого стра-

тега, который так же любит составлять планы операций, как не любит в них участвовать, намечаем наши действия.

Как было дело? Расскажу. Все очень просто.

В двенадцать часов дня в трех километрах от ближайшего населенного пункта два мотоциклиста в форме дорожной полиции (я и О'Нил) на одной машине догоняют БМВ с металлистом и приказывают остановиться. Останавливается.

Мы вынимаем pistols, подходим к БМВ, велм всем пятерым пассажирам выйти, проверяем у них документы (для солидности).

— Кто владелец машины? — спрашиваю.

— Я, — отвечает металлист, — вот бумаги.

Я просматриваю и эдак иронически спрашиваю:

— И дорого заплатили? Эта липа и пяти монет не стоит.

— Как липа, как липа! — горячится. — Да у меня эта машина уже семь лет, да я...

— Да я, да вы... — усмеаюсь. — Взгляните-ка.

И показываю ему полицейский циркуляр на розыск автомобиля марки БМВ, регистрационный номер такой-то, мотора такой-то, шасси такой-то, цвет серый... (Циркуляром этим нас снабдил Высокий чин). Показываю заявление «подлинного владельца» о краже его машины.

— Ну, что, — говорю, — дальше будешь врать?

Он растерян, его спутники тоже.

— Не может быть, это моя машина, — вяло протестует, — тут какое-то недоразумение.

— Вот поедем в участок и там выясним. — Говорю и эдак добродушно добавляю: — Если все в порядке, отпустим, заедешь за своими друзьями, и счастливого пути. А если нет, сядешь за угод.

— Но я спешу на митинг, это мои...

— Не валяй дурака, — говорю уже грозно, — а то припаяют за сопротивление властям. Пока ты для нас вор, так что марш в машину, и поехали!

Его товарищи протестуют, требуют, чтобы их тоже взяли. Но я неумолим.

— Как же! — направляю на них pistols. — Мало мне одного гангстера в машине, так я пятерых повезу! Вы мне там шею быстро свернете. Ждите здесь. А хотите, добирайтесь сами, тут недалеко, — и я называю первый попавшийся адрес дорожной полиции.

Они еще что-то кричат, но мы уезжаем. Металлист за рулем. Я — на заднем сиденье. Впереди на мотоцикле — О'Нил. Проехав километр, сворачиваем на проселок.

— Куда мы едем? — спрашивает металлист, он начинает беспокоиться (поздноато!).

— Здесь путь короче, — отвечаю.

Когда въезжаем в рощу, я приказываю ему остановиться и выйти из машины, он отказывается, сопротивляется, а парень здоровый. Подбегает О'Нил, стучает его по голове.

Мы вытаскиваем тело, привязываем к его ногам домкрат, который достаем из багажника его же машины, и бросаем труп в болото. Через пять минут раздается бульканье, и поверхность болота опять становится гладкой. И то место на шоссе, и проселок, и болото нам указал Высокий чин (он все-таки голова), мы только раз съездили заранее, ознакомились на месте.

Проселок соединяет два шоссе, мы добираемся до второго, бросаем старую БМВ и уезжаем на своем мотоцикле. Ищивши ветра в поле. Тело не найдут, машина никому ни о чем не скажет. Циркуляр на розыск полиции никогда не выдавала. А лица наши никто не разглядел — мы ведь «дорожники-мотоциклисты», на нас шлемы, огромные очки...

В брошенной машине мы оставляем знак «Черного эскадрона».

Так же без вести исчезают и два других оратора.

Конечно, как всегда, в последующие дни поднимается в газетах великий шум.

Митниг сорван, правые радуются, левые кричат, что это политические убийства. Но убитых нет, и кто убил, неизвестно. «Черный эскадрон», оставивший на месте свои визитные карточки? Возможно, но тогда он не имеет никакого отношения к полиции, полиция, вернее, ее «Черный эскадрон», убивали уголовников, да и то лишь по утверждению Дора, а тут политические убийства.

Все ясно, убийства совершили те правые, что правее правых, не зря же они грозилась. А значит, «Черный эскадрон» — это не организация, и нечего было Дору выдумывать.

Короче говоря, возникает путаница, все выдвигают свои версии, расследование полиции заходит в тупик.

И тут происходит невероятное.

Утром летучка, на которой наш милый начальник, как всегда, пичкает нас всякими бесполезными и не имеющими никакого отношения к нашей текущей работе сведениями. И как всегда, на примере Америк.

— Знаете ли вы, — с пафосом восклицает он, — что в Соединенных Штатах информация о незаконопослушных гражданах, помню министерства юстиции и полиции, собирают двадцать шесть федеральных органов! Двадцать шесть! Вдумайтесь в эту цифру. Вы, конечно, хотите знать, какие? (Мы, конечно, не хотим, а хотим спать или, наоборот, заняться срочными делами.) Пожалуйста, раз вы просите. — И он начинает перечислять: — Служба внутренних государственных сборов, секретная служба, управление по налогам на табачные

изделия и алкоголь, бюро наркотиков, служба генеральной бухгалтерии, федеральная комиссия по энергии, департаменты армии, флота и ВВС, администрация по делам ветеранов, ЦРУ, комиссия гражданской службы, комиссия безопасности и обмена, комиссия по торговле между штатами, федеральная комиссия по коммуникациям, бюро гражданской авиации, комиссия атомной энергии, министерство здравоохранения, образования и благосостояния, министерство почт, министерство труда, агентство национальной безопасности, береговая охрана, таможенное бюро, Госдепартамент, федеральное агентство по авиации, служба иммиграции и натурализации... Вот! Обо всех незаконнослушных гражданах... — Он задумывается и добавляет: — Вообще обо всех.

Наступает пауза. Мы настаиваемся, неужели не скажет?

— ...И конечно, — спохватившись, кричит начальник, — о подрывных элементах!

Ну, слава богу, теперь все в порядке. Можно переходить к текущим делам.

— А у нас, кроме полиции да еще полдюжины служб, никто ничего о гражданах не выясняет, — сетует начальник. — Трудно работать, — он грустно качает головой, — трудно. Ладно, пошли дальше.

После совещания ко мне неожиданно подходит Джон-маленький и говорит:

— Можно тебя на минутку?

Таким я его еще никогда не видел. Он бледный, какой-то весь напряженный, глаза холодные, чужие. (Он сильно изменился, наш Джон-маленький, за последнее время.)

— Вот что, инспектор Леруа (ишь ты, как официально), я мог бы не предупреждать вас. Но я не люблю действовать за спиной товарищей... — Он поправляет себя: — Коллег. Может быть, как ты говоришь, я среди вас и белая ворона, но белый цвет чище черного. Мне надоело носить мундир, который иные из моих коллег пачкают. И не только грязью, но и кровью. Так вот, я тут провел свое собственное маленькое расследование и кое-что установил по делу о похищении тех ораторов, что ехали на митинг, во всяком случае, одного — металлиста...

— А при чем... — хочу спросить, но он только отмахивается.

— Не перебивай! Я разыскал, представь себе, мотоцикл «дорожной полиции», на котором были те, кто задержал БМВ, четверо спутников металлиста описали его подробно. Знаешь, где я его нашел? (Я-то знаю, но неужели и он?) В гараже у О'Нила. На нем даже не потрудились сменить фальшивый номер. (Ну и болван, О'Нил, болван, уверенный, что все сойдет ему с рук.) Да, да, у него. Я узнал, где был напечатан липовый циркуляр о розыске. Я даже знаю имя того высокого полицейского началь-

ника, который приказал его напечатать (у меня холодный пот течет по спине). Сейчас я установил маршрут, по которому вы, да, да, инспектор Леруа, ВbI, увезли того металлста. Маршрут не длинный, семь километров, я по нему вчера проехал. Где вы могли отделаться от трупа? Только в том болоте, что я приметил. Послезавтра я возьму людей из местной сельской полиции поискать в этом болоте. И найду убитого. И предъявлю вам официальное обвинение! Вы слышали, инспектор Леруа, я честно предупредил вас. Если можете, защищайтесь! — И, повернувшись ко мне спиной, он уходит.

А я остаюсь стоять, будто меня прибили к полу гвоздями. Вот это номер! Вот тебе и Джон-маленький, вот тебе и предусмотрительный Высокий чин, вот тебе и высокопрофессиональный О'Нил, вот тебе и шляпа Леруа!

Что делать? Ведь этот мальчишка наверняка сделает то, что говорит. Можете не сомневаться. И не ради карьеры, хотя и рассчитывает, что его похвалят; он просто считает, что выполняет свой святой полицейский долг. Ему и в голову не придет, что, начиная с нас, жертв этого правдолюбца, и кончая шефом департамента, все будут его проклинать! За то, что уронил честь полиции, съел двух образцовых полицейских, дал пишу газетам и крикунам (и «подрывным элементам», конечно, обязательно скажет наш начальник)... А ради чего? Ради выяснения, кто же убил какого-то, никому не нужного болтуна, борца за чьи-то (не наши, во всяком случае) интересы и свободы! Ну? Что с таким, как этот Джон-маленький, прикажете делать, я вас спрашиваю? Он заслуживает, чтобы его самого в то болото... А?.. Что я сказал?..

Я задумываюсь. Иду к О'Нилу и передаю наш разговор с Джоном-маленьким. Но он совершенно спокоен. Я его уже изучил. Таким он бывает, когда обдумывает акцию.

— Говоришь, послезавтра поедет? — спрашивает. — Значит, у нас день... Маловато.

Он отправляется звонить Высокому чину и возвращается озабоченный.

Выясняется, что тот страшно переполошился. «Как? Предатель среди своих!» И не просто предатель, классный профессионал. А главное, идеалист. Дурак, который верит в то, что полиция существует, чтобы ловить *любых* преступников. И не понимает, что есть персоны, которые не могут быть преступниками. Что бы они ни делали, они всегда правы. И, наоборот, есть такие, кого следует считать преступниками, независимо от того, совершил он преступление или нет... Словом, Высокий чин в панике.

Двух решений быть не может. Вечером мы тщательно разрабатываем план. «Мы!» Как всегда это делает Высокий чин. Мастер он на эти дела. Если б такой стал главарем банды, он

и наделали бы они дел! Весь план основывается на психологии. Ставка на характер Джона-маленького.

Перед концом рабочего дня (который выдался на редкость спокойным) О'Нил подходит к Джону-маленькому и, глядя ему прямо в глаза, говорит:

— Мне Джон-большой все рассказал. Сейчас не хочу объясняться. Потом потолкуем. Клянусь, — он поднимает руку с прижатыми пальцами, так клянутся свидетели перед судом, — что мы ни при чем. И мне здорово интересно, как ты шел по следу. Я готов пройти весь этот путь и доказать тебе, что ты на каждом углу ошибался. Зла не таю. Поставишь бутылку коньяка и извинишься вот при нем, — он кивает в мою сторону. — И забудем об этом.

— Я прав, — говорит Джон-маленький, но мне чудится в его голосе еле уловимое сомнение.

— Если окажешься прав, пойду с тобой вместе к начальнику, уйду из полиции, повешусь, что хочешь. Я-то знаю, что ты не прав.

Таких длинных речей от О'Нила никто никогда не слышал. Но актер он первоклассный. В его тоне столько непоколебимой уверенности, что если б он утверждал, что дважды два пять, я поверил бы.

Разговор длится еще некоторое время и заканчивается тем, что мы улаживаемся: завтра после оперативки Джон-маленький ведет нас по следу.

Я потом долго думал, почему он согласился? Он ведь не дурак, а главное, уже присмотрелся к нам, к О'Нилу, в первую очередь, понимал ведь, с кем имеет дело. Думаю, что подвел его неистребимый идеализм, фанатичная вера в честность полиции. Он не хотел верить, что полицейские могут быть преступниками. Просто не мог в это поверить!

Честное слово, если б он убедился, что ошибся, что мы ни в чем не виноваты, он был бы счастлив. Уверен.

На следующий день после утренней оперативки садимся все троим в машину О'Нила и едем к нему домой.

У О'Нила на лице выражение оскорбленного достоинства, Джон-маленький в напряжении, я усмехаюсь — играем, мол, в детские игры, убеждаем неразумного малыша, что не мы украли его совочек.

В гараже стоит мотоцикл О'Нила. Тот ничего не изменил. Джон с торжеством указывает на номер.

О'Нил смотрит на него с жалостью.

— Не хотел об этом никому рассказывать, чтобы лишней болтовни не было, — говорит он и показывает Джону-маленькому копию своего официально зарегистрированного заявления в полицию об угоне мотоцикла (штамп о регистрации, помеченный задним числом, нам раздобыл, конечно, Высокий

чин).— Кому надо, тот знает; мы потом поедem к следователю, который ведет дело,— степенно говорят О'Нил,— он подтвердит, что ему я сразу рассказал, что монм мотоциклом воспользовались.

Я чувствую, что Джон-маленький начинает колебаться.

— Теперь,— говорю я,— поехали на место происшествия.

(Зачем? Будь Джон-маленький похитрей, он бы задал себе тот же вопрос, но он немного растерялся.)

Прнезжаем на шоссе, потом едем по проселку.

— Где твое болото? — спрашивает О'Нил.

— Сто метров дальше, около рощи,— отвечает Джон-маленький.

Подъезжаем.

О'Нил спокойно вынимает из машины складной багор.

— Давай пощупаем,— предлагает он.

— Втроем? — удивляется Джон-маленький.— Тут целую команду надо. Завтра вернемся,— в его голосе больше уверенности, он взял себя в руки.

— Ну, завтра так завтра,— равнодушно говорят О'Нил.

Он неторопливо складывает багор, и мы направляемся к машине. Впереди Джон-маленький и я, сзади О'Нил со своим багром в руках. Когда мы подходим к машине, я слышу за спиной глухой хлопок, и Джон-маленький падает носом в траву.

Все.

Акция закончена. Мы можем спать спокойно, никто нас не разоблачит. О'Нил довольно усмехается. Я — нет, меня охватывает какое-то странное чувство. Ну, мы погнбаем — воюем с преступниками, преступники — воюют с людьми, тот металлист или Карвен — воевали за дело. А этот мальчишка ради чего? Я вспоминаю, как он пришел к нам первый раз.— восторженный, мечтающий о больших делах, смотревший на нас, как на богов.

Где теперь его мечты? И его богн?..

Мы затаскиваем тело в машину, возвращаемся на шоссе, проезжаем два десятка километров и у самого города сворачиваем в лесок, где, как нам известно, любят уединяться влюбленные парочки. Там оставляем тело и рядом знак «Черного эскадрона». На этом особенно настанвает Высокий чнн.

Затем едем в город и прилично напиваемся. Вернее, я. Все не могу забыть...

О'Нил с удивлением смотрит на меня и при всей своей толстокожести, видимо, догадывается, в чем дело. Он доставляет меня домой, доводит до квартиры, укладывает на диван и уходит, сказав на прощанье:

— Ничего не поделаешь, Джон, или он или мы, другого выхода не было.

Да, теперь я просто Джон, не Джон-большой, другого у нас в отделе больше нет.

Тело убитого находят, как мы и ожидали, в тот же вечер какие-то забредшие в лесок влюбленные. И в газетах поднимается очередной шум (газетам только и подавай, из-за чего бы пошуметь, не то, так это).

Убийство сенсационное. Во-первых, жертва — полицейский, и погнб он не в перестрелке, не в схватке с преступниками, а непонятно каким образом, видно, после похищения. Во-вторых, это дело рук «Черного эскадрона», о чем свидетельствует оставленный возле тела знак. И в-третьих, и главных, теперь всем должно быть ясно, что Дор — клеветник и лгун! Не мог же «Черный эскадрон», тайная, как он утверждал, организация полицейских, созданная ими для самозащиты, убить своего же! Все, что хотите, только не это.

Разумеется, находятся мерзавцы (в том числе и Дор), пытающиеся утверждать, что это сведение счетов между членами «Эскадрона», месть предателю. Но следствие, которое ведет полиция и параллельно две большие газеты, этого не подтверждает.

И всем становится ясно, что «Черный эскадрон» — организация преступная, возможно, политическая, из тех, что правее правых. В общем, идет спор, а в результате никто ничего не может понять. Но главное достигнуто — большинство перестает подозревать нас.

Похороны проходят очень торжественно. Мы все клянемся не давать спуску преступникам.

И когда в газетах мелькают сообщения о найденных в заброшенных каменоломнях трупах (по-видимому, преступников) с картонкой с черепом и скрещенными костями или о таинственно исчезнувших профсоюзных вожаках и коммунистических активистах, это проходит почти незаметно.

Глава VIII. ВОТ ТАК И ЖИВЕМ...

Наконец наступает очередь Дора. Мы не забыли его статьи. Правда, теперь он переключился на разные фашнствующие организации, на тех, что правее правых, на какие-то военно-спортивные полулегальные союзы. Но это только нам на руку — случись с ним что-нибудь, и поди узнай, кто виноват, когда у человека столько врагов.

Начинаем планировать операцию.

Здесь я хочу вам кое-что сказать. Может быть, из моего рассказа вы делаете выводы, что чуть ли не мы вдвоем с О'Нилом весь «Черный эскадрон» и вершим все его дела. Чепуха! В «Эскадроне» сотни людей, в каждом отделе, в каж-

дом управления, да, наверное, в каждом участке он есть. Нас много, мы хорошо организованы, умеем молчать, в случае чего, нам помогают Высокие чины, а остальные полицейские начальники на наши шалости закрывают глаза. Что? Я это уже говорил? Не помню. Ну а говорил, так не мешает повторить еще раз. Не придирайтесь, черт возьми! Просто я рассказываю о том, в чем сам участвовал, о чем знаю. У нас так поставлено дело, что мы только нескольких коллег своих и знаем. Иной раз работаем бок о бок, а и не подозреваем, что оба в «Эскадроне». Так спокойней.

Вот в нашем управлении — я, О'Нил, кто еще? А черт его знает! Но ведь находят в нашем городе убитых гангстеров, и мы с ним ни при чем, значит, еще чья-то работа, верно? И люди исчезают. Опять чья-то работа. Так что локоть то-варщицы мы чувствуем. Только не знаем их в лицо.

Однако вернусь к нашей очередной операции. Объект — Дор.

На этот раз, кроме Высокого чина и нас двоих, в совещании участвуют еще двое, как обычно, из другого города. (Нам с О'Нилом тоже приходилось несколько раз во время отпуска выполнять нашу «работу» в других городах.) Один — длинный, мрачный, другой — коренастый, невысокий, прямо Пат и Паташон. Были такие актеры в старых фильмах. Не видели? Смешные, я как-то смотрел. Но эти не смешные. С этими лучше не шутить.

Значит, план такой.

Во-первых, Дора ликвидирует не «Черный эскадрон». А то еще припомнят его статью, опять будут в нашу сторону кивать. Во-вторых, лучше всего, если инсценировать какое-нибудь происшествие. Ну, там, падение с десятого этажа, пожар в его доме... Уж не знаю, что.

Исходя из этого, придумали такой фокус. Впрочем, что я вам буду два раза одно и то же повторять. Просто расскажу, как дело было, а вы уж мне поверьте на слово, что мы над этим не один день ломали голову и не одну неделю готовили.

Значит, так.

Дор — человек осторожный, да чего там, свехосторожный. Он крупный журналист, у него есть деньги. Он живет в собственном, хоть и небольшом доме. Дом окружен трехметровой стеной. Ворота толстые, на окнах железные жалюзи и хитрая электронная система охраны.

Как ночью кто перелезет через стену, так тревога — тепло человеческого тела перехватывают лучи, пересекающие весь периметр сада, и дают сигнал. Дома у Дора целый арсенал — пистолеты, винтовки, даже автомат.

Живет он с женой и дочкой, и еще есть шофер, он же

садовник, он же сторож, истопник, камердинер — словом, на все руки мастер.

Поэтому все начинается с того, что какие-то хулиганы нападают на дочку этого шофера-сторожа-камердинера и избивают ее. Живет она в другом городе за тысячу километров, и, получив телеграмму, отец тут же вылетает к ней. Дор отпускает его на неделю.

Теща Дора тоже живет в другом городе. И когда на ее машину налетает пьяный шофер, которого полиция, увы, не удаётся задержать, и ее увозят в больницу, то жена Дора, прихватив дочку, тоже срочно уезжает к своей матери.

Как ни умен, ни осторожен Дор, он все же не сопоставляет эти два события. Что ж, если верить Гонсалесу, каждый хоть раз в жизни совершает ошибку и как раз жизнью за нее иногда платит.

Мы подъезжаем к дому Дора в четыре часа ночи, когда у людей самый крепкий сон и даже лунатики давно дрыхнут в своих постелях. Не к дому, конечно, а на соседнюю улицу — там полно оставленных хозяевами у тротуаров машин, и наша занимает среди них место, ничем не выделяясь.

Подходим к стене дома. Около нее есть удобный проулочек, скрытый от глаз. Тут же Пат и Паташон начинают свой номер с переодеванием. Я сначала думал, судя по их внешности, что это профессиональные убийцы или «выбивалы». Есть у нас такие в полиции, они из любого признания выбьют, даже из покойника. Оказывается, я ошибся, оказывается, они технари высокого класса.

Они прихватили с собой и надели какие-то хитрые специальные асбестовые костюмы, не пропускающие тепла, знаете, как у пожарников. Но тепло не проходит не только внутрь, но и наружу. Так что когда они в этих костюмах перелезают с нашей помощью через ограду, лучи защитной системы, реагирующие на тепло, сигнала не подают. Конечно, долго в таком костюме не походишь, но много ли времени нужно, чтобы перебраться через стену и миновать просвечиваемую зону?

Потом они бесшумно проникают в дом. Для таких открыт самый сложный запор — детская игра.

Второй сигнализации, для дома, нет, а как и где отключить наружную, они прекрасно знают. Вы спросите, откуда? Очень просто — фирма, устанавливающая сигнальные системы в домах, если потребуют, отчитывается перед полицией. И полиция прекрасно знает все дома на своем участке, снабженные сигнализацией, и систему этой сигнализации.

И как раз (счастливая случайность!) тот полицейский участок, на территории которого расположен дом журналиста, провел проверку охранной сигнализации всех подведомственных ему домов.

Итак, они отключают сигнализацию, открывают нам калитку.

Теперь мы все четверо в доме.

Спальня на втором этаже. Мы с О'Нилом поднимаемся по лестнице, подходим к двери, прислушиваемся. Слышим храп (к отоларингологу Дор не обращался и тем облегчил нам работу). Я неслышно вхожу в спальню, прыгаю к постели, где спит журналист, накладываю ему на лицо платок, пропитанный хлороформом, и всей тяжестью наваливаюсь. Он несколько секунд судорожно дергается, потом затихает.

Теперь дело за техниками.

Они быстро находят гостиную с телевизором, отвинчивают заднюю стенку аппарата, копаются в нем. Наконец, делают нам знак. Мы подтаскиваем Дору. Нам известно, что по вечерам он допоздна смотрит телевизор, и именно шестую программу, и при этом попивает молоко (не виски, не вино, не коньяк!), одет в домашний халат. (Теперь вы понимаете, как тщательно готовилась операция? То-то же.)

Мы облачаем его в халат, аккуратно складываем пижаму, закрываем постель, будто в нее никто не ложился, достаем из холодильника молоко и наливаем заново в стакан (некоторое время размышляем — ведь теперь в бутылке не хватает двух, а не одного стакана; оставляем на дне стакана чуть-чуть молока, остальное выливаем обратно в бутылку, мог же он к моменту гибели опорожнить стакан почти целиком!).

Техники показывают нам, что к чему (все молча, никто из нас за все время не произнес ни слова). О'Нил надевает толстые резиновые перчатки, подтаскивает спящего мертвым (подходящее в этом случае выражение) сном журналиста к телевизору и, схватив его руки, быстрым движением подносит их к тому месту, которое указали техники.

Раздается треск, тело дергается. На всякий случай прикладываем ухо к его сердцу. Шушаем пульс, приподнимаем веки. Да куда там! Работа сделана чисто. Еще бы — 12 000 вольт! Как электрический стул!

Еще раз тщательно все проверяем, не уронили ли чего, не сместили, не оставили ли отпечатки пальцев на молочной бутылке, холодильнике, дверях, еще где.

Затем тихо покидаем дом. Техники остаются. Они включают сигнальную систему, запирают дверь, снова надевают свои костюмы, в которых они похожи на космонавтов, и перелезают через стену наружу.

Мы добираемся до машины, и О'Нил развозит нас по домам.

Вся операция не длилась и получаса, и за все время никто не сказал ни слова, как и на обратном пути. Не знаю почему, но именно это оставило у меня самое неприятное ощущение.

Какие-то роботы, машины, машины смерти, а не люди... Да люди ли мы?

Ну, что вам сказать... Вы небось сами помните, какой резонанс вызвала трагическая гибель «великого журналиста», «борца за правду», «гордости отечественной журналистики», «неподкупного, честного, принципиального...» (каких только эпитетов ему не приклеивали!) Дора.

Ах, ах, вздыхали, ну зачем полез чинить телевизор! Ведь известно, что трогать неисправный аппарат нельзя! Ругали даже фирму-изготовитель, та оправдывалась, утверждала, что телевизор не мог испортиться. Произвели экспертизу, и фирма была посрамлена — в телеприемнике-таки обнаружилась поломка (наши техниры свое дело знают: комар носа не подточит!).

Много было некрологов, сочувственных телеграмм, сожалений. Даже те, кому при жизни он давал по мозгам, лили крокодиловы слезы.

Вот так. Вот такую цену заплатил он за то, что поливал нас грязью. Никому не дано оскорблять «Черный эскадрон», оплот порядка, гордость (тайную) полиции!

Но мы-то какие мастера! Я все больше раздумываю, куда идти, когда выйду на пенсию, — в частную полицию, как большинство моих коллег, или в «мёрдер-трест» (знаете, такой гангстерский синдикат, который по твердой таксе выполняет заказы на убийство, скажем, сенатора или директора конкурирующей фирмы — 25 тысяч монет, любовника жены или, наоборот, мужа-помеху — 10 тысяч и т. д.). Я бы у них был специалистом высокого класса.

А жизнь идет. В какой-то момент пришлось пережить немало тревожных минут — нашли в заброшенной шахте тела группы профсоюзных руководителей, призывавших рабочих-портовиков к стачке. Эти руководители бесследно исчезли, когда плыли на катере на какое-то собрание. Все решили, что затонули. Оказывается, нет. У всех пули в затылке. Пошумели газеты да и бросили. Полицейское расследование (как раз наш отдел этим занимался), к сожалению, ничего не дало. Еще раза два находили трупы некогда пропавших без вести. Тоже с пулей в затылке. И опять не удалось найти убийц. Что ж тут удивительного? Столько времени прошло! Сводят там счеты разные политикины, а мы мучайся, ищи. Жили бы себе спокойно, не мучили воду, и никто бы их не трогал...

На могилах произносят речи, газеты печатают некрологи, люди вздыхают, а наш начальник нравоучительно грозит пальцем и говорит: «Вот видите, чем это (что?) кончается. А впрочем, туда им и дорога — это подрывные элементы!»

Однообразный человек все-таки наш начальник. Болтать здоров и языком ведет с «подрывными элементами» большую

войну. Только от болтовни пока еще никто не умирал (если не считать иной раз самих болтающих). А вообще-то мне грешно на нашего начальника жаловаться. Ко мне он неплохо относится. К О'Нилу, впрочем, тоже. Отмечает наше усердие в борьбе с преступностью (потому что не подумайте, просто я вам рассказываю здесь про «Черный эскадрон», но львиную долю нашего времени мы все-таки занимаемся расследованием обычных уголовных дел). Начальник объявляет нам благодарности, премирует, дает поощрительные отпуска (которые мы используем для «эскадронных» — не хочется говорить «черных» — дел).

Накопец, наши заслуги получили самую высокую оценку — и меня и О'Нила произвели в старшие инспектора! Теперь у каждого из нас под началом группа инспекторов, у меня есть и старые, этот болтуни Гонсалес, например, но есть и новые. Когда приходят, я к ним тщательно приглядываюсь, а то еще попадется какой-нибудь вроде Джона-маленького, не дай бог. Но прежде всего проверяю, конечно, в деле.

Особенно слежу за крепким, энергичным пареньком Робертом. Он пришел к нам из парашютистов. Подготовка — дай бог: и ножи метает, и по дзюдо «черный пояс» имеет, и стреляет не хуже меня, и, как я заметил, очень искусен в допросах, прямо доктор психологии, любого разговорит. Правда, у него свой особый метод, просит оставить его с последственным наедине, не мешать. И что ж вы думаете? Через два-три часа приносит протокол. Любо-дорого смотреть, этот жулик (убийца, насильник, грабитель — да кто хочешь) все охотно и подробно рассказал, всех сообщников выдал, во всем (даже чего не совершил) признался. Молодец, Роберт!

Правда, потом приходится с этими последственными немало повозиться — подлатать, подлечить, в чувство привести. От волнения и раскаяния они часто падают в обморок, а один даже в окно выскочил. Но все чисто, никаких следов и разбитых физиономий, ни поломанных ребер, хоть наизавтра в судебное заседание.

— Как это тебе удастся? — задаю вопрос.

Роберт опускает глаза в землю — застенчивый он — и тихо произносит:

— Не спрашивайте, старший инспектор, пожалуйста, просто у меня своя методика.

— Тебя где этой методике научили, — говорю, — в парашютных частях?

— Да, — тихо подтверждает, — там. Нас там многому научили... — И добавляет: — Полезиому.

— Да вижу, вижу, — ворчу, — ну, ладно, у каждого свои маленькие тайны. Иди работай, к тебе претензий нет.

Но когда я окончательно убедился, что Роберт отличный

парень и отличный полицейский, так это когда мы с ним однажды вместе проводили операцию по задержанию опасной банды. Она нападала на междугородные грузовики. У нас такие перевозки очень популярны. Мчится эдакая махина с прицепом днем и ночью, не останавливаясь, — два водителя спят попеременно. Везут с побережья фрукты, овощи, цветы к раннему рынку, коров и овец на убой (такие грузы не грабят), партии стиральных машин, телевизоров, приемников, пишущих машинок, калькуляторов, сигарет, мехов (вот на такие нападают).

Это называется дорожным пиратством. Точное название.

Останавливают в пустынном месте шоссе грузовик. Шоферов обычно убивают, чтобы свидетелей не оставлять, и груз улетучивается, словно его и не было. Грузовики бросают где-нибудь в ближнем лесу, а то и сбрасывают в реку, в болото, в пропасть. Но иногда угоняют и сами грузовики, а потом продают где-нибудь в Африке или на Среднем Востоке.

Наш начальник, этот магистр мировой статистики, в тот раз почему-то на примере Европы, сообщил нам во время очередной оперативки, что в Италии за год совершают 6000 налетов на грузовики и похищают на миллиард лир. Во Франции — 2000 ограблений, в ФРГ — 1900. А раскрывают маловато этих преступлений. В той же ФРГ лишь 18%. В Италии из 16 000 угнанных грузовиков (грузовиков больше, чем грабежей, потому что часто нападают на автопоезда) разыскали 12 000 машин, да и то уже пустых.

Правда, теперь преступники стали гуманней, они стараются не убивать водителей, а только запугать или даже подкупить.

Дело поставлено на широкую ногу. Целые гангстерские синдикаты работают. До того дожили, что даже договариваются с предпринимателями, то есть совершают кражи по «заказам», а им гарантируют реализацию краденых товаров. Во как! Теперь стали воровать даже машины с сырьем, полуфабрикатами, оборудованием. Скоро, наверное, будут тащить бетономешалки и молоковозы.

Короче, нащупали мы через нашего осведомителя-шофера такую банду и устроили летучие засады. Вместо водителей посадили полицейских, да еще в кузове под брезентом — оперативные группы. Недельку ездили без толку, катались по всей стране и даже за границу. Хотели уж нашему информатору по шапке дать. Потом вдруг началось. На один грузовик напали, но вовремя что-то почувствовали и смотались, наши и выстрелить не успели.

На следующий день нам «повезло».

В пять утра катим в Швейцарию. Я — за баранкой, рядом Гонсалес, а за спиной — грузовик с прицепом и в нем тонны и тонны, все из крокодиловой кожи, сумок, туфель, чемоданов всяких, и Роберт среди них пританлся.

На шоссе в этот ранний час движения почти нет, да и туман кругом. Вдруг за поворотом в пустынном месте «дорожный патруль». Мотоциклы, шлемы, светящиеся жезлы, все честь по чести, не знал бы — поверил, что настоящие. Но мы тоже не лыком шиты, у нас с дорожниками договоренность: на номерах мотоциклов будет особый знак. Какой? Все вам сказать? Дудки! Вы, конечно, люди честные, а там, кто вас знает. У нас иногда нельзя угадать — вроде бы генерал, священник, профессор, член парламента, а оказывается, гангстер. Так что извините...

Словом, мы поняли сразу. Гонсалес стукнул в заднюю стенку, чтобы Роберт наготове был. По требованию патруля вылезает, предъявляет документы, ворчим для порядка, опаздываем, мол.

— Покажите груз, — говорят.

Мы обходим грузовик, открываем заднюю дверь. Те нас стороже, один подходит, другой стоит поодаль и руку на кобуре держит. Но Роберт наш изнутри грузовника все видит, мы там в разных местах брезента дырок понаделали.

Короче, открываем дверь, и в ту же секунду гремит выстрел. Второй «мотоциклист» падает, Роберт прыгает прямо на голову первому — он у раскрытой двери стоит, а нам велел в стороне держаться.

Прыгает Роберт на этого «мотоциклиста», заламывает ему руки.

— На кого работаешь? — спрашиваю я грабителя.

Молчит.

— Разрешите, старший инспектор, я с ним поболтаю, — Роберт вежливо говорит.

Я киваю, и он уводит того в лесок, а мы вызываем по радио следственную группу, начинаем писать протокол (порядок есть порядок), обыскиваем убитого.

И вдруг слышим выстрел, потом еще один.

Бежим в лесок. Роберт спокойно прячет пистолет в кобур, а задержанный грабитель лежит без движения.

— Вот негодяй, — говорит Роберт, — пытался бежать, — пришлось пристрелить, после предупредительного выстрела, конечно. Я правильно поступил, старший инспектор? — смотрит на меня. — В инструкции сказано...

— Правильно, правильно, — ворчу (редкий случай, чтобы допрашиваемый, безоружный и в наручниках, пытался убежать от стоящего в двух шагах полицейского с пистолетом в руке, я, по крайней мере, о таких не слышал). — Надо было выяснить у него все...

— А он все сказал, вот, — и Роберт протягивает мне листок: данные, имена, адреса. — Он все сказал. Не понимаю, зачем бежать хотел. — Смотрит на меня ясным взглядом.

Да, этот Роберт далеко пойдет. Надо о нем подумать. Проверочку прошел, сам того не зная. Как я когда-то.

Этого, конечно, мало, надо будет повторить, но уже с заранее придуманным сценарием.

Ну, что я буду тянуть резину. Что вам нарисовать, что ли, нужно? Вы и так все поняли. Еще две-три операции с Робертом, два якобы незначущих разговора, «незаметно» оброненный возле очередного тела знак «Черный эскадрон». И вот я уже веду его на свидание с Высоким чином.

Недолгое свидание, «Черный эскадрон» приобретает нового члена, наша группа растет.

Вот так передается эстафета. На место ушедших (в загробный ли мир, на пенсию ли, на повышение) приходят новые. Я привел Роберта, меня — О'Нил, его кто-то раньше. Когда-нибудь кого-нибудь приведет Роберт (если доживет).

Он оказался ценным сотрудником. Я это сразу предугадал, это не было сюрпризом. А вот что стало сюрпризом, да еще каким, об этом я вам под конец расскажу.

Однажды меня, О'Нила, а теперь еще и Роберта вызывает на очередное, вернее, внеочередное, свидание Высокий чин. Как всегда, в окранный ресторанчик. Сидим, пьем пиво, молчим, ждем.

— Вот что, ребята, — Высокий чин в благодушном настроении, он угощает, у него, видно, радость, — собрал вас попроститься.

Лица у нас вытягиваются. Мы, я особенно, не любим менять начальство. Кто его знает, каким будет новое. Пока нам везло: наш начальник по службе, хоть зануда и болтун, плохого мы от него не видели, наш начальник по «Черному эскадрону» — Высокий чин — тоже, хоть в огонь сражения не рвется, но все так продумает и растолкует, что только и остается, что обязательные фигуры прочерчивать. Да, дела... Он молчать умеет и лишнего не сболтнет, но тут его небось радость распирает, да хлебнул он уже прилично, вдвое больше, чем каждый из нас, и не только пива, так что расслабился.

— Уезжаю, — говорит доверительно, — в Африку. Там нужно царькам помочь полицейскую службу наладить.

— Царькам? — удивляюсь.

— Ну, не царькам, президентам или еще как, у них звания длинные, мозги короткие. Если б не мы, да еще кое-какие заокеанские друзья, их бы давно скинули. Впрочем, это понятно. Уйти-то мы из их страны ушли, но царька своего посадил. Вот и нужно, чтобы мы им полицейскую службу наладили. Так что уезжаю. Я им там сразу «Черный эскадрон» создам. Тем более, они все черные, ха-ха-ха! — смеется своей дурацкой шутке в стиле Гонсалеса.

А нам не смешно.

— С кем теперь дело будем иметь? — спрашивает О'Нил, он всегда смотрит в корень.

Но Высокий чин уже в Африке, ему нелегко вернуться на землю. Он словно не слышал вопроса.

— И там этот «Эскадрон» будет не тайный, а явный, я у них быстренько поубираю смутьянов, если нужно, хоть половину населения. Зато другая половина будет образцовая. Да,— говорит мечтательно,— там заработки не то, что здесь, пальмы, море... Можно лет пять отдохнуть...— совсем размяк.

— Так кто вместо вас? — настаивает О'Нил.

Высокий чин приходит в себя. Ему досадно, что разболтался, что наговорил лишнего. Он сразу трезвеет.

— Ну, ладно,— рубит,— пофантазировал. К делу. Вашу группу надо довести до пяти человек. Сейчас будет поворот в работе. Обо всем узнаете от нового шефа. Учтите, он человек железный. Слова «пощада» в его словаре нет. Такие акции провел, что вам и не снилось. И конспиратор величайший. Он сам вызовет, когда надо,— и усмехается.

Простылись без рыданий, без объятий. Пожелали друг другу счастья и долгой жизни. Он ушел, а мы еще посидели, обсуждая новость. Проходит день, три, пять, неделя, две.

Мы начинаем беспокоиться. Может, о нас забыли?

(А может, так и лучше?)

На очередной оперативке начальник начинает вспоминать какие-то стародавние дела. Убийство президента Кеннеди, например (ну как же, из жизни Америки). Но при чем тут Кеннеди, это дело политическое, а не уголовное, полиция там сбоку припека. Ага, оказывается, ему приглянулся тот самый окружной атторней (поверенный.— А. К.) Нового Орлеана Гаррисон, который, помните, устроил свое собственное расследование и начисто угробил весь этот здоровый талмуд, что родила комиссия Уоррена по расследованию.

Он раскопал массу всяких вещей — доказательства заговора, свидетелей, разные показания.

В конечном итоге ему, конечно, заткнули рот, а свидетелям жутко не повезло, всех смерть замела подчистую — кто от рака умер, кто из окна выбросился, кого машина сбила, а кого просто хулиганы уколошнили... Бывает.

Но наш начальник вопит:

— Вот образец полицейского! Самостоятельного, не боящегося ответственности, честного, упорного и искусного! Ясно вам? Искусного. Вот вы все тоже должны быть такими. Не бояться высказываться, если со мной не согласны! Кто со мной в чем-нибудь не согласен? А? Говорите прямо! Я это ценю (как же!). Вот вы, Гонсалес, в чем вы не согласны со мной?

— Я во всем согласен, я, что я...— блеет Гонсалес.

— А раз так,— уже другим тоном говорит начальник,— переходим к текущим делам.

Он сообщает о налете, который предстоит совершить на подпольную фабрику по переработке опнума-сырца, распределяет силы, дает указания.

— Все идите, готовьтесь. Вы, О'Нил, Леруа и Роберт, останьтесь. (О, господи, неужели очередная нотация?)

Когда мы остаемся в кабинете вчетвером, происходит чудо.

Вы знаете, я вообще-то не верю в чудеса, во все эти нконы, которые вылечивают болезни, взгляды, которые двигают посуду на столе, операции аппендицита голыми руками... Чушь все это. Я не верю (теперь точнее будет сказать — не верил), что человек даже после долгой болезни, по прошествии многих лет, после пластической операции может настолько измениться, что его не узнать. Тем более за одну-две секунды!

И тем не менее это происходит из моих глазах. Я вдруг вижу, что в кресле, в котором только что сидел наш болтливый, суматошный, в общем-то, добродушный и немного ленивый начальник, теперь сидит человек, от которого, прямо как волны, исходит такая жестокость и беспощадность, что мороз продирает по коже. Брр! И глаза у него не глаза, а кусочки льда. Да не может быть, такого не бывает!

— Вот что,— и голос у него стал другим — резким, скрипучим,— акцию с Бер Банка вы провели неплохо и с Дором тоже. Кое-чему вас этот Высокий чин все-таки научил. Хотя он дилетант и мальчишка. Пришлось его сплавить подальше, он только и годится за зулусами сражаться. Теперь я буду вами руководить. И мы займемся настоящими делами. Ясно?

Мы сидим остолбеневшие. Да, вот это сюрприз! Это наш-то начальник, тюфяк... Ничего себе, тюфяк! И уж если Высокий чин в его глазах неумелый мальчишка, то могу себе представить его самого в деле!

Молчим, а он продолжает:

— Так вот, кончайте ваши никчемные игры со всякой уголовной швалью. Нечего на них патроны тратить, да и полезными они нной раз бывают. Теперь все силы «Черного эскадрона» — на борьбу с подрывными элементами! Ясно?

Еще бы! На этот раз он так произнес эти слова «подрывные элементы», что если б слова могли убивать, от «элементов» осталась бы горстка пепла. Страшный человек.

— Всех этих коммунистов, профсоюзных активистов, борцов за всякие свободы, шелкоперов, оппозиционеров — всех, всех к стенке. Свобода должна быть только у нас. Ясно? Германия до первой войны, Чили, Ганги, Португалия при Салазаре — вот настоящие режимы. И у нас должен быть такой. Вы полицейские, вы боретесь с преступниками. Все правильно. Но запомните, что лучшие из лучших вы, солдаты «Черного эс-

кадрона», должны выметать всю нечисть. На кладбище! И не бойтесь, мы вас прикроем. За нами такая сила! — Он многозначительно поднимает палец к потолку. — А теперь слушайте задание...

Он объясняет. Когда мы слышим, о чем идет речь, кого надо убрать, у нас глаза лезут на лоб. И я понимаю теперь, что наш всемогущий Высокий чин щенок по сравнению с этим теперь уже во всем нашим начальником.

— Ясно?.. — спрашивает он под конец. — Идите. Действуйте.

И опять происходит чудо. Перед нами снова наш привычный тюфяк.

Мы, чуть не пятась, выходим из кабинета и еще не скоро приходим в себя. И... сразу же начинаем действовать, словно он смазал нам пятки скипидаром.

Вы, конечно, ждете, чтоб я вам рассказал, о чем идет речь на этот раз? Рассказа не будет. Извините. Про все не расскажешь...



Анатолий Безуглов

СИГНАЛ ТРЕВОГИ

(Из записок прокурора)

На дверях моего кабинета висит табличка, где указаны дни и часы приема посетителей. Но люди приходят и в неприемное время. Отказать я не могу: человеческие беды и несчастья не знают расписания.

Тот мартовский вторник не был исключением.

— Аня Дорохина, — так представилась молодая женщина, явившаяся ко мне на прием.

Я не удивился, что она уговорила секретаря пропустить ее в мой кабинет, — Дорохина была напориста. Но чувствовалось, что это не тот напор, за которым кроется нахальство.

— Понимаете, товарищ прокурор, — начала она взволнованно, — избили человека... А милиция не хочет принимать меры...

— Кого избили, где и кто? — спросил я.

— Мужа моего, Николая. Вчера. Пришел после работы — нос расквашен, глаз заплаыл. А вот кто... Если бы я знала, сама бы надавала как следует! — Она сжала не по-женски внушительные кулаки.

В это можно было поверить. Дорохина была крупная, сильная, явно не робкого десятка.

— Муж не знает, кто на него напал? — спросил я.

— Темнит Николай. Сказал, что его занесло в кювет, вот и ударился о переднее стекло... Он шофер.

— А может, это действительно так и было?

— Да что, у меня самой глаз нету? Могу отличить. Как-никак медработник... И еще одна штука. Сегодня в обеденный перерыв Николай подъехал ко мне в больницу на своем КраЗе. Я специально осмотрела его самосвал. Все целехонько. И фары и стекла.

— Отчего же он не хочет признаться вам, с кем дрался?

— Не хочет,— вздохнула Дорохина.— Вообще из него слово клещами надо вытягивать...

— И часто у вашего мужа бывают подобные истории? Может, у него характер задиристый?

— У Николая? — протянула она, округлив глаза.— Да он мухи не обидит!

— Или дружки непутевые?

— Какие дружки? В Зорянске он чуть больше месяца живет. Силком, можно сказать, вырвала его из деревни...

Я попросил Дорохину подробнее рассказать об их жизни.

История — каких тысячи! Выросли они с мужем в одном селе, закончили одну школу-восьмилетку. Николай пошел на курсы механизаторов, Аня — в медицинское училище в райцентре. В теплые летние ночи вместе встречали утреннюю зорьку. Зимой он приезжал к ней в общежитие. Ходили в кино, на танцы. Потом его призвали в армию.

Аня ждала Дорохина эти два длинных для нее года. И хотя переехала в Зорянск и поступила работать медсестрой в нашу больницу, местных ухажеров отшивала: милее Николая никого не было.

Прошлой осенью Дорохин демобилизовался. Сыграл свадьбу. На радость родне с обеих сторон — жених и невеста с одной улицы, свон...

Но тут между молодыми возникла размолвка. Николай не хотел перебираться в город. И резон у парня имелся: колхоз давал новый дом со всеми удобствами, председатель был рад, что приехал комбайнер, — механизаторов не хватало. Раз такой почет и обхождение, почему не трудиться на селе? Тем паче, мила Николаю земля.

Аня уперлась: что ей делать в деревне? Какое-никакое, а образование. Пусть все удобства, а все равно жизнь крестьянская — огород надо заводить, птицу и другую живность. Отвыкла она от этого. Да и хотела учиться дальше — на врача.

Короче, коса на камень. Но, видать, в семье все-таки главой была Аня. Поболтался Николай в колхозе, помотался на автобусах из деревни в Зорянск да обратно и решил перебраться в город, к жене. Аня помогла ему с работой. По ее просьбе райком комсомола (Аня была членом райкома) направил его в автохозяйство номер три, считающееся лучшим в городе. У Николая была хорошая характеристика из колхоза, а в армии он считался отличником боевой и политической подготовки. Проработать же в автохозяйстве он успел немногим больше недели...

— Как вы думаете, кто все-таки его избил? — спросил я, когда Аня закончила свой рассказ.

— Не знаю, товарищ прокурор,— ответила она.— У нас

в Зареченской слободе шпаны хватают. Сами знаете. Может, пригрозил Николаю? Я до вас в милиции была. Там говорят: укажите виновных, тогда будем разбираться. А я им: вы и так должны найти тех бандитов... Разве я не права? Вот в прошлом году соседа избили. Ни за что ни про что. В больнице два месяца лежал. Так милиция по сей день не знает, кто покалечил человека...

— Значит, вы никого конкретно не подозреваете?

— Нет.

— А как же милиции искать, если ваш муж ничего не хочет говорить?..

Дорохина пожала плечами:

— Все равно милиция должна шпану ловить... Я вот была как-то на выступлении московского артиста. Он разные предметы отыскивает, мысли отгадывает... Он может, а милиция что же?..

Я улыбнулся — вот так логика!

Я тоже ходил на это представление. Артист Юрий Горный действительно творил чудеса. В мгновение ока возводил в куб предложенные из зала четырехзначные числа, мог в считанные секунды извлечь корень из длинного числа. Но наиболее сильное впечатление он произвел, когда демонстрировал умение отгадывать мысли. Например, попросил девушку из зрителей в его отсутствие спрятать куда-нибудь иголку, а потом с завязанными глазами точно указал ряд и место, на котором сидел человек (тоже из публики) со спрятанной в галстук иголкой. Он мог также отгадать в книге те слова, которые (опять же в его отсутствие) загадали зрители...

Короче, в Дорохиной странно уживались рассудительность и почти детская наивность.

Насколько я понял, она думала, что мы, то есть прокуратура и милиция, если захотим, можем все, даже отыскать обидчика (или обидчиков) ее мужа, не имея в руках никакой зацепки...

— Вот что, — сказал я, завершая беседу, — попросите, чтобы ваш муж зашел ко мне. Возможно, со мной он будет более откровенным.

— Поговорите с ним, товарищ прокурор, поговорите, — ухватилась за эту мысль Дорохина. — А то знаете, что-то нехорошо у меня на душе...

Николай Дорохин зашел на следующий день.

Я видел, как возле прокуратуры остановился могучий КраЗ. Из кабины вылез высокий нескладный парень в брезентовой куртке, кирзовых солдатских сапогах и в кроличьей ушанке. Он потоптался у машины, потом нерешительно двинулся к нашему подъезду.

И разговор у нас получился какой-то нескладный. Дорохин смущался, все норовил отвести глаза в сторону. А возможно,

он стыдился сникя, расползшегося от левого глаза почти на пол-лица. Одно было ясно: ему очень не хотелось приходить ко мне, но послушаться жены он, видимо, не мог.

— Неинтересная это история, товарищ прокурор, — говорил он, не зная, куда пристроить свои жилистые руки с крепкими, широкими ногтями. — И зря Анна всполошилась. Вас вот от важных дел отрываем...

— Значит, вы утверждаете, что была авария? — попытался я.

Дорохин насторожился. Может, испугался, что его привлекут за транспортно-дорожное происшествие, и теперь взвешивал, какое зло меньше. С одной стороны, авария, с другой — надо в чем-то признаваться...

— Какая там авария, — наконец буркнул он. — Выдумал я. Чтобы жена отстала...

— Драка?

— Так, ерунда, — снова буркнул Дорохин.

Из Николая действительно каждое слово надо было тащить клещами.

Насколько мне удалось разобраться (впрочем, я не уверен, что понял его до конца), у Дорохина произошла стычка с приятелем, и виноват в ней будто был сам Николай: нехорошо, мол, отозвался о его подружке. Погорячились, обменялись тумаками. Словом, обиденная история. Все мы, как говорится, были молодыми. И петушились, и волтузили обидчиков, и сами приходили домой с разбитым носом. Мой сын, старшеклассник, тоже пару раз заявлялся домой с фонарем под глазом. Жена, естественно, переживала, требовала принять меры. Но это было глупо. Ребята частенько так выясняют свои отношения. Энергии у них много, а сдержанности не хватает.

Впрочем, говоря откровенно (хотя и не педагогично), как растить парней смелыми, отважными, чтобы они умели постоять за себя и дать, если нужно, отпор? Бокс, между прочим, тоже драка. Спортивно организованная. А в старые времена кулачный бой завершал ные праздники. И в городе, и в деревне. Никто это нарушением общественного порядка не считал. Молодецкое состязание...

Добиться большего от Дорохина я не смог. И признаться, не очень старался. Если его объяснение — правда, то инцидент, как говорится, исчерпан. Если нет, дело остается на его совести. Человек он взрослый, должен отвечать за свои слова и поступки. Но все-таки я сказал ему напоследок, что он может обратиться в суд с заявлением о нанесении ему легких телесных повреждений. В порядке частного обвинения.

Не знаю, что рассказал Николай жене после визита в прокуратуру, но она больше ко мне не приходила, и я забыл об этой истории.

Вскоре мне пришлось заняться одним необычным делом. Помощник прокурора — Ольга Павловна Ракитова — уехала на семинар, проводившийся областной прокуратурой, и все, что обычно делала она, в это время легло на мои плечи.

Однажды, сядя у себя в кабинете, я услышал в приемной шум и удивился — не шуму, конечно, здесь всякое бывает, а детским голосам. Через минуту зашел наш шофер Слава.

— Захар Петрович, тут к вам пацаны рвутся, — сказал он.

— Какие пацаны?

— Да стою я на улице, вытираю машину, — объяснял шофер, — окружили меня, долдонят что-то про озеро. Говорят, нужен кто-нибудь из прокуратуры. Дело, мол, серьезное...

— Так пусть заходят, — сказал я.

«Пацаны» — трое подростков. Как они сказали, из соседней школы. Два мальчика и девочка.

Говорить они начали разом, перебивая друг друга.

— Давайте для начала все-таки познакомимся, — предложил я, чтобы сбить их возбуждение, и первым представился им.

— Руслан, — назвал свое имя высокнй серьезный мальчик, который, по-видимому, главенствовал среди них.

Второй мальчик тоже ограничился именем. Его звали Костя.

— Роксана, — сказала чернявая девочка с темными миндалевидными глазами и добавила: — Симонян.

Все они учились в восьмом классе и состояли в Голубом патруле. О дозорных Голубого патруля писала как-то городская газета. Они следили за состоянием озер, прудов, рек и речушек в Зорянске и его окрестностях, помогали инспекторам рыбнадзора выявлять и ловить браконьеров, спасали водоплавающих птиц, оставшихся по какой-то причине зимовать у нас, вели учет пернатых, чья жизнь связана с водой. В общем, как я понял, забот у них было много...

— Захар Петрович, — сказал Руслан, — надо срочно спасти озеро Берестень.

— А что случилось?

— Сгорит! — расширив глаза, выпалил Костя.

Берестень-озеро!.. Сколько счастливых безмятежных часов провел я на его берегу с удочкой в руках...

— Никогда не слышал, чтобы озеро горело, — заметил я.

— А вам известно, что в Америке в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году сгорела целая река? — учительским тоном спросила Роксана.

Пришлось признать, что подобный факт мне не известен.

— Об этом писали газеты всего мира, — так же назидательно продолжала Роксана. — Река Кайахога в штате Огайо сгорела вместе с двумя мостами...

— Каким образом?

— На ее поверхности скопилась нефть,— ответил за Роксану Руслан.— Мы сегодня ходили на Берестень... Вся вода в разводах нефти... Решили поднять тревогу...

— Спасать надо! — выкрикнул Костя.— Срочно! А то будет как в Америке!

— Откуда у нас нефть? — удивился я.

Ребята на этот вопрос ответить не могли.

По словам Руслана, они сообщили о происшествии его дяде — пенсионеру, отставному пожарному. Но дядя лишь посмеялся: вода, мол, гореть не может, водой тушат огонь...

Я спросил, говорили ли они еще кому-нибудь о своем открытии?

Выяснилось, что от дяди они помчались к учителю географии Олегу Орестовичу Бабаеву, который возглавляет Голубой патруль. Но его не оказалось дома. Они рассказали обо всем жеке учителя и побежали в прокуратуру.

— Представляете,— возбуждению сказал Костя, самый темпераментный из троицы,— бросит кто-нибудь зажженную спичку или непотушенный окурок, и все пропало!

Признаться, история озадачила меня. Во-первых, насколько сообщения ребятами сведения соответствовали действительности? Было ли положение на озере угрожающим? Может, в воду нечаянно попал бензин, когда кто-нибудь из автотуристов мыл машину, а ребята приняли небольшое масляное пятно за признак катастрофы?

Во-вторых, если это действительно нефть, то почему она очутилась в озере? Месторождение? Утечка с базы? Но база нефтепродуктов расположена на другом конце города.

И еще. Я не мог сразу сообразить, к кому в городе обращаться, чтобы выяснить, что произошло на Берестене. Нужен был специалист...

Мои размышления прервал приход учителя Бабаева.

С Олегом Орестовичем мы были знакомы. Как-то он написал в «Учительскую газету» письмо-размышление о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в своей педагогической практике. В нем он затронул судьбу одного ученика, который, не поступив после школы в институт, стал пить, связался с женщиной старше его на семнадцать лет. Редакция газеты переслала это письмо к нам, в городскую прокуратуру. Когда мы стали разбираться, то выяснилось, что эта женщина — преступница.

Вот так я узнал Бабаева, честного, непримиримого человека.

Жизнь его не баловала. По профессии гляциолог, он едва не погиб в экспедиции на Шпицбергене. Обмороженного, его самолетом вывезли в родной Ленинград, где врачи буквально выцарапали Олега Орестовича из лап смерти. А дальше — ампутация левой руки, расставание с любимым делом. Но он

не пал духом. Стал учительствовать, увлекаясь и увлекая своих учеников. Да и сам он напоминал вихрастого подростка, хотя Бабаеву было уже за тридцать...

Ребята рассказали ему, что увидели на Берестень-озере. Правда, уже спокойнее, чем мне.

— Что вы думаете обо всем этом? — спросил я учителя.

— Давайте сначала посмотрим, Захар Петрович, — сказал он. — У вас есть сейчас время?

— Да, — кивнул я.

Мы сели в нашу служебную машину, прихватив с собой двух дозорных. Для третьего места не хватило, и Костя великодушно (хотя и не без огорчения) отправился на Берестень-озеро автобусом.

Была середина марта, а стояла неестественная для этого времени теплынь. Обычно на Зоре, реке, протекавшей по городу, еще плавали толстые, рыхлые льдины, а нынче она уже полностью очистилась ото льда, текла спокойно и величаво.

— Ну и погода, — сказал я. — Сплошная аномалия. На три недели раньше весна...

— Почему же аномалия? — пожал плечами Бабаев. — И вообще что мы знаем о матушке-Земле? Слишком короток наш век, Захар Петрович, а природа творилась слишком долго, чтобы понять ее законы.

— Это не мое мнение, — стал оправдываться я. — Почитаешь газеты, журналы, помотришь телевизор — только и твердят: с климатом что-то неладное. То слишком раннее тепло, то слишком поздний холод... И так на всей планете...

— Просто люди нелюбознательны, — усмехнулся Олег Орестович. — Если бы они потрудились заглянуть в старые хроники... Климат на Земле лххорадило всегда. И во времена оны тож... Однажды, в пятнадцатом веке, если не ошибаюсь, в Новгороде в июле был такой мороз, что погиб весь хлеб...

— В июле? — не поверил я.

— Вот именно, в самый жаркий месяц этой полосы... Да что у нас, в северной стране! Например, в девятом веке был случай, когда низовья Нила покрылись льдом. И это Африка, где все живое почти круглый год страдает от жары...

— И засухи в давние времена тоже случались сильные, — добавила Роксана. — Помните, Олег Орестович, вы нам про Китай рассказывали?

— Верно, — кивнул Бабаев. — Там с шестьсот двадцатого по тысяча шестьсот двадцатый год, то есть за тысячу лет, шестьсот десять лет были засушливыми. Больше половины! Причем из них двести три года были годами серьезного массового голода... Так что теперешняя засуха в Африке — а она продолжается почти десятилетие, — не есть нечто невиданное в истории человечества...

— В стародавние времена это происходило само собой,— не выдержал шофер Слава.— А теперь виноваты люди.

— Во многом, но далеко не во всем,— сказал учитель.

— Ну да! — усмехнулся Слава.— Везде свою руку приложили. Добрались до самых недоступных мест.

— Согласен, что влияние деятельности человека на климат ощущается в глобальном масштабе,— ответил Бабаев.— Однако мы отнюдь еще не властвуем над матушкой-природой.— Он помолчал и добавил: — И слава богу! Как писал Чернышевский: «...новое строится не так легко, как разрушается старое»... А что касается природы, человек пока больше разрушал...

— Еще вы интересные слова Пришвина приводили,— снова сказала девочка.— «Поезд нашей человеческой жизни движется много быстрее, чем природа».

— Запомнила,— улыбнулся Олег Орестович.— Молодец! — Он повернулся ко мне: — Жаль, что эту простую истину не могут понять взрослые. Особенно те, от которых зависит, где построить новую плотину или осушить болото, возвести гигантский комбинат или открыть рудник...

Мы были уже на окраине. Район застроили совсем недавно. Прямые широкие улицы, многоэтажные стандартные дома. Конечно, жить здесь было удобнее, чем в старой части города. Но своеобразие и неповторимость Зорянска, с его уютными, утопающими в зелени улочками, разнообразием домов, здесь безвозвратно исчезли.

— Прямо как в новом районе Ленинграда...— с огорчением сказал Бабаев. Сам он был из города на Неве.

— Или в Москве,— откликнулся Руслан.— Я летом гостил у тети. Она живет в Бибиреве, это за ВДНХ... Точно такой же универсам...

Универсам должен был стать гордостью Зорянска — первый огромный торговый центр города. Внизу, на первом этаже,— продмаг самообслуживания, на втором — универсальный магазин. Бетонная коробка и стекло. Здание достранвали, открытие намечалось через год.

Слава сбавил скорость, чтобы не залипать машину: шоссе возле стройки было покрыто желтой глинистой жижей.

Минут через пять мы выехали к Берестень-озеру.

Оно всегда возникает как-то неожиданно. Дома микрорайона вдруг сменяет веселая рошица белоствольных берез, а за ними, сверкая, переливаясь,— синь воды. Собственно, Берестень был уже за городом.

— Ну, где нефть? — спросил я у ребят.

— Надо обогнуть озеро,— ответил Руслан.— Там, у Берестянкина оврага...

Мы проехали еще с километр по шоссе, огибающему чашу

озера и устремляющемуся дальше. Слава свернул к берегу. Но подъехать к месту, указанному дозорным Голубого патруля, оказалось невозможно — так размокла земля.

Мы двинулись к оврагу пешком, стараясь держаться поближе к воде — берега были песчаные.

Овраг, видимо как и озеро, получил свое название от речушки Берестянки, которая когда-то впадала в Берестень. Это было очень давно. Речка обмелела, а потом и вовсе исчезла, оставив после себя балку. Сейчас на дне оврага еще сохранились сугробы грязного позднего снега, в котором весенние ручьи проделали круглые, похожие на звериные, ходы.

— Вот здесь, — сказал Руслан.

Мы подошли к самой воде. Закатное солнце, стоявшее низко над землей как раз напротив, окрасило озеро в розовый цвет. И все же на его поверхности можно было явно различить радужные круги, играющие всем спектром.

Олег Орестович втянул в себя воздух. Все остальные невольно сделали то же самое.

К свежему запаху талого снега примешивался другой, резкий и знакомый мне, — керосина.

Почему-то вспомнилось послевоенное детство, душный маслянистый запах лампы-трехлинейки, при свете которой я сидел над уроками...

Бабаев зачерпнул горсть воды, понюхал.

Сзади слышались торопливые шаги. Это с автобусной остановки бежал Костя.

— Ну? Нефть, да? — с ходу выпалил он, едва переводя дыхание.

— По-моему, безизви, — сказал Бабаев. — Но может быть, и керосин, как сказал Захар Петрович... Интересно, много его попало в озеро?

— И у того берега есть! — воскликнул Костя, показывая на противоположную сторону Берестени.

— Там, и там, и там... — Руслан обвел рукой все озеро.

— А может, все-таки нефть? — спросил я у Бабаева, проверяя одно из своих предположений. — Чем черт не шутит, вдруг под нами месторождение...

— Нет, — категорически сказал Олег Орестович. — Я знаю, что такое нефть. Видел в Северном море аварию танкера. Совершенно другая картина. Да и запахи... А насчет месторождения — увы, Захар Петрович... Тут в прошлом году недалеко работала геологическая экспедиция...

— Мы были у них на экскурсиях, — подтвердила Роксана.

— Каолин нашли, — продолжал учитель. — Сырье для производства фарфора... А вот насчет черного золота... — Он развел руками. — А это, — показал Бабаев на радужные разводы, — следы чьего-то головотяпства. Прямо скажем, вреди-

тельство! Варварство! Вы не представляете, какой урон нанесен озеру! Теперь не выловите не только ни одного окуня, ни одной плотвички — головастика не увидите... А утки? Сколько было положено труда, чтобы летом у нас селились чирки, гоголи, чтобы давали тут потомство. Все насмарку...

Он махнул рукой и замолчал.

Мы прошли дальше по берегу. Везде было одно и то же — разноцветные маслянистые круги покрывали воду.

Солнце коснулось края земли. Неожиданно быстро похолодало. Надо было возвращаться в город: ребята продрогли да и стемнело.

Мы усадили дозорных в машину, а сами с Бабаевым отправились домой пешком, и он, и я жили в микрорайоне, неподалеку от строящегося универсама. Ходу — минут сорок. Хотелось обсудить увиденное.

Как бензин или керосин мог попасть в Берестень? Промышленных стоков в озеро нет. База нефтепродуктов находится на противоположном конце Зорянска, а судя по тому, что загрязнение распространилось уже по всему зеркалу, нефтепродуктов в воду попало немало...

— Не везет Берестеню, — со вздохом сказал Бабаев. — Мне рассказывали, что лет двадцать назад в нем хотели разводить омуля...

— Омуля? — удивился я. — Не слышал.

В Зорянске я жил всего десять лет.

— Да, омуля, — кивнул Олег Орестович. — Вода чистая, условия подходящие. Вот его и облюбовали ихтиологи. Хотели провести эксперимент. Если бы дело выгорело, то поставили бы все на промышленную основу. Начинание сулило большие доходы. Но сначала надо было, как тогда говорили, освободить будущее омулевое поле от сорной рыбы. То есть свести на нет малоценных окуней, плотву, красноперку...

— Господи, — вырвалось у меня. — Сорная! Да я, возвращаясь с рыбалки, радуюсь, если на кукане у меня болтается десяток окуньков. А уха из них!..

— Не рыбак, — улыбнулся Бабаев.

— Извините, Олег Орестович, что перебил. Продолжайте...

— Так вот, обработали Берестень полихлорпином, от которого все рыбешки скончались. Весной заселили озеро мальками байкальского омуля и стали ждать. Ждали, ждали, а омуля нет как нет...

— Почему? — поинтересовался я.

— Шука съела. Расплодилась страсть, и все стадо мальков без остатка сожрала...

— А как же этот самый?.. Ну, полихлор...

— Полихлорпинен? Не подействовал, видимо, на зубастую хищницу. Опять травили полихлорпином да еще для полиой

победы — карбофосом. Элементарное, между прочим, средство от тараканов... Результаты превзошли все ожидания. Не только рыбы — жучка у воды, бабочки над водой не водилось. Радовались: теперь-то у омуля врагов не будет... Через некоторое время произвели новый «засев» мальков с далекого Байкала. Проходит год, другой, третий... Ихтиологи разводят руками: омуля нет, зато окунь идет косяками...

— Как это?

— Вот так! Стали искать причину. Ученые головы ломали, а ларчик открывался просто! Жил неподалеку в деревеньке Желудево старичок. Всю жизнь ловил в Берестене окуней. А тут пришел с удочкой, а окуньков-то нет. Тогда старик наловил окуневой молоди в нашей Зоре и выпустил в Берестень. Живите, мол, и размножайтесь... Окунь подросли, расплодились, и начисто истребили омуля...

Учитель засмеялся.

— А дальше? — спросил я.

— Свернули эксперимент. Оставили Берестень в покое... А теперь вот кто-то другой «эксперимент» ставит... Знаете, Захар Петрович, чувствуют у нас себя эти «экспериментаторы» безнаказанными.

— Почему же? — возразил я. — В кодексе есть специальная статья, предусматривающая наказание за загрязнение окружающей среды, в частности водоемов. Ну а если такие действия нанесли значительный урон природе, например, привели к массовой гибели рыбы, — тем более!

— А как измерить в таком деле масштаб урона? — спросил Олег Орестович. — Что на первый взгляд кажется пустяком, завтра может обернуться непоправимой бедой!.. Удобрения... Обыкновенные удобрения, смываемые с полей в речку, постепенно убивают в ней все живое! Между прочим, Петр Первый повелевал пороть батогами солдат, которые сбрасывали мусор в Неву. А офицеров, допускавших это, на первый раз штрафовали, а если повторялось безобразие, разжаловали в солдаты. Он же, Петр Великий, категорически запретил ездить на лошадях по льду петербургских каналов, чтобы конский навоз после таяния льда не попадал в воду!

— Ну что же, в уме и в решительности Петру отказать нельзя, — сказал я.

— Зачастую именно разгильдяйство бывает виной тому, что называют загрязнением окружающей среды. А вернее, недоумие. Мол, природа все стерпит... Нет, не стерпит, — грустно покачал головой Бабаев.

Мы уже подходили к его дому.

— Олег Орестович, — сказал я на прощание, — вероятно, понадобится ваша помощь в этом деле.

— Конечно! — воскликнул Бабаев. — Помощников у вас бу-

дет предостаточно. Общество охраны природы, рыболовы, ученики нашей школы. Да и не только, думаю, нашей... Надо создать штаб по спасению Берестени. Подключим радио, редакцию «Знамя Зорьиска»... Помните операцию «Лебеди»?

— Еще бы! — ответил я.

Это было прошлой зимой. В начале января город облетела весть, что на Берестень опустилась лебединая стая. Почему она появилась в наших краях, да еще в такое время года, так и осталось загадкой для местных знатоков природы. Но тысячи зорянчан бросились к озеру, чтобы полюбоваться белоснежными грациозными птицами, плескавшимися в незамерзаемой полынье.

В нашей газете почти каждый день печатались заметки о необычных пернатых гостях.

Лебединую стаю — а она насчитывала восемьдесят одну птицу — взяли под свою опеку дозорные Голубого патруля, активисты Общества охраны природы, работники местного охотничьего хозяйства. Основания для тревоги были: в конце января ударили сильные морозы, полынья затягивалась льдом да и пищи стае не хватало.

Ежедневно на Берестене дежурило несколько человек. Они подкармливали лебедей.

Птицы прожили у нас всю зиму. А когда весна властно вступила в свои права, белоснежная стая взмыла в небо. Сделала прощальный круг над озером, словно благодаря собравшихся на берегу людей, и исчезла в снуге.

В дальнюю дорогу отправилась вся стая — ни один лебедь не погиб!..

— Вот увидите, Захар Петрович, — горячо произнес учитель, — и теперь нас весь город поддержит!

Придя домой, я тут же связался с начальником местной службы гидрометеорологии и контроля природной среды Чигриным. Он сказал, что незамедлительно пошлет на озеро людей, чтобы взять пробы воды.

На следующий день с утра Чигрин сам приехал в прокуратуру.

— В Берестене солярка, — сказал он, кладя на мой стол результаты анализов воды.

— Когда вы последний раз проверяли состояние воды в Берестене?

Наш «бог природы», как мы называли метеоролога, вздохнул:

— В ноябре прошлого года. Перед тем, как озеро замерзло. Водичка была чистая. Хоть пей! В этом году проб еще не брали. Лишь вчера, по вашей просьбе... Откуда все-таки солярка?

— Вот и мы ломаем голову... А не мог занести солярку какой-нибудь ручей впадающий в озеро?

— Исключено,— ответил Чигрин.— Берестень питается подземными ключами. В него не впадает ни один ручеек... Я поеду на озеро. Надо разобраться на месте...

«Бог природы» позвонил в середине дня и попросил меня приехать к Берестеню.

— Я буду ждать вас на шоссе.

Мы добрались со Славой до озера, миновали то место, с которого пошли вчера осматривать Берестень. Чигрин ждал нас возле фургончика с надписью «Лабораторная». Вид у него был озабоченный.

— Пойдемте, Захар Петрович,— сказал он, когда я выбрался из машины.— Тут рядом.

Мы свернули с асфальтовой ленты. И хотя шагали по прошлогодней траве, скоро на моих туфлях набралось изрядно глины.

Метрах в ста пятидесяти от дороги Чигрин остановился. Перед нами лежал овраг. Все тот же, Берестянкин. Но здесь он был совсем неглубокий — пологая ложбина.

Чигрин показал на землю. Она была бурая.

— Вся пропитана соляrkой,— зло сплюнул метеоролог.— Овраг тянется до самого озера. Идет под уклон к Берестеню... Теперь вам ясно?

Я кивнул.

— Тут вылили много горючего. И не вчера... Теперь начал таять снег, с талой водой солярка потекла в озеро. И будет течь, пока грунт не оттаяет совсем. Да и потом озеро будет отравляться соляrkой. От дождей...

— Что же делать? — вырвалось у меня.

— Препградить путь к стоку,— Чигрин осмотрелся.— А вот как — придется посоветоваться с мелнораторами.

Мы двинулись назад.

Меня мучил вопрос: кто мог сливать солярку в овраг? И главное, зачем? Буквально месяц назад в горькоме партии состоялось совещание. Экономить, экономить и еще раз экономить! Горючее, электроэнергию! На каждом предприятии, в каждом учреждении...

Приняли решение, обязались, взяли под строгий контроль... А тут — тонны, десятки тонн солярки! В землю...

Перед тем как расстаться с Чигриным, я посоветовал ему позвонить Бабаеву.

— Непременно,— сказал Чигрин.— Надо принимать срочные меры. Без общественников не обойтись...

Судьба Берестеня взволновала весь город. На призыв штаба, который возглавил Чигрин, откликнулись добровольцы. В Берестянкин овраг прибыли сотни людей с лопатами и ио-

силкамн. Работами по отводу загрязненной воды руководили специалисты.

Перед прокуратурой встала задача — найти виновников беды. Налицо было нанесение серьезного ущерба окружающей среде. Кроме того, загублено, очевидно, немало ценного дефицитного топлива...

Было возбуждено уголовное дело. Вести его я поручил следователю Владимиру Гордеевичу Фадееву. Он проработал в прокуратуре около трех лет и уже имел на своем счету несколько раскрытых сложных преступлений, в том числе и хозяйственных.

Фадеев прежде всего произвел тщательный осмотр Берестянкина оврага и примыкающей к нему местности, навел кое-какие справки, назначил судебные экспертизы. К концу следующего дня он зашел ко мне посоветоваться.

— Для начала, Владимир Гордеевич, хотелось бы знать ваше общее впечатление, — сказал я.

— Ну, что, стоят три вопроса... Классических. Кто, когда с какой целью... Начну по порядку. Солярка в Берестянкин овраг попала не с неба. Скорее всего, ее и завезли на автомашине.

— Завез или завозили? — уточнил я.

— Завозили! Такого количества горючего одним махом не завезешь. Даже в автоцистернах. А вот кто именно завозил, пока не знаю.

— Следов нет? — спросил я.

— Видимых во всяком случае, — ответил следователь. — От шоссэ до оврага — луг с мощной дерниной...

— Но вы сказали «завозили», — перебил я его. — Это подразумевает многократность действия... Какая бы крепкая ни была дернина, колея должна была появиться...

— Так-то оно так, но это могли делать в зимнее время. Снег нынче лег хороший. Толщина...

— Понимаю, — подхватил я его мысль, — возили по насту, растаял снег, растаяли и следы...

— Вот именно, — кивнул следователь, — сливали солярку приблизительно с середины ноября прошлого года по конец февраля нынешнего... Справку, когда у нас этой зимой лег снег и когда стоял, я получил у Чигрина.

— А прошлой зимой не могли завезти в овраг горючее? — спросил я.

— Нет, ни в коем случае, Захар Петрович. Тогда бы солярку в озере обнаружили прошлой весной.

— Это так, — согласился я. — А теперь третий, как вы выразились, классический вопрос. Цель?

— Кто-то был слишком богат, — усмехнулся следователь. — Карман кому-то оттягивало лишнее горючее.

— Какие хозяйства и предприятия пользуются у нас в городе соляркой? — поинтересовался я.

Владимир Гордеевич раскрыл блокнот.

— В городе есть три автохозяйства. Из них два — номер один и номер три — потребляют солярку. У них автомашин с дизелями...

— А номер два?

— У тех все автомобили с бензиновыми двигателями. Дальше: на солярке работают тракторы и некоторые автомашин в колхозе «Рассвет». Его земли как раз примыкают к Берестянкину оврагу... Соляркой пользуются также на керамическом заводе, в печах для обжига изделий... Ну и частички, разумеется. В деревнях Желудево, Матрешки, Курихино наберется с десятка полтора домов, где водяное отопление работает на дизельном топливе.

— Частник небось каждый литр бережет, — заметил я.

— Какой там литр! Грамм! — воскликнул следователь. — Искать надо на предприятиях. Кому-то необходимо было спрятать концы в воду. Вернее, в землю...

— И все-таки концы оказались в воде, — невесело пошутил я. — Тут, Владимир Гордеевич, вопрос в том, почему избавлялись от лишнего горючего? Что за нужда такая? Может, кто-то химичил с соляркой, накопил лишку, а грозила ревизия? Сами знаете, излишек порой хуже недостатка...

— Не понимаю, Захар Петрович, как и зачем химичить с соляркой? — пожал плечами следователь. — Ее трудно пустить налево...

— Почему? Тому же частичку.

— На отопление? Спрос небольшой. У моего брата дом в Курихино. Говорит, в сезон уходит тонны три. Другое дело — бензин. На него левых охотников и искать не надо. — Фадеев подумал и добавил: — Нет, здесь, конечно, совсем другое...

— Какие шаги думаете предпринять?

— Пройдусь по всем предприятиям в городе, где пользуются соляркой. Я связался с ОБХСС. Помогать мне будет Орлов.

С оперуполномоченным ОБХСС, лейтенантом Анатолием Васильевичем Орловым, Фадеев уже провел несколько расследований. Довольно успешно.

— А не может быть такого, что горючее в Берестянкин овраг слили не наши предприятия? Вдруг из другого района? — задал я последний вопрос следователю.

— Не думаю, — ответил он. — Из-за такого дела семь верст киселя хлебать!

— Почему же... Если хотели концы в воду, есть смысл и сюда ездить... Вы не упускайте этого из виду.

— Хорошо, Захар Петрович, — согласно кивнул Фадеев.

Только он ушел от меня, как раздался телефонный звонок. Звонил редактор городской газеты «Знамя Зорянска» Ким Афанасьевич Назаров. И все по тому же поводу — о возмутительном (как выразился редактор) происшествии на озере.

— Готовим целую полосу, — сказал Ким Афанасьевич. — Случай, прямо скажем, из ряда вон! В редакцию звонят, приходят люди, требуют дать достойную отповедь тем, кто посягает на природу... Будет заметка Чигрина об историче Берестеня и несколько писем трудящихся. Если вы не возражаете, хотим поместить интервью с вами. Так сказать, осветите вопрос с правовой точки зрения...

Я не возражал. Назаров, следует отдать ему должное, никогда не упускал возможности умело и с размахом преподнести на страницах газеты то или иное событие, взволновавшее жителей Зорянска. Так было, к примеру, с операцией «Лебедь», о которой я уже упоминал. Польза и читателю, и редакции. Читатель получал животрепещущую информацию, а для редакции это были самые счастливые дни: газету, что говорится, рвали из рук; в киосках весь тираж раскупался мгновенно.

В тот же день меня посетил корреспондент газеты. Интервью было напечатано в ближайшем номере. Помню вопросов об ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, мне был задан и такой: что предприняла прокуратура города в связи со случаем на озере? Я сказал, что по этому факту ведется расследование. В подробности я, естественно, вдаваться не стал.

Опубликование этого интервью имело неожиданные результаты. В прокуратуру позвонил рыбак, который любил проводить свободное время на озере у луки. Он сообщил, что видел однажды зимой, как две машины свернули с шоссе и направились в сторону Берестянкина оврага.

Я попросил свидетеля зайти в прокуратуру. Из его показаний, данных следователю, выходило, что грузовики ехали как раз туда, где сливалось горячее. Машины были большие, самосвалы. К сожалению, уже стемнело, и марку автомобилей он не разглядел. Как и номеров.

Аналогичную картину наблюдали и два подростка: из деревни Желудево, которые катались на лыжах у Берестеня. Дело было тоже под вечер. Самосвал свернул с шоссе к тому же месту. Насчет марки машины возникли разногласия: один парнишка утверждал, что это был МАЗ, второй — КраЗ.

Сказанное свидетелями подтверждало предположение Фадеева: солярку завозили зимой, по снегу.

Были в прокуратуру и анонимные звонки, продиктованные, вероятно, не самыми лучшими чувствами, — желанием кому-то

отомстить или просто напакостить. Одна женщина, например, уверяла, что в озеро специально лила керосин ее соседка, по своему злодейскому характеру. «Хотела всю рыбу известить, чтобы всем было плохо. Знаю я ее, стерву», — закончила свою речь анонимщица и бросила трубку.

Я знаю цену подобным звонкам. На них не стоит обращать внимания. Но один звонок все-таки насторожил.

Позвонил мужчина и хриплым голосом сказал:

— Я насчет озера и солярки, начальник... Автобазу проверь. Потряси Альку, она-то в курсе...

Мне хотелось выяснить подробности, но из трубки уже доносились частые гудки.

Я сказал о звонке Фадееву, зашедшему ко мне вместе с оперуполномоченным ОБХСС Орловым.

— А номер автобазы? — зажегся было следователь.

— Увы, — развел я руками. — Но я бы особенно не обольщался, Владимир Гордеевич. Самн знаете, в подавляющем большинстве анонимщики лгут.

— Автобаза, какая-то Алька... — задумчиво произнес Фадеев и, посмотрев на лейтенанта, спросил: — Это нмн вам ничего не говорит?

— Да вроде нет, — пожал плечами Орлов.

Следователь и лейтенант замолчали, что-то обдумывали.

— Как видно, вас этот звонок заинтересовал? — спросил я.

— Пожалуй. Ну Альку понщем, — ответил Фадеев. — А теперь вот хотим сказать, мы тут с Анатолием Васильевичем кое-что проанализировали... Дорожка все же и так ведет к автохозяйствам.

— Имеются конкретные улики?

— Пока только общие соображения, — сказал следователь.

— Понимаете, Захар Петрович, — начал оперуполномоченный, — автохозяйства у нас словно невесты с богатым приданым. Им все кланяются, их все просят. Да вы сами отлично знаете, транспорт нужен всем, а его не хватает. Вот организации и идут на всяческие уловки и ухищрения, лишь бы не ссориться с транспортниками...

Об этом я действительно знал. На совещаниях и хозяйственных активах особенно жаловались строители: из-за нехватки автотранспорта они все время находятся на грани срыва плановых заданий...

— В прошлом году, — продолжал оперуполномоченный, — мы разбирались с приписками в тресте «Зорянскспецстрой»... Вместо сорока тысяч, которые трест должен был заплатить автохозяйству номер два, выложили девяносто! Я спрашиваю у одного деятеля «Зорянскспецстроя»: «Братцы, что вы делаете?» А он мне: «Дорогой товарищ, вынуждены! Переводим деньги транспортникам не за фактическую работу, а за то, что

«нарисовано» в их путевых документах». Пытался, говорит, подписывать бумаги только за выполненный объем работ, так автохозяйство тут же срезало количество машин. Встали экскаваторы, грейдеры. График стронтельства полетел ко всем чертям... Пришлось принимать условия автохозяйства.

— А чем руководствуются транспортники? Кто им дал право так безбожно обдирать стронтелей? — спросил я.

— План, Захар Петрович, — ответил Орлов. — Они должны отчитываться по тоннам и тонно-километрам. А с объемом перевозок «Зорянскспецстроа» якобы много не наберешь... Вот автобазы и посылают машины более покладным клентам.

— Да, — вздохнул Фадеев, — у всех план. А своя рубашка ближе к телу...

— Вся беда в том, — сказал Орлов, — что автохозяйства из-за этого плана действительной раз вынуждены идти на нарушения. Что-то недоработано во взаимоотношениях с предприятиями, которые пользуются их услугами.

— Но это не повод для нарушения законов, — заметил я. — Было бы желание, а увязать все можно. В том числе и ведомственные интересы. А от нарушения один шаг до преступления. Всегда найдутся охотники погреть руки на неувязках...

— Увы! — подтвердил оперуполномоченный. — Смотрите, какая вырисовывается картина: мало того что транспортники получают оплату за несуществующие тонны и тонно-километры, им на эти перевозки выделяются дополнительное горючее и смазочные материалы... И тут встает еще один вопрос: куда это горючее и смазочные материалы деваются?

— А этот вопрос, — улыбнулся я, — в свою очередь, прямо связан с делом, которым вы сейчас заняты.

— Вот именно, — тоже улыбнулся Фадеев. — Круг наших понсков сужается. Я и Анатолий Васильевич предполагаем, что безобразия в Берестянкином овраге мог учинить кто-то из шоферов автохозяйств — первого или третьего.

— Понятно, — кивнул я. — Автомашинны, работающие на дизельном топливе, только у них.

Для через два после этого разговора, возвращаясь с работы, я встретил Олега Орестовича Бабаева. Он гулял с сыншкой. Я заинтересовался, как идут работы по очистке озера («Знамя Зорянска» писала, что для этой цели прибыла группа специалистов).

— Все не так просто, — сказал учитель. — Абсолютно надежных средств нет. Конечно, имеются специальные реагенты. Их разбрасывают по поверхности воды, они взаимодействуют с продуктами загрязнения...

— Значит, очистить озеро все-таки возможно?

— Будем надеяться. Но, как известно, портить легче, чем

исправлять. А на земле хуже всего приходится воде. Ведь любые продукты загрязнения окружающей среды в конечном итоге обязательно попадают в воду. В реки, озера, в мировой океан... Вода... Она удивительно проста и в то же время загадочна. Дешева и одновременно бесценна. Она утоляет жажду и дает жизнь полям, лесам. Кормит и лечит человека. И вообще, знаете что такое жизнь? По мнению выдающегося немецкого физиолога Раймона, жизнь — это одушевленная вода... Ведь вот даже человек больше чем наполовину состоит из воды. А в нашем сером веществе,— Олег Орестович постучал себя пальцем по голове,— ее больше всего — восемьдесят пять процентов!

— Между прочим, неплохой аргумент для тех, кто не хочет думать об охране воды вокруг нас,— пошутил я.

— Юмор юмором, а положение с водой на земле тяжелое. Большинство больших и малых рек Европы мертвы... Например, на Эльбе, где еще в конце прошлого века промышляли семгу, осетра, миногу, на берегах таблички: «Купаться и пить воду запрещается». Представляете, даже купаться! Опасно для жизни... А в Америке? Трудно представить, что еще сто пятьдесят лет назад в некоторых ее северных районах осетровую икру подавали к столу бесплатно, вроде приправы, как соль...

— Черную икру? — не поверил я.

— Вот именно. А теперь какой там осетр! Даже плотвы не выловить. Все загублено промышленными стоками.

— Обратная сторона прогресса, Олег Орестович. За прогресс надо платить.

— Боюсь, скоро уже не платить, а поплатиться придется. Самым печальным образом... Между прочим, промышленные стоки, губительные осадки, а я имею в виду так называемые кислые дожди,— не единственная причина смерти рек. Возьмите хотя бы осушение болот... За последнее время в Белоруссии в результате такого осушения было уничтожено девятнадцать рек! А еще столько же рек утратили хозяйственное значение — в них исчезли рыба, бобры, упали урожаи на близлежащих полях и лугах... А сооружение водохранилищ? Они замедляют течение рек, изменяют их уровень. В свою очередь повышение или понижение уровня реки ведет к изменению растительного мира по берегам и в окрестностях. А деревья и кустарники сохраняют водный баланс в почве, сохраняют источники и родники, которые питают реки... В общем, стоит нарушить в природе одно звено, как все оборачивается непредвиденными последствиями. Писатель Аксаков называл человека «заклятым и торжествующим изменителем лица природы»... С тем, что мы изменители, согласиться можно. Но торжеств на нашу долю выпадает не слишком много.

— Мрачную картину вы нарисовали!..

Бабаев усмехнулся.

— Когда я читаю решения партийных съездов, пленумов, слушаю речи писателей, читаю книги наших ученых об охране окружающей среды, в моих ушах слышится не просто сигнал, а сирена тревоги... Тревоги за всю природу, за весь мир, за все человечество...

— Где же выход?

— Над этим, как вы знаете, Захар Петрович, бьются ученые во всем мире. Профессора, академики. Целые институты! Ищут выход. Вернее, ищут. Путем проб и ошибок. — Он вздохнул. — Будем надеяться, что найдут... Конечно, легче справиться в каком-нибудь одном месте. Как, например, Петр Великий взял да и повелел вычистить в Москве Поганые пруды, после чего их стали называть Чистыми прудами...

— Те, что недалеко от метро «Кировская»?

— Те самые! Знаменитые Чистые пруды, воспетые поэтами и писателями. Но теперь проблема экологии глобальная. Например, в Канаде дымят трубы заводов, загрязняя атмосферу серой, а из-за этого в Швеции выпадают дожди пополам с серной кислотой, те самые, что называют «кислыми»...

— Ну вот видите, если все наведут порядок у себя дома, то и другим будет лучше.

— Верно, — согласился учитель и замолчал. Потом сказал: — Берестей мы, кажется, отстоим. А где гарантия, что завтра какой-нибудь подлец не сольет в это же озеро или в нашу речку ядовитые отходы? Если уже не сливает...

— А вы зачем? — улыбулся я. — Голубой патруль...

— Мы, к сожалению, только констатируем. Знаете, Захар Петрович, ребята предложили проверить в городе и в округе: не сливали ли горючее еще где-нибудь.

— А что, хорошая задумка! — сказал я. — И непременно дайте знать, если обнаружите что-либо подозрительное.

— Конечно, тут же сообщим, — пообещал Бабаев.

Получилось так, что мне пришлось встретиться с директором первого автохозяйства Ершовым. К нам поступили жалобы от двух сотрудников этого предприятия на незаконное увольнение. Ракитова Ольга Павловна, помощник прокурора, которая обычно занималась этими вопросами, еще не вернулась с семинара.

Прежде чем отправиться на автобазу, я навел кое-какие справки. Выяснилось, что положение там было не блестящее. Предприятие систематически не выполняло план. Донимала текучка кадров. Казалось бы, руководство должно бороться за каждого работника. Но...

— Таких мне и даром не надо! Прогульщики и пьяницы! — закричал Ершов, когда я ему сказал о жалобниках.

— А вы пробовали их перевоспитывать? — спросил я. — Борьба за дисциплину и порядок подразумевает не только наказание, но и работу с людьми.

— Работал, работал, Захар Петрович. Пытался по-всякому. И сколько натерпелся — одному богу известно! Хватит! Увольнение законное. Профсоюз одобрил. Коллектив поддержал. Честное слово, дышать легче стало... У меня принцип: лучше меньше, да лучше.

— Но ведь шоферов не хватает!

— Это точно, — вздохнул Ершов.

— А как же план? Надоело небось, когда склоняют...

— И это верно, — еще тяжелее вздохнул директор. — Тут, понимаете, заколдованный круг... Не выполняем план — не дают жилья, не дают новые машины. Нет жилья — как я сохранию кадры? Да и на наших драидулетах в передовые не выскочишь. Простанывает четверть парка... Вот и не задерживаются у меня люди... Читали, наверное, сказку о Золушке? Так вот я и есть Золушка. Другим пряники, а мне... — Ершов в отчаянии махнул рукой.

В профсоюзном комитете базы я убедился, что жалоба в прокуратуру не обоснована. Решение администрации об увольнении прогульщиков законно и с профкомом согласовано.

И все же было интересно, почему на предприятии такая неблагоприятная обстановка.

Мы разговорились с секретарем парторганизации Бабкиным.

— Причин много, — сказал он. — Но самая главная, считаю, Ершов — не директор. Был хорошим инженером, свой участок знал на все сто! А руководитель из него не получился.

— Мягкотелый?

— Да нет, пожалуй! Может терпеть, терпеть, а потом сорвется — только щепки летят во все стороны. Коллектив это чувствует. Нет ровного, твердого отношения, нет стабильности. Какая же тут дисциплина? И еще. Не умеет отстаивать наши интересы перед вышестоящими организациями... Работать любит. Сам вкалывает по десять — двенадцать часов и других заставляет, а порядка все нет. Ведь надо работу по-уминому организовать...

— Неужели Ершов не понимает, что не справляется? — удивился я.

— Как не понимать? Даже попросил, чтобы обратно в инженеры перевели. Не отпускают. Для меня загадка — почему? Ругают то и дело, разные проверки... Вот и прокуратура нами заинтересовалась. Ваш товарищ навевается чуть ли не каждый день... Это тоже нервирует коллектив...

«Наш товарищ», следовательно Фадеев, действительно основательно занялся автобазой Ершова.

— Обстановка на предприятии весьма способствует нарушениям, — сказал мне Владимир Гордеевич. — Вы бы видели, в каком состоянии путевые листы! Черт ногу сломит. Еле-еле разобрались сообща с Орловым.

— Ну и каков улов? — поинтересовался я.

— Да вроде бы явных злоупотреблений нет...

— А скрытых?

— Тоже...

— С клиентами автобазы беседовали?

— Конечно, — кивнул следователь. — Говорят, Ершов старается не нарушать договорные обязательства.

— Как это — старается?

— Если и подводил когда, то по объективным причинам. Машины выходят из строя, не хватает водителей.

— А как насчет приписок?

— Все чин чинном. Сколько наработали, столько и получают.

— Может, не хотят ссориться с Ершовым?

— Не похоже, Захар Петрович...

— С шоферами говорили? Что они думают?

— Без толку, — махнул рукой следователь. — Народ какой-то безразличный. Жалуются на низкие заработки, квартиры, мол, не светят. Многие хотят уйти, если подвернется хорошее место. Завидуют тем, кто у Лукина...

Семен Вахрамеевич Лукин был директором автохозяйства номер три. Его предприятие уже много лет прочно удерживает первое место по области. Грузный, с гладким бритым черепом и пышными казацкими усами, Семен Вахрамеевич неизменно сживал в президиумах совещаний. Он напоминал мне одного из персонажей репинской картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Только чуба-оселедца ему не хватает...

Поговаривали, что Лукин собирается на пенсию.

— Насколько я понял, ничего конкретного у Ершова вы так и не обнаружили, — подытожил я.

— Во всяком случае, по документам. Но, знаете, интуиция... Думается, нарушители с его предприятия.

— Интуиция для следователя — дело, конечно, не последнее, — заметил я. — Однако ваш хлеб, как известно, — факты. От вашего рассказа у меня осталось какое-то двойственное впечатление... С одной стороны, вы поработали у Ершова серьезно, а с другой, сплошные «может быть», «вероятно», «думается»... Расплывчато, Владимир Гордеевич. Не обижайтесь за откровенность...

— Какая может быть обидка? — вздохнул Фадеев. — Хвататься пока действительно нечем. Я и сам чувствую — рыхло пока все. Не вытанцовывается...

— А как у Лукина?

— Любо-дорого посмотреть. Кажется, Стаиславский го-

ворнул, что театр начинается с вешалки? Так и у Семена Вахрамеевича... Заходишь через проходную — сразу стенды, плакаты, на территории ни соринки... Это уже стиль. Во всем. Что дисциплина, что показатели. Работники довольны: зарплата хорошая, премии ежеквартально. Там у них гремит Герман Воронцов. Работает по методу бригадного подряда. Авторитет не только у нас в городе, но и в области. Попасть к Воронцову в бригаду — что в престижный институт! Нужны высшие баллы по всем статьям... Да вы, наверное, читали о нем в «Знамени Зорянска»?

— Как же, — кивнул я, — маяк...

Я даже вспомнил лицо Воронцова: его большой портрет, написанный художником, висел на аллее трудовой славы в городском парке...

По словам Фадеева, проверка в автохозяйстве номер три тоже не дала никаких материалов для следствия.

— Где заправляются автомашины? — спросил я.

— Те, что с бензиновыми двигателями, на автозаправочных станциях, дизельные — у себя... По этой линии также никаких зацепок.

— А знаете, Владимир Гордеевич, может быть, вам стоит копнуть с другой стороны? Помните, что рассказывал Орлов о взаимоотношениях автохозяйств с клиентами? Выясните, на каких объектах были заняты машины Ершова, а где Лукина.

— Кое-что мне известно.

— А должно быть известно все, — подчеркнул я. — Исчерпывающе! Насколько я знаю, клиенты заинтересованы в том, чтобы скрывать некоторые факты... За приписки по головке не глядят. Так что вы не ограничивайтесь объяснениями прорабов. Изучите проектно-сметную документацию. Сверьте заложенные в них объемы перевозок с фактически выполненными...

— Понимаю, — кивнул следователь. — Фиктивные тонно-километры — это излишек горючего... Да, пожалуй, вы правы. — Он улыбнулся: — Что ж, как говорил Маяковский, ради одного-единственного слова перекопаешь тонны словесной руды... Буду копать. Хотя бы ради единственного факта...

В таких небольших городах, как Зорянск, если случится где пожар, автоавария или другая беда, сразу становится известно всем. Неудивительно, что слух об аварии на шоссе неподалеку от Зорянска распространился мгновенно. Это происшествие не сходило с уст обитателей города, обрастая невероятными подробностями и домыслами.

Якобы грузовик столкнулся с рейсовым автобусом, и погнбло много людей.

Я в эти дни выезжал на совещание в областную прокуратуру и, вернувшись, узнал об аварии из газеты «Знамя Зорянска».

О ней сообщалось в заметке под заголовком «Спасая человеческие жизни».

На самом деле все выглядело так. Водитель самосвала ехал под уклоном (я хорошо помнил это место на двадцать седьмом километре шоссе). Был гололед. То ли тормоза отказали, то ли машина стала неуправляемой на скользкой дороге, но тяжелый КраЗ должен был врезаться в автобус с людьми, который появился у него на пути. Как рассказывают очевидцы происшествия, шофер резко отвернул руль, и машина свалилась в овраг.

Сообщалась и фамилия водителя — Николай Дорохин. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. Врачи до сих пор борются за его жизнь.

Имя шофера показалось мне знакомым.

— С третьей автобазы, — сказал следователь Фадеев, зашедший ко мне на доклад. — Между прочим, из бригады Германа Воронцова...

И тут я вспомнил Дорохина, этого нескладного молчуна. Вспомнил и его жену Аию.

— Я знаю Дорохина.

— Откуда? — удивился Фадеев.

— Странная история... Сначала пришла ко мне жена. Кто-то избил ее мужа. Вызвал Николая... На вид — бирюком. А на поверку — герой.

— Да, внешность иной раз бывает обманчива, — заметил следователь.

Владимир Гордеевич был озабочен. Я спросил, чем.

— Не знаю, Захар Петрович, как разобраться в одном факте... Помните наш последний разговор? Ну, о клнентах автобазы? Так вот, проштудировал я проектно-сметную документацию строительства универсама. Это недалеко от вашего дома...

— Знаю, знаю, — нетерпеливо сказал я.

— Землю из котлована вывозили машины с третьей автобазы. По их путевым листам выходит, что грунта вывезено в два раза больше, чем предусмотрено плановыми заданиями.

— Что говорит прораб?

— Обвинил геологов. В их заключении по исследованию грунта сказано, что в этом месте суглинок. А стали рыть котлованы, оказалось — песок. И пришлось якобы вывозить грунта больше: осыпались края... Наглядно это можно изобразить так. — Следователь взял карандаш и нарисовал на бумаге форму котлована в разрезе. — При твердом грунте — стены отвесные. А если песок — получается как бы перевернутая трапеция. Вот за счет этих углов, — он заштриховал образовавшиеся на чертеже треугольники, — и вышли лишние кубометры.

— Вы беседовали с геологами?

— Возмущаются. За такую ошибку, говорят, можно здорово погореть... Настаивают, что в районе котлована суглинок. Показывали результаты проб... Я свел обе стороны вместе. Каждая стоит на своем... Дело, так сказать, чести...

— Чести ли? — усмеялся я. — Как-то не верится, чтобы геологи ошиблись.

— Мие тоже, — признался Фадеев. — Нечисто тут... Вчера прораба перевели на другую стройку.

— Кто возил грунт из котлована?

Следователь вздохнул:

— Бригада Воронцова. Наш маяк!

— Вы беседовали с ним?

— Он со мной просто не захотел разговаривать. Так и заявил: мол, Герман Воронцов не какой-нибудь там жулик. Посягать на государственную копейку?! Да он выгонит из бригады любого, кто только посмеет подумать об этаким...

— А с другими шоферами из его бригады говорили?

— Как бригадир, так и они. Правда, менее безапелляционно. Но все в один голос твердят: нарушений и прочей липы не может быть, потому что они — передовики и марать свою честь и марку автобазы ни за что не посмеют... Вот и получается, Захар Петрович, строители говорят одно, геологи — другое. А Воронцов вообще ни о чем слышать не хочет.

— Надо было пойти к Лукину.

— Заходил. Высмеял меня. И еще пригрозил. Бросаю, мол, тебя на лучшую бригаду в области...

— А вы и отступили? — покачал я головой.

У Фадеева на скулах заходили желваки.

— Нет у меня бесспорных фактов, — произнес он и хитро добавил: — Еще нет.

— Ну хорошо, — примирительно сказал я. — Что вы намерены делать дальше?

— Пришел за помощью. Хочу вызвать геологов из области. На третейский суд... Но пока будет идти переписка...

— Я вас понял. Владимир Гордеевич. Ускорим! Через областную прокуратуру. Готовьте постановление о назначении экспертизы...

Редактора нашей городской газеты Назарова за глаза называли «Колобком». Кто пустил это прозвище, трудно сказать, но Ким Афанасьевич и впрямь походил на колобок. Маленького росточка, кругленький, с короткими ножками, он был очень подвижный и не мог долго устоять на одном месте. Подкатится, задаст несколько вопросов или бросит одну-две фразы и тут же спешит дальше.

Вот так же своей быстрой семенящей походкой подошел он ко мне, когда мы случайно увиделись в горисполкоме.

— Ну как, нашли злоумышленников? — спросил он.

— Каких? — не понял я.

— Да тех, кто слил в Берестень солярку...

— Идет следствие, — неопределенно ответил я.

— А успехи есть? — продолжал любопытствовать Ким Афанасьевич. — Нас донимают телефонными звонками и письмами. Хотелось бы подкинуть читателю свеженькую информацию... Так сказать, гласность... Я пришлю к вам нашего корреспондента?

— Преждевременно, — ответил я.

— Поищу, поищу, — поспешно произнес Назаров. — Следственная тайна. Ну что же, подождем, подождем... А общественность бурлит, возмущается.

Назаров с сожалением вздохнул и покатился дальше.

На следующий день, развернув «Знамя Зорянска», я увидел на четвертой полосе аишлаг, набранный большими буквами: «Еще раз о Берестене». Под ним шла подборка писем читателей, которые продолжали клеймить загрязнителей, и пространное интервью со знатым бригадиром шоферов Гермаином Воронцовым, он обличал тех, кто поднял руку на чудо природы — Берестень-озеро.

«Однако же выкрутился, — подумал я про Назарова. — Нашел-таки выход».

Когда я показал газету Фадееву, он усмехнулся:

— Не пожалел для родственничка места...

— Какого родственничка? — не понял я.

— Воронцов — зять редактора, — ответил Владимир Гордеевич.

Это было для меня новостью.

— Лишняя реклама никогда не помешает, — продолжал Фадеев, как мне показалось, неодобрительно.

— Передовик... По-моему, ничего предосудительного, — заметил я.

Хотя мне и не очень понравилось, что в предисловии к интервью заслуги и достоинства бригадира перечислялись слишком пышно. Ким Афанасьевич мог «преподнести» зятя несколько поскромнее.

— Можно было бы и без эпитетов, — сказал следовательно, словно отгадав мои мысли. — Вот я и думаю: не специально ли?

— Что вы имеете в виду? — поинтересовался я.

— Понимаете, Захар Петрович, мне кажется, что кое-кому не нравится мое внимание к особе Воронцова. И вообще в данное время...

Фадеев замолчал.

— У вас появились новые факты?

— Да,— кивнул следователь.— Правда, документы будут готовы через день-другой... Специалисты из области, которых я вызвал для проведения экспертизы, подтверждают, что почва котлована под универсам — суглинок. Именно суглинок, а не песок, как твердят строители... Наши геологи не ошиблись... Выходит, «превращать» твердую землю в сыпучую надо было для того, чтобы иметь липовые тонны и тонно-километры, то есть из ничего получать деньги... Алхимия да и только!

— Насчет суглинка точно?

— Точнее не бывает,— кивнул следователь.— Я говорил с экспертами. Анализы. Наука! Сидят, пишут заключение... Теперь сами понимаете: Воронцов — передовик, мажк, а чем занимается...

— Ну и ну,— покачал я головой.

— Но это еще не все.— Фадеев помолчал, подумал.— Ладно, Захар Петрович, пока делиться не буду. Может, ошибочка. Но есть одно соображение. Надо проверить. Хочу съездить сегодня с Орловым... Тут неподалеку от Зорянска...

Я не стал допытываться. Придет время, расскажет.

Утром следующего дня, придя на работу, я увидел у себя в приемной человек семь ребят с учителем Бабаевым во главе. Среди мальчишек и девчонок я сразу узнал тех самых дозорных Голубого патруля, которые первыми подняли тревогу,— Руслана, Роксану и Костю.

Все были крайне возбуждены. Лишь один Костя сидел на стуле тихий-тихий.

При моем появлении поднялся невообразимый шум. Говорили все разом, и я, естественно, ничего не мог понять.

Приглашенные в кабинет ребята присмирели. Я попросил рассказать о случившемся спокойно и по порядку.

— Помните, Захар Петрович,— начал учитель,— я вам говорил, что наш патруль решил обследовать город и окрестности, нет ли еще где слива горячего?

— Как же, помню,— кивнул я.

— Так вот,— продолжал Бабаев,— они нашли еще одно такое пятно.

— У Желудева, где старая церквушка! — не выдержав, выпалила Роксана.

Я прикинул: от Берестянкина оврага, а вернее, от того места, где был обнаружен злосчастный слив горячего, было километров пять.

— Это второе пятно,— сказал Бабаев,— по рассказам дозорных, очень большое.

— Ага, большущее! — опять встрял кто-то.

На него зашикали.

— Ребята решили устроить засаду,— рассказывал дальше учитель, когда в кабинете стало тихо.— Вчера вечером они попытались задержать сливальщика — и вот результат...

Олег Орестович показал на Костю. Тот повернулся ко мне лицом, и я сразу обратил внимание на сник.

— Ох и врезал он мне! — сказал мальчишка, не скрывая гордости от того, что был героем события.

Я еле сдержал улыбку, хотя ситуация была скорее драматическая.

Затем учитель передал слово Руслану. Ученик рассказывал с удовольствием. Как они обнаружили пятно горючего, как мерзли три часа в кустах, как «застукали» шофера в тот момент, когда он шлангом пустил из бака на землю струю топлива.

В это время дозорные и выскочили из своего укрытия.

— Мы показали удостоверения Голубого патруля и попросили шофера предъявить документы,— в полной тишине вел свой рассказ Руслан.— Шофер обругал нас. Нецензурно. Залез в машину и хотел ехать. Тогда мы встали перед машиной. Он вылез, оттолкнул Роксану и меня. Мы упали. Тогда Костя назвал его бандитом...

— А что? — воскликнул Костя.— Поднять руку на девочку!

Теперь я уже не сдержал улыбку. Улыбнулся и Олег Орестович.

— Продолжай, Руслан,— сказал учитель.

— Водитель ударил Костю и уехал. К сожалению, товарищ прокурор, задержать его мы не смогли, но номер машины, конечно, запомнили.

Эти слова мальчик произнес так, словно докладывал командиру где-нибудь на погранзаставе.

— Ну а теперь я задам несколько вопросов... Значит, вы обнаружили горючее на земле вчера днем. Почему не дали знать кому-нибудь из старших? Ну, хотя бы Олегу Орестовичу?

— Мы думали... Мы хотели...— начал было Руслан и умолк, растерянно оглядываясь на ребят, словно ища у них поддержки.— В общем...

— В общем, играли в сыщиков,— мягко, но в то же время с укором перебил его учитель.— Я, Захар Петрович, уже сделал им внушение. По-моему, они поняли. Это дело серьезное. Опасное дело. Для этого есть милиция. Хорошо, кончилось сником... И еще. Я сам узнал обо всем только сегодня утром, в школе. И сразу к вам. Директор нас отпустил...

— Но почему же потом, после случившегося, вы не пошли к Олегу Орестовичу?

— Мы знали, что у Олега Орестовича болен ребенок, и не хотели беспокоить,— ответила Роксана.

— Да-да,— смущенно подтвердил Бабаев.— Сынишка... Бронхит...

— Что вы так заботитесь о своем учителе, хорошо. Но ведь могли обратиться к любому постовому милиционеру, прийти к нам.

Дозорные дружно признались в своей ошибке.

Однако они нам очень помогли. Теперь мы знали номер машины, да и водителя каждый из сидевших в засаде мог теперь опознать.

Я попросил учителя и учеников дать официальные показания следователю Фадееву. Вскоре после допроса дозорных Владимир Гордеевич зашел ко мне.

— Боевые ребята, правда? — спросил я.

— Слишком, — вздохнул следователь. — А если бы этого Костю не кулаком, а монтировкой?..

— Да, я уж им прочел тут нотацию.

Фадеев рассказал, что позвонил во все три городских автохозяйства. Машина оказалась с третьей автобазы.

— Водитель установлен? — спросил я.

— Пикуль, Роман Егорович. — Фадеев сделал паузу и добавил: — Из бригады Воронцова.

— Опять Воронцов! — вырвалось у меня.

— Он, родной, — усмехнулся Владимир Гордеевич.

— Когда будете допрашивать?

— Хотел сразу ехать на автобазу, да вот странная история... Наш любезный Пикуль Роман Егорович взял сегодня отпуск без содержания. На неделю. Отбыл в другой город на похороны родственника. Якобы...

— Ну зачем вы так, — покачал я головой. — Может, он действительно уехал на похороны.

— То, что уехал, верно. А вот насчет похорон... — Следователь махнул рукой. — Оттягивают время. Видно, Воронцов и его дружки надеются за эту неделю что-нибудь придумать.

— Не знаю, не знаю, Владимир Гордеевич... Во всяком случае, постарайтесь тщательно проверить показания ребят. А то, чего доброго, нафантазируют...

— Сейчас не знам, — улыбнулся Фадеев. — Следы протекторов на земле наверняка сохранились. — Он посмотрел на часы. — Вот-вот подъедет эксперт. Отправимся на место с ребятами и Бабаевым...

Фадеев оказался прав: никто из родственников Пикюля не умирал.

Через два дня сам Пикуль был обнаружен у приятеля в деревне Курихино, что неподалеку от Зорянска. Там шофер пьянствовал с дружкой, схоронившись в баньке. Работники милиции подождали, пока он проспится, придет в себя, а потом доставили его на допрос к следователю приводом: Пикуль демонстративно не хотел принимать повестку.

Я попросил Фадеева зайти ко мне сразу же после допроса, но неожиданно Владимир Гордеевич позвонил мне из своего кабинета.

— Захар Петрович, вот тут допрашиваемый хочет высказать вам свою жалобу на меня...

— Хорошо, сейчас зайду, — ответил я и направился в комнату следователя.

Заросший щетной, сонный от долгой пьянки, шофер сидел напротив Фадеева с мрачным лицом, скрестив руки на груди.

Я представился и спросил, какие у Пикуля претензии.

— Протестую, потому что меня затащили сюда незаконно, — начал он с гонором. — Имею право не являться. А на меня милицию напустили...

— На каком основании вы хотели уклониться от явки к следователю? — задал я вопрос.

— Горе у меня, товарищ прокурор.

— Какое? — спросил я.

— Только что с похорон, — хрипло произнес шофер, глядя куда-то в угол комнаты.

— Кого хоронили?

Пикуль молчал, видимо почувствовав ловушку.

— Ну, Роман Егорович, — поторопил его Фадеев.

— Двоюродного брата... В Ростове...

— Нехорошо хоронить живого человека, — покачал головой следователь. — Мы звонили в Ростов. Ваш двоюродный брат жив-здоров, чего и вам желает...

Водитель некоторое время не мог произнести ни слова. Ждал и мы. Наконец он признался:

— В общем, заправлял я вам мозг. Каюсь...

— Солгали? — уточнил Фадеев.

— Уж как есть, — развел руками Пикуль.

— Для чего? — спросил Фадеев.

Пикуль стал объяснять, что, мол, поссорился с женой, причем серьезно, и вот придумал повод смыться на неделю из дому. Так, мол, было тошно, что надо было душу отвести. Вот и закатился он к приятелю в Курихино.

— А другой причины не было? — спросил следователь.

— Говорю то, что было, — ответил Пикуль, изобразив на своем лице искренность и покаяние.

— Ладио, это объяснение оставим пока на вашей совести, — сказал Фадеев. — А теперь, Роман Егорович, расскажите, пожалуйста, что произошло с вами в минувший четверг возле деревни Желудево в седьмом часу вечера.

— В седьмом часу? Возле Желудева? — переспросил шофер. Он посмотрел в потолок, хмыкнул. — Да вроде бы ничего...

— Но вы были там в это время? — спросил Фадеев.

— Проезжал мимо.

— Не останавливались? Не сворачивали никуда?

— Может, и останавливался. Разве упомнишь... Я по той дороге несколько раз в день мотаюсь туда-обратно. Такая работа...

— Хорошо, я вам напомним, — сказал Фадеев. — Вы свернули в рощу за старой церквушкой... Было?

— Господи, действительно было, — вдруг открыто признался шофер. — Точно, возвращался с последнего рейса...

— Для чего свернули?

Пикуль засмутился. Владимир Гордеевич повторил вопрос.

— Нужду справить, — ответил наконец шофер. — Приспичило, понимаете ли...

— А горючее вы там не сливали? — спросил следователь.

Пикуль взвился:

— Да что я, чокнутый? Мы в бригаде, понимаешь, боремся за экономию! Каждый грамм бережем!..

Фадеев молча протянул ему показания дозорных Голубого патруля. Пикуль, к нашему удивлению, спокойно прочел их и вернул следователю. То, что показали ребята, он в основном подтвердил. Кроме факта слива дизельного топлива. Тут Пикуль стоял, как говорится, насмерть: почудилось школьникам насчет горючего, и все! А то, что не сдержался и дал тумака одному пацану, — так вывел он его из себя. Намаялся за день за баранкой, спешил домой, а они пристали ни с того ни с сего...

Пикуль не без гордости заявил, что в тот день, в четверг, перевыполнил норму. Не посрамил свою передовую бригаду.

Насчет бригады и ее успехов он говорил минут пять. Это, видимо, был его козырь.

Фадеев выслушал шофера и, как бы между прочим, спросил:

— На каком объекте сейчас работаете?

— Только что кончили возить грунт из котлована для больницы на улице Космонавтов. Переводят на другой объект...

— А куда грунт возили? — так же ненавязчиво, будто незначай, задал вопрос следователь.

Но именно этот вопрос почему-то насторожил Пикуля.

— А чего? — спросил он.

— Просто интересуюсь, — сказал Фадеев. — Так куда?

— Ну, в этот... Как его... Карьер, — ответил шофер, нервно потирая колени ладонями. — Под Матрешками...

— Карьер? — переспросил следователь и в упор посмотрел на Пикуля.

Шофер еще больше растерялся.

— Словом, овраг там... Такой глубокий... — пробормотал он.

— Карьер от оврага отличить не можете, — усмехнулся Фадеев.

— Овраг, карьер — один шут, — отмахнулся Пикуль. —

Возле деревни Матрешки. Туда сорок километров и обратно столько же. Как в аптеке! — Он нервно засмеялся.

— И сколько ездов за день? — спросил следователь.

— Это смотря какая дорога, какая погода, — ответил Пикунь. — Да еще от строителей зависит. Иной раз ждешь погрузки, ждешь...

— И все-таки сколько?

— Две минимум, — сказал шофер. — Желательно три. А как же иначе — обязательство взяли! Бывает и четыре...

— А пять ездов? — не унимался Фадеев. — Делаете?

Они словно играли в какую-то мне непонятную игру. Я внимательно следил за ними, стараясь выкинуть в ее смысл.

Судя по тому, в каком напряжении находился Пикунь, было видно: следователь касался чего-то важного, опасного для Пикуня.

— Пять — это поднатужиться надо...

— А шесть? — серьезно продолжал Фадеев.

— Это уж вкалывать от зари до зари, — сказал шофер.

— Не случалось по шесть ездов? — настаивал Фадеев.

— Станный у нас разговор получается, — с натянутой улыбкой произнес Пикунь. — Если бы да кабы...

— Вовсе не странный, Роман Егорович... Для Воронцова шесть ездов, судя по документам, — раз плюнуть.

— Герман Степанович — ас!

— Шесть ездов — это четыреста восемьдесят километров, — быстро набросал на бумаге следователь. — Так?

— Ну? — невинно посмотрел на него шофер.

— С какой средней скоростью вы ездите?

— Это кто как, — ушел от прямого ответа Пикунь.

— Хорошо, — кивнул следователь, и его авторучка снова забегала по листку. — Берем пятьдесят километров в час... Значит, на шесть ездов должно уйти больше девяти часов! Это чистого времени. А погрузка? А разгрузка?.. Помните участок от шоссе до оврага возле Матрешек? Там восемь километров. Сплошные колдобины! На этом участке не то что пятьдесят, десять километров в час не сделаешь... Верно я говорю?

Пикунь пожал плечами.

— Так как же он делает по шесть ездов? — усмехнулся Владимир Гордеевич. — По двенадцать часов работает, что ли?

— А что, бывает! — ухватился за эту мысль шофер. — Если надо для плана и строители просят... А потом, у Воронцова все по минутам рассчитано. Образцовая организация труда!

— Может, проще земельку-то в карьер на Кобыльем лугу сбросить? — хитро посмотрел на Пикуня следователь.

— Какой Кобылий луг? — испуганно спросил шофер.

— Да тот, что рядом. От Зорянска одиннадцать километров. И подъезд хороший... Давайте начистоту, Роман Егорович, а?

— Куда нам положено, туда и возим,— хмуро сказал Пикуль.— И нечего выпытывать у меня то, чего нет.

Больше от шофера Владимир Гордеевич ничего добиться не смог. Он отпустил Пикуля, вручив ему повестку на завтра.

— Предположение, что груит бригада Воронцова возит не в Матрешки, на это вы намекивали мне на прошлой неделе? — спросил я у следователя.

— Да, Захар Петрович. Но это, как я убедился в ходе допроса, уже не предположение... Пикуль недаром обмолвился, сказал, что возят в карьер возле Матрешек... Там овраг, понимаете! А карьер — на Кобыльем лугу!

— Это еще не доказательство.

— Конечно,— согласился Фадеев.— Но косвенно подтверждает, что я прав. Второе. Вы обратили внимание, что именно разговор, куда они вывозят грунт, больше всего испугал Пикуля? Ведь одно дело Матрешки, другое — Кобылий луг...

— Понимаю, конечно. Разница в расстоянии почти тридцать километров. В один конец. А в оба — шестьдесят!

— Вот именно! — воскликнул следователь.— Меня поразило, когда я узнал, что Воронцов в иные дни делает по семь ездов!

— Семь? — в свою очередь воскликнул я.

— Ну да! Это практически невозможно. Разве что на вертолете! Явная, нахальная липа...

— Но ведь любой мало-мальски разбирающийся человек это поймет. Я имею в виду бухгалтеров, что начисляли зарплату. Нетрудно подсчитать...

— Видимо, подсчитывали, но делали вид, что все как надо... А теперь давайте прикинем, что получилось в результате этой липы. Не буду говорить о плане, который перевыполняли на двести и больше процентов, о премиальных, о почете и прочем. Это особый разговор. Меня интересуют излишки горючего. Во-первых, они получаются в результате того, что завышался объем перевозок грунта по сравнению с действительным. Об этом мы уже знаем, так?

— Так,— кивнул я.

— Во-вторых, вместо того чтобы везти грунт в Матрешки, в овраг, бригада Воронцова возила его поблизости, в карьер на Кобыльем лугу. А это уже фиктивные километры. Причем очень большое количество километров! И под все эти километры выдавалось горючее и смазочные материалы. Следовательно...

— Постойте,— перебил я Фадеева,— как учитывается километраж?

— По спидометру.

— Но ведь спидометр объективно фиксирует, сколько проехала машина...

— Верно,— улыбнулся следователь.— Однако, как расска-

зал Орлову один водитель, когда они проверяли вторую автотобазу, все в руках человека, а не бога. Спидометр — не исключение. — Фадеев усмехнулся. — Орлов объяснил мне эту механику. Нехитрые приспособления — и можно накрутить на шкале хоть десять тысяч километров. Он мне показал, как это делается. Словом, подделывать километраж — не проблема. Видно, была проблема, куда девать излишки горючего. Отсюда — загрязнение озера, пятно солянки возле Желудева...

— Понятно, — кивнул я. — Но в бригаде Воронцова, как вы рассказывали, две машины с бензиновыми двигателями.

— Да, — подтвердил Фадеев. — У него самого и у шофера Коростылева. Куда они девают бензин — это и выясняет сейчас Орлов. Скорее всего, продают налево, частнику...

— И все-таки, Владимир Гордеевич, неопровержимых доказательств у нас пока нет. Пикуль отрицает, что сливал горючее...

— А дозорные? — возразил следователь.

— Допустим, Пикуль будет стоять на своем: не сливал, и точка! Сливали, мол, другие. Ведь солянка у всех одинаковая... Да и насчет грунта надо все доказать.

— Докажу! — горячо заверил Фадеев. — Мы взяли образцы грунта из оврага у Матрешек, из карьера на Кобыльем лугу, а для сравнения — из котлована больницы на улице Космонавтов и универсама, где бригада Воронцова работала до этого.

— Ну что ж, подождем результатов.

— Да, еще одно косвенное доказательство, — вспомнил Владимир Гордеевич. — Если вы не забыли, дизтопливо в Берестянке овраг сливали в период с ноября прошлого года по февраль нынешнего. Именно в это время бригада Воронцова вывозила грунт из котлована универсама, а потом — с улицы Космонавтов.

— Аргумент действительно серьезный, — сказал я. — Владимир Гордеевич, а как вы пришли к мысли, что грунт могли возить в карьер на Кобыльем лугу?

— Это заслуга Орлова.

— Итунция?

— Да нет. Мы же сейчас только и заняты всякими там водоемами, речками, оврагами... И вдруг Анатолий Васильевич случайно узнает, что когда-то из карьера на Кобыльем лугу брали землю для кирпичного завода. Выработали нужную глину, остались огромные ямы. И вот совсем недавно было решено превратить этот карьер в озеро и развести в нем рыбу...

Я невольно улыбнулся и рассказал Фадееву историю разведения омуля в Берестене.

— Не знаю, каких рыб запустят в новое озеро, — заметил следователь, — но только нас насторожил такой факт: когда комиссия обследовала карьер, то удивилась: он был почти весь

засыпан грунтом. Причем свежим грунтом. А в овраге у деревни Матрешки, куда предписывалось свозить этот грунт, обнаружилось всего несколько земляных холмиков... Вот мы и смекнули с Орловым...

— Что же теперь будут делать рыболовы? — поинтересовался я.

— Чтобы создать цепь рыбоводных озер, надо заново углублять карьер! — ответил следователь. — Вот еще дополнительный ущерб от деятельности Воронцова и его орлов! Средства потребуются немалые!..

Воронцов, вызванный повесткой, в прокуратуру не явился. Зато ко мне позвонил Семен Вахрамеевич Лукин. Директор третьей автобазы просил срочно его принять.

— Приезжайте, — сказал я.

Через пятнадцать минут Лукин был у меня. Обычно степенный, несуетливый, Семен Вахрамеевич на этот раз быстро прошел по кабинету, протянул мне свою крупную руку и, плюхнувшись на предложенный стул, начал с места в карьер:

— Что же это ты, Захар Петрович, со мной делаешь?

У Лукина была манера со всеми говорить на «ты», но никто не обижался. У кого-нибудь это и выглядело бы высокомерно или пренебрежительно, но у Семена Вахрамеевича получалось так, словно он каждый раз общается со своим самым добрым другом.

— Дожил до таких лет, — продолжал директор, — когда уж голова седеет, да вот бог рано лишил волос, — невесело пошутил он, трогая гладкую, как бильярдный шар, голову, — ни разу не то что выговора, замечания не имел, а тут на позор выставлешь.

— Как это? — спросил я.

— Всякие нехорошие слухи пошли по городу.

— Не слышал, — ответил я. — Сами знаете, Семен Вахрамеевич, слухами не интересуюсь. Давайте ближе к делу.

— Давай, прокурор, — вздохнул директор. — Темнить мне с тобой нечего... Почему вас интересует Пикунь? Побил мальчишку... Поэтому?

— Не только.

— Вам и руководству автохозяйством наврал про похороны... Словом, Пикуня мы поставили на место. Как только выйдет из отпуска, будет слесарить. Так решили администрация и профком. Короче, осудили его поступок всем миром. Хочешь проверить — молнию сегодня вывесили. Позор хулигану! И вот тебе резолюция собрания наших работников...

Лукин положил на стол бумагу. Я прочел ее.

Пикуня ругали за недостойное поведение, выразившееся

в хулиганских действиях (ударил школьника) и в обмане руководства автохозяйства, когда он просил отпуск без содержания.

— Из-за одной паршивой овцы поклеп на весь коллектив,— вздохнул Лукин и помолчал, ожидая, что я скажу.

— Дело, Семен Вахрамеевич, намного серьезнее, чем вы думаете.

— Полноте, Захар Петрович,— возразил Лукин.— Я-то уж своих знаю как облупленных. Если что и натворили, уж, во всяком случае, не такое, за что нужно в каталажку... Ты мне скажи толком, сами разберемся...

— Теперь уже придется разбираться нам.

Лукин посуровел, потяжелел, задумчиво теребил свой длинный ус.

— Да? — посмотрел он на меня исподлобья.

— Раз уж вы, Семен Вахрамеевич, так хорошо все и всех знаете, то наверняка вам известно, по какой причине вызывал следователь Пикуля.

— Что-то насчет дизтоплива?

— Ну, вот это другой разговор. А то прикинулись...

— И охота вам пустяками заниматься?

— Какая уж тут охота! Но вот такие, вроде Пикуля, вынуждают,— невесело пошутил я и серьезно добавил: — На вашем месте я бы помог следствию разобраться во всех этих, как вы говорите, «пустяках». А вы даже не побеседовали обстоятельно с Фадеевым. Не приструнили Воронцова, который вообще отмахнулся от следователя, будто для него законы не писаны...

Лукин тяжело вздохнул.

— Зря, Захар Петрович, зря ты все это затеял, поверь мне. Воронцов — крепкий орешек. За него знаешь какие силы встанут! Теперь уже не меня вызывают в область на ответственные совещания, а его! И там он не в зале сидит, как все смертные, а в президиуме! Вот так! Признаюсь тебе честно: я только стул директорский занимаю, а верховодит у нас в автохозяйстве Герман Степанович!.. Пока, насколько я понял, можно все уладить без больших потерь... Выложи мне ваши претензии, а мыотреагируем. Чтобы другим повадно не было. Слово тебе даю: наведем порядок! Тогда со спокойной совестью уйду на пенсию.

— Если сделаем, как вы предлагаете,— сказал я намеренно жестко,— мне будет стыдно до конца жизни!

Лукин подумал, потеребил ус и опять хмуро произнес:

— Да?

— Да, Семен Вахрамеевич,— ответил я.— Вы воевали?

— А как же! — Он вдруг разволновался.— В гвардейском полку! Водителем на знаменитых «катюшах»! Закончил войну старшиной...

— Тогда мне и вовсе непонятно, гвардии старшина... Не учить же вас, что за правду нужно бороться... Особенно сейчас, когда объявлена непримиримая война обману, хищениям, припискам!

Я замолчал. Директор тоже некоторое время безмолвствовал, видимо переваривая мои слова.

— Можешь выложить, что вы там раскопали? — наконец произнес он.

— Зайдите к Фадееву, — посоветовал я. — Это будет полезно обеим сторонам.

— Сейчас не могу. Вырвался на минутку. Начальство из области прикатило. Завтра — в обязательном порядке! — пообещал Лукни.

— Передайте Воронцову, — сказал я напоследок, — если он еще раз не соизволит явиться к следователю по повестке, то приведем с помощью милиции.

— Передам, — буркнул Лукни.

Назавтра Семен Вахрамеевич не пришел.

— Звонил ему, — сказал Фадеев, зайдя ко мне с материалами следствия. — Секретарша чуть не плачет: Лукина с сердечным приступом увезли в больницу.

Я передал в подробностях наш вчерашний разговор.

— Значит, Лукни не на шутку переволновался... Я вот думаю, Захар Петрович, действительно ли он не знал, что творит Воронцов?

— Трудно сказать. Наверное, догадывался.

— А почему смотрел на это сквозь пальцы?

— На пенсию вот-вот собирается. Хотел спокойно дожить до нее... Ну, что у вас, Владимир Гордеевич?

— Теперь Воронцову не отвертеться, — торжествующе сказал следователь. — Вот результаты экспертиз. В овраге возле Матрешек нет грунта из котлована универсама. А в карьере на Кобыльем лугу — грунт из котлована универсама и больницы с улицы Космонавтов!

— Ясно, — кивнул я. — Но вы сказали, что возле Матрешек нет только грунта из котлована универсама. А из котлована больницы?

Фадеев несколько смутился.

— Понимаете, Захар Петрович, в Матрешках есть земля с улицы Космонавтов, но в очень небольшом количестве.

— Значит, все-таки есть!

— Всего несколько холмиков. Мы прикинули: машин пятнадцать — двадцать. Кучи довольно свежие. Так что можно с уверенностью говорить: грунт, который предназначался для Матрешек, воронцовская бригада завезла на Кобылий луг.

Причем все горячее шоферы получили сполна, как если бы ездили в Матрешки. Это я узнал у некоей Елены Гусевой. Она отпускает в автохозяйстве солярку. Между прочим, все называют ее Алькой...

— Пойдите, пойдите, не ее ли имел в виду анонимщик? Помните, был звонок в самом начале расследования?

— Я об этом думал, Захар Петрович. Может, и ее, но ничего интересного она не рассказала. Дебет с кредитом у нее сходится. Вот и все. Правда, когда я стал подробно расспрашивать о всех членах бригады Воронцова, она почему-то вспомнила о Дорохине. Ну, который пожертвовал собой ради спасения автобуса с пассажирами...

— В какой связи вспомнила? — заинтересовался я.

— Да, говорят, какой-то странный был парень. Не вписался в бригаду... Молчун... Воронцовские ребята заправлялись каждый день — ездок много давали. А он заправлялся куда реже... Я проверил по документам — норму не выполнял и на восемьдесят процентов... В больнице он еще...

— Как его состояние, интересовались?

— Пока тяжелое. Врачи считают, что кризис миновал, но допрашивать не разрешили.

— Когда думаете допросить остальных членов бригады? Ведь теперь у вас на руках козырь...

— Двонх вызвал на сегодня, остальных — завтра. — Следователь собрал документы в папку. — Понимаете, Захар Петрович, меня удивляет, как и почему Воронцова подняли на щит? Явно видны нарушения.

— В этом вам и нужно разобраться, Владимир Гордеевич. Выходит, какая-то трещинка все же есть. Ил у коллектива ослаб иммунитет, вот зараза и проникла... Приглядитесь к членам воронцовской бригады, что за люди?

Лукин знал, что говорил: нашлись у Воронцова защитники. Уговаривали, просили и даже требовали у меня замять дело воронцовской бригады. Один бескорыстно — мол, затронута честь города, и разоблачение Воронцова принесет больше вреда, чем пользы. Другие — явно из личной заинтересованности, те, кто его поднимал и опекал, а теперь боялись, что пострадают их репутация. Характерные доводы приводил мне управляющий областным трестом Чални, в чьем непосредственном подчинении находилась автобаза.

— Поймите, товарищ прокурор, что значит у нас в области Воронцова, — убеждал он меня по телефону. — Кто больше всех перевыполняет плановые задания? Воронцов! У кого самый большой пробег без капитального ремонта? У Воронцова! Один из первых освоил бригадный метод! Мы хотим выдвинуть его

на должность руководителя автохозяйством. На место Лукина, который уходит на пенсию...

— Воронцова? — вырвалось у меня.

— Ну да, его... Эту кандидатуру поддерживают во всех инстанциях...

Чални удивился, что выдвижение молодого способного бригадира не вызывает у меня одобрения.

— Тут уж увольте, — горячо запротестовал я, — поддерживать такого человека не буду...

И я стал рассказывать Чалнину, что творят члены бригады Воронцова, в частности историю с соляжкой.

— Ну, это мелочи, — заметил Чалин.

Я возмущился. И сказал, что эти «мелочи» уже не просто нарушения, а нечто похуже. А перевыполнение плана Воронцовым — липа. Насчет же длительного пробега без капитального ремонта — так на самом деле машины в бригаде не проехали и половины того, что показано на спидометрах...

Руководитель треста попрощался со мной более чем холодно.

Тем временем в ходе расследования наступил переломный момент.

Фадеев, по моему совету, выяснил личность каждого члена бригады Воронцова.

— Вместе с бригадиром — шесть человек, — доложил мне следователь. — Пиккуль, вы его видели, до автобазы работал в соседнем районе в колхозе. Звонил я на прежнее место работы. Очень были рады, что Пиккуль уволился. Неоднократно имел выговоры за пьянство и прогулы. Чуть что — пускал в ход кулаки...

— Хорошего работничка пригрел Воронцов, — заметил я.

— Слушайте дальше, Захар Петрович... Петр Осипович Коростылев, тридцати трех лет. Имеет судимость...

— Час от часу не легче! — вырвалось у меня.

— Эти двое поступили работать на автобазу полтора года назад, одновременно с Воронцовым... По-моему, самые доверенные дружки бригадира...

— Пиккуль и Коростылев, — повторил я. — Продолжайте, пожалуйста, Владимир Гордеевич.

— Юрий Шавырин работает на автобазе уже семь лет. За ним вроде бы ничего нет. Так же, как и за Сергеем Кочегаровым, который в автохозяйстве уже девять лет... Пятый член бригады — Николай Дорохин. Недавно демобилизовался, на автобазе проработал две недели...

— Да, знаю, — кивнул я. — Ну а Воронцов?

— Как я уже сказал, на автобазе он полтора года. До этого жил в областном центре, Рдянке. Сменил не одну профес-

сию — стронтель, ремонтировал автодороги, экспедитор... ОБХСС им занимался.

— В связи с чем? Когда?

— Года три назад. Сколотил он бригаду шабашников, подряжался в колхозах стронтить коровники. Это бы вроде ничего. Да выяснилось, что председатель колхоза стряпал фиктивные наряды на стронтельство, а деньги, видимо, делили с Воронцовым пополам... Воронцову удалось выпутаться — амнистия помогла. Он проходил по делу всего лишь свидетелем...

— Да, прошлое у Германа Степановича, мягко выражаясь, не кристальное, — сказал я. — Моральный облик ясен. Но куда смотрело начальство автобазы? Как он стал во главе бригады? Почему?

Фадеев посмотрел на часы.

— У меня сейчас допрос, Захар Петрович... Думаю, что Кочегаров будет откровенен и расскажет все, что знает о Вороицове...

— Почему вы так думаете?

— Понимаете, я Кочегарова еще не вызывал. Он сам позвонил. Очень хочет встретиться. Прямо рвется ко мне... Хотите присутствовать?

Я принял участие в допросе.

Кочегарову было чуть больше сорока, но в его густой каштановой шевелюре уже серебрились седые волосы.

Действительно, он решил выложить все начистоту. О фиктивных тоннах грунта и фальшивых километрах, о том, что водители бригады, работающие на дизельных машинах, сливали излишек солярки в Берестянкин овраг, у Желудева и в других местах. Подтвердилось и то, что землю возили не в Матрешки, а на Кобылий луг и в другие окрестные овраги. Верхнюю же, плодородную часть грунта, по договоренности с людьми, имеющими дачи, возили к ним на участки. Не бескорыстно; конечно...

Кочегаров постарался вспомнить все поточнее, и перед нами открывалась страшная картина. Одно нарушение рождало другое. Ворох липовых документов оборачивался потоками дизельного топлива, которое выливали на землю. Цинично и хладнокровно...

— Сергей Васильевич, — спросил Фадеев, — неужели прежде у вас никогда не возникала мысль: что мы творим?

— Откровенно? — посмотрел Кочегаров на следователя запавшими глазами.

— Конечно.

— Говорят, лиха беда — начало... Потом привыкаешь, что ли... Я понимаю, это не оправдание. Теперь муторно. Но вот рассказал и легче на душе стало...

— Такие порядки были у вас всегда?

— Воронцов завел...

— Как же ему удалось так взнудать членов бригады и администрацию?

— Ловко он всех окрутил... На чужом горбу въехал в рай. В передовые, я хочу сказать... Да что там! — в сердцах махнул рукой шофер.

— Объясните, пожалуйста, — попросил следователь.

— Не знаю, кто и почему записал Воронцова в новаторы! — воскликнул Кочегаров. — Словно забыли, что бригадный метод первым у нас внедрил Саша Никодимов. Пять лет назад! В бригаде той были также я и Шавырни. Работали честно, могу поклясться чем угодно. Хоть своим детншкам! Герман появился полтора года назад. Как он втесался к нам в доверие, не знаю. А месяца через четыре — бац Сашку Никодимова снимают с бригадиров. На его место Лукни тут же назначил Воронцова... Первым делом Герман постарался затащить в бригаду своих дружков — Петьку Коростылева и Ромку Пникуля. А остальных вытурил...

— Каким образом? — удивился Фадеев. — Он ведь не директор, не отдел кадров, в конце концов...

— Верно, — усмехнулся Кочегаров. — Сначала Воронцов был пешкой. Не то что сейчас, вертит Лукнным как хочет... Но свою линию он тогда хитро повел. Начал с того, что новые машины, поступающие на базу, отдал своим дружкам. А ветеранов бригады, кто был ему не угоден, держал в черном теле. Премияльными, например, прижимал. Ребята, конечно, возмутились. Но Герман прямо заявил: уходите из бригады подобра-поздорову... Валера Вдовни ушел сам. Шамнль Мансуров заартачился. Вынудили перейти в другую бригаду...

— Погодите, — воскликнул следователь, — как это вынудили?

— Очень просто. Герман придирался по всяким пустякам. Добился, что Шамнля перевели на полгода в слесаря. А у него трое детншек. Потом и вовсе такую пакость отмочили... — Шофер вздохнул, покрутил головой. — Подсыпали в бак с бензином сахару. Бедняга Шамнль столько времени провозился с мотором, пока докопался, в чем дело...

— И вы, зная об этом, молчали? — покачал головой следователь.

— Нет, об этом я узнал совсем недавно. Шамнль скрывал. Боялся, наверное...

— Чего?

— Могли избить. Ромка Пникуль в этом деле мастак...

— Были случаи? — продолжал спрашивать Фадеев.

— Ага, — кивнул шофер.

Мы с Фадеевым невольно переглянулись: подумали, видимо, об одном и том же.

— Знаете конкретно, кого и где он избил? — спросил следователь.

Кочегаров опустил голову, медлил с ответом.

— Ну, договаривайте, Сергей Васильевич, — поторопил его Фадеев.

— Николая Дорохина, например, — тихо ответил шофер. — Так сказать, провел работу...

— Почему именно его?

— Не соглашался хитрить. Возил грунт, как положено, в Матрешки. И солярку не хотел сливать...

— Значит, ту небольшую часть земли из котлована больницы с улицы Космонавтов завез в Матрешки Дорохин? — уточнил Владимир Гордеевич.

— Он, — подтвердил Кочегаров. — Николай — правильный мужик... Тихоня тихоней, а плясать под дудку Германа отказался наотрез!

Фадеев попросил Кочегарова рассказать подробнее о драке Пикуля с Николаем Дорохиным. Но шофер сказал, что только слышал разговор Воронцова и Пикуля: надо, мол, проучить охломона, если не понимает нормального языка... А потом Дорохин появился на работе с синяками.

Еще Кочегаров показал, что после аварии, в которую попал Николай, Пикуль якобы обмолвился: так, мол, Дорохину и надо, в другой раз будет сговорчивей...

Фадеев заканчивал допрос Кочегарова без меня. Я отправился в суд, где поддерживал обвинение по уголовному делу.

Два дня я был занят в судебном заседании. Дело слушали с утра до позднего вечера, так что в прокуратуру я забегал буквально на несколько минут.

На третий день Фадеев караулил меня с утра.

По его серьезному виду я понял, что в ходе следствия произошли важные события.

— Начну по порядку. — Владимир Гордеевич прочно устроился на стуле, положив перед собой папку с делом. — Вслед за Кочегаровым признался и Шавырин.

— Это который был в бригаде еще до Воронцова? — уточнил я.

— Да, так сказать, ветеран... Интересную вещь он сообщил. Как Воронцов спихнул прежнего бригадира Александра Никодимова... Ну и подлец же этот Герман! Провокатор...

— Провокатор? — удивился я несколько как бы устаревшему слову.

— Ну да. Как при царе Горохе... Воронцов, оказывается, все время искал случая скомпрометировать Никодимова. Но случай все не представлялся. Тогда Воронцов сам организовал

его. Помогал ему Пиккуль... Понимаете, как-то Герман уговорил Никодимова зайти в кафе. Есть такая неказистая забегаловка возле кинотеатра «Салют»...

— Знаю, — кивнул я.

— Так вот, они возвращались вечером из рейса. Дело было зимой. До автобазы буквально пятьсот метров; через три улочки... Воронцов достал бутылку портвейна, мол, для сугрева. Никодимов сначала отказывался. Так Герман выдумал; что двоюродный брат помер...

— Опять двоюродный брат, — заметил я. — Как с Пиккулем...

— Ну да, ничего умнее придумать не могут... В общем, упрямил бригадира выпить стакан. А пока бригадир закусывал, Пиккуль позвонил в ГАИ... Вышел Никодимов из кафе, сел за руль, отъехал. Тут его и остановили. Ну; сами понимаете; какие были последствия...

— Действительно провокатор... — согласился я.

— Лукии тут же приказом освободил Никодимова от бригадирства, а вместо него назначил Воронцова.

— Но почему именно его? Он же тогда всего ничего проработал в автохозяйстве. Не было, что ли, других, достойных?

— Тестюшка позаботился, Назаров. Главный редактор нашей газеты. Сам звонил Лукину...

— А что, у Лукии своей головы нет?

— Семен Вахрамеевич уж очень прессу уважает. Я специально просмотрел: подшивку «Знамя Зорянска» за то время. Буквально через месяц — хвалебная статья об их автобазе, потом заметка о Воронцове. Потом, глядишь, в областной газете его имя начинает мелькать. Тоже небось Колобок постарался. — Фадеев вздохнул: — В общем, у кого какой рычаг в руке, тот им и шурует... Под всю эту шумиху Воронцов принялся обдирать свои делишки. И все ему сходило с рук. Вконец распоясался...

— Я вот о чем думаю, Владимир Гордеевич. Почему он оставил двух прежних шоферов в бригаде — Кочегарова и Шавырина?

— Их, я думаю, Воронцов соблазнил длинным рублем. Шавырин признался, что как только Воронцов стал бригадиром, то заявил: при мне, мол, братцы, будете жить припеваючи. Работать — как на курорте у Черного моря, а получать — как на Севере, с солидной надбавкой... Надбавку Воронцов имел и в самом деле весомую. Только на одном бензине...

— Что-нибудь удалось установить? — поинтересовался я.

— Можно сказать, частная бензоколонка, — усмехнулся следователь.

Он открыл папку с делом, полистал бумаги.

— Орлов поработал? — спросил я.

— Точно, Анатолий Васильевич, — кивнул Фадеев. — А за что ухватился, знаете? Что-то в последнее время на улице Корейчука зачастили владельцы «Москвичей» и «Волг». По вечерам, в сумерки.

— Это в Вербином поселке?

— Ну да. Окраина, тихо... Живет там некая старуха Байгарова. К ней и повадились на своих машинах частники. Соседи жаловались: улочка узкая, ребятишки бегают, а машины одна за другой... Нагрянули мы вчера к этой Байгаровой и ахнули. В сарае все емкости заполнены бензином. Даже корыто... Бензинчик семьдесят шестой марки, на нем работают грузовые ЗИЛы. Подходит он и для двигателей «Москвича» и «Волги».

— А «Жигули»?

— Нет. Вазовские автомобили работают на высокооктановом горючем. Бензин А-93... Вот Орлов и подумал: раз «Москвичи» и «Волги», значит... Начали беседовать со старухой. Она вначале притворилась глухой. Анатолий Васильевич говорит ей: «Ты что, бабушка, намереваешься весь поселок спалить? Одна спичка — и нет улицы! Сама взлетишь на воздух да еще столько людей погубишь!» Байгарова перепугалась, бух на колени. И в мыслях, мол, не было никого губить. Это родственник в грех ввел... И пошла причитать.

— Какой родственник? — спросил я.

— Коростылев. Он Байгаровой племянником доводится.

— Ясно, ближайший сподручный Вороицова, — сказал я.

— Вот именно, сподручный. И не только в приписках и разбазаривании бензина. — При этих словах по лицу Фадеева пробежала тень. — Но об этом потом... Призналась бабка, что Коростылев привозил бензин и заставлял продавать. Двадцать копеек за литр. Государственная цена, как вы знаете, в два раза больше... Пока мы беседовали в доме, подъехала «Волга». Заправляться.

— Повезло, — заметил я.

— Нам? Да. Так сказать, с полициным... А владельцу «Волги», увы! С перепугу тут же выложил, что ездит сюда регулярно.

— Кто такой? — поинтересовался я.

— Пенсионер. Пчеловод. Тут все есть, — похлопал Фадеев по папке с делом. — Протоколы, показания. Орлов соседей допросил. Как выяснилось, к Байгаровой приезжал опорожнять бак не только племянничек, но и сам Вороицов. Соседский парнишка запомнил номера машин.

— И этого жулика хотели сделать директором автобазы! — невольно вырвалось у меня.

— Вот бы он развернулся!

— Ну что же, Владимир Гордеевич, — подытожил я. — Теперь, насколько я понимаю, все выяснено. Пора закругляться.

— Нет, Захар Петрович, не все. — Следовательно порылся

в папке.— На счету этой гоп-компании, как мне кажется, еще одио преступление, посерьезнее остальных...

Я вопросительно посмотрел на Фадеева.

— Не знаю пока точно, кто инициатор этого черного дела, но исполнитель...— Владимир Гордеевич на мгновение замолк.— Короче, есть предположение, что авария с Дорохиным не случайная...

— Как? Подстроена?

— Ну да! Мне все время не давал покоя рассказ Кочегарова о том, как Воронцов расправлялся с неугодными ему шоферами из бригады...

— Одио дело,— заметил я,— припугнуть, избить, а другое — подстроить аварию... Ведь могли погибнуть многие люди, не говоря о Дорохине.

— Вот именно,— вздохнул следователь.— Но по заключению экспертов, авария произошла из-за отказа тормозов в машине Дорохина. Ведь когда Дорохин, увидев автобус, хотел на спуске затормозить, тормоза не сработали. То, что до аварии тормоза действовали исправно, сомнений не вызывает. Винт, которым крепятся тормозные колодки, потерялся по дороге.

— Но может, это все же случайность?

— Сомневаемся. Дело в том, что на раме машины Дорохина удалось обнаружить отпечатки пальцев Коростылева...

Следователь замолчал, ожидая моей реакции.

— Важный факт, но не совсем убедительный,— сказал я.— Коростылев и Дорохин работают в одной бригаде, ставят машины в одиом гараже. Мог же Коростылев зачем-то полезть под машину товарища по работе?

— Зачем? Что ему делать под чужой машиной?

— Это вам сам Коростылев скажет,— заметил я,— если вы обвините его в причастности к аварии. Он найдет сотию причин! Мол, что-то показалось в машине не в порядке, хотел помочь. В конце концов, сам Дорохин просил!

— Хорошо,— горячо продолжал Фадеев.— А зачем лезть в машину вечером, тайком? И главное, накануне аварии?

— Есть свидетели?

— Конечно! — Владимир Гордеевич хлопнул рукой по раскрытой папке.— Оди из шоферов, некто Моргун, видел, как Коростылев возился возле машины Дорохина. Именно накануне аварии. Вот его показания.

— Моргун не мог ошибиться? Может, Коростылев был под своей машиной?

Фадеев прочел протокол допроса свидетеля. Показания были весьма убедительны. Перепутать машины он не мог. Коростылев водил ЗИЛ, а Дорохин — КраЗ. Спутать трудно. Тем более, у Дорохина на радиаторе была приделана хромированная эмблема «Чайка» — причуда прежнего водителя.

Я вспомнил, что видел эту эмблему, когда Дорохин приезжал в прокуратуру.

— Мне повезло, — сказал Фадеев. — Разбитая машина Дорохина сейчас находится в ГАИ. Как доставили с места аварии, так до сих пор и стоит там. Если бы машину забрала автобаза, то отпечатков пальцев Коростылева нам бы, наверно, уже и не обнаружить.

— Врачи разрешили встречу с Дорохиным? — спросил я.

— Мне — нет. Только жею пускают, да и то на несколько минут.

— Ясно... И что вы намерены предпринять дальше?

— Прежде всего, надо взять под стражу Коростылева. Прошу утвердить постановление на его арест.

— А что предъявите?

— Пока — хищение безизина.

— Считаете, брат под стражу необходимо?

— Да, Захар Петрович. В интересах следствия. Уж больно его показания сходятся с показаниями Вороицова и Пикуля...

— А как насчет обвинения в покушении на убийство? — спросил я, подписывая постановление следователя на арест Коростылева.

— Ну здесь еще не все ясно. Необходимы показания самого Дорохина.

— Попытаюсь связаться с его лечащим врачом...

Коростылев был взят под стражу. В хищении безизина он признался сразу. Да и отпереться было трудно: Фадеев представил неопровержимые доказательства.

Вороицов же отрицал свою вину, хотя против него свидетельствовали Байгарова и ее соседи. На допросах бывший бригадир (он был отстранен от этой должности, как только ему было предъявлено обвинение) держался вызывающе. На очной ставке с Байгаровой разговаривал грубо, пытался уличить ее во лжи.

Фадеев в отношении Вороицова пока ограничился подпиской о иевыезде.

Наконец мне удалось уговорить хирурга, делавшего операцию Дорохину, разрешить нам свидание с Николаем. Хирург поставил условие, что во время разговора будет присутствовать врач.

В больницу мы поехали вместе с Фадеевым. Дорохину делали перевязку, и нас попросили подождать.

Мы сидели в коридоре и ждали, когда нас позовут. И тут появилась Аия, жея Николая. С хозяйственной сумкой, из которой торчал блестящий колпачок термоса.

Аия похудела, осунулась. Но в глазах ее светилась надежда.

— Вытащу я Николая! — сказала она уверенно. — Врач говорит, будет жить, а это самое главное! Господи, почему я не послушалась его и не переехала в деревню? Вы знаете, — продолжала она, обращаясь ко мне, — я ведь в первые дни не отходила от него ни на шаг. Он все бредил, все говорил, как, мол, можно губить землю...

Мы с Фадеевым незаметно переглянулись: Николай наверняка имел в виду слив солярки.

— Как только встанет на ноги, увезу его в колхоз, — заключила Аня. — Насовсем. Я уже сказала у себя на работе. А что? Если Коля так любит землю, надо жить и работать в деревне...

В это время дверь палаты открылась, и врач пригласил нас с Фадеевым зайти.

Дорохин был весь в бинтах. Нога — на растяжке. Меня он узял с трудом. Чтобы не упустить ни единого слова, Фадеев решил записывать беседу на магнитофон. Тем более, врач дал нам на разговор всего пять минут.

— Вспомните, пожалуйста, — попросил шофера следователь, когда я представил его, — перед аварией вы проверяли тормозную систему на вашем КрАЗе?

Дорохин тихо произнес:

— Проверял.

Видимо, он и сам уже задумывался, что произошло с его машиной там, на двадцать седьмом километре.

— Все было в порядке?

— Да, в порядке, — как эхо повторил Николай.

— Вы проверяли машину утром, перед выездом или накануне?

— Накануне... Я всегда готовлю машину с вечера, чтобы утром сразу в рейс... Армейская привычка... Полная боевая готовность...

— Штуцер срабатывания тормозной жидкости проверяли? — снова задал вопрос Фадеев.

— Сменил до этого за три дня... Новейший поставил...

— Собственноручно?

— Да. Я всегда на своей машине все делаю сам.

— Теперь попрошу вас ответить откровенно, — сказал Владимир Гордеевич. — Кто-нибудь незадолго до аварии или еще раньше угрожал вам?

Дорохин закрыл глаза.

Врач, внимательно наблюдавший за ним, тревожно выпрямился на стуле.

Следователь повторил вопрос более настойчиво, добавив, что это очень важно.

— Слышу я, слышу, — открыл глаза Николай. — Герман все допытывался, зачем я был в прокуратуре... Я сказал, что это

не его дело.. Тогда он сказал: «Ну, гад, если накапал...» И отошел...

— Когда это было?

— Дня за два до аварии...

Он снова закрыл глаза. Врач прервал допрос.

— Все стало на свои места,— сказал Владимир Гордеевич, когда мы сели в машину, чтобы ехать в прокуратуру.— Понимаете, не хватало одного звена. Очень важной детали! Я, впрочем, мог догадаться и сам. Но упустил из виду...

— То, что Дорохин приезжал в прокуратуру? — спросил я.

— Ну да! Что получается? Николай побывал у вас. Затем обнаруживают слитую в Берестянкин овраг солярку, поднимают на ноги весь город... Начинается следствие, я выхожу на третью автобазу. Воронцов решил, что Николай «накапал»...

— И вы считаете, что инициатором аварии был именно Воронцов?

— Да! Обратите внимание, что авария произошла именно тогда, когда я занялся бригадой Воронцова.

— Не могу понять, почему он взял в свою бригаду Дорохина...

— Это произошло без его ведома. Он был в области на слете передовиков. Незадолго до этого уволился Шамиль Мансуров, его выжили. И тут приходит устраиваться Дорохин. Характеристики отличные, рекомендация райкома комсомола... Вот Лукин и решил порадовать своего передового бригадира хорошим шофером... Между прочим, это указывает на то, что Лукин не знал о порядках и нравах, царящих в этой бригаде...

Добиться признания Коростылева в том, что авария была подстроена им, было делом далеко не простым. По поводу того, что на раме КраЗа Дорохина оказались отпечатки его пальцев, арестованный выдвинул такую версию: за несколько дней до рокового рейса сам Николай якобы попросил его отрегулировать тормоза. Но Дорохин при допросе в больнице заявил, что на своей машине всегда все делает сам.

Фадеев продолжал поиски новых фактов и улик. И они были найдены.

Важные сведения дала хозяйка дома, у которой Коростылев снимал комнату. По ее словам, незадолго до аварии Дорохина к постояльцу приходил Воронцов. Они просидели весь вечер за водкой, бурно обсуждая что-то насчет тормозов. Якобы Коростылев от чего-то отказывался, а гость настаивал, уговаривал, грозил...

Прошло несколько дней. Весь город только и говорил

о том, что неподалеку от Зорянска грузовик врезался в автобус с пассажирами. По словам хозяйки, Коростылев в эти дни беспробудно пил, даже на работу не ходил. Был в мрачном, подавленном состоянии. Тут опять появился Воронцов. Он ругал ее постояльца, обзывал размазней, уверял, что в автобусе жертв нет, ранен только шофер грузовика. Хозяйка также слышала, как Коростылев говорил, что смотается куда-нибудь, пока не поздно, а гость сказал, что если Коростылев сбежит, то тем самым навлечет на себя подозрение...

Наконец Коростылев не выдержал и признался.

Выяснилось, что, когда началась история с загрязнением озера и следствием по этому делу, Воронцов страшно перепугался. Он был убежден, что Дорохин рассказал в прокуратуре, чьих рук это дело.

В это время следователь зачастил на базу, стал копаться в документах, беседовать с работниками автохозяйства. Воронцов чувствовал, как Фадеев постепенно близится к цели. За остальных шоферов бригадир не очень опасался — не выдадут. А вот Дорохин... Крепкий парень, принципиальный, участвовать в их делах он отрез отказался... Тогда Воронцов и уговорил Коростылева подстронить аварию, чтобы строптивый шофер замолчал навсегда.

Что именно нужно было сделать с машиной Николая — тоже придумал бригадир.

Воронцов был взят под стражу. Вину свою в подготовке к покушению на жизнь Дорохина он отрицал. Упорно и последовательно. На очных ставках с Коростылевым отвергал его показания, уверяя, что Петр на него «клепает», а аварию подстроил из какой-то там личной мести.

Меня интересовала личность бывшего бригадира: как он мог решиться на столь жестокое преступление? В какой-то степени это выяснилось во время одной из очных ставок Воронцова с Коростылевым. Я присутствовал на ней.

В течение долгой, утомительной перепалки между обвиняемыми Воронцов сказал:

— Ну что ты мелешь, Петр? Неужели я такой дурак, чтобы самому лезть в петлю? У меня все было — положение, хорошая зарплата. Выдвигали на руководящую должность! И чтобы я все это разрушил собственными руками? Так, по-твоему?

Коростылев, усталый и озлобленный, бросил ему в лицо:

— Все это ты и боялся потерять! Помнишь, как сам разглагольствовал о своей голубой мечте — сесть в кресло директора? Личная машина, личная дача. Меня и Ромку Пикуля сделаешь бригадирами. А кто посмеет рыпаться, в шею выгонишь. Будешь, мол, кум королю и сват министру... Не говорил, да? А тут Николай возник! Встал он тебе поперек дорог, вот ты и наложил в штаны!

Голубая мечта... Вот что двигало Воронцовым. Стать хозяйчиком, окружить себя «своими», чтобы иметь возможность хапать, хапать, хапать...

Воронцов так и не признался в том, что участвовал, а вернее, организовал покушение на убийство Дорохина. Единственно, что он взял на себя, — приписки тонн и километров да продажу «лишнего» бензина.

Но факты и улики, добытые в ходе предварительного следствия, изобличали его полностью.

Фадеев представил мне на утверждение обвинительное заключение по делу. В нем Г. С. Воронцов и П. О. Коростылев обвинялись в покушении на убийство Н. Л. Дорохина, а также в хищении бензина. Трех других шоферов — Р. Г. Пикуля, С. В. Кочегарова и Ю. И. Шавырина, которые сливали солярку на землю, — в нанесении ущерба окружающей среде. Кроме того, я, как прокурор, предъявил иск о взыскании со всех пятерых суммы, которую они незаконно получили в виде зарплаты и премий в результате многочисленных приписок тоннокилометров. В эту сумму вошел и ущерб, принесенный государству за разворованное и разбазаренное горючее.

Со стороны Дорохина против Воронцова и Коростылева был предъявлен гражданский иск о возмещении убытков, вызванных лечением в результате аварии.

Дело было направлено в суд. Виновные понесли заслуженное наказание. Иски удовлетворены.

Ну а те, кто помогал раскрыть преступление, с которого началась вся эта история?

Добрые дела не должны оставаться незамеченными. И поэтому я, еще до окончания предварительного следствия, направил от имени прокуратуры в городской отдел народного образования представление, в котором выражал благодарность дозорным Голубого патруля за их деятельность по охране природы и помощь в разоблачении преступников; просил отметить ребят и их руководителя, учителя географии Олега Орестовича Бабаева.

Майские праздники многие горожане по традиции проводили на Берестене. В эти дни открывался сезон на лодочной станции, начинали работать разные аттракционы.

Погода была прекрасной. Светло-зеленая дымка окутала деревья и кустарики вокруг озера, в траве желтели цветы. На гулянье у воды собралось много народу. Люди радовались весне, солнцу. И тому, наверное, что голубая вода Берестеня была по-прежнему хрустально-чистой.

Мы с женой тоже пошли к озеру. Увидел я там и супругов Бабаевых с сынишкой. У нас с учителем невольно возник

разговор о недавних событиях, в центре которых оказалось озеро.

— Знаете, Захар Петрович, какая у меня мечта? — спросил Олег Орестович. — Чтобы у нашего Голубого патруля не было больше таких забот. Я верю, что настанет время и в сознании каждого человека крепко-накрепко укоренится: вода, деревья, воздух — это часть его самого. Калечить природу — все равно что вредить самому себе, своим рукам, ногам, телу... Как сказал поэт Василий Федоров: «Природа и сама стремится к совершенству, не мучайте ее, а помогите ей...»

Мы гуляли по берегу, а я думал о мечте Олега Орестовича... Красная мечта!

Глеб Голубев

СЫН НЕБА
СТРАННЫЕ НАХОДКИ

Сведения, которыми не обладали
древние, были очень обширны.

М. Твен

1

(Рассказывает Алеша Скорчинский)

Поразительная эта история и без того весьма запутана, да еще Миша Званцев настоял, чтобы мы ее рассказывали непременно вот так — попеременно, по главам, дополняя друг друга. Так что лучше уж я вам сразу представлюсь, чтобы не усугублять путаницы. Зовут меня Алексей, фамилия — Скорчинский. Научный сотрудник Института археологии¹.

Вот видите, Мишка уже ехидничает и перебивает меня, такой у него характер. Хотя мы договорились не мешать друг другу. Пусть каждый освещает события по-своему и дает свои толкования загадкам и необычным происшествиям, которые нам довелось испытать.

Но не буду отвлекаться. Итак, обо всем с самого начала.

Я сижу на бугре мягкой земли, только что выброшенной из раскопа, и уныло рассматриваю в образовавшуюся глубокую яму. Опять неудача!

Собственно говоря, с точки зрения науки, никакой неудачи нет. Мы ведем раскопки древнегреческого городка Ураиополиса, существовавшего две с лишним тысячи лет назад здесь, на берегу Крыма. Сегодня расчистили остатки фундамента еще

¹ Мне кажется, если уж заполнять анкету, то надо это делать по всем правилам: мужской; русский; нет; не был; не имею; немножко английский; холост. (Примечание Михаила Званцева, в дальнейшем: М. З.)

одного дома, в котором двадцать с лишним веков назад жили люди. Вот здесь явно был очаг, возле него вечерами собиралась вся семья, наблюдая, как длинные языки огня лижут старый котелок с бобовой похлебкой: копать до них пор сохранилась на камнях, она так прочно въелась, что ее не стерли века.

Самый обыкновенный дом... А чего же я ждал?

Все идет хорошо, все нормально. Постепенно из-под земли проступает план древнего города. Вот здесь была винодельня: на большой зацементированной, чуть покатоj площадке рабы ногами давили спелый виноград, и алый сок стекал по желобкам в три больших резервуара. А в этих глубоких цистернах, вырубленных прямо в скале неподалеку от берега моря и так же тщательно зацементированных, конечно, солили рыбу: уже в те времена даже в далеких Афинах славилась истекающая жиром керченская селедка.

За два года раскопок мы добыли из-под земли столько любопытных вещей, что зимой, когда прерываются полевые работы, никак не успеваем их разбирать и описывать. Ящиками с нашими коллекциями заставлены до самого потолка две комнаты в институте. Пора писать диссертацию...

Почему же я не радуюсь?

Скажу честно: все эти осколки амфор, остатки фундаментов и крепостных стен, детские игрушки, выброшенные много веков назад на свалку, находят при раскопках любого древнегреческого города. А я жду чего-нибудь необыкновенного. Чего — пока еще не знаю сам.

Правда, нам выпала редкая удача — восстановить по находкам в малейших деталях, как погиб в огне этот город две тысячи лет назад от набега воинственных скифов.

Но и в этом нет ничего необычного. Такие схватки происходили тогда очень часто. Все города и поселения греческих пришельцев на берегах Черного моря находились под постоянной угрозой нападения скифов, тавров, синдов или других местных племен, окружавших их со всех сторон, прижимавших к морю. Философ Платон насмешливо сравнивает эти полисы с лягушками, усевшимися по берегам громадной лужи.

Среди эпитафий на мраморных плитах, которые мы находили, раскапывая некрополь — древнее кладбище на окраине города, то и дело попадалось:

«Лисимах, сын Психарнона, прощай! Лисимаха, в обращении ко всем гражданам и чужестранцам ласкового, убил бурный Арей номадов. Всякий жалобно восстал по нем, умершем, сожалея цветущий возраст мужа...»

«Филотт, сын Мирмека, наткнулся на страшное варварское копье...»

И как печальный припев, в конце каждой надгробной надписи повторяется одно слово: «хайре» — «прощай».

Почему же я все-таки жду от раскопок чего-то необычайного? Какие загадки меня беспокоят?

Прежде всего, почему город назывался Уранополисом? В переводе это означает — «Город Неба».

Сегодня мы опять нашли древнюю монету, оброшенную кем-то из горожан на улице две тысячи лет назад. Обыкновенная монета, медная, величиной с нашу трехкопеечную. Греки называли ее гемиболом — половником обола. Она почти не стерлась, можно хорошо рассмотреть все детали рисунка. На монете изображены бог врачевания Асклепий, опирающийся на традиционный жертвенный треножник, вокруг которого обвилась змея, и справа от головы бога — несколько звездочек в лучах солнца. Вдоль ободка монеты мелкими буквами написано по-гречески: «Слава Ураниду и Аглотелу».

Для несведущего монета как монета, отличное украшение любой нумизматической коллекции. А для меня, уже третий год раскапывающего этот древний городок, она — сплошная загадка.

Почему бог врачевания, не имеющий никакого отношения к астрономии, изображен в окружении каких-то звезд? Еще больше запутывает лаконичная надпись на монете: Аглотел — имя типично греческое, а Уранид в переводе означает — «Сын Неба». Странное имя, скорее, прозвище, какой-то своеобразный псевдоним.

Кто были эти Аглотел и Уранид? За что они удостоились такой чести, что ради них специально чеканили монету? Мы ишли за три года уже несколько таких монет: и грошовые медные гемноболы и более ценные драхмы (ценные, конечно, с точки зрения людей тех времен, для нас-то теперь любая древняя монета одинаково ценна). Нашли даже один увесистый статер — целое состояние по тем временам. И на всех монетах одинаковые рисунки, те же загадочные имена. И главное, все монеты совсем не стертые, только что из-под чекана. Значит, их выпустили в ознаменование одного и того же события.

А событие это, о котором я после долгих розысков, перерыв целую гору документов, нашел всего одно коротенькое упоминание, тоже было совершенно загадочным и непонятным.

Город основали еще в V веке до нашей эры милетские купцы, которых за непоседливость прозвали вечными мореплавателями. Сначала он назывался не Уранополисом, а Гераклеей — все ясно и понятно: в честь известного мифологического героя, никаких загадок.

Почему же вдруг в 63 году до нашей эры, всего за несколько месяцев до гибели в огне пожарищ, он вдруг объявил себя «Небесным городом»?!

Вероятно, такое важное событие — перемена названия города — было отмечено, как это полагалось у древних греков,

специальной памятной надписью на мраморной стеле. Если бы ее найти! Тогда бы мы сразу все узнали. Но где она, эта стела? Может, поконится в земле под фундаментом одного из санаториев? Или уже давно выкопана каким-нибудь предприимчивым местным жителем и, разбитая на куски, замурована в стену вот этого чисто побелевшего домика, заштукатурена, скрыта от чужих глаз — многие дома здесь построены из обломков древних зданий.

Нет, надеяться найти чудом сохранившуюся стелу с подробной памятной надписью или тем более какой-нибудь исторический документ, которые сразу бы разъяснили все загадки, не приходится. Остается одно: пытаться восстановить истину по крупицам, по разбитым черепкам и обуглившимся обломкам, как это обычно приходится делать нам, археологам.

И вот я сижу на холме свежевырытой земли, верчу в руках найденную монету, снова и снова рассматриваю изображение бога Асклепия с венком из звездочек над головой и тщетно пытаюсь что-нибудь понять.

Если бы она могла говорить! Разве возможно по черепкам восстановить психологию Одиссея или Ахилла? Эти герои далекой древности так и остались бы нам неизвестными, не воспой их в свое время Гомер. Но мой городок — не Троя, и у него не было своего Гомера.

— О distinguished кандидат могильных наук, могу ли рассчитывать на ваше просвещенное внимание? — обрывает мои размышления знакомый насмешливый голос.

Я вскакиваю. Рыхлая земля начинает ползти из-под моих ног, и я едва не сваливаюсь в яму.

Так и есть, Миша Званцев собственной долговязой персоной! Все-таки приехал в отпуск, как обещал. Он вовремя заключает меня в свои железные объятия и не дает свалиться в раскоп.

После бессвязных приветствий мы еще раз крепко обнимаемся, похлопывая друг друга по спине.

— Ну, а теперь в море, — зовет он, размахивая выхваченным из кармана плавками. — Дайте мне море, я его переплыву!

— Понимаешь, до обеденного перерыва еще час, — нерешительно отвечаю я.

— Что? Ты хочешь уверить меня, что вы соблюдаете здесь какой-то табельный режим и, пачкаясь в земле у самого синего моря, купаетесь только после работы?

Вот всегда так! Почему-то все считают, будто в Крыму можно лишь отдыхать, а работать тут немислимо. Стоит только сказать, что едешь на раскопки в Крым, как на лицах попутчиков в поезде моментально появляются понимающие двусмысленные улыбки.

— Да, мы здесь работаем даже сверхурочно и умываемся только в свободное от работы время, — твердо говорю я. — Так

что можешь один отправляться на пляж, если не хочешь меня подождать.

Мишка хмыкнул, но, кажется, все-таки мне не поверил.

2

(Слово Михаилу Званцеву)

И вы представляете, они действительно соблюдают табель, эти гробокопатели! Роятся в земле на берегу моря и даже не оглядываются на его голубые просторы, которые так и манят каждого здравомыслящего человека уплыть в неведомые края. И самый несгибаемый из них, конечно, маэстро А. Н. Скорчинский — просто железный, как кровать. Быть ему профессором, в этом я теперь ни капельки не сомневаюсь.

Красивый и чистенький курортный городок, притиснутый подковой гор к самому морю. Рядом Ялта, Мисхор, Алупка, переполненные отдыхающими. Белые дворцы санаториев, фонтаны, асфальтовые дорожки, с которых дворники немедленно сметают малейшую соринку, благоухающий смолистым ароматом парк у самого моря. Всюду красота и порядок. И только эти ученические кроты портят всю картину. Нарыли повсюду глубоких ям, извлекли из-под земли какие-то грязные камни — и радуются.

— Вот здесь была улица, — торжественно объясняет мне Алешка. — Видишь, даже каменные плитки положены в определенных местах, чтобы можно было переходить ее в дождливую погоду. Жаль только, не дают раскопать дальше, там санаторий. Помехи на каждом шагу.

Я спотыкаюсь о камень и едва не проваливаюсь в какую-то глубокую дыру, зияющую прямо посреди их древней улицы.

— Черт! Почему не закопаете? Так и шею свернуть можно.

— Осторожно, не повреди облицовку, — слышу я от него вместо сочувствия. — Это колодец.

— Древний?

— Вероятно, еще четвертого века до нашей эры.

Я заглядываю в дыру. На дне ее, где-то глубоко внизу, смутно мерцает вода.

— И вода сохранилась? — удивляюсь я. — С четвертого века до нашей эры?

— Да нет, что ты мелешь! Натекла сюда после вчерашнего дождя...

— Тем более, чего же вы его не закопаете? Ну, обнаружили, посмотрели, сняли там схему. Не оставлять же этот никому не нужный теперь колодец еще на тысячу лет!

Он смотрит на меня как на безнадежного шизофреника. Но, по-моему, это они все сумасшедшие, тронутые какие-то.

Утром спросишь кого-нибудь:

— Где Алеша, что-то его не видно?

— Алексей Николаевич? Он в Паитикапей уехал...

А этого Паитикапей и на одной карте не найдешь, кроме как в учебнике по древней истории. Он уже не существует добрых двадцать веков. Но для них Керчь — все еще древний Паитикапей. Фанатики! Страшные люди!

Но я-то, я-то, многострадальный, чем виноват? В кон-то веки вырвал у начальства давным-давно положенный отпуск, примчался на этот благословенный берег — и что же? Тоже должен землю носом рыть? Или ножичком скрести, затаив дыхание?

Меня всегда умняет, какими орудиями раскапывают зловещие тайны истории эти мудрецы. Весь мир уже вгрызается в недра земли направленными кумулятивными взрывами или, на худой конец, шагающими экскаваторами с ковшем кубиков в сотню. А они — ножичком, ножичком... Самым обыкновенным, вульгарным кухонным ножом, который можно купить в каждой хозяйственной лавке. Или еще того чище — ковыряют землю шилом, ланцетиком, иголкой швейной, натуральной. Да и это у них считается слишком грубым инструментом. Если выцарапают из-под земли кусочек древнего ночного сосуда, то тут уж пускают в ход более тонок и нежный инструмент: осторожноенько счищают серую пыль сапожной щеточкой, веинчиком или кисточкой для бритья. А один у них, дошлый парень, Алик Рогов, ростом повыше меня и сложения подходящего, особенно ловко сдувает пыль детской резиновой клизмочкой. Специалист в этом тонком деле.

И это в Век Атома и Кибернетики!

А самое забавное: копаются они так часами под жарким солнцем, ковыряют землю иголкой — и что же находят? Сокровища Моитесумы? Копи царя Соломона? Ну, хотя бы новую научную истину?

Нет. Просто осколок глиняного горшка, выброшенного на свалку какой-то домашней хозяйкой двадцать веков назад.

И, несмотря на это, мой несгибаемый Лешка целыми днями упорно торчит на своих раскопках, подавая личный пример всей братии.

Первые дни я его еще, правда, соблазнял на прогулки, да что толку? Пойдешь с ним по городу в обеденный перерыв, он тут же затаскивает тебя в какой-то двор, не спросив хозяев, и тычет носом в расколотую мраморную плиту. А на ней едва можно различить изображение человека, играющего на трубе, и какую-то греческую абракадабру.

— Редкая находка. Надгробие трубача...

Однако даже такие познавательные-образовательные экскурсии скоро кончались. Алеша быстро посчитал свой долг гостеприимного хозяина до конца выполненным и бросил меня

на произвол судьбы, все глубже зарываясь в землю. Мне грозила горькая участь бродить по окрестным горам в одиночестве, постепенно дичая на манер древних тавров.

Пробовал подговорить на прогулки Тамару — есть у них в экспедиции такая бойкая смугляночка, — тоже ничего не вышло. Так бы и пропал во цвете лет, если бы не подобрал на пляже подходящую компанию: они копались, а мы купались. Пусть нам будет хуже! А виделись с Алешкой только в обед да вечерами.

Вечерять с этими земляными кротами было весело. Во дворе маленького домика на окраине, где у них была база, каждый вечер разводили большой костер. Все усаживались вокруг на перевернутых ящиках, на опустошенных за ужином ведрах, которые этой ораве заменяли столовую посуду, а кто и прямо растягивался на теплой земле, и начинались байки и хохмочки. Народ подобрался все молодой, зубастый, скучать не приходилось.

Я, признаться, их все время подзуживал, кошуинственно называл археологию «самой точной из всех неточных наук», постоянно вызывал на спор. А они с пеной на губах отстаивали свои «выдающиеся исторические открытия», хотя, по-моему, не очень убедительно.

Во время одного из таких споров у костра Алексей сплел весьма увлекательную и фантастическую историю о черепе этого самого Ураиополиса, остатки которого они по черепушечке раскапывали иголками да ножичками из-под земли.

— Представим себе, — торжественно начал он, — кто имеет хоть каплю воображения, конечно, темную ночь в конце августа шестьдесят третьего года до нашей эры. Тогда не было ни этой танцплощадки, откуда к нам доносятся столь громкие ритмы, ни асфальтовых дорожек, ни этого маяка на скале, то и дело посылающего в море призывный сверкающий луч... Тьма упала на узкие улочки Ураиополиса, приютившегося в ложбине меж гор под защитой крепостных стен. Дневная жара спала. Гасли светильники в домах. Укладывались спать усталые ремесленники. Только рабы еще заканчивали работы, для которых не хватило дня. Но на то они и рабы, чтобы трудиться без отдыха и сна...

«А у нас на то и уши, чтобы слушать эти хрестоматийные сказочки для детей младшего школьного возраста...» — хотел вставить я, но, покосившись на вилку в загорелых руках Тамары, промолчал. Она девушка решительная.

— Итак, наступила ночь. В богатом доме, в зале, украшенном цветной мозаикой и мраморными фигурами грифонов, раб скатал ковровую дорожку, тянувшуюся от самой двери, и поставил тяжелый сверток у мраморного порога: у него уже не было сил выбивать ее сегодня, и он решил встать для этого пораньше,

до зарн. В соседней комнате другой раб, писец, пристроив на коленях дощечку с натянутым на нее папирусом, выводил последние строки отчета о сделанных за день покупках, чтобы утром предстать перед хозяином. В караульной будке у ворот старый привратник Сирик перед сном увлекся своей любимой забавой, которой стеснялся заниматься днем, на людях: из блестящего желтоватого оленьего рога он любовно вырезал острой пилкой крошечные фигурки причудливых зверей — дикой лесной кошки, легконогого тура, белки с пушистым хвостом...

Все притихли. Только потрескивал костер, рыжими космами языков облизывая черное небо, нависшее над нами.

— Еще пылало жаркое пламя в горне: тесной и грязной мастерской оружейника, прилепившейся на обрыве над самым морем: возле стен крепости. Мастер в этот поздний час заканчивал большой щит из электрона, украшенный изображениями быков и оленей. Он рассматривал его при неверном, угасающем свете и все никак не мог налюбоваться на свою работу. Если бы он знал в тот момент, что его щитом так и не удастся воспользоваться никому из воинов, расхаживающих с острыми копьями в руках по тропинке на вершине крепостных стен и тревожно всматривающихся в ночную тьму!.. Усталая жена оружейника засыпала зерно на завтра в большую каменную ступку. Надо было провеять его заранее, да не успела дотемна, придется раньше вставать. И она с досадой бросила на глиняный пол возле очага деревянный совок. Если бы она знала в этот момент, что утром уже не возьмет его в руки!.. Мы осторожно выкопаем этот совок из праха только двадцать веков спустя. Засыпает маленький город, приютившийся среди крымских скал на чужом берегу, далеко от родной Эллады. Ночь и тишина, только время от времени протяжно перекликаются стражники на крепостных стенах. А по скалам, окружившим город и крепость, прикрытая ночным мраком, по-прежнему коварно и бесшумно подкрадывается беда...

— А кошка, Алексей Николаевич? Вы забыли про кошку! — перебила Тамара, нарушив все очарование сказки.

— В самом деле, про кошку-то я забыл. Итак, все утихло в крепости. И тогда в громадном погребе, где хранились пузатые глиняные пифосы с отличным крымским вином, вышла на охоту кошка. Мерцая зелеными глазами, она тихо кралась между пифосами. И вдруг увидела мышь! Кошка метнулась к ней, а мышь, пытаясь спастись, прыгнула на крышку пифоса! Он был пуст, время сбора винограда еще не наступило, и мышь провалилась в глубокий глиняный сосуд с отвесными гладкими стенками. Через мгновение туда же рухнула и кошка, не рассчитавшая своих движений в азарте ночной охоты. Теперь ей было уже не до мыши... Им не выбраться из каменного плена: через полчаса прозвучит над горами условный трубный звук,

со всех сторон на город бросятся подкравшиеся в темноте вражеские войны, запалют хижинны, закричат люди, и пламя охватит крепость...

Алексей замолчал, и все молчал. Костер, в который забыли подбрасывать хворост, догорал, и угли в нем жарко рдели, словно и впрямь остатки какого-то пепелница. А тьма, обступившая нас, казалась тревожной, угрожающей, полной каких-то подкрадывающихся теней и непонятных шорохов.

Умеет он все-таки завлекать своими рассказами!

— Особенно ловко у тебя получилось с кошкой, — как можно снисходительнее сказал я, прогоняя колдовскую тишину. — Стоит она у меня перед глазами иу прямо как живая. И кошка и мышка... Завидная у вас все-таки профессия, братцы гробокопатели! Пожалуй, не уступает астроботанике. Пойди там проверить, что растет на Марсе или как кошка ловила мышку две тысячи лет назад? Любимая профессия барона Мюнхгаузена...

На меня сразу бросились с негодующими воплями с двух сторон. Еле отбилсь от землеройных фанатиков.

— По-твоему, все это сказочки, игра фантазии, — снисходительно сказал Алексей. — А я могу голову дать на отсечение, что все так именно и было в ту ночь.

— Конечно. И главное, как удобно сочинять: пойдй проверь, что в самом деле случилось в одну чудесную августовскую ночь две тысячи лет назад!

— А если мы вам докажем достоверность каждой детали? — сказала Тамара.

— Попробуйте. Начните хотя бы с того, что это была именно ночь, да к тому же непременно августовская.

— Пустяк. Кто же, по-вашему, врасплох нападет днем на укрепленную крепость? Конечно, это было сделано ночью, когда все спали, кроме горсточкн часовых, — атаковал меня Алик.

— Ладно, а почему августовская?

— Потому что в обуглившихся развалинах одного из домов мы нашли скелет коровы, — сказала Тамара. — А у нее в желудке — арбузные семечки, травинки и даже целый неперева-реинный цветок, какие и до сих пор растут на горных склонах именно в конце лета, в августе.

Это становилось уже интересным, и я спросил:

— А история с уставшей женщиной?

— Тоже не выдуманна. Среди осколков ступки мы нашли обуглившиеся пшеничные зерна. И совок действительно лежал возле остатков очага, так что его явно тут бросили, не прибрав на место. И совсем законченный щит нашли в развалинах мастерской оружейника, и ковриковую дорожку под обломкамн дома.

— Вот как, — пришлось сдаться мне. — Выходит, все у вас

совершенно логично, хотя и смахивает на рассказы о pronunciamento Шерлоке Холмсе.

— А что же, он, по-твоему, свои догадки с потолка брал? Обычный дедуктивный метод,— засмеялся Алексей.

И знаете, что в заключение разговора сказал, сладко потянувшись, этот сумасшедший?

— Эх, если бы переиестн отсюда современные дома, все эти хибарки и санатории! Вот тогда бы мы покопались!..

— Ложитесь спать, фанатики! — возмутился я.

3

(Рассказывает Алексей Скорчинский)

Легко сказать — спи, когда мысли так и скачут в голове. Чудак Мишка! Продемонстрировали самый обычный пример восстановления картины прошлого по элементарным археологическим находкам, и ему это кажется чуть ли не чудом. А нам все время приходится вот так, по крупинкам, восстанавливать истину. Обуглившиеся зерна, осколки посуды, случайно оброшенная тысячи лет назад детская игрушка... Разве тут можно обойтись без воображения и без трезвой железной логики?

А вот когда совсем нет опорных точек, никаких находок, за которые можно было бы уцепиться, как быть тогда? Легко восстановить даже в деталях гибель города. Но почему он вдруг стал Уранополнсом? Кто мне объяснит?

А утром мы натолкнулись еще на одну загадку. Дня за два до этого я перебрал большинство своих ребят на раскопку здания, которое, по моим предположениям, должно было служить храмом. Конечно, от него ничего не сохранилось, кроме фундамента. Но оставшиеся в земле базы пяти колонн перед фасадом — доказательство, что это здание явно имело какое-то общественное значение, скорее всего связанное с геронзацей или обожествлением. Об устройстве храмовых зданий в греческих городах Крыма известно пока маловато, так что я и решил особое внимание уделить именно этому объекту.

Предупредив всех об особой важности работы, я сам внимательно следил за ходом раскопок на каждом из трех участков, выбранных так, чтобы вскрыть сразу возможно большую площадь. Хотя храм, конечно, был полностью разграблен нападавшими в ту трагическую ночь и, вероятно, сгорел дотла, может, думал я, удастся обнаружить какие-нибудь уцелевшие предметы утвари или даже обломки статуй, какими обычно украшали подобные здания.

Пока мои надежды не оправдались. Вырастали груды просеянной сквозь частые сетки земли, густо перемешанной с пеплом, но, кроме строительного мусора и совершенно бес-

форменных и обуглившихся кусочков дерева, ничего интересного не попадалось. Правда, часто встречавшиеся обожженные осколки соленов — так греки называли большие плитки черепицы — подтверждали, что здание было богатым и нарядным.

И вдруг меня окликнула Тамара:

— Алексей Николаевич, тут какая-то металлическая пластинка и на ней, по-моему, буквы...

Я поспешил к ней. Действительно, на ее перепачканной землею ладони лежала небольшая медная пластинка.

Свидетельство о проксении! Так называли греки право гостеприимства и защиты интересов иностранцев на территории своих полисов — нечто вроде современной «визы на въезд», что ли. Я тут же набросал в блокноте беглый перевод надписи на пластинке:

«Проксения Уранида.

Совет и народ дал: Феотим Антигон, сын Автея, и Аглотел, жрец, сын Никагора, сказали: дать Ураниду проксению и гражданство самому и роду его и право въезда и выезда им самим и имуществу их в военное и мирное время».

Опять те же имена! Но кое-что теперь проясняется: Аглотел был жрецом, возможно даже, в этом самом храме. Значит, пошли по верному следу. А загадочный Уранид — иностранец, которому за какие-то заслуги народное собрание города, по предложению Феотима Антигона и жреца Аглотела, решило дать эту проксению и права гражданства.

За что? За те же услуги, которые отмечены чеканкой монет с именами Аглотела и Уранида? Но что они совершили, чтобы удостоиться такой чести? И кто был этот Уранид, из каких краев прибыл он в город, где его родина? Вероятно, у него было какое-то другое имя, но здесь, в греческом городе, его почему-то заменили этим странным прозвищем — Уранид. Или его настоящее имя просто казалось грекам слишком трудным для произношения, варварским? Есть над чем призадуматься...

Мишке, конечно, опять повод для шуточек:

— Как в переводе звучит твой Уранид? Сын Неба? Так чего же тут голову ломать? Объяви его попросту пришельцем с какой-нибудь планеты, желательно подальше от Земли, перевернувшим, по своему хотению, всю жизнь греческого городка. Такие гипотезы сейчас в моде...

Да, искать повсюду, где есть археологические загадки, следы космических пришельцев, стало в последнее время модой. Поражает своими размерами древняя «Баальбекская веранда» в пустыне — значит, построили ее гости из космоса, не иначе. Изображения древних богов «вроде как в скафандрах» на скалах Сахары объявляются портретами марсиан. Забавный, однако, метод — подменять одни загадки другими, еще более запутанными...

Особенно смешно слушать все эти рассуждения о древних цивилизациях, якобы основанных небесными гостями, а потом по каким-то причинам захиревших, погибших, нам, археологам.

Одно поколение за другим, слой за слоем оставляли в земле следы своей жизни. Если в глубокой древности в каком-нибудь удобном месте возникало человеческое поселение, то и последующие поколения старались селиться тут же. Эта приверженность к обжитому месту даже получила в науке специальное название: закон постоянства поселений. Так что с течением времени в некоторых местах эти культурные слои, как мы их называем, образуют наросты до сорока метров!

Такие земляные «слоенные пироги» неопровержимо и наглядно показывают, как постепенно развивалась цивилизация на нашей планете — от древнейших стоянок первобытных охотников до громадных современных городов. Чтобы нас, археологов, убедить в каких-нибудь необычных скачках в истории развития человечества под влиянием мудрых космических пришельцев, нужны доводы посерьезнее, чем «Баальбекская веранда», служившая якобы космодромом, или воображаемая гибель библейских городов Содомы и Гоморры в огне атомной войны...

Наши загадки земные, но гораздо непонятнее и таинственнее.

Михаилу легко. Он здесь в отпуске, все заботы оставил дома. Целые дни напролет ныряет в море, как дельфин. На некоторых моих ребят он, кажется, начинает действовать разлагающе. Вчера двоих я поймал при попытке среди белого дня улизнуть из раскопа к морю — якобы умыться.

А через два дня мой друг внес новый раскол в наши крепкие исследовательские ряды. Со своими новыми друзьями он обнаружил какую-то пещеру неподалеку от берега и так вдохновенно расписывал ее вечером у костра, что многие из ребят захотели тоже туда заглянуть. Пришлось выделить им выходной день, которых, кстати, у нас уже давненько не было. Я, признаться, отменял выходные под разными предлогами, стараясь побольше раскопать за короткий летний сезон. Но теперь пришлось официально объявить ближайшее воскресенье нерабочим днем.

Раздосадованный, сам я не хотел ни в коем случае лезть с ними в эту пещеру. Но потом подумал: глупо одному торчать в этот день в раскопе. Да и в пещере могли сохраниться какие-нибудь следы стоянки или просто временного пребывания первобытных людей, как и во многих других подземельях Крыма. Хотя первобытное общество и не моя специальность, стоило проследить, чтобы следы пещерной культуры не повредили по неосторожности, если их удастся обнаружить.

А потом, в конце концов, — хотя я в этом и не хотел признаться самому себе — нужно было и мне немного про-

ветрить голову от назойливых мыслей, рассеяться, переключиться на что-нибудь далекое от загадок моего Уранополиса.

Отправились мы в пещеру рано утром, запасшись, как полагается, фонарями, свечами, веревками. Тут совершенно неожиданно оказалось, что мой ближайший помощник из студентов, Алик Рогов, давно увлекается спелеологией и облазил немало пещер в Подмоскowie и на Кавказе. Так что я ему поручил все руководство этим «подземным пикником».

До пещеры оказалось с полкилометра. Вход в нее прятался в густых зарослях кустарника. Приметой служил белый известковый камень, оставленный здесь Михаилом.

Из тесного входа тянуло сырым холодком. Свет наших фонариков проникал туда всего метра на три, не больше. Дальше все пряталось в темноте.

Гуськом, подталкивая друг друга, мы начали, пригнувшись, спускаться по пологому тоннелю. Чуть забудешься и неосторожно поднимешь голову, как больно стучаешься о мокрые выступы скалы.

Но вот ход немного расширился, можно было выпрямиться во весь рост. Подняв над головой фонарики и свечи, мы осмотрелись. В небольшом гроте смутно белели глыбы известняка в желтоватых, грязных потеках. Одна из них преграждала дальнейший путь. Лишь с трудом, бочком, удалось протиснуться в узкую щель между этой глыбой и мокрой стеной пещеры.

Я впервые забирался под землю и, признаться, чувствовал себя не очень уютно. Да и все притихли, перекликались почему-то шепотом, девчата жались друг к другу.

Наши громадные уродливые тени плясали и дергались по стенам пещеры, а порой, при резком повороте, словно бросались нам навстречу, заставляя девчат испуганно взвизгивать. Под ногами хлюпала холодная грязь. Она налипала на ботинки, идти с каждым шагом становилось все труднее. Я проклинал себя: завтра наверняка многие схватят насморк, раскиснут и будут работать, словно сонные мухи.

Идущие впереди Алик Рогов и Михаил вдруг так резко останавливаются, что мы тычемся в их спины. Дальше тоннель разделяется на три рукава. По какому из них идти?

Алик присаживается на корточки и колдует со свечой, то опуская ее к самому полу пещеры, то приподнимая повыше. Тоненький язычок пламени беспорядочно дергается и трепещет.

— По-моему, следует повернуть направо, — не очень решительно говорит, наконец, Алик. — Оттуда сильнее тяга воздуха, возможно, там выход.

Вслед за ним мы одни за другим лезем дальше. В душе я надеюсь, что и этот ход окажется ложным или непроходимым, тогда можно будет с чистой совестью предложить всем возвращаться обратно. Но узкий лаз опять расширяется, уже

можно выпрямиться, не рискуя набить на лбу шишку о сталактиты.

Сиова под ногами хлюпает грязь. Становится труднее дышать. Низкий свод пещеры давит, заставляет все время непроизвольно втягивать голову в плечи.

Впереди неожиданно раздается плеск воды и вскрик Алика. Все опять останавливаются, натыкаясь на спины друг друга.

— Осторожно, впереди вода! — предупреждает Алик.

Вода и вправду совсем не заметна. Только когда наклониться со свечой, становится видно, как отражается в зеркальной черной глади трепещущий язычок пламени.

Коридор тут расширяется, образуя небольшой зал. Но дальше дороги нет. Весь зал занимает подземное озеро.

Михаил разочарованно крикает, а я рад, что наш подземный поход, кажется, кончен.

— А вот автограф пещерного человека! — торжественно провозглашает Михаил, попытавшийся все-таки пробраться еще немножко дальше по узкой кромке берега.

При свете нескольких поднесенных свечей на мокрой стене сияет надпись корявыми белыми буквами:

«Вася Хариков и Паша Буравко были здесь. 10.07.82 года. И вам того желаем!»

— Интересно было бы нырнуть в это озеро, — с воодушевлением проговорил неугомонный Алик. — Может, пещера тянется дальше?

Разумеется, Мишка сейчас же загорелся.

— Слушайте! У нас же есть акваланги, давайте принесем их сюда и ныряем! — предложил он с торжественным видом новоявленного Архимеда.

Я поспешил вмешаться:

— Нет уж, пусть этим занимаются специалисты, спортсмены-пещерники. А мы сюда приехали работать на раскопках, а не в подземные озера нырять.

По оставленным отметкам выбрались мы из пещеры без осложнений. В одном только месте забрели в боковой тоннель, но быстро заметили свою ошибку.

4

(Продолжает Алеша Скорчинский)

Не знаю, как другим, но мне все-таки было чертовски приятно выбраться на белый свет из этого мрачного склепа и вдохнуть всей грудью свежий морской ветерок. Да по-моему, и все сразу почувствовали себя уютнее и спокойнее.

А на следующий день новая непонятная находка всколыхнула весь наш лагерь.

Я всех строго предупредил, чтобы, наткнувшись хоть на малейшие признаки остатков каких-нибудь металлических вещей, тканей или папируса, немедленно прекращали раскопку и вызывали меня. Но на эту странную находку наткнулся я сам, расчищая землю вокруг остатка фундамента одной из колонн храма.

Грубо обтесанный камень заинтересовал меня едва заметным узором, почти стершимся от времени. Узор мог иметь и естественное происхождение, скажем, оставлен водой или проточен улиткой. Ну а вдруг это орнамент, нанесенный рукой какого-нибудь неизвестного художника-тавра на камне, который потом греки использовали при строительстве храма? Такое предположение тоже не исключалось.

Но, осторожно отгребая ножом землю, чтобы обнажить весь камень и получить рассмотреть узор на нем, я вдруг наткнулся на что-то твердое. Стал расчищать землю в этом месте еще осторожнее, постепенно обнажился обуглившийся и свернувшийся в трубочку кусочек кожи.

Пергамент? Документы могли писать и на пергаменте, он тогда уже получил широкое распространение.

Меня кто-то окликнул. Я не отозвался, стараясь даже не дышать.

Только странное ощущение, словно в раскопе вдруг стало темнее, заставило меня поднять голову: откуда взялись тучи?

Оказывается, вокруг ямы, сразу почуяв по моей увлеченности, что обнаружено нечто интересное, собрались уже все участники нашей экспедиции.

— Что случилось? Чего вы тут столпились? — расталкивая ребят, пробился вперед встревоженный Михаил. Волосы у него были мокрые, видно, только вернулся с моря. — Фу, ты жив и здоров! — сказал он. — А я уж напугался — не завалило ли тебя ненароком. Давно этого следует ждать при твоей одержимости...

— Что вы нашли, Алексей Николаевич? — перебила его Тамара.

Что я нашел? Я этого еще не знал сам. Бережно держа на ладони находку, я с помощью десятка протянувшихся ко мне рук вылез из раскопа. Кто-то торопливо расстелил на земле носовой платок, я положил находку на него и только теперь начал ее внимательно рассматривать.

Да, несомненно, кусок кожи, скрутившийся в трубку от огня и с поверхности сильно обуглившийся. Видно, сразу был засыпан землей и не успел сгореть.

Но внутри есть еще что-то...

Осторожно, двумя пинцетами, я начал раскручивать сверток. Внутри оказались две узкие деревянные плашки, скрепленные между собой под тупым углом так, что получилось нечто

вроде развернутого веера. Кожа была пришта к этим планкам крепкими воловьими жилами.

Что это могло быть? Расходящиеся концы планок обломаны. Может быть, часть какого-то храмового украшения или утвари для богослужений?

Догадки посыпались со всех сторон и, как водится, самые фантастические:

— Деталь фриза?

— А может, кусок драпировки?

— Какая-нибудь маска, которую надевал жрец?

— Ну да! Что же он, шаманом был, что ли?

— А может, это обломок игрушки? — нерешительно сказал

Алик.

— Какой игрушки?

Алик замаялся и покраснел, даже загар не мог этого скрыть.

— Ну, чего же ты смущаешься? — подбодрил я. — Догадка, во всяком случае, более правдоподобная, чем домыслы о масках или архитектурных деталях. Игрушки вполне могли оказаться в храме как дары от излеченных детей. Известен случай, когда мальчик, по имени Евфан, принес в дар Асклепию за успешное излечение самое дорогое, что у него было, — десять косточек для игры в бабки...

— Нет, Алексей Николаевич, я сморозил глупость, — покачал головой Алик. — Это я по первому порыву. Сходство уж больно большое...

— С чем?

— Мне показалось, это похоже на модель самолета... На кусок крыла...

Ох какой тут поднялся хохот! Но всех перекрыл своим звонким голосом, конечно, Михаил.

— Тихо, дети! — заорал он. — Это же сенсация, величайшее открытие нашего века! Надо бежать на телеграф: «Найдены остатки крыльев Икара. Подробности почтой...» Или лучше так: «Обнаружены следы деятельности юных авиамоделистов первого века до нашей эры...»

Надо было вступить за несчастного Алика и поскорее утихомирить Мишку.

— Слушай, а ты напрасно глумишься над техническими познаниями древних, — сказал я. — Тут еще может быть немало поразительных открытий и откровений для вашего брата, скептиков — инженеров. Слышал ты, например, о знаменитой находке возле острова Антикитера?

— Возле какого острова? Не сбивай ты меня, пожалуйста, этими древнегреческими названиями. Что там было найдено — действующая модель атомной бомбы?

— Нет, прекрасно работающий счетно-решающий механизм. Конечно, не электронный, как у вас теперь, но не менее

поразительный по тем временам. До этой находки считалось, будто древние греки имели большие достижения в области чистой математики, но механика у них не достигла особенного расцвета. И вдруг в начале нашего века ловцы губок находят на дне моря возле острова Антикитера прибор, который показывал годовое движение Солнца в зодиаке, точное время восхода и захода самых ярких звезд и наиболее важных для ориентировки созвездий в различное время года. Кроме того, были особые указатели основных фаз Луны, времени захода и восхода всех планет, известных греческим астрономам, — Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна, и даже схема их движения по небосводу.

— И сколько же зданий он занимал на дне моря, этот чудо-прибор? — Михаил уже явно заинтересовался.

— В том-то и дело, что он был весьма портативным, не больше современных настольных часов.

Михаил не поверил, но вечером я разыскал толстый том «Античных древностей» с описанием замечательной находки у берегов Антикитеры и показал ему. Мой друг забыл даже о танцах и традиционном вечернем купании.

А я тоже рылся в книгах, пытаюсь обнаружить хоть намек на разгадку того, что мы сегодня нашли. Рассматривал фотографии и зарисовки античных игрушек, различных предметов домашней утвари, даже обуви и одежды. Потом мне показалось, будто странная находка может иметь какое-нибудь отношение к мореплаванию тех времен. Может быть, это клочок паруса? Но вряд ли их делали из таких хорошо обработанных кож. А точнее проверить это предположение, увы, невозможно, потому что до нас не дошло ни одного древнегреческого парусинка, только их изображения на вазах.

Михаил, видно, увлекся. Он чертил какие-то схемы, и время от времени я слышал его бормотание:

— Так, значит, верхний циферблат укреплен над главным приводным колесом. А стрелки поворачивались при помощи вот этого барабана-эксцентрика... Ну а этот штифтик для чего?

«Клюнул, — радовался я. — Теперь надолго забудет про свою пещеру. Давай, давай, брат! Над этим хитроумным механизмом уже многие ломали головы...»

Но вскоре им овладела новая мания: начал требовать у меня образцы посуды и обломки обожженных кирпичей для каких-то анализов.

— Да зачем тебе это нужно? Что ты собираешься с ними делать?

— Совершенствовать метод палеомагнетизма.

Возражать против этого было трудно. Метод палеомагнетизма, разработанный за последние годы физиками, сильно облегчил нам, археологам, датировку находок. Колдуя со сво-

ими хитрыми приборами над черепками глиняной посуды, они ухитрялись узнавать, каким было магнитное поле Земли в то время, когда эта посуда обжигалась в гонимой печи. А потом, пользуясь сложными графиками и диаграммами, на основе этих данных довольно точно определяли время изготовления посуды.

Почти для каждого найденного образца я на всякий случай подбирал и дубликаты. Но все равно расставаться с ними не хотелось: мало ли что может случиться?..

А Михаил был неумолим:

— Давай, давай, не жадничай! Для тебя же стараюсь.

Но через несколько дней пришел конец его отпуску, телеграммой досрочно вызвали в Москву.

Он увозил с собой целый ящик обгорелых кирпичей.

— Куда тебе столько? — спросил я. — Дом можно построить.

— Есть у меня одна идея, — туманно сказал Михаил, — но пока молчок.

Любит он напускать таинственность!

На следующий день произошло такое событие, что я забыл обо всем на свете, кроме работы.

С утра все шло как обычно. Уже вторую неделю мы вели раскопки бокового придела храма. Постепенно расчищался последний угол небольшой каморки, видимо служившей прибежищем кому-то из храмовых служителей-рабов. Тут трудно было рассчитывать обнаружить даже остатки нехитрой домашней утвари. Какое имущество могло быть у раба?

Зачистку вел старательный и аккуратный Алик Рогов. Я ему доверял самые сложные раскопки, так что спокойно оставил его одного и отправился на другой объект, где несколько студентов только начинали вскрывать фрагмент основания крепостной стены. Я поработал с ними около часа, когда увидел бегущую к нам Тамару. Она еще издали отчаянно махала рукой.

Задышавшись, крикнула:

— Алексей Николаевич, идите скорей! Вас Алик зовет!

— Что у вас там стряслось?

— Он нашел какую-то рукопись!

Мы все помчались к Алику — впереди я, за мной студенты, побросавшие лопаты, а позади всех совершенно обессиленная Тамара.

Рогов сидел в яме; то и дело нетерпеливо высывая оттуда голову, а сам прикрывал ладонями и всем телом находку, смешило растопырив локти — совсем как наседка на гнезде. Я спрыгнул к нему в раскоп, остальные столпились вокруг, шумно отдуваясь и переводя дыхание.

Алик осторожно отнял руки, и я увидел торчащий из земли

край какой-то плетенки из прутьев, видимо корзины. Ветви обуглились.

Я отметил это мельком, машинально. Все внимание мое привлек кусочек папируса, торчавший между прутьями. Неужели чудом уцелел какой-то письменный документ?!

Сдерживая дрожь в руках, с помощью Алика, который словно ассистент во время сложной хирургической операции, по одному движению моих бровей подавал то скальпель, то резиновую грушу для сдувания пыли, я начал расчищать землю вокруг корзины.

Пинцетом я извлек из нее клочок тряпки, комочек шерсти, несколько щепочек, глиняную пластинку... И наконец, небольшой, тонкий сверток папируса, за ним второй. Их я тут же, пока не рассыпались в труху от свежего воздуха, раскатал и зажал между двумя стеклами. Теперь можно было вытереть пот со лба и попытаться повернуть совершенно затекшую шею...

Я взглянул на часы. Не мудрено, что шея так зверски болела: провозился два часа семнадцать минут, совершенно не заметив этого.

Я пробежал глазами коротенькую надпись на табличке:

«Клеот спрашивает бога, выгодно ли и полезно ему заниматься разведением овец?»

Так, все ясно: обычный запрос к оракулу. Теперь папирусы. На первом из них написано:

«Я решительно упрекаю тебя за то, что ты дал погибнуть двум пороссятам вследствие переутомления от длинного пути, а ведь ты мог положить их в повозку и доставить благополучно. На Гераклида вина не падает, так как ты сам, по его словам, приказал ему, чтобы пороссята бежали всю дорогу. И затем не забудь пустить...»

Дальше записка обрывалась, хотя на папирусе еще оставалось свободное место и чернела большая клякса, словно писавшего кто-то подтолкнул под руку.

Я торопливо перерисовал текст в свой блокнот и занялся вторым клочком папируса. Это тоже, видимо, какой-то черновик. Буквы небрежно разбежались по неровным строчкам: дельта, эпсилон, сигма, омикрон...

Я перечитал их снова и крепко потер себе лоб.

Все буквы были мне знакомы, но я ничего не понимал. Они не складывались в нормальные, понятные слова. Самые обыкновенные греческие буквы... Но из сочетания их получалась какая-то немыслимая тарабарщина, лишённая всякого смысла.

Я понимал лишь отдельные слова: «по-ахейски», «иациди» а вот это, пожалуй, «размешай». Но и эти слова были какие-то искаженные, с отсеченными окончаниями, словно нарочно исковерканные, так что я, скорее, угадывал их смысл, чем понимал его точно.

Весьма странное и мучительное ощущение! Представьте себе, что вы по-прежнему знаете, как произносится каждая буква родного алфавита, но понимать смысл слов, написанных ими, вдруг разучились. Перестали понимать свой родной язык! Так было и со мной. В полной растерянности я поднял голову и сказал обступившим меня студентам:

— Ничего не понимаю... Что за чертовщина!

МЫ НЫРЯЕМ ПОД ЗЕМЛЕЙ

Иметь взгляды — значит смотреть в оба!

С. Ликок

1

(Рассказывает Михаил Званцев)

Мой Алеша бросил свои раскопки и примчался в Москву совсем ошалелый. Всегда такой спокойный, рассудительный, даже слишком медлительный, на мой взгляд, тут он стал сам не свой. Еще бы, поставьте себя на его место: наконец-то нашел заветный «письменный источник», а прочитать его не может!.. Из шестидесяти восьми слов разобрал только пяток.

Вечером мы вдвоем с ним ломали головы над этой загадкой. Небольшой, криво оторванный клочок папируса, исписанный поперек столбцами неровных строчек. Буквы на нем выцвели, стали едва заметны — не случайно его, видно, бросили в мусорную корзину. А мой фанатик прямо трясется над ним, словно это невеста какое сокровище.

Но, честно говоря, я начал разделять его азарт. У меня тоже руки прямо зачесались расшифровать сей загадочный документ.

— Слушай, а может, это действительно шифр какой? — предположил я.

— Кому нужно было зашифровывать какие-то хозяйственные надписи? — пожал он плечами.

— Почему хозяйственные? Ты что, их прочитал?

— Нет, но пользуюсь все тем же методом дедуктивного анализа, могущество которого уже имел счастье тебе продемонстрировать. Смотри, — он склонился над столом, вода карандашом по стеклу, под которым лежал кусочек папируса, — видишь, в конце четвертой строки одинокая буква «бета», в конце пятой — «альфа», а девятая строка кончается буквой «гамма». Это явно цифры: 2, 1, 3. Греки тогда обозначали цифры буквами. Значит, идет какое-то перечисление, опись чего-то.

— Пожалуй, ты прав.

— Уже есть зацепка. Значит, рано или поздно мы его расшифруем...

— Да, по частоте повторяемости отдельных букв. Чистейшая математика и статистика! И все-таки я прав, а не ты: ключ к этому тарабарскому языку надо искать, как в обыкновенной шифровке. Мы с тобой сейчас в положении Вильяма Леграна, обнаружившего кусок пергамента с криптограммой пиратского атамана...

— Какого еще Леграна?

— Маэстро, надо знать классиков. Эдгар По, «Золотой жук».

Я легко отыскал на полке серый томик и открыл на нужной странице.

— Итак, что сделал проищательный Вильям Легран? Он подошел к расшифровке строго научно. В любом языке каждый элемент — звук, буква, слог и тому подобное — повторяется с определенной частотой. На этом и основана расшифровка секретных кодов. Зная, что в английском языке чаще всего употребляется буква «е», Легран подсчитал, какая цифра наиболее часто встречается в пиратской криптограмме, и всюду вместо нее подставил эту букву. Потом, опять-таки по закону частоты повторения, он буква за буквой разгадал всю шифровку и узнал сокровенную тайну пиратов: «Хорошее стекло в трактире эпископа...»

— Не вижу все-таки особенного сходства с той задачей, какая стоит перед нами,— перебил он меня.

— Слушай, ты иногда бываешь удивительно непонятлив! Эту фразу можно зашифровать так, как сделал пиратский атаман Кидд.

Я набросал на листочке бумаги криптограмму из рассказа:

$$53^{\dagger\dagger} + 305) \text{ } 6^{\times}; 4826) 4^{\pm}) 4^{\text{'''}}$$

— А можно ее зашифровать и по-другому — словами. Скажем: «Лобасто кире а курако пула...» Получается в точности твой тарабарский язык. Теперь достаточно переписать это греческими буквами, которых я не знаю, или латинскими и можно выдавать за древний манускрипт на неведомом языке.— Я тут же проделал эту несложную операцию и подал ему листочек.

— Пожалуй, ты прав,— пробормотал он, разглядывая его.— Это можно расшифровать...

— Но ты знаешь, дорогой мой осквернитель древних могил, сколько времени тебе на это потребуется? — Я быстренько прикинул на подвернувшемся под руку клочке бумаги.— Да, к концу жизни, глубоким стариком, ты, наконец, прочтешь: «Настоящим удостоверяю, что мною, жрецом А. И. Еврипидом, действительно украдены из казны храма З—в скобках

прописью: три — бронзовые иголки». Что и говорить — лучезарная цель, ей не жалко посвятить жизнь!

— Трепач ты, Мишка! — вздохнув, сказал он. — Во-первых, каждый новый документ древности очень важен для науки. А во-вторых, я не собираюсь корпеть над расшифровкой, как некий кустарь-одиночка. Опубликую копию в журнале, и общими силами мы как-нибудь разгадаем эту загадку в ближайшие годы.

— А в ближайшие недели не хочешь? Ты забыл, что в наше время самые выдающиеся открытия совершаются на стыках далеких друг от друга наук?

— То есть?

— То есть тебе на помощь придет всемогущая кибернетика, разумеется, в моем лице.

И знаете, что он мне ответил, этот зарвавшийся наглец?

— Я знаю, — говорит, — что нынче некоторые не надеющиеся хватать звезд в своей собственной науке спешат примазаться к другим отраслям знания, где их слабость не так заметна непосвященным. По древнему принципу: в стране слепых и кривой — король. Что ты понимаешь в археологии или лингвистике?

— Ах так? — сказал я. — Тогда нам не о чем разговаривать.

Но тут он начал всячески улаживать меня:

— Ладио, не ершишь, это я так, ради красивого слова брякнул. Конкретно что ты предлагаешь?

— Предлагаю положить твой орешек на зубок электронно-вычислительной машины. Договорюсь с шефом, думаю, он разрешит повернуть эту работенку в нашем институте. Раз документ написан известными буквами, но на неизвестном языке, его можно рассматривать как шифровку. Чтобы подобрать к ней ключ, тебе придется возиться несколько лет. А машина это сделает гораздо быстрее.

— Неужели это возможно?

— Прощаю тебе сомнения только потому, что ты полный профан в кибернетике, — величественно сказал я.

2

(Рассказывает Алексей Скорчниский)

Признаться, я не слишком верил радужным обещаниям друга. Хотя, конечно, насчет того, что «в стране слепых и кривой — король», — это я сказал несправедливо. Товарищи по работе Михаила весьма уважают и ценят; судя по их отзывам, он там, в своем институте, если и не король пока, то, во всяком случае, подающий большие надежды принц.

И в то же время не замыкается он в узкопрофессиональную

«скорлупу» — это мне тоже в нем нравится. И астрономией увлекается, и в литературе разбирается неплохо, а теперь еще затеял какие-то мудреные опыты с палеомагнетизмом, замучил меня совсем, требуя все новые и новые образцы для анализов. Вот только в истории и археологии слабоват, но ведь никто не обвинит необъятное!..

Уже на следующий день Михаил позвонил мне и сказал, что имел «предварительную дипломатическую беседу с шефом и дело разрешится в самое ближайшее время».

— Приезжай сейчас же в институт, я тебя жду, — позвонил он через неделю. — Шеф разрешил заниматься твоей шифровкой после работы. Надо подготовить все материалы. На той неделе нам дадут машину на тридцать шесть часов...

— Только? — огорчился я. — А что мы успеем за это время?

Он так яростно засопел в трубку, что я торопливо добавил:

— Ну ладно, ладно, еду.

Институт находился за городом, километрах в сорока от Москвы. Прямо посреди сосновой рощи поднимались высокие корпуса, сверкая на солнце огромными окнами. И внутри все было новенькое, ультрасовременное. Я чувствовал себя не очень уютно в этом совершенно непонятном мне мире машин, окруженных защитными проволочными сетками, словно звери в зоопарке; приборов, занимающих целые комнаты; подмигивающих цветными лампочками пультов от пола до самого потолка.

Паренек, в синем халате, с торчащей из кармашка логарифмической линейкой, был, наоборот, очень немногословен.

— Виктор, колоссальный программист, — представил мне его Миша Званцев.

А паренек уже невозмутимо склонился над копией найденного документа, машинально вытаскивая из кармашка свою логарифмическую линейку. Чем она ему тут может помочь?

Что происходило дальше, до сих пор как следует не понимаю и потому вряд ли смогу обстоятельно рассказать. Я вдруг снова почувствовал себя так же глупо, как и в тот момент, когда вытащил странный документ из-под земли. Михаил и Виктор о чем-то деловито рассуждали, но я почти ничего не понимал из их разговора. Алгоритм, статистические свойства текста, кодировка по таблицам случайного набора символов, энтропия, математическое ожидание и дисперсия — нет, они говорили явно на каком-то неведомом мне языке.

В общем, о технологии всей подготовительной работы по расшифровке найденного документа я больше ничего говорить не буду: желающие (и способные в этом разобраться) смогут узнать все подробности из специальной статьи, которую Михаил и Виктор готовят сейчас для сборника, посвященного проблемам кибернетики.

Так они колдовали с цифрами вечерами всю неделю. И Виктор, покачивая головой, несколько раз говорил мне:

— Очень мало текста, боюсь, ничего не выйдет. Повторяемость некоторых букв ничтожна. Если бы вы нам дали побольше текста...

Чудак! Я бы и сам хотел найти новые документы, пусть даже непонятные, на таком же загадочном языке. Но кроме этого клочка папируса, у нас пока ничего не было.

Наконец наступил день, когда по распоряжению шефа, которого я так и не видел и даже имени не узнал, нашей группе № 15, как она, оказывается, официально уже именовалась, должны были по графику дать на тридцать шесть часов вычислительную машину. В зал, где она размещалась, меня не пустили.

— Все равно ничего не увидишь, а только будешь мешаться под ногами, — строго сказал мне Михаил.

И я на этот раз не осмелился с ним спорить, только заглянул в зал и посмотрел на машину через полуоткрытую дверь. Но не увидел ничего нового, кроме все тех же пультов с лампочками да загадочных приборов вдоль стен. А потом дверь закрылась, и я отправился домой ждать...

Не знаю, сколько прошло времени до следующего вечера, — вероятно, тридцать шесть не часов, а лет или, может, даже десятилетий. Я услышал Мишкины торопливые шаги и распахнул дверь раньше, чем он успел позвонить. Первым делом впился взглядом в его лицо. Оно было смущенным. Значит, все оказалось липой, очередной трепотней?

— Ну?

— Да дай ты мне раздеться! — сказал он, отпихивая меня в сторону и разматывая шарф. — Понимаешь, очень мало текста, Виктор был прав.

— Где она? — заорал я.

С явным смущением, так не похожим на него, Михаил положил передо мной листок, на котором было написано:

«Возьми.....по-ахейски
«благовои», выжми из нее.....и раз-
бавь.....водой из.....
Добавь.....два,
.....возьми.....пива.....одну,
зарежь.....нацеди его.....в ту
и.....и доверху.....разбавленным
.....это размешивай.....
не.....пена.....три
.....и.....
.....заговор.....
.....«Сарон, Калафон.....
.....И.....залпом.....»

— Вот и все, по-моему, не слишком густо. Но ничего не поделаешь, текст уж больно коротенький, куций,— сказал Михаил так, словно был в чем-то виноват.— Тарабарщина. И по-моему, не очень интересная: не то странница из поваренной книги, не то рецепт какого-то яда — не случайно тут упоминается слово «заговор» и чьи-то имена.

— Ничего ты не понимаешь в археологии,— решил я его утешить, хотя и сам был разочарован.— Тебе все кажется, будто для нас важнее всего найти какой-нибудь клад. А порой самые обыкновенные черепки от посуды или вот такая записка могут рассказать куда больше важного и интересного, чем находка красивой вазы или золотого кубка. Материальная культура народных масс далекой древности — вот что нас прежде всего интересует. Как развивались производительные силы общества, что сеяли на полях, выделяли в мастерских, в какие производственные отношения вступали между собой люди в процессе труда?..

— Ну и что же тебе говорят эта куца расписка, доморощенный Шерлок Холмс?

— Ну, во-первых, я ошибался, принимая это за какую-то хозяйственную опись или реестр. Скорее всего, это рецепт, который жрец почему-то хотел засекретить, скрыть от чужих глаз...

— А может, все-таки сообщение о заговоре?

Ему явно хотелось идти по стопам героев Эдгара По. Рецепт его не устраивал: какая в нем романтика?

— Да нет, слово «заговор» тут употреблено в смысле «заклинание». А имена явно не греческие, вероятно, какие-то магические божества или демоны.

Я еще раз внимательно просмотрел запись и добавил:

— Кое-какие пробелы, кажется, можно восстановить по смыслу, помочь твоей чудо-машине. По-ахейски «благовоном» называли мяту. Значит, первая строчка читается: «Возьми мяты, называемой по-ахейски «благовоном»... Шестая строка: «зарезь», вероятно, какое-то жертвенное животное, а не коварного врага, как ты думаешь; «нацеди его» — видимо, «кровь» — в какой-то сосуд... Да, несомненно, рецепт. Но зачем жрецу понадобилось зашифровать его, не понимаю!

— Хотел утратить, чтобы стать монополистом. Ты что думаешь, в древности жуликов не было, что ли?

— Возможно.

Тут я заметил, что Михаил как-то странно мнется, словно хочет что-то сказать, да стесняется,— совсем не похоже.

— Ты что?

— Да так, есть одно соображение...

— Ну, говори.

— Боюсь брякнуть такую же нелепость, как тогда Алик насчет древних авиамodelистов,— засмеялся он.— Понимаешь,

я тоже думал: зачем все это понадобилось проделывать жрецу? Почему его не устраивал родной язык, от которого потом пошли почти все письменности Европы и некоторые алфавиты Азии? По сравнению с громоздкой вавилонской клинописью или египетскими иероглифами греческий алфавит ведь в те времена был самым прогрессивным, простым и логичным. Недаром его, по-разному видоизменив написание букв, взяли потом за основу для своей письменности и некоторые другие народы.

— Ты, оказывается, не терял зря времени...

— Зачем же понадобилось этому жрецу, оставив греческий алфавит, сочинять какой-то новый язык, сохранив для него лишь немногие греческие слова, да к тому же почему-то искаженные? — продолжал он, отмахиваясь от меня, как от мухи. — Только ли для зашифровки этих секретов? Но для этого можно было и не заниматься сочинением нового языка — достаточно лишь зашифровать записи цифрами или условными знаками, как это сделали пираты в рассказе Эдгара По.

Он помолчал и добавил:

— Ты обрати внимание, что этот загадочный язык был, видимо, каким-то очень простым, логичным и ясным, поэтому многие слова так быстро и легко расшифровала машина...

— Ну и что же ты хочешь, наконец, сказать?

— «Что-то вроде эсперанто», — определил его Виктор Крылов. А его логический ум очень точно схватывает такие вещи... Чем больше я раздумывал над тем, что мы узнали в процессе подготовки программы для машины, тем больше внутренне соглашался с этим определением. Да, по простоте грамматических форм, логичности и лаконизму язык этого документа весьма напоминает эсперанто.

Тут уж я не выдержал:

— Эсперанто в первом веке до нашей эры? Ты перечитал слишком много книг по лингвистике! Слушай, это все из той же серии гениальных, но забытых открытий древних. Стальные колонны, которые не ржавеют, марсиане в пустыне Сахара, металлические гвозди и булавы, якобы найденные в исторических слоях известняка... Все это могут сочинять только люди, как ты, совершенно не знакомые с реальным бытом людей древности. Рабовладельческий строй, греческие города окружены враждебными племенами скифов и тавров, не имеющих еще своей письменности... ну скажи мне на милость, с чего это греческому жрецу из храма Асклепия вдруг взбредет в голову сочинять в такой обстановке эсперанто для облегчения и укрепления международных связей? Вопиющее отсутствие малейшего чувства историзма!

— Ладно, что ты собираешься дальше делать?

— Копать, искать! Раз этот жрец вел зашифрованные записи, значит, и прятал их в каком-нибудь тайнике. И конечно, не успел

оттуда забрать во время ночного внезапного нападения. Надо найти этот тайник!

— Хорошо, только присылай мне побольше обгорелых кирпичиков для анализов.

Дались ему эти кирпичи!..

3

(Снова берет слово А. Скорчинский)

Новый раскопочный сезон я решил начать с планомерного повторного обследования всех развалин храма Асклепия. Храм имел в плане форму буквы «Т». Мы вскрыли левое крыло и центральную часть. Правое крыло, к сожалению, было для нас недоступным: на его месте уже выстроен санаторий...

Каморка писца-раба, где мы нашли остатки корзинки с папирусом, находилась как раз в окончании левого плеча буквы «Т». Я предполагал, что и все правое крыло занимали, вероятно, служебные помещения. Вряд ли там мог находиться тайник. Вернее всего, его следовало искать где-то поблизости от центральных помещений, где располагались жертвенники и жили жрецы.

Вся эта часть была раскопана еще в прошлом году. Но мы начали ее обследовать заново, понимая, что при обычных раскопках тайник вполне можно пропустить, если не искать его специально.

Заново, сантиметр за сантиметром, я сам перекапывал всю землю в прошлогоднем раскопе. Мне помогал Алик Рогов, но вскоре ему эта работа, видимо, начала казаться пустой тратой времени. Он копал равнодушно, только «отбывал время» до конца работы, а потом немедленно смывал всю пыль и грязь и куда-то отправлялся на весь вечер.

Я долго не мог понять, куда же это он исчезает по вечерам, пока не увидел, заглянув случайно в его палатку, акваланг. Значит, прошлогодний визит Михаила все-таки оставил свои плоды: мои мальчики тоже заметили, что море у них под боком. Недоставало еще только, когда дружок нагрянет в очередной отпуск, чтобы они додумались вместе с ним нырять в это злополучное подземное озеро.

Но я ошибся.

Однажды вечером я сидел в палатке и заполнял дневник раскопок. Алик исчез, как обычно, сразу после работы, прихватив акваланг. Солнце уже скатилось за горы, в палатке становилось темновато. Пора было зажигать фонарь.

И вдруг входной полог откинулся, и в палатку просунулась лохматая голова Алика. Все лицо у него было перемазано глиной. Уж не случилось ли чего?

— Алексей Николаевич... Я скелет нашел,— торопливо за-

бормотал Алик, с трудом втискивая в палатку свое долговязое тело и зачем-то еще волоча за собой акваланг, тоже весь перепачканный грязью.

— Где? Какой скелет? Утопленник, что ли?

— Да нет, не в море, а в той пещере, что осенью разведывали. Я решил ее хорошенько обследовать. Нырять несколько раз в подземное озеро, там вторая пещера...

Так вот куда, оказывается, отправлялся он каждый вечер с аквалангом! А я-то думал, будто он спокойно ныряет в море, как все нормальные люди...

— Ничего особенного не обнаружил... А вот сегодня в боковом кармане нашел скелет,— продолжал он бессвязно.

— В каком кармане?

— Да это так у нас, спелеологов, подземные тупики называются.

— Древнее захоронение?

— Похоже. Надо вам самому посмотреть.

Больше я от него ничего толком не мог добиться. Отправиться в пещеру на ночь глядя было опасно. Решили подождать утра.

— А как же ты туда один лазил? — напустился я на него.— Еще хвастался, будто опытный пещерник. Разве можно такие вещи делать?

— Да я не один,— смущенно оправдывался Алик, тщетно пытаясь стереть с разгоряченного лица грязь и только размазывая ее еще больше.— Павлик Курашов со мной ходил для страховки и оставался на берегу озера, пока я нырял. И каждый раз мы у входа записку клали с указанием времени, когда вошли в пещеру и когда предполагаем вернуться. Так что я все правила безопасности соблюдал. Да и товарищи знали, куда мы отправились.

Лезть в эту пещеру да еще нырять в подземное озеро мне, признаться, вовсе не улыбалось. Но нельзя же оставить древнее погребение необследованным!

Утром, никому не говоря, я поручил одному из студентов заменить меня на раскопках, а сам в сопровождении Алика и Павлика Курашова отправился в пещеру. Акваланг у нас один, но Алик прихватил еще маску с дыхательной трубкой, сказав, что хорошо изучил, как надо нырять, и вполне обойдется этим нехитрым снаряжением.

У входа в пещеру мы оставили записку: вошли во столько-то, предполагаем вернуться не позднее шести часов вечера. Об этом же было сообщено и моему заместителю на раскопках.

Всю подземную дорогу до самого озера мы преодолели без каких-либо осложнений. Алик проходил тут не раз и тщательно разметил путь меловыми стрелками на стенах.

Вот и озеро. Вода в нем при свете наших трех фонарей

казалась совсем черной, густой и маслянистой, сверкала, словно нефть. При мысли, что придется нырять в нее, у меня мурашки пробежали по коже. Но Алик быстро разделся, деловито приладил маску, одновременно ниструктурируя меня:

— Как нырнете, плывите у самого дна, чтобы головой о скалу не стукнуться. Это недалеко, метра три с половиной всего будет. Потом можно всплывать. Я пойду первым и вам посвечу там при выходе.

Потом он придирчиво проверил, хорошо ли упакованы в резиновый, непроицаемый для воды мешок фотоаппарат с лампой-вспышкой и блокнот. Я захватил все, чтобы прямо на месте, как полагается, сфотографировать и зарисовать находки, прежде чем их исследовать.

Сборы были закончены. Поежившись, я смотрел, как Алик, придерживаясь за камни, входит в черную воду и исчезает в ней с головой. Теперь моя очередь. Павлик остался на берегу с нашей одеждой.

Очень неприятное было это ощущение, когда я начал погружаться в холодную и грязную воду. В ней скопилось так много ила, что она казалась липкой и вязкой. Невольно хотелось поскорее вылезти из этой подземной трясины.

Казалось, я физически чувствовал, как тяжело давит на меня вся громада скалы, нависшей сверху. И я невольно почти полз по илистому дну, прижимался к нему всем телом и так и выполз на берег, весь измазанный.

Внезапно в глаза мне ударил свет фонаря. Сквозь мутные потеки грязной воды на стекле маски я смутно увидел Алика, протягивавшего руку. Он помог мне выбраться на скользкий берег и снять акваланг.

Подземный зал, в который мы попали таким необычным способом, был, видимо, громаден. Наши фонарики вырывали из мглы то сверкающие исполненные сосульки сталактитов, свисавшие откуда-то сверху, с невидимого нам потолка, то кусок скалы, весь усеянный острыми кристаллами неправильной формы. А дальше все пряталось во тьме. Вдоль одной стены выстроились тонкие известковые колонны, напоминая трубы огромного органа. Известковые натеки покрывали все стены, словно причудливые драпировки и кружева. И всюду негромко журчала, звенела, шепталась вода, бесчисленными ручейками вливаясь в подземное озеро.

Но рассматривать зал некогда. Алик тянет меня куда-то в сторону, где тьма кажется особенно густой и мрачной.

Мы бочком пробираемся мимо скалы, оцетнившейся острыми шипами. Потом, пыхтя и задыхаясь, почти ползком пробираемся по узкому проходу. Алик поднимается во весь рост и нацупывает лучом фонарика небольшую площадку под нависшей козырьком скалой.

— Вот, смотрите, — хрипло произносит он.

Я направляю свет своего фонарика туда же, под нависшую скалу, и медленно подхожу поближе.

Скелет лежит в небольшой нише, рассматривать его трудно. Но сначала нужно выполнить первое железное правило: сфотографировать и зарисовать находку, прежде чем притрагиваться к ней. Сколько случаев известно в истории археологии, когда от прикосновения неопытной руки рассыпались, моментально превращались в прах, в пыль весьма ценные находки! Для этого порой даже и притрагиваться не нужно, достаточно просто струи свежего воздуха.

Я торопливо распаковываю резниновый мешок, достаю полотно и тщательно вытираю руки, вынимаю из мешка лампы, фотоаппарат, начинаю готовить их к съемке.

— Алексей Николаевич, а какого это примерно времени захоронение? — по-прежнему шепотом, словно боясь нарушить подземный покой, спрашивает помогающий мне Алнк.

Я понимаю его затаенное желание, чтобы находка непременно оказалась какой-нибудь исключительно редкой, особенно древней, поразительной для науки. Но пока ничего ответить ему не могу.

— Может быть, тавров или даже кизылкобницев. Это загадочное племя населяло здешние горы еще до тавров и обычно устраивало могильники как раз в пещерах. Каждая новая находка их особенно интересна для науки.

«А может, это вовсе не могила?» — мелькает у меня в голове. Нет ни ритуальных предметов, какими все древние племена непременно снабжали покойников на дорогу в загробное царство, ни украшений.

Не терпится осмотреть скелет получше, но я сдерживаю себя. Прежде всего снимки.

Аппарат готов. Озаряя подземелье слепящими вспышками электронной лампы, я делаю один за другим десять снимков с разных точек. Потом мы устанавливаем вокруг площадки несколько принесенных с собой свечей, зажигаем их, и я начинаю зарисовывать в тетрадь детальный план захоронения. Алнк взволнованно сопит у меня над ухом.

Зарисовка требует полного внимания и сосредоточенности. Но все-таки в моей голове одна за другой проскакивают отрывочные, бессвязные мысли.

Как таинственно и зловеще выглядим мы, наверное, со стороны: два притихших человека, склонившихся над скелетом при неверном свете свечей... Почему у него такой уродливый лоб? И на костях грудной клетки след удара. Чем?.. Нет, эту руку я нарисовал неверно, она идет вот сюда.

Так. Кажется, первая зарисовка закончена. Теперь надо разметить площадку на квадраты и приступить к детальному

обследованию. Может, по сережкам или кольцу, по остаткам украшений, погребальной утвари удастся, наконец, определить, к какому времени принадлежит захоронение.

Мы с Аликсом вбиваем колышки по краям площадки и натягиваем между ними прочную бечевку. Их переплетение образует строгую сетку правильных квадратов, чтобы каждая кость, каждая находка имела точный адрес и можно было записать в дневник раскопок: «Обнаружено в квадрате таком-то...»

Скала твердая, колышки не хотят в нее вбиваться, мокрые руки срываются. Наконец мы справляемся с этой нелегкой работой, раскрывав себе пальцы. Теперь можно передохнуть и покурить.

Мы садимся прямо на мокрые камни возле скелета, окруженного цепочкой тускло горящих свечей. Я смотрю на часы. Неужели прошло уже шесть часов, как мы вошли в пещеру? Здесь теряешь всякое представление о времени. Надо потопрапливаться, а то наверху начнут беспокоиться и, чего доброго, отправятся на поиски.

Обидно, но я не вижу никаких примет, по которым можно было бы установить время погребения. Одежда давно истлела, нет ни металлических, ни костяных украшений. Или это вовсе не захоронение, а человек просто забрел в пещеру и отчего-то погиб здесь? Отчего?

Убийство? Но когда оно произошло? И каким орудием перебиты ребра, куда оно делось?

Алик светил мне, держа в руках, кроме фонарика, еще две свечи. Расплавленный стеарин капал ему на руки, но он не замечал этого.

Мне показалось, что возле ладони скелета что-то тускло блеснуло.

— Ну-ка, посвети сюда получше! — сказал я.

Да, среди камней виднелся какой-то продолговатый предмет. Я осторожно подцепил его пинцетом и вытащил.

— Ничего не понимаю! — растерянно пробормотал я.

У меня на ладони лежал довольно длинный, сантиметров в десять, явно металлический стержень, плотно оплетенный проволокой!

Я потер тряпкой покрывавший его известковый налет. Да, несомненно, проволока, намотанная на металлический стержень.

— Это же проволока! — воскликнул я в полном изумлении.

— Как?! — ахнул Алик и потянулся ко мне. При этом свободная его рука, которой он придерживался за обломок скалы, вдруг соскользнула и задела череп.

И в то же мгновение череп на наших глазах исчез, разрушился. Мы не успели опомниться, как вместо него перед нами лежала только небольшая кучка серого праха.

— Что ты наделал! — вскрикнул я, но тут же махнул рукой. — А впрочем, ничего страшного.

— Почему? — совершенно упавшим голосом спросил потрясенный Алик.

— Да потому, что зря мы с тобой столько времени потеряли. Нырjali в подземелье, подкрадывались к этому скелету чуть не на цыпочках, старались не дышать, фотографировали, рисовали. А кому он нужен?

— Значит, это не древнее захоронение? — робко спросил Алик.

— Конечно, нет. Древние проволоку не умели делать.

— А как же он сюда попал?

— Пусть это следовательно выясится. Собирай манатки, и пошли отсюда, нечего нам тут делать.

Мы молча засунули в резиновый мешок фотоаппарат, тетрадку, погасили и убрали огарки свечей. Стержень, обмотанный проволокой, я тоже захватил с собой.

Мы уже добрались до берега озера и приготовились нырять, как все еще занятый печальными мыслями Алик вдруг горестно сказал:

— Как же меня угораздило зацепить этот череп? И почему он рассыпался?

— Это, брат, у химиков и анатомов надо спросить. Может, тут вода такая — разъедающая кости. Или воздух в пещере. Да ты особенно не горюй, — утешил я его. — Вот один археолог нашел в Италии гробницу этрусского воина — это действительно ценность. Начал ее вскрывать, только заглянул в щелочку. Воин лежал в гробнице как живой. Каждая морщинка на его лице была отчетливо видна, каждый волосок усов. И мгновенно все превратилось в пыль от струи свежего воздуха! Мумия воина исчезла, испарилась на глазах потрясенного исследователя. Вот для него это был удар, представляешь? Ну ладно, ныряем.

Теперь, после такой обидной неудачи, погружаться в эту грязь было еще противнее. Но ничего не поделаешь.

— Долго же вы там копались! — недовольно сказал Павлик, заждавшийся нас. — Я совсем замерз. Пошли скорее на волю. А что нашли?

— Скелет Александра Македонского в юности, — буркнул я.

Пока мы выбирались из пещеры, Алик быстро рассказал ему о нашем неудачном походе. Павлик экспансивно ахал, всплескивая руками, крутил головой.

Выбравшись на белый свет, мы первым делом поспешили на берег моря, чтобы смыть грязь. А выкупавшись, вытащили из мешка и снова стали рассматривать проволоку. Ее покрывала толстая известковая пленка от подземной воды.

— Давайте соскоблим грязь и отмоем ее как следует,— предложил Павлик.

— Нельзя, на ней, может быть, отпечатки пальцев сохранились,— остановил его Алик.

— Какие отпечатки пальцев?

— Ну, того... кто ее туда принес, в пещеру. Дактилоскопия. Вы же отдадите эту проволоку следователю? — спросил у меня Алик.

Я кивнул.

— Значит, трогать ее нельзя,— строго сказал он.

— Да вы уже захватили ее своими пальцами, пока рассматривали в пещере,— весьма резонно возразил ему Павлик.

— Ничего, там разберутся,— не очень уверенно сказал Алик.— Там отличат наши отпечатки от следов пальцев преступника.

— Так ты думаешь, его там убили, в пещере? — оживился Павлик.— А кто? И когда?

Тут они начали вдвоем стронуть такие фантастические догадки, что я решительно оборвал их:

— Ну, хватит с меня этой пещеры Лейхтвейса! Пошли в лагерь, сыщики. И смотрите, если кто-нибудь у меня снова полезет в пещеру! Немедленно отчислю из экспедиции!

На следующий день я отправился в районное отделение милиции и рассказал о нашей неожиданной находке. Молодой краснощекий лейтенант выслушал меня очень внимательно, сразу напустил на себя строгий и деловой вид, даже застегнул воротничок кителя. А когда я передал ему проволоку на стержне, глаза у него загорелись. Еще бы, я понимал его: часто ли приходится расследовать истории загадочных скелетов, найденных в подземелье!..

— Благодарю вас за важное сообщение,— сказал он, крепко пожмая мне руку.— Мы немедленно займемся этим темным делом.

Уже в дверях я оглянулся. Лейтенант, совсем забыв и обо мне, и, наверное, обо всем на свете, зачем-то пристально рассматривал проволоку в сильную лупу. Может, он и в самом деле искал на ней отпечатки пальцев?..

Вечером я проявил пленку, чтобы отправить следователю и фотографии, сделанные в пещере. «Какой он был головастый! — невольно подумал я, рассматривая еще мокрые отпечатки при зловещем свете красной лабораторной лампочки.— Жалко, что череп рассыпался в прах. Можно было бы восстановить облик по методу профессора Герасимова. Человека с такой головой не трудно было бы опознать...»

«А вдруг это был все-таки древний кизылкобнец или тавр? — подумал я.— А стержень с проволокой мог подбросить

какой-нибудь шутник вроде Васи Харикова, оставившего свой глупый автограф в пещере...»

Когда отпечатки просохли, я отправил их с одним из студентов в пакете к следователю.

Через несколько дней снова подумал, что надо бы и самому наведаться в млицию, узнать, не нашли ли они чего-нибудь новенького в пещере. Но неожиданная — вернее, долгожданная! — находка сразу заставила меня забыть и об этом глупом походе в пещеру, и о наших детективных находках.

Мы наконец-то обнаружили тайник!

Прозошло это так. Я вместе с Аликом вторично обследовал сохранившийся в земле фундамент одной из колонн сгоревшего храма. Обычно для этого использовали грубо обтесанные глыбы местного камня. Но когда я постучал молотком по этой глыбе, звук сразу выдал, что в ней есть какая-то пустота. И действительно, когда я всунул лезвие ножа в щель, видневшуюся между глыбой и мраморной плитой, прикрывавшей ее сверху, плита медленно, словно нехотя, сдвинулась с места, открывая темное отверстие.

Тайник! Но теперь я как-то не слишком даже обрадовался и взволновался. Наверное, потому, что в душе давно ждал этого момента, твердо был уверен, что рано или поздно найду тайник, пусть ради этого пришлось бы несколько лет перекапывать всю землю среди развалин древнего храма. Теперь я просто убедился, что шел по правильной тропе.

Я засунул по локоть руку в темный зев тайника.

Она нащупала что-то холодное, металлическое. Неужели медная циста, в каких греки обычно хранили и перевозили рукописи, чтобы предохранить их от сырости? Сердце у меня так и затрепыхалось.

Я медленно вытащил непонятный предмет из тайника, и все вокруг ахнуло. Это была... нижняя челюсть человека, но только не настоящая, а весьма искусно сделанная, похоже, из серебра. Вслед за ней я вытащил нос — длинный, с характерной горбинкой, тоже серебряный.

— Что это? Серебряный скелет? — воскликнул кто-то из студентов за моей спиной.

Я тоже с немалым удивлением и замешательством рассматривал необычные находки. Этого только не хватало: найти еще один скелет, на сей раз серебряный!

И вдруг вспомнил о древнем суеверном обычае: больной, получивший исцеление, иногда посвящал богу как бы «макет» той части тела, которая у него болела. Обычно такие жертвенные подношения делались именно из серебра. А жрец, устроивший этот тайник, видимо, прикарманил несколько ценных вещей.

Когда я наскоро объяснил это ребятам, похоже, они слегка

разочаровались. Видно, уже настроились найти целый серебряный скелет в самом деле.

Но тут же все снова замерли, потому что я засунул руку в тайник поглубже, по самый локоть, и действительно вытащил долгожданную цисту — позеленевший от времени медный цилиндрический футляр.

А вдруг в нем ничего нет? Я внезапно так испугался, что пот выступил у меня на лбу, и пришлось его торопливо стереть грязной рукой. Циста не запечатана, крышка завернута не до конца. Вдруг жрец не успел положить в нее никаких документов и они сгорели в ту паническую ночь?..

Руки у меня тряслись, пока я медленно отвинчивал крышку цисты под напряженными взглядами всех.

Но вот из футляра так же медленно выполз толстый сверток папируса. Я громко вздохнул, и все вокруг тоже облегченно вздохнули.

Начало немного попорчено, отсырело. Но это ничего. Уже при первом беглом взгляде на рукопись я понял: она снова написана греческими буквами, но зашифрована. Тоже не страшно. Рукопись большая, мы ее непременно расшифруем!

Наутро я уже вылетел в Москву и прямо с аэродрома помчался к Мишке в институт. Пять минут, пока я ждал его в проходной, показались мне вечностью...

И вот снова мы составляем таблицы, переводим буквы на язык двойного исчисления. Но теперь эта работа уже идет куда веселее: ведь столько материалов у нас в руках — целая рукопись!

Сам директор института (оказавшийся, кстати, вовсе не стариком, как я представлял его по рассказам Мишки, а веселым загорелым человеком лет сорока пяти с хорошей спортивной выправкой) несколько раз заходил к нам и поторавливал, помогал очень дельными советами. Похоже, что он тоже вечерами занимался сравнительной лингвистикой...

И вот мы стоим перед машиной, мерцающей разноцветными огоньками сигнальных ламп. Она негромко басовито гудит, и в этом есть что-то ободряющее и успокаивающее.

Но я все-таки никак не могу успокоиться до той самой минуты, пока передо мной не ложится на стол первый, только что отпечатанный на пишущей машинке лист, и я свободно читаю первую фразу:

«Воистину за сорок лет служения в храме Асклепия немало довелось мне быть очевидцем поразительных проявлений человеческой глупости...»

СОПЕРНИКИ

Мы склонны порой причислять полтораумных к полоумным, потому что воспринимаем только треть их ума.

Г. Торо

Вот что было написано в расшифрованной нами рукописи (начало ее, как уже говорилось, к сожалению, немного попорчено, зияют досадные пробелы, но дальше текст сохранился почти полностью)¹.

1. Воистину за сорок лет служения в храме Асклепия немало довелось мне быть очевидцем поразительных проявлений человеческого глупости. Это.....том, как легковерна и переменчива людская толпа, и научило истинной мудрости. Без такого знания..... невозможно..... врачеванием не только душ, но и тела.

И все-таки должен признаться перед всевидящими, всезнающими богами, моя мудрость подверглась серьезному испытанию при появлении этого чужеземца. Мне пришлось приложить немало сил и усердия, чтобы положить предел его опасной и преступной власти, которая могла бы принести городу неисчислимые бедствия...

2. Но следует..... Надо прежде всего признать, что время для своего появления он выбрал весьма удачно. Накануне все жители нашего города стали свидетелями необыкновенного и чудесного знамения. В полдень, при совершенно безоблачном и чистом небе, внезапно раздался грохот, подобный грому, и над горами сверкнула какая-то ослепительная вспышка, гораздо более яркая, чем молния. Казалось, над городом промчалась колесница Фаэтона и скрылась где-то в стороне Херсонеса, — многие так и подумали, наблюдая этот небесный блеск и грохот. До самого вечера люди в тот день пребывали в тревоге и растерянности. Время было тревожное, повсюду царили опасения и страх. Доходили слухи, будто в Пантикапее коварный Фарнак восстал против своего отца, великого царя Митридата, и даже лишил его жизни. Римские войска уже появились в стране синдов.² Вероломные скифы участвовали в набеге на наши полисы. Какие беды могло еще нам предвещать зловещее небесное знамение? Многие пришли в храм, ожидая услышать оракула. Но и сам я был весьма озадачен таким необычным знамением и не знал, как его толковать.

К счастью, земное колебание продолжалось недолго. Потом

¹ Возможно, некоторые слова и выражения покажутся слишком современными, заранее приношу за это свои извинения: перевод был слишком торопливым и еще нуждается в большой доработке. (Примечание А. Скорчинского. В дальнейшем будет помечаться просто: А. С.)

² Так называли тогда нынешнюю Кубань и Северный Кавказ. — А. С.

мы узнали, что в это утро гнев богов поразил не только нас, но и все города Боспорского царства. В Пантикапее был даже сильно поврежден акрополь, и под обломками, сорвавшимися вниз с горы, погнбло несколько домов вместе с жителями. У нас жертв было немного, но тревога возникла большая. И вот в самый разгар этой сумятицы и появился странный чужеземец¹.

3. Его поймали на горе²... пельтасты³ сторожевого поста, выставленного для охраны от коварных тавров, которые за последнее время совсем обнаглели и участвовали в своих набегах на наши виноградники и поля. Потом я сам опросил всех солдат, чтобы..... более точные сведения..... они чужеземца. Но все события..... дня так перепутались в их глупых головах, что особого толку мне не удалось добиться. По словам солдат, чужеземец, когда они бросились на него, не оказал никакого сопротивления. На вопросы отвечал на непонятном языке и все показывал в сторону.....

4. Но теперь следует хоть в нескольких словах описать его странную внешность и одежду..... хотя я и не искусный живописец. Был он, бесспорно, очень уродлив..... голова на маленьком теле, огромные глаза, глубоко запавшие, словно у голодного раба. Руки у него были непомерно длинные, слабые и тонкие. Одежда сшита из неведомых в наших краях тканей. Она выдавала в нем человека богатого и знатного, так что каждый невольно испытывал перед ним преклонение.

Я встретил чужеземца с поклоном, приказал немедленно развязать ему руки и спросил его божественными стихами Гомера:

«Кто ты такой, человек, кто отец твой, откуда ты родом?»⁴

Он не понимал или ловко сделал вид, будто не понимает. Я повторил тот же вопрос по-скифски, по-таврски и на языке египтян. Он по-прежнему не понимал моих слов, но, кажется, понял жесты, потому что с кривой усмешкой поднял руку, показывая на небо. Солдаты и рабы, прислуживавшие в храме, тотчас же распростерлись перед ним в прахе. Мне тоже пришлось сделать вид, будто верю его божественному происхождению, и поклониться ему, хотя уже тогда я догадывался,

¹ Упоминание о землетрясении делает возможной точную датировку событий. Оно произошло, как известно из других источников, весной 63 года до нашей эры.— А. С.

² Название горы, видимо, таврское и не поддается расшифровке.— А. С.

³ Так называли легковооруженных воинов, имевших небольшие щиты — пельты.— А. С.

⁴ Строка из «Одиссеи», IV, 166. Перемежать текст стихотворными цитатами из различных поэтов — довольно распространенный обычай античности. Подбор этих цитат свидетельствует как о поэтических вкусах, так и о большой начитанности жреца.— А. С.

что вижу перед собой талантливый обманщик. Разве не поразительно, как ловко он выбрал момент общего смятения для своего появления? Простым, неразумным людям вполне могли внушить мысли о его небесном происхождении и необычная одежда и странный облик, хотя истинного мудреца это не могло бы удивить: какие только чудища, непохожие на обычных людей, не обитают на границах Ойкумены¹. Ведь рассказывал же достославный Геродот о «народе плешивых» и об андрофагах, питающихся человеческим мясом, или о неврах, оборачивающихся волками. Откуда именно родом был чужеземец, я так и не попытался, потому что он до самого конца упорно отстаивал выдумку о своем божественном происхождении, так что его прозвали Уранидом и он откликался на это прозвище весьма охотно. Но я думаю, что родиной его была страна волшебников — колхов, где, говорят, нередко встречаются люди с подобной кожей². А приплыл он к нашим берегам, видимо, на корабле, обломки которого через два дня выбросило штормом неподалеку от города. Все остальные его спутники погибли. Во всяком случае, солдаты, посланные на розыски, никого не нашли.

5. Но скоро и я готов был верить в его божественное происхождение. Начать с того, что он уже меньше чем через месяц перестал скрываться и начал... хорошо и свободно говорить по-гречески. Так он выдал, что знал наш язык и прежде, только скрывал это, ибо немисливо в столь короткий срок овладеть чужим языком. Он проявил большой интерес к древним рукописям и сочинениям лучших... которые я годами собирал в храме, и целыми днями внимательно читал их, хотя я противился тому, не желая открывать перед... сокровенные тайны нашей мудрости. Живя в храме, в специально отведенной ему вместительной и удобной комнате, он вообще непрошено вмешивался во все наши дела. Это нередко тяготило меня и выводило из себя, но я старался сдерживаться, ибо воистину следовало проявить терпение и мудрость и использовать для блага храма замечательные способности этого пришельца, а не делать его своим врагом.

6. А способности его воистину были велики и удивительны. Я отлично разбирался в травах, и составленные мною настои всегда приносили облегчение больным. Но особенно я прославился своей великой властью над душами людей. За долгие годы служения Асклепию я хорошо усвоил, какой силой обладает слово. В этом я следовал мудрым заветам божественного Пифагора. Издалека, из боспорских городов и даже из Ольвии³,

¹ Так называли древние греки известный им обитаемый мир. — А. С.

² Страной колхов в те времена греки называли Кавказ. — А. С.

³ Ольвия находилась в устье Днепра, на месте нынешнего города Николая. — А. С.

прнезжалн люди, чтобы задавать вопросы нашему храмовому оракулу. В этом деле мне помогал верный раб лнднец¹ Сонон, отягощенный, к сожалению, многими пороками, но весьма ловкий,— о нем еще будет речь впереди.

Как повелось еще со времен земного пребывания самого Асклепия до его вознесения на Олимп, в сонм богов, мы успешно излечивали многие недуги священным сном. Но и тут я с помощью всемогущих богов сумел добиться весьма..... успехов. Для погружения в священный сон я первый стал употреблять не только блестящие металлические сосуды или пламя светильника, глядя на которые больные быстро..... но и новые поразительные средства, внушавшие непосвященным трепет. У меня люди засыпали и начинали пророчествовать от звуков гонга или маленького серебряного колокольчика, хотя это, вероятно, покажется многим неправдоподобным².

Но ловкий чужеземец, как оказалось, обладал над человеческими душами таинственной властью, намного превышавшей мои способности и возможности, как ни горько в этом признаться. Вот несколько примеров его чудодейственной силы. Был у одного довольно богатого жителя нашего города Тимагора единственный сын, по имени Посней. Он с детства страдал припадками. И вот во время одного из таких припадков у юноши внезапно отнялась левая нога. Я лечил его травами и различными редкими лекарствами, но ничто не помогало. И тут Сын Неба сотворил подлинное чудо. Уранид приказал юноше заснуть, и тот заснул. Потом он взял его, спящего, за руку и начал водить по храму, приговаривая: «Ты будешь ходить, ты будешь ходить!» — голосом добрым и властным. Затем приказал ему: «Проснись!» И тот проснулся и, к общему изумлению, сам свободно начал ходить по храму, словно нога у него никогда и не отнималась! Но и этого было мало. Уже не усыпляя его, Сын Неба сказал: «Иди с миром домой, больше припадков у тебя никогда не будет». Юноша вернулся домой, и действительно вот уже полгода у него не было больше ни одного припадка.

7. Велика была его власть не только над людьми, но и над бессловесными животными. Расскажу об одном поразительном случае. У нас в храме был пес хорошей породы по кличке Аякс. Он привязался к Сыну Неба и буквально ходил за ним по пятам. Однажды перед жертвоприношением мне понадобился колокольчик, который я забыл у себя в комнате. Я хотел послать за ним раба, но Уранид остановил меня

¹ Лидия — страна в Малой Азии, на территории современной Турции.— А. С.

² Это же настоящий гипноз! — М. З. Судя по некоторым источникам, гипнотические явления были известны уже в глубокой древности и применялись жрецами для религиозного врачевания. Так что удивляться тут нечему.— А. С.

словами: «Аякс принесет». Он присел на корточки, взял морду собаки в свои ладони и несколько минут пристально смотрел псу в глаза. Потом он отпустил его. Аякс выбежал из зала и вскоре вернулся с колокольчиком в зубах.

8. Понятно, что я всячески старался использовать такие чудесные способности чужеземца для блага храма и славы божественного Асклепия. Это не нравилось моему главному помощнику, хитроумному рабу — лидийцу Сонону, который первый увидел в чужеземце опасного соперника. От Сонона у меня не было секретов. Он помогал мне наладить сложное устройство, которое при растворении дверей заставляло на расстоянии зажегся священный огонь в алтаре храма или приветствовать входящих в храм торжественными трубными звуками, раздающимися неведомо откуда, как будто с неба. Конечно, Сонон оказывал мне помощь тайно, ибо закон и обычаи запрещают рабам участвовать в религиозных церемониях и жертвоприношениях. Он обладал хорошими познаниями в механике и помог мне устроить в храме и другие сложные механизмы, разработанные мудрейшим Героном для прославления богов в его «Пневматике»¹. Мы устроили, по совету Герона, так, что в момент возжжения священного огня две статуи, стоявшие по бокам жертвенника, сами начинали источать благовонное масло и при этом, совсем как живая, громко шипела и поднимала голову змея, возлежавшая у подножия жертвенника. Это каждый раз приводило в трепет непосвященных.

Всегда помогал мне ловкий раб и при предсказаниях оракула. Чтобы произвести на пришедших большее впечатление, я советовал каждому написать на табличке, что он желает спросить у оракула, а потом собственными руками завязать и запечатать табличку воском, глиной или чем-нибудь еще вроде этого. Я обещал им вернуть таблички нераспечатанными, но уже с приписанным ответом божества. Сонон ходил по храму, собирал таблички и передавал мне. Он же придумал и способы, как вскрывать таблички, не повреждая печатей. Получив ответ оракула и найдя печать целой и ненарушенной, все удивлялись. Часто в толпе раздавалось: «И откуда он мог узнать, что я ему передал? Ведь я тщательно запечатал, и мою печать трудно подделать: конечно, это сделал бог, который все доподлинно знает». Я был осторожен и благодарно в ответах, никогда не пророчествуя слишком категорически и определенно. Чаще всего оракула спрашивали о будущем, и я давал такие ответы:

«Целых сто лет проживешь ты на свете и восемь десятков».

¹ В дошедшем до нас в отрывках сочинении под этим названием гениального изобретателя древности Герона Александрийского действительно описаны различные механизмы для «храмовых танцев». Многие из них отличаются большим остроумием, изобретательностью. — А. С.

Кому не понравится обещание долгой жизни! Кроме того, как я уже говорил, за многие годы служения в храме я научился хорошо читать в человеческих душах. Зная сокровенные желания многих жителей города, я смело мог рассчитывать, что предсказания оракула всегда будут правильны и принесут благую надежду вопрошающим. Труднее было отвечать на вопросы о кражах, когда требовалось указать определенного виновника. Но тут мне снова приходил обычно на помощь ловкий раб. Бродя по городу и имея множество дружков на рынке и среди домашних рабов, он всегда был полон.... городских сплетен, и ответы, которые я давал с его помощью, попадали обычно в цель.

Славились и мои толкования сновидений. Для этого я, как повелось еще со времени самого божественного Асклепия, укладывал человека, желавшего увидеть вещей... в алтаре храма на шкуру жертвенного животного и погружал его в священный сон. Пробудившись, он рассказывал мне, что видел во сне, а я давал объяснения. Но мои толкования не были такими расплывчатыми и традиционными, как у других оней-романтов,— вроде того, что приводит в своем.... Аклеподор: «Если ремесленник видит, что у него много рук, то это хорошее предвестие: у него всегда будет довольно работы. Кроме того, этот сон имеет хорошее значение для тех, кто прилежен и ведет добропорядочную жизнь. Я часто наблюдал, что он означает умножение детей, рабов, имущества. Для мошенников такой сон, напротив, предвещает тюрьму, указывая на то, что много рук будет занято ими». Не так-то просто применить подобное толкование в наш век общего упадка нравов, когда каждый ремесленник одновременно является и завязтым мошенником. Что же тогда ему сулит множество рук в сновидении: тюрьму или богатство?

Я толковал сны умнее. Погружая человека в священный сон теми способами, о которых уже упоминал, я сохранял свою власть над его душой и в то время, пока она блуждала в царстве теней. Он видел те сны, которые я ему внушал. А внушал я ему лишь то, чего он сам желал наяву, но не сознавал этого, проговариваясь о своих мечтах только близким друзьям и домочадцам. Но и этого было достаточно для чутких ушей моего раба Сонона. Поэтому мои толкования снов всегда приносили людям радость и вселяли приятные надежды.

9. Но чужеземец своими удивительными пророчествами грозил поколебать мою славу. Он умел видеть события и лица людей, находящиеся за сотни стадиев¹ от нашего храма. Однажды пропал семилетний мальчик. Его тщетно искали два

¹ Стадий — мера расстояния в Древней Греции. В различных местностях колебался в пределах от 177 до 185 метров.

дия. Я считал, что ребенок попал в руки тавров, постоянно рыскавших в последнее время в окрестностях города, и так и сказал опечаленному отцу, когда он пришел в храм за прорицанием. Но Сын Неба остановил меня: «Мальчик заблудился в пещере». Он сам повел нас туда, и мы действительно нашли ребенка в пещере, совсем обессиленного от голода и жажды¹.

За все эти заслуги по моему настоянию постановили выдать ему проксенню². Но как показало время, нечестивец отплатил мне злом за мою доброту к нему.

Расскажу еще о различных проявлениях его чудесного могущества. «Зачем ты собираешь травы для этой старухи? Она вовсе не больна, просто выдумала себе болезнь», — сказал он мне однажды. Потом на моих глазах скатал два шарика из чистого теста..... И таким способом он излечивал многих. Он погружал людей в священный сон быстрее и лучше, чем я, не прибегал при этом ни к блеску серебряных сосудов, привлекающих взгляд, ни к звукам колокольчика или гонга, а просто смотря им в глаза. И что особенно поразительно, его власть над людьми продолжалась и после того, как они пробуждались от сна. Он мог им приказывать, спящим: «Сделай после пробуждения то или это». И они послушно выполняли его приказание, проснувшись и уже успев вернуться домой.

10. Меня, даже не погружая в сон, он заставил однажды каким-то чудесным образом разучиться писать. Он просто внимательно посмотрел мне в глаза, а потом предложил взять.... и написать что-либо по моему собственному желанию. И, к ужасу своему, я вдруг почувствовал, что не могу написать ни одной буквы. Я забыл, как они пишутся и что означают. Потом он расколдовал меня, и я снова обрел способность писать. А раба Сонона он таким же удивительным способом заставил забыть все, что с ним случилось в минувшем году. Раб помнил все, что было раньше и что произошло с ним месяц или два тому назад. Но ни одного события прошлого года не сохранилось в его памяти. Он не притворялся в этом, войдя в тайный сговор с чужеземцем, чтобы обмануть меня, как можно было опасаться. Признаюсь, чтобы убедиться, не обманывают ли меня, я приказал подвергнуть раба пытке. Но и тогда он не смог вспомнить ничего из событий минувшего года.

Самое удивительное, что Сын Неба мог влиять одновременно

¹ Судя по некоторым примерам, Уранид обладал хотя и довольно редкими, но вполне объяснимыми, с точки зрения современной науки, психическими и физиологическими способностями. Но в рассказе жреца правдоподобные данные частенько перемешаны со всякими суеверными выдумками вроде подобных «вещих видений». — А. С.

А может, он был экстрасенс и телепат? — М. З.

² Это именно та табличка с утверждением Уранида в правах гражданства, какую мы нашли при раскопках храма. — А. С.

на многих людей. Однажды он сделал так, что все собравшиеся в храме вдруг почувствовали удивительно приятный и нежный аромат, наполнивший храм. Люди начали обнюхивать свои руки, одежду, окружающий воздух, ища источник чудесного запаха. В другой раз он сделал сразу до двух десятков людей, также пришедших в храм, свидетелями необыкновенного чуда. Он сел на каменный пол возле жертвенника, держа в руках глиняный сосуд, наполненный землей. Все тесно окружили его. Чужеземец накрыл сосуд платком и довольно долго что-то делал под платком руками, нашептывая непонятные слова. Потом он с довольным видом вынул руки из-под платка и откинулся в сторону, отдыхая. А платок вдруг начал медленно приподниматься, словно под ним было нечто живое. Чужеземец быстрым движением сдернул платок с горшка, и мы узрели чудо: из земли на наших глазах вырастала гибкая виноградная лоза! Она становилась все длиннее. Колдун взмахнул платком, и тогда на лозе появились три или четыре виноградные грозди. Он сорвал одну из них, крепко сжал над подставленным сосудом, и туда тонкой струйкой полилось вино. Это было настоящее вино и очень приятное на вкус — похожее на коское.

Поразительно, что сам он относился к этим чудесам проницательно, каждый раз подсмеиваясь над нами, словно рыночный фокусник, раскрывающий перед одураченными тайную механику своих проделок. Я думаю, что в этом проявлялась как непомерная гордыня, так и развращенность его ума, не признающего ничего святого. Чудесным образом исцеляя больных, как я уже рассказывал, он каждый раз говорил мне: «Если бы ты поменьше почитал божественного Асклепия и лучше изучал мудрейшего Гиппократу, то понимал бы, что все болезни имеют естественные причины и исцеляются естественными средствами. Но ты не можешь понять этого, и потому тебе все кажется чудом. Чем же ты умнее любого неграмотного раба?»

11. Следует рассказать и о других замечательных способностях чужеземца. Он умел наносить себе глубокие раны ножом и прокалывать насквозь свои ладони, плечо, бедро длинной и толстой иглой, не испытывая при этом никакой боли. Этот чудесный дар принес ему потом немало пользы, как будет рассказано дальше. Он умел по своему желанию то ускорять, то замедлять у себя биение сердца и даже совсем прекращать его на несколько минут, чему я сам был свидетелем. Однажды он пролежал так в своей комнате три дня и три ночи, не дыша и не подавая никаких иных признаков жизни, словно мертвый. Странно, что при таких поистине удивительных способностях он в то же время отличался очень слабым здоровьем и часто страдал от недомогания. С крепко завязанными глазами он мог различать на ощупь цвета и пальцами читать любую рукопись. Из закрытого мешка чужеземец безошибочно доставал мотки

ниток определенного цвета. «Зачем ты распечатываешь таблички? Я могу узнать, что в них написано, не трогая печатей», — насмехаясь, говорил он мне. И действительно, читал без ошибки просьбы к оракулу, не распечатывая табличек. Чтобы испытать его, я спрятал папирус со стихами божественного Еврипида в медную цисту с толстыми стенками. И он прочитал мне стихи, не открывая цисты:

О, радуйтесь... вы, кому радость дана...

Кто бедствия чужд и не страдает.

Не тот ли меж смертными счастлив?¹

Некоторые люди обладают чудесной способностью, держа в руках раздвоенную ореховую ветку, определять, где под землей прячутся водяные источники. Но Сын Неба мог без всякой палочки не только точно указать, где протекает подземный поток, но и определить его ширину, скорость, направление движения воды, проследить все его течение.

12. Не удивительно, что среди горожан укрепились вера в постоянное божественное происхождение ловкого чужеземца и его всемогущество. Но особенную славу ему принесло спасение города от набега коварных тавров.

Вот как это получилось. Однажды Ураинд сказал мне: «Городу грозит опасность. Я чувствую, как в горах повсюду собираются свирепые воины в бараньих шкурах. Они готовят внезапный набег». А на следующий день он сказал: «Это будет сегодня ночью. Предупреди всех». Признаться, я колебался, все еще сомневаясь в его способности видеть то, что происходит якобы в окрестных горах. Но все-таки предупредил стратегов и членов ареопага. Наши воины приготовились к бою. И действительно, ночью тавры напали на город, но были отбиты. Мы даже захватили в плен сына и брата их главного вождя и много других пленных. Экклесия приняла решение в благодарность за чудесное избавление города от беды назвать его Уранополисом, как находящегося под особым покровительством небесных богов. Были отчеканены монеты с благодарственной надписью в честь меня и Ураинда². Но он презрел эти почести и оскорбил граждан, а меня жестоко высмеял: «Неужели ты всерьез веришь, будто можно в самом деле предсказывать события, которые только произойдут? Дело просто в наблюдательности и умении размышлять над тем, что видишь. Бродя по горам, я заметил вражеских лазутчиков, проследил за ними и понял, что они замысливают. Но чтобы вы поверили предупреждению, его непременно надо выдать за пророчество и откровение богов». В этих словах заключалось явное глум-

¹ Что я говорил? Не телепатия ли это? — М. З.

² Как просто, оказывается, раскрывается мучившая меня загадка! — А. С.

ление и над всемогущими богами, и над старейшинами ареопага. Но я не решился сообщить о них никому, опасаясь поколебать славу храма и веру в мои пророчества.

13. Понятно, как для меня было важно постоянно держать хитроумного чужеземца при храме. Я видел в нем серьезного соперника и поэтому всячески старался ублажать его. В ссорах Уранида с рабом, который, как я уже говорил, сразу невзлюбил его, я всегда брал сторону Сына Неба. Но чем дальше, тем труднее становилось удерживать его в своей власти.

Наглость его становилась нестерпимее с каждым днем. На городских площадях он говорил о том, что рабы такие же люди, как и свободные, и поэтому противно человеческой природе притеснять их и заставлять подневольно трудиться. Возвращаясь в храм, он при посторонних высмеивал мои гадания и пророчества, показывал непосвященным, как устроен механизм, заставляющий зажигаться жертвенный огонь, когда открывались входные двери. Он глумился над мудрыми откровениями божественного Пифагора и противопоставлял ему нечестивца Эпикура, проклятого богами за свое неверие. В своей комнате он даже написал на стене гикусий совет этого лжефилософа, но я приказал соскоблить надпись и заново побелить стену¹. Он мечтал о том, чтобы объединить греков с таврами, скифами и другими варварами, и придумал для этого новый язык, чтобы им могли пользоваться и.... племена, не имеющие даже своих письменных летописей и потому бессильные хранить и передавать новым поколениям мудрость отцов. Этот новый язык оказался, действительно, весьма простым и удобным, свидетельством чему может служить хотя бы то, как легко и свободно я излагаю на нем все свои мысли в этой рукописи. В то же время он был совершенно непонятен для непосвященных, делая наши мысли скрытыми от чужого глаза и ушей. Полезное изобретение, но разве можно его отдавать иноплемennым варварам?!² А ведь он только для этого и создал новый язык. Разве это не говорит сразу и о его глупости, и о его коварных намерениях?

Я понимал, что он стремится поколебать мою славу, выжить меня из храма и занять место главного жреца. Надо было тщательно продумать, как предотвратить это и обезопасить себя от коварного чужеземца. Раб предлагал просто убить его. Но

¹ Вероятно, имеется в виду знаменитое «Четверное средство», так сформулированное Эпикуром в его «Главных мыслях»:

Нечего бояться богов,
Нечего бояться смерти.
Можно переносить страдания,
Можно достичь счастья.— А. С.

² Я был прав! Не напоминают ли эти разглагольствования хитрого жреца те доводы, которые приводил, возражая мне, уважаемый А. Скорчинский?! — М. З.

мие было жаль расстаться с таким умелым помощником, и я решил подождать, попытаться еще раз удержать его в своей власти, понимая, сколько неисчислимых выгод принесло бы это храму. Но коварный Уранид опередил меня. Однажды утром он ушел из храма, оставив коротенькую записку о том, что благодарит меня за гостеприимство и будет отныне жить в городе. Тогда я понял, что он вернется в храм, лишь выгнав меня отсюда и обесславив. Война была объявлена.

14. Прежде всего я позаботился показать всем, что именно храм остается тем местом, где происходят чудеса. Я провозгласил, что боги отвернулись от Уранида за его нечестивые мысли и изгнаны из храма. Отныне на мне покоится милость богов. Когда весь храм был заполнен народом, по данному мною сигналу оракул изрек:

Я почитать моего толкователя повелеваю;

Я о богатстве не слишком забочусь: пекусь о пророке.

Слушайте, люди, его!

Но чужеземец тоже не упустил случая показать свою власть. Большую славу принесло ему чудесное исцеление одного раба, по имени Мосихои. Раб этот страдал заболеванием поистине странным и загадочным. Шестнадцати лет, работая однажды на винограднике, он увидел виезапно выползающую из кустов большую змею. Он так испугался, что потерял сознание и упал. Змея не тронула его, но, когда он очнулся, ноги отказались ему служить. Кроме того, у него помутился разум. Он считал себя девятилетним мальчиком и вел себя соответственно: бросал камнями в птиц, водился с мальчишками и избегал взрослых. При этом он начисто забыл все, что с ним произошло и чему он научился после..... девятилетнего возраста. Поскольку ноги у него отнялись, хозяин приказал перевести его на работу в свою портиовскую мастерскую, где Мосихои начал заново учиться ремеслу. Годы через два он снова пережил большой испуг: в доме начался пожар, и раб, опасаясь, что его, беспомощного, не успеют вытащить из огня, от ужаса опять лишился сознания. Его спасли товарищи-рабы и привели в чувство. И тут с ним произошла вещь поистине удивительная. Ноги у него снова стали действовать, словно никакой болезни и не было. Он опять вспомнил всю свою жизнь до встречи со змеей на винограднике. Но зато совершенно забыл о времени, проведенном в мастерской, и даже разучился шить! Всем стало ясно, что в несчастного попеременно вселяются чьи-то чужие души. Я взял его в храм и различными способами пытался изгнать... души прочь. Но тщетно! Испуганный хозяин предложил мне убить... раба. Однако Сын Неба взял его под свою защиту. Он усыпил его не в храме, не на священной шкуре

жертвенного животного, а прямо на берегу моря, в окружении огромной толпы народа, что-то долго шептал ему на ухо, поглаживая пальцами по лицу спящего, и потом властно сказал: «Вставай, тебя ждет работа!» Мосихон вскочил как ни в чем не бывало и отправился в мастерскую, где тут же опять начал проворно шить с прежним искусством. Теперь он все помнил и был совершенно здоров. Я бы подумал, что он вступил в сговор с чужеземцем, дабы всех провести, если бы не знал..... истории его странной болезни, как и каждый человек в нашем городе. С тех пор этот Мосихон очень привязался к чужеземцу; и тот даже выкупил его у хозяина мастерской, справедливо опасавшегося держать в своем доме раба, в которого в любой момент снова могла вселиться чья-нибудь блуждающая душа.

После этого чужеземец все больше и больше... стал сближаться с рабами. Он лечил их без всякой платы. Он даже нередко отправлялся за город и проводил там целые дни среди рабов, трудившихся на виноградниках или в каменоломнях. Он и там пробовал, по слухам, строить какие-то машины, помогавшие без особого труда поднимать большие тяжести, пока рабы бездельничали, укрывшись от надсмотрщика. Такая дружба беспокоила многих людей в городе, еще поминвших восстание скифов-рабов под водительством коварного Савмака. Используя это беспокойство, я начал распускать слухи, будто чужеземец также мечтает возмутить рабов, перебить всех свободных и создать на Киммерийском полуострове государство варваров.

Мне помог случай. В горах..... где находился один из источников, питавших городской водопровод, Сын Неба непотоптанным образом обнаружил большую золотую жилу. Как рассказывают очевидцы, он просто попросил у Тимагора, сына которого, Посия, вылечил в свое время от паралича ног, как это уже рассказывалось, четверых рабов на один день. Сын Неба привел их в горы, к роднику, и приказал: «Копайте здесь!» Сделав только несколько ударов молотом, один из рабов..... нашел крупный золотой самородок. Чужеземец хотел использовать это богатство для того, чтобы купить себе несколько рабов у различных хозяев. Но я стал распускать слухи, что это лишь первый шаг, а затем Уранид попытается освободить всех рабов. Сына Неба вызвали на суд ареопага, который потребовал от него немедленно сдать все золото в казну, поскольку оно найдено на городской земле, возле общественного источника. Против ожидания ловкий чужеземец не стал против этого возражать. «Я уважаю общественные интересы и не пойду против них, хотя бы и следовало, по-моему, считаться и с интересами рабов, которые также являются полиоправными членами общества. Забирайте ваше золото, если вы его так любите», — сказал он. Но, говорят, покидая ареопаг, добавил,

так что его могли слышать многие: «Ничего, я найду новые залежи на инычей земле». Найденное им золото пришлось очень кстати, потому что казиза сильно отошала. Все за это благодарили Уранида, а же опять остался в стороне. Так я вместо ожидавшейся победы снова времени потерпел поражение. Его власть укреплялась и росла, моя — умалялась и падала.

Если я хотел сохранить свою власть и не дожидаться, подобно глупой овце, пока меня выгонят из храма или сделают помощником этого проходимца, мне следовало действовать решительно и быстро, не колеблясь.

15. Преданный раб Сонон, испытавший немало насмешек чужеземца, вызвался с готовностью помочь мне. Он выследил, что Уранид облюбовал себе одно место, где на самом берегу моря была небольшая пещера. Здесь он любил сидеть порой целыми днями, ничем не занимаясь и глядя на море. Когда начинался дождь, Сыи Неба забирался в пещеру. Там мы его и решили подкараулить и убить. Место было глухое, рабы с ближайшего виноградника не услышали бы крика. И все подумали бы, что чужеземца подкараулили и убили тавры. Чтобы укрепить всех в такой имееи мысли, мой хитрый Сонон даже специально раздобыл таврский кинжал и дротик с костяным наконечником, собираясь подбросить их возле трупа.

Несколько дней подряд Сонон выслеживал Сыиа Неба за городской стеной, но неудачно. Потом он где-то подслушал, что на следующее утро чужеземец намеревается отправиться имееи в то укромное место, где мы предполагали устроить для него западню. В тот вечер я от волнения долго не мог уснуть, а когда, наконец, забылся...

...в тишине амбросической ночи
Дивный явился мне Сон¹,

до того отчетливый и ясный, что ни в чем не уступал истине. Еще и теперь перед моим взором стоят образы, которые я в ту ночь увидел, и сказанное звучит у меня в ушах.

Я увидел как будто пещеру, слабо озаренную смутным, неясным светом, который лился откуда-то сбоку. В этом подземелье где-то протекал ручей: я отчетливо слышал тихое журчание воды. Потом передо мной возникла теиь. Она приблизилась, и я узил своего раба Соноиа. Он озирался по сторонам, словно ища себе уголок поукромнее и потемнее. Откуда-то сверху покатылся камень. Я отчетливо слышал его стук. Сонои спрятался за обломком скалы. И тут вдруг раздался иегромкий зловещий смех. Я узил голос чужеземца. Потом он произиес какие-то непонятные слова на иеведомом мне языке. Свет в пещере виезапно померк. И в иаступившей кромешной

¹ «Илиада», II, 56. — А. С.

тьме я услышал отчаянный крик Сонона: «Хозяин, я пропадаю, я пропадаю!..»

Я вскочил на своем ложе, обливаясь холодным потом. Было уже утро. Я понял из этого вещего сна, что чужеземец каким-то колдовским способом разгадал наши планы. Надо было предостеречь Сонона, чтобы он сегодня не нападал на Сына Неба. Но сколько его ни искали по моему приказанию по всей усадьбе храма, нигде не могли обнаружить. Сторож сказал, что раб куда-то отправился еще до зарн. Так велика была его жажда местн, что он слишком поспешил навстречу своей гибели. А в том, что ему суждено нынче погибнуть, я уже не сомневался после вещего сна. Послать других рабов ему на выручку к пещере я не мог. Сделать так — значило бы открыть свой замысел перед всем городом, большинство жителей которого очень почитало чужеземца. Мне оставалось только терпеливо ждать воли всемогущих богов. Теперь я окончательно был убежден, что наш план не удался и мой верный раб сам попал в коварную засаду и наверняка лишился жизни. В самом деле, его никогда больше не видели. На следующий день я для отвода глаз объявил, будто он убежал от меня, и отправил воинов на поиски в различные места. В том числе я поручил им осмотреть окрестности пещеры, выбранной нами для засады. Но никаких следов пропавшего раба так и не удалось обнаружить. А вечером того же дня мне повстречался на улице Сын Неба. Усмехнувшись, он сказал: «Я слышал, что ты лишился самого преданного помощника. Жаль. Как же ты теперь станешь пророчествовать без такого оракула?» Его глаза при этом были красноречивее слов. Я прочитал в них угрозу. Победа опять оказалась за ним, и я мог ожидать теперь от него всяческих козней. Они не замедлили последовать.

Какие-то странные вещи начали твориться со мной. По ночам меня часто мучали кошмары. Я попадал в..... подземелье и задыхался. На меня обрушивались громадные глыбы и придавливали меня. В одну из ночей мне приснилось, будто в комнату вползла большая змея. Как ни старался я от нее скрыться, она ужалила меня прямо в грудь. Тут я с криком проснулся. А через три дня у меня на груди, как раз в том месте, где ужалила приснившаяся змея, образовалась маленькая, но очень мучительная и долго не заживающая ранка¹. Тогда я понял, что и этот сон был вещим. Всеблагие боги слали мне с Олимпа новое предупреждение об опасностях, угрожающих мне со стороны коварного чужеземца. Я все-таки не внял этому мудрому предупреждению и продолжал с ним борьбу, хотя и тайную, скрытую, распуская всяческие тревожные слухи и стараясь восстановить

¹ Речь идет, видимо, об известных современной медицине случаях «мнимого удара» (как и «ложного ожога» — на следующей странице) под влиянием внушения.— А. С.

против него побольше жителей города. Он только насмешливо улыбался, встречаясь со мной. Я понимал, что он прекрасно читает мои мысли и готовит ответный удар.

Я снова не внял предупреждению неба. Какая-то поистине злая сила подтолкнула меня опять нелепно отозваться о Сыне Неба. Донесли ли ему об этом, или он сам подслушал мои слова, оставаясь на другом конце города, чему я также вполне верю,— во всяком случае, ответный удар не заставил себя ждать. В тот же вечер, намереваясь прочитать молитву, я вместо нее вдруг, к общему удивлению и собственному ужасу, во все горло запел посреди храма развратную милетскую песню, слова которой даже не решаюсь привести тут. Я понимал, что совершаю святотатство, но ничего не мог поделать с собой, пока так, с песней, не выбежал из храма и не уединился в углу двора. Этот случай, вызвавший в городе всеобщее возмущение, наполнил мою душу ужасом. Я понял, что не смогу бороться с таким коварным и могущественным противником.

Сын Неба начал строить какую-то хитрую машину. Она напоминала громадные крылья птицы или, скорее, исполинской бабочки. Рабы поговаривали, что на этих крыльях он собирается летать¹. Тогда я через оракула объявил, будто боги гnevаются на столь нечестивые замыслы и повелевают мне разрушить машину. Окруженный стражей и в сопровождении многих знатных людей, я отправился к дому, где жил чужеземец. Едва я протянул руку к машине, Сын Неба крикнул: «Не тронь, иначе обожжешься!» Я испугался, но все-таки в великом гневе не внял его крику и схватился за деревянный переплет крыла, на который он натягивал бычью кожу. В то же мгновение на ладони моей вздулся большой волдырь, словно действительно от сильного ожога, хотя готов поклясться всеми богами, что дерево было совершенно холодным и даже сыроватым на ощупь. При виде такого колдовства толпа забросала губительную машину камнями.

Три дня после этого Уранид не показывался в городе: видно, залечивал раны. А я тем временем пророчествовал в храме, что Сын Неба намеревается открыть городские ворота таврам, перебить всех свободных людей и установить в городе власть рабов, как это сделал в свое время Савмак в Пантикапее. Боги требуют, вещал оракул, чтобы колдун был заключен в цепи и помещен в темницу при храме, ибо только я смогу держать его в подчинении и с помощью всемогущих богов обуздать его чудодейственную власть. И я добился своего. Ареопاغ большим голосом решил заковать чужеземца в цепи и держать под моим надзором в темнице при храме.

16. Так мы решили, и я уже торжествовал полную победу.

¹ Выходит, старый авиамоделист Алик Рогов был прав! — М. З.

Но боги — или злые силы, помогавшие колдуну, — снова расстроили наши планы. Я приказал заковать его покрепче и бросить в самую надежную темницу. А ключ от нее для предосторожности отдал тайком своим друзьям, наказав при этом, чтобы они не отдавали мне его, как бы я ни просил. Ведь, пользуясь своей могучей колдовской силой, он мог виушить мне мысль, чтобы я открыл темницу и выпустил его на свободу. Друзей же я выбрал нарочно таких, которых он не знал в лицо и не мог поэтому виушить им свои мысли.

Мои опасения оправдались. Вот уже третий день он искушает меня, и под натиском внушенных им мыслей, постоянно толкающих меня на самые неожиданные поступки, я все больше прихожу в ужас. Кто у кого в плену? Да, он сидит на цепи в темнице. Но моя воля скована им, я его раб, я больше не принадлежу себе. Сегодня утром он снова заставил меня прийти к окошку в дверце темницы и заявил, что имеет очень важное сообщение для еkkлeсии. Мне он его сообщить отказался — только народуному собранию. Я опять почувствовал, что испытываю непреодолимое желание тотчас же выпустить его и привести на агору, и в панике убежал подальше от храма, чтобы не поддаться этому желанию. Я знаю, что он хочет. Он сумеет подчинить своей ужасной воле все народное собрание, и его не только освободят, но и сделают главным жрецом. Выпустить его на волю с такими могущественными способностями?

О иет! Моя рука их похоронит...

...На этой цитате из трагедии Еврипида «Медея» (стх 1619-й) обрывается найденная нами рукопись, хотя дальше еще идет довольно большой кусок чистого, неисписанного папируса.

ОГОНЬ — ХРАНИТЕЛЬ

В трудных обстоятельствах сохраняй
рассудок.

Гораций

1

Званцев. Ну, мой почтенный крот, что ты скажешь об этом любопытном документике?

Скорчинский. Документике! Ты даже отдаленно постигнуть не можешь, какую ценность он для нас представляет!

Званцев. Подумаешь, занимательная байка о склоках двух древних жуликов!

Скорчинский. Вот, вот! Многие, не занимающиеся специально античной историей, наверное, так его и расценят: «За-

инмательный документнк, довольно занятный, знаете ли, рассказ о кознях хитрого жреца, пытавшегося выжить из города своего соперника две тысячи лет назад...» А для нас это просто клад. Сколько тут интереснейших сведений, тонких деталей, которые просто недоступны твоему пониманию!

Званцев. Ладно, не будем переходить на личность. Вернемся к нашим древним героям. Откуда же он все-таки взялся, этот загадочный Сын Неба?

Скорчинский. Это меня тоже больше всего интересует.

Званцев. А почему? Что в нем такого особо удивительного? Ловкий фокусник и обманщик, больше ничего! Ты ведь, помнится, говорил мне, что в те суеверные времена таких проходмцев немало бродило по свету. Еще приводил мне в пример легендарного Аполлония Тианского с его липовыми чудесами: поразительные пророчества, воскрешение мертвых, способность переноситься по воздуху в любое место, — да он сто очков вперед даст нашему Сыну Неба! Почему ты молчишь?

Скорчинский. Слушаю и восхищаюсь твоими быстрыми успехами в античной истории.

Званцев. Ну а честно — о чем ты думаешь?

Скорчинский. Не забывай, что жрец писал только для себя, зашифровывал свои записи. Значит, он был искренен и вовсе не склонен сочинять какие-то пустые байки о вымышленных чудесах. Верно? И напрасно ты называешь этого странного пришельца ловким обманщиком. Есть в его поведении немало загадочного, заставляющего серьезно задуматься. Зачем, например, ему понадобилось создавать какой-то новый язык для укрепления дружеских связей между греками и соседними племенами?..

Званцев. Ты даже не поверил в возможность этого, а я оказался прав насчет этого древнего языка.

Скорчинский. Я потому и не мог поверить, что такая идея казалась мне совершенно невероятной для тех времен. Но ведь это факт. И другие его поступки заставляют крепко задуматься. Большой интерес к технике, попытки создать какие-то машины, чтобы облегчить труд рабов. И в то же время высмеивает суеверия, разоблачает всякие проделки жреца. Как хочешь, а круг его интересов показывает, что это был вовсе не какой-то шарлатан, а пылкий исследователь.

Званцев. Не забывай еще о том, как он пытался создать какую-то летательную машину, обломок которой нашел Алик Рогов! Жалко, что от нее так мало осталось, невозможно представить конструкцию. Вряд ли это был планер — скорее нечто вроде орнитоптера. Но все равно: человек, задумавший две тысячи лет назад создать орнитоптер, имел гениальную голову на плечах. Это ему, конечно, не удалось бы — над подобной задачей до сих пор бьются инженеры. Но размах его

мне по душе, настоящий изобретатель. Ты прав: это была какая-то незаурядная личность. И какой поразительный дар гипнотического внушения, телепатин! Слушай, я бы не удивился, если бы он в самом деле оказался Сыном Неба.

Скорчинский. Космическим гостем?

Званцев. Да! Вспомни, как описывает жрец его появление: страшный грохот и вспышка на безоблачном небе, словно промчалась колесница легендарного Фазтона. Очень похоже на приземление космического корабля!

Скорчинский. Но не мог же он высадиться один. Куда же делись остальные?

Званцев. Погибли, попали в плен к таврам, улетели в аварийном порядке, позабыв про него, когда началось землетрясение,— почему я знаю? Надо искать, копать дальше, идти по его следам! Где, кстати, проволока, которую ты нашел в пещере?

Скорчинский. Ты же знаешь: отдал в милицию.

Званцев. Молодец! Надо ее немедленно оттуда вызволить. Мне почему-то кажется, что она как-то связана с этим Сыном Неба...

Скорчинский. Мне тоже. Я же тебе рассказывал, что у этого скелета была какая-то необычная, лобастая голова. Да вот тебе фотография, посмотри сам.

Званцев. Вполне подходит под описание жреца. И помнишь: жрец пишет, что Уранид уединяется для размышлений в пещерах? Может, это ты его череп нашел в пещере и из-за тебя он превратился в кучу пыли, растяпа?! Теперь проволоку не погуби. Как только приедешь, заведи ее из милиции и высылай мне. Мы тут проведем анализы. А сам не трогай, упаси тебя бог!..

Скорчинский. Ладно.

Званцев. А мне тут, чтобы не скучать, дай еще черепков из твоих коллекций.

Скорчинский. Можешь ты, наконец, сказать, зачем они тебе нужны?

Званцев. Я же тебе говорил: совершенствуем метод палеомагнетизма. Ясно? А подробнее объяснять — все равно не поймешь, голова у тебя слишком гуманитарная.

Скорчинский. Ладно, ладно... А ты не мог бы экспериментировать с какими-нибудь другими материалами? Зачем тебе нужны образцы именно из наших коллекций? Они же наперечет.

Званцев. Слушай, не будь таким Плюшкиным в квадрате. И это после того, как мы помогли тебе расшифровать столь уникальную рукопись. О черная неблагодарность!

(Рассказывает Алексей Скорчинский)

С Миханлом я не особенно делился одолевавшими меня раздумьями, опасаясь его насмешек: «Ага, ты отказываешься от своих прежних возражений? А так ярко спорил! Где же твоя принципиальность, ученый крот?»

Неужели это был небесный пришелец? Чем больше я вчитывался в рукопись жреца и размышлял над ней, тем чаще возвращался к мысли, казавшейся поначалу совершенно невероятной.

В самом деле: чудесное появление чужеземца, как его описал жрец, весьма напоминало картину приземления какого-то космического корабля. Он сел благополучно, высадил разведчиков. И надо же было случиться этому злополучному землетрясению: конечно, корабль был вынужден в аварийном порядке стремительно взлететь снова, оставив на произвол судьбы своего отважного и любознательного разведчика, ставшего из-за этого вдруг одиноким пленником на чужой планете и без всякой надежды на возвращение домой!

Можно себе представить, какую бурю чувств пережил в этот поистине трагический момент Сын Неба, когда под ногами у него внезапно заходила ходуном земля, он услышал вдруг рев заработавших двигателей и увидел, как родной корабль, пронесший его невредимым среди звезд, все увеличивая скорость, взмывает без него в голубое небо...

Какая поразительная, нелепая, если вдуматься, случайность: благополучно преодолеть миллионы километров межпланетных просторов, где, казалось бы, на каждом шагу подстерегает куда больше всяких опасностей — и метеоры, и космическое излучение, и поля радиации, — и выбрать для посадки роковой момент землетрясения! Едва не погибнуть в самый волнующий и торжественный момент встречи с неизвестной цивилизацией!

Конечно, Сын Неба вполне мог оказаться в одиночестве. И какая поразительная, поистине трагическая судьба, если вдуматься, выпала на его долю! Промчаться меж звезд — и очутиться одному на неизвестной планете. Обладать удивительными способностями — и быть принятым за волшебника, проходимца, каких немало было в те времена. Страстно хотеть помочь людям — и натолкнуться на полное, абсолютное непонимание.

Вот какое соображение особенно укрепляло меня в этих мыслях. На первый взгляд оно может показаться парадоксальным, но, если вдуматься, очень важно: именно то, что Сын Неба оставил так мало заметных следов своего пребывания на Земле, и убеждало меня в возможности его посадки с кос-

мического корабля. Ведь что утверждали авторы всяких гипотез о космических пришельцах, которые я всегда начисто отвергал и высмеивал? Что эти небесные гости, пожаловав на нашу планету, моментально переворачивали тут всю историю, одним махом создавали новые цивилизации, становились даже чуть ли не основателями всего рода человеческого. С точки зрения серьезной науки, это, конечно, чепуха.

Но вот так — без особого шума, без каких-нибудь заметных перемен в давно устоявшемся быте местных народов, обладавших своей древней культурой, — так, пожалуй, вполне мог совершиться эпизодический визит на Землю гостей из других миров. И не многих гостей, а всего лишь одного, — в том-то и дело!

Мне пришли на память заключительные строки лермонтовской чудесной «Тамани». Помните, как размышлял Печорин о своем приключении среди «честных контрабандистов»: «Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень, едва сам не пошел ко дну!» Так и с Сыном Неба: круги быстро разошлись, и вода опять стала спокойной и гладкой. Как теперь в ее глубине отыскать его следы?

Я думал об этом по дороге в Крым, а добравшись до базы, вопреки всем своим давним привычкам, не пошел на раскопки, первым делом отправился в милицию.

— Хорошо, что вы приехали, — сказал мне следовательно, доставая из шкафа довольно тощую папку. — Уж несколько повесток вам посылали. Надо вам протокол подписать, вы же первый обнаружили этот скелет и сообщили о нем. А из-за этого я никак дело закрыть не могу.

— Ну, а что-нибудь выяснить удалось?

Лейтенант меланхолически пожал плечами.

— Судя по обызвествлению остеологического материала, человек погиб никак не меньше десяти лет тому назад. Может быть, еще во время Отечественной войны, тогда многие скрывались в пещерах. Теперь за давностью лет не узнаешь.

— Вы его там и оставили?

— Кого?

— Да скелет.

— Нет. Скелет прямо рассыпался в руках. Пришлось укреплять кости особым составом. После исследования экспертом остеологический материал захоронили как положено.

Так, значит, от странного скелета с уродливым черепом теперь ничего не осталось, кроме этих фотографий...

Мне стало тревожно и горько.

Я бегло пробежал глазами протокол: «18 сентября сего года в РО милиции явился гр. Скорчинский А. Н., назвавшийся начальником археологической экспедиции Института археологии Академии наук, и сделал следующее заявление:

Накануне, то есть 17 сентября сего года, при осмотре с научными целями одной из пещер на берегу моря к юго-западу, неподалеку от поселка, им был обнаружен скелет неизвестного человека. Тут же был обнаружен металлический стержень, напоминающий ручку самодельного ножа, обмотанный проволокой...»

— Кстати, а где эта проволока? — спросил я.

— У меня, среди вещественных доказательств.

— Меня просили выслать ее в Москву для анализа в один научный институт.

— Криминалистический?

— Да, они занимаются и криминалистикой, — туманно ответил я.

— От них должен быть запрос.

— Ну, не будем такими формалистами. Они запрос потом пришлют, я же не знал, что так полагается.

Лейтенант порывшись в шкафу, достал большую картонную коробку, а из нее — проволоку на металлическом стержне и, завернув в бумажку, передал мне. Я написал расписку, подмахнул протокол и отправился прямо на почту, чтобы сразу же отправить проволоку Мишке в Москву.

Теперь оставалось одно: терпеливо ждать. Но разве это возможно, когда речь идет о таких загадках!..

Некоторые из них, давно мучившие меня, теперь были разгаданы. Я узнал, почему жители города вдруг переименовали его в Уранополис, почему в честь этого события начеканили монет с изображением бога Асклепия и небесных светил. Раскрылась и тайна загадочного языка, доставившая нам так много хлопот.

Все стало ясным. И странное дело: я испытывал от этого не только вполне естественную радость открытия — и грусть тоже. Как ни говори, все-таки несколькими загадками на свете стало меньше.

Но зато какая поразительная загадка маячила впереди! Неужели мы и впрямь напали на след космических гостей?

Мы повели раскопки сразу на нескольких участках. Засверкали на солнце наши лопаты, навалились повседневные будничные хлопоты по расстановке рабочих, добыванию продуктов подешевле, чтобы сэкономить побольше и за счет этого растянуть срок работ. Меня с головой захлестнула деловая текучка.

И через три дня нам посчастливилось сделать действительно выдающуюся находку. Мы раскопали ту самую темницу, в которой томился Уранид!

Это была глубокая, метра в три яма, облицованная неотесанными камнями. Крыша темницы обвалилась во время пожара под тяжестью рухнувшей на нее кровли храма.

Вы понимаете, с каким трепетом я раскапывал эту древнюю

тюрьму, где кончил свои дни Сын Неба. Да, он погиб именно здесь, сомнений теперь не было!

Мы нашли два скелета. Один лежал у самого порога, все еще сжимая в давно истлевшем кулаке рукоять заржавленного меча. Другой скелет лежал в углу — и вокруг него все еще змеей обвивалась прочная, тяжелая цепь, приковавшая его к стене.

Это был, несомненно, Сын Неба. Но чьи же останки мы нашли в пещере? Коварного раба Сонона, которого жрец посылал убить Сына Неба? Но откуда там взялась эта проволока? Ведь она, похоже, к Ураниду не имеет никакого отношения? Обронил уже гораздо позже кто-то другой, побывавший там, в пещере?

Какая драма разыгралась в этом подземелье в ту далекую ночь, когда город погибал в пламени и по улицам его мчались воинственные скифы? Кто же был этот загадочный Сын Неба?

Узнаем ли мы когда-нибудь это?

Я терялся в догадках и хотел уже поскорее рассказать об этой находке Михаилу в подробном письме. И вдруг от него пришла странная, непонятная телеграмма-молния:

«Вылетай немедленно Москву мне снятся поразительные сны, вылетай немедленно!..»

3

(Продолжает А. Скорчинский)

Неужели это возможно? Неужели мы и впрямь случайно наткнулись на след посещения нашей планеты гостями из космоса?!

И хотя я интуитивно ждал, что разгадку Сына Неба принесет именно эта проволока, найденная нами в пещере, все равно рассказ Михаила о его сложных опытах и неожиданном открытии совершенно ошарашил меня.

Моток проволоки лежал на белом лабораторном столе, и я не мог отвести от него глаз. Неужели на этой тонкой металлической нити в самом деле записан отчет о том, что увидел Сын Неба, игрой судьбы заброшенный две тысячи лет назад в маленький греческий городок на берегу Крыма? И неужели я сейчас сам загляну в тот далекий мир, увижу все его глазами?!

Мне не терпелось увидеть, и я плохо слушал объяснения Михаила о всей технике расшифровки видеозаписи на проволоке, о том, как он подбирал наилучший режим, какие использовал приборы, — но он, против обыкновения, кажется, не обиделся на мое невнимание. Потом начал клясть себя, что во время экспериментов над проволокой размагнитил часть записи.

— И какую часть! Самое начало! Там, вероятно, было

зафиксировано приземление космического корабля. А теперь мы не узнаем, как это произошло. И черт меня дернул проверять ее электропроводность!

— Ладно, теперь этого уже не поправишь. Показывай скорее, что есть! — взмолился я.

Но он словно нарочно взялся томить меня и решил обставить просмотр магнитной записи не менее таинственно и торжественно, чем жрец свои пророчества в храме Асклепия. Усадил меня в глубокое кресло в лаборатории перед овальным экраном, велел откинуться свободно на спинку, расслабить мышцы и ни о чем не думать.

— Просто смотри, какие картины станут возникать. И запоминай все детали, чтобы подробнее потом записать.

Затем он притушил огни в комнате, оставив только слабую лампочку возле приборов, с которыми страшно томительно и долго возился, что-то настраивая.

— Да скоро ты? — взмолился я и тут же замолк на полуслове, потому что увидел то, что произошло на крымской земле две тысячи лет назад...

Изображение было расплывчатым, смутным, нерезким, словно снимок, сделанный неопытным фотографом, без всякой наводки на резкость. Порой оно совсем пропадало, потом появлялось вновь. Но мой наметанный глаз археолога дополнял отсутствующие детали, многое просто угадывал.

Передо мной, несомненно, была главная городская площадь — агора, вымощенная черепками битой посуды и заполненная пестрой толпой. Особенно отчетливо был виден один угол ее, огороженный деревянными жердями, — вероятно, специально для торговли рабами, как упоминалось в некоторых источниках.

У подножия мраморного изваяния, на пьедестале которого написано: «Народ поставил статую Агасикла, сына Ктесия, предложившего декрет о гарнизоне и устроившего его...», в полном безразличии и отупении прилегла на камин морщинистая старуха, похожая на комок грязных тряпок. Рядом с ней, скованные цепями по рукам и ногам, лежат два скифа: один с рыжей косичкой, торчащей из-под рваной остроконечной кожаной шапки, и в куртке из грубо выделанных бараньих шкур, другой почти совсем голый, со взлохмаченной головой...

...Тенистый мраморный портик какого-то, видимо, общественного здания. Сидя за низеньким столом, заваленным свитками папируса, три пожилых грека внимательно, но довольно равнодушно наблюдают, как плечистый, обнаженный до пояса палач с бритой головой привязывает к большому пыточному колесу перепуганного раба, еще совсем подростка.

Все это в каком-то странном ракурсе — словно увидено глазами человека, сидящего на корточках.

Картины давно отшумевшей жизни возникали перед моими глазами. Они были отрывочными, бессвязными: промелькнет — и пропала. Так любознательный турист, попав в незнакомый город, бесцельно щелкает направо и налево своим иерархическим фотоаппаратом, не давая ему ни отдыха, ни покоя. Поэтому и пересказать эти коротенькие уличные сценки, пестрый калейдоскоп промелькнувших лиц горожан, вонючих, любопытных женщин, чумазных ребятишек, — связано пересказать все это просто невозможно. К тому же, как я уже говорил, изображения порой были очень смутными, едва видимыми, да добавок меня еще сбивали с толку неожиданные ракурсы.

То промелькнет мальчик, повисший на уздечке упрямого ишака и тщетно пытающийся сдвинуть его с места... То запыхавшийся, с побледневшим от напряжения лицом тяжело дышащий атлет. Он очищает со щеки стригалем, похожим на серп, приставшую грязь, а вдали виднеется кусочек стадопана...

На покатой каменной площадке с желобками рабы давят босыми ногами виноград. Одни из них так приплясывают, что брызги разлетаются далеко во все стороны.

А на соседней площадке применена уже примитивная «механизация», видимо, заинтересовавшая небесного гостя. Тут виноград давят под прессом, накладывая на него каменные плиты — тарпаны. Сверху ягоды накрывают доской и прижимают ее длинным рычагом, на конце которого, болтая ногами, повисли два рослых раба.

Сын Неба заглянул в литейную мастерскую — и вот перед нами мастер в кожаном фартуке, прикрывая ладонью глаза от пламени, осторожно сливает в форму расплавленную, пышущую жаром бронзу...

Возникают на миг уличные музыканты: подросток, надув щеки, старательно наигрывает на свирели — сиринге, а босая девочка приплясывает, ударяя в тамбурни...

Кусок городской стены. Из сторожки возле ворот выглядывает воин с курчавой рыжеватой бородой, а на стене видна надпись, звучащая в переводе вдруг комически современно: «По решению городского совета запрещается здесь сваливать навоз и пасти коз...» Конец надписи, к сожалению, не виден.

Снова шумный рынок на городской агоре. Бросается в глаза, что на нем почти нет женщин. Торгуют и покупают одни мужчины.

Из этих бессвязных сценок, словно из кусочков мозаики, возникает бесценная живая картина будничной жизни древнегреческого города, которую до сих пор археологам приходилось с громадным трудом воссоздавать по случайным находкам и разрозненным черепкам битой посуды. Как много дает это науке!

Увидели мы и своими глазами жреца, чья рукопись до-

ставила нам столько хлопот. Ему уже, пожалуй, за шестьдесят. Гладко выбритая голова, одутловатое морщинистое лицо и очень зоркие, цепкие черные глаза.

На нем простой серый гиматий, наброшенный поверх белоснежного хитона. На ногах сандалии из темной кожи. Двигается он плавно, величественно, движения медлительны, но порой резкий поворот головы и острый прищур глаз выдают иззаурядную волю и энергию, спрятанные до поры до времени, словно в сжатой пружине.

Как уже упоминалось, мелькавшие на экране люди были неподвижными, застывшими, словно на примитивной фотографии. Но они были «схвачены» в такой момент, что каждый кадр становился полон жизни и экспрессии. Воображение дополняло то, что видел глаз, и, рассказывая о возникавших картинах, все время невольно употребляю глаголы: движутся, плывут, вонзаются,— даже как будто начинаешь слышать давно отзвучавшие голоса.

...Два стратега обходят фронт тяжеловооруженных гоплитов во дворе крепости. Солнце жарко пылает на железных панцирях, слепит глаза, отражаясь от шлемов. Шлемы у воинов различной формы: у одних они закрывают все лицо скуластыми нащечниками, только в узких прорезях сверкают глаза. У других нащечники подвижные, они сейчас откинута, позволяя рассмотреть раскрасневшиеся, потные лица и торчащие из-под шлемов бороды.

Щиты у гоплитов тоже неодинаковой формы — то овальные, то круглые, и обиты они у кого листовой медью, а у кого просто бычьей кожей. У каждого воина длинное, до двух метров, деревянное копье с железным наконечником, меч на перевязи, перекинутой через правое плечо, ноги закрыты до колен бронзовыми поножами. Судя по довольно унылому виду воинов и их усталым, разморенным жаром лицам, нелегко, должно быть, таскать на себе всю эту массу металла. Но гоплиты предназначены для ближнего оборонительного боя, им не придется много ходить. Они будут стоять стеной, ошестинившись против вражеской конницы остриями копий.

На агоре раздают добровольцам более легкое оружие: дротики, луки со стрелами, небольшие щиты — пельты. У этих более подвижных воинов — пельтастов — и панцири уже не металлические, а кожаные или даже просто из грубой холстины.

Видимо, идет подготовка к бою с таврами, о котором упоминается в рукописи жреца.

Потом стремительно мелькает несколько сценок сражения. Беспощадеи и страшен этот бой в ночной темноте, лишь местами озаряемый неверным, колеблющимся светом факелов. Мелькают искаженные болью и гневом лица, коиские морды с пейой на уздечках...

...А затем сияющий солнечный день, стадион, заполненный ликующей толпой.

Со всех сторон летят букетики ярких цветов, венки...

Видно, это чествуют Сына Неба и жреца после победы над таврами. Вот я нахожу в толпе уже знакомое лицо жреца. А где же Уранид? Может быть, он появлялся и в других сценках. Но как узнать его?

Или аппарат для записи был всегда с ним, и мы так и не увидим, как выглядел сам небесный гость: ведь мы смотрим его глазами?..

По арене стадиона угрюмой толпой бредут закованные в цепи пленники.

Устало шагают по цветам их босые, израненные ноги.

И вдруг темнота. Все оборвалось. Я не сразу понимаю, что сижу в лаборатории перед погасшим экраном.

— Ну как? — спрашивает Михаил.

— Снова. Давай все снова! — хрипло говорю я.

— Подожди, — усмехается он. — Давай сначала подведем итоги.

Я непонимающе смотрю на него.

— И как тебя угораздило размагнитить начальный кусок записи! Конечно, там были сцены прибытия космического корабля на Землю, а может, даже и какие-то картины иной планеты, с которой он прилетел.

— Кто прилетел?

— Ну, Сын Неба, Уранид.

— Какой Сын Неба?

— Слушай, Мишка, ты опять начинаешь паясничать...

— Не понимаю тебя. О чем ты говоришь? Никто ниоткуда не прилетал.

— Как?! А запись на проволоке?

— И записи никакой не было. Вот она, твоя проволока. Ничего в ней нет загадочного. Самая обычная проволока, только немножко заржавевшая в подземелье. Можешь вернуть ее в миллион...

— Но я же сам видел, своими глазами! — закричал я, когда снова обрел дар речи. — Что же я видел?! Опять твои idiotские штучки?

— Успокойся, успокойся, ты действительно видел древних греков! Только космические гости и записи на проволоке тут ни при чем.

— Что-о?!

— Просто пока ты копался в своих гробницах и подземельях, мы тут сделали небольшое открытие, которое я и продемонстрировал тебе сейчас.

— Какое?

— Ну, как тебе сказать поточнее?.. Мы нашли способ

воскрешать изображения, которые отпечатались на поверхности некоторых определенных предметов. Понимаешь? Ладно, не все тебе меня мучить лекциями, давай и я тебе прочту одну небольшую, совсем коротенькую. О так называемом эффекте остаточного намагничивания ты представление имеешь. Как тебе известно, некоторые горючие породы и строительные материалы, содержащие в себе магнетит или гематит, обладают любопытными свойствами: при сильном нагревании они приобретают под воздействием магнитного поля Земли слабую постоянную намагниченность. При последующем остывании в них как бы «замерзает» слепок магнитного поля давних исторических эпох, и специальные приборы могут восстановить его параметры...

— Ты мне еще расскажи, как этот метод палеомагнетизма применяется в археологии для установления возраста древних гончарных изделий, — перебил его я. — Не рассказывай мне того, что я и так прекрасно знаю.

— А огонь? — продолжал он. — Помнишь, ты как-то удачно сказал: «Огонь — хранитель»? Это в тот вечер, когда рассказывал у костра о гибели города. И я подумал: «В самом деле, если бы не этот древний пожар, застигший жителей так внезапно, мы бы, возможно, так ничего и не узнали бы о их давней жизни. Парадокс? Но именно огонь сохранил для нас ее следы, засыпав спасительным пеплом нарядные хрупкие вазы, резные статуэтки, обуглившийся, но не сгоревший деревянный совок».

И тут мысль заработала дальше. Нельзя ли найти и другие способы заглянуть в далекое прошлое? Ведь что такое свет, как не особый вид электромагнитных колебаний? Магнитных — улавливаешь?!

— Постой, постой! Значит, вам удалось найти способ воскрешать остаточную намагниченность, возникшую под воздействием света?

— Вот именно! И снова превращать ее в зрительные образы, — ты попал в точку! Давняя мечта писателей-фантастов. Но только теперь у нас появились приборы такой сверхчувствительности. Да и то, как видишь, метод еще, конечно, далек от совершенства. Изображения получаются нечеткими и расплывчатыми. Только специалист может в них как следует разобраться. Да и подходящие образцы приходится выбирать один из тысячи. Но главное сделано: удалось разработать аппаратуру, способную улавливать столь слабую намагниченность и переводить ее в зрительные образы.

— Значит, вы можете воскресить картины любой эпохи?

— Конечно, если только они отпечатались на подходящем материале именно в тот момент, когда он подвергался сильному нагреву. Годятся черепки из древних гончарных печей, кирпичи

из стен сгоревших домов, куски вулканической лавы из более отдаленных эпох, когда еще человека на Земле не было, или, на худой конец, просто камни, опаленные ударом молнии, но, конечно, далеко не каждый. К счастью, твои древние греки обожали по любому поводу зажигать жертвенные огни. Да и пожарниц у них сохранилось немало. Вот только ты, крохотоподобный Плюшкин, дрожал над каждым черепком и кирпичиком. Теперь ты понимаешь, как мешал мне?

— Но почему же ты сразу не сказал, для чего они тебе нужны? Зачем понадобился весь этот глупый розыгрыш с космическим пришельцем и записью, якобы сделанной на проволоке?

И знаете, что он имел наглость мне ответить?

— А я решил испытать прочность и стойкость твоих убеждений. Ты тогда очень хорошо и убедительно рассуждал о невероятности прилета к нам в прошлом гостей из космоса. По существу, правильно, поскольку никаких строгих доказательств таких визитов наука не имеет и поэтому подобные гипотезы просто курам на смех. Но я решил подвергнуть тебя небольшому искушению. И ты не устоял, поддался на удочку, забыл о мудром правиле: «Иметь взгляды — значит смотреть в оба...» Шаткое, брат, у тебя мировоззрение, и все оттого, что замкнулся, как крот, в свою археологию, не следишь за успехами других наук. Вот и веришь всяким басням, стоит только придать им видимость научности. Описал жрец какое-то «небесное знамение», а ты уже распалился: «Очень похоже на приземление космического корабля!..» Может, ты так и в реальность гремющей колесницы Ильи-пророка поверишь?

Стоило ему все-таки намять бока за такую каверзу! Но я был уже увлечен перспективами, которые обещало археологии его открытие. Заглянуть в глубь веков и собственными глазами увидеть, каким был мир во времена древних греков, египетских фараонов, заглянуть в пещеры, где греются у костров наши первобытные предки, — кто из археологов не мечтал об этом! Может быть, увидеть мир даже таким, каким он был на самой заре времен, еще задолго до появления на Земле человека! Чем не «машина времени»?

— Но кто же тогда был этот Сын Неба? — воскликнул я, отрываясь от своих мечтаний.

Михаил пожал плечами.

— Это уж придется выяснять тебе с помощью твоего хваленного дедуктивного метода. Во всяком случае, к небу он не имеет никакого отношения. Но все равно фигура весьма любопытная: создал оригинальный язык, мечтал объединить греков с варварами, пытался построить какую-то летательную машину вроде ориктоптера. Может, он был гениальным изобретателем и рядом с именами Пифагора, Евклида, Архимеда

и Герона следует поставить и его имя... А мы даже не знаем точно, как его звали: не вписывать же его в историю техники под прозвищем «Сын Неба», которое ему дали твои греки! Это было бы забавно.

Да, Михаил прав: человек, прозванный Сыном Неба, был, несомненно, большим ученым. И борьба, которую он вел с хитрым жрецом, была вовсе не соперничеством за власть и почести. Сквозь даль веков мы стали свидетелями еще одной драматической схватки в великой давней битве между светом и тьмой, религиозными суевериями и наукой. И как жаль, что мы так мало узнали об этом замечательном человеке!..

— Слушай,— осенило меня.— А мы ведь можем его увидеть!

— Его самого? Как?

— Я же тебе говорил, что раскопал темницу, в которой томился Уранид и, видимо, погиб в ту ночь, когда город спалили напавшие скифы. Мы нашли там два скелета, заваленных обломками обгоревшей кровли.

— Все ясно! — закричал Михаил.— Где они, эти обгорелые кирпичи?

И вот мы увидели...

...Тесное, сырое подземелье сумрачно освещено чадным факелом. Так и чувствуется, что пламя его колеблется, вздрагивает, заставляя по каменным стенам метаться тревожные тени.

Человек, прикованный цепью к стене, настороженно смотрит на тех, кто вошел к нему в темницу с факелом. Да, это обыкновенный человек, в нем нет ничего небесного: он в грязных лохмотьях, у него усталое, изможденное лицо. Глаза, глубоко запавшие под громадным лбом, кажутся бездонными. Лицо не греческое — вероятно, это уроженец Малой Азии или даже Северного Кавказа.

Но лучше рассматривать его некогда. На миг заслонив свет факела, который кто-то, не видный нам, держит за его спиной, вперед выступает жрец. Он, видимо, что-то говорит пленнику. Если бы мы могли и слышать сквозь даль веков!

Уранид, не отвечая, смотрит на него с насмешкой и презрением. Видно, как жрец занес над его головой руку с коротким мечом...

И в тот же миг все исчезает во тьме под рухнувшей кровлей.

— Ну и зверь этот жрец! Даже в такой момент решил во что бы то ни стало уничтожить соперника наверняка. Одно утешение — и сам погиб, не успев удрать.— Михаил неприлично серьезен и даже мрачен.

— А Уранида жалко,— дрогнувшим голосом добавляет он, опустив голову.— Какой был гений! Леонардо!

Мы долго молчим, потрясенные. Ведь на наших глазах убили человека, которого, в самом деле, без преувеличения можно было назвать античным Леонардо да Винчи! И мы не могли помешать преступлению...

Сколько было таких неведомых гениев у разных народов в истории человечества, пришедших в мир преждевременно, когда никто еще не мог не только по достоинству оценить, даже просто понять их идеи, далеко опережавшие эпоху? Их высмеивали, травили, объявляли сумасшедшими, побивали камнями. И даже теперь, порой по счастливой случайности все же наталкиваясь иногда на сделанные ими много веков назад поразительные открытия, мы чаще всего не можем поверить, что их совершили наши гениальные предки, а приписываем каким-нибудь мифическим гостям с других планет. Обидно! Ведь мы словно убиваем их снова своим недоверием...

Мы молчим, но, не сговариваясь, думаем об одном. Может, замечательное открытие Михаила и его товарищей поможет нам выяснить еще что-нибудь о гениальном земном Сыне Неба? Ради этого стоит проверить все камни и обломки древней посуды, возможно сохранившие картины давно отшумевшей, но, оказывается, такой волнующей и поныне жизни! И кто знает, сколько еще удивительных открытий ожидает нас в таинственной глубине веков?..

Джулиан Кэри

КОМБИНАЦИЯ «ГОЛОВОЛОМКА»

Лемми запаздывал, в трубке гудел голос шерифа, во дворе, около кучи лома, возилась ватага каких-то подозрительных парней — одним словом, я не мог уделить слишком много времени старику Джейкинсу.

— Мне нужен провод, — сказал он, — высокого качества, средних иомеров и разных расцветок. — И смущенно добавил: — Я не смогу заплатить, если это дорого...

— Пойдите и поищите сами, тогда обойдется дешевле, — я не хотел упускать из вида подозрительных парней. Джейкинс, потоптавшись, направился к складу.

Я прикрыл ладонью трубку телефона:

— Шериф? Это Джо. Очень сожалею, что заставил вас ждать. Что стряслось?

— Ничего, — спокойно ответил он, — по поводу налога. Цифры показывают, что ваш склад утиля расширился за последние годы, поэтому за вами числится кое-какой должок.

— Эй, подождите минутку! Если я использовал кусок заброшенного пустыря, то что же, с меня надо три шкуры драть? Или вы хотите из-за этого «расширения» шантажировать меня?

— Полегче, Джо! Если вы можете оспорить повышение налога, заезжайте на следующей неделе, разберемся.

— Хорошо, — пообещал я, — как семейство?

— Превосходно.

— А работа? Точно не причиняет хлопот?

— Нет, — отозвался он мягче, — но мне нужен более сильный мотор. Не подыщите ли что-нибудь подходящее?

— Ладно, посмотрю, — ответил я и повесил трубку.

Ватага во дворе продолжала беспокоить меня, я было двинулся к ней, когда на пороге наконец-то появился Лемми,

мой помощник. Я молча кивнул ему на подозрительных ребят и отправился на поиски старика Дженкинса. Тот копался среди всякогохлама.

— Нашли что-нибудь?

— Не совсем.— Он с усилием поднял бухту тяжелого провода в черной оплетке.— Это подходит по качеству и диаметру, но мне нужен провод разных цветов.

— Очень огорчен, но другого у меня нет,— ответил я,— а это очень важно?

— Да, для моего изобретения.

В Инглвуде каждый знал старика Дженкинса и слышал о его изобретении. Большинство частей для него было раскопано у меня среди старья, но, если верить почтмейстерше, некоторые детали старик выписывал из Нью-Йорка. Единственная вещь, которую никто не знал достоверно: что же это за изобретение?

Я пожал плечами:

— Провод нужен для монтажа?

— Да.

— Тогда совсем не обязательно разные цвета. Достаточно покрасить концы. Сколько вам нужно?

— Тринадцать кусков, около шести футов длиной каждый.

— Давайте я вам нарежу,— предложил я.— Ну а как поживает изобретение?

— Почти закончено,— сказал он с гордостью и тут же просительно: — Вы сможете отпустить мне в долг?

— Пожалуйста.— Цена была пустяковой, а я — любопытным.

— Я позову вас, Джо, как только все будет закончено,— пообещал старик Дженкинс.— У меня сейчас небольшие неприятности, и от миссис Мэрфи нет никакого покоя. Я дам вам знать, как только все будет готово для демонстрации.

Тут появился Лемми с какими-то вопросами, и в деловых хлопотах я забыл о старике Дженкинсе.

Дела заняли у меня и последующие несколько дней. У Маккилвуда я забрал вконец разбитое пианино — полтонны ржавого железа. У Пордю нашел для шерифа подходящий мотор. И так одно за другим.

Дженкинс и его изобретение совсем улетучились у меня из памяти, когда в один прекрасный день Лемми сообщил, что мне звонили.

— Это был Дженкинс,— сказал он,— просил, чтобы вы немедленно зашли.

— Что-нибудь еще говорил?

— Нет, дескать, хочет показать вам кое-что.

— Хорошо,— ответил я,— подвезешь меня по пути к ферме Фентона. У Фентона есть кое-какой утиль для нас. Забери все и скажи, что насчет денег я взгляну позже. Понял?

— Конечно,— сказал Лемми и подмигнул. Я сделал вид, что ничего не заметил.

В подвале большого старого дома, в котором миссис Мэрфи содержала пансион, и жил Дженкинс. Он отозвался тотчас же, лишь я дотронулся до звонка, и увлек меня по лестнице вниз, словно опасаясь, что вот-вот на него кто-нибудь прыгнет.

— Это все из-за миссис Мэрфи,— объяснил он, закрыв дверь.— Она очень нервная особа. Я ее страшно раздражаю тем, что двигаю мебель и сжигаю предохранители.

Дженкинс задумчиво уставился на носки своих ботинок.

— В общем, она предложила мне убраться в конце недели.

— М-да,— посочувствовал я,— а вам есть куда переехать?

— Это очень накладное дело,— старик покачал головой,— но скоро я уже ни о чем не буду беспокоиться...

— Вы не должны этого делать! — Что-то в его доверительном тоне встревожило меня.— Вы еще не так стары, лучшая часть жизни у вас еще впереди. Вы совершите преступление, если поступите так!

— Вы о чем? — изумился Дженкинс. Вдруг он рассмеялся.— А-а! Понимаю, что вы имеете в виду. Не волнуйтесь, Джо, я не собираюсь кончать самоубийством. Я имел в виду совсем другое,— он подтолкнул меня во вторую комнату,— я имел в виду вот что! — И он показал на свое изобретение.

Это была самая нелепая штукавина, какую мне только когда-либо доводилось видеть. Центральная часть ее напоминала раму от кровати, поставленную на попа. Рядом громоздилась масса электрических приборов, соединенных с рамой множеством проводов. Они тянулись из чего-то, напоминающего распределительную головку.

— Я вам должен за эти провода,— застенчиво сказал Дженкинс.

— Забудьте об этом,— я был слишком заинтересован, чтобы беспокоиться о пустяковой стоимости каких-то проводов.— Оно действует?

— Да.— Дженкинс дотронулся до своего сооружения так осторожно, словно прикоснулся к новорожденному.— Это работа всей жизни, и теперь она завершена,— сказал он с гордостью.

— А что оно может делать?

Дженкинс улыбнулся.

— Даже не знаю, Джо, как вам объяснить. Если скажу, что это дверь между физическими измерениями, поймете ли вы, о чем я говорю?

— Я ходил в школу,— сказал я натянуто,— и тоже умею читать.

Дженкинс помолчал. Потом ответил:

— Вообще-то я не хотел показывать, но я обещал вам.

Кроме того, вы были добры ко мне тогда с проводами, да и вообще...

Он снова умолк. Затем продолжал:

— Вы знаете, Джо, что вся материя состоит из атомов. Электроны, позитроны, протоны и другие частицы атомов — все они плавают в пустоте. И пустоты много больше, чем частиц в ней; много больше. Каждый атом подобен миниатюрной солнечной системе с огромными расстояниями между планетами. Понимаете?

— Конечно. Обо всем этом я читал в «Воскресном приложении».

— Хорошо, — продолжал Дженкинс, — много лет назад я подумал, что могут быть другие миры, подобные нашему, но как бы колеблющиеся с отличной от нашего частотой. Это значит, что кажущаяся пустота атомов на самом деле вовсе не является пустотой, а содержит атомы материи другого рода. Вот я и решил построить что-нибудь, позволяющее предметам перемещаться из мира одного измерения в другой.

— Интересно. И это вам удалось?

Дженкинс снова тронул рукой изобретение.

— Я добился своего. На это потребовались долгие годы и масса денег, но теперь я закончил. Я испытал изобретение, оно работает.

Я опять взглянул на сооружение. Ей-богу, оно казалось самой невероятной коллекцией утиля. Большинство деталей этой конструкции были мне хорошо знакомы, но некоторые, по-видимому, изготовлялись специально, по заказу. Так, сеть, опутывающая раму, походила на стеклянное кружево.

— Это кварц, — сказал Дженкинс, заметив мое удивление. — У меня ушло пять лет, чтобы открыть способ получения длинных поляризованных кристаллов, необходимых для достижения определенной вибрации.

— Кварц? — Я не считал Дженкинса лжецом, но, насколько мне было известно, кварц не мог так выглядеть. Я подошел к сетке, чтобы разглядеть ее получше.

— Она образует зону вибрации, — объяснил Дженкинс. — Когда машина действует, различные части сетки существуют в обоих измерениях одновременно, поэтому через нее можно перейти из одного мира в другой.

— В самом деле? — Я еще не был ни в чем убежден. — А как насчет демонстрации?

— Хорошо, — он несколько колебался, — но дело в том, что у меня неприятности с миссис Мэрфи из-за просроченных счетов на электричество, кроме того, предохранители не очень надежны...

— Но ведь нам не требуется много времени? — я продолжал настаивать.

— Пожалуй.— Дженкинс чувствовал себя обязанным показать мне, как работает машина, и я знал это.

Он щелкнул несколькими рубильниками, и мы стали ждать. Как только в сеть прошел ток, беспорядочная груда электроприборов ровню загудела. Кварцевое кружево мгновенно раскалилось, неуловимо затрепетало, покрылось тончайшим пухом, и вдруг сквозь его ячейки замерцала картина...

Вначале я просто не поверил. Подошел к машине сбоку и уставился на стену за рамой. Это была самая обыкновенная стена. И все же я выглянул из нашего мира куда-то наружу. В этом пришлось убедиться, как только я занял место снова у сети, как в первый раз. Никакой стены за машиной не было, а виделись деревья и холмистая равнина, на горизонте — очертания города. По небу проплывали какие-то предметы, я подумал, что это, должно быть, летательные аппараты, но тут же забыл о них, едва увидел людей.

Их было восемь: трое интересных мужчин и пять красивых женщин. Они сидели на траве и вели себя, как в разгар пикника.

— Могут они видеть нас? — спросил я Дженкинса.

— Только если будут смотреть прямо в машину.

— А можем мы перейти к ним?

— Конечно.

Казалось, увиденного было достаточно, но что-то еще заставляло меня сомневаться даже сейчас. Я схватил первое, что попало под руку, — корзинку для бумаг, схватил ее и сунул в кварцевую сеть. В тот же миг корзина словно растворилась, и в следующую секунду погас свет. Зато тотчас откуда-то с лестницы послышалась истошная ругань миссис Мэрфи.

— Пробки сгорели, — шепнул мне Дженкинс, — чтобы провести предмет сквозь машину, требуется много энергии.

Он выглядел очень напуганным.

— Знаете, Джо, будет лучше, если она не застанет вас здесь.

Я ненавижу скандалы, а в голосе миссис Мэрфи слышались ноты, которые убеждали, что Дженкинс желает мне только добра. Взглянув в последний раз на машину (никаких признаков бесследно исчезнувшей корзинки для бумаг), я поспешил уйти.

На складе меня ожидали неприятности. Фентон решил, что я его ограбил. Потребовалась тьма времени, чтобы объяснить, почему упала цена на утил.

Последующие дни также прошли в борьбе с налоговым инспектором. Я как раз отдавал кое-какие распоряжения Лемми, когда появилась миссис Мэрфи. Ждать она не собиралась.

— Я хочу, чтобы вы убрали весь хлам из этих проклятых комнат, — с вызовом заявила миссис Мэрфи.

— Дженкинса?

— А кого же еще?

— Но я думал, что он останется у вас до конца недели.

— Теперь уже этого не случится, — мрачно сказала она. —

У меня было твердое намерение напустить на него шерифа. Вы знаете, что натворил этот человек? Колдовал с пробками до тех пор, пока не сжег все провода в доме! Спасибо еще, что не спалил дом! Сколько вы дадите за его рухлядь?

— Подождите минуточку!

Я предложил ей кресло, а сам лихорадочно обдумывал положение. Очевидно, Дженкинс возился с предохранителями не случайно. Я догадывался, что вызвало перегрузку сети.

— Вы не можете так просто распоряжаться его собственностью, — осторожно сказал я. — Как он к этому отнесется?

— Меня это не волнует, — заявила миссис Мэрфи, — он исчез.

— Исчез? — Моя догадка переросла в уверенность. — Но куда?

— Откуда мне знать? Он был дома вчера вечером, когда я отправилась в гости к моей сестре. Вернувшись, я уже не застала его.

Миссис Мэрфи плотно сжала тонкие губы.

— Если он пожелает подать на меня в суд, я согласна, но ему же будет хуже, я вам говорю. Я намерена очистить его комнату, и намерена сделать это немедленно. Так сколько вы дадите за весь хлам?

— Трудно сказать, — я пытался выиграть время. — Может, лучше перевезти все сюда и подождать немного, не вернется ли он. Если вернется, он сам заплатит вам долг, если нет, я продам все на комиссионных началах. Это оградит вас от суда да и даст больше денег.

Она размышляла с минуту, потом кивнула головой.

— Хорошо, только заберите этот мусор немедленно, иначе я обращусь к кому-нибудь другому.

— Все будет сделано, — быстро ответил я, потом спохватился. Налоговый инспектор мог вызвать меня в любой момент, но, с другой стороны, мне очень хотелось заполучить изобретение Дженкинса. Я подозревал Лемми. — Отправляйся вместе с миссис Мэрфи, — сказал я ему, — заведи машину, которую найдешь в подвале, и привези сюда.

Он кивнул.

— Хорошо. Можно ее сразу разломать?

— Боже упаси! — вскрикнул я, но тут же понизил голос: — Ни в коем случае ничего не ломай. Будь с ней очень осторожен. Просто привези ее сюда. Понял?

— Чего уж тут не понять! — Он повернулся и пошел следом за миссис Мэрфи.

Все утро я думал только об этом деле. Поэтому налоговому

инспектору не стоило большого труда расправиться со мной. Я, конечно, возражал, спорил, но он все-таки повысил налог на десять процентов. Расстроенный, я ушел на склад.

Было ясно, что произошло со стариком Дженкинсом. Он перегрузил сеть, чтобы перешагнуть в другой мир. Он уже не мог вернуться обратно и распорядиться судьбой своего изобретения. После того как я уплачу немного миссис Мэрфи, оно будет принадлежать мне, только мне!

Наконец вернулся Лемми. Раму, отсоединенную от других приборов, он поставил в конторе, а рядом свалил груды всякого электрооборудования. Я схватил горсть проводов и... тупо уставился на тринадцать концов. Я смотрел на провода. Я смотрел на клеммы. Я смотрел на Лемми.

— Да, хозяин? Я все сделал аккуратно и осторожно, как вы велели.

— Да, да, а теперь скажи мне, как были соединены эти провода?

— Что?

— Ты, мякинная голова! — простонал я. — Ты все разъединил! Какого черта!

— Я не мог увезти все в одном ящике, — недоуменно проворчал Лемми, — я ничего не сломал, не разбил, только отсоединил провода...

— Но почему ты их не переметил?! Как я теперь все это соединю?

— Я не знал, хозяин, — Лемми отошел на шаг, — я не подумал об этом. А вы разве не знаете?

Я не знал...

Вот оно, одно из самых гениальных изобретений со времени открытия колеса. Дверь в другой мир, вещь, которая могла бы сделать меня богатейшим человеком. Все, что для этого требуется, — соединить тринадцать проводов. Это просто, не так ли?

Не слишком. Тринадцать проводов можно соединить шестью миллионами всевозможных способов, и только один из них окажется правильным! Если работать непрерывно, для этого потребуется лет двести! Но я ведь должен еще есть, спать, зарабатывать на жизнь! По самому оптимистическому подсчету, уйдет доброе тысячелетие. Я не думаю, что проживу столько.

Неужели Дженкинс не мог обойтись меньшим количеством проводов?



Евгений Федоровский

ПЯТЕРО В ОДНОЙ КОРЗИНЕ

1

Когда мы изредка встречались с Артуром, нам приходила на память одна и та же сценка из нашего прошлого. Мы вспоминали родное авиационное училище, которое хоть и поманило небом, но так и не связало с ним кровным родством. Я слышу откуда-то издалека свою фамилию, произнесенную скрипучим, процеженным сквозь зубы голосом. В бок вонзается острый локоть Арка. С трудом возвращаюсь из сладкой дремы в горькую реальность. Веки горят от недосыпания, щеку жжет рубец от кулака, подложенного под голову, когда я спал. Поднимаюсь, обалдело гляжу в ту сторону, откуда донесся зов. Там сидит всклоносыый подполковник Ляшук, он же Громобой, и буравит меня ржавыми глазами.

— Милости прошу, — произносит Громобой фальшивым, ласковым тенорком.

Два наряда вне очереди мне уже обеспечены — это я понимаю еще до того, как подхожу к классной доске и упавшим голосом рапортую, что к ответу готов.

— Прекрасно! — умиляется Громобой, продолжая сверлить своими хищными буравчиками.

«К ответу готов!» — так требовалось доложить по уставу. На самом же деле я ничегошеньки не знал. Вернувшись из караула, полчаса долбил морзянку, на самоподготовке зубрил теорию полета, матчасть, навигацию, аэродинамику, выбирая, как собака из миски, сначала жирные куски, оставляя на потом черный хлеб авиаторов — метеорологию, — науку путаную, трудно поддающуюся заучиванию, вообще, по нашему разумению, бесполезную.

Другого мнения придерживался Ляшук. Он с яростью рака-отшельника, напавшего на стадо улиток, терзал наши слабые головы премудростью атмосферных фронтов и циклонов,

турбулентных потоков и всякой другой дребеденью, творящейся в небесной хляби¹.

Нахмурив белесые брови, Громобой роется в памяти, отыскивает вопрос позаковыристей. Нашел! Буравчики искрятся радостью. Громобой наклоняет голову, словно собираясь боднуть. Из стиснутых вставных зубов свистит вопрос:

— Что такое состояние окклюзии?

Я тупо смотрю на его золотой протез в щели рта. За передним столом ерзает Калистый — подхалим и отличник высказывает готовность отвечать. Но остальные смотрят на меня с веселым состраданием, радуясь, что сегодня не они, а я попал под колпак Громобоя. Подсказывать никто не решается — у подполковника уши локаторию нацелены на класс. Лишь Арик с уютного последнего ряда клацает молодыми зубами и волнообразно плаирует рукой.

— Это когда холодный воздух падает на теплую землю... (Арик от невозможности помочь закатывает глаза.) Нет! Теплый на холодную...

Краем глаза Громобой видит невразумительные потуги Арика, но кивает Калистому:

— Доложите!

Тот вскакивает и на едином выдохе отбивает с частотой ШКАСа²:

— Окклюзия — это такое состояние циклона, когда теплый воздух вытесняется холодным, смыкаются фронты... Сопровождается образованием слоисто-кучевых, кучево-дождевых, высокослоистых и перистых облаков, грозит туманами, морсью, болтаикой, грозами, обледенением!

Склоняя голову то в одну, то в другую сторону, Громобой в журнале старательно выводит Калистому пятерку, мие — двойку, Арику — тоже двойку.

— Доложите старшие о соответствующем количестве баллов.

Артур сунулся было: «Мие-то за что?!» Но вовремя умолк. Громобой, расвирепев, мог поставить единицу. О ней придется докладывать самому командиру эскадрильи майору Золотарю. А тот на расправу был скор и щедр. Лучше уж порадовать старшину. Ему меньше забот выбирать, кого из курсантов назначать в караул на аэродром, кого дежурить на контрольно-пропускном пункте — КПП, кого посылать на кухню. КПП «штрафникам» не доверят, в карауле мы уже были только что,

¹ Атмосферный фронт — переходная зона между воздушными массами с разными физическими свойствами. Циклон — область пониженного давления в атмосфере. Турбулентные потоки — беспорядочные течения воздуха с разными скоростями, температурами, давлением и плотностью среды.

² ШКАС — скорострельный авиационный пулемет для учебных стрельб.

прямая дорога — на кухню. Там станем колоть изопревшие осиновы чурки, выковыривать глазки из картошки после машинной чистки, отскребывать от подгоревшего многослойного жира котлы величиной с царь-колокол.

Ну, нет худа без добра. Мы с Артуром — не разлей вода. Бедовали и радовались вместе. Иначе хоть волком вой, хоть караул кричи.

Следующий урок метеорологии через три дня. Успеем оклематься.

Мы неинавидели метеорологию как можно неинавидеть злейшего врага. Переваливали с курса на курс лишь благодаря тому, что успевали по другим предметам, и начальнику учебно-летиного отдела, очевидно, приходилось уговаривать Громобоя ставить нам переходную тройку. Подполковник Ляшук с трудом соглашался.

Став летчиками и попав в полк, занимавшийся перегоном машин с заводов в строевые части, метеорологией мы стали заниматься еще меньше, хотя без нее не обходились. Мы научились управлять самолетом, считая это главным.

Самолет, его оборудование, приборы делали люди. Но погода не создается человеком. Она им не управляется. Ты бессилее преодолеть стихию или ослабить ее натиск. Остается единственное — изучить физические законы, управляющие ею. Знанием мы побеждаем страх. До нас по молодости эти простые истины не доходили. К их пониманию мы пришли много позже.

Общение с синоптиками ограничивалось теми минутами, когда они знакомили нас с метеоусловиями по маршруту.

Иногда непогода загоняла не на большой, главный, а на маленький запасной аэродромчик. Перечитав подшивки старых газет, обалдев от спанья, мы принимались ругать опостылевшую погоду, заодно и синоптиков, словно они были виноваты в неожиданном свалившихся циклонах, грозе, снегопадах, туманах, метелях и бурях.

Архистил синоптиков с повышенной изобретательностью. Не знал, не гадал он, что позднее судьба с мстительной памятью сделает его аэрологом.

Если метеорологию считают арифметикой, то аэрологию причисляют даже не к алгебре, а к высшей математике. Она не занимается тем, что творится под носом, а витает в самых верхних слоях атмосферы за сто — двести километров от земли, где начинают загораться метеориты, а давление измеряется сотыми долями миллиметров ртутного столба.

Вскоре в строевые части пошла новая техника. Нам предложили на выбор: переучиваться или идти в запас. Мы ушли в запас. Артур закончил геофак университета, стал работать в Обсерватории, побывал в Антарктиде и Арктике, и так преуспел, что, когда в поле зрения появилась моя грешная

персона, он считал долгом обратиться ко мне в праведника. Однажды по телефону он попросил меня срочно приехать к нему на работу. Едва поздоровавшись, он завопил:

— Ты помнишь, как мы презирали метеорологию?! Дураки! Это же не просто наука, это поэма, симфония, мудрость тысячелетий, предсказывающая грядущее!..

Артур метался по кабинету. Его очки скользили по длинному носу, взмахом руки он водружал их на место и продолжал:

— В детском лепете рождавшегося человечества погодные явления в атмосфере именовались «метеорами». Отсюда и название — *метеорология*, — последнее слово он пропел, как Эйзен самую эффектную фразу из арии варяжского гостя. — Землю спеленала газовая оболочка, точно куколку. Она дала жизнь всему. А поскольку оболочка из-за неравномерного нагрева подвержена различным направленным физическим силам, то процессы в ней сложны, многообразны и грандиозны!..

За его спиной от быстрых взмахов длинных рук тяжело, как парадные флаги, колыхались листы с диаграммами земной атмосферы.

В дверь заглянула рыженькая девушка с остреньким личиком и, удовлетворив любопытство, скрылась. А мой давний друг, ничего не замечая и не слыша, как тетерев на току, продолжал размазывать перфокарту науки, на которой, видимо, совсем свихнулся.

— Изучать атмосферные процессы, их предвидеть, использовать в хозяйстве, стронтельстве, завоевании космоса — это ли не высшая цель! — Арик рванул к шкафу, не целясь, выхватил огромный фолиант, вознес его над головой, будто собравшись швырнуть им в меня, неуча. — Возьми и думай! — Очки наконец слетели с его утинового носа.

— Весьма тронут твоей щедростью, но мои дела не настолько плохи, чтобы я брался за метеорологию, — сказал я, напыжившись.

— Ты будешь читать, — зловеще произнес Арик и опустил руку на мое плечо, будто магистр, посвящающий меня в мажонскую ложу.

В его тоне было столько уверенности, что я не удержался от колкости:

— Я ведь не трояк пришел просить...

— Все равно бы не дал. Но от дела, о каком скажу, уверен — ты не откажешься.

Я заинтересованно посмотрел в его шальные глаза. На «гражданке» я уже перебрал много специальностей и ни на одной не мог остановиться. Любопытно, что предложит он?

Начал Арик с сотворения мира. У людей есть такая страстишка: чем больше они знают, тем хуже думают об умственных способностях других. Он рассказал, как создавали наши предки

схему мироздания. Помянул Аристотеля, думавшего, что Земля окружена твердыми и прозрачными сферами, вложенными, как матрешки, одна в другую: на самой дальней покоятся солнце и звезды, носящие имена древнегреческих богов. Вспомнил Артур алхимик XIII века Люлла, который умудрился разместить звезды в 135 километрах от Земли. По его расчетам, до Луны было что-то около 23 километров, до Солнца — 70.

Потом Артур перешел к извечной мечте человека летать...

— Ни в одной области человеческих знаний не было затрачено такой массы труда, как в воздухоплавании, — разглагольствовал он. — За воздухоплавание бились астрономы и физики, лекари и акробаты, портные и фокусники. Кто такой Сирано де Бержерак Савиньен? Ты думаешь, тот несчастный влюбленный, каким его вывел Ростан? Он, между прочим, сочинял фантастические романы и за полтора года до Монгольфье описал устройство воздушного шара! Он же додумался превратить его оболочку при спуске в парашют, который изобрели лишь в начале нашего века!

Сначала я слушал Арика с интересом, но потом встревожился — друг явно заговаривался.

— Ну а если без дыма... Что ты от меня хочешь? — спросил я осторожно.

Арик дико посмотрел на меня, будто наскочил на стенку, и вскричал с отчаянием:

— Да оторвись ты от своего корыта во имя великой идеи!

— Тогда объясни толком!

Посопев, Артур терпеливо стал объяснять:

— У нас в обсерваторском эллинге хранится оболочка аэростата. На нем когда-то летал Семен Волобуй. Его почему-то и сейчас зовут Сенечка. Я хочу вдохнуть в оболочку жизнь и полететь на аэростате. Дошло?

— И хочешь взять меня?

— И Сенечку. Он болтается в сетях. Надо найти.

Я подумал: чем черт не шутит, когда бог спит? Хотел же я лет пять назад подвигнуть ребят с авиационного завода отремонтировать аэроплан Россинского, чтобы пролететь на нем до Ленинграда. Вышла, правда, неувязка. Сами бы взялись — и дело бы пошло. А начали с бумаг по начальству. Тому бумагу, другому, третьему... В бумагах и завязли. Пропал пыл. Теперь в тлеющий костерок несбывшихся надежд Артур подбрасывал вполне горячую идею — возродить воздухоплавание, найти ему современное применение, помочь науке утрясти кой-какие небесные делишки.

— Пожалуй, возьму почтять, — потянул я к себе увесистый том.

— Даю на неделю. Заодно разыщи Сенечку! — В голосе Арика звякнули начальственные нотки, но тут он понял, что для

начала лучше гладить по шерстке, добавил мягче: — Втроем мы осмотрим оболочку, если ее крысы не съели, подремонтируем, подклеим... Ну и начнем пробивать...

Артур сел, выбросил на стол костистые руки, постучал кончиками пальцев по стеклу:

— Чтобы ты мог болтаться по Обсерватории как свой, ты должен в ней работать... Кем?

— Заом,— выпалил я.

— Зам как минимум обязан иметь кандидатскую степень...

Ого! Артур, кажется, не только витает в облаках.

— Вообще у тебя есть какая-нибудь серьезная специальность?

Литературу Арик в расчет не принимал.

— А какая требуется?

Он набрал номер начальника отдела кадров.

Наверняка понадобятся уборщицы и электрики. Уборщиц мало, поскольку работа грязная. В электрики не идут — мало платят. Точно! В отделе кадров сказали: требуется дежурный электрик. Восемь суток дежурства в месяц и восемьдесят пять рублей в зубы. Электриком я тоже работал. В одном высоком учреждении была прекрасная библиотека. Допуска туда достать не мог. Устроился электриком, стал читать что хотел.

— Согласен? — спросил Артур.

— Только ради того, чтобы слетать.

В Обсерватории я не стал говорить, что худо-бедно меня кормил литературный труд. Кадровичка, изучая пухлую трудовую книжку с разносторонними наклонностями и обнаружив пробел в штатной работе, подозрительно спросила:

— Где вы были последние три года?

Потупившись, я отвел глаза и дрогнувшим голосом произнес:

— Об этом не спрашивают...

— Поинтио,— прозорливая кадровичка посчитала, что эти три года мне довелось пребывать в местах отдаленных, но, поскольку я поступал на должность материально не ответственным, поставила штамп «Принят».

Так я заделался специалистом по светильникам, конденсаторам, трансформаторам, выключателям и перегоревшим лампочкам. Старший, по фамилии Зозулин, в дежурке подвала отвел шкафчик для одежды и инструмента, проинструктировал по технике безопасности и включил в график дежурства. Вышло, что дежурить надо в первые же сутки. Потом провел к главной щитовой, куда подходила силовая линия и откуда электричество распределялось по корпусам. Он показал систему освещения в кабинетах, лабораториях, коридорах, конференц-зале. Слезали мы и на чердак, где глухо урчали электромоторы, питавшие лифты и подъемники.

Весь день я принимал заявки и бегал по корпусам, заменяя лампочки, разбитые розетки, дроссели в светильниках, наращивал провода к настольным лампам, которые после очередной перестановки столов оказывались короткими. У меня создалось впечатление, что все грандиозное электрическое хозяйство вдруг подверглось разрушению, как после землетрясения, и пришлось заново его восстанавливать.

Вечером я обошел корпуса и закутки, повывключал свет, оставленный забывчивыми сотрудниками, и вернулся в дежурку. Зозулин долго колготился, опасаясь оставлять меня одного. Я узнал, что он пришел сюда пареньком. Вместо Обсерватории на этом месте тогда располагалась воздухоплавательная школа и здесь преподавал генерал Умберто Нобиле, которого Зозулин хорошо помнил. Наконец старик преодолел себя, ушел.

Веником я стер сор с верстака, совком выгреб грязь из углов, застелил столик с телефоном и книгой сдачи-приема дежурств свежей газетой. Выключил радио. Наступила благодатная тишина. Достал том по метеорологии. Разлегся на древнем пружинистом диване.

Итак, Артур решил тряхнуть стариной, вознамерился вызвать к жизни воздушный шар. Зачем-то люди восстанавливают «снтроены» и «фордики» двадцатых годов, пересаживаются с «Жигулей» на велосипед, с бездушного трактора на верного коня... Парят на дельтаплане...

Кстати, некий пылкий итальянец при дворе шотландского короля Якова, занимаясь алхимией, по совместительству соорудил нечто подобное дельтаплану, но крылья изготовил из птичьих перьев. Попытка полета не удалась. Причиной неудачи явилось то обстоятельство, что некоторые перья оказались курьными, а «курицы» (как писала хроника) имеют большее стремление к навозу, чем к небесам».

Но когда это было — в 1507 году! А сейчас на пороге нового столетия люди чаще стали задумываться над тем, что не во всем прогресс является прогрессом, и пытаются кое-что из утерянного и порушенного вернуть, восстановить, возродить на потребу сущего и духовного.

У свободного аэростата была своя пламенная история. Идея создания аппарата легче воздуха витала в умах несколько веков. Архимед вывел закон: всякое постороннее тело, погруженное в жидкую или газообразную среду, теряет в своем весе столько, сколько весит объем жидкости или газа, вытесненный данным телом. Так что братья Жозеф и Этьен Монгольфье начинали не на пустом месте. Они знали: нагретый воздух легче холодного, поэтому и стали кленуть свой монгольфьер.

За полетом первых аэронавтов Пилатра де Розье и маркиза д'Арланда 21 ноября 1773 года следил знаменитый исследователь атмосферного электричества и один из авторов Дек-

ларацни независимости США Бенджамин Франклин. Кто-то его спросил: «Что даст человечеству эта новая затея?» Он пожал плечами и ответил: «Кто может сказать, что выйдет в будущем из новорожденного?»

Братья Монгольфье получили от короля (правда, позднее обезглавленного) дворянское звание. На своем гербе они нацртали прямо-такн пророческие слова: «Так поднимаются к звездам».

Затем в Лноне Жозеф Монгольфье соорудил шар-гигант. Он мог поднять семь человек. На нем изобретатель намеревался долететь, смотря по ветру, до Парнжа или Авиньона. Все пассажиры были высшими аристократами Францни. В толпе провожающих никто не заметил неизвестного молодого честолюбца с горящими глазами. Он страстно мечтал о полете, но у него не было надежды очутиться в числе избранных. Тогда парень забрался на забор, отделявший аэростат от публики, и в момент подъема вскочил в гондолу. Лишняя тяжесть оказалась роковой. Монгольфьер лопнул. Удар о землю был настолько силен, что Жозеф Монгольфье выбил три зуба, остальные воздухоплаватели получили вывихи и ушнбы.

Прошло несколько лет. Физик Жак Шарль предложил вместо нагретого дыма наполнять оболочку водородом. Это позволило четверо уменьшить объем. Для увеличения дальности полета Шарль применил балласт в виде мешочков с песком. Гондолу подвесил не к нижней части оболочки, а к сетке, накинутаой на оболочку,— тяжесть гондолы теперь равномерно распределялась по всему шару. Шарль сообразил сделать отверстие снизу — через него аэростат наполнялся газом, а при избыточном давлении газ улетучивался в атмосферу. Наконец он же применил якорь, чтобы цепляться при спуске и останавливать аэростат даже при сильном ветре. Такая конструкция почти в непрнкосновенности прожила более столетия.

Перед полетом 1 декабря 1783 года Этьен Монгольфье передал Шарлю записку: «Вам надлежит открыть путь к небесам».

Недалеко от привязанного аэростата стояли на кострах бочки с железными стружками. Туда лили соляную кислоту, и разогретый газ через шланги утекал в оболочку. Когда аэростат обрел форму огромного овала, напоминающую яйцо, Шарль с помощником Робером залезли в корзину, отрубили концы...

«Ничто не может сравниться с тем радостным состоянием, которое овладело мною в тот момент, когда я улетал с земли,— писал знаменитый физик.— Это было удовольствие, это было блаженство... Счастливо избежав преследование и клевету, я чувствовал, что я один за себя отвечаю и нахожусь над всеми. Это чувство морального удовлетворения сменилось затем

еще более живым чувством восторга перед величественным зрелищем, которое открылось нашим взорам. Внизу со всех сторон мы видели лишь головы зрителей, вверх — безоблачное небо, вдали — роскошные виды...»

Через два с четвертью часа аэростат спустился в сорока километрах от места взлета. Вскоре прискакали на лошадях поклонники воздухоплавания герцог Шартрский и Фиц-Джемс с англичанином Феррером. За шаром они гнались верхами.

Робер сошел с гондолы.

Облегченный аэростат рванулся в небо. Шарль упустил из виду, что уменьшение веса сильно влияет на подъемную силу. Вес помощника он не заменил соответствующим количеством балласта, и потому за десять минут взвился на высоту в три километра. Аэростат снова осветился лучами солнца, уже зашедшего для жителей окрестных городков. Однако Шарль не потерял присутствия духа. Ощутив резкую боль в ушах, появившуюся от уменьшения давления воздуха на высоте, он начал предпринимать попытки вернуться на землю. То открывая клапан и выпуская газ, то сбрасывая мешочки с песком, он пролетел более двух часов и мягко опустился на крестьянском поле.

Жак Шарль стал первым воздухоплавателем, кто сумел *управлять «игрушкой ветров»* — так прозвали тогда аэростат. Но, видимо, он был сдержанным по натуре человеком. После этого полета Шарль ни разу больше не поднимался в воздух.

Великий Гете тоже не удержался от соблазна позабавиться монгольфьерами. Не только поэт, но и прекрасный физик и естествоиспытатель, он склеил небольшой шар, который долетел до крыши Веймарского дворца.

Увлечение монгольфьерами докатилось и до России. В день именин Екатерины II 24 ноября 1783 года для потехи запустили шар, раскрашенный в яркие цвета. Воздух в его оболочке нагревался от углей в жаровне. Однако мудрая царица, памятуя о том, что ее империя не каменная, как Европа, а больше деревянная с соломенными крышами, издала указ, «чтобы никто не дерзал пускать на воздух шаров под страхом уплаты пени в 25 рублей в приказ общественного призрения и взыскания возможных убытков».

В то время в Европе гремело имя воздухоплателя Бланшара. Он проводил показательные полеты в Нюринберге, Лейпциге, Берлине, перелетел из Дувра в Кале через Ла-Манш и вознамерился блеснуть в Петербурге. Светлейший князь Александр Андреевич Безбородко, занимавший при императрице пост секретаря и фактически руководивший российской внешней политикой, написал тогдашнему послу в Пруссии графу Сергею Петровичу Румянцеву: «Ея Императорское Величество, уведомляя о желании известного Бланшара приехать в Россию, Высочайше повелеть соизволила сообщить вашему

сиятельству, чтобы вы ему дали знать об отложении такового его намерения, ибо здесь отнюдь не занимаются сею или другою подобною аэроманиею, да и всякие опыты оной, яко бесплодные и ненужные, у нас совершенно затруднены».

Лишь Александр I снял запрет с воздухоплавания. В 1803 году Россию посетил опытный аэронавт Гарнерэн. В присутствии всей императорской семьи он поднялся на воздушном шаре. Западный ветер на высоте встревожил его. Воздушный поток нес в Ладугу и глухомань заозерья.

В памяти Гарнерэна еще жило воспоминание о том, как в 24 километрах от Парнжа невежественные крестьяне, напуганные видом с неба свалившегося чудовища, расстреляли и изодрали в клочья оболочку шара. К счастью, в гондole не было аэронавта. Его непременно сожгли бы на костре как колдуна.

Гарнерэн всполошился при виде удалявшегося города и прервал полет. Позднее он оправдывался: «Я боялся залететь слишком далеко частью в рассуждении неудобства местоположений, частью же по причине неизвестности образа мыслей деревенских жителей той страны при виде толико нового и чрезвычайного для них зрелища».

Спуск прошел вполне благополучно в лесу близ Малой Охты, причем, как с некоторым удивлением вспоминал Гарнерэн, «случившиеся тут крестьяне оказали нам скорую со своей стороны помощь и не изъявили ни боязни, ни удивления, видя нас ниспускавшимися с неба».

Ну а с маэстро Бланшаром, тем, кого не пустила в Россию Екатерина II, случилось следующее: после блистательных выступлений в Европе он переехал в Америку. Завоевателям Нового света, поднаторевшим на истреблении индейцев, подавай чего-нибудь такое, что щекотало бы нервы. Бланшар впал в отчаяние и вскоре умер. Тогда его дело продолжила жена. На ее представлении азартные янки швыряли кожаными мешочками с золотым песком и палили из пистолетов. Не удовлетворившись простыми полетами, жена Бланшара решила однажды пустить из корзины фейерверк. Ракета попала в оболочку, наполненную водородом, а этот газ взрывается сильнее гремучей ртути. Несчастливая воздухоплавательница упала на крышу дома, а оттуда на мостовую... Это была первая жертва среди женщин, но далеко не последняя, поскольку необузданный и непредсказуемый нрав «слабого пола» издавна удивлял нашего брата...

Я уснул незаметно, как бы растворившись в тумане. Встрешенному предстоящими событиями, мне снились чудак в парнках и камзолах. Старорежимные дамы в одеждах римских матрон парили по воздушям, а за ними сквозь мерзопакостную окклюзию наблюдал подполковник Ляшук, он же Громобой. Перед утром приснился Сенечка. Почему-то на садовой скамье в мокром парке.

Проснувшись, я сразу же вспомнил о нем. Поискам решил посвятить этот день. До начала работы сделал обход по корпусам, выключил ночное освещение, включил, где надо, дневное. Первую наводку дал Артур: он сказал, что когда-то Семен работал в летном отделе Обсерватории. Стало быть, в отделе кадров должен сохраниться его домашний адрес. Я предстал перед кадровичкой и спросил, где живет Волобуй.

— Это еще зачем? — сердито спросила она.

— Питаю интимный интерес.

— Мы справок не даем.

— Насколько мне известно, Волобуй не из эстрадных певцов и не знаменитый писатель, скрываться от поклонников ему не к чему.

— Бросьте хамить! — одернула кадровичка.

Пришлось выкатиться несолоно хлебавши. Отпор схлопотал по собственной вине. Везде и всюду нужен подход. Не надо мешать людям быть добрыми. Собеседник нахмурился — ты улыбнись, он улыбнулся — ты расплывись еще шире.

К счастью, Волобуя помнил вахтер в проходной. Он объяснил, где тот жил раньше. С трудом, но все же я отыскал пятиэтажку, остановился у двери, собрался с духом. На меня подозрительно смотрел матовый, как бельмо, глазок. Нажал на кнопку. За толстой дверью мяукнул колокольчик. Звякнула цепочка. Проем заслонила рослая, под метр восемьдесят, женщина в тигровом халате. Ее лицо было намазано кремом.

— Семен Семенович Волобуй здесь проживает? — спросил я, придав голосу воркующие нотки.

— «Проживает», — хмыкнула женщина и посуровела. — Ночует иногда, а не проживает. Как постоялец какой-то.

Женщина распахнула дверь. В комнате было тесно от ковров и стенок, где за стеклом, как в музейной витрине, красовалась фарфоровая и хрустальная всячина.

— Вы его друг? — спросила женщина, глазами показав на унитазоподобное кресло — последний крик моды.

— Нет, но мне поручил разыскать его Артур Николаевич.

— Зачем это вдруг Воронцову понадобился Сенечка?

Я развел руками и чуть не смахнул статуэтку на подставке.

— Где же найти его?

— Он работает на «Мосфильме».

— Снимается?

— Не знаю, что уж там делает, но пропадает днями и ночами.

Теперь возникла проблема: как пробиться на «Мосфильм»? По телефону справок не дадут. Чтобы выписали пропуск, нужна уважительная причина. С кино, кроме чисто зрительского,

я никакого дела не имел. Но тут вспомнил давнего приятеля Валентина Виноградова. Он должен снимать фильм «Земляки» по сценарию Василия Шукшина. Если помнит читатель, там речь шла о сложных взаимоотношениях старшего брата, уже подпорченного городом, с младшим, деревенским. Позвонил Валентину и попал в точку. Тот как раз искал родителя этих братьев. Сфотографировали одного актера с бородой и маленькими хитроватыми глазками. Не то.

— Тебя попробуем на отца, — сказал Валентин и заказал пропуск.

Да мне хоть на Гамлета, лишь бы попасть на студию.

В проходной выдали разовый пропуск-картонку. Поплутав по темным и грязным коридорам, наткнулся на комнату съемочной группы. Какая-то цветастая дева, тяжело хлопая наклеенными ресницами, сидела — провела в павильон.

Среди строительных лесов, подпорок, пыльных задников, кабелей и юпитеров стояла деревенская изба, точнее, три стены без потолка с окнами, тюлевыми занавесками, стол с остатками еды, чашка с кутьей. Только что похоронили отца. Пылкий, взрывной Сергей Никоненко играл младшего брата. Актер был взвинчен. Предстояла трудная сцена. Он приходит с кладбища, садится на лавку — разбитый, одинокий, и тут видит приехавшего брата, запоздавшего в дороге. Должен зарыдать и произнести фразу: «Все тебя ждал. Последнее время аж просвечивал...» Сказать не просто с глазу на глаз, а через перебивку — за кадром. В кадре же должна возникнуть фотография отца на стене.

Увидев меня, Валентин покрутил шеей и крикнул кому-то: — Боря, изобрази!

Та же девица, как я понял, ассистентка режиссера, увела в костюмерную. Выцветшая и самая большая по размеру гимнастерка все равно оказалась мала, но снимут-то до пояса, сойдет и такая. Однако костюмерша огорчилась. Свое дело она исполняла ревностно: тщательно пришивала подворотничок, прикалывала гвардейский значок, медаль и орден «Славы», долго прилаживала погоны.

Фотограф Боря тоже вертел меня так и этак, менял свет, объективы, наконец щелкнул раза три и отпустил с миром.

Я вернулся к Валентину, объяснил свою цель. Но тот отрешенно посмотрел сквозь меня, пожал плечами:

— Поищи по цехам, время у тебя есть.

Я еще покурил в закутке с флегматичным Неведомским, игравшим старшего брата, и отправился на поиски Волобуя. Ход моих мыслей был таков: где в кино может подвизаться бывший летчик и аэронавт? В съемках фильма на авиационную тему. Прошел по всем корпусам, этажам и коридорам, рассматривая на временные таблички на дверях съемочных групп,

где указывалось рабочее название фильма. Думал, что картина должна именоваться не иначе как «Небо зовет», «Барьер неизвестности», «Там, за облаками» или что-то в этом роде. Похожих названий не оказалось. Стал пытаться счастья у встречаемых и курящих в отведенных для этого местах. Отвечают: Жору Буркова, Лею Куравлева, Кешу Смоктуновского знают, а Волобуй — незнаком. Посоветовали искать во вспомогательных цехах. Их на «Мосфильме» более десяти...

Вдруг где-то на задворках зашелся в треске знакомый М-11. Такие стосильные моторы стояли когда-то на «кукурузнике» ПО-2 и спортивных «Яках». Я ринулся на звук. Продравшись через декорации старинных причудливых домов, завалы отработавших свое макетов, я увидел палубу миноносца, окатываемую из пожарных шлангов. Ветер от авиационного винта хлестал по красивым лицам матросов. Угольные прожектора метали свет с яростью полуденного солнца. Около укрытых зонтиками кинокамер сутились операторы.

А в тени деревьев на дощатом помосте невозмутимо возлежал кражистый человек в синей спецовке и летиом шлеме. «Сенечка!» — бухнуло под сердцем.

Режиссер, примостившись на операторском крае, точно кулик на кочке, что-то пискнул в мегафон. Из-за рева мотора его никто не услышал, но все поняли: объявлялся перерыв. Потухли прожектора, опали водяные струи, отфыркиваясь и отжимая бескозырки, побежали в бытовку матросы-статисты. Сенечка не спеша поднялся с ложа, перекрыл крапик беззобака, мотор сердито пульнул сизым дымом и заглох. Деревянный пропеллер, обитый по кромке стальной полосой, пружинисто остановился.

— Через десять минут дубль! — наконец прорезался режиссерский мегафон. Край опустил свой хобот, ссадив оператора-постановщика и режиссера на землю.

По виду никак нельзя было определить возраст Сенечки. Ему можно было дать и тридцать и пятьдесят. На плоском загорелом лице совсем не было морщин. Одна кустистая бровь высоко поднималась над другой, придавая лицу насмешливо-удивленное выражение.

— Здравствуй, Сеня, — поздоровался я, приблизившись.

— Привет, коль не шутишь, — ответил он, сисяя понять, где мог со мной встретаться. — Ты как меня нашел?

— Дома был.

По лицу Сени пробежала тень.

— Так ты ветер здесь делаешь?

— Бесценный человек, — многозначительно поднял палец Сенечка. — Скучный кадр без воды, без бури. Заболеет режиссер, все равно снимут, я исчезну — заменить некем.

— Тебя Артур Николаевич ищет...

Эта весть, неизвестно почему, сильно встревожила Сенечку. Лицо его посветлело, он заморгал быстро-быстро:

— Зачем, не сказал?

— Хочет лететь на аэроплане.

Сенечка выхватил из кармана сигарету, ломая спички, прикурив. Сигарета оказалась с дыркой, швырнул ее в кусты, торопливо достал новую.

— И меня, конечно, вспомнил? Я ведь один остался из летавших.

Он ловко сбросил спецовку, надел брюки, пиджак.

— А дубль?

— Черт с ним, едем к Артуру!

— Он велел прийти завтра.

Сеня разочарованно затоптался на месте, еще раз внимательно посмотрел на меня и вдруг вскрикнул:

— А-а, вот где я тебя видел! У Артура на фотографии! Вы вместе снимались, когда были курсачами.

— Ну а я о тебе слышал не только от Артура.

— Были времена...— Сенечка опять влез в свой комбинезон, открыл краник подачи топлива, подсосал бензин в карбюраторы.

Операторская стрела снова вытянула хобот.

— Внимание массовке! — загрохотал режиссерский мегафон. — Сейчас пиротехник сделает небольшой взрыв. Больше прыти! Вы в бою!

Рабочие поставили свет, ассистенты оператора замерили расстояния от камер до объекта съемки. Грумерши с картонными коробками подмазали грим, костюмерши подправили бушлаты, бескозырки...

— Что снимают? — спросил я Сеню.

— «Моозуид».

Сеня застыл у своего аппарата, как спринтер на старте. В руках он держал резиновый амортизатор, накиннутый на конец пропеллера.

— Ветер, Сеня!

Он рванул амортизатор на себя. С чохом взвыл двигатель, готовый слететь с моторной рамы. Тугая струя горячего воздуха разметала водные струи из брандспойтов.

— Мотор!

Хлопнул взрыв-пакет, выбросив ядовито-белое облако. По жестяной палубе заматались матросы, разбегаясь по своим постам. Тяжело заворочался задник с грубо намалеванным свинцовым небом и морем, создавая иллюзию штормовой качки.

Сеня забыл надеть шлем. Ветер растрепал волосы — не то пегие, не то седые, и в этот момент я подумал, что он тоже из лихого племени флибустьеров, которые еще не перевелись на земле.

После съемок мы зашли в павильон, где Валентин Виноградов работал с эпизодом встречи двух братьев. На декоративной стене в обрамлении черной ленты уже висел мой портрет: в расстегнутой гимнастерке, с простецкой ухмылкой в победном сорочке пятом.

3

Я заступил на дежурство и на другой день, решив накопить побольше отгулов. Сенечка появился в нашем подвале чуть свет. Вскоре пришел и Артур. Мы отправились на окраину бывшего летного поля, теперь заросшего лопухами, осотом, викой. Там за кладбищем использованных баллонов, бочек и разбитых самолетов стоял похожий на зерносушилку эллинг. Подходы к нему ограждала колючая проволока.

Распугав ораву одичавших котов, мы сбили с дверей окаменевший от ржавчины замок и вошли в гулкую, сумеречную пустоту. Тленом веков дохнуло на нас. Стекла окон наверху были целы, но пропускали мало света от плотных наслоений пыли. Сюда не задувал ни ветер, ни снег — было сухо, как в пирамиде Хеопса. Вдоль стен тянулись стеллажи из потемневших досок. На них лежали бухты веревок и тросов, связки деревянных блоков — кневеков. Рядом стояли банки с олифой и краской, мастикой и клеем. Сверху посреди зала свисала цепь подъемной лебедки. Сеня потянул ее, зазвенели стальные звенья. По рельсам наверху побежали катки. Испуганию заметалось эхо под крышей. Тяжелой рысью промчался по доскам жирные коты. Эти звери, видно, рождались тут, росли, размножались, непонятно что ели, но явно не бедствовали, проживая дерзкой и дружной коммуной.

Под огромным брезентовым чехлом покоилась серебристая оболочка аэростата. Мы стянули брезент, взвихрив тучу пыли.

— Она, родная, — с волнением прошептал Сенечка.

В клубке спутавшихся веревок сетки он нашел металлическое кольцо клапана, привязал к крюку подъемника и стал быстро перебирать цепь руками. Прорезиненная шелковая оболочка, как бы просыпаясь от долгого сна, медленно вытягивалась ввысь, низвергая с себя потоки пыли, талька и алюминиевой краски. Ее верх достиг потолочных балок эллинга. Сеня застопорил подъемник, по пожарной лестнице поднялся туда же. Балансируя, как канатоходец, прошел по рельсам, проложенным под опорными балками, и закрепил оболочку в подвешенном состоянии. На первый взгляд она совсем не пострадала. Спасли ее, наверное, вездесущие кошки, вытесненные из деревенских домов новостройками Подмосковья и разогнавшие обитавших здесь мышей и крыс.

Основные ворота эллинга раздвигались с помощью элек-

тромотора. Минувя подсобку, мы прошли в небольшую, но довольно просторную мастерскую. Добрые люди, конечно же, растащили инструмент полегче, раскурочили фрезерный и токарный станки, однако снять тиски, уволочь наковальню они не смогли. Молча мы опустились на побуревшую скамью. В глазах все еще стояла могучая оболочка, вытянувшаяся вверх.

— Не уверен, что эта хламида может полететь, — наконец подал голос Артур.

— Захотим — полетит, — резонно заметил Сенечка, кажется, он обиделся за уничижительную «хламиду». — Добудем компрессор, накачаем покрепче, узнаем, где утка, и поставим заплаты...

Артур раскрыл блокнот:

— Давайте составим список дел, прикинем сроки, стоимость.

— Ну, для начала надо узнать, на чьем балансе висит вся эта авионика, — сказал я, кивнув в окружавшее пространство.

— Сам шар дважды, не то трижды списывали! — загорячился Сеня.

— И все же лучше уточнить. Ничейный — еще не значит: наш.

— Это я узнаю, в архиве меня должны помнить!

— Я займусь организационной стороной, — проговорил Арик.

Мне же предстояло протянуть в эллинг кабель, восстановить электричество, привести в порядок растерзанные станки, потом присоединиться к Сенечке в ремонте оболочки и такелажа.

— Ему тоже надо какую-то должность, — посмотрел я на Артура, в котором впервые мы почувствовали командира.

— Пойдешь сантехником?

— Да хоть домовым! — воодушевленно ответил Сеня. — Виолетту ставлю на диет-т-ту, объявляю вегетарианский месяц!

— А кино?

— Ухожу в бессрочный! Пусть штяляют! Ветер нам понадобится на небесах!

— Главное, товарищи-новобранцы, никого не посвящать в наши дела до поры до времени. Иначе задавят в зародыше, наплюют и растопчут. Научное обоснование к полету дадут Гайгородов, Комаров, Балоян. Они из зубров — помогут!

Артур был прав. Все делать самим. По горькому опыту мы знали: подключим организации — задушат накладными расходами, завалят бумагами, растащат весь пыл на доделки, согласования и, в конце концов, погубят здоровое начинание. Будем рыть каждый свою норку как кроты. Ну а уж потом поглядим — под чье начало подвеситься. Не получится с Обсерваторней, подключим спортивные организации — запустил

в небо аэростат, и те, кто готовится стать парашютистом, пусть прыгают с гондолы — без всякого расхода горючего и моторесурса. Короче, не мытьем, так катаньем, но вытащим аэронавтику из небытия.

— Кстати, где гондола? — встревожился Артур.

В поисках гондолы наткнулись в эллинге еще на одну дверь. Ее запирала пластина из рессорной стали и амбарный замок, который был в ходу у простодушных лабазников. Пришлось сбегать за ножовкой в свой подвал. По дороге я заприметил трансформаторную будку. Оттуда к эллингу должен идти кабель. Надо спросить Зозулина — убрали его или нет, когда списывали эллинг с баланса. Старик должен помнить. Сталь у замка оказалась кованой, современное полотно ножовки садилось быстро. Долго ли, коротко ли, но замок одолели, монтировкой разогнули скобу. Распахнули дверь. Тесный бетонный коридорчик уводил под землю к еще одной двери, однако не такой уж прочной. Справившись с ней, мы обнаружили склад. Кто там был в последний раз? Гайгородов, знаменитый воздухоплаватель Зиновьев, аэронавт Полосухин или еще кто из старых пилотов? Ясно одно, кто бы то ни был, но уходил отсюда с надеждой, что объявятся новые сумасброды, которые попытают счастья, как и они, вернуться к свободным полетам на воздушном шаре.

На стеллажах торпедными головами лежали баллоны, обильно смазанные тавотом. Баранками висели связки запасных блоков, карабинов, колец. Удавом темнел толстый гайдроп¹. Было и два якоря, похожих в полумраке на камчатских крабов. В одном из ящиков были упакованы брезентовые мешочки для балласта, в другом — покрытые металлической стружкой экраны-флюгеры для пеленгации.

А в углу стояла целехонькая новая корзина, переплетенная для большей прочности парашютной тесьмой. Она была рассчитана на троих. Сенечка легко вспорхнул в нее и долго возился там, точно наседка в гнезде.

— Она, милашка, — подал он голос минуту спустя, затем вылез из гондолы, уселся на бухту гайдропа. — Основа для оснащения аэростата есть. Можно что-то подклеить, покрасить, испытать на прочность. Но одного существенного механизма я не заметил. А он был у нас. И, представьте, работал.

Артур вопросительно взглянул на него, но Сенечка озираясь по сторонам и молчал.

— Не тяни за хвост! — не выдержал Артур.

— Нет компрессора!

— Стоп! — Артур наморщил лоб. — Год назад для подстанций рыли котлован и какой-то компрессор потрескивал.

— У рабочих мог быть свой компрессор.

¹ Г а й д р о п — веревочный канат для облегчения посадки аэростата.

— И все же сходим туда. Вдруг...

Когда мы закрыли двери и собрались уходить, всем сразу пришла одна и та же мысль: а кто будет охранять найденные сокровища? Увидев движение у заброшенного эллингa, обсерваторцы просто любопытства ради растащат все оставленное для нас неведомым капитаном Немо. А в наше время обыкновенный пенковый конец найти трудней, чем электронно-вычислительную машинку. Если оформить Волобуя, скажем, не сантехником, а сторожем, то надо пробивать через начальство дополнительную должность, хоть и копеечную, не обременительную для многомиллионного бюджета, но ощутимую в глазах всевидящего контрольно-финансового ока. Придется брать на баланс все хозяйство, назначать комиссию, которая провозится с пустяковым вопросом не меньше месяца. Так что идея со сторожем отпала. Пусть Сенечка идет в Обсерваторию сантехником. В крайнем случае я подменю его.

Сеня извлек из своего кармана припасенный кусок пластилина и на всех дверях поставил пломбы, тиснув обычным пятакoм. Случалось, такие пломбы держали крепче любых запоров.

Компрессор мы обнаружили там, где рыли котлован. В бурьяне неподалеку валялся автомобильный мотор от него. Все, что поддавалось ключу и молотку, было отвернуто, согнуто, обворовано. Но уцелели остои, блоки, маховики. Короче, был скелет, на котором мы полегоньку-помаленьку нарастим мясо. Кто дерзает, тот живет!

4

Без раскачки, по-авральному мы взялись за работу. Сенечка сумел оформиться переводом, поклявшись при надобности откликнуться на зов искусства. Я сбегал в хозяйственный магазин, купил замки и повесил к пломбам для надежности. Улучив момент, когда старик Зозулин после обеда впал в блаженное сомнамбулическое состояние, я навел его на приятные воспоминания. В войну ополченцем старик служил в противовоздушной обороне, получил медаль, когда какой-то нахальный гитлеровский летчик на бреющем срезался на трoсе аэростата, расчетом которого командовал Зозулин. Хотя я работал четвертый день, он успел уже дважды рассказать эту историю, однако я выслушал ее со всем вниманием и в третий раз, а потом перевел разговор на эллинг.

— Ну, как же! — Зозулин надул щеки. — Здесь делали аэростаты «СССР» и «Осоавнахим»...

— Туда кабель проходил?

— Он и сейчас есть.

— Где?!

— Должен идти от трансформаторной.

Я помчался к будке и обнаружил отсоединенный конец кабеля, замотанный изоляционной лентой, как культяпка. Потом нашел ввод в эллинг.

Обесточивание провода подвел к рубильнику. Вооружившись перееноской, кусачками и отверткой, вернувшись к трансформаторной будке и, прозвонив концы, подсоединился к сети. Опять побежал к эллингу, а это побольше километра, сунул провода переноски к клеммам — вспыхнула лампочка. На всякий случай поставил новые предохранители, надел резиновые перчатки и рванул рукоятку рубильника вверх. Эллинг озарился огнями.

Отныне у нас появилась своя крыша над головой. Сейчаска, кажется, даже собрался переселяться сюда со всеми манатками. Однако какое-то дурное предчувствие удерживало его от этого шага. На меня же дома давно махнули рукой — я бродил и ездил, выискивая самые глухие места.

Работа в научных учреждениях имела одно весьма ценное преимущество. Хозяйственные организации более или менее централизованно, даже планоно, вывозили металлолом и другую заваль. Обсерватория же за пятьдесят с лишним лет существования обросла свалками, как корабль ракушками. Не выходя за пределы территории, мы набрали все недостающие детали для станков, мотора и компрессора. Сначала заработал токарный ДИП, помпивший лихие времена периода реконструкции, потом присоединился к нему флегматичный фрезер. А уж на этих-то агрегатах мы смогли бы сварганить не то что мотор, а орудие любой системы и даже танк.

Осветившийся и подававший звонкие производственные шумы, эллинг привлек внимание разногo люда Обсерваторий — умельцы были в каждом отделе и всегда кому-то что-то было надо. На заросших тропинках мы выставили трафаретки: «Посторонним вход воспрещен!» Но эти таблички возымели обратное действие: К эллингу шли уже не только страждущие, но и любопытные. Сейчаска бесился.

И вот однажды он приволок огромную образину, имевшую дальнее родство с мохнатой кавказской овчаркой, пегим догом и рыжим боксером. От разноликих предков эта собака унаследовала самые отвратительные черты. Мало того, что она была страшиа, как собака Баскервиль, — она много жрала, опустошая наши съестные запасы, гоияла котов, вызывая их яростные вопли.

Но у нее было и достоинство. Она *отпугивала*. Завидев человека, размахтавшегося разжиться у нас какой-нибудь деталькой, она мчалась ему навстречу, оскалив пасть, высунув лоскут красного языка и не издавая лая. Она взвизывалась на дыбки перед обезножившим от неожиданности и страха страдальцем и клала клыками, точно капканом. Не в силах сбавить скорость,

псина описывала длинную петлю для повторной атаки. Этого мгновения хватало человеку, чтобы выпасть из обморочного состояния и сообразить, что делать дальше.

До преследования жертвы пес не опускался. Вскинув ногу, он сердито делал отметку на границе своих владений и отбегал на облюбованный им взгорок, откуда хорошо просматривались подходы к эллингу.

Чтобы узаконить для него это место, мы соорудили будку. Оставалось дать ему имя. Мы заранее отказались от разных «джеков», «рексов», «джимов». Требовалось простое и звонкое, но которое бы подходило к физиономии пса.

Из затруднения вывел Артур. При виде нашего командира у безродного пса обнаружился еще один изъян. Он оказался подхалимом. Уж не знаю, что иначальственного учуял пес в тощей фигуре Арика, но он выскочил из своего логова с радостью, с какой эскимос встречает луч солнца после полярной ночи. Барабанио забил хвостом, выколачивая блох, подал голос — скрипучий, иутряной, чуть ли не блеющий.

— Митька, — Артур потрепал загривок увивавшегося у его ног пса и воззрился на нас, остолбеневших от этой сцены.

— Ты знаешь эту собаку? — иаконец спросил Сенечка.

— Первый раз вижу.

— А откуда кличка?

— А разве он иа Митьку не похож?

— Но ведь этот террорист вогнал в страх всю Обсерваторию!

— Мне уже жаловались и грозились...

— Тогда почему он тебя не съел?!

— Потому что, в отличие от вас, у него развито чувство субординации.

Так пес обрел имя. Чуть позже мы полюбили его. В собащем роду он прослыл бы умицей. Митька признавал только нас троих. Очевидно сообразив, что кошачья стая тоже имеет какое-то отношение к эллингу, он смирился и с кошками. А когда мы поставили его на скромный, но по-солдатски сытный рацион, он перестал сжирать наши бутерброды. Разгладилась, маслянисто заблестела шерсть. У него даже появилась благородная осанка, а морда приобрела выражение значительности, как у метрдотеля. Вот что значит, когда собака чувствует себя при деле!

Потихоньку мы перебрали мотор, завели его и, поставив на обкатку, взялись за компрессор. Он был хотя и старой конструкции, но довольно мощный. Три тысячи кубов мог накачивать минут за двадцать. Нам важно было надуть оболочку, проверить крепость швов и поставить заплаты там, где мог вытекать газ. А уж потом заняться покраской. Осматривать ее решили при помощи люльки, подвешенной к балке под крышей эллинга.

Артур тем временем начал сколачивать группу энтузиастов авиации, чтобы ломиться в дверь к начальству не в одиночку, а дружной единомышленников. Среди ученых оказались люди, сами летавшие на аэростатах. Их не надо было убеждать. Они впадали в состояние эйфории, вспоминая святую молодость, и обещали всяческую поддержку. Особенно ценными оказались советы Гайгородова, старого аэролога, воздухоплователя, спартамца-полярника. Маленький, подвижный, с добрым, истинно русским лицом и веселыми морщинками вокруг глаз, Георгий Михайлович отвел Артура в уголок и сказал:

— Вам надо продумать основные проблемы нынешней метеорологии. Их накопилось вагон и маленькая тележка. Лакмусовая бумажка — повсеместное повышение углекислого газа в атмосфере. Заводы, нефтепромыслы, теплостанции вносят свою долю калорий в общее потепление климата. Отсюда прогрессирующее количество ошибок в долгосрочных прогнозах, отсюда возникновение непредсказуемых катаклизмов в природе.

— Это слишком огромная задача... — смешался Артур.

— А вы дерзайте! Чем смелее проект, тем легче пробить его в жизнь. Каждый отдел отдаст вам свой круг проблем. Мы их обобщим на ученом совете и составим проект письма в высшие сферы.

— Не рано ли?

— Бонтесть, ошпилют, пока не обросли перьями? — прищурился Георгий Михайлович. — В последний раз я летал на аэростате двадцать пять лет назад. Не все удалось использовать в статьях, но записи я сохранил. Даже если вы проведете исследование по моей программе, то сразу увидите разницу в показаниях. Данные за четверть столетия наведут на серьезные размышления. Помните девиз на гербе Монгольфе?

— Си итур ад астра...

— Вот и поднимайтесь к звездам. Пора!

5

Шесть тысяч лет назад вавилоняне уже записывали на глиняных дощечках приметы. Цветное кольцо вокруг солнца, например, предвещало дождь. Наблюдали за погодой древние индусы, китайцы, египтяне.

В Элладе на людных площадях выставляли особые календари, где указывали направление и силу ветра. Прежде чем выйти на свой промысел, мореходы и рыбаки посылали на площадь мальчишек.

Отменные тресколовы с Фарерских островов, расположенных в 250 милях к северу от Британии, перед выходом в море смотрели, как ведут себя овцы. Если животные мирно щипали траву, фаререц смело отправлялся на лов. Но если они лежали,

вытянувшись цепочкой, то следовало ожидать шторма с той стороны, куда были обращены их головы. Низкорослые, коротконогие, как таксы, фарерские овцы на продуваемых свирепыми атлантическими ветрами островах не только давали людям шерсть и мясо, но еще служили и как барометр, изобретенный лишь в XVII веке.

Знаменитый математик Леонард Эйлер, наблюдая за полетом воздушного змея, заметил: «Воздушный змей, детская игрушка, презираемая учеными, может дать повод для глубочайших умозаключений». Это высказывание в полной мере можно отнести и к воздушному шару. Первые же полеты на монгольфьерах неспроста встревожили образованный мир. Атмосфера стала предметом пристального изучения.

Чем выше поднимались аэростаты, тем острее вставал вопрос о влиянии высоты на человеческий организм. Путь наверх преградили не только адский холод, но и кислородное голодание.

В 1862 году английский метеоролог Глейшер и его спутник Коксвель достигли огромной по тем временам высоты — 8830 метров. Но этот полет едва не стоил им жизни. Задохаясь в разреженной атмосфере, Глейшер потерял сознание. А Коксвель, обморозив руки, с трудом дополз до клапаниной веревки. ухватился за нее зубами и выпустил из шара водород.

В апреле 1875 года аэронавты Тиссандье, Кроче-Спинелли и Сивель пошли в полет, запасшись тремя мешками воздуха с кислородом. Была ясная, солнечная погода. Аэростат «Зенит» достиг высоты 7 тысяч метров. Термометр показывал минус десять. На экипаж напала сонливость.

Поднявшись еще на пятьсот метров, Сивель с усилием спросил Тиссандье: «У нас еще много балласта, может, сбросить еще?» — «Как хотите», — ответил Тиссандье. Сивель обрезал три мешочка с песком. Аэростат быстро пошел вверх.

Сначала воздухоплаватели потеряли способность двигаться, затем впали в бессознательное состояние.

Очнувшийся на мгновение Тиссандье нацарапал в бортовом журнале показания барометра — 280 миллиметров, что соответствовало восьми тысячам метров высоты. Потом пришел в себя Спинелли. Он разбудил Тиссандье, но тот не мог ни двигаться, ни говорить. Заметил только, как Спинелли выбросил балласт (тот тоже был в полубессознательном состоянии), и снова потерял сознание.

Придя в себя, Тиссандье попытался растормошить спутников, но у тех лица были черные, изо рта текла кровь. Шар падал. До аэронавта дошла вся угроза опасности. Он выбросил балласт. Корзина с силой ударилась о землю. Ее поволокло ветром, но потом оболочка зацепилась за дерево и распоролась.

Гибель Сивеля и Кроче-Спинелли еще раз напомнила лю-

дям, что у границ неведомого всегда подстерегает смерть. Потрясенные французы соорудили аэронавтам прекрасное надгробие, которое до сих пор стоит на кладбище Пер-Лашез. Гастон Тиссандье утверждал, что от слабости его товарищи вырвали изо рта трубки кислородных подушек и погибли от нехватки воздуха. Он же спасся лишь потому, что, придя в себя, снова дотянулся до кислородной трубки.

Еще больший научный эффект в воздухоплавание принесла фотография. Изображение земли с высоты птичьего полета, города, реки, фермы, снятые с непривычного ракурса, размножались в тысячах открыток. На снимки смотрели так же, как мы разглядываем свой круглый голубой дом, сфотографированный из космических далей. Стало возможным запечатлевать и многообразные формы облаков, и рождение циклонов, вихрей и атмосферных фронтов.

В 1880 году благодаря стараниям великого Менделеева, при русском техническом обществе был создан отдел воздухоплавания. Предвидя большую будущность воздушных шаров в исследованиях атмосферы, Менделеев утверждал: «Придет время, когда аэростат сделается таким же постоянным орудием метеоролога, каким ныне стал барометр».

Однажды ученый сам поднялся выше облаков, чтобы увидеть солнечное затмение. Его должен был сопровождать пилот, но в последний момент оказалось, что шар не сможет подняться двоих. Выслушав торопливое объяснение принципа полета, Менделеев полетел один и справился с управлением аэростата как заправский воздухоплаватель.

Обдумывая служебную записку, Артур намеревался изложить эти сведения. Они поистерлись в памяти стариков, а у молодых, нацеленных только на метеорологические ракеты и спутники, наверняка вызовут снисходительную насмешку: «Вы бы еще прашой да в небо...» Но каждый запуск ракеты — это выстрел чистым золотом. Огромный расход не всегда оправдан и полностью не дает того, что требуется метеорологии. Нет, молодых надо сразить чем-то другим...

Истории был известен парадокс. Он связан с именем Феликса Турнашона, человека хлесткого пера, взрывного темперамента и острого ума. Под своими статьями Феликс ставил загадочную восточную подпись: «Надар». Он выдвигал идею управляемого, или динамического, как тогда писали, полета. Чтобы победила новая идея, надо расправиться со старой.

«Причиной того, что в течение многих лет все попытки достижения управления аэростатами гибнут — является сам аэростат. Безумно бороться с воздухом, будучи легче самого воздуха», — написал Надар первый удар по аэронавтике в одной из влиятельных парижских газет.

Не удовлетворившись реакцией поклонников воздухопла-

вания, Надар в 1863 году издал «Манифест динамического воздухоплавания», в котором предлагал использовать мотор, как бы предвещающий самолетную и вертолетную эру. Он добивал приверженцев свободного полета дерзкими и чувствительными, как кувалда, ударами:

«Аэростат навсегда обречен на неспособность бороться даже с самыми ничтожными воздушными течениями, каковы бы ни были те двигатели, которыми вы его снабдите».

«По самой своей конструкции и в силу свойств той среды, которая его поддерживает и несет по своей воле, для аэростата исключена возможность стать кораблем; он рожден быть поплавком и останется таковым навеки».

«Подобно тому, как птица движется по воздуху, будучи тяжелее его, так и человек должен найти для себя в воздухе точку опоры».

«Винт! Святой винт должен в ближайшем будущем поднять нас на воздух, винт, который входит в воздух, как бурав в дерево».

Из моторов практически надежно работал в то время только паровой. Для постройки геликоптера с паровым двигателем требовалось много денег. Меценаты не рисковали. Прижимистые богачи не хотели идти на явную, по их мнению, авантюру. Народ безмолвствовал. Тогда пылкий Надар неожиданно объявил, что он нашел способ добыть средства. Он решил построить «Гиганта» — последний, по его словам, воздушный шар. С одной стороны, он рассчитывал, что жадная до зрелищ толпа даст ему колоссальные сборы, с другой же — надеялся, что своим могикинством он окончательно убьет интерес к аэростатам.

На воздушный шар деньги нашлись. На средства, собранные по подписке, Надар построил шар с гигантской оболочкой. Гондола имела вид закрытого домика с окошками наподобие наших прорабских. Она могла вместить до сорока человек. «Гигант» поднялся вечером 18 октября 1863 года. К утру он уже плыл над Бельгией. Ветер крепчал. Когда взошло солнце, быстро нагревавшийся шар понесся вверх. Надар не решился испытывать судьбу, стал травить газ через клапан. Спуск превратился в падение. Корзина-дом стукнулась о землю и, делая скачки, понеслась по тверди, гонимая бурей. Остановить бешеную скачку якорями воздухоплаватель не мог. Аэростат мчался по лесам, пашням, перескочил железнодорожное полотно, оборвал телеграфные провода... Пассажиры стали выпадать из домика один за другим. Последними остались Надар и его верная жена. Наконец оболочка повисла на сучьях старого дуба...

Но вот какой парадокс удивил нашего Артура, когда он вспомнил о дерзновенном французе. Вместо того чтобы отвлечь людей от аэронавтики и увлечь их смелой проблемой механического полета, Надар гибелью своего «Гиганта» под-

хлестнул интерес к воздухоплаванию. Аэростаты вдохновили и великого фантаста Жюль Верна, засевшего за роман «Пять недель на воздушном шаре».

...Пока наш ученый друг вел дипломатические переговоры с отделами, уламывал сопротивляющихся, раззадоривал скептиков, вдохновлял нерешительных, мы тоже не чаи гоняли. Надули оболочку и сразу нашли несколько проколов. Сенечка жирным фломастером отметил места, требовавшие ремонта. Мы зачищали прорезиненную ткань мелкой металлической щеткой, напильником и шкуркой, обезжиривали ацетоном, накладывали лист сырого каучука с шелковой тканью и приваривали заплату утюгом с тысячеваттной спиралью. Каучук постепенно плавился, навек срастаясь с оболочкой.

Убедившись в отсутствии посторонних на вверенном участке, прибежал в эллинг Митька, ложился у порога, клал безобразную морду на вытянутые лапы и кроткими, виноватыми глазами смотрел на нас, работавших, как бы говоря: «Я и рад бы помочь, но не мое это собачье дело».

Самый наглый из молодых котят — Прошка; который, в отличие от других, сам давался нам в руки, приблизился к псу, нервно поводя хвостом и на всякий случай выгнув спину. Его подмывало познакомиться с Митькой, но звериный язык жестов, повадок, взглядов во многом разнился у них, как и у людей, скажем, центральноафриканского племени Або и чистокровных оксфордцев. Однако пес по каким-то ужимкам понял, что у маленького пройдохи чистое сердце. Он лениво шевельнул хвостом: валяй, мол, дальше. И Прошка уселся прямо перед огромной пастью Митьки, бесстрашно соорив равнодушную мину на усатой мордашке. Пес ткнул его языком, согласный на мирное сосуществование.

На ремонт оболочки ушла неделя. Не скажу, что она была легкой. В те моменты, когда надо быть в эллинге, в туалетах административных учреждений не срабатывали бачки; текли краны; гудели дроссели, содрогая кожуха дневных светильников, нервируя сотрудников; какой-то обормот сжег кипятильник из тех, которыми нелегально пользовались все отделы, отчего вырубилась розетка правого крыла главного корпуса; подошло время регламентных работ с электродвигателями.

Пыхтел недовольно Зозулин, так возмущаются пенсионеры при виде лихой молодости. В электричестве кое-что он мог бы устранить и сам, так нет! Получив заявку, он названивал в эллинг, куда мы провели телефонную времяюку, и, не скрывая злорадства, гудел в трубку:

— В химлаборатории лампа замигала. Надо заменить...

— Ну так замените. Возьмите запасную, поднимитесь в лифте на третий этаж и вставьте!

— Я не дежурный электрик.

— Ну вы же, Григорьевич, понимаете, не бежать же мне из-за такой ерунды километр от эллинга и обратно?!

Зозулин все понимал. Но его тяготило одиночество, приближающаяся дряхлость, когда накатывает горькое сознание, что ничего из прошлого уже не вернешь. Вот и зловредничал.

Однажды, ожесточившись, я пригрозил в новой книжке вывести отрицательного типа под его фамилией.

— Но у меня внуки, правнуки! — заволновался Зозулин.

— Они будут стыдиться вас, и в школе все станут дразнить ваших зозулят.

Я уж и сам не рад был, что сморозил такую глупость. Я не предполагал, что в непорочной зозулинской голове в одно мгновение пронеслось несколько вариантов отпора на мой злостный выпад. Пожаловаться в профком? Но я не стою там на учете, поскольку принят на временную работу. Обратиться к начальству? Засмеют. Нет факта, вещественного, так сказать, доказательства. Приструнить милицией? А за что? Я не хулиган и не пьяница. Как ни крутил, а оказался наш Зозулин без защиты. Он, счастливый, не знал, какие муки претерпевают авторы, пробиваясь через издательские тернии к читателю. Он простодушно верил в могущество печатного слова. И потому ему стало страшно.

— Не надо! — с баса он сорвался на петушинный дискант. — Не губи!

— Тогда не зловредничайте, — мстительно проговорил я. — Мы же не только для себя стараемся — для науки! Вы когда-то здесь один справлялись. Встряхнитесь! Вспомните молодость! Энтузиазм!

6

— Дурачок, ведомо ли тебе, Зозулин пинком распахивает дверь в кабинет директора? — вспылл Артур, узнав об инциденте.

— Но Зозулин прекратил звонки!

— Зозулин сейчас звонит в другие места!

Однако старик, сам того не осознавая, с шаткой почвы мечтаний поставил нас на твердый фундамент реальности.

Наша Обсерватория не отличалась от любой другой конторы. Слухи о таинственных делах в некогда забытом эллинге поползли по коридорам, как струйка угарного газа. От незнания рождались легенды. Предположения высказывались разные. «Самогон гоият, мерзавцы», — говорили одни. «И продают в неурочное время по десятке за бутылку», — добавляли другие. «Не знаю уж что, но химичат налево», — заверяли третьи. «Говорят, клад ищут, Сенечка, в бытность аэронавтом, там его зарывал» — «Тогда зачем мотор, станки, свет?»

К чести сказать, разговоры велись пока в низах, в среде, так сказать, обслуживающего персонала. На этажах повыше, среди младших научных сотрудников, помалкивали. Там своих забот хватало. А старшие сотрудники, среди которых орудовал Артур, попросту выжидали, чем дело кончится, когда докладная дойдет до начальства.

Зозулии, представляя нижний эшелон, тем не менее был вхож в высший, как заслуженный солдат к генералу. Нынешнего директора Виктора Васильевича Морозейкина он знал еще с тех давних времен, когда тот проходил студенческую стажировку.

Но кроме Зозулина, подвальных тружеников связывал с дирекцией подвижный зам по хозяйственной части Стрекалис. Дважды он пытался совершить внезапный налет на эллинг, но был обращен в бегство нашим Митькой. А поскольку все, что крутилось, светилось, двигалось, самообеспечивалось и самоустраивалось, попадало под его начало, то Марк Исаевич усмотрел в наших беднях нечто незаконное, хищническое. Исподволь набравшись разных слухов, он ринулся к Морозейкину. В кабинете в это время Зозулии чинил селектор. Стрекалис выпалил сведения директору. Член-корреспондент в буквальном смысле витал в облаках, не спускаясь на грешную землю, и, конечно, оробел. Тут-то и подал голос Зозулин:

— Аэростат они делают, а не самогон варят.

Морозейкин недавно что-то слышал об аэростате от Гайгородова, но значения не придавал, посчитав вопрос далеким, как следующая пятилетка. Оказалось же, что он стучался в дверь.

— Кто взялся за проблему? — спросил смутившийся Виктор Васильевич.

— Воронцов. И с ним Волобуй и новенький.

— Я не слышал о таких сотрудниках.

— Они оформились времени — один сантехником, другой электриком.

Морозейкин озадаченно почесал кончик носа. Он дождался, когда Зозулин подсоединил клеммы и водрузил на место кожух, нажал на клавишу аэрологического отдела:

— Артур Николаевич? Прошу ко мне!

Уж не знаю, о чем говорил директор с Артутом, только минут через тридцать увидел я своего друга, мчавшегося к эллингу волчьим наметом. Митька увивался рядом, норовил лизнуть лицо.

— Ну, братцы, началось, — задыхаясь, выпалил Артур и свалился на подставленный Сеичкой табурет.

Он поглядел на раздувшееся пузо аэростата с пластырями наклеек, на сетку, порванную в некоторых местах, на ивовую гондолу, покрытую для придания эластичности натуральной олифой.

— Трех дней хватит, чтобы все это показать в наилучшем виде?

— А сегодня что? — Сенечка уже потерял счет дням.

— Пятница.

— Если серебрянки хватит, управимся.

— Тогда все трое засучиваем рукава и — вперед через моря! В понедельник Морозейкин обещал прибыть сюда.

Шар, надутый воздухом, выдерживал давление в пять атмосфер, туже, чем резиновая камера у большегрузных самосвалов. И все же где-то чуточку стравливал. Сеня в люльке ползал по нему, как черт в рождественскую ночь, прижимал ухо к гулкой утробе, однако утечки не находил. Это его тревожило, хотя запас допуска был огромный.

Мы стали на клею разводить серебрянку. В былые времена она пользовалась славой уникальной краски. Ею покрывали днища, колбасы привязных аэропланов, фюзеляж и крылья самолетов, надгробные тумбы. С добавкой в порошок марганцовки применялась в фотовспышках, давая сног мертвенно-голубого огня и дыма. Таинственные благодетели оставили нам две бочки серебрянки. Но у нас не нашлось краскопульта. Красить кистью долго. Казенные пылесосы запирали Стрелалис, которого мы решили игнорировать. Ни у меня, ни у холостяка Артура пылесоса не было. Волей-неволей пришлось идти домой Сенечке. Простился он с нами грустно, словно предчувствуя гибель.

Часа через два мы увидели его живым и здоровым. Обхватив обеими руками короб с пылесосом, он бежал, странно припадая на ногу, и что-то кричал. Мы превратились в слух. «...тутку спускай!» — донеслось до нас. Тут заметили мы мужеподобную жену Сенечки — Виолетту Максимовну. Она мчалась иноходью и вот-вот могла настичь мужа. Потягиваясь и зевая, из будки вылез Митька. Почуввав тревогу, он вопросительно посмотрел на меня. Я попридержал его за ошейник и, выждав момент, не шевеля губами, процедил:

— Давай!

В пять прыжков Митька отсек Сенечку от настигавшей супруги. Та развернулась на месте и помчалась прочь, как бы обретая второе дыхание.

Сенечка рухнул на землю, загнанно хватая воздух ртом. По лицу тек пот.

— Теперь знает, где я... Сожжет... — с трудом выговорил он.

— А Митька на что?!

Артур, посмеиваясь, обещал проинспектировать уладить.

Пылесос, если к выходному отверстию присоединить шланг с насадкой-распылителем, творит в покраске чудеса, но в пространных современной скромной квартиры. Нам же пришлось красить площадь примерно равную яйцеобразной крыше Мо-

сковского планетария. От крепкого ацетонового запаха мы балдели, точно коты от валерьянки. В протнвогазах работать было жарко и душно, к тому же быстро забрызгивались очки.

Сетку из тонкой, но прочной пенки мы тоже испытали на разрыв, нашли ее достаточно крепкой. Заделали дыры, стали набрасывать сетку на оболочку, и тут Сенечка, сидя на балке потолка эллинга, обнаружил утечку. Воздух просачивался через прокладку верхнего клапана. Ослабили пружины. Дождавшись, когда высохнет оболочка, мы сравили воздух, сняли клапан. Сенечка отправился в кладовую искать запасной, но не нашел.

Было воскресенье. Народ отдыхал, и никто из знакомых помочь нам не мог. Стали искать умельцев-надомников. В заначке одного нашлась эластичная авиационная резина для прокладки, у другого — стальная проволока нужного сечения, из нее мы понаделали пружин. Короче, с клапаном мы возились всю ночь, вклеили его в разрез оболочки, зажали в струбцинах.

Наступил понедельник. А еще надо было накачать оболочку, подвесить гондолу, привести эллинг в божеский вид. Вдруг начальству вздумается осмотреть аэростат с утра? Когда на работе появился Артур, я позвонил ему и рассказал про историю с клапаном. Тот бросился к Морозейкину. Но у директора шло какое-то совещание. Что решают? Однако секретарша Дина Юрьевна, которую звали за глаза Дианой, была неприступней мраморной стены семитысячника Хаи-Тенгри.

— Вас не звали, значит, вопрос не ваш, — ответствовала Диана, выбивая на «Эрике» сердитую дробь.

И тут Артур наткнулся на Виолетту Максимовну, одетую во все скромное, как вдова. Супруга Сенечки сидела в приемной, поджав под стул ноги и вытирая глаза кружевным платочком. Артур обрадовался, словно встретил маму. Покосившись на кукольно-каменное лицо Дианы, он выволок Виолетту Максимовну в коридор:

— Вы к директору?

— У меня заявление на Волобуя...

— Морозейкин не поможет. Надо в профком или еще выше — к заместителю директора Марку Исаевичу Стрекалису

Стрекалис был охоч до разных семейных неурядиц у сотрудников. К нему, как к святым мощам, тянулись обиженные жены, кто из мужей получку зажимал, кто уклонялся от алиментов и воспитания детей, а кто и руку поднимал.

У Виолетты Максимовны, узнавшей теперь, что Сенечка вернулся в Обсерваторию, была одна жалоба — почти не бывает дома.

— Может, завел пассию? — спросил Стрекалис.

— Чего-о? — надвинулась Виолетта на шупленького Марка Исаевича.

— Ну, даму сердца, симпатню...

— Нет у него такой и не может быть, — убежденно проговорила Виолетта. — В вашем ангаре днюет и ночует.

— Вот бумага, ручка, пишите официальное заявление... — Скрестив на груди руки, Марк Исаевич продиктовал: — Заместителю директора Обсерватории Стрекалису М. И. Заявление... Настоящим уведомляю и призываю вас принять самые строгие, не терпящие отлагательств меры по отношению к моему мужу Волобую С. С. И далее суть дела...

— Не буду писать, — проникшись вдруг жалостью к своему непутевому супругу, Виолетта отшвырнула ручку, точно змею.

Стрекалис уже вошел в раж и рассвирепел. В это время раздался звонок.

— Я занят! — рявкнул он в трубку, не разобрав, кто звонит.

А звонил Морозейкин. Посмотрев в список неотложных дел, он наткнулся на запись, что следует посетить эллинг. Поэтому решил собрать людей, имеющих отношение к этому вопросу. Нарвавшись на грубость Стрекалеса, по природе тихий, робкий директор настолько смутился, что машинально положил трубку.

Потом он набрал номер кабинета Гайгородова. В этот момент там уже находился Артур и умолял Георгия Михайловича повременить с визитом в эллинг, так как с ремонтом аэростата произошла заминка. Гайгородов понимал, что товаром надо блеснуть, от первого впечатления зависело многое.

— Где-то по Обсерватории бродит американский гость Роберт Лео Смит, собирает материал для книги об экологических проблемах человечества, — вспомнил Георгий Михайлович. — Попробуйте разыскать его — и к директору с вопросом!

— Вы светоч! — обрадованно воскликнул Артур, бросаясь на поиски иностранца.

Смит оказался в библиотеке.

— Вы, кажется, собирались навестить директора?

— Как только мистер Морозейкин будет располагать достаточным временем...

— Считайте, что у Виктора Васильевича появилась свободная минута, — Артур вежливо взял американца под руку.

Когда они зашли к Гайгородову, тот, пряча веселые глаза, сообщил, что директор ждет... Артур проводил гостя до приемной, заметив, как в расписании директорского времени Диана вычеркнула слово «эллинг» и написала сверху «Смит». Время окончания беседы она могла не проставлять. И Морозейкин, н американец, как говорят, сидел на одном шестке, соединявшем биологические законы человека с природными условиями его существования. Так что им предстояло поговорить о многом.

Пена, поднятая Стрекалисом, улеглась сама по себе. Почуввав, под какой удар Марк Исаевич подгонял Сенечку, Виолетта взъярилась. Не учел он того, что Виолетта вела ро-

дословную от конногвардейцев и синеблузниц, от молодежных бригад и покорителей целины. И не ее вина, что, попав в торговую сеть, вовремя не народила детей, а ударилась в хрустальное накопительство, отвратив от себя тем самым Сенечку с его смиренным, но флибустьерским сердцем

..Эллинг мы выдраили, как матросы палубу перед адмиральской проверкой. Пахло вымытым содой деревом, вошеной пенкой и олифой.

Сеня смотался на улицу Павлика Морозова, где хранился архив Обсерватории, разжился документами трехкратного списания всего летного имущества, в том числе аэростата, стоявшего в былые времена миллионы. Знакомый старичок-бухгалтер по справочнику расценок составил ведомость, рассчитал количество затраченного труда и стоимость материалов, скопистил несколько иудей, уплывших во время денежных реформ, и все равно получил порядочную сумму в семьдесят тысяч рублей с хвостиком. По существу, эти деньги свалились на Обсерваторию как мания небесная.

Новый клапан держал воздух крепче винтовой заглушки. В баллонах на складе оказались водород и гелий. Брезентовые мешочки мы заполнили просеянным песком, проверили на точность приборы, которые понадобятся в полете.

Между тем докладная записка Артура уже пошевелила впечатлительное сердце Морозейкина, подбадриваемое вдобавок инъекциями Гайгородова, Комарова, Бадояна и других климатологов. Недавний визит Роберта Лео Смита убедил директора, что на старой арбе нельзя въезжать в грядущий век. Виктор Васильевич, разумеется, понимал, что первыми восстанут против аэростатов авиаторы. Точно так же против яхт выступали в свое время речники, получившие быстроходный флот на подводных крыльях. Однако ни на Клязьминском, ни на Московском и Истринском водохранилищах не произошло ни одного столкновения с «Ракетой» или «Метеором». Авиационные начальники, конечно, пекутся о безопасности воздушного сообщения. Но пока единственный полет воздушного шара никак не отразится на работе самолетов, тем более что пространства нашей страны не нудят ни в какое сравнение с воздушной толкучкой Европы.

Не отвлекаясь ни на какие другие дела, Морозейкин приказал Диане в среду с утра собрать ученый совет Обсерватории. Он зачитал докладную записку Артура о необходимости провести серию метеорологических наблюдений в условиях невозмущенной атмосферы. Большинство ученых принимало непосредственное участие в редактировании записки, так что особых прений она не вызвала. Гайгородов только вскрикнул:

— Давно пора! Сним на продавленном диване прошлого.

— Воронцов утверждает, — сказал Морозейкин, — что для этой цели подойдет наш старый аэростат

— Он давно превратился в прах,— подал голос кто-то.

— Он готов!

Ученые, подогретые репликой Георгия Михайловича, гуськом двинулись к эллингу.

Мы затащили Митьку в будку, посадили на цепь, строго наказав не гавкать.

Вперед вырвался Стрекалис, сделав вид, будто ведет в свои подопечные владения. От грозной, неведомой силы попрятались коты. Я нажал кнопку движка. С мягким гулом разъехались по рельсам створки эллинга. Гости прошли внутрь и оробели перед темной огромной цехом. В глубине белело нечто непонятное, космическое. Я включил прожектор. В серебристом блеске, отражавшем горячие световые лучи, заблестало сказочное творение. Накаченная воздухом оболочка в невесомой сетке походила на исполинскую колбу. Подсвеченная еще и снизу, она имела вид воздушный, рождественский, точно елочная игрушка. Аэростат был в полном снаряжении, как воин перед битвой. Накачай его водородом и только — и он полетит.

Морозейкин отступил на шаг, снял шляпу, обнажив матовую лысину.

Однако первым пришел в себя Стрекалис. Как председатель комиссии перед сдачей объекта, он подергал веревочные петли для переноски корзины, пнул по ивовому боку гондолы, удостоверившись в прочности, ощупал мешочки с балластом, пытаюсь понять, что там.

— Думаю, как основу, можно принять на баланс,— проговорил он с деловым выражением.

Тут Сенечка потянул его за рукав, показал аккуратно сброшюрованную папку, где жирно была проставлена итоговая стоимость всего сооружения. Марк Исаевич поперхнулся, будто проглотил кость, но в присутствии директора сдержал гнев, кисло бросил:

— Рассмотрим в рабочем порядке.

Гайгородов любовно погладил край корзины:

— Подумать только, сколько прошло лет... А жив курилка!

— Вы считаете, что этот аэростат полетит? — спросил директор.

— Убежден,— ответил Гайгородов твердо и представил нас.— Делали вот эти молодцы! И заметьте, одни, без всякой поддержки, полностью из подручных материалов. Они и полетят!

Я посмотрел на Морозейкина. В его светлых наивных глазах читалась мука. Ах, как бы ему хотелось жить спокойно! Согласись он на полет, тогда придется обращаться в Комитет, а может быть, еще выше. И первое, с чем он столкнется, будет отказ: «Вы не осилите расходов», «Зачем ворошить прошлое?», «Выкиньте из головы эту затею!», «Кто из аэронавтов первым

выпадет из корзины? » Каждый, с кем придется встречаться, изо всех сил, с полным набором аргументов постарается помешать. Просто иногда удивляет, как ухитряется существовать наша экономика, если столько винтиков в ее нутре считают делом затормозить любое начинание, не дать ходу, отвергнуть идею! Надо с кем-то спорить, кого-то убеждать, выдвигать весомые доводы, не отраженные в докладной записке Воронцова, входить в контакт с министерством авиации, тревожить ответственных работников, которые дорожат своими постами и хотят жить без тревог.

А как просто загубить новое в зародыше! Допустим, организовать аттестационную комиссию, поставить вопрос о профессиональной пригодности экипажа или взять под сомнение надежность самого аэростата, нагромоздить проблемы... И все это сделать под видом научной озабоченности, государственного благоразумия, ответственности за жизнь людей, наконец!

Однако Морозейкин не только руководил учреждением. Как умный человек, он улавливал, что дует свежим ветром, когда на себя надо брать ответственность. Вваливал же на себя неблагодарный труд Сергей Павлович Королев, с которым вместе когда-то работал Морозейкин. Поэтому и стал он крестным отцом космонавтики, защищая ее от неверующих, порой облеченных большой властью.

Как ученый, Виктор Васильевич сознавал, что полет даст науке ценнейший материал. Тут прав Гайгородов. Даже сравнительные показатели, полученные в полетах многолетней давности, и сегодняшние сведения позволяют не голословно, а фактами подтвердить тревожную экологическую проблему в жизни человечества. Несколько последних лет Морозейкин посвятил вопросу «парникового эффекта» в атмосфере. Исследования убедили его, что в воздухе сейчас стало больше не только углекислого газа. Значительно более быстрыми темпами происходит увеличение содержания метана. Анализ льда на полюсах, где зимовал Виктор Васильевич, показал, что за последние триста лет концентрация метана в атмосфере повысилась вдвое. Произошло это главным образом за счет производственной деятельности людей. Он разгадал механизм этого процесса, когда при сжигании человечеством минеральных топлив и биомассы окись углерода в атмосфере вступает в реакцию с радикальными группами углекислоты, и образуется метан. Этот газ, так же как и двуокись углерода, поглощает инфракрасное излучение с поверхности земли и усиливает «парниковый эффект», что может оказаться опасным вообще для органической жизни. Пробы с аэростата дали бы более точные цифры.

Беспокойство в глазах Морозейкина сменилось решимостью. Директор обернулся к многоопытному Гайгородову:

— Ну что ж, экипажу, кажется, пора начинать подготовку

Научным руководителем назначаю вас, Георгий Михайлович. А ответственным за снаряжение и старт будет... — Он поискал глазами Стрекалнса. — Марк Исаевич, не возражаете?

«Мудрец!» — чуть не вскрикнул я, услышав это неожиданное решение. Из недруга Стрекалнса вдруг превращался в приверженца уж если не по душе, так по обязанности.

Правда, Стрекалнс, обжегшись на Внолетте Волобуй с попыткой опозорить Сенечку, попытался дискредитировать меня: застать спящим на ночном дежурстве. Но тут опять нарвался на Митьку. Обжнвшись и уверовав в свою значимость, пес значительно расширил сферу своего обитания. Охранял он теперь не только эллинг, но и обсерваторскую территорию в целом. Однажды ночью он обнаружил крадущегося человека и загнал его на двухметровый столб бетонного забора. Как Стрекалнс взвился по абсолютно гладкой стенке — и бог не разберет. Марк Исаевич сидел бы там до утра, если бы не мое отходчивое сердце. Разъяренного Митьку я оттащил за ошейник на безопасное расстояние и, сделав вид, что не узнал Стрекалнса, крикнул:

— Слезайте и не вздумайте бежать!

— Я не могу слезть! — простучал зубами Стрекалнс.

— Митька, сидеть! — приказал я собаке.

— Спустите меня отсюда, — потребовал Стрекалнс, косясь в темноту, где в напряженной позе замер Митька.

Я не спеша приблизился к забору, в тусклом свете уличной лампочки посмотрел ему в лицо:

— Зачем вы ночью пытались проникнуть в Обсерваторию?

— «Зачем, зачем»... Не вашего ума дело!

Стрекалнс сделал попытку прыгнуть со столба, но страх перед высотой удержал его.

«Чего доброго, свалится и ноги поломает», — подумал я, соображая, как получше вызволить Стрекалнса. Можно, конечно, подойти к забору вплотную — он поставит ноги на мои плечи и спустится. Но такая церемония показалась для меня унижительной. Я пошел за стремянкой. Закрепляя створки лесенки, я услышал его голос:

— Только попрошу, чтобы этот случай остался между нами...

Ради высокой цели мирного сосуществования такой пункт соглашения меня устраивал.

— Обещаю. Пойдемте, чаем напою, — предложил я.

Поколебавшись, Марк Исаевич согласился. В дежурке за чашкой чая мы поговорили о пустяках, ни словом не обмолвившись о происшествии. Я вызвался проводить его. Когда мы вышли, из темноты на нас уставились два фосфоресцирующих глаза. Марк Исаевич снова дернулся, но я успокоил:

— Митька это. Не бойтесь! Он добрый.

В подтверждение моих слов, пес вышел на освещенный окном пятачок и дипломатично вильнул хвостом.

Так недавний зложелатель стал союзником.

7

Учлищный комэска майор Золотарь вбивал в наши головы непреложные истины. Его изречения входили в нас, как гвозди.

«Ты не можешь себя чувствовать в безопасности, если в аэроплане ослабла хоть одна гайка», — говаривал он.

Радая о надежности аэростата, мы стали подвинчивать гайки в расшатавшихся знаниях. Кое-что мы основательно подзабыли. Пришлось восстанавливать знания о теории полета, метеорологических явлениях, устройстве приборов, технике ориентировки в облачности, практической и астрономической навигации, радиосвязи.

Особенно усердно мы готовили себя к полету в облаках, так как авиаторы, скорее всего, могли дать нам «зеленую улицу» только в ясную погоду, да и Артура для его исследований больше устраивали именно циклоны. Мы изучали устройство вариометра, авиагоризонта, компасов, высотомеров¹. Занимались радиостанцией, которая заменит нам в полете глаза и уши.

«Летать без радио в облаках, — учил Золотарь, — то же самое, что ночью гнать машину с потушенными фарами».

В комплект радиообеспечения входили радиоприемник, передатчик с микрофонной и телеграфией связью, радиокомпас. Мы должны были настраиваться на сигналы радиомаяков, запрашивать пеленги, получать от метеостанций сведения о погоде по маршруту, о направлении и скорости ветра на высотах, вести двусторонние переговоры с главной станцией слежения.

Не замедлили сказаться результаты нашей жарко вспыхнувшей дружбы со Стрекалнсом. Марк Исаевич не только раздобыл для нас новейшую радиостанцию-портативку, но и добился ставки специального радиста, который должен был держать связь только с нами, не отвлекаясь на другую работу. Станция слежения находилась в радиобюро Обсерватории, свою рацию мы пока установили в эллинге.

¹ Вариометр — пилотажный прибор для определения скорости изменения высоты полета. Авиагоризонт — гироскопический прибор для определения углов крена. Компас — прибор, указывающий направление географического или магнитного меридиана, служит для ориентирования относительно сторон горизонта. Бывают магнитный, механический (гироскомпас), радиокомпас, указывающий направление на радиомаяк. Высотомер (альтиметр) — указывает высоту полета. Различают барометрические высотомеры, определяющие высоту относительно места вылета, и радиовысотомеры, определяющие высоту над пролетаемой территорией.

Получив свои частоты и позывные, я занялся практикой передач. Помня о том, что хороший, но неправильно установленный передатчик подобен отличной, но плохо настроенной скрипке, я постарался точно по инструкции нацелить антенну, отрегулировать настройку, когда настало время сеанса, включил микрофон:

— Алло! «Ураи», «Ураи» — я «Шарик».

Из динамика раздался голос девушки:

— «Ураи» слушает. Прием!

— Прошу дать настройку.

— Раз, два, три, четыре...

Я крутил регулятор, шелкал выключателем кварцевой стабилизации. Радиоволны неслись в заоблачные края к ионосфере¹ и, отразившись, звучали в динамике молодо и бодро.

— Перехожу на телеграф... — неуверенно я отстучал свои позывные, убедился, что разобрался работать на ключе, что надо тренироваться, затем повернул ручку переключателя на микрофонную связь: — Проверку закончил.

События ускорялись. Морозейкин стал действовать. Мы с Сенечкой откомандировывались в научно-исследовательский институт гражданской авиации, чтобы прослушать курс лекций по правилам полета, штурманскому делу и радиосвязи. После этого мы должны были сдать зачет квалификационной комиссии.

Когда мы вернулись, Арик обрадовал новостью:

— Так вот, академики, вылет разрешен. Теперь будем ждать устойчивого фронта и оптимального ветра. Всем приказано перейти на казарменное положение.

В наше отсутствие бурную деятельность развил Стрекалис. По составлению Артуром списка он достал почти все — сублимированные продукты, маски, комбинезоны и куртки на гагачьем пуху, спальные мешки, батареи для питания бортовых ламп, рации и освещения кабины, баллоны с кислородом для дыхания, ружья «Барс» и пистолеты, парашюты, унты, аптечку. Более того, он раздобыл канистру превосходного кагора. Это вино, смешанное с горячим чаем, прибавляло бодрости, снимало сонливость и усталость. Он же договорился с соседней воинской частью о поддержке на старте. Когда будет получено разрешение на полет, взвод солдат поднимется по тревоге и поможет в подготовке аэростата к работе.

Теперь можно было приступать к расчету зоны равновесия. Чтобы это понять, давайте опять вспомним закон Архимеда и при его помощи рассчитаем подъемную силу свободного аэростата. В оболочке — наилегчайший газ водород. Один кубометр этого газа поднимет примерно килограмм груза.

¹ И о н о с ф е р а — верхние слои атмосферы от 50—80 километров, оказывают большое влияние на распространение радиоволн.

К оболочке мы подвесим гондолу. Аэростат полетит вверх лишь в том случае, когда вес всего материала — строп, гондолы, ее содержимого, оболочки, газа — будет меньше веса вытесненного им воздуха.

Поднимаясь, аэростат попадет в слои воздуха с постоянно уменьшающимся давлением. Газ в оболочке начнет расширяться. На определенной высоте газ раздует всю оболочку. Излишек давления его изнутри разорвет оболочку. Поэтому в ее нижней части делается отверстие, переходящее в удлиненный рукав в форме аппендикса. Через него улетучивается излишний газ, но и подъемная сила уменьшается. И вот наступает момент, когда она становится равной нулю. Аэростат зависает. Такое положение и называется зоной равновесия.

Пользуясь клапаном сверху, тем, что делал Сеня, можно выпустить немного газа. Аэростат станет более тяжелым, чем окружающий воздух, и начнет спускаться. Если же нам захочется подняться выше, то следует сбросить немного балласта. Большие мешки с мелким песком стояли в одном углу, мешочки поменьше висели по бортам корзины.

Гондолу мы поставили на тележку и загрузили ее всем, что могло понадобиться в полете. Перед этим каждую вещь взвесили, рассчитали необходимое количество газа. Много места заняли баллоны, батареек и рация, доска, куда были вмонтированы нужные для полета приборы.

Метеорологическое имущество Артур намеревался расположить позднее, большую часть датчиков вынести вообще из гондолы, укрепив их на сетке оболочки, штапгах и просто подвесив рядом с балластными мешочками. Их вес был нам известен.

Еще надо было прибавить живой вес экипажа в теплом одеянии, а также Митьки... Мы решили испытать, как поведет себя собака в разреженной атмосфере. Возможно, это тоже пригодится науке, хотя пес грозил доставить немало хлопот. Ну, как, к примеру, он будет дышать на большой высоте?

— Возьму намордник и сделаю ему маску, — пообещал Сеня.

— А если нам придется прыгать, может, заодно и парашют приспособишь? — спросил Артур.

— Я его с собой захвачу вместе с рюкзаком.

Сенечке, да и мне, очень хотелось взять с собой Митьку. Нам показалось, что участие в полете четвероногой твари поддержит некую незыблемую традицию дальних путешествий. Участие Монморанси в значительной степени скрасило известное плавание по Темзе. К тому же Митька теперь казался нам красавцем в сравнении с фокстерьером Джерома Джерома.

Митька вертелся около, зная, что речь идет о его участии.

— А как он будет пить чай с кагором? — не унимался Артур.

— Вообще предлагаю чай пить отдельно, а кагор — когда приземлимся.

Решили пса взвесить. Если он потянет больше двадцати килограммов — в полет не брать. Митька потянул на девятнадцать четыреста.

— Ладно, пусть летит. Его же сородичи первые побывали в космосе.

Удовлетворившись решением Артура, отныне нашего официального командира, Сенечка полез на оболочку проверять надежность разрывного приспособления. Так называлась полоса материи, которая крепилась к оболочке только клеем и несколькими стежками. От верхней части полотнища к гондоле опускалась разрывная вожжа красного цвета. Если потянуть за нее, то полотнище откленится, в оболочке образуется щель, и газ устремится наружу. Разрывное приспособление применяется при посадке.

Зная вес материальной части, рассчитали мы и безопасный предел натяжения оболочки. На высоте в десять тысяч метров он равнялся двадцати двум килограммам на метр. Ткань вполне выдерживала. Словом, все было готово к полету, оставалось только ждать команды.

8

Холодный сентябрьский фронт медленно и неотвратно шел с циклоном со стороны Скандинавии, предвещая затяжные дожди, обледенение, нелетную погоду. Вчера он достиг Ленинграда, завтра мог скатиться к нам. В это время Морозейкин и получил разрешение на полет. Была объявлена готовность номер один. Заработал штаб управления, куда вошли Морозейкин, Гайгородов, представители авиации. Весь день мы приспособляли к корзине метеорологические приборы, некоторые из них Артур намеревался прикрепить к стропам. Прибыла вызванная Стрекалицем воинская команда. Марк Исаевич приступил к обязанностям начальника старта.

На поле перед эллином солдаты разстлали брезентовое полотнище, на него уложили оболочку.

Поначалу шар будто и не думал надуваться. Лишь волны газа прокатывались под серебристой тканью. Но постепенно начал расти холм. Солдаты взялись за поясные веревки, продетые через специальные петли, прикрепленные к верхней части оболочки.

Гора вздымалась, превращаясь в исполинский гриб.

— На поясных, плавно сдавай! — покрикивал Марк Исаевич.

Солдаты понемногу отпускали поясные веревки, оболочка поднималась выше и выше. В свете прожекторов аэростат вы-

глядел фантастически. Хорошо, что не было ветра, иначе трудно было бы удерживать раздувающуюся оболочку, уже закрывшую полнеба. Внизу оболочка провисала широкими складками — это был запас для того, чтобы на высоте расширяющийся от понижения давления газ не стравливался понапрасну.

Наконец гриб превратился в гигантскую грушу. Мы вывели из элннга тележку с гондолой, прикрепили корзину к подвесному обручу.

Начало светать. Мы надели теплые брюки, куртки, шлемы, унты. Проверили содержимое карманов. Для индивидуального пользования у каждого был фонарик, пистолет, нож, небольшой, но калорийный запас продовольствия. Солдаты помогли пристегнуть парашюты. По лесенке мы поднялись в гондолой.

Здесь едва хватало места, чтобы стоять не толкаясь. В корзину размером 170 на 200 сантиметров было втиснуто великое множество вещей: баллоны, термосы, приборы, бухты веревок, мешки с песком, запасная одежда, фотоаппаратура с объективами, картонные коробки с провизией. Здесь можно сидеть лишь уподобившись морскому узлу, а как будем спать? Но вопрос этот мы посчитали преждевременным. Дай-то бог оторваться от земли и полететь, дальше видно будет. Прижмет, так и стоя уснешь.

Плотный осадок самого обычного страха, наверное, чувствовал каждый из нас. Мы старались не думать об опасности, но все равно сосало под ложечкой. Мы не знали, куда нас вынесет, выдержат ли стропы и гондола, не пропадем ли в облаках, шквалах и внезапных нисходящих потоках, удачной ли будет посадка? Доверившись, так сказать, широким объятиям воздушного океана, мы уже не могли управлять своей судьбой. От этих объятий можно ожидать чего угодно.

Стрекалис доложил Морозейкину о готовности к полету.

Тут я вспомнил о Митьке. В суматохе мы совсем забыли о нем.

— Митька! — крикнул я.

Пса не было. Сдрейфил, подлец, в последнюю минуту.

— Ладио, пусть дом сторожит, — сказал Артур.

Я стал перекладывать спальные мешки, готовя сиденья, и вдруг обнаружил не только Митьку, но и притаившегося котенка Прошку. Пес лизнул мою щеку: молчи, мол, пока не взлетим.

Морозейкин объявил десятиминутную паузу. Сенечка начал уравнишивать азростат. По его команде солдаты, державшие корзину, отпустили ее, она немного приподнялась над землей и остановилась. Подъемная сила сравнялась с весом гондолы и всего шара. На краях корзины гроздьями, как связки бананов, висели низкие брезентовые мешочки с песком. Стоит бросить на землю совок песка, и шар начнет подниматься.

Все готово, но мы почему-то медлим, как бы соблюдая русский обычай — посидеть перед дальней дорогой.

— Поясные отдачи! — подал голос Стрекалис.

Вылетели из петель поясные веревки, вытянулись змеями по земле. Теперь солдаты держали аэростат только за гондолу и короткие концы, привязанные к обручу. Марк Исаевич подбежал к нам, спросил, занкаясь:

— Г-готовы?

— Порядок.

— Штаб, экнпаж к полету готов, — доложил он по карманной рации.

Минутная готовность... — отозвался Морозейкии.

Стрекалис сорвался с места, закружил по брезентовому, освещенному прожекторами, кругу, точно шаман:

— Полная тишина на старте! Всем — в сторону!

И выкрикнул последнюю команду:

— Даю свободу!

Солдаты разом отпустили руки. Сенечка выбросил совок песка. В напряженной тишине огромное сооружение медленно поплыло вверх.

— В полете! — торжествующе завопил Стрекалис.

— Есть в полете, — у Сенечки тоже дрогнул голос. — Взлет шесть сорок.

Произошло чудо, имя которому — полет воздушного шара. Без толчка или рывка мы вдруг очутились в воздухе. Тишину в эти волшебные секунды не хотелось нарушать даже возгласами восторга. Аэростат шел вверх. Люди внизу казались все меньше и меньше.

Плавню пошла вбок залитая электрическим светом стартовая площадка. Из серой тьмы выявился главный обсерваторский корпус с немногими светящимися окнами, за которыми находился штаб. Пробежала линейка аллен с редкими фонарями, потом обозначился четкий прямоугольник всей нашей территории, обнесенный бетонными плитами. А дальше угадывались дома, кварталы, островки садов, заводы, где костерками полыхали ночные лампочки.

Сенечка орудовал совком, точно продавец, развешивающий сахарный песок. Артур, включив бортовой свет, стал заполнять вахтовый журнал. Я переключился на телефон:

— «Уран», я — «Шарик»...

— Счастливого полета! — услышал я бодренький теиор Морозейкии.

— Спасибо. На борту порядок. Высота сто пятьдесят. Подъем по вариометру плюс два. До связи, — я отчеканил все положенные слова и отключился.

Предутренняя тишина окружала нас, будто мы остались одни в мире. Показалась станция, рельсы, просвистела элек-

тричка. Непривычно близко простучали колеса. Отраженные звуки доносились четче, явственней, чем слышались на земле. На их пути к нам не было никаких препятствий.

С каждой минутой становилось светлей, хотя внизу было еще темно. Искристыми от уличных фонарей лучами разбегались дороги с наизнанными на них кубиками домов. Там, где багрово тлел горизонт, была Москва.

Артур вытащил из чехла «Зенит» и начал снимать. Панорама и вправду впечатляла. Она открывала все новые и новые дали.

Вдруг оболочка исчезла. Гондола осталась как бы одна. Туго натянутые стропы уходили вверх и скрывались в непроглядной мути. Влажный воздух попал в горло. Капельками дождя покрылись куртки. Мы вошли в нижнюю кромку облаков. Аэростат сразу отяжелел. Стрелка варнометра поползла было вниз, но Сенья энергичней заработал совком и мы опять стали подниматься.

Скоро похолодало. Зашуршали по одежде комочки льда. Оледенела и мокрая оболочка. Семен надел меховые перчатки, стал трясти стропы. Отламываясь, льдинки полетели вниз.

— Ну, братцы, летим! — у Артура посинел нос, запотели очки, но губы расплывались в улыбке. — Как пели деды «Три танкиста, три веселых друга...»

— Не три, а пять.

— Откуда?!

Я откинул брезент, прикрывавший спальные мешки. Там лежал Митька, а Прошка сидел у него на загривке. Будто поняв, что теперь уже ничего не изменить и некого бояться, пес издал радостный вопль. Прошка с вздыбленной шерстью сиганул по стенке гондолы и, оторопев, застыл на краю бездны.

— Во звери! — потрясенно вымолвил Сенечка. — Они забрались еще в эллинг и затихли, как зайцы, пока мы возились с аэростатом! А говорят, у животных нет разума.

— Есть разум, только животный, — поправил Артур.

— Какой-никакой, а надо додуматься!

Когда восторги поутихли, я задал прозаический, но довольно важный вопрос: куда и как будут гадить наши меньшие братья?

Семен хлопнул стульчаком в углу гондолы:

— Приучим сюда!

— Прошка, возможно, сообразит, но Митька не поймет. Сенечка наморщил лоб. Пес может навлечь крупные неприятности. За полет он обделает кабину так, что мы сгнем на землю и без парашютов.

— Эх вы, цари природы! — усмехнулся Артур. — Это же гениально просто.

Он снял с борта четыре кулечка, рядом со стульчаком сложил из них вроде ящичка, дно закрыл куском брезента, вспорол

еще один балластный мешочек и высыпал песок. Изловчившись, я поймал котенка и посадил на отведенное для него место. Прошка потоптался в нерешительности, обнюхал углы, потом разгреб песок, сделал свои дела и старательно засыпал ямку. Через некоторое время Митька последовал его примеру. Чтобы не смущать животных, мы навесили на угол полог.

— Этот песок будет нашим НЗ,— сказал Артур.

Мы могли лететь до тех пор, пока в гондоле есть балласт. Если его не будет, то в момент посадки мы не сможем затормозить спуск. Песок для аэронавта был тем же самым, что и горючее для летчика, вода для жаждущего, хлеб для голодного. Мы хотели продержаться в воздухе как можно дольше, поэтому песок решили беречь, как и продовольствие.

По метеосводке ветер должен появиться на высотах от полутора тысяч метров. В гондоле мы не ощущали ветра, даже если бы на земле бушевал ураган. Артур положил на борт лист бумаги, и он лежал не шелохнувшись. Сенечка сунул в рот карамельку, а обертку бросил за борт — она полетела рядом с нами. Аэростат перемещался в пространстве вместе с воздушной массой, сам находясь как бы в абсолютном штиле. В этом-то и было основное преимущество воздушного шара перед самолетами — разведчиками погоды и ракетами. При исследованиях те пронзали атмосферу как иглой, приборы не успевали заметить малейших погодных изменений, столь важных в метеорологии. Аэростат же находился в самом котле, где варилась погода. Можно было потрогать рукой облака, посмотреть, как образуются снежинки, с какого момента и при каких условиях начинает лить дождь.

Совершенно точно подметил эту особенность Жюль Верн в своем романе: «Воздушный шар всегда неподвижен по отношению к окружающему его воздуху. Ведь движется не сам шар, а вся масса воздуха. Попробуйте зажечь в корзине свечу, и вы увидите, что пламя ее не будет даже колебаться».

Где-то проносились бури, кружили метели, но это для тех, кто оставался на земле. Мы же не ощущали ни малейшего дуновения.

Артур на планшете отмечал отдельные точки, над которыми пролетали мы, регистрировал воздушные течения перед наступлением холодного фронта. Примерно через час после вылета он подсчитал скорость движения. Тут его карандаш наткнулся на район Останкино.

— Сеня! Высотомер! — испуганно вскрикнул он.

Сенечка удивленно уставился на командира:

— В чем дело?

— Башня!

В облачности мы надеялись только на приборы. Они показывали высоту в пятьсот метров и неизменный подъем. Тем

не менее мы свесили головы из корзины, сияясь рассмотреть башню телевизионного центра, вознесшуюся, как известно, на пятьсот тридцать метров над Москвой.

Я крикнул. Голос показался чужим и далеким. Отзвук тут же стих, запутавшись в липкой хмари.

Мы смотрели во все глаза, мы ждали, и все равно башня возникла внезапно, как судьба. Из тумана показалась игла. Нас точнехонько несло на ее тонкий и острый копец. Сеия схватил сразу два мешка. Еще миг, и он вытолкнул бы их за борт. Руку успел перехватить Артур:

— Куда?! Там люди!

Маловероятно, чтобы туго набитый песком мешок точно свалился кому-нибудь на голову. Но попасть мог по закону подлости. Сенечка рванул стежки зубами и веером, как сеятель, вышвырнул из мешочков песок. Шар лениво приподнялся над шпилем и величаво поплыл дальше. С перепуга у Артура ослабли ноги. Он вытер со лба холодный пот.

— Врет барометрический, — сказал он через минуту, — проверь счислением.

Разница вышла ощутимой. Чуть ли не в сто метров. Я уже догадался, что наш искушенный, бывалый, тертый аэронавт Сенечка допустил грубейшую ошибку, такую не сделал бы даже новичок. Он не внес необходимой поправки, связанной с разницей барометрических давлений аэродрома и поверхностью земли, над которой мы пролетали в данный момент. Артур тоже понял это, но выговаривать не стал. Молча он извлек из планшета картонку и на ней, сообразуясь с сиюминутной обстановкой, начертил табличку расчета истинной высоты. Ее он прикрепил к приборной доске. Она выглядела так:

Температура в С°	Данные в мм	Высота в метрах
+15	760	0
+8	674	1000
+2	596	2000
—11	462	4000
—24	353	6000

Выше забираться не хотелось.

Облака стали светлеть. Настроение, как и стрелка варн-ометра, поползло вверх.

— Ну виноват! Ну исправлюсь! — прокричал Сенечка, не выдержав молчания.

Мы рассмеялись.

Приближалось время связи. Я выбросил тросик антенны, приготовился к приему метеосводки.

Из густого молока тумана выявилась оболочка. Скоро стало

так светло, что пришлось надеть защитные очки. И тут показалось солнце. Оно поднялось уже достаточно высоко. Когда я принял сводку и опять выглянул из корзины, то облака лежали от горизонта до горизонта. Над снежной торосистой пустыней, не двигаясь, не перемещаясь, висела лишь тень от нашего аэростата.

Теперь можно было и позавтракать. Я достал ржаные хлебцы в целлофановых пакетиках, масло, сыр, банку шпротного паштета, разложил еду на деревянном ящичке от приборов. Из термоса разлил чай по легким полиэтиленовым кружкам. Остатки еды и упаковку, которая что-либо весила, мы не выбрасывали. Иначе шар стал бы подниматься.

Дикарь-Прошка сунулся было смахнуть бутерброд, но иа лету получил шлепка, отскочил к Митьке. Тот лежал на спальниках отвернувшись. Прикидывался, будто пища не интересует его.

— У иас, кажется, есть коицентрированное молоко? — спросил Артур.

— Есть пять банок.

— Пожертвуем Прошке.

После того как наелись мы, в освободившуюся от паштета банку я налил молока, разбавил его чаем и накрошил хлеба. Это котеику. Митька же получил два бутерброда, а также чай без сахара. Сладкое он не любил.

Мы установили твердый режим питания. Завтракать — в девять, обедать — в два, ужинать — в шесть, чтобы захватить светлое время и напрасно не жечь лампочку освещения кабины. Электричество шло на рацию, приборы и навигационные огни-мигалки — их мы зажигали, когда слышали гул самолета. У летчиков, разумеется, были локаторы, они легко могли обнаружить наш аэростат, однако на огнях настояло авиационное начальство, и без того обескураженное нашим вторжением в завоеванное ими пространство.

Но ведь было же время, было, когда воздушным шарам принадлежало небо!

Гениальный изобретатель пулемета Хайрем Мэксим начал строить самолет с паровой машиной. Однако он сразу же допустил ошибку, прнтом роковую. Он отверг алюминий как материал для самолета. Он построил летательный аппарат из стальных труб. Аэроплан потянул иа три с половиной тонны. На взлете, само собой, он свалился с рельсов и рассыпался.

Основатель современной аэродинамики Отто Лилиенталь выдвинул идею, отличавшуюся, как все великие идеи, поразительной простотой: прежде чем строить аэроплан, иадо выучиться летать. Иначе говоря, сделать летающий планер, а уж потом изобретать для него двигатель. Несколько десятков лет разрабатывали в первую очередь модели планеров, заодно и моторов.

И вот над песчаными дюнами Китти-Хаука пронесся аэроплан Орвилла и Уилбера Райтов. Это произошло 17 декабря 1903 года. Аппарат летел почти минуту. Сантос Дюмон забрался уже выше деревьев и покрыл... 220 метров. Пилот стоял на полотняной «этажерке» в соломенной шляпе с красной лентой и парадном костюме. Он успел произнести любимые слова из стихотворения Камюэнса: «Вперед через моря, которые никто до нас не переплыл!»

В 1909 году газета «Дейли мэйл» учредила приз в тысячу фунтов стерлингов за перелет через Ла-Манш.

Первым дерзнул богатый спортсмен Латам. Он поднялся 19 июля в 5 утра. Через 20 минут его нашел миноносец недалеко от французского берега. Латам сидел на борту своей летающей лодки «Антуанетта» и курил сигару. У аппарата сдал мотор.

25 июля в пробный полет отправился Блерио. Он пролетел над берегом вдоль Кале и повернул к английскому берегу. На сопровождавшей миноноске плыла его жена. Вскоре аэроплан исчез с глаз наблюдателей. Блерио, упустив из вида оба берега, потерял ориентировку. Несколько минут он кружил над проливом, пока не заметил в утренней дымке английский берег. Подлетев к Дувру, он увидел небольшую лошину, на которой метался человек, размахивающий французским флагом. Им оказался корреспондент газеты «Матэн» — единственный свидетель спуска Блерио на английский берег. Блерио достал из кармана луковичку «Буре» и щелкнул крышкой: часы показали, что авиатор продержался в воздухе 37 минут, «не касаясь, — как тогда писали, — ни одной частью машины поверхности моря».

Луи Блерио построил до этого 10 монопланов, и все они разбивались. Почтенного фабриканта автомобильных фонарей, решившего вдруг летать, соотечественники прозвали «падающим французом Блерио». В одном из полетов у него воспламенился мотор, обгорели ноги, но он все же успел дотянуть аппарат до земли и сесть... Через Ла-Манш он уже летел с костылями....

Перелет произвел необыкновенно сильное впечатление в цивилизованном мире. Блерио встречали тысячные толпы в Англии и во Франции, его чествовали лорд-мэр Лондона и французские министры. Аэроплан под номером 11, переименованный с этого момента в «Блерио», приобрела газета «Матэн» и подвесила его на улице Парижа у дома редакции. Впоследствии он был помещен в Музей искусств и ремесел.

25 июля 1909 года в истории авиации навеки останется знаменательным днем. Сам перелет в 37 минут в то время уже не являлся чем-то выдающимся, но именно это событие раскрыло глаза многим, кто раньше сомневался в авиации. Практическое значение аэроплана было доказано с такой очевидностью, что колебания сразу отпали. Пресса оживлению ком-

ментировала выводы: «Англия перестала быть островом — вот что сделал Блерио своим полчасовым полетом». Естественно, рисовались радужные картины будущего, когда аэроплан изменит весь уклад жизни и международных отношений.

Мир забился в авиационной лихорадке. Потоки популярных брошюр и книг наводнили рынок. Появились сотни новых журналов, газеты отводили аэропланам главные полосы. Героями дня становились авиаторы — летающие люди, короли воздуха.

Ну и конечно, вместе с лихорадкой начались смертельные исходы. В сентябре 1910 года авиатор Шавез на состязаниях в Альпах перелетел Симплонский перевал в 2 километра и упал уже во время спуска. Он был одним из многих людей, по натуре склонных к опасным предприятиям, игре со смертью. Почти в то же время в Петербурге проходил всероссийский праздник воздухоплавания, где состязались пять профессионалов и шесть военных летчиков-любителей. В полете у одного из самолетов лопнула растяжка и запуталась в винте. Аэроплан перевернулся. Пилот выпал из кабины и разбился. Это был талантливый инженер Лев Мацневич. Несчастье произошло не из-за погони за сотысячными призами. Это была одна из неизбежных жертв, которую потребовала судьба в уплату за новую победу человеческой мысли.

Развиваясь и совершенствуясь, авиация вынесла две мировых войны, перекрыла самые дерзновенные проекты зари своего детства, вырастила космонавтику и, конечно же, загнала в небытие воздушные шары, ставшие таким же анахронизмом, как паровоз Черепановых и конный омнибус.

...Авиаторы допустить-то нас до неба допустили, однако всполошились, а вдруг людей снова захватит воздухоплавание, как это случилось за границей? Неспроста же каждый пункт соглашения оговаривался фразой: «В порядке единичного эксперимента», «В виде исключения», «Учитывая уникальность вопроса...» Надо полагать, авиационные начальники интуитивно чувствовали, что идея использования аэростата, хотя бы для научных исследований и спорта, уже стоит на повестке дня.

9

Солнце, облака и аэростат существовали в пространстве как бы сами по себе. Однако в действительности находились друг с другом в прямой взаимосвязи.

Солнце, вокруг которого движутся звезды нашей Галактики, давало тепло. Часть его энергии поглощалась воздухом, океаном, землей. Остальная энергия отражалась обратно. Артур измерял количество поглощенного и отраженного тепла, его показатели зависели от широты местоположения аэростата,

времени, облачности... В пасмурный, как сегодня, день до поверхности земли доходило только 20 процентов солнечного тепла. В дни несплошной облачности этот процент повышался до сорока. На экваторе землей поглощается больше тепла, чем отражается. А раз тепло распределяется так неравномерно, то атмосфера стремится рассеять его в более или менее равных пропорциях по всем областям. В этом и заключается секрет циркуляции воздуха, отчего и формируются в атмосфере разные явления, именуемые погодой.

Если бы солнечное тепло распределялось одинаково, у нас бы не было «погоды»: ветра, облаков, осадков — всего, что поддерживает жизнь на земле. Тепло поднимает огромное количество воды с одной части планеты и с помощью облаков несет ее в другие районы мира, нуждающиеся в утолении жажды.

— Восхваляя землю, мы не должны забывать, что наши истинные спасители — это облака, — говорил Артур.

Он просвещал нас со старательностью студента, дающего первый урок в школе в присутствии сурового методиста. И хотя о физике атмосферы мы знали кое-что со школы, теперь воспринимали ее не умозрительно, а как бы ощущали наяву. Протягивали руку — и убеждались, что облака представляют собой не пар, а жидкие частицы воды. В ушах поламывало — и мы убеждались в уменьшавшемся с высотой давлении. Смотрели на горизонт — и по всем этажам видели многообразие облачных форм. Они возникали от вертикальных и горизонтальных токов, от гигантского перемещения холодных масс, стремившихся опуститься, выталкивая поднимающийся вверх теплый воздух.

На высотах от семи до девяти тысяч метров лежали невесомые перистые облака, состоящие из микроскопических ледяных кристалликов. Они возникали от натекания теплого воздуха на холодный и предвещали хорошую погоду.

Под ними громоздились высокостолбистые и высококучевые облака, похожие на комки гигроскопической ваты. Появлялись они на эшелоне от двух до четырех тысяч метров от подъема воздуха над горами или возвышенностями.

Еще ниже клубились слоисто-кучевые, кучевые и кучево-дождевые облака, знакомые нам по ливневым осадкам, снегопадам, жестокой болтанке.

— Облако — как вывеска, оно говорит, чего можно ожидать внутри, — менторски изрекал Артур.

Оболочка нагревалась. Шар поднимался... Через каждые двести метров температура падала на градус по Цельсию. Наши звери пригрелись в спальниках и лежали там, не высываясь. С солнечной стороны пекло, словно от печки, а в тени нарастал иней. Чтобы не обжечься и не обмерзнуть, мы вертелись перед солнцем, как барышни перед зеркалом.

Я получил очередную метеосводку. В ней сообщалось, что

холодный фронт, чуть впереди которого взлетели мы, докатился до Москвы и смещается к югу.

В практической метеорологии рассматривают два фронта: холодный и теплый. Холодный фронт — масса холодного, а следовательно, и тяжелого воздуха вторгается под легкую теплую воздушную массу и, подобно гигантскому клину, поднимает ее. Холодный фронт обычно сопровождается кучевыми облаками, ливнями, большими хлопьями снега. Теплый фронт — теплый воздух, натекая, поднимается над холодным. С ним чаще связывают затяжные осадки.

По тому, как развивалась облачность, мы могли судить, что находимся на температурной границе двух областей.

Артур не исключал, что встретимся мы и с туманами. Они бывают двух типов: туманы адвекции, которые образуются от горизонтального движения воздуха, обычно теплого над холодным, и туманы радиации, вызываемые выделением тепла в пространство, они возникают иногда тихой ночью и стелятся низко над землей, напоминая разлившееся по низинам море.

Было ясно, что, помимо туманов, не избежать нам и гроз, смерчей, обледенения — самых страшных для полетов явлений. Самолет, изменив курс, обойдет их, а мы уйти не сможем и потому попадем в плен этих стихий, подобно пушинке одуванчика, подхваченной ветром.

Да Артур и не собирался их обходить. Для него чем страшнее непогода, тем лучше — больше можно собрать метеорологических данных, которых не получить ни со спутников, ни с ракет, ни с самолетов. Аэростат как бы добровольно летел в котел гигантской погодной кашеварки, не обгоняя ветер, не отставая от него. Наш ученый командир неутомимо следил за самописцами, заносил в журнал показания температуры, давления, влажности воздуха, брал пробы для определения содержания пыли в атмосфере. Его занимало, к примеру, под действием каких причин изменялись свойства воздушных масс с высотой, каким образом менялась температура, которая в конечном счете определяла направление и скорость воздушных потоков.

Ближе к шестикилометровой высоте подъем стал замедляться. Аэростат приближался к рассчитанной еще на земле зоне равновесия. Стрелка вариометра осталась на нуле. Подъемная сила уравнивалась с окружающей атмосферой. Если клапаном стравить немного газа, мы начнем снижаться. Иначе говоря, вес всего сооружения стал бы больше вытесненного им воздуха.

— Держись пока на этой высоте, — сказал Артур Сенечке.

Я взглянул на бортовые часы. С момента взлета прошло более пяти часов. В пятнадцать надо определить точное местонахождение аэростата. Но прежде придется заставить всех пообедать. Есть никому не хотелось. Начинала побаливать

голова. Легкие с трудом втягивали разреженный воздух. В нем было мало кислорода. Нужно было время, чтобы организм привык к высоте.

Вся земля была закрыта облаками. Нечего было надеяться, чтобы найти просвет и увидеть внизу какой-нибудь приметный ориентир. Путь на карте мы определяли методом счисления — довольно изнурительным занятием, имеваемым штурманской прокладкой пути. Здесь учитывались и магнитные склонения, и направление ветра, его сила на разных высотах, и собственная скорость, и девиация¹... Но как бы скрупулезно мы ни выполняли расчеты, все равно не могли с уверенностью назвать точку, над которой сейчас находились. Время от времени мне требовалось настраиваться на радиомаяки, засекал по компасу направление, прокладывал курс на карте.

Когда в пятнадцать часов я проделал эти манипуляции, то понял, что в счислении ошибся километров на полтора. Аэростат несло к югу. А это никак не входило в наши планы. Нам больше бы устроил западный ветер, чтобы он вынес аэростат, скажем, в Сибирь или на Дальний Восток. А северный ветер домчит до Кавказа или Черного моря — и хочешь не хочешь, но заставит садиться.

С набором высоты дышалось все труднее и труднее. Начинался кислородный голод. Но это было еще полбеды. Постепенно стал доимать холод. Несмотря на теплую одежду, унты, меховые перчатки, мороз пробирал до костей. Двигаться мы не могли — в корзине не разбежишься. Никаких нагревательных приборов у нас не было. Не могло быть и речи о каком-либо источнике тепла, связанном с огнем. Мы ведь «висели» на бочке с порохом. Чиркни спичку — и водород, газ вроде бы совсем безобидный, рванет с силой однотонной фугаски. Горячий чай в термосах согревал на несколько минут. Потом зубы снова начинали выстукивать морзянку.

— А если залезть в спальные мешки? — предложил Артур.

— А как работать?

— Так не с головой, только наполовину.

Я откинул брезент, чтобы достать спальники. Митька с тоскующим взглядом сидел на одной стороне. Прощка — в другой. Значит, и собаке и котенку тоже было плохо. В отличие от нас, людей, которые с бедой, болезнью, несчастьем идут к другим людям за помощью или объединяются, животные переносят напасть в одиночку. Почему так распорядилась природа — непонятно. Видно, среди меньших наших существует жестокий и по-своему справедливый закон — не перекладывать свои болячки на других. Когда им становится плохо,

¹ Девиация — отклонение стрелки компаса от направления магнитного меридиана из-за близко расположенных намагниченных тел, месторождений и других причин.

они забиваются куда-нибудь в глушь и умирают без свидетелей.

— Митька... — Артур погладил пса по спине, но тот не вильнул хвостом, не отозвался на ласку.

Я положил перед носом кусок колбасы. Собака, вздохнув, отвернулась.

— Отдаю свой мешок Митьке, — объявил сердобольный Артур.

— К чему такая жертва? — отозвался Сенечка. — Про запас я захватил меховую куртку. Давайте его одевать!

Митька не сопротивлялся. Передние лапы мы просунули в рукава, а поскольку куртка оказалась широка, то полы зашили на спине крупными стежками. Прошку я просто засунул за пазуху. Котенок пригрелся и затих.

Мы сняли с себя парашюты, в спальниках проделали дыры для рук, залезли в мешки, застегнулись наглухо замками-молниями. Не дай-то бог, если что случится с аэростатом и нам срочно придется спастись на парашютах. Запеленатые, точно куколочки, вряд ли мы сумеем вылезти из мешков, надеть парашюты и раскрыть их на безопасном расстоянии от земли... Но как бы страшно ни было пребывать в таком одеянии, перспектива замерзнуть была страшнее. Из двух зол мы выбрали меньшее.

К вечеру газ в оболочке начал охлаждаться. Шар пошел вниз. Сенечка не стал его удерживать на высоте. Отсчитывая через тридцать секунд показания барометра, он вычислял скорость спуска. Она составила 2,5 метра в секунду. То же самое показал вариометр. Стало быть, прибор исправно нес свою службу.

Артур замерил мощность облачности от верхней границы до нижней. Вышло более полутора тысяч метров. Температура от минус двадцати четырех подскочила до плюс восемнадцати.

Земля открылась морем огней. Если прибавить чуть-чуть воображения, огни рисовались в форме гигантской трехпалой лапы. Так выглядела с высоты Тула. Мир сразу наполнился звуками — гудками машин, звоном трамваев, грохотом работающих заводов. Где-то слышалась музыка. В паутине освещенных улиц и переулков мы рассмотрели яркий пятая танцплощадки. Звук долетали до нас так четко, что мы слышали даже возбужденный гул молодой толпы. Аэростат же на черном фоне неба был почти невидим.

Медленно проплыла танцевальная палуба, набитая людьми, потом угол заросшего парка, старинная кладбищенская ограда и полуразрушенная часовня...

И тут до нас донеслись придушенные голоса — нетерпеливый мужской и девичий — ломкий, сопротивляющийся слабо и неумело: «Не надо, Вася...»

Рыцарская душа Артура не выдержала. Он схватил мегафон и басом, точно с того света, крикнул:

— Василий!.. Не балуй!

Оклемавшийся в тепле Митька, почуяв чужих и тоже как бы сердясь, коротко гавкнул. На секунду воцарилась тишина. В следующий миг, как вспугнутый вепрь, рванул неведомый Василий, круша и ломая кустарник. В другую сторону, ошалеv от страха, пустилась его подружка.

Сенечка что-то недовольно пробурчал и сыпанул на землю песок.

— Извини, но мы из-за твоего любопытства могли бы сесть прямо на кладбищенские деревья,— ухмыляясь в темноте, промолвил благородный командир.

Уравновесившись на высоте в километр, Сеня лег спать. Кое-как унездившись на ящиках от приборов, я взял пеленги, передал в штаб сводку и притулился рядом. Артур остался на вахте.

10

Пошли вторые сутки полета. Нагревшись в теплом воздухе у земли, азростат поплыл в высоту. В этот день Артур решил приблизиться к границам стратосферы, о чем мечтали многие воздухоплаватели. Кроме Тиссандье, пытались сделать это американец Грей, испанец Бенито Молас. Они проникли на высоту 12 и 12,5 километра, и оба погибли от удушья. Стало ясно: при температуре минус шестьдесят градусов и в сильно разреженном воздухе человек существовать не может. Чтобы обеспечить жизнь на такой высоте, надо изолировать человека от окружающей среды, иными словами, окружить герметичной оболочкой.

Швейцарский профессор физики Огюст Пикар, впоследствии изобретатель глубоководного батискафа, на котором достиг дна Марианского желоба, в начале тридцатых годов увлекался исследованием так называемых «космических лучей». Это слегка заволаговывающее словосочетание, как будто заимствованное у фантастов, скрывало за собой много загадок, а история их открытия была богата чисто человеческими событиями.

Их открыли совершенно случайно в 1900 году при изучении атмосферного электричества. За них взялся американский физик Роберт Милликен. Он спустил на дно озера глубиной в двадцать метров прибор с фотопленкой, которая в полной темноте засветилась какими-то странными лучами. Ученый повторил свои опыты на земле, закрывая прибор свинцовой плитой. Неизвестные лучи обнаружились снова. Лишь свинцовая броня метровой толщины послужила для них некоторым препятствием, но и ее все же пробивали. Способность проникать через непрозрачные тела у этих лучей оказалась во много раз больше, чем у лучей Рентгена.

Милликен и ввел в научную литературу термин «космические

лучи». Само это название как бы отражало непонимание их природы и происхождения.

Внеземной характер этого таинственного излучения доказал австрийский физик Виктор Гесс. Он предпринял целую серию романтических экспериментов на воздушных шарах. Именно благодаря аэростатам Гесс продвинул вперед науку о космических лучах, обнаружил многие элементарные частицы, например позитроны.

Скоро открытиями Милликена и Гесса заинтересовались ученые других стран. Оказалось, что эти лучи действительно возникают где-то за пределами земной атмосферы, приходят из мирового, космического пространства. Опытным путем определили их проникающую способность — жесткость. Нашли, что космические лучи более жестки, чем особо жесткие лучи радия. Как считает академик Зацепин, каждую секунду на один квадратный метр в направлении земной поверхности влетают из космоса более десяти тысяч релятивистских (летающих со скоростью, близкой к скорости света) заряженных частиц, то есть космических лучей. Происхождение большей части этих лучей, миллионами лет блуждающих в межзвездном пространстве, связано с грандиозными взрывами «сверхновых» звезд в нашей Галактике, а может быть, и в более активных других галактиках. Космические лучи несут в себе громадную энергию. И если когда-нибудь удалось бы приручить хоть часть ее, то совершенно изменилась бы вся экономика земного хозяйства.

«Поймать» космические лучи на земле очень трудно. Их почти целиком поглощает атмосфера, точно так же, как туман — лучи солнца. В погоне за ними ученые стали подниматься высоко в горы, взлетать на воздушных шарах, мечтали проникнуть в стратосферу, где их еще больше.

В тридцатые годы осуществить такую идею было очень и очень нелегко. Практически предстояло решить несколько проблем: как питать гондолу кислородом, очищать ее от вредных газов, выделяемых организмом, поддерживать атмосферное давление, по крайней мере до половины нормального (350—380 миллиметров ртутного столба), обеспечить обогревание или изоляцию от холода, наконец, сделать так, чтобы человек имел свободу движений и мог наблюдать за полетом в иллюминаторы.

Трудностей здесь оказалось больше, чем можно было предполагать, рассуждая теоретически. Прежде всего, гондола, которую ради прочности надо делать металлической, много весит. Следовательно, надо делать громадную оболочку для увеличения подъемной силы аэростата. Весьма сложную задачу представлял и вывод из гондолы органов управления, а также датчиков приборов. Трудно осуществить и хороший обзор, потому что разность давления, возникающая на высоте между

давлением внутри гондолы и все время убывающим давлением атмосферы, заставляла уменьшать диаметр окон и вделывать в иллюминаторы особо прочные, тяжелые стекла.

Это сейчас летают самолеты с околозвуковой скоростью, а мы спокойно воспринимаем сообщения стюардессы о пятнадцатиградусном морозе за бортом и высоте в одиннадцать тысяч метров. Но более пятидесяти лет назад такой полет был сопряжен с громадным риском, и тысячи людей ломали голову над этой задачей, а сотни испытателей гибли на путях к высотам и скоростям.

Свою гондолу Огюст Пикар построил из алюминия. Были отштампованы три куска металла. Когда их сварили вместе, получился легкий шар диаметром чуть более двух метров. В нем проделали два крупных отверстия для люков шириной в полметра и шесть небольших для иллюминаторов. Внутри настелили пол, к нему наглухо приварили два табурета, поставили регенерационные аппараты.

Много места заняли научные приборы — термометры для определения температуры воздуха внутри и снаружи кабины, барометры, высотомер, счетчики космических лучей. Для управления клапаном и разрывным отверстием был установлен штурвал. Наверху гондолы приделали стальной обруч с ушками, чтобы можно было подвесить ее к оболочке аэростата объемом в 14 тысяч кубометров (в такой объем легко поместился бы трехэтажный дом). А внизу соорудили специальную воронку, через которую можно было, не боясь утечки воздуха, выпустить балласт — свинцовую дробь.

Покрасил свою гондолу Пикар в два цвета: одну половину — черным, другую — белым. Черный, как известно, поглощает солнечные лучи, белый — отражает их. Маленький пропеллер должен был в полете поворачивать гондолу, подставляя солнцу то один, то другой бок. Пикар надеялся, что благодаря этому гондола будет нагреваться равномерно.

Для первого полета профессор облюбовал долину недалеко от аэростатной фабрики в Аугсбурге (Бавария). Фирма взяла на себя подготовку материальной части аппарата и командование специально обученными людьми для помощи в момент запуска аэростата. В ясную, тихую погоду на рассвете 14 сентября 1930 года Огюст Пикар и молодой швейцарский физик Пауль Кипфер сели в гондолу и приготовились к взлету. Но вдруг подул сильный ветер. Оболочка, возвышавшаяся на 45 метров от земли, превратилась в парус. Гондолу сбросило со стартовой тележки, зазвенели разбившиеся приборы, запутались стропы.

Только через семь месяцев, 27 мая 1931 года, удалось осуществить полет. На старте, правда, гондола опять упала с тележки и немного деформировалась, но приборы уцелели.

Аэростат стремительно набирал высоту. Люди испытывали такое ощущение, будто летели вверх на скоростном лифте. Но тут у воздухоплавателей заложило уши, возник какой-то свист. Оказалось, что в стенке gondoly образовалась щель, куда устремился драгоценный воздух. К счастью, Пикар предусмотрительно захватил с собой смесь пакли с вазелином. Иначе бы весь воздух вышел наружу, и аэронавты задохнулись бы. Излишек внутреннего давления запрессовал щель волокнами пакли. Свист прекратился. Менее чем за полчаса аэростат достиг высоты 15 километров, уравнился и поплыл горизонтально по ветру.

Однако на этом злоключения не кончились. Штурвалом Пикар стал испытывать клапан для выпуска газа. Крунул раз, другой, третий... никакого результата! Клапанная веревка зацепилась за одну из поясных строп. Он стал орудовать штурвалом, надеясь распутать веревку. Ни к чему хорошему это не привело — веревка оборвалась. Стратостат потерял управляемость. Пикар и его спутник сделались пленниками воздуха... Нет, не воздуха — почти безвоздушного пространства. Теперь они неслись в стратосфере на совсем неуправляемом аэростате.

Почему-то отказало устройство поворота gondoly, и она долгое время висела к солнцу черной стороной. Температура внутри поднялась до сорока градусов жары, хотя снаружи было не менее пятидесяти пяти мороза. Пикар и Кипфер разделись до пояса. Мучила жажда, они взяли с собой всего одну бутылку воды... После полудня, постепенно охлаждаясь, стратостат стал медленно снижаться. Пикар вычислил среднюю скорость спуска. Получалось, что они приземлятся... через пятнадцать дней.

Однако к вечеру аппарат стал спускаться быстрее. Должны в горах потонули в сумерках, в gondole же по-прежнему было светло — ее освещали лучи заходящего солнца. Через 17 часов после старта Пикар и Кипфер сравнительно благополучно опустились на ледник Гургль в тирольских Альпах. Ночь они провели без сна, кутаясь в тонкую ткань оболочки. После жары, пережитой днем в gondole, холод на леднике показался особенно свирепым. Наутро их разыскали местные жители и помогли сойти в долину. Вскоре команда лыжников вывезла с ледника и оболочку. Поврежденную gondolu пришлось бросить.

Первый полет не дал никаких научных результатов. Однако Пикар многому в этом полете научился. Он внес в управление аэростата серьезные усовершенствования. Для второго старта был выбран аэродром Дюбендорф возле Цюриха, защищенный от ветра горами. Взлет состоялся 18 августа 1932 года. В полет с Пикаром отправился ассистент Козинс. Механизм клапана работал безотказно. Gondola хорошо держала воздух. Но поскольку пропеллер перестал повиноваться и в этот раз, кабина опять оказалась повернутой к солнцу одной сторо-

ной — теперь белой. Температура в гондоле понизилась до двенадцати градусов мороза. Аэростат взвился над вечноснежными Альпами, установил мировой рекорд высоты, достигнув 16 370 метров. Затем воздушные течения вынесли его в Ломбардию. Дальше лежало Адриатическое море, и Пикар решил начать спуск. Выпуская газ через клапан, он медленно вошел в тропосферу, на высоте около 4000 метров открыл люки и, высунувшись наружу, увидел чудный пейзаж — страну, купающуюся в солище. Затем аэронавты выбросили гайдроп, сбросили балласт и приземлились на поле.

В этом полете Пикар и Козинс собрали ценные научные сведения. Им удалось определить, что в стратосфере космических лучей больше, чем у поверхности земли.

Позднее Пикар выпустил книжку «Над облаками», где описал конструкцию своего стратостата, привел множество расчетов, выписок из бортового журнала. Все последующие конструкции стратостатов были схожи с высотным аппаратом Пикара.

В книге есть глава: «Какой высоты может достигнуть человек?» Отвечая на этот вопрос, Пикар сделал вывод: свободный аэростат может достичь высот от 20 до 30 километров, хотя трудности снаряжения и полета, а также размеры риска будут пропорционально увеличиваться.

Вскоре американцы соорудили аэростат объемом в 24 тысячи кубометров и назвали его «Век прогресса». Старт 21 августа 1933 года прошел удачно. В гондоле летели военные пилоты Сеттль и Фордней. За полтора часа стратостат поднялся на 18 628 метров. Но здесь аппарат подхватил страшный ветер. За несколько часов его отнесло от места вылета на 600 километров. Когда Сеттль и Фордней начали спускаться, они уже были недалеко от Атлантического океана. Им грозила гибель в волнах. Тогда Сеттль стал ускорять спуск, выпуская из клапана много водорода. Стратонавтам удалось приземлиться на суше и спастись.

Осенью того же 1933 года взлетел первый советский стратостат «СССР-1». Пилот-воздухоплаватель Бирибаум, инженер Годунов и командир стратостата Прокофьев достигли высоты 19 километров, взяли пробы воздуха с различных слоев тропосферы, определили количество космических лучей, провели аэрологические и метеорологические наблюдения. Аэронавты с успехом выполнили научную программу и опустились недалеко от Коломны в ста километрах от Москвы.

30 января 1934 года взлетел стратостат «Осоавиахим-1». Он достиг невиданной высоты — 22 километра. Однако вскоре попал в ураган. Удерживающие гондолу стропы оборвались, и она камнем полетела к земле. Смерть аэронавтов Петра Федосеевко, Андрея Васенко, Ильи Усыкина потрясла совет-

ский народ. Урны с их прахом были замурованы в Кремлевской стене под гром орудийного салюта.

До 18 километров на стратостате «Эксплорер» («Разведчик») долетели американцы Стивенс, Андерсен и Кептнер. Их шар был в три с половиной раза больше, чем «СССР-1» и «Осоавиахим-1». Однако оболочка лопнула. Стратонавтам пришлось спастись на парашютах... Несмотря на аварию, Стивенс и Андерсен не побоялись снова полететь в стратосферу на аппарате, вчетверо большем наших стратостатов. На старте «Эксплорер-2» возвышался на 95 метров, достигая высоты 25-этажного дома. Чтобы ветер не мешал взлету, его выпускали из долины в горах Южной Дакоты. Но когда стратостат начал подъем, ветер подхватил его и понес на горный склон, покрытый лесом. Пилот Стивенс не растерялся и в этот раз. Он быстро открыл механизм для сбрасывания балласта. Дождем посыпалась мелкая дробь. «Эксплорер-2» оторвался от вершин. Затем он поднялся на высоту 22 066 метров.

В солнечный день 26 июня 1935 года полетел третий советский стратостат «СССР-1-бис». На борту находились пилот Зилле, конструктор Прилуцкий и профессор Вериге. Гондолу нарочно перегрузили балластом, чтобы осталось больше времени для научных наблюдений. К 12 часам дня стратостат достиг высоты 16 километров. Научные наблюдения были закончены, и пилот собирался начать спуск. Вдруг в нижней части оболочки появилась трещина. Под давлением газа разрыв стал увеличиваться. Стратонавты сбросили весь балласт, по возможности замедляя падение. Когда опустились в тропосферу и можно было открыть люки, Вериге и Прилуцкий выпрыгнули в тропосферу с парашютами. Остался в гондоле один Зилле. Он управлял спуском до самого приземления. Облегченная гондола мягко коснулась земли. Все приборы, даже стеклянные колбы с пробами воздуха, остались целыми.

Таким трудным оказался путь в стратосферу. Позднее было предпринято еще несколько полетов — в Испании, Германии, Италии, Америке, Новой Зеландии. Из десяти попыток проникнуть в высокие воздушные слои половина оканчивалась либо аварией, либо катастрофой...

Ну а потом началось время рекордов гигантов-самолетов и самолетов-малюток. Загремели имена отважных молодых летчиков: Коккинаки, Громова, Чкалова, Водопьянова, Леваневского, Каманина, Ляпидевского... Крылья и «пламенный мотор» оказались надежнее, быстрее, дешевле аэростатов. Даже когда еще не было реактивных двигателей и делом отдаленного будущего считалась герметичная кабина, летчики уже начали «бомбардировать» стратосферу.

Из всех рекордов, каких достиг за свою долгую жизнь Владимир Константинович Коккинаки, самым трудным он счи-

тал полет в стратосферу 21 ноября 1935 года. Более двух лет бесстрашный испытатель готовился к нему, приучал свой могучий организм к разреженному воздуху. Одноместный истребитель он «раздел» как только мог: отрезал половину топливного бака, снял некоторые приборы, отпиллил половину ручки управления, вместо кресла подвесил ремешки...

С земли видели, как его самолетик стал круто забирать вверх. Мотор работал на полную мощность. Скоро истребитель превратился в черную точку, а потом и совсем исчез. Лишь тонкая серебристая ниточка, стелющаяся за самолетом, виднелась в синеве. На аэродроме гадали, сможет ли «наш Кокки» (так звали Владимира Константиновича его товарищи) дотянуть хотя бы до 13 километров. Выше, по теории, человеческий организм выдержать не мог. Одноглазый «король воздуха» Вилли Пост летел на высоте 11 километров в комбинезоне из прочной прорезиненной материи, не пропускающей воздуха, на голове его вместо шлема был стальной колпак с круглым стеклом-иллюминатором. В таком виде он пересек без посадки весь североамериканский материк, что считалось замечательным достижением. В скафандре, по существу герметичной кабине из мягкого материала, Вилли Пост готовился установить мировой рекорд высоты. Однако осуществить мечту не успел — разбился во время кругосветного перелета.

У Коккинаки скафандра не было. Закутан он был в меховую одежду, но все равно страшно мерз. Температура упала до минус шестидесяти. Одеревенела правая рука, держащая ручку управления. Мотор задыхался от напряжения. Самолет летел тише и тише, медленно добирая последние сотни метров высоты. А внизу расстилалась Москва, покрытая дымкой, угадывались петли Москвы-реки, Кремль, железные дороги, заводы, дачные поселки...

Вдруг гул смолк. Пропал в небе и белый след. Лишь директор завода и конструктор истребителя знали: Коккинаки собирался подниматься, пока хватит бензина, а потом станет планировать с выключенным мотором. Так и случилось. Скоро показался самолетик, спускавшийся по спирали. Через несколько минут он пронесся над аэродромом и приземлился. Из открытой кабины вылез закутанный в меха летчик, выпрямился, расправил богатырские плечи и с наслаждением вдохнул земной воздух полной грудью... На ленте барографа прочитали достигнутую высоту — 14 750 метров. Это было даже больше предела для незащищенного живого организма. Выше без специального костюма уже никто не поднимался.

Штурмуя высоты, летчики знали, что их ждет в стратосфере, так как до них там побывали аэронавты. Они им проложили дорогу. Значит, и в этой победе была несомненная заслуга воздухоплавания.

...Наш аэростат поднимался все выше и выше.

Над собой мы видели серебристую сферу оболочки с черным зевом аппендикса. От нее к подвесному кольцу опускались стропы. У обруча в разных концах висели два мешочка. В белом лежал конец от клапаниной вожжи, в красном — от разрывной тесьмы, которая пригодится только при посадке. Внизу растекалось белое море облаков. «Им в грядущем нет желанья, им прошедшего не жаль...»

А вокруг было небо — такого красивого неба мы никогда не видели. Оно казалось слоистым, точно прозрачное желе. Светлое, как туман, у горизонта, а выше размытая голубизна постепенно переходила в синеву. Там белел овал молодой луны, такой же яркий, каким мы видим его ночью. А еще выше, к зениту, нависала шапка фиолетовой полусферы. Однако все краски перекрывало жарко пылавшее солнце. Сетка, снасти, корзина, приборы — все было в сверкающем инее, точно деревья в морозный ясный день.

— Смотрите! — крикнул Сенечка.

Мы оглянулись и уставились на него. У Сенечки уже отросла щетина. В тени на ней висели сосульки, но когда он поворачивался лицом к солнцу, наледь мгновенно таяла, превращаясь в капельки влаги.

— Да вы не на меня! Кругом поглядите! — обвел он рукой в толстой меховой перчатке.

Вокруг корзины кружило, искрясь, белое облако. Оно состояло из крошечных невесомых игл, образовавшихся от нашего дыхания. Артур вытащил черный фанерный лист, выставил плашмя на теневую сторону. Шурша и позванивая, иголки стали ложиться на него. Когда Артур повернул фанеру к солнцу, иглы растаяли, остались капельки.

— Ну конечно же, это конденсирующиеся пары! — воскликнул командир.

— Но почему облако такое большое?

— Возможно, этот иней не только от нашего дыхания, но и от конденсации паров внутри аэростата. А может быть, наш сильно нагретый шар вызвал поток восходящего воздуха и при охлаждении влага превратилась в иглы... — Артур достал бортовой журнал, поглядел на приборы и стал записывать их показания. Потом он снова поймал иглы на фанеру и сфотографировал «явление» крупным планом.

Почувствовав, что замерзает, нервно замяукал Прошка. Теперь он сам просился под куртку, где ему было тепло и спокойно. Митька в своей длинной одежде, как в расе, пока крепился, хотя дышал тяжело.

— Надо приучить его к маске, — озабочился Сенечка.

Словно кляпом, он заткнул собаке пасть резиновой маской, хотел прижать ремешками намордника, но пес подумал, что его

собрались душить, и, конечно, стал сопротивляться. Он сначала подбру-поздорову хотел спрятаться в ворохе нмущества, но Сенечка проявил настойчивость. Тогда Митька, как на борцовском ковре, рывком свалил Сенечку и прижал к полу.

— У-у, образина... Еще рычит,— обидчиво пронзес Сенечка, признав поражение.

— Ему надо показать пример,— посоветовал Артур.

Мы надели кислородные маски. Собака озадаченно глядела то на одного, то на другого, узнавая и не узнавая нас. Потом нерешительно вильнула хвостом, подставила морду Артуру. Тот без труда надел маску и повернул вентиль баллона. Митька задышал, шумно втягивая воздух.

Сенечка, чувствовавший азростат как ногу в сапоге, опять насторожился. Поглядел на оболочку, взглянул на приборы — ничего подозрительного не заметил. Свесил голову вниз — и окаменел. Мы проследили за его взглядом. На ослепительно клубящемся фоне облаков отражалась в непривычном ракурсе тень азростата, а вокруг переливались, сияли радужные кольца. Их блистающая пляска не походила ни на привычную радугу, ни на полярное сияние. Это было явление другого порядка — таинственное, диковинное, бесовское.

Дрожащими от волнения пальцами я раскрыл футляр фотоаппарата, заряженного цветной пленкой, заменил «полтинник» «телевиком», стал снимать кадр за кадром.

Видимо, такое же наблюдал в 1872 году и Гастон Тиссандье. Это оптическое явление он назвал «ореолом аэронавтов».

В зоне равновесия радуга растворилась. Сенечка взглянул на Артура: не раздумал ли командир лететь выше?

— Давай, давай,— Артур похлопал рукой по мешочкам балласта.— В случае чего, есть чем задержать падение.

Вздыхнув, Сенечка продел палец в петлю, дернул завязку, высыпал из мешка песок. Шар поднялся метров на триста и снова завис.

— Мандражишь? — спросил Артур ехидно.

— Боюсь за оболочку...

— Бояться волков — быть без грибов.

— Пусть Маркони запросит, где мы?

— Еще не время.

— На всякий опасный...

Отважный Сенечка, оказывается, опасался аварии всерьез. Оболочка была сильно нагрета. От напряженного внутреннего давления шар гудел, точно барабан. Лететь выше — означало терять балласт и газ. Не выдержит шов оболочки, тогда шар лопнет как мыльный пузырь — и ныряй с парашютом неизвестно куда.

У радиостанций я запросил пеленги. Мы находились километрах в тридцати юго-восточнее Пензы.

— Не бонсь, Сеня! «Смелого пуля боится, смелого штык не берет».

— Смелого-то как раз и сбивает пуля первым, а осторожный живет,— возразил Сенечка, неохотно развязывая новый мешочек.

Мы забрались на девять тысяч метров. Барометр показывал 230 миллиметров ртутного столба, величину, не отмеченную в табличке, прикрепленной Артуром к приборной доске. Красная ниточка термометра примерзла к цифре 43,5 ниже нуля. Аэростат перемахнул высоту Эвереста (8848). Не скажу, чтобы мы в своей теплой одежде и меховых спальных мешках, вдыхая кислород, чувствовали себя сносно. Нет, мы дрожали от холода, и нам было плохо. И тут я вспомнил известную трагедию шведских аэронавтов, задумавших добраться до Северного полюса на аэростате. Пусть это была безрассудная затея, но сам полет следовало бы отнести к числу героических страниц в истории воздухоплавания, великих путешествий и покорения Арктики.

11 июля 1897 года Соломон Андре, Кнут Френкель и Нильс Стриндберг поднялись с одного из островов Шпицбергена на аэростате «Орел». Через несколько дней почтовый голубь доставил весточку от смельчаков: «Ход хороший. На борту все в порядке...»

Следующее известие об экспедиции было получено... через 33 года. Норвежские зверобой обнаружили трупы аэронавтов на острове Белом. Из дневника Андре выяснилось, что на третий день полета из-за обледенения клапана и оболочки аэростат отяжелел настолько, что подъемная сила оказалась недостаточной. Пришлось опуститься на лед, не одолев и половины расстояния до полюса. Хорошо сохранилась и заснятая фотопленка, ее осторожно проявили. На трагических фотографиях были изображены все трое: живы и здоровы. Они установили аппарат на треноге, навели на резкость и нажали кнопку автоспуска. Позади на льду лежал парализованный аэростат...

После съемки, уложив в сани снаряжение, они двинулись на юг. Сохранив бодрость духа после целого месяца пути, вышли к острову Белому. От продовольственных складов Шпицбергена их отделяло всего 50 миль. Кому-то посчастливилось убить белого медведя. К этому зверю и относилась восторженная запись в дневнике Андре: «Белый медведь — лучший друг полярного исследователя».

И в этот момент триумфа на них обрушивается таинственная беда. Первым умирает Стриндберг, через неделю — Андре и Френкель. В их дневниках нет ничего такого, что объясняло бы их гибель. Они находились во вполне сносных для опытных полярников условиях. Удушье, самоубийство, безумие? Ни одна версия не выдерживала критики. До последнего времени в

книгах по истории Арктики присутствовала фраза: «Гибель Андре и его спутников необъяснима».

Тайну разгадал датский врач Эрпет Адам Трайд. Много лет датчанин затратил на поиски вещественных доказательств. На родине Андре, где в музее хранятся почти все вещи, найденные на месте гибели экспедиции, его внимание привлекла небольшая коробочка с обрезками кожи белого медведя. Ему показали также найденный около палатки медвежий череп, несколько позвонков и ребер животного. Трайд соскреб с костей четырнадцать крохотных кусочков высушенного медвежьего мяса и со своим драгоценным грузом, весившим всего три грамма, вернулся в Копенгаген. Там он передал кусочки мяса в бактериологическую лабораторию. И вот официальный ответ: в обрезках мяса найдены трихинелловые капсулы — возбудители тяжелой болезни трихинеллеза, вызванной употреблением в пищу плохо проваренного заразного мяса. Белый медведь, удостоившийся столь высокой похвалы Андре, оказался невольным виновником трагической гибели аэронавтов...

Мы продолжали полет на прежней высоте. Сенечку по-прежнему сильно беспокоила оболочка. На морозе прорезиненная ткань теряла эластичность, становилась хрупкой. Артур наконец закончил работу с уловителем космических лучей и кивнул пилоту. Тот с облегчением потянул белый конец клапанной стропы. Поближе к земле все же чувствуешь себя уютней, чем в далеких небесах.

По дороге вниз мы сияли кислородные маски, не забыв и Миньку. Уравновесились на трех тысячах метров. Можно было теперь и потрапезничать. В одном из термосов у нас хранился куриный бульон. Однако второе — сублимированное мясо в целлофановых пакетах — так замерзло, что пришлось размачивать его в горячем чае и сосать как леденцы.

Звери пообедали после нас и, почувствовав, что больше никаких испытаний не предвидится, полезли в свой закуток.

11

Перед рассветом мы проснулись от грохота. Внизу, в облаках, неистовствовала гроза. Как вещал нам в училище Громобой, «гроза есть ливень, развившийся из кучевого облака, сопровождаемый громом, молнией, иногда градом». Если кому приходилось лететь через грозу, тот на себе испытал силу мощных вертикальных токов воздуха в грозовом облаке и «преlestь» провалов в воздушные ямы. От этих же воздушных потоков возникают и молнии. Происходит это так: воздушные токи расщепляют дождевые капли на частицы. Один из них, заряженный отрицательным электричеством, уносится прочь, а заря-

женные положительным электричеством сосредоточиваются в других областях облаков; возникает значительная разность напряжения между разнополюсными частями облака и происходит «замыкание», сопровождаемое вспышкой и грохотом.

Летчики обычно обходят грозы, большей частью из-за сильной болтанки, которая вызывает у них основательные перегрузки. Молнии же представляют меньшую опасность, так как попадают в самолет крайне редко. Но конечно, плохо, если самолет окажется на пути электрического разряда...

Однако для аэростатов молнии — злейшие враги. В 1923 году в Бельгии во время состязаний воздушные шары влетели в небольшое грозовое облако. Три аэростата воспламенились от молнии. Пять из шести пилотов были убиты. Оставшиеся в живых на уцелевших шарах получили сильные ожоги.

К счастью, мы находились выше метавшихся молний и хлестких грозовых раскатов. Однако какой-то блудливый нисходящий ток захватил нас и потянул вниз. Сенечка бросился к баллону, но его удержал Артур:

— Подожди, поглядим, куда затянет!

— К черту на рога!

Гондола окунулась в мокрую мерзость. И вот тут-то мы увидели как образуется град. Падающие дождевые капли подхватывались восходящими токами и подбрасывались в слой, где температура была ниже точки замерзания. Капли превращались в льдинки. Оттуда они летели обратно, но вновь подкидывались восходящим током, как шарик пинг-понга. И продолжалась эта свистопляска до тех пор, пока замерзшая капля-градина за время своих подскоков не увеличивалась до голубинового яйца и становилась настолько тяжелой, что летела к земле, перебарывая сильнейший восходящий ток.

Судьба как бы нарочно показала нам это чудо и выбросила из грозовых облаков. Ну разве кто бы когда-нибудь увидел такое без аэростата?!

...Холодный фронт, впереди которого мы взлетали в Москве, рассеялся в районе Элисты. Наконец нам открылась земля, кое-где исчерченная прямоугольниками вспаханных полей, паутинками разбегающихся дорог, петель речек. Селений в этих степях было мало. Но виднелись кибитки чабаинов и недалеко от них белые облачка перекаत्याщихся овечьих отар.

По тени на земле можно было определить, как медленно плыл наш аэростат. Рассчитывать курс было не к чему, поскольку приметные ориентиры, обозначенные на карте, просматривались километров за тридцать вперед.

Мы легли на спальные, собрались подремать, но сон не шел. С ним вообще не ладилось. Привыкли к диван-кроватям, разлелись, как коты. Маленькое неудобство — и спать невозможно! Думали: намаемся в тесной своей корзине, научимся

спать и сидя и стоя. Однако не научились. Чем дальше, тем хуже.

— Сея, ты жить хочешь? — спросил я, чтобы втянуть его в разговор.

— По-моему, и Митька хочет.

— Митька — животное. У них самоубийством кончают лишь индюки да киты. Да и самоубийством ли? А ты человек!

— Честно говоря, коптить не хочется, — вдруг признался Сея и завозился, стараясь развернуться ко мне. — Я ведь как жил? Лихо! После окончания Сасовского училища гражданской авиации на «Аниушке» Тюмень и всю тундру облетал. Перешел в Обсерваторию. Еще веселей! На аэростатах такое вытворял, что сам удивлялся. А потом свериули летиный отдел, и очутился я как шука в луже... У каждого человека, видать, есть свои звездные годы. У одного — короче, у другого — длинней. У меня проиеслись они быстрее кометы Галлея. Жизнь-то позади оставил в своих шестидесятих. Дальше уж ничего не светит.

— Быть может, после нашего полета что-то изменится?..

— Кто знает? Но мне уж летать не придется, другие начнут — кто моложе, когтистей.

Помолчали, думая каждый о своем. Сея закрыл глаза. Заснул, кажется.

На горизонте показалась охровая от камыша-сухостоя дельта Волги. Множество рукавов разбегалось в стороны, дробилось в камышовых зарослях. По дымке вдали можно было предположить, что там лежала Астрахань. Мы пролетали восточнее города.

Под нами плыли солончаки с плешинами ораижевых песков. Ни одной живой души, ни одного домика. Только темнела железная дорога Астрахань — Гурьев. По ней уныло ползла зеленая гусеница пассажирского поезда. Прикинул скорость. Навигационная линейка показала сто километров в час. Так когда-то летал незабвенный ПО-2, «кукурузник», «русиш фанерей», как звали его в войну гитлеровцы... Но если приземляться, то надо здесь. Дальше будет поздно. В плавнях и камышах мы сгнием навяряка. Не успеют нас отыскать и вытащить.

Запросил метеосводку. Особенно интересовался направлением ветра по высотам. Ответ не обрадовал. Везде дул северный ветер с тенденцией смениться на иужий нам западный. Но когда? Я протянул Артуру карту с помеченным пунктиром курсом:

— Несет в Каспий. На всех высотах от тысячи до семи ветер с юрда...

Артур так увлекся своими метеорологическими делами, что поначалу не понял серьезности положения.

— Ну и пусть несет, — сказал он.

— Ты что, трехиулся? Это же море!

— Прости, не понимаю, что тебя всполошило?

— Над морем погибли десятки аэростатов. Если что — нас не спасут парашюты! А надувной лодки нет!

Теперь до Артура дошло. Длинное бородатое лицо его вытянулось. Он прикусил губу, напрягши свои извилины.

— У меня такие оригинальные наблюдения идут, — проговорил он с огорчением и оглянулся на приборы.

Я тоже не очень-то стремился обрывать полет. Хотелось дожить до конца, пока есть еда, есть силы, есть балласт. Конечно, полет над морем мог стать для нас гибельным. Но мы рассчитывали на лучшее.

— Давай Семена спросим, — Артур наклонился над Сенечкой.

— Меня не надо спрашивать, — он вдруг открыл глаза. — Я как вы.

— Мы — за!

— А вот начальство будет против.

Как раз в этот миг запыликала радиостанция. Вызывали нас. В штабе, где прочерчивался наш курс, тоже ушами не хлопали, поняли — нас несет в Каспий. По всем наставлениям, которых придерживались аэронавты, над морем летать запрещалось. Наставлениям надо верить — они писались кровью. Это вдалбливали каждому, кто хотел летать. Двое итальянских воздухоплателей рискнули перелететь Средиземное море. Их шар попал в потоки, особенно сильные над водой. Аэронавты боролись как могли, то сбрасывая груз, то стравливая газ. Но стропы не выдержали перегрузок. Гоидола оторвалась от подвесного кольца и упала в море.

Эти же немилосердные турбулентные беспорядочные потоки угрожали нам. Если даже выдержат стропы, может лопнуть старая оболочка, потерявшая былую прочность.

Неведомый радист упорно вызывал меня. Он просил, требовал отозваться. Но я медлил. Отвечу, когда придет решение. Артур обвел нас взглядом:

— Так летим?

Сеня хлопнул перчаткой по краю корзины:

— Эх, семь бед, один ответ!

Я кинулся к приемнику, отозвался. И тут же на борт сыпанул сердитый текст: «Немедленно садитесь. Это приказ. Морозейкин». Ответил: «Ничего не слышу, понять не могу». Так я играл в кошки-мышки минут пять, хорошо представляя, какой переполох творится сейчас в штабе. Ну, а потом выполнять приказание стало поздно. Нас выносило прямо в Каспийское море...

С высоты оно виделось плоским и очень далеким, спокойным и не страшным. Но когда шар стал снижаться, мы поняли, что море яростно шумит. Рев его был каким-то особенным и ужасающим. Когда плывешь на теплоходе, то улавливаешь удары волн о корпус. Стоя на берегу, мы прежде всего слышим прибой,

шелест гальки, грохот подводных камней. Однако подлинный гул из-за этих помех не доходит до нас. Теперь же, когда невдалеке вздымались волны и бросались одна на другую, рев казался буйным, недобрый и неправдоподобно глубоким, как у трубы, звучащей на самых низких басах.

Ни Морозейкин, ни Стрекалис, ни авиационное начальство до нас не добрались. Зато нам устроила порку стихия. Взмаламученные потоки вцепились в шар зубами и начали трепать, как обозленный Трезор ненавистную кошку. Ветер то бросал к волнам, то подфутболивал вверх. Нас вдавливало в пол, точно прессом. Оболочка подозрительно скрипела.

Сенечка с Артуром смотрели на воду, стараясь узнать: смешается ли наша тень. Она подскакивала на пенных волнах, какне бываюти при жестоком шторме, но понять, движемся мы или висим на месте, было нельзя. Оставалось гадать, чем все это кончится, напустив на себя спокойствие. Все равно мы ничем себе помочь не могли, и нам теперь уж тоже никто не поможет. Мы сами поставили себя в такое положение.

Корзину трепало, как шлюпку в бурю. Мы цеплялись за ее края. Тот же бешеный вихрь, который помыкал нами, трепал и оболочку вокруг аппендикса.

Истощенный вопль подняли звери. Митька заметался по корзине, опрокидывая термоса, баллоны, приборы, батареи. Прощка взвился по толстому канату гайдропа к подвесному кольцу и орал, словно с него сдирали шкуру.

Достигнув какого-то невидимого потолка, аэростат валнулся вниз. Пол уходил из-под ног, выворачивало внутренности. У самых волн, какие поднимал десятибалльный шторм, гондола с шумом врезалась в тугую прослойку воздуха и снова подскакивала к небесам. А мы смахивали с лица соленые капли брызг. Сбросив треть оставшихся мешочков с песком, выкинув пустой кислородный баллон, мы искали спасения на большой высоте.

Основательно намяв нам бока, судьба, в конце концов, смиловилась над нами. Через несколько часов мы обнаружили, что попали в струю западного ветра. Она понесла аэростат на восток в сторону спасительного берега.

Показался корабль. Было видно, как он боролся со штормом, работая машинами на полную мощность — от его форштевия в обе стороны разбегались волны, похожие на седые усы. Значит, мы не одни. Уж если не спасут, то увидят, как гибли, сообщат...

Вскоре по горизонту пролегла фиолетовая полоска суши. Потом появился фрегат с белыми парусами. По мере приближения ковчег распадался, ширился и уже стройной флотилией

развертывался фронтом, словно перед баталией. Артур посмотрел в бинокль. Восьмикратно увеличенная флотилия мгновенно потеряла свою сказочность. Это были не корабли, а строй светлых многоэтажек с островками парков, озелененными проспектами, фонтанами. Это был город Шевченко — один из молодых городов полынно-солончакового и песчаного полуострова Маингышлак, возникший на месте глинобитного поселка Актау.

«Настоящая пустыня! Песок да камень, хоть бы травка, хоть бы деревцо — ничего нет!» — воскликнул в отчаянии Тарас Шевченко. В здешнем форту поэт провел семь лет каторжной солдатчины. Царь знал, куда ссылать неугодных вольнодумцев. Здесь нет ни одной речки или озера с пресной водой. Пятидесятиградусная летняя жара испепеляет все живое, зимой выжигают пустыню сорокаградусные морозы. Воду для питья привозили с другой стороны Каспийского моря.

Шевченко, по существу, был первым для нас городом, над которым мы пролетали днем и могли разглядеть его в деталях. По озелененным проспектам, раздувая пышные фонтаны, шли поливальные машины, пролетали «Волги» и «Жигули», автобусы заглатывали на остановках пестро одетых людей. Видны были здания фабрик каракуля и верблюжьей шерсти, химических заводов, исследовательских институтов и учреждений.

Вынесенную за город атомную станцию, первую в мировой практике оснащенную реактором, работающем на быстрых нейтронах, мы узнали по высоким трубам и корпусам из стекла и бетона. От нее уходили высоковольтные опоры к буровым вышкам и эксплуатационным установкам, темневшим островками в желтой пустыне.

У города не было привычных окраин. Оборвались многоэтажки, исчезла извилистая лента рукотворных насаждений, напоминавшая крепостную стену, и потянулись, насколько хватал глаз, барханы. Освещенные малиновым закатом, они терялись вдаль, сливаясь на горизонте с сизыми сумерками.

Во время очередного радиосеанса Морозейкин спросил, почему не работала рация, когда нас несло в море. По радиогамме тона не уловишь, но было и так понятно, что начальство за нас переволновалось не меньше, чем мы сами. Ответил: заменял у приемника конденсатор и связь держать не мог. Виктор Васильевич еще поинтересовался, сколько осталось балласта, как самочувствие экипажа, и разрешил лететь дальше.

Артур, наблюдавший за мной, подозрительно спросил:

— Ты что радуешься, как семеро козлят?

— Жить хорошо, Арик! Мы летим! — Я накрыл рацию чехлом, потянулся, напрягая занемевшую спину.

— Тогда ужинать — и бай-бай!

— Может, кагору хлебием?

— Договорились же: после посадки!

...В эту ночь выспаться не удалось. Растолкал Артур. Он дежурил с полуночи до четырех утра.

— Братцы, что-то происходит там...— при слабом свете луны его лицо было белым, как у мима.

Чертыхаясь, мы вылезли из спальных мешков, посмотрели вниз. Темень. Классик сказал бы: «Не видно ни зги». Вдруг вспыхнул огонек, промчался бесшумно, точно стрела, и пропал за горизонтом. Следом вспыхнул другой огонь, тоже чиркнул метеором по аспидной земле.

— Стреляют? — предположил Сеня шепотом.

— А где грохот?

— Может, лазер?..

В одном месте огненные линии заматались вкривь и вкось. У нас зашевелились волосы.

— Где летим? — Сенечка включил фонарик, посмотрел на карту.— Судя по курсу, Голодная степь... Пожалуй, надо поставить в известность штаб.

— А чем он поможет?

— Ничем, но разъяснит...

— Огни же нам не мешают,— вмешался я.— Если какие-нибудь испытания, так уберемся подобру-поздорову и станем помалкивать.

Этот совет не устроил Артура:

— Садись за рацию, работай на аварийной волне.

Работать не хотелось. Хотелось спать. Наклоился над рацией, прикинулся, что собираюсь исполнить приказ. По затылку скользил лунный свет. Стоп! Кажется, осенило. Поглядел на луну, вниз посмотрел. Ну конечно же! Поехали по шерсть — вернулись стрижеными.

— Все же удивляюсь ученым людям,— начал я с подкожкой.— И глядят, да не видят...

Артур насторожился:

— Ну-ну, продолжай!

— Это же оросительные каналы преображенной Голодной степи. Газеты читать надо!

— Каналы?!

— Попадают в лунную дорожку, отражаются, а тебе мерещится всякий вздор.

Поворчав, я полез в спальный мешок. Сквозь дрему слышал, как Артур поднял на вахту Сею и сам тут же заснул, задиристо засвистел простуженным носом. Наверное, я забылся на каких-нибудь полчаса, и тут трясет мой спальник уже Сенечка.

— Ну, что еще? — сердито спросил я, поняв, что сои не верить и надо вставать.

— Тарелка!

— Да вы спятили! Одному — лазеры, другому — тарелка...

— Да нет, в самом деле! — Семен взглядом показал на светящийся вдали шар величиной с копейку, добавил злое: — Ей-богу, тарелка!

Испугавшись, что неопознанный летающий объект может внезапно исчезнуть, я схватил фотоаппарат, поставил самую большую выдержку и начал шелкать затвором.

Придушенная утренняя пляска разбудила Артура. Он быстро выпростался из мешка, обеспокоенно поглядел на нас.

Почти на равном удалении от большого шара по обе стороны висели еще три светлячка поменьше.

— Тот главный, а эти — разведка! — сказал Сеня.

Утверждают, что НЛО нет и быть не может. Бывший флаг-штурман полярной авиации Валентин Иванович Аккуратов, которому я верю больше других людей, и тот рассказывал, что видел во время одного из полетов нечто подобное неземному аппарату. Да и мы не ослепли! Мы видели! Разное про них писали — и что в плен захватить могут, и сжечь, и забить до смерти... Стало страшно. В таких случаях первым делом отказывала рация. Я повернул выключатель — «Маяк» работал, передавал малахольную музыку. Однако светящийся шар с шариками-спутниками не удалялся и не приближался, словно присматривались. Мы двигались, и они перемещались с той же скоростью.

— Сейчас посовещаются и съедят, — тихо проговорил Артур.

Он заинтересованно смотрел не столько на шары, сколько на нас.

— Да ты очки протри! — с суеверным страхом воскликнул Сенечка. — Видишь, у них бортовые огни?!

— И музыка вроде играет, — Артур упрямо не понимал серьезности положения.

— Маркони! Все-таки передай в штаб: видим неопознанный летающий объект... — Сеня часто-часто заморгал белесыми ресницами.

Я вопросительно взглянул на Артура.

— Ничего не передавай, засмеют, — сказал Артур. — А тебе, Сеня, стыдно не знать. Чему только вас учили перед полетом, академики?! Это же Юпитер — самая большая звезда Солнечной системы. В здешних широтах на рассвете Юпитер появляется на горизонте. Звезды поменьше — просто из другой Галактики.

Сенечка не поленился вытащить навигационный справочник.

— Точно, Юпитер... — Он смущенно почесал затылок.

Артур мстительно рассмеялся:

— От худого ума — беда. Так-то, братцы сердечные...

Трудно рассказать обо всем, чем занимался наш ученый командир. У него было много приборов. Сами по себе они ни о чем не говорили. Отсчитывали свои миллибары, метры, градусы, икс-лучи... Но, отталкиваясь от частного, он как бы решал глобальные задачи, которые тревожили людей.

Делая пробы воздуха, он убеждался в увеличивающемся количестве углекислоты в атмосфере, о чем ему говорил Гай-городов перед полетом. В цепи взаимосвязанных экологических колец из-за массовой вырубki лесов, варварской эксплуатации пастбищ и пахоты, чудовищного выброса промышленных отходов, неупорядоченного роста городов в подлунном нашем мире происходили необратимые процессы, которые вели к заметному потеплению планеты. Быстрее стали таять ледники в полярных областях и на горных массивах. Уровень Мирового океана за последние сто лет повысился на 10—15 сантиметров...

Мы летели над пустыней. Мы видели дела людей — каналы, лесопосадки, оазисы. И все же зеленые островки оставались островками в безбрежье барханов, такыров, соленых мертвых озер. И если опять-таки окинуть мир всеохватным взглядом, получится печальная картина. Не за столетие, не за полвека, а за один-единственный год площадь пустынь увеличивается на 20 миллионов гектаров. Сегодня опустынивание угрожает трети суши планеты. Чтобы бороться с нашествием песков, нужны точные цифры потерь. Чтобы узнать причину поражений, нужна разведка по всем фронтам — от стратосферы, космоса до глубин Земли. И данные, собираемые Артуром, шли в общую копилку знаний для грядущего наступления на засуху, ураганы, землетрясения, голод...

Сеня удерживал высоту, с беспокойством отмечая утечку газа из оболочки. Он уже пересчитал все оставшееся имущество и сбросил тару, чтобы сэкономить мешочки с песком. Из восьмидесяти семи их оставалось тридцать два. Если прибавить к этим шестидесяти четырем килограммам вес последнего баллона с кислородом, который тоже скоро придется выбросить, да пустые термосы из-под чая и бульона, то получится около ста килограммов. Запас для более или менее благополучной посадки, в общем-то, критический. Но не сильный западный ветер нес аэростат в сторону восточного Казахстана, так что Сенечка тянул на честном слове, мечтая как можно дольше продлить полет.

Вдруг снизу захлопали выстрелы. В облачке седой пыли неслись по степи сайгаки. За ними гнался УАЗик с тремя стрелками. Кто-то из них увидел наш «пупыр». Машина остановилась. Стрелки, сверху похожие на блох, повыскакивали на землю и стали громко кричать, тыча руками в небо. Кто-то из них первым

сообразил стрелять, вскинул ружье и начал палить. Высотомер показывал две тысячи метров. Но непонятно, какое оружие было у людей. Если карабины, то могли достать запросто. Тогда одной пули хватит, чтобы сбить нас. Сеия второпях выкинул сразу десять мешочков, пытаясь скорей уйти от огня.

— Прекратите стрелять! — что есть силы закричал в мегафон Артур.

Но браконьеров уже захватил азарт. Крика они не слышали, вскочили в машину и понеслись за нами, паля на ходу.

— Помните, какие-то начальники резвятся, — чуть не плача, простонал Сеия.

Тогда разъяренный Артур выдернул из наших узлов ружье «Барс», вогнал в ствол патрон и выстрелил.

— Дай-ка мне! — еще в училище я наловчился неплохо стрелять, брал первенство на окружных соревнованиях. Как на стенде, положил ложе на бортик корзины, повел мушку перед мотором УАЗика, попридержал дыхание и спустил курок.

Машина дернулась, будто влетела в колдобину. Скорее всего, в цель я не попал, было далеко, однако до браконьеров дошло: на «пупыре» летели вооруженные люди. Развернувшись, они дали тягу. Я и Артур издали войль восторга, однако Сенечка был удручен — двадцать килограммов балласта как не бывало.

— Хочешь не хочешь, а вечером придется садиться, — сказал он.

— Поставь в известность землю, — распорядился Артур.

Вызвать ближайшую станцию труда не составляло. Диспетчер откликнулся тут же. Я назвал квадрат и сказал, что аэростат обстреляли трое неизвестных на зеленом УАЗике, вооруженных карабинами или винтовками, просил принять меры.

Надо полагать, сообщение вызвало панику. Дальнейшее смахивало на авантюрный рассказец. Минут через десять диспетчер передал, что к месту происшествия вылетел военный вертолет с группой захвата. Вскоре мы услышали рокот. Вертолет пролетел ниже, раскручивая серебряные винты. УАЗик начал петлять, но вертолет спикировал коршуном и прижал к заросшей камышом речке. В бинокль было видно, как распахнулась дверца, на землю высыпало отделение десантников в пятнистой маскировочной форме. Сайгаки к этому времени скрылись. Браконьеры сложили оружие. Кажется, порок был наказан, восторжествовала добродетель...

После обеда горизонт стало заволакивать тучами. Они вылуплялись как бы из ничего. Всего минуту назад разливалась синева. Внезапно появилось «кучево-дождевое облако грозового характера» — как определил бы наш Громобой, первый наставник метеорологии, склонный к точности терминов. Из облака потянулась вихреобразная воронка, даже не воронка, а веретенообразная дуга лиловой окраски. Бешено раскрутив-

шнсь, она коснулась земли, подняла тучу пыли и понеслась по степи, играючи вырванными кустарниками и травой.

Нацеливаясь фотоаппаратом, Артур объяснил:

— Этого чертенка зовут торнадо. Как он образовывается? Здесь пока много неясного. Рассуждая логически, можно предположить, что имеет место повышение температурного градиента до величины, значительно превышающей адиабатический градиент...

Блеснув очками, он помолчал, глядя на наши разинутые рты. Убедившись, что ни я, ни Сеня ничего не поняли, попытался объяснить более популярно:

— Внутри смерча возникает очень низкое давление — вполнну меньше нормального. Вблизи ветер настолько силен, что возникает «взрывной эффект». Он рушит дома, опрокидывает поезда, срывает опоры электропередач, как это случилось в Иванове и Смоленской области... Теперь поняли?

— Как бы не угодить в него,— проговорил Сенечка, с настороженностью следя за бесновавшимся волчком.

— Он уже теряет силу,— успокоил Артур.

Смерч опять всосался в облако и там потерялся.

— А теперь, братцы-академики, давайте решать, когда будем садиться,— сказал командир, помедлив.

Я прикинул на карте, куда нас вынесет к вечеру. Получалось — в степь северней Балхаша. Больших населенных пунктов вблизи не было. Никому не доставим неприятностей, хотя придется долго ждать помощи. В воздухе мы находились более восьмидесяти часов, изрядно устали, успели обрести и обгореть на солнце, как в высокогорье.

— Дальше лететь рискованно,— высказал благоразумную мысль Сеня.

Принялись упаковывать вещи, снимать приборы, связывать спальники и палатку, вкладывать в ящики жесткую и хрупкую утварь вроде бинокля и фотоаппаратов. В свой спальник я засунул термос с кагором.

Митька с курткой освоился как со своей и высказал удовольствие, когда я распорол стежки и вытряхнул его из тепла. На километровой высоте термометр фиксировал плюс двадцать два. К вечеру, конечно, похолодает, но мы уже начнем приземляться.

Артур составил для штаба многострочную радиограмму. Я запросил местные метеостанции о силе ветра у земли. Передавали умеренный северо-западный с порывами до десяти метров в секунду. Сеня крикнул. Значит, аэростат будет мчаться у земли со скоростью трактора «Кировец» — километров сорок в час. Гондола, понятно, побьется, не говоря уж о нас, грешных. Недаром же посадку на аэростате остряки называют «управляемым несчастным случаем».

Вечерело. Шар поиемиогу терял высоту. Чтобы он не набрал ускорение, Сеичка сбросил кислородный баллон и песок из Прошкиной и Митькиной уборной. Я определил пеленги, поочередно настраиваясь на все маяки, находящиеся в зоне радиообмена. О предполагаемом квадрате приземления передал в штаб и в республиканское управление гидрометеослужбы в Алма-Ату. Закончив передачу, свернул рацию, вытянул антенну. Теперь уж в воздухе она не пригодится.

— А ведь в поле-то придется под шанкой ночевать,— проговорил Артур, глядя на пустынную степь.

Сеня старательно, как продавец в присутствии инспектора ОБХСС, стал отмерять совком последние дозы песка, затем потянулся к стропе, ведущей к клапану аэростата. С кротким всхлипом сработала крышка, прижатая пружинами. Подъемная сила уменьшилась. Навстречу понеслась земля, кое-где испещренная строчками строп. В последних лучах уходящего солнца мелькнуло вдали несколько малых поселков с глинобитными овчарнями на околице.

Артур отвязал конец гайдропа. Вниз, разматываясь, полетела бухта толстого веревочного троса. Из красного мешочка над головой Сеня достал стропу разрывного отверстия. Стрелка высотомера приближалась к нулю, хотя конец гайдропа еще болтался в воздухе. Спускались мы довольно быстро. Артур сбросил тук с парашютами, чтобы замедлить падение.

Теперь важно было дернуть разрывную вожжу в нужный момент: не слишком рано — иначе корзина сильно ударится о землю, и не очень поздно — в этом случае оболочку, откуда не полностью выйдет газ, вместе с гондолой будет долго тащить по степи.

Я вцепился в стропы. Неотвратно и жутко приближалось поле в кочках верблюжатника и вереска, полыни и ковыля. Только сейчас на посадке мы почувствовали, как сильно дул ветер и страшна была сыра-земля.

Гайдроп поднял пыль, вызвав сумятицу у сусликов и сурков.

— Двадцать пять, двадцать...— начал считать Артур, определяя на глаз расстояние, потому что уже ни один прибор не действовал.

Гайдроп извивался змеей, шелкая хвостом, как кнутом. Почуввав нашу нервозность, в угол забились Митька с Прошкой.

— Десять... Семь...

Чтобы наполненная газом оболочка долго не волочилась по земле и водород не взорвался бы от трения, надо было поскорей расстаться с газом. Рука Сени с намотанной на ладонь красной стропой дернулась. Вверху затрещала лента разрывной щели. Выдох как у кита-финвала. Газ рванулся из оболочки, точно узник на волю. Гайдроп начал таскать корзину из стороны в сторону.

— Ноль! — взывл Артур, но еще успел докричать: — Держись!

Ивовая корзина с лёта врезалась в землю, как в гранит. Раздался терзающий душу скрип. Спружинив от удара, корзина подскочила метров на пять, накренилась так, что из нее посыпалась поклажа. Бухнулась вновь, опять подпрыгнула, выбивая из нас дух, словно пыль из ковра. Что-то тяжелое пребольно кололо по бокам и голове. По лицу хлестали стропы. Свободной рукой я хотел дотянуться до Митьки, чтобы его удержать, но пес уже был вынесен и повержен. За котенка я не боялся. Прошка при любом раскладе приземлялся на все четыре.

Через минуту боковым зрением я заметил Митьку. Он несся за нами, делая, как и корзина, большие прыжки.

Корзину тащило метров сто, пока не вышел весь газ и не улеглась оболочка. Гордое творение наших рук теперь съежилось, испустило дух, превратившись в бесформенный ворох серебристой ткани.

На карачках мы выползли из груды имущества. У Сенечки заплыл глаз. Артур держался за щеку, откуда вырвало кусок бороды. Поднявшись на ноги, мы почувствовали, как студенисто плывет и качается земля. Ощупали руки, ноги — вроде целы...

Артур поглядел на часы. Они показывали восемнадцать сорок. Стало быть, с момента взлета прошло 84 часа, трое с половинной суток.

Уже в затухающих сумерках мы стащили в одну кучу вещи, растерянные при посадке. Ни разбить палатку, ни залезть в спальные мешки не было сил. Неодолимый сон навалился на нас. Артур и Сенечка подсунули под головы парашюты и тут же затихли. Я лег на оболочку, положил голову на спальник, поискал положение, при котором бы ничего не болело, но, кажется, так и уснул, не найдя.

14

«Не изведав горя, не узнаешь радости» — так утверждает пословица. Жаркое солнце било в глаза. Я кряхтел, морщился, пытался повернуться на другой бок, но даже сквозь сомкнутые веки раздражал ослепляющий свет, упорно взывал к пробуждению. Наконец собрался с духом и сел, охнув от боли. Болело все — от макушки до пяток, как после побоев. С усилием разлепил глаза — и взревел от страха. На меня смотрела дьявольская морда. В панике я треснул по ней кулаком, вскочил на ноги. И тут понял: нас окружала тысячная орава овец. Поджарые после летней стрижки, похожие на гончих, животные, отпихивая друг друга, молча лезли на распластанную по земле оболочку, слизывая влагу, которую мы стащили с хо-

лодного неба. Митька так же молча гонял их, но отара, презрев страх, бросалась с другой стороны к образовавшимся на непромокаемой ткани лужицам.

Овцы хотели пить — это ясно. Но где же чабаны? Почему они бросили животных на произвол судьбы? Пииками я расшвырял наиболее оголтелых. Острыми копытцами они могли порвать оболочку — как-никак, а казенное имущество.

Артур и Сенечка проснулись уже после того, как оболочка просохла и овцы отхлынули, а вожаки-козлы взирали издали воинственно и недобро.

Мы еще раз прошлись по степи до того места, где корзина впервые ткнулась в землю, подобрали разбросанную мелочь — экспонометр, патроны, Сенечкину запасную куртку, потерянный Артуром унт, мой нож в кожаном чехле... Потом сложили оболочку, как укладывают парашюты, подогнав стропу к стропе.

Я развернул рацию. Перед посадкой я упаковывал ее в деревянный ящик, выложенный изнутри поролоном. Приемник работал, однако передатчик отказал. Стал искать повреждение, не особенно веря в успех. После такой «мягкой» посадки не то что тонкий механизм с ювелирной пайкой, а орудийный лафет развалился бы на куски.

Стало припекать. Мы вылезли из меховых одеяний, оставшихся в свитерах и спортивных брюках.

— Где же все-таки люди? — недоумевал Артур, озираясь на овец, безмолвным кольцом окруживших нас.

— По карте отсюда в семи километрах к северу поселок Карабулак. А восточней — в десяти — Джанысгой... Не может же быть, чтобы люди не видели нас, — сказал Сенечка.

— Если из поселков не заметили, то чабаны-то должны видеть! Может, прячутся?

— У нас рога, что ли? — возмутился Артур.

Он расхаживал, заложив руки за спину, и вдруг замер. Мы вытянули шеи. Со всех сторон, обкладывая нас, как волков, мчались всадики. Под копытами вилась густая пыль.

— Тут что-то не так, — прошептал Артур, бледнея.

Лава приближалась. До нас донеслись воинственные крики, гиканье. Наездники мчались, держа наперевес ружья и вилы. Сенечка потянулся к «Барсу», но Артур одернул его:

— Не смей! Истопчут!

— И пойдем как бычки под кувалду? — огрызнулся Сеня, хотя уже ясно видел, что остановить выстрелом осатаневшую от гоики лавину было невозможно.

Передние на всем скаку попытались затормозить, но давили задние, образовалась куча мала. Я и рта не успел раскрыть, как кто-то заломил мне руки за спину и начал туго вязать веревкой. Рядом безмолвно бился Сенечка. Артур кричал,

однако его вопли не доходили до торопких, деловых степняков, привыкших укрощать не то что людей, а трехлеток-жеребчиков.

Дольше всех отбивался Митька, но и он скоро исчез из поля зрения. Котенчишку, наверное, вообще затоптали.

Через минуту-другую мы тюфяками валялись в пыли, расхристанные, обезоруженные, грязные. Один из всадников — крепыш в лисьем малахае и пиджаке в клеточку — поднял руку с плеткой на кисти. Крики и гвалт мгновенно стихли.

— Кто такие? — крикнул он фальцетом.

— С этого бы и начали, прежде чем руки-то ломать, — сказал Артур.

Всадник кивком сделал знак. Двое прыгнули с коней, подхватили Артура под мышки, поставили на ноги.

— Все наши документы в планшете.

Кто-то разыскал сумку, услужливо подал всаднику в малахае. Тот читать не стал, а засунул планшет за голеннище мягкого сапога.

— Разберемся, — он стегнул низкорослого конька, крутнулся на месте и вынесся из круга.

Нас перекинули через седла и погнали лошадей. В нос бил крепкий запах конского пота и полыни. Все косточки кричали надсадным криком. Самое скверное — не видно было, куда везут. Лицо билось о тугую лошадиный бок. В глаза, рот и ноздри летели ошметки земли, сухой и соленой на вкус.

Иногда с галопа лошадь переходила на рысь. Тогда тряска делалась совсем невыносимой. Я попытался переменить положение, но получил удар под ребро кнутовищем. Захлебываясь от боли и злости, стал крыть своего лхоеда, его родителей, бабушек и дедушек.

— Дай передохнуть, мочи нет!

Мучитель натянул поводья:

— Хочешь, посажу в седло?

Не дождавшись ответа, он потянул меня за шиворот, вставил в седло, сам уместился на крупе. Я разлепил глаза. Впереди мчалась основная масса доморощенной орды. Там находились Артур и Сенечка. Сзади и по бокам неторопливо рысили те, кто отстал.

В поселок нас не повезли. Сгрузили на выгоне, затолкали в пустую овчарню. Сквозь маленькие оконца мутно тек солнечный свет. От овечьего старого навоза тянуло смрадом. Стала терзать жажда. Пить захотелось мучительно. Артур подошел к воротам, сквозь щели в иссохших досках виднелась жердь засова. Он пнул ногой. Приблизился пожилой бородатый стражник с двустволкой на ремне. Что-то сказал по-казахски.

— Пить дай! — рявкнул Артур.

Караульщик выпалил длинную фразу и ушел в саманную сторожку, где, видно, собирались овцеводы в зимние ночи.

Прошло минут пять. Убедившись, что стражник и не думал поить нас, Артур стал колотиться боком, поскольку руки у него были связаны. Казах рассердился, стал что-то кричать, гневно потрясая ружьем.

— Пить дай, палач! — взревел Артур.

Сторож потоптался, опять протрещал какую-то фразу и скрылся за дверью. Он так и не вышел из домика, хотя Артур раскачал ворота настолько, что они едва не слетели с петель.

— Давайте лучше развяжем руки, — подал мысль Сенечка.

Мы занялись этим делом, но оказалось, что степняки вязали узлы не хуже боцмана-сверхсрочника.

К нашей радости, у деревянного корыта в желобе скопилось немного тухлой воды. Слизывая остатки, я увидел ржавую скобу. Ею была прикреплена к стенке колода. Я привалился к скобе спиной и начал перетирать веревку.

Снаружи послышалось негромкое повизгивание.

— Митька!

Пес бежал овчарню, однако лаза не нашел. Тогда вынюхал место, где можно скорей к нам прокопаться. Артур ногой стал разгребать мусор, чтобы облегчить собаке работу. Вскоре показалась лохматая голова. Взвизгивая от радости, Митька поочередно облизал всем лица. Сенечка подставил ему связанные руки, надеясь, что собака поймет, разгрызет узел зубами. Однако четвероногий воздухоплаватель тут оплошал. Он никак не мог понять, чего от него ждут. Пес махал хвостом, щерился, изображая улыбку, лизал руки, но к веревке не прикасался.

Я перетер связку, помог освободиться от веревок Артуру и Сенечке.

От житейской мудрости, что лучшая защита — это нападение, родился дерзкий план: вылезти Митькиным ходом наружу, обезоружить караульщика, отдать заложника в обмен на ведро воды и свободу. Опасно, конечно, было подставлять себя под внезапный выстрел. У степняков ухо чуткое, рука быстрая. Но не подышать же, пока разберутся!

Однако осуществить это намерение не удалось. Мы увидели приближающуюся со стороны поселка толпу.

— Будут линчевать, — мрачно изрек Артур, уже не вернувший ни во что доброе.

Первыми примчались мальчишки, сорвавшись с уроков. Они облепили щели в овчарне. В проем двери рванулся ослепительный свет. Раскинув руки, в затхлый полумрак овчарни вбежал коренастый знакомец в лисьем малахае и клетчатом пиджаке:

— Ах, какая промашка! Простите, товарищи дорогие!

Его дюжие молодцы подхватили нас под руки, поддерживая и на ходу рассыпаясь в извинениях, вывели на свет божий.

— Пить дайте, — пошевелил пересохшими губами Артур.

Откуда ни возьмись, прямо как в сказке, появились ведро с холодным айраном¹, пиалы. Какой-то мужичонка, по-моему учитель или местный культработник, сообщил, будто в поселке митинг собрался устроить, потом обед, потом отдых...

Ну и поплыло, завертелось. Из центральной усадьбы приехал председатель колхоза с членами правления. Прилетел вертолет с областными чинами. В вольной степи у камышового озера жарко запылали костры. В тазах горами возвышались баурсаки — вроде пресных пончиков на бараньем сале. Сытным запахом лапши и вареного мяса тянуло из многоведерных казанов: делался бешбармак, любимое блюдо казахов, такое же традиционное, как у сибиряков — пельмени, у узбеков — плов, у грузин — шашлык. Ели бешбармак пятью пальцами и днем и звездной ночью. В свете костров виднелись багровые лоснящиеся лица, на темных пальцах сверкал жир. Митька с Прошкой, обьевшись, не казали носа, отсыпались вдали от возбужденной толчеи.

Дуриой скажет, что ел и пил, а умный — что увидел. Так вот играли домбры, из района волнами накатывалась организованная клубная самодеятельность. Танцевали девушки в национальных костюмах. Юицы показывали искусство верховой езды и борьбы. Такого многолюдья поселок никогда не видел.

Как выяснилось, мы опустились в девственную степную глубинку, в одну из дальних бригад, которой командовал крепыш в малахее. Чабаны, увидев в вечернем солнце спускавшийся с неба шар, побросали отары и приехали к бригадир с вестью на взмыленных конях. Бригадир кое-что слышал о летающих тарелках, пришельцах из космоса и шпионах, которые на какие только хитрости ни пускаются, лишь бы перескочить через священные рубежи. Поскольку телеграфной и телефонной связи не было, он тут же послал нарочного на центральную усадьбу, лежавшую чуть ли не в сотне километров. Сам же с верными людьми обскакал ближние айлы, поднял народ, вооружив всем, что под руку подвернулось, и утром тепленькими взял нас в полон.

Нарочный тем временем добрался до председателя. К нему уже пришла телеграмма о возможном приземлении аэростата на колхозной территории. Просили позаботиться о воздухоплавателях и организовать отправку их имущества в Москву. Боевого и скорого на расправу бригадира председатель хорошо знал. Он тут же погнал нарочного обратно, дав лучшего иноходца, а вскоре и сам выехал навстречу, прихватив с собой членов правления.

Когда мы со всеми перецеловались, признались в вечной дружбе, я, улучив момент, подступил к бригадире:

¹ Айран — разболтанная в воде простокваша.

— Скажи, дорогой Жонатай, куда девался термос с кагором?

— Какой кагор, зачем кагор?! — заволиновался простодушный Жонатай, пряча глаза под рыжим малахаем. — Кушай барашка, пей кумыс, пожалуйста. Не надо кагора!

Я понял, что напиток, добытый Стрекалосом, уже не вернешь. Чистосердечные новые друзья собрали все потерянные нами вещи, привезли баллон из-под кислорода и термосы, сброшенные перед посадкой, отыскивали в степи даже мою авторучку, однако кагор исчез, будто его и не было.

Через неделю оболочку, приборы и другое обсерваторское имущество погрузили на машины и увезли к железнодорожной станции. Сеня поехал сопровождать груз, захватив Митьку и Прошку, поскольку пути аэрофлота для животных заказаны. Меня с Артуром вертолет доставил до Алма-Аты и оттуда на рейсовом «ТУ» мы вылетели домой.

В пассажирском салоне было уютно, чисто, тепло. От жгучего высотного солнца защищали синие светофильтры в иллюминаторах. Внизу, пенясь, меняя очертания, проплывали облака. Еще недавно мы трогали их своими руками. Доведется ли вновь изведать то непередаваемое чувство блаженства, какое возникает лишь в полете на аэростате, когда не гудят двигатели, не вибрирует кабина и на сотни километров вокруг царит глубокая, величественная, космическая тишина?..

Профессор Огюст Пикар, летавший на стратостате, яростно защищал воздухоплавание. Полемизируя с противниками, он задавал вопрос: будет ли воздушный шар окончательно забыт или сдан в музей? Нет, утверждал он, шар все же останется свободным аэростатом, и на него будут смотреть как на прекрасный вид спорта, он дает человеку наиболее чистое наслаждение. Говорят: «Свободный аэростат — игрушка ветров. Какой цели он служит? Его даже нельзя направлять по желанию. Его место в сарае...»

«Свободный аэростат служит свободе, наблюдательности, прогрессу, возвышению души, — доказывал Пикар. — Не достаточно ли этого? Мы, воздухоплаватели, высоко ценим свободный аэростат. Кто обвинил бы швейную машину за то, что она не способна молоть кофе? Кто осудил бы кофейную мельницу за то, что она не может шить? Хороша сама по себе всякая вещь, выполняющая свое назначение».

Разумеется, управлять самолетом легче, чем аэростатом. Но нам показалось обидным, что такому великодепному изобретению человека позволили умереть. Теперь нам стали близки и понятны чувства Самюэля Фергюсона, героя романа «Пять недель на воздушном шаре», когда он поет гимн воздухоплаванию:

«Мне слишком жарко — я поднимаюсь выше; мне холод-

но — я спускаюсь; гора на моем пути — я перелетаю; пропасть, река — переносюсь через них; разразится гроза — я уйду выше нее; встретится поток — промчусь над ним, словно птица. Продвигаюсь я вперед, не зная усталости, и останавливаюсь, в сущности, не для отдыха. Я парю над неведомыми странами... Я мчусь с быстротой урагана то в поднебесье, то над самой землей, и карта Африки разворачивается перед моими глазами, будто страница гигантского атласа...»

Мы пролетали не над Африкой, да и Жюль Верн, кажется, не летал сам на аэростате, но как поразительно точно он передал ощущение свободного полета! Мир вымысла оказался таким же, как и реальность: тишина, плавное парение в прозрачном воздухе... Аэростат сам решает, куда нести, не требуя ежесекундного внимания. На нем не надо всматриваться в сужающуюся ленту дороги. Вместо этого виден огромный мир, мягко очерченный окружностью горизонта.

Удастся ли вернуть к жизни воздухоплавание в нашей стране?

Хочется верить — удастся. Американцы, англичане, французы, итальянцы вовсю парят на воздушных шарах. Устраивают спортивные гонки, перелетают через Атлантику и Альпы, исследуют атмосферу. Парят где хотят и как заблагорассудится. Новые дакроновые материалы прочнее и легче прорезиненного шелка. Оболочки умещаются в обычном автомобильном багажнике. Подъемная сила — теплый воздух от горелки, вроде той, что у нас в кухне на газовой плите, баллон с пропаном и бутаном.

Недавно свою лепту в историю приключений внес отважный воздухоплаватель Крис Дьюхерст. Австралийская экспедиция, возглавляемая им, покорила несколько гималайских восьмитысячников, пролетев над ними на воздушных шарах. Шестеро путешественников на двух аэростатах стартовали ранним утром из восточного района Непала. На высоте 8500 метров они проплыли над царством льда и вечного снега Тибетского плато, над восьмитысячниками Гауризанкар, Чо-Ойю и четырьмя другими, пролетели рядом с крутым конусом Эвереста и приземлились в долине Паич Покхари.

Кроме метеорологических исследований и спортивных перелетов, аэростат с успехом мог бы работать на картографию в точной съемке местности, геологию, вооруженную чуткими приборами для поиска ископаемых, на хозяйство — из своей корзины мы прекрасно видели следы караванных троп и засыпанных песком засохших рек, которые служат людям лучшими путеводителями в освоении пустынь. Аэростаты пришли на помощь даже такой далекой от воздухоплавания науке, как археология. Американский профессор Кент Уикс, например, отправился в свои археологические розыски в гондоле воз-

душного шара. С высоты птичьего полета он прощупывал землю магнитометрами и радаром, искал развалины и захоронения. Свой опыт он проводил на территории Египта, известного своими богатейшими древними памятниками.

Разве нам не под силу создать легкие и надежные синтетические оболочки, сделать удобные горелки для подогрева воздуха, найти безопасные газовые смеси? Неужели мы не станем заниматься воздухоплаванием, этим замечательным полезным делом?! Аэростаты имеют на небо такое же право, как самолет, планер, дельтаплан. И пусть уже не мы, а более молодые и дерзновенные полетят на них к облакам.



Михаил Шпагин

ПОЧТОВЫЙ ФЕНОМЕН

Когда повезет побывать у моря, мы не только купаемся, загораем, но и находим время собрать горстку обточенных волнами камушков. Зачем? Да просто так, ради забавы. Некоторые потом увозят гальку домой — на память. Это, конечно, еще не коллекционирование, но уже бессознательные подступы к нему. Кстати, вполне возможно, что коллекционирование началось именно с камушков — их, аккуратно собранные и сложенные, находили при раскопках стоянок древнего человека.

Что еще собирали наши далекие предки? Раковины, кости, во множестве встречающиеся в известняке окаменелости — остатки давно вымершей фауны...

А что собирают сейчас?

Ответить на этот вопрос, пожалуй, даже труднее. Автографы, бабочек, виньетки, грампластинки, древние рукописи... Перечисление можно смело начать в порядке алфавита и продолжить с любой буквы. Не верите? Пожалуйста, начнем хотя бы с буквы «о»: открытки; а потом — пословицы и поговорки, растения, самовары, трубки... Современные коллекционеры ведут поиск в семиста с лишним направлениях — цифра куда большая, чем число букв в алфавите!

Из семисот с лишним видов коллекционирования филателия несравненно популярнее и распространеннее всех остальных, быть может, даже вместе взятых. Задуманная как знак почтовой оплаты, марка стала всеобщей любимицей, предметом увлечения сотен миллионов людей. О почтовой марке, как об одном из удивительных изобретений, чья судьба сложилась неожиданно даже для ее создателей, я и хочу рассказать. А эпиграфом к рассказу пусть будут слова известного советского полярника и увлеченного филателиста Эрнста Теодоровича Кренкеля:

Появление марки является логическим этапом в развитии всей культуры человечества... Потребовались многие века на создание политических и социально-экономических предпосылок, письменность, грамотность, бумага, транспорт, прежде чем появилась почтовая марка.

СПОРНЫЙ ТИТУЛ ИЛИ КТО ИЗОБРЕЛ МАРКУ

Член парламента Смит твердо усвоил, что государственный деятель должен уметь давать вещам не только точную, но и лаконичную оценку. Правда, на этот раз она соскользнула с языка сама собой. Что за хаос царит на королевской почте — всем известно. Но бороться с ним с помощью марок, этих маленьких картинок, которые предлагает Роуленд Хилл, — бессмысленно. Видно, сельский учитель, чье дело — готовить детей к взрослой жизни, сам впал в детство, раз считает, что какие-то «кусочки бумаги, достаточные для того, чтобы на них поставить почтовый штемпель, и покрытые с одной стороны клеем, дающим возможность после увлажнения прикрепить их к письму», смогут совершить то, что не под силу даже парламенту. Смит высказал свою точку зрения не задумываясь: «Абсурд».

И тем самым обеспечил место (не самое почетное) своему имени в истории почты. Еще бы! Вопреки безапелляционному приговору британского парламентария, с 1840 по 1973 год все страны мира, вместе взятые, выпустили четверть миллиарда марок; к двухтысячному году это число, возможно, возрастет почти вдвое.

Как видите, Роуленд Хилл оказался более чем прав. Что там королевская почта — прав во всемирном масштабе! Молва нарекла его «отцом почтовой марки», а сам он заслужил благодарную память многих поколений потомков, по сравнению с которой такие почести, как орден Бани, титул баронета, место в палате лордов, назначение королевским генерал-почтмейстером и даже памятник против здания Лондонской биржи, кажутся незначительными.

С титулом, дарованным королевой, у сэра Роуленда Хилла обошлось без сложностей. А вот с титулом отца почтовой марки они были. Первым начал его оспаривать Джеймс Чалмерс из небольшого английского городка Данди — издатель, книготорговец и редактор местной газеты. Он еще в 1834 году пришел к идее создания марок. Сначала изобретатель представлял их себе в виде удостоверявших взыскание стоимости пересылки письма круглых бумажных наклеек. Интересно, что уже первые образцы Чалмерс догадался погасить штемпелем. Когда марки, наконец, увидят свет, те из них, что использованы, почтовые

работники будут перечеркивать крест-накрест пером, не сразу поняв, что штемпель и привычнее и удобнее.

Сотрудникам, друзьям и деловым людям города Данди эскизы наклеек понравились. Ободренный, Чалмерс послал их в Лондон, в Генеральное почтовое управление. Но безрезультатно. В 1838 году Чалмерс печатает в типографии новые образцы марок и отправляет их с пояснениями в парламентскую комиссию по почтовым реформам и Торговый комитет. Несколько этих марок сохранилось до наших дней в Кенсингтонском музее. Они уже четырехугольной, то есть, самой распространенной сейчас, удобной формы. На одной из марок силуэт королевы — явное сходство с проектом Хилла.

На этот раз идея получила поддержку. Но перед парламентариями оказалось две программы преобразования почты. Та, что предложена Роулендом Хиллом, была разработана детальнее. Она и ложится в основу принятого в 1839 году «Закона о почтовой реформе». Чалмерс же остается в стороне.

Еще один претендент на титул отца почтовой марки появился, когда ей исполнилось 18 лет, и она, по теперешним понятиям, отпраздновала свое совершеннолетие. Именно в это время словенец Ловренц Кошир опубликовал брошюру. В ней он рассказывал, что еще в 1836 году предложил австро-венгерскому правительству проект реформы почтового дела, в котором была предусмотрена и «почтовая марка для письма». Увы, придворная палата его императорского величества Фердинанда I отклонила предложения неизвестного чиновника. Но еще до того Кошир поделился своими соображениями с одним английским торговым агентом, и идея «уплыла» в Лондон.

Роуленд Хилл энергично отстаивал собственный приоритет в спорах с Патриком Чалмерсом — сыном и ближайшим свидетелем работы Джеймса над созданием марки. Главным козырем с обеих сторон, как и следовало ожидать, оказалось изображение королевы, которое было в проектах выпущенных и не утвержденных марок. Что же до Ловренца Кошира, то, по словам современников, на его обвинения Хилл никак не реагировал. И это дает повод некоторым исследователям предположить, что он мог быть знаком с идеями скромного помощника почтового счетовода.

А как обстоит дело, если от домыслов обратиться только к фактам? То, что Чалмерс создал марки, подтверждают сохранившиеся до наших дней документы, в том числе свидетельства жителей Данди, письма государственных деятелей того времени и, наконец, хранящиеся в Кенсингтонском музее образцы. Для проверки версии Кошира была создана специальная комиссия. Выяснилось, что в 1836 году австро-венгерское правительство действительно поступило недальновидно. Надо сказать, что высокопоставленные чиновники осознали это

с большим опозданием: предложения Кошира использовали лишь в 1850 году, после образования Германско-Австрийского Союза, через десять лет после выхода в свет первой официальной почтовой марки в английском исполнении.

К Роуленду Хиллу идея почтовой марки пришла позднее, чем к Чалмерсу и Коширу. В выпущенной им в 1837 году брошюре «Почтовая реформа, ее значение и осуществимость» нет еще ни слова о марках. Больше того, Хилл буквально ниячился с проектом первой английской марки, скрупулезно взвешивал каждую деталь и никак не ожидал, что «черный пенни» (так ее прозвали за цвет и за стоимость) будет пользоваться головокружительным успехом. Главную надежду он возлагал на выпущенные одновременно с марками конверты с обозначением стоимости пересылки корреспонденции. Но рисунок на конверте, выполненный популярным художником Вильямом Малреди, приглашенным специально для этой цели самим министром финансов, публике не понравился.

И все же, когда реформатора британской почты Роуленда Хилла называют «отцом почтовой марки», ошибки нет. Пусть не он ее изобрел, но по справедливому замечанию видных английских филателистов братьев Уильямс, «как бы то ни было, факт остается фактом — одних идей недостаточно, чтобы добиться практических результатов, и никто не будет оспаривать приоритет Роуленда Хилла в том, что он первым осуществил свою идею — ввел в употребление приклеиваемую почтовую марку».

А теперь, когда мы рассудили спор изобретателей, давайте вчитаемся в эпитеты, сопутствующие в цитате слову «марка»: приклеиваемая, почтовая. Значит, существовали и другие, не почтовые марки?

Да, и притом различного назначения: гербовые, налоговые, благотворительные. Все они дожили до наших дней. Правда, теперь уже никто не купит марку в знак уплаты шляпного или обойного налогов, как полагалось в старой Англии.

Марки были, но связать их судьбу с письмами до Чалмерса никто не додумался. Впрочем, исследователи из Греции утверждают, что первые почтовые марки появились в этой стране после 1828 года, когда здесь провели почтовую реформу. Но это из области домыслов, пока не подкрепленных убедительными фактами.

Эпитет «приклеиваемая» тоже не случаен: ведь есть знаки почтовой оплаты без клея — напечатанные на конвертах. Известны и марки-квитанции. Их продавали в Берлине в 1828 году. Отправитель отдавал марку-квитанцию работнику почты вместе с письмом. Тот гасил ее календарным штемпелем и возвращал обратно, а весточка отправлялась в путь. Похожие квитанции позднее появились и в Петербурге.

Однако, оказывается, квитанции об оплате почтового сбора

применялись в Париже уже в 1653 году! Никакой опечатки в дате нет — с 18 июля этого года здесь действовала организованная откупщиком Ренуаром де Виллаيه «Petite poste» — «малая почта».

Мы проследили историю изобретения марки, теперь же давайте спустимся по лестнице времени и посмотрим, чем оно было подготовлено, вызвано к жизни.

ПО ЛЕСТНИЦЕ ВРЕМЕНИ

Конные гонцы — вередарии — мчались из великого Рима по разным дорогам, навстречу солнцу и оставляя его за спиной. Меряли время цокотом копыт и мечтали о чем-нибудь вроде шпор, которые еще не были изобретены. На станциях их ждали новые лошади с попонами вместо седел и все те же дороги, ведущие к военным лагерям империи. В сумах лежали завернутые в холстину восковые таблички с приказом императора. Холщовые обертки запечатаны с указанием, когда их вскрыть. Все одновременно — и тогда воля Октавиана Августа будет ведома каждому, надо только успеть к сроку вручить таблички военачальникам.

И вередарии успели. В назначенный Цезарем день десятки тысяч беглых рабов-воинов, чьи мечи помогли Октавиану взойти на трон, были арестованы. Часть из них снова стала собственностью хозяев, остальных казнили...

Этот трагический эпизод — яркая иллюстрация одной из характерных особенностей древних почт. Римская почта называлась публичной, но на самом деле была лишь рычагом управления рабовладельческим государством. Прибегать к услугам «Курсус публикус» могли только император и ограниченный круг должностных лиц. Для простых смертных она оставалась практически недоступной. Богачи могли рассчитывать на собственных гонцов, люди победнее — на оказии. «Хотя писание писем и превосходный способ беседовать и поддерживать отношения с далеко живущими друзьями, но, к сожалению, нет возможности доставлять эти письма по назначению», — сетовал Цицерон.

Четырнадцать столетий спустя, в 1464 году, король Людовик XI учреждает во Франции государственную курьерскую почту столь же, если не еще более недоступную: курьеру, решившемуся прихватить по дороге частное письмо, грозит смертная казнь. Людовик жаждет одного — «узнавать быстро сведения из всех провинций и сообщать по его (то есть короля) усмотрению сведения от себя».

Монополия на скорую информацию обо всем, что происходит в стране, для хитрого, дальновидного монарха дороже денег

Ради нее он забывает, что почта может приносить не только траты, но и доход — ведь за доставку частной корреспонденции люди готовы платить. Однако Людовик XI предпочитает обогащаться иначе — подчиняя феодалов, прибирая к рукам их владения и сокровища.

Лишь в самом конце XIV века французская государственная почта становится общедоступной. Проходит еще три десятка лет, и кардинал Ришелье добивается запрета на все остальные виды пересылки писем. Правда, руководит им не просто благое желание пополнить королевскую казну Ришелье — «изобретатель» потаенного «черного кабинета», где, начиная с 1628 года, специальные чиновники читали чужие письма, беря на заметку все, что могло представлять интерес для короля и кардинала. Он, как и Людовик XI, стремится обладать полной информацией о событиях и настроениях в стране и ничем не гнушается ради этого.

На следующей ступеньке лестницы времени — уже знакомый нам Ренуар де Виллаи. Но прежде чем заглянуть к нему, давайте подведем итоги.

Уже в Древнем Риме государственная почта была регулярной.

Спустя приблизительно полтора тысячелетия она стала доступной и для населения.

Появился конверт — письмо, свернутое текстом внутрь и запечатанное отщипнутой на сургуче или воске печатью. На сегодняшний не похож, однако уже может сохранить тайну переписки от праздного любопытства (люди Ришелье здесь, конечно, в виду не имеются)

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ ОТКУПЩИК

Чтобы переслать весточку — на соседнюю улицу или же в другой конец города, — прежде парижане обращались к привратнику или дворнику с просьбой, подкрепленной звонкой монетой. С лета 1653 года обязанности по доставке корреспонденции взяла на себя «малая почта». Каждый, кто хотел воспользоваться ею, мог купить специальную квитанцию — они продавались в разных местах города, в том числе и королевском дворце. Как выглядели эти далекие предшественницы современных марок, никто точно не знает — вполне вероятно, их розыск теперь уже вообще бесполезен. Они были, конечно, гораздо крупнее берлинских квитанций и, по-видимому, лентообразные. Об этом можно судить хотя бы по напечатанному на них тексту: «Почтовый сбор уплачен... дня одна тысяча шестьсот пятьдесят третьего года». Обратите внимание: год печатали не цифрами, а словами, — значит, места хватало.

Услугами «малой почты» наверняка пользовался и сам откупщик. Можно представить, как он, закончив деловое письмо, прикрепил к нему квитанцию, проставил число, месяц и, садясь в карету, приказал кучеру остановиться у ближайшего почтового ящика по дороге в контору, разумеется, тоже почтовую. На остановке он вышел, убедился, что к вечеру, перед третьей выемкой корреспонденции, ящик далеко не пуст. Мгновенье поразмыслив, Виллаيه вложил внутрь письма еще одну, незаполненную, квитанцию для заранее оплаченного ответа и присоединил свое послание к другим. Все это — квитанцию и почтовый ящик, трехразовую выемку и разноску писем, предварительную оплату ответного письма — изобрел, предложил, осуществил он, откупщик его величества короля Франции Людовика XIV.

Спустя немного времени письмо Виллаيه вместе с другими извлек из ящика и опустил в сумку один из двухсот городских почтальонов. Доставив весточку на дом, он попросил адресата написать число ее получения на квитанции, где, как мы помним, уже стояла дата отправки. Квитанцию почтальон забрал себе: ее он должен был предъявить в почтовую контору — прародительница почтовой марки успешно совмещала свои финансовые функции с контрольными, помогала следить за точностью и сроками пересылки!

Виллаيه же, приехав в контору, ощутил душевный подъем. Он удалился в кабинет, где его всегда ждали свежеприготовленные чернила и стопа чистой бумаги. Перо с легким поскрипыванием заскользило по листу, связывая слова в предложения: «...многие люди могут писать тем, кого они из-за исключительной вежливости не хотят утруждать уплатой почтового сбора, и, кроме того, можно теперь писать своим адвокатам или уполномоченным или представителям, не вводя их в расходы».

Откупщик его величества отложил перо, прочел написанное и удовлетворенно улыбнулся. «К тому же,— подумал он,— это хорошее дело, помимо удобства людям, приносит доход, и не только казне...»

Итак, есть почта, почтальон, есть конверт. Давайте скорее квитанцию, господин де Виллаيه, и мы отправим письмо королю Франции — пусть знает: вас помнят и в двадцатом веке.

Спасибо, что вы так любезно согласились проводить нас до почтового ящика. Но почему около него сидит кот?

Дождается почтальона? Когда он придет и вынет оттуда мышь?

Как же она попала в ящик?!

Да-да, понятно: ваши враги подбрасывают мышей, чтобы те грызли письма! Кто же они, эти враги?

Дворники и приквратники, которые, пока не было городской почты, прирабатывали, выполняя обязанности гонцов?

Благодарим за разъяснение.

Нет-нет, мы торопимся в Англию...

Очевидно, Ренуар де Виллае был практичным, изобретательным человеком. Современные специалисты считают, что он содействовал развитию основных принципов почтовой марки, а ведь это было чуть ли не за двести лет до появления «черного пенни»! Правда, есть версия, по которой брать деньги вперед за пересылку писем «малой почты» придумала и присоветовала Виллае красивая ветреная принцесса Аниа Бурбои-Конде Лоижевий. И будто бы сделала она это назло кардиналу Мазарини, которого не могла терпеть ни она, ни связанный с ней близкой дружбой генеральный интендант казначейства Франции Никола Фуке. Я верю, что в голове красивой женщины может возникнуть самая толковая идея. Знаю, для того чтобы остаться в памяти потомков, де Виллае довольно было бы и одного только изобретения почтового ящика, за что, кстати, его имя попало в такое солидное издание, как Большая Советская Энциклопедия. Но все-таки твердо убежден: квитанции предварительной оплаты придумал он. Тому есть, как минимум, две веские причины. Хотя версия с принцессой, несомненно, родилась во Франции, но ведь оттуда же и пословица: что бы ни произошло — ищите женщину. И потом, где это видано, чтобы красивые женщины мстили подобным образом?

УРОК ЭКОНОМИСТАМ

...Начало XIX века. Некий английский джентльмен, получив по почте от своего друга бандероль с газетой, осторожно греет ее развернутый лист над камином. На белых бумажных полях проступают коричневые строки. «Теперь я буду писать регулярно, — сообщает друг. — Благо газеты под рукой, а отменных «коровьих чернил» на моей ферме сколько угодно».

Что-то не похоже на переписку заговорщиков. Да, собственно, если здесь и есть заговор, то только против английской почты. Джентльмен улыбается — славную штуку придумал его приятель. Переслать газету стоит гораздо дешевле, чем письмо. Но ведь ее совсем нетрудно превратить в почтовую бумагу, а чтобы никто об этом не догадался, достаточно заменить чернила обыкновенным молоком. И деньгам экономия, и все-таки какое-то развлечение в однообразной сельской жизни...

Почтовая связь расширилась, совершенствовалась. А оплата ее услуг, наоборот, усложнялась. Например, в России в 1807 году пересылка письма за сто верст стоила копейку, за двести — две. Дальше каждая неполная стоверстовка ценилась в копейку, полная — в две. И так, пока не набирался полтинник — самая высокая плата за письмо весом до одного лота.

А ведь этот тариф был весьма простым по сравнению с английским, где приходилось отдельно платить за лист для письма, отдельно — за конверт, иалнчие сургучной печати поднимало цену еще выше. Многие аигличане наловчились избегать всей этой дороговизны и путаницы.

Пример нарушения законов подали те, кто, казалось бы, должен их неукоснительно соблюдать. Вплоть до 1784 года члены британского парламента могли посылать и получать письма бесплатно. Но парламентарии не стеснялись подписывать и пустые конверты — по просьбе экономных родственников и знакомых, слуг — в виде косвенной прибавки к жалованью. Охотников купить у них такие конверты по сходной цене было предостаточно. Наконец, подписи подделывали. И поставлено это было на широкую ногу: когда парламентариев лишили привилегии, почта ощутимо разбогатела.

С течением времени на смену парламентским уловкам пришли другие. Конечно, макать перо в молоко вместо чернил — крайность, были способы и попроще. Например, подчеркнуть в газете слова, прочитав которые, адресат прекрасно поймет, что хотел сообщить отправитель. Или плату взимают с посланного листа. Но ведь когда он дойдет по адресу, его можно разрезать! Эта простая мысль привела к столь же простой уловке — на каждом листе умещали по нескольку деловых писем разным лицам, их разъединение и вручение брал на себя получатель. А еще были, как и во все времена, казнии: порой богатые купцы разорялись на содержании личных гонцов. Казна несла огромные убытки, в борьбе с которыми оказалась бессильна даже сыскная служба «поимщиков письменных курьеров», организованная не иначе, как в отчаянии: один купец, например, получил в 1836 году около 8 тысяч писем; почти 6 тысяч из них были доставлены контрабандным образом.

Возникла парадоксальная ситуация. Днем и ночью мчались во все концы Англии под вооруженной охраной, с невиданной до недавних пор скоростью 7 и более миль в час конные дилижансы королевской почты, а люди прибегали к обману или же вообще не желали пользоваться ее услугами. Требовалось срочное вмешательство экономиста. В роли такового выступил депутат Палаты общин Самюэл Робертс. В 1824, 1829 и 1836 годах он выпустил брошюры, в которых ратовал за введение для писем внутри страны единого, вне зависимости от веса и расстояния пересылки, тарифа в 1 пенс. Этим он, как видите, предвосхитил идеи Роуланда Хилла и помог ему провести реформу. Но и у Робертса был предшественник, да еще какой! В 1583 году польский король Стефан Баторный повелел: «Оплату частиых писем, сдаваемых на почту, мы устанавливаем в 4 польских гроша независимо от отдаленности места, куда отправляются письма».

Итак, не все новое ново и не все старое плохо; верная идея не стареет веками.

То, что было поиятию еще четверть тысячелетия назад польскому королю, современникам Роуланда Хилла казалось предприятием неоправданным и опасным. В самом деле, раньше стоимость пересылки зависела в основном от расстояния, веса письма и способа доставки — все разумно, экономически обосновано. Допустить, чтобы путешествие письма на соседнюю улицу и в другой конец Англии обходилось отправителю в одну и ту же сумму, конечно же, нелепо. Да и сумма смехотворно мала — всего один пенс. Королевская почта сразу прогорит. Правда, сейчас близкая пересылка обходится в целых четыре пенса, а за дальнюю приходится платить и вовсе дорого — полтора шиллинга. Но это говорит лишь о том, что тарифы надо снижать, совершенствовать...

Хороший шахматист охватывает мысленным взором партию в целом. Плохой — никогда не видит ее целиком; перед тем как передвинуть фигуру, он прикидывает, как изменится ситуация через три хода...

«Гвоздем» почтовой реформы, которую предложил Роулэнд Хилл, был единый почтовый тариф, а марка и конверт с напечатанной на нем стоимостью пересылки корреспонденции — главными инструментами ее осуществления. Реформа пробивала себе дорогу с боями. Про нее писали в листовках, газетах, вели ожесточенные споры в гостинных и на стихийно возникавших митингах. Марка выглядела непривычное конверта, поэтому в перепалках ей уделяли большее внимание. И вскоре она стала символом задуманного. Марок еще не было, а мода на них уже возникла — этого не предвидел даже проицательный Хилл.

Скептики оказались посрамлены: с первых же дней продажи марки пошли нарасхват. В 1840 году по сравнению с предыдущим количество писем в Англии возросло больше, чем вдвое. Доставка корреспонденции ускорилась. Теперь, когда почта взимала деньги вне зависимости от расстояния, ее работники стали стремиться пересылать письма кратчайшими маршрутами. (Прежде, увы, наблюдалось обратное явление.)

Сельский учитель разобрался в экономике лучше специалистов: проявив научный подход, он добился блестящих результатов. И степень доктора наук, которую присудит ему Оксфордский университет, — заслуженная ветвь в лавровом венке победителя. А пока что все довольны. Все, кроме врагов — вроде тех, кто подбрасывал мышей в почтовые ящики Парижа. Эти люди распустили слух, будто от клея на марках начинается рак языка.

Как говорит восточная пословица: «Собака лает, а караван идет» И все-таки через 12 лет специальный комитет по по-

чтовым маркам сочтет целесообразным предать гласности рецепт состава: крахмал картофельный и пшеничный плюс столярный клей. Отчет попадет на глаза Чарлзу Диккенсу, и он напишет один из лучших своих памфлетов «Великий секрет британского клея».

ИЗ ПЕРУ ВОКРУГ СВЕТА

— Торопитесь, сеньоры, почта приготовила вам хороший подарок...

Сухощавый, подтянутый чиновник выдержал короткую паузу, дружески подмигнул стоявшему поблизости старнику с бронзово-прокаленным зноем лицом и решительно нажал на рычаг. Из машины показался кусочек бумажной ленты со свежотпечатанной маркой. Чиновник повторил движение. Вслед за первой маркой появилась вторая, третья...

Он аккуратно отделил их, помахал в воздухе — пусть лучше просохнет краска, и, наслаждаясь произведенным эффектом, продолжал:

— Зачем отягощать лошадей тем, что поезд домчит вернее и дешевле? Нашей первой в Южной Америке железной дороге Лима — Кальяо исполняется двадцать лет. И почтовое ведомство решило снизить стоимость перевозок писем по ней вдвое. Готовьте по пять сентаво вместо десяти — и я отпечатаю для каждого вот такую прекрасную марку с изображением паровоза.

— На тебе десять, — протянул монету старик. — И дай две марки. Одну я наклею на письмо в Кальяо. А другую оставляю на память. Покажу внучкам, расскажу им, как двадцать лет назад начинал строить эту дорогу...

Марки бывают стандартные и специальные, памятные. Первые из них постоянно допечатываются, находятся в обращении десятилетиями. Например, созданная еще в 1872 году норвежская «цифра с почтовым рожком» исправно несет службу и по сие время. Специальные же выпуски выходят по определенным поводам — они посвящаются какому-нибудь событию, юбилею, теме. Первой среди них принято считать марку, выпущенную в год двадцатилетия железной дороги Лима — Кальяо.

Чиновник продолжал начатое. Время от времени он заправлял в привезенную из Парижа машинку новую бумажную ленту. Изготовитель первого выпуска специальных марок отдаленно напоминал кассира в нынешнем магазине, но, конечно, не подозревал об этом. Точно так же, как и о том, что со временем его труд станет предметом долгих споров и даже нападок.

Справедливости ради заметим, что споры эти возникли не

скоро, а тогда, когда тронувшийся в путь в 1871 году марочный перуанский локомотив уже сделал свое дело. Был он мало-мощный, путешествовал исключительно в пределах страны (и то громко сказано — длина железной дороги была всего-то 14 километров). А повлиять на выпуск знаков почтовой оплаты во всем мире. Клиентам почты примелькались марки с портретами правителей, гербами и эмблемами. При наличии выбора они отдавали предпочтение другим, с более привлекательным и менее привычным изображением. Изготовители марок стали призадумываться над разнообразием сюжетов. А наибольшие возможности в этом направлении сулили как раз специальные выпуски.

К концу прошлого века у памятных марок наряду со сторонниками появились и противники. Самые ярые, по иронии судьбы, оказались как раз там, где была выпущена первая марка — в Англии. В 1895 году они даже объединились в общество по борьбе с памятными, или, как их еще называют, коммеморативными марками. Результат борьбы всем нам хорошо известен...

Сторонники же новых марок оказались людьми дотошными и решили выяснить — не было ли выпусков, приуроченных к какому-либо событию, до «перуанского паровоза»?

...14 апреля 1865 года. В Вашингтоне царит ликование: несколько дней назад кончилась гражданская война. Негры освобождены от рабства! Потомок первых поселенцев, лесоруб, плотогон и землемер, почтовый служащий, а затем адвокат и избранный уже на второй срок президент страны совершенно счастлив. Когда замолкают пушки, возвышают голос музы. И он, отложив на время государственные заботы, отправляется в вашингтонский театр, не помышляя о том, что вскоре сам окажется главным действующим лицом одной из трагедий в американской истории. Завербованный южанами актер Джон Уилкс Бутс готовится сыграть свою последнюю роль: заряжено оружие, продуманы подробности покушения. Он чувствует себя героем, карающим государственного преступника, но насчет реакции публики иллюзий не строит — у здания театра стоит приготовленный для бегства конь.

Пути президента и актера пересеклись. Бутс сыграл-таки свою роль, причем более гнусную, чем тогда казалось, — он открыл нескончаемую серию покушений на жизнь американских президентов. А в следующем году на свет появилась черная пятнадцатидециментовая марка с портретом Авраама Линкольна. Когда возникла мода на специальные выпуски, кое-кто поспешил объявить ее первой в мире траурной маркой — их тоже относят к памятным. Но выяснилось, что это не так: печать сообщила о том, что марка выйдет, еще тогда, когда президент был жив и здоров. Художник, выбирая черный цвет, и не подозревал о грядущей трагедии...

И все-таки приоритет в специальных выпусках, по-видимому, принадлежит США. Здесь в 1869 году вышли две марки с репродукциями живописных полотен Д. Вандерлина «Высадка Колумба» и Д. Трамбалла «Провозглашение независимости». Серия была приурочена к национальному празднику — Дню независимости.

НЕОКОНЧЕННАЯ ГЛАВА

— Итак, вы отказываетесь назвать свое имя?

— Да, мосье. Лучше запишите имя машины. Это «Пежо». Он припаркован на стоянке...

Дежурный полицейский аккуратно записал название улицы, где, по словам неизвестного собеседника, находился автомобиль.

— А что в автомобиле?

— То, что вы уже давно ищете!

Неизвестный явно заторопился — фразу оборвали короткие гудки.

Полицейский хмыкнул. Он и сам был не прочь первым бросить телефонную трубку еще в начале разговора. Разыскивать «Пежо» по анонимному сигналу на улицах вечернего Марселя только затем, чтобы убедиться, что его багажник пуст, а звонок лишь розыгрыш, — кому охота?

...Но служба порой преподносит и приятные сюрпризы: в автомобиле оказались знаменитые «Игроки в карты» и другие картины французского художника Сезанна, украденные из музея восемь месяцев назад.

Дежурный вновь и вновь рассказывал товарищам про вечерний звонок и каждый раз обязательно добавлял:

— Это марка помогла...

Потеряв надежду найти похищенное, полиция решила запечатлеть «Игроков в карты» на почтовой марке. Она разошлась тиражом более 4 миллионов экземпляров. Вору забеспокоились — сбыть картину внутри страны теперь и думать было нечего, а прятать известный каждому французу шедевр живописи становилось все опаснее...

Во французской, посвященной живописи, серии 1961 года есть и другие прекрасные марки: «Голубой акт» Матисса, «Почтовый голубь» Жоржа Брака... «Игроки» заняли в альбомах филателистов место подле них. А связанный с этой маркой удивительный случай стал постепенно забываться.

Впрочем, так ли уж он удивителен?

Современные почтовые марки — это весь мир в картинках, с его прошлым, настоящим и будущим. В них звучат эхо минувшей войны и победные фанфары Московской Олимпиады,

замерли экзотические рыбы тропиков, распростерся пейзаж неведомой планеты... Раскрываешь филателистический альбом и сразу видишь, чем «болеет» его хозяин — биологией, хоккеем или театром. А о живописи и говорить не приходится — сотни, тысячи миниатюрных репродукций картин разлетаются по белу свету, поселяясь в коллекциях — художественных галереях.

И все-таки начало многообразию сегодняшних сюжетов положили скромные старинные стандартные выпуски. Уже самая первая марка некоторым образом связана с темой изобразительного искусства: прототипом для нее послужила выполненная гравером У. Уайоном медаль. Правда, произошло это довольно неожиданно.

Как ни странно, портрет юной королевы Виктории был выбран по соображениям отнюдь не патриотического и не эстетического характера. Английское правительство, убедившись в недюжинных способностях соотечественников обманывать почту, не без оснований опасалось подделок. Как им воспрепятствовать? Самое изящное и, по тогдашним представлениям, надежное решение предложил один из участников конкурса на создание марки — Бенджамин Чевертон. Он считал, что стоит напечатать на ювнике портрет, и фальшивки обречены на провал. «Когда глаз человека привыкнет к восприятию определенного лица, любое отклонение от нормы будет сразу же заметно, — утверждал Чевертон. — В этом случае бросится в глаза изменившееся общее впечатление от портрета, а не различие в шрифте, буквах или орнаменте. Может быть, трудно будет сказать, в чем именно различие между двумя портретами, но оно немедленно будет замечено»¹. В выборе «определенного лица» ни сам Чевертон, ни члены жюри не сомневались. Конечно же, это должно быть первое лицо империи, чьи черты знакомы публике по многочисленным портретам, медалям, монетам. Так изображение королевы с выбитой в 1837 году медали перекочевало на эскиз, признанный лучшим среди сотен других, представленных на конкурс. Затем эскиз превратился в портрет и, наконец, в гравюру-марку.

«Черный пенни» Виктории понравился. Она хотела бы выглядеть так всю жизнь — юной, немного грустной и вместе с тем как бы пронизательно вглядывающейся в скрытое за витой рамкой миниатюры великое будущее.

Для английской почты желание королевы было законом. Виктория прожила долго и до последних дней оставалась на марках, вопреки неумолимому времени, восемнадцатилетней. Возможно, взирая на них, старая женщина вспоминала порою свою молодость.

¹ Уильямс Л. и М. Почтовая марка, ее история и признание. М. «Связь», 1964

Королева умерла в 1901 году, когда царственная монополия на знаки почтовой оплаты других стран была уже разрушена.

Процесс этот был длительным. Сперва появились выпуски с рисунками гербов, эмблем, крупных, бросающихся в глаза цифр, красноречиво свидетельствовавших о стоимости пересылки письма. А в 1851 году на марках Канады «поселился» бобер. И вспыхнула безобиднейшая в мире охота, положившая начало нынешнему многотысячному «филателистическому зоопарку». Любопытно, что млекопитающие занимают здесь пятое место — вслед за птицами, рыбами, пресмыкающимися и насекомыми.

На марках живут и здравствуют гигантский голубь, окончательно истребленный в 1684 году, тасманийский волк, на следы которого последний раз удалось наткнуться в 1948 году. Охота с пинцетом и лупой не дает мехов и мяса, зато прививает нечто гораздо более ценное — уважение и любовь к природе...

1862 год ознаменован первым пейзажем на почтовой марке — видом никарагуанских гор. Но если бы художник мог предположить, какими несчастьями обернется этот жанр для его родной страны спустя сорок лет, он, возможно, поостерегся бы стать первооткрывателем. Тогда в конгрессе США решался вопрос: где строить канал, соединяющий Атлантический и Тихий океаны? Одни считали, что он должен пройти сквозь Панамский перешеек, другие — через озера на территории Никарагуа. Никарагуанский вариант имел больше шансов на успех. И — сулил полный крах французскому акционерному обществу, которое однажды уже взялось прорыть канал через перешеек, но, проворовавшись, прекратило работы. Находчивый инженер-француз вспомнил, что два года назад в Никарагуа вышли марки с изображением вулкана Момотомбо с дымящейся шапкой над вершиной. Он разослал их американским конгрессменам. Противники никарагуанского варианта, разумеется, тут же подняли шум — разве можно рисковать и вести канал по стране с огнедышащими горами? Голосование принесло им полную победу. И Панамский канал был построен там, где мы сейчас его видим на карте, не без помощи обыкновенной марки, сыгравшей, увы, печальную роль в судьбе своей родины...

Каких только тем не касается почтовая графика! Их подсказывает художникам сама жизнь. А она, как известно, не стоит на месте. Вслед за первым в мире советским спутником вышла на орбиту и марка, проложившая дорогу сразу завоевавшей популярность космической теме... Искушенные мастера и поклонники изобразительного искусства заново открыли для себя волшебство детского рисунка — и появились марки, запечатлевшие мир глазами детей. Сначала в Чехословакии в 1958 году, а затем и в других странах.

Что за новые звезды вспыхнут на филателистическом небосклоне завтра, послезавтра? Гадать не приходится, как

говорится, время покажет. Значит, у этой главы есть продолжение, искать которое надо не на следующей странице, а на почтамтах и в кносах «Союзпечати», среди новинки, пополняющих альбомы коллекционеров.

«ФИЛЕО» — ЗНАЧИТ «ЛЮБЛЮ»

Фараон-филателист. Не слыхали про такого? Я тоже. Но заметка под этим названием была опубликована во втором номере журнала «Советский коллекционер» за 1931 год. Приведу ее с сокращениями, оставляя факты на совести автора, так как найти подтверждение сказанному в ней мне не удалось. Итак:

«Если вернуть английскому египтологу Темпельтгаму, начало собрания почтовых марок надо отнести за три тысячелетия до нашей эры и дополнить список всемирно известных филателистов фараоном Цозером Аменописом. Он царствовал около 2575 г. до н. э. Тогда в Египте была организована и почта в виде скороходов и верховых, обслуживающих разные военные дороги до самой Ливии, а также в Аравии и Абиссинии.

По повелению фараона египетские «почтмейстеры» обязаны были накладывать на корреспонденцию особые штемпеля с обозначением городов отправления.

Темпельтгамом в том самом зале, где покоится мумия фараона, т. е. среди самых ценных сокровищ царя, найдено полное собрание египетских почтовых знаков того времени в количестве 186. Каждый штемпель наложен на особое письмо, главным образом, синей, а иногда красной краской, и каждый папирус заключен в медный цилиндр с герметической крышкой. В 1919 году эта «филателистическая коллекция» была перевезена в Британский музей. Все штемпеля изумительно сохранились, несмотря на пяти тысячелетний возраст».

Так вот, оказывается, как давно мог возникнуть самый популярный сейчас вид коллекционирования! А может, он появился в древней Ассирии?

Царь, вельможи, их родственники обменивались между собой тяжеловесными посланиями на покрытых глинописью глиняных табличках. Для защиты от любопытного глаза их заключали в оболочки, сделанные также из глины, и обжигали на огне. Но ведь в пути конверты могли подменить! И для пушей безопасности некоторые из них запечатывали личными, с именами владельцев, печатями: по сырой еще глине прокатывали надетый на палочку цилиндр из оникса или яшмы, с соответствующей надписью, мифологическим изображением. Почему бы не предположить, что кто-то попробовал собирать глиняные черепки оболочек с оттисками печатей, хотя бы для того, чтобы похвастать перед друзьями своими связями с людьми значи-

тельными, могущественными? Такой собиратель тоже оказался бы теперь зачисленным в ряды филателистов..

У любой вещи, явления есть родословное дерево, и отыскать на нем корень поглубже всегда приятно. Правда, потом иногда выясняется, что корень ложный или совсем от другого дерева. Что же касается филателии, то можно решительно утверждать, возникла она после начала выпуска почтовых марок и до того, как появился сам этот термин. Его образовал из двух греческих слов «филео» (люблю) и «ателейя» (освобождение от платы) французский коллекционер Жорж Эрпен и предложил вниманию публики в напечатанной в 1864 году журнальной статье.

Статья называлась «Крестины». Чем же они были вызваны? Ведь веками существуют, например, коллекционеры картин и в особом названии не нуждаются.

Однако причины, оказывается, были, и достаточно веские. Прежние названия — темброфилия и тембрология (любовь к маркам, наука о них) — не прижились, зато прилипли иронические — тембромания, маркомания, — придуманные людьми, видевшими в коллекционировании марок пустую детскую или же старческую забаву. Между тем этот вид увлечения уже завоевал и популярность и авторитет. С обидой кличкой пора было кончать, и она постепенно уступила место новому термину.

Сейчас, когда обиды далеко позади, можно признать, что ехидное прозвище было поначалу не безосновательным. Новые знаки почтовой оплаты, неожиданно ставшие фаворитами публики, пробудили в определенной ее части страсть к собирательству. Такие люди стремились скопить марок побольше, каких именно — неважно, но предпочтительно гашеных — использованные, они уже ничего не стоили. Вопрос о том, как распорядиться желанной добычей, затруднений не вызывал. Она казалась особенно эффектной как украшение. Чего — неважно: интерьера, предметов домашнего обихода. Лишь бы привлекательные «маленькие картинки» были на виду, бросались в глаза. «Ищу почтовые марки» — так было озаглавлено объявление, помещенное в одном из номеров «Таймс» осенью 1841 года. В нем говорилось: «Молодой человек, который желал бы окленть свою спальню гашеными почтовыми марками, уже собрал с помощью своих любезных друзей более 16 000 штук; однако, ввиду того, что этого количества недостаточно, он просит сочувствующих лиц присылать марки и тем самым способствовать осуществлению его идеи».

Трудно сказать, удалось ли молодому человеку выполнить затеянное. Но последователи у него нашлись. Десять лет спустя торговец Т. Смит из города Бирмингем сообщил в другой лондонской газете, что стены его книжного магазина декорированы 800 000 почтовых марок различных рисунков и признаны самыми современными стенами в Англии. Знаками по-

чтовой оплаты оклеивали сундуки и абажуры, шкафы и экраны для каминов. Марки глядели на гостей с настенных декоративных тарелок. Встряхнув сигару над пепельницей, вы неожиданно замечали, что пепел падал на помещенную под стеклянным дном марку. Женщины остались верны себе и разили сердца мужчин сюрпризами иного рода: марки перекочевали на шляпки и платья.

Сохранись марочные обои в спальне «молодого человека», они сейчас стоили бы куда дороже всего дома, замечает автор одной из книг по истории почты и филателии. Он прав. Но старинные и редкие марки сберегли для нас все же не декораторы-любители, а коллекционеры, чья страстность сочетается со склонностью к систематизации и исследовательской жилкой.

Поначалу марколюбы (так и теперь называют филателистов в Болгарии) пополняли свои собрания, только обмениваясь, как бы подчеркивая тем самым спортивный дух увлечения. Продавать марки для коллекций начал в 1852 году бельгиец Жан Батист Моэнс — он был и увлеченным коллекционером, и не забывавшим о собственной выгоде книготорговцем.

...В 1956 году в Лондоне открылась филателистическая выставка, приуроченная к столетнему юбилею фирмы Стенли Гиббонса. У дверей посетителей встречали два, изваянных скульптором, по-старинному одетых, моряка с мешком: они вытряхивали оттуда множество каких-то маленьких треугольничков.

Фирма Гиббонса — солидное капиталистическое предприятие, одно из крупнейших в мире филателии. Ее основатель, Эдуард Стенли Гиббонс, помогал своему отцу торговать в аптеке. Прямо в ней он начал продавать марки — просто так, для души. Однажды сюда заглянули два моряка. Купить лекарство им было не на что, разве молодой хозяин согласится взять вместо денег вот эти «треугольники мыса»...

Молодой аптекарь с интересом рассматривал марки мыса Доброй Надежды. Их необычная для того времени треугольная форма предвещала спрос, а оптимистичное название британской колонии как бы вселяло веру в успех. И Стенли решился принять вместо денег заморские маленькие картинки. У моряков их оказалось много. Тогда он купил все — за пять фунтов. Сделка принесла тысячу процентов прибыли. И это определило дальнейшую судьбу Гиббонса — после смерти отца он переехал из Плимута в Лондон и имел дело с лекарствами, лишь когда того требовало его здоровье.

Трудно сказать, что в этом семейном предании от действительности, что от рекламы. Но характерна одна деталь: у Гиббонса, так же как и у Моэнса, увлечение очень скоро стало бизнесом. Такова была участь многих, не устоявших против бацилл филателии предпринимателей.

ВАНДАЛ ПРОТИВ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

Итак, одни увлекались марками бескорыстно, другие — наоборот. Но и те и другие поначалу умели обращаться с предметом увлечения одинаково плохо.

До второй половины шестидесятых годов прошлого века сохранностью марок часто пренебрегали. Использованные знаки почтовой оплаты отрывали от конвертов как попало — образуящиеся при этом тонкие места в расчет не принимались, так же, как и потеря зубцов; поля потом обрезали вплотную к изображению, чтобы «зазубрины» не портили вида. В некоторых лавках «маленькие картинки» выставляли на продажу наанизанными на нитку, проволоку, спицу или острые штифты — для наглядности. Один из бродвейских торговцев сбывал коллекционные монеты, красовавшиеся на развешанных на парковой ограде досках. Затем он расширил ассортимент за счет марок, которые приколотил рядом самыми обыкновенными гвоздями. И все равно покупатель находилась!

Альбомы для коллекций выпускались уже с 1862 года. Но способы крепления марок в них были не менее варварскими, чем бродвейские гвозди. Марки приклеивали к листам наглухо. Иногда желанный экспонат покрывали слоем декстрина и сверху — для пушей прочности. Разумеется, о том, чтобы извлечь замурованную марку, не могло быть и речи: переместить ее на другое место оказывалось невероятно сложным делом.

И тогда были изобретены наклейки. Привились они не сразу. В 1869 году один из английских филателистических журналов опубликовал инструкцию по пользованию ими, а другой вышел в свет с необычным приложением: к странице каждого экземпляра с помощью наклейки была прикреплена настоящая марка. И тем не менее, например, российский император Александр III предпочитал связывать знаки почтовой оплаты пачками и держать в коробочках, помещавшихся в ящиках письменного стола. Не потому ли, что наклейки начали широко распространяться лишь гораздо позже — в восьмидесятых годах?

Но до этого пока далеко. А рассказанного вполне достаточно, чтобы убедиться: собирательство уступило место осмысленному, совершенствующемуся процессу. Именно в шестидесятые годы филателисты получили признание в пестром мире коллекционеров. У них появились свои общества, пресса и справочная литература. Не хватало, пожалуй, только выставок. Первая была организована в Дрездене врачом-гомеопатом Альфредом Мошкау в 1870 году. Здесь демонстрировалась единственная (его же) коллекция, насчитывавшая 6000 марок. Цифра по тем временам весьма внушительная. Но можно считать, что еще раньше, в начале десятилетия, которому тут заслуженно отведено столько места, уже существовала свое-

образная выставка фальшивых марок. Она возникла по прихоти Д. Палмера, одного из первых лондонских торговцев маленькими картинками. Его вулканическому характеру в сочетании с живописными усами и бородой мог бы позавидовать опереточный злодей. На самом же деле он был человеком честным и объявил энергичную войну мошенникам, пытавшимся подделывать марки. Каждый попавшийся ему на глаза фальшивый экземпляр незамедлительно приклеивался на стены конторы — посетителям на обозрение и поучение. Говорят, что Палмер был слишком придиричив, самоуверен, поэтому в калейдоскопе пригвожденных к «позорию столбу» фальшивок встречались и подлинные марки. Но как бы то ни было, познакомиться с необычной выставкой приходили многие — и ради любопытства, и чтобы впредь меньше попадаться на удочку мошенникам...

Только, пожалуйста, не думайте, что путь филателии в чрезвычайно важные для ее становления шестидесятые годы был усыпан одними победами и открытиями. Случались и неудачи, находились и враги, да какие! Один из них в 1864 году (том самом, в котором Жорж Эрпен предложил слово «филателия») опубликовал следующую, достойную внимания мысль: «Пока мы с уверенностью не будем знать необходимость и истинную цель, с которой ищут и собирают гашеные почтовые марки, до тех пор будет основание считать, что это делается с противозаконной целью». Несколько ранее тот же человек публично призывал, опять ввиду логической необъяснимости увлечения, просто-напросто уничтожать гашеные марки — ненужные вещи.

Пора открыть читателю, кто же был этот гений неведения и демон уничтожения. Оба выступления принадлежали Вандалу — да-да, такова была фамилия генерального директора французской почты.

КЛАССИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ

Немного воображения — и мы с вами опять в Лондоне, в гостях у заядлого филателиста. Пока хозяин готовится продемонстрировать нам свое сокровище, гид доверительно сообщает:

— О, у него отличная коллекция! Сами сейчас убедитесь.

На столе появляются альбомы. Осторожно переворачиваем их страницы и везде встречаем одну и ту же марку — однопенсовую темно-розовую выпуска 1858—1864 годов. Полчища юных темно-розовых королей, которым нет никакого дела до нас, привычно и чуть загадочно смотрят куда-то вдаль.

Королевы схожи как две капли воды, а вот марки, как мы вскоре замечаем, отличаются друг от друга. По углам на каждой из них стоят латинские буквы в различных комбина-

циях. Гостеприимный хозяин вручает нам лупу и предлагает повнимательнее взглянуть на рамки. Мы видим, что местами орнамент прерывается, чтобы уступить место цифрам — от 1 до 220. Это номера пластин, с которых печатались экземпляры.

— Сколько же всего разновидностей у этой марки? — невольно вырывается у одного из нас.

— 28 992, — охотно отвечает владелец коллекции и, довольный произведенным эффектом, продолжает: — Поверьте, собрать их все очень нелегко. Одних разновидностей больше, других — намного меньше. Марки с разных пластин ценятся неодинаково, иногда в десятки тысяч раз дороже!

Перед нами одна из так называемых специализированных коллекций. В их основе лежит хронологический принцип систематизации в сочетании со стремлением представить все существующие разновидности.

Первые филателисты действовали с мировым размахом. И неудивительно: ведь, например, с 1840 по 1860 год было выпущено всего 913 марок. По мере того как число их увеличивалось, пришлось ограничиться несколькими странами, затем — одной. Появились специализированные и исследовательские коллекции, охватывающие определенные отрезки времени, и даже отдельные выпуски.

Несмотря на то что о филателии писали, как о модном поветрии, которому одинаково подвержены дети бедняков, седовласые миллионеры и коронованные особы, она привлекала, по сравнению с нынешним временем, очень немногих коллекционеров. Например, первое заседание Московского общества собирателей почтовых марок, состоявшееся в сентябре 1883 года, собрало лишь двадцать человек. И то! в филателии задавали, конечно, не бедняки. Говорят, что член английского парламента Томас К. Тэплинг владел второй по богатству коллекцией в мире. Третьей — сын ювелира, петербуржец Фредерик Брейтфус. Первая же принадлежала знаменитому и непревзойденному Филиппу ля Ренотьеру де Феррари.

Итальянец по рождению, парижанин по месту жительства, он происходил из потомственной банкирской семьи. Марками Филипп увлекся в детстве. Мать, герцогиня Галлиера, охотно водила сына к торговцам филателистическим товаром и приобретала все, что его интересовало. Она могла не экономить: треть из полученного впоследствии Филиппом Феррари родительского наследства в 300 миллионов крои составляли деньги герцогини.

Коллекция банкирского сына неустанно пополняется. И вот у него уже есть постоянный поставщик, со временем он становится ее смотрителем. Марки хранятся в двух комнатах дома, где живет Феррари. Им было бы тесно в альбомах, поэтому, прикрепленные в два ряда к плотным бумажным листам гашеные и, отдельно, негашеные, миниатюры располагаются в

гнездах, на которые разделены полки многочисленных шкафов, опоясывающих стены. Каждый лист упакован в два бумажных конверта, у него — свой шкаф, а в нем своя полка и свое место в гнезде. На самых верхних полках помещались дубликаты.

Финансист уживался в Феррари со знающим, увлеченным филателистом. Содержимое верхних полок не предназначалось для продажи, только обмен. В поисках недостающих экземпляров Феррари часто выезжал за границу, охотно знакомился с крупными и мелкими марочными торговцами, поддерживал связь с опытными филателистами. (Некоторые из них получили постоянный доступ к его коллекции.) Никогда не упускал возможности пополнить и освежить запас знаний. Все это вкупе со свойственной выдающимся коллекционерам тонко развитой интуицией сделало его непревзойденным специалистом.

Однако известный финансист боялся известности филателиста. Публиковал он свои интересные и глубокие наблюдения чрезвычайно редко. Избегал всяческой рекламы и предпочитал оставаться для читателей таинственным «мосье Ф из Парижа» или же просто «обладателем парижской коллекции». Кроме нескольких избранных филателистов, в заветных комнатах бывали единичные друзья.

В конце концов финансист подвел коллекционера. Феррари проникся германофильскими настроениями и незадолго до первой мировой войны в пятый раз сменил гражданство, стал подданным кайзера. С первым же залпam пришлось перебраться из Парнжа в оставшуюся нейтральной Швейцарией. Кое-что из марок удалось забрать с собой, но большая часть их осталась во Франции, в австрийском посольстве.

Феррари умер, так и не дождавшись конца войны. Его завещание было оглашено уже в мирные дни. Коллекцию предстояло передать Берлинскому почтовому музею. Но радость работников музея была преждевременной: уязвленное французское правительство решило продать собрание, а выручку включить в сумму выплачиваемых побежденной Германией репараций. 14 аукционов с 1921 по 1925 год принесли около 30 000 000 франков, что составляло 402 965 фунтов стерлингов или 1 632 524 доллара. Такая выручка потрясла воображение, о ней вихлеб писали газеты всего мира, переводя сумму из одной валюты в другую. Спустя несколько лет наследники Феррари продали и те марки, что оказались в Швейцарии. Уникальная коллекция перестала существовать, растворилась в мировом филателистическом океане.

Коллекцию Феррари называют баснословной, пишут, что подобной не было ни у одного из его предшественников и уже наверняка ни у кого не будет. Действительно, она была почти полной, славилась обилием разновидностей и ферраритетов. Прежде чем искать объяснение этому слову в справочнике, давайте

снова вернемся в Лондон, на сей раз — начала нашего столетия. Куда именно, нам подскажет кажущееся теперь фантастическим объявление: «Продажа всех видов факсимиле, поддельных надпечаток и гербовых марок. Лондон, Каллам-стрит, 1. Фальшивки любой категории поставляются по первому требованию».

Итак, наш путь лежит на Каллам-стрит, 1, в лавку, где обосновалась широко известная в то время среди филателистов «лондонская шайка» в составе Альфреда Бэнджаминна, Джумана Сарпи и Джорджа Джеффриса. Чем они занимаются, мы знаем... Но постойте, кажется, нас опередили! Кто этот строгий усатый господин? Филипп ля Ренотьер де Феррари?! Вот он берется за ручку двери... Не будем ему мешать. То, что произойдет дальше, уже описано английским филателистическим журналистом Фредериком Джоном Мельвилем.

Феррари (*входит*). Доброе утро, господин Сарпи! Есть у вас что-нибудь для меня?

Сарпи (*в раздумье*). Думаю, что есть. Перевернутая надпечатка на марке Стрэйтс-Сеттльментс. (*Замолкает, затем говорит громче.*) Послушайте, Бэн, есть у нас перевернутая надпечатка из Стрэйтс? Господин Феррари хочет взглянуть на нее.

Бэнджаминн (*из-за перегородки*). Кажется, есть, Сарп. Сейчас проверю.

Через несколько минут он передает марку Сарпи. Тот показывает ее Феррари, который берет марку

Феррари. Нет ли у вас марки с двойной надпечаткой, одна из которых перевернута?

Бэнджаминн (*за перегородкой*). Была где-то. Да где же она?

Небольшая пауза, во время которой Бэнджаминн изготавливает нужную марку

А теперь заглянем в справочник. Ферраритеты, прочтем мы там, — это фальшивки, подделки и преднамеренно изготовленные макулатурные экземпляры с применением подлинных оригинальных клише и материалов. Они появились на свет около 1900 года, когда стало известно, что Феррари расходует значительные суммы на приобретение разновидностей марок.

Но как же случилось, что «король филателистов», владевший «редким даром распознавания раaritетов», так легко попадался на удочку мошенникам? Считают, что он делал это сознательно, поддерживая фальсификаторов по «филантропическим» соображениям.

Странная благотворительность! Быть может, она объясняется тем, что коллекция Феррари во многом уже исчерпала возможности классической филателии? Или же Филипп ля Ренотьер, обладавший чувством юмора, поощрял создание

названных его именем фальшивок, усматривая в этом своеобразную пародию на чрезмерное увлечение разновидностями, которому и сам был подвержен? Во всяком случае, невероятную историю с ферраритетам можно рассматривать как один из предвестников грядущих веяний, основательно потеснивших всю классическую филателию.

У КАЖДОГО СВОЙ КОНЕК

Коллекционер пробежал глазами газетное объявление, и сердце замерло. Он прочел еще раз, вникая в смысл каждого слова. Все правильно: в предназначенной к продаже коллекции старых марок была знаменитая «красная саксонская тройка». Его охватило предчувствие близкой удачи и — тревога: за этой редкой маркой в Германии охотятся многие, конкуренция будет острой.

Однако надежды не оправдались. Случилось то, о чем коллекционер и думать не хотел: «саксонская тройка» оказалась фальшивкой, притом довольно грубой. Повышенный интерес к «изюмнике» аукциона сменился всеобщим разочарованием. Особого желания купить заурядную коллекцию никто не выказывал, и по всему выходило, что ей суждено быть проданной за сумму, возможно, ниже той, что она заслуживает.

Коллекционер, с которого мы начали рассказ, огорчился не меньше, а может, и больше других. Но он был человеком практичным и, чтобы не жалеть о зря потраченном времени, приобрел коллекцию по сходной цене. Вернувшись домой, он еще раз тщательно осмотрел альбом. Как и водилось у старинных филателистов, марки были приклеены к страницам намертво — аккуратнейшим образом, стройными рядами. Коллекционер покачал головой, представив, сколько терпения вложил создатель альбома в пагубное для марок дело, и немедленно принялся за их спасение. Марки предстояло вырезать из страниц и освободить от остатков бумаги и клея в теплой воде, или, как говорят филателисты, водяной бане. У фальшивой «саксонской тройки» ножницы приостановились, но только на миг. «Сохраню и подделку, хотя бы на память о пережитых волнениях», — решил коллекционер. — Или обменяю, ведь есть люди, которые собирают именно такие вещи».

Фальшивка легла на стол рядом с другими марками, а затем очутилась в воде. Через несколько минут бумага с оборотной стороны экземпляров стала отслаиваться. И вдруг коллекционер увидел, как из-под фальшивой марки выглядывает еще одна «саксонская тройка»! Предчувствие удачи вспыхнуло в нем с новой силой. Но он не позволил себе ни единого торопливого движения. Осторожно извлек марку пинцетом,

положил на промокательную бумагу, вооружился лупой. Сомнения отпали — это была самая настоящая «красная саксонская тройка». Упрятанная прежде от завистливых глаз под своим поддельным двойником, она, не в пример другим экземплярам коллекции, оказалась в преотличнейшем состоянии.

...Эта история приключилась в 1930 году, через 80 лет после выпуска «красной саксонской тройки». Для ее создателей она прозвучала бы как нечто совершенно невероятное. Вряд ли они усомнились бы, что, отпечатанная в немалом по тем временам количестве — пятьсот тысяч экземпляров, марка станет широко известной. Но откуда столь необыкновенная популярность у заурядного с виду знака почтовой оплаты? И почему его причислили к редкостям при таком-то тираже?

Подход к выпуску первой марки в королевстве Саксония был сугубо деловой, прозаический. Номинал 3 пфеннига предопределила стоимость пересылки бандеролей и печатных изданий, для оплаты которой и затеяли выпуск. Выбор сюжета рисунка затруднений не вызывал: сумма почтового сбора — вот что должно прежде всего бросаться в глаза каждому. Но такие марки с крупными, словно на монетах, цифрами в центре уже были в ходу в некоторых старонемецких государствах. Художник, не мудрствуя лукаво, взял баварскую однопфенниговую марку, нарисовал вместо единицы другую цифру, поменял название государства, и пошла гулять по свету «красная саксонская тройка».

Отправители и почтальоны обращались с будущей знаменитостью без церемоний — при распечатывании бандеролей «саксонские тройки» безжалостно рвали, что незаметно прокладывало им путь к грядущей славе. А тут еще поступило распоряжение ликвидировать оставшиеся нераскупленными 37 тысяч экземпляров, и они были уничтожены с истинно немецкой пунктуальностью... Короче говоря, до нашего времени дошло лишь 4—5 тысяч «саксонских троек».

У Феррари был целый лист из двадцати негашеных «саксонских троек». Случайно найденный на чердаке приклеенным к деревянной балке и кое-как отделенный от нее, он, прежде чем оказаться в собрании миллионера, был дважды перепродан, отреставрирован и, сохранившийся до сих пор, считается уникальным. Остальные же современники Феррари надеялись, в случае удачи, заполучить гашеный экземпляр.

Надежды с каждым годом становились более зыбкими, а полиота коллекций, о которой поклись приверженцы классической филателии, — недостижимой. И не только потому, что многие марки перешли в разряд редких, малодоступных. Уже очень резко возросло число знаков почтовой оплаты. Через десять лет после выпуска «черного пенни» их насчитывалось несколько десятков, а в 1921 году — десятки тысяч. Причем это

количество не учитывает разновидностей, которых, например, у одного «черного пенни» 2640.

Но было еще обстоятельство, сыгравшее в судьбе филателии не последнюю роль. Стремление собрать все, что описано в каталоге, и разместить в альбомах по хронологическому принципу заранее предопределяло содержание коллекций. Заданность сковывала фантазию, не позволяла проявиться личным пристрастиям филателистов. Трудно поверить: то, что особенно привлекает нас сейчас — сам рисунок, содержание почтовых марок, — считалось делом второстепенным и при составлении хронологических коллекций не учитывалось. Так продолжалось до середины двадцатых годов, пока не сказали веское слово... дети. Это были школьники из уральского города. Свое обращение они называли в духе того времени: «Платформа Златоустовского кружка юных филателистов». Школьники ратовали за то, что сейчас называют тематическим коллекционированием. Характер коллекции стал определяться содержанием марок. Скрупулезное следование каталогу уступило место умению найти и раскрыть тему. Погоня за редкостями и количеством отодвинулась на второй план: столь желанная прежде полнота собрания может нарушить стройность замысла.

Изменилось и понятие редкости. Редкой маркой здесь считают уже не более дорогую, а ту, которую труднее найти, что не всегда совпадает. Понск стал еще спортивнее и азартнее, филателисты обрели то, чего им так долго не хватало, — возможность самовыражения, творчества, импровизации.

В тематической коллекции могут соседствовать знаки почтовой оплаты, созданные в разное время, в разных странах мира. Случается, иное, с детства знакомое изображение предстанет в новом свете, заставит учащено забиться сердце. Например, марка из серии «Спасение челюскинцев» с портретом летчика Николая Каманина — желанный экземпляр для тех, кто увлекается историей авиации, покорения Севера. И вдруг неожиданная встреча с нею в коллекции, посвященной космосу. Ну конечно же, ведь спустя многие годы знаменитый летчик стал наставником первых советских космонавтов!

Произошло чудо, которое и не снилось узкому кругу старинных поклонников почтовой марки. Филателия стала по-настоящему массовым увлечением, самым распространенным и доступным видом коллекционирования. Ее творческая основа побудила к активному участию в выставках. Новоявленной чемпионке мира увлеченный показалось тесно на страницах домашних альбомов, и она сделала решительный шаг навстречу публике. Камерное звучание сменялось мощной симфонией, рассчитанной на широкую аудиторию.

Но можно ли считать, что тематическая филателия победила классическую? Конечно, нельзя. Так, не вытеснил автомобили

самолет — каждому свое место. Больше того, в долгом и азартном соперничестве обеих сторон, как принято писать в спортивных газетных отчетах, победила дружба. Под влиянием «классики» были разработаны строгие требования к тематическим коллекциям. Преобладание «тематик» приучило больше, чем прежде, вникать в содержание марок в хронологических коллекциях. «Филателия, — сказал однажды поэт Николай Рыленков, — не только один из самых массовых, доступных буквально каждому видов собирательства, но и одно из самых благородных, самых бескорыстных человеческих увлечений, увлечений для души. Всякое собирательство воспитывает волю к непрекращающимся поискам, но не всякое так раздвигает горизонты, так обогащает в познании мира, так укрепляет дружеские связи между людьми различных стран, как филателия. В ней, как небо в капле росы, отражается вся жизнь современного человечества с его историческими связями и новыми устремлениями. Филателия запечатляет самый дух времени и обязывает увлекшегося ею «быть с веком наравне».

Однако вы сейчас убедитесь — цветы зла могут расцвести даже на почве благородных и бескорыстных человеческих увлечений. Пример тому — самая знаменитая марка.

ЗНАМЕНИТАЯ УЗНИЦА

Ох уж эти женщины!

— Знаешь, милый, плюшевая королева опять явилась на бал с дрянной бумажонкой на шее.

— Ты хочешь сказать, что миссис Хинд надела медальон со знаменитой «Британской Гвианой»?

— Уж не знаю, как эта марка называется, только говорят, будто такими в прошлом веке вместо обоев стены оклеивали.

— Не такими. Эта — одна-единственная. Хинд за нее триста тысяч франков выложил да еще налог. В общем, тридцать тысяч долларов по курсу...

— ...за клочок замусоленной бумаги.

— Тогда уж добавь — самой дорогой бумаги в мире. В «клочке» четыре квадратных сантиметра. Значит, каждый из них стоит семь с половиной тысяч долларов. Дороже бриллиантов!

— Хочешь сказать: дороже бриллиантов, что ты подарил мне к годовщине нашей свадьбы? Артур Хинд помешан на марках, однако он выше ценит свою жену...

И правда, марка, с которой, как рассказывали, капризная супруга американского короля плюша хаживала на балы, изяществом не отличалась: шероховатый, поистертый по краям карминово-красный бумажный прямоугольник с обрезанными

углам. Грубоватый черный рисунок обезображен пришедшимся почти на самую середину штемпелем да еще чернильным автографом. И тем не менее миссис Хинд охотно шеголяла медальоном: «бумажный бриллиант» неизменно привлекал внимание — не красотой, конечно, а своей необычностью, романтическим происхождением и ценой, из которой она, разумеется, секрета не делала.

«Британская Гвiana», действительно, очень знаменита, а ее причудливая, и в общем-то печальная, история поучительна.

Филателистическое «сокровище» появилось в 1856 году в столице теперь уже не существующей колонии Британская Гвiana. Почтмейстер Дальтон не получил вовремя партию марок, заказанную в Лондоне, а местные запасы были на исходе. Но не закрывать же из-за этого почту! И Дальтон распорядился изготовить местные марки. Типография в Джоржтауне, благодарение богу, имела — печатала «Официальную газету», — почему бы ей не справиться и с малюсенькой маркой?

Типографщики справились. Они не стали даже заказывать специальный рисунок, а взяли заставку газетной рубрики, набрали текст: «Британская Гвiana, почта, один цент», расположили его вокруг клише заставки, заключили в четырехугольную рамку, оттиснули на бумаге — и марка готова. Ее сверстали и отпечатали точно так же, как и газету. Однако заставка с трехмачтовой шхуной и девизом колонии, который переводится с латинского как «Даем и берем взаимно», выглядела на миниатюре не столь эффектно, как на большом листе. Словом, марка получилась простоватой и грубоватой. Это впечатление усиливают проставленные от руки, выцветшие буквы Э. Д. У. — инициалы почтового клерка. Он вписал их, согласно инструкции, приняв корреспонденцию и погасив марку — единственный сохранившийся до нашего времени экземпляр.

Когда, наконец, прибыли марки с берегов Темзы, местный одноцентовый выпуск стал не нужен, и о его существовании просто забыли.

В 1872 году тринадцатилетний джоржтаунский школьник Вернон Воган, копаясь в старых письмах, обнаружил одно с незнакомой маркой, и она перекопывалась в альбом. Но, словно на беду, вскоре в магазине братьев Смит появились яркие, экзотические знаки почтовой оплаты. Охваченный приступом филателистической лихорадки, Воган купил их столько, на сколько хватило денег, и стал прикидывать, нельзя ли достать еще, продав что-нибудь из собственной коллекции. Подходящий покупатель был на примете: достаточно известный местный коллекционер, сосед Вернона — Нейл Р. Маккинон. И здесь Воган вспомнил о своей находке, плохая сохранность которой его очень беспокоила. «Не может быть, чтобы в семейной

переписке не нашлось другого экземпляра, получше», — опрометчиво подумал мальчик и отправился к Маккиноу.

Взрослый коллекционер никогда не видел такой марки и тоже был смущен ее изрядно подпорченной внешностью. Разумеется, надо бы выручить юного коллегу по увлечению, но тот должен понимать, что он, Нейл Р. Маккиноу, совершая подобную покупку, сильно рискует, и только присущее ему, Нейлу Р. Маккиноу, чувство благородства заставляет его... В общем, шесть шиллингов, и ни пенса больше, — все, что удалось получить Вогану за будущую «суперзвезду». Вышеозначенная сумма незамедлительно переключалась в кассу братьев Смит.

Через несколько лет коллекцию Маккинона приобрел ливерпульский торговец марками Томас Ридпат. Он первый смекнул, что одиоцентовой гвианский бумажный кораблик — вещь уникальная. И нашел для нее уникального покупателя — уже знакомого нам Феррари. Тот заплатил Ридпату за «кораблик» 150 фунтов стерлингов — на 30 фунтов больше, чем выручил Маккиноу за всю свою коллекцию. Марка Британской Гвианы взлетела на гребень моды, филателисты переворачивали груды старых писем — их истойчивости позавидовал бы самый дошлый детектив. Но второго одиоцентовой «кораблика» разыскать не удалось. «Может, и тот, что есть, не настоящий», — предположили разочарованные скептики. Но опровергнуть их рассуждения помогли рукописные инициалы Э. Д. У. Они встречались и на других гвианских марках и, как выяснилось, принадлежали почтовому клерку Э. Д. Уайту. Подлинность же подписи сомнений не вызывала.

Марка прославилась и при распродаже коллекции Феррари стала гвоздем проходившего 6 апреля 1922 года аукциона.

Вокруг «Британской Гвианы» развернулась ожесточенная борьба, завершившаяся битвой трех королей — английского Георга V, эльзасского табачного короля Мориса Бурруса и американского короля плюша Артура Хинда. Двое из них предпочитали действовать через посредников. Первым сдался представитель британской короны. (Правда, ходил слух, будто на аукцион заглянул сам Георг V и по цвету марки решил, что она фальшивая. Но может, и этот слух был оружием в схватке конкурентов?) За ним отступил эльзасец. Артур Хинд выложил, включая налог, тридцать тысяч долларов. Будучи из породы эксцентричных миллионеров, он, что называется, не отходя от кассы, сделал широкий жест — предложил марку в подарок побежденному им Георгу V. Король королевский подарок не принял, и «Британская Гвиана» очутилась в США.

Иногда доводится читать, что она пересекла океан, сопровождаемая вооруженными до зубов сыщиками, а потом поселилась в бронированном сейфе под круглосуточной охраной.

Поначалу, возможно, это было просто легендой, число которых с годами увеличивалось. Во всяком случае, Артур Хинд охотно демонстрировал свое приобретение на филателистических выставках в Америке и Европе. И марка отправлялась в дорогу не в сопровождении сыщиков, а одна-одинешенька, заказным письмом. В результате, когда Хинд умер, она словно в воду канула. Длительные и тщательные поиски ни к чему не привели. Наследники и филателисты строили всевозможные гипотезы, уже теряли надежду на успех. Но не миссис Хинд, которая тем временем доказывала в суде, что, согласно завещанию, «Британская Гвиана» не может быть продана вместе с остальной коллекцией покойного мужа.

«Марка моя, — утверждает готовящаяся вновь сменить фамилию вдова. — Артур мне ее подарил».

Процесс миссис Хинд выигрывает. Но поискам, кажется, не будет конца, пока кто-то не догадывается заглянуть в один из конвертов с корреспонденцией, позыбытых за всей этой суматохой на письменном столе покойного. Из конверта выпархивает присланный хозяину после очередной выставки бумажный «кораблик».

Переменив фамилию на Скала, бывшая миссис Хинд решает расстаться с филателистическим уникалом «Британская Гвиана» снова пересекает океан в обратном направлении, теперь уже будучи надежно застрахованной. Однако европейские коллекционеры не решаются выложить сумму, которая удовлетворила бы владелицу. И марка переходит в другие руки только в 1940 году за 42 тысячи долларов. Имя очередного обладателя тридцать лет остается загадкой для всех — таково его желание, оговоренное при покупке условие. Пока редчайшая из редких принадлежит Фредерику Т. Смоллу, никто не должен знать об этом. Его тщеславие молчит, он вообще не филателист, а живущий в Америке австралийский миллионер-скотовладелец. На марки Смолл смотрит как на акции, которые, в отличие от настоящих, никогда не падают в цене. Как и подобает ценным бумагам, «Британская Гвиана» отныне действительно хранится в сейфе одной из Нью-Йоркских фирм.

В 1970 году марка перекочевывает от Смолла к восьми пенсильванским предпринимателям. Новая цена «кораблика» — 280 тысяч долларов. И заплачены они, конечно, не за право любоваться редкой маркой. Спустя десять лет глава пенсильванского синдиката Ирвин Вейнберг во всеуслышание заявляет: «В свое время мы купили ее, страхуясь от инфляции. Каковы же темпы роста инфляции, наглядно показал сегодняшний аукцион».

Эти слова сказаны в 1980 году, когда «Британская Гвиана» была в очередной раз перепродана за фантастическую сумму в 850 тысяч долларов. Для сделки потребовалась всего одна

минута — столько времени длился, быть может, самый короткий в мире аукцион.

Если речь идет о деньгах, зарубежные журналисты не прочь ослепить читателя радугой цифр и различных сопоставлений. Они, разумеется, не упустили случая скрупулезно проследить, как же поднималась на финансовый пьедестал «Британская Гвиана». Напомним, ее первоначальная, номинальная стоимость — один цент. Воган продал марку по курсу того времени за полтора доллара, Маккинон — за 530 долларов вместе со всей своей коллекцией. Феррари заплатил за марку 670 долларов. Дальше счет идет на десятки и сотни тысяч: Хинд — 30 тысяч, Смолл — 42 тысячи, Ирвин Вейнберг — 280 тысяч и, наконец, 850 тысяч долларов. Получается, что сейчас квадратный сантиметр миниатюры стоит уже 212 500 долларов; цена экземпляра превышает номинальную в 85 миллионов раз!

Конечно, «Британская Гвиана» — уникальный знак почтовой оплаты. Но можно ли его назвать самым редким? Нет. Известно несколько уникальных марок. И все-таки ни одна из них не получила столь широкой известности и даже сколько-нибудь не приблизилась по цене. Почему?

Нашедший и нелепо потерявший героиню нашего повествования Вернон Воган увлекался филателией всю жизнь. Но больше ему так сказочно не везло, и коллекцию он оставил скромную. Когда миссис Хинд доказывала свои права в суде, семидесятипятилетний Воган выступил с воспоминаниями в одной из лондонских газет. Он поведал историю находки, между прочим заметив, что если бы «Британская Гвиана» по-прежнему находилась в его альбоме, она бы столько не стоила. Причину непомерной дороговизны старый филателист видел в прихотливом соперничестве коллекционеров-миллионеров, разжигаемом финансовыми интересами торговцев марками. «Люди спрашивают меня, каково мое настроение, — размышлял на страницах газеты Воган. — Но я теперь совсем не думаю об этом деле и не испытываю поэтому никакого разочарования и никакой печали. К чему это?»

То, что произошло с «Британской Гвианой», давно не укладывается в рамки филателии. В любых руках она теперь прежде всего — объект наживы, уникальная бумажная драгоценность, приобретение которой сулит выгодное вложение капитала. Еще задолго до последнего аукциона Ирвин Вейнберг оценивал ее в миллион долларов. В погоне за рекламой он, конечно, преувеличивал, но, как мы знаем, не фантастически.

Вполне возможно, что когда-нибудь марка с необычной судьбой действительно будет стоить миллион и даже больше — ведь коммерческий интерес к ней подогревается десятками лет. Рекламе способствовало и тридцатилетнее никогинто одного из владельцев, вызвавшее слухи, что след «Британской

Гвианы» вообще затерялся. И рассказы о том, будто сейф с нею днем и ночью охраняется двумя детективами, вооруженными автоматами. И истории о тех, кто, по роковому стечению обстоятельств, «чуть-чуть» не стал обладателем уникама. Это были известный английский филателист Эдуард Пэмбертон, его сын и, наконец, сам Британский музей. Первый из них уже договорился о покупке коллекции Маккинона, но не успел вовремя заплатить деньги, и ее перехватил Ридпат. Пэмбертон-младший предложил за марку на аукционе 1935 года самую высокую цену, но миссис Скала сочла ее недостаточной. Британский музей, вероятно, и победил бы Вейнберга на аукционе 1970 года, если б бюрократический механизм английской казны сработал проворнее...

Вот, собственно, и вся история о том, как марка, место которой в музее, оказалась заточенной в бронированные сейфы. И кто знает, быть может, это заключение пожизненное? Временами знаменитая узница появляется на крупнейших филателистических выставках. Везут ее под конвоем, а выставляют за специальным непробиваемым стеклом. Рядом, словно почетный караул, дежурят детективы. Правда, от скептиков можно услышать, что на выставки, для пушей безопасности, ездит не сама «Британская Гвиана», а ее искуснейшая, по высокому классу точности изготовленная копия — фальшивая марка. Что ж, в мире, где главное — нажива, все возможно. Но нет ли в этих разговорах привкуса коммерческой рекламы? Так же, как, впрочем, и в самих визитах на выставки знаменитой исключительно благодаря филателии, но, увы, по прихоти толстосумов отлученной от нее узницы?..

Содержание

<i>Ярослав Голованов</i> КОСМОНАВТ № 1. Очерк	3
<i>Теодор Гладков.</i> ПЕРВЫЙ ИЗ ДЕСЯТИ, КОТОРЫЕ ПОТЯСЛИ МИР	57
<i>Юрий Кларов.</i> САФЬЯНОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ. Приключенческая повесть.	73
<i>Марк Азов, Валерий Михайловский.</i> ВИЗИТ «ДЖАЛИТЫ». Приключенческая повесть	121
<i>Геннадий Прашкевич</i> ВОЙНА ЗА ПОГОДУ. Приключенческая повесть.	204
<i>Александр Кулешов.</i> «ЧЕРНЫЙ ЭСКАДРОН» Повесть-хроника, основанная на фактах	266
<i>Анатолий Безуглов.</i> СИГНАЛ ТРЕВОГИ (Из записок прокурора). Приключенческая повесть	372
<i>Глеб Голубев.</i> СЫН НЕБА Научно-фантастическая повесть	423
<i>Джулиан Кэри.</i> КОМБИНАЦИЯ «ГОЛОВОЛОМКА» Фантастический рассказ-шутка. Перевод с англ. Т. Гладкова	488
<i>Евгений Федоровский</i> ПЯТЕРО В ОДНОЙ КОРЗИНЕ Приключенческая повесть	495
<i>Михаил Шпагин.</i> ПОЧТОВЫЙ ФЕНОМЕН. Очерк	575

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Сборник

*фантастических и приключенческих
повестей и рассказов*

Ответственный редактор

В. С. МАЛЫТ

Художественный редактор

Л. Д. БИРЮКОВ

Технический редактор

Т. Д. ЮРХАНОВА

Корректоры

К. И. КАРЕВСКАЯ, А. П. САРКИСЯН

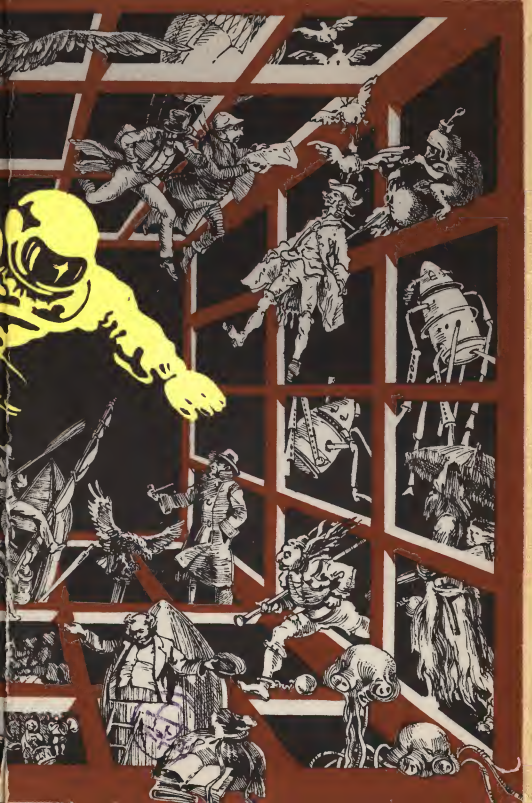
ИБ № 9829

Сдано в набор 22.05.87. Подписано к печати 11.11.87. А05737. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. кн. журн. № 2 Шрифт литерат. Печать высок. Усл. печ. л. 38,0. Усл. кр.-отт. 39,0. Уч.-изд. л. 37,0. Тираж 100 000 экз. Заказ № 6277. Цена 1 р. 80 к. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательства «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сущевский вал, 49

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»







1р.80к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“